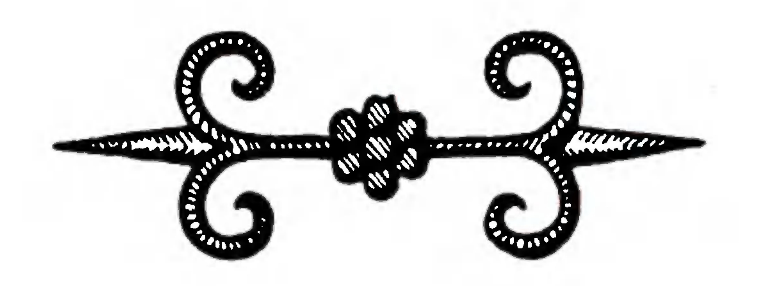
ОЛЬГА ФОРШ

ГОСЛИТИЗДАТ



ОЛЬГА ФОРШ



ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

Государственное Издательство Художественной Литературы
Москва
1955

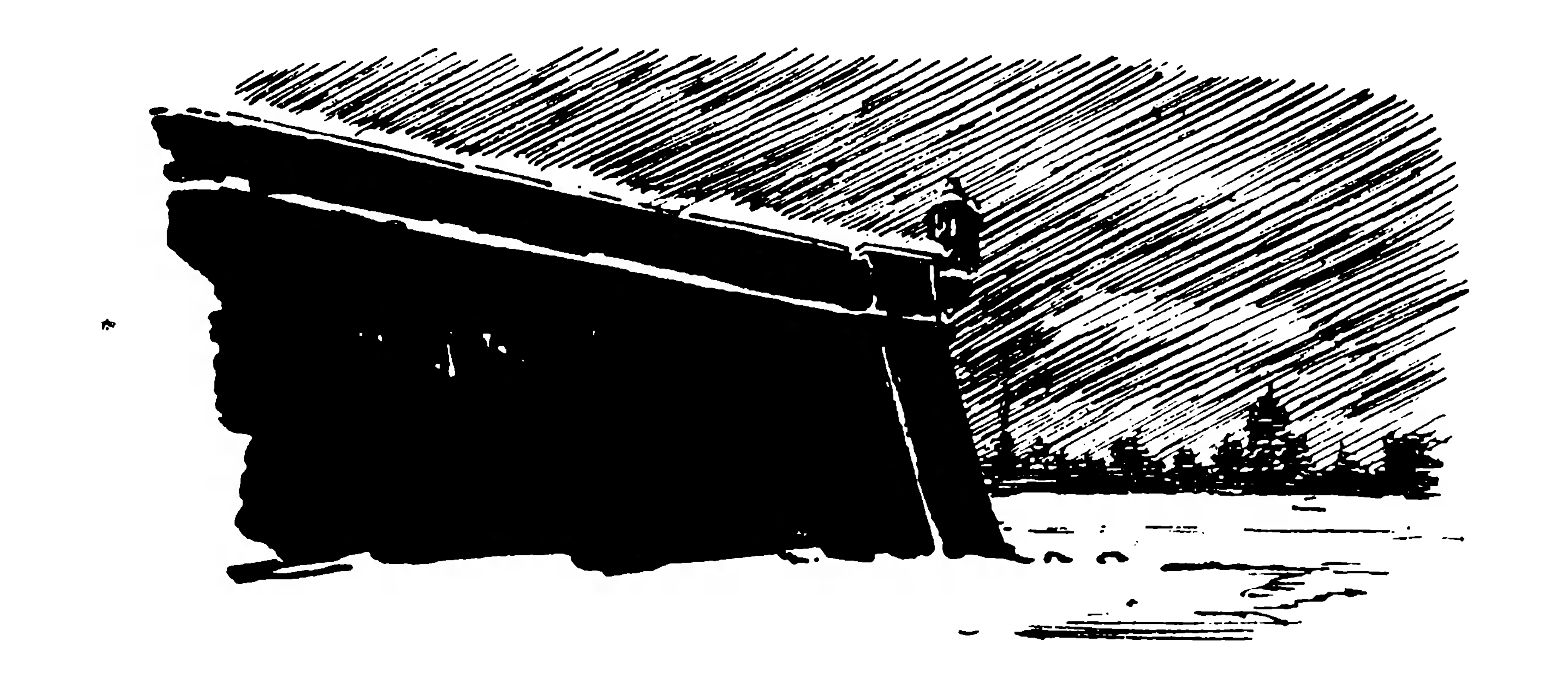
Портрет автора
работы Н. И. Альтмана

Рисунки Г. Н. Веселова

ОДЕТЫ КАМНЕМ



РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I
Бывший человек

12 марта 1923 года, в день, когда мне, Сергею Русанину, стукнуло восемьдесят три года, произошло нечто, добившее в корне мои чувства монархиста и дворянина. Одновременно с этим пал последний запрет с моих уст предать гласности то, что хранил я в безмолвии всю жизнь. Но об этом потом...

Я родился в сороковом году, пережил четырех императоров и четыре крупных войны; из них последняя — беспримернейшая и мировая. Я служил в кавалерии, отличался на Кавказе и пошел было в гору, но в восемьдесят седьмом году одно событие меня выбило из седла, так сказать, без возврата в первобытное состояние. Я вышел в отставку и зарылся отшельником в своем имении, пока в революцию его не сожгли. Наше Угорье — Н-ской губернии, рядом с бывшим имением Лагутина.

Вместе дедушки покупали, вместе бабушки обсуждали, что, дескать, подрастут: у одних внук, у других внучка и, соединив-

шись узами Гименея, естественно, сольют воедино угодья. В таком расчете и в соответствии с планом местности и покупали дальнейшие десятины.

Да, вместе росли, играли, учились я и Вера Лагутина. В семнадцать лет соловья слушали и кое в чем обещались навеки. И вышло бы все так, как тогда выходило, по родительскому предрешению с отвечающим расположением взаимности, если бы не собственная моя дурость. Сам себе яму вырыл.

Привез я на последние каникулы своего товарища Михаила. В пятьдесят девятом году поступил он к нам из киевского Владимирского кадетского корпуса прямо на третий курс, а мы все — из столичных кадет, косились на провинцию. Да и нелюдимый он был такой, все читает. Из себя же весьма пригож, вроде итальянца: глаза горят, а брови союзные. Родом он был из Бессарабии; по отцу не то румын, не то молдаванин.

Про наружность Михаила в архивных о нем изысканиях нет ни слова, да и немудрено. В тюрьме запечатлевают того, кому хоть когда-нибудь суждено быть на свободе, на случай, если он опять в чем-нибудь попадется. У Михаила же судьба иная: о нем, на протяжении двадцати лет, каждое первое число месяца шел государю доклад: там-то сидит такой-то...

И каждый раз государю благоугодно было подтвердить собственный приказ от шестьдесят первого года, второго ноября, об оставлении Михаила в одиночном заключении *впредь до особого распоряжения.*

Типографии эти последние слова надлежит всегда брать в разрядку, чтобы хоть своим внешним видом, отличным от однородного шрифта страниц, одернуть равнодушного читателя, преданного одним собственным радостям и страданиям.

Внимание, читатель, внимание! Особого распоряжения не последовало ни-ко-гда!

Заключенный без суда и без следствия, по одному собственному оговору, прекраснейший юноша свои юные и зрелые годы до самой смерти провел в одиночестве в Алексеевском равелине.

Последующему царю Александру III директором департамента полиции Плеве был представлен все тот же доклад, и записано высочайшее повеление: если узник пожелает, выпустить его и свезти в далекие малолюдные места Сибири на жительство.

Правдоподобно допустить, что, при общей системе жестокого лицемерия, начальник тюрьмы представил эту резолюцию давно безумному человеку, забывшему даже собственное имя. И в ответ на торжественно прочтенную бумагу, вызывая хохот сторожей, Михаил, должно быть, нырнул под койку и плотно забился к стене, как проделывал он поздней в сумасшедшем доме в Казани, когда входил в одиночку к нему человек.

Не проделал он этого только при последней встрече со мной, и лишь потому, вероятно, что прыгнуть с койки у него уже не было сил. Ведь это был его последний, смертный час. Но ужас его раскрытых глаз при виде близко подошедших людей и смертная мука замученного, которому бы убежать от мучителей, — это все со мною с утра и до вечера, все часы моей жизни.

И как могло быть иначе? Ведь не кто иной, как я, истинный виновник этой беспримерной, превышающей силы человека, одинокой и ненужной гибели.

Иной читатель, прочтя мои записки, скажет, что состав моего преступления, так сказать, психологический и что строжайший суд меня бы оправдал. Но разве не известен читателю случай, когда иной даже совсем безответственный человек, оправданный единогласно присяжными, кончал с собой, засудив себя судом собственной совести?

Загадочность судьбы Михаила давно волновала исследователей. Один из них, желая раскрыть тайну этой русской Железной Маски, еще в 1905 году обращался в печати ко всем, прося дать хоть какие-нибудь сведения, проливающие свет на это дело. Я заболел нервным расстройством, но сведений не дал.

Я еще не был готов. Я еще был не тот, что сейчас. Я не мог сказать громко: предатель Михаила Бейдемана, заключенного без суда и следствия в Алексеевском равелине, — я, Сергей Русанин, его товарищ по Константиновскому училищу.

Совсем недавно собраны и оглашены подлинные архивные документы об особо важных, доныне таинственных узниках.

Иван Потапыч, мой хозяин из общежития, приносит книжку, другую. Принес и эти листки. Сам прочел и дал мне: вот, говорит, житие многострадальных людей; хоть и злоумышленники они, а без слез не прочесть.

Взял я, многократно прочел... О, как жестоки, как обличительны неподкупные события в кратких сведениях о Михаиле! Земля ушла из-под ног. Некая громада рухнула, придавила. Так, верно, бывает, когда минер той самой миной, что им заложена, чтобы взорвать неприятеля, взрывается сам. Шестьдесят один год тому назад была заложена моя мина.

Да, конечно, не мне, старику, пережившему четыре царствования четырех императоров, было безнаказанно переживать революцию.

Зачем не погиб я с доблестью, как погибли товарищи, на поле бранном или по приговору Ревтрибунала как несокрушимый, но честный враг? Кем войду я в память потомства? Как назовут?

Но будь что будет: мой час пробил, и я все расскажу.

От производства шестьдесят первого года сейчас нас осталось два константиновца: я и Горецкий 2-й, генерал от инфанте-

рии, кавалер Георгия высшей степени при золотом оружии. Ныне Горецкий 2-й с трудкнижкой — Савва Костров, гражданин города Велижа, надзиратель в театре за мужской уборной.

Наголодавшись, он доволен тихим местом, хвалится, что порядок навел образцовый, а чаевых столько, что хватает ему на халву. Человек, в свое время проевший два состояния, ныне, как маленький, рад фунту халвы.

В последнюю встречу я спросил его: «А помнишь ли, братец, атаку аула Гильхо?» Взбодрился, замахнулся, как саблей, старой шваброй, которой тер изразцовый пол своего учреждения. Подробно вел речь. Но вот генерала назвал он неверно. Не Войноранский, а сам он, Горецкий 2-й, в безумной вылазке взял этот аул.

Старик пропустил себя, забыл свое имя. Михаил Бейдеман в безумии звал себя — Шевич, запомнив случайную надпись на стене, а я... да неужто исполнится надо мной то предсказание в Париже?

Но это не к делу. Хотя, конечно, как говорят китайцы, предав гласности мои записки, я потеряю свое лицо.

Еще при жизни выпадает на долю иного человека умереть и будто жить снова. Вернее, какой-то оставшейся силой, объедками себя самого, таскать, пока оно не истлеет, свое изможденное тело.

Горецкий 2-й на коне, перед войском, сабля наотмашь, — так его печатали полвека назад, — и он же блюститель уборной.

Я дал ему на четверть фунта халвы, когда недавно, прощаясь, поцеловал его, единственного, который знает меня как Сергея Русанина.

Когда рукопись эта появится в свет и о том, кто был я в отношении к другу, узнает всякий, надо надеяться, я не буду в живых.

Вон оно предо мною — роковое мне изыскание о судьбе Михаила! В комиссию архивных работ пошлю и я свою лепту. В ней будет заключаться как раз то, чего узнать невозможно ни из каких источников, кроме одной моей погибшей души.

Я живу в большом доме, имеющем историческое прошлое. В зале его с лепным потолком бывали блестящие балы, а у меня — первые успехи в свете. Позднее, при переходе дома в частные руки, я там продувался на бильярде Горецкому, который без промаха резал шара и в среднюю лузу и в угол и знаменит был своими клопштоссами. Там же, в отдельных кабинетах, мы напивались до положения риз, и лакеи, завернув нас в николаевки, развозили под утро домой.

У меня кутежи эти были припадками от невыносимых страданий несчастной любви к Вере, — о ней повесть ниже. Особенно бесшабашен был я в тот год, когда Михаил прямо из войск Гарибальди, едва вступив на границу Финляндии, пропал без вести

и, как сейчас только стало известно, уже на веки вечные был замурован в каменный мешок равелина.

Но вернемся к порядку дня, как сейчас говорят...

Ныне я помещаюсь на третьем дворе, в самом поднебесье этого многопамятного мне дома.

Меня взял жильцом-нянькой к внучатам Иван Потапыч, бывший лакей последнего владельца.

Ивану Потапычу всего шестьдесят лет, и он крепкий старик-бобыль с двумя девчонками. Невестку с сыном унес тиф, дети сами пришли к дедушке, куда же им еще?

Здесь, в доме, общежитие и столовая. Потапыч ходит мыть посуду, за что повар ему отпускает обед: супа — три порции, второго — две. Одной тарелкой с ломтем черного хлеба я сыт, пусть едят молодые. А к детям я привязан. В эти страшные годы только с ними забывался порой.

Ну, сейчас не до них; впрочем, и я им не нужен после того, как отвел их в школу. Со второго дня они пошли сами.

Потапыч день-деньской при посуде, говорит: «При нэпе все взбогатели, опять пачкают и мелкое и глубокое».

До сумерек в комнате никого. Когда я не на промысле, то можно писать. А промысел мой один — подаяние. Я хожу вдоль Невского по теневой стороне, от Полицейского моста до Николаевского вокзала, норовлю на трамвае обратно. Беда с ногами, пухнут ноги-то!

Когда прошу, много знакомых лиц вижу; все тем же заняты. Они меня не знают, а я узнаю. Хотя сам я, как сказано, давно выбыл из строя, но, приезжая в столицу, новым ходом жизни интересовался. Показывали видных людей, называли...

Ну, а сами-то небось знают друг друга досконально. Но, хотя и с протянутой рукой, бывает, столкнутся, — а все будто незнакомые. Так им легче.

Вот товарищ министра, да какого... продает газеты. Среди них — ныне модный «Безбожник». Ежели у покупателя вид неопасный, вроде прежнего, продавец не удержится, скажет: «Это вам стыдно, гражданин, покупать». А когда ему обратно: «А продавать вам не стыдно?» — вспыхнет, уйдет бородою в пальтишко, прошепчет: «Мне неволя!»

Однако зря я болтаю все. К делу. Затруднительно мне сейчас выражение мыслей плавное и в последовательности. Все я с детворою, и у самого речи детские. Но предполагаю так: не стесняя естественности изложения, буду писать, как пишется, без отсекновения само собой вступающей современности. Перед отправкою рукописи в «Архивные изыскания» сделаю выборку и приведу все в отменный порядок, имеющий в виду одну цель: по мере возможности воскресить многострадальную память друга.

Для экземпляра, предназначенного гласности, коплю белую линованную бумагу первейшего сорта, для чего удвоил свою прогулку по Невскому, предприняв ее по солнечной стороне. А в трамвае платном я себе отказал. Если кондукторша не везет христа ради (а «подайте безработному товарищу», как ныне принято, я не прошу), то на ближайшей остановке слезаю и тихо бреду, как пес, в свою конуру.

Все сторублевки коплю я на бумагу, перо и чернила для чистового. Этот же черновик предпринимаю на обратной стороне страховых квитанций былого Центрального банка. Квитанции эти наши девочки в обилии натаскали из нижнего этажа.

Пойдем же, читатель, шаг за шагом за мной по скорбным следам Михаила, со дня нашей с ним первой встречи. И прежде всего к Обухову мосту, где стоит наше училище. Там были мы юнкерами, оттуда были выпущены в один и тот же Орденский полк.

Наше училище мало изменилось с тех пор. У него все тот же благородный фасад с александровской колоннадой; только проспект, на котором он стоит, переименован в «Международный», как отражающий революционное время, и на самом училище значится красными буквами так: «1-я Артшкола».

Но попрежнему возглавляют окна первого этажа львы, держащие в зубах кольца, а повыше — шлемы с перьями. Две пушки при входе — не наши, это после переименования училища в артиллерийское. В мое же время оно было пехотным, так что присвоены нам были винтовки, и ходили мы держать внутренний караул во дворец, посещали балы в институтах, словом — были на положении гвардейских училищ. От этой близости к жизни двора, от чтения заграничных изданий, в частности проклятого «Колокола» господ Огарева и Герцена — вся трагедия Михаила. Но о ней — в свое время...

На входных воротах училища и сейчас щиты со скрещенными секирами, а за каменным желтым забором — тенистый сад. Белые легкие березки иные разрослись в два обхвата.

Круто замешены люди нашего века: пережить то, что пережил я, а память не только свежа: все, что ни вызовешь, — оно тут как тут, перед тобою.

Я помню план нашего сада, всматриваюсь, узнаю: да, конечно, это они. Вот те два стройных клена среди лип, знак краткой дружбы с Михаилом. Помню, как мы прочли вместе Шиллера и в честь Позы и Карлоса, — а я, со своей стороны, подразумевая нас обоих, — посадили эти два деревца.

О, сколь знаменательны порой и чреваты содержанием иные выражения чувства!

Я зашатался, кружилась голова. Острой болью рвануло сердце. Опираясь на палку (спасибо внучкам Потапыча, что при-

делали к ней резиновый наконечник, не скользит больше палка), я сел на тумбу против забора.

Афиши рябят перед глазами: «Общество друзей воздушного флота»... «Призыв к красной деревне красных инструкторов»... «Реформа старой церкви». И тут же, превыше всего, с разноцветными какими-то змеями: «Синтетический театр». От трапеции до трагедии покажет все один, как есть, Кобчиков...

И как это управится он один? Прыгает в бедной моей голове, и кажется мне, что я с ума сошел. Не вместить мне, не выдержать своих мыслей. Ведь рядом с тем, что кругом себя вижу, возникает еще с большей яркостью то, что сметено историей в могилу. Сметено, да не забыто!

Помню нашу первую встречу. Я достаивал штрафной под часами за опоздание на молитву, когда Петька Карский, пробежав мимо, крикнул:

— Из Киева к нам хохлов привезли, а с ними сам чорт, ей-богу!

Новичков провели мимо меня в баню. Их было четверо. Трое, как говорится, без особых примет, но последний, высокий и тонкий, с черными бровями, был весьма приметен. Еще выделялся он тем, что ни в одном движении у него не было общей всем нам фрунтовой невыразительности.

Голова чуть закинута назад, шаг свободный, и на бледноматовом лице, с резкою, как бы углем обведенною бровью, печаль и задумчивость. Мне он показался очень красив и понравился.

В этот же день вечером произошел наш первый, знаменательный разговор с Михаилом. Оказалось, что кровать его рядом с моей. После ужина и молитвы юнкера в дортуаре одни, и это было наше самое любимое время.

Хотя карты строго воспрещены, но, разумеется, у каждого под матрацем колода, и сейчас, пользуясь бесконтрольностью, дуются. Для отвода глаз на столе целая фортеция библиотечных книг, и по жребию выбранный читает вслух. На этот раз чтение было не только отводом глаз: вокруг выбранного густо сидели на скамьях и на столе, жадно слушая увлекательные главы «Князя Серебряного». Роман еще не вышел из печати и в редком рукописном экземпляре попал от приятеля автора к юнкерам.

— И охота жевать расписной пряник на розовой водице, — сказал досадливо Михаил, проходя к своей койке. Ни чтец, ни слушатели не обратили на эти слова внимания, но я их себе очень отметил.

Я слышал от тетушки моей, графини Кушиной, что недавно весь двор восхищался «Князем Серебряным», которого автор самолично читал на вечерних собраниях у императрицы. По окончании чтения императрица поднесла графу золотой брелок

в форме книги. На одной стороне стояло: «Мария», на другой: «В память «Князя Серебряного», и в образах муз портреты прекрасных фрейлин-слушательниц. Правда, князь Барятинский нашел роман этот пустым, но это, конечно, была лишь понятная зависть одного светского человека к светским успехам другого. Но Михаил ведь ни по рождению, ни по вкусам не стремился к придворной жизни. Какой же зуб он мог иметь против графа Алексея Константиновича Толстого?

Я лег в свою постель рядом с постелью Михаила, и, видя, что он еще не спит, я спросил его о значении брошенной им фразы. Он разъяснил охотно и без всякого высокомерия, как я ожидал:

— Видите ли, сам граф Толстой, как мне доподлинно известно через одного близкого ему друга, говорил, что, изображая обезумевшего от власти деспота, он часто бросал перо — не столько от мысли, что мог существовать такой Иоанн Грозный, сколько от мысли, что могло существовать общество, которое терпело его и ему покорялось. Но этого своего гражданского чувства он в роман не перенес, а покрыл его сусальною позолотой. Вот на трилогию, которой он теперь занят, надеюсь я более.

— А я слышал, что эта трилогия — затея предерзостная и едва ли будет одобрена нашей цензурой.

— Очень возможно; в трилогии, хотя прикровенно и косвенно, но как-никак убивается самодержавие, — сказал Михаил. — Конечно, это в случае, если будет таково выполнение, каков проспект, поведанный графом в кружке приятелей. Опять Иоанн Грозный, в угоду своему тиранству, попирает все права человеческие. В лице царя Федора, лично высокого, развенчание царской власти как таковой. Борис Годунов — реформатор. Но борьба за власть убьет его волю и сведет с ума... Да, подобное произведение сейчас, накануне реформ, когда писатель-гражданин так желателен, можно приветствовать.

И с особой выразительностью он произнес:

— Ведь наверху раньше всех должны понять, что реформы и самодержавие несовместимы! Начав делать реформы, надлежит отказаться от самодержавия, которое есть злая ложь.

В окно смотрела луна прямо в лицо Михаила. С пламенными глазами и вдохновительной бледностью оно было и прекрасно и страшно.

— Я возмущен вашими словами, — сказал я, — и даже не позволю себе понимать их во всем их значении. Они меня оскорбляют.

— Вот как? Это мне любопытно! — и Михаил, приподнявшись на локте, с вниманием меня оглядел, как будто увидел впервые.

Это была его особенность. Он не различал людей, когда говорил. Так сильна была его собственная внутренняя жизнь, что, лишь встречая противодействие, он, как степной конь, наскочив на препятствие, взвивался на дыбы и сверкающим оком глядел, куда ему дальше ступить. Впрочем, у него было много природной мягкости и нежелания задеть лично.

— Отчего же вам оскорбительны мои мнения?

— Мои противоположны, — сказал я. — Моя тетушка, графиня Кушина, заменившая мне мать, воспитала меня не только в чувствах верноподданного, но и в религиозном обосновании этих чувств.

— У вашей тетушки бывают славянофилы? — прервал меня Михаил.

— Не они именно, но писатели, не чуждые им, бывают. Вот не хотите ли пойти со мной туда в первое воскресенье?

И сейчас не могу понять, как это я мог позвать Михаила. Впрочем, пугаясь бестактности, которая могла бы легко возникнуть по причине его дерзких суждений, я, спохватившись, тогда же сказал:

— Предупреждаю вас, моя тетушка против немедленного освобождения крестьян, так что для вас многое в ее гостиной может оказаться не по душе.

— Это нимало меня не смущает, — возразил Михаил. — Чтобы вернее разбить врагов, их надо видеть вблизи!

И, засмеявшись, он сверкнул мелкими белыми зубами.

В нем как-то не было переходов. Начиная с шага внезапного и резкого, все, до черных бровей на белом лице, до прыжков речи от угрожающей к детски доверчивой и простодушной, все обличало в нем, как теперь принято выражаться, глубокую неуравновешенность души. Но, быть может, как раз это его качество и притягивало меня, выросшего в дисциплине строжайшей, неодолимым очарованием. И как внезапно ввел я его в недра нашей семьи, так некий злой гений двух наших судеб толкнул меня не только познакомить его с отцом Веры — Лагутиным, но и рекомендовать его отменнейшим образом — причина, почему чуть ли не с первого знакомства Михаил получил приглашение приехать на каникулы в лагутинскую усадьбу.

ГЛАВА II

Тетушкин салон

Библиотека моей тетушки, графини Кушиной, где велись воскресные разговоры, была комнатой, обличавшей пристрастие хозяйки к наукам оккультическим. В такой комнате мог бы проповедовать граф Сен-Жермен и начать свои успехи Калиостро.

Над бархатным угловым диваном шли в причудливых рамках картины, вскрывавшие, по свидетельству тетушки, символику девяти Дантовых адских кругов. Самого Данте тетушка относила к адептам того же тайного ордена, к которому, по намекам, принадлежала и она с юных лет. И вот почему, указуя на противоположную стену, украшенную диаграммой ее собственноручной работы, а может быть и измышления, тетушка любила сказать:

— Мое вдохновение совершенно подобно вдохновению Дантову, и ежели б этого он не признал, то, уж конечно, не стал бы давать мне знак утверждения, троекратно стуча ножкой столика.

В эту зиму сделалось модным верчение столов и общение с духами, чем, как известно, увлекались не одни поэтические головы, подобные Федору Ивановичу Тютчеву, а люди значительно посолидней.

Диаграмма тетушки, которую называла она: «Птоломеева система применительно к государству Российскому», занимала всю стену и по первому взгляду казалась огромной мишенью, какие бывают в тирах летних садов, — развлечением для стрельбы в цель.

По лазурному атласному фону, долженствующему изображать небесную сферу, шел огромный белый круг, включающий в себя, с небольшими просветами, еще несколько концентрических кругов. Все круги были нашиты тетушкой на первоначальную сферу небесной лазури. Помнится мне, яркожелтый круг, включенный в круг белый, достоинства божественного, обозначал самодержавие, а в дворянский, травянисто-зеленый, цвета надежды, включен был круг черный, круг труда землепашца. Все круги были отменного материала, обметаны чудесным тамбурным швом и включены, как пасхальные яйца, друг в друга. Получалась приятная глазу и завлекающая воображение выразительность.

И, поясняя диаграмму своей маленькой ручкой в перстнях, говорила тетушка какому-нибудь стороннику немедленного освобождения крестьян:

— Как это ты, батенька, хочешь расстроить гармонию русской сферы? Едва один кружок выхватишь — ан все и отпорются. Тамбурная строчка на том и стоит, что петля в петлю вяжется: тут либо все сохрани, либо чуть тронь — пойдет прахом.

У тетушки в библиотеке бывал писатель Достоевский, или — как тогда звали его в нашем кругу — Достóевский. В то время первоклассным его никто не почитал, а переводя оценку литературную на более мне обычную в военных чинах, не совру, ежели скажу, что ходил он, приблизительно, не более как в майорах. Григорович против него был полковником, а уж генералом — как тетушка раз навсегда решила — Иван Сергеевич Тургенев.

Soirées[1] тетушки распадались обыкновенно на две части. Первая, так сказать, разговорная часть протекала в библиотеке, завершаясь легким чаем, вторая — был ужин в парадной столовой для связей сердечных и родственных.

В библиотеку вхожи были люди разного чина и звания, но к ужину оставались строго свои.

И библиотечные гости сами знали, что званы только на чай, после которого прощались с хозяйкой.

Взяв на свой страх появление Михаила, я дорóгой просил его выражать свои мнения без резкости, а того предпочтительней хранить их про себя.

— Не беспокойся, — сказал он мне, — будущий деятель обязан учиться и наблюдению.

После этого разговора о «Князе Серебряном» мы на другой же день с Михаилом стали на «ты». Как будто по взаимному уговору, мы больше с ним в политические споры не вступали, безотчетно не желая расстраивать тех не подверженных человеческой воле симпатических нитей, которые, по неисповедимым наукой причинам, как в любви, так и в дружбе притягивают иной раз ни в чем не сходных между собой индивидуумов.

Не происходят ли такие пересечения с людьми по предначертанию каждому данного гороскопа, чтобы совершились над каждым все ему присужденные в нашей грустной юдоли испытания? Из дальнейшего будет видно, что с нами обоими вышло именно так.

Мы вошли в библиотеку. Михаил с нарочитым почтением подошел к ручке тетушки, на что та в ответ благосклонно сказала ему, по своему обычаю обращаясь на «ты»:

— А, Сережин приятель! Что же, послушай нас, стариков, да на ус намотай. Аль не выросли?

Тетушка — в седых буклях, с яркими глазами — одевалась всегда в черный шелк, с воротником драгоценного кружева. А ручки ее были в перстнях с амулетными камнями. Постоянство избранного ею облика и чудачества выделяли тетушку из других дам ее круга, подверженных изменению моды, и придавали ей интересность загадки.

В библиотеке, кроме отца Веры, Эраста Петровича Лагутина, осанистого старика, сегодня были мне сплошь незнакомые новые люди: нарядные дамы, много военных и бледноликие «архивные» юноши. Последние еще Пушкиным остроумнейше аттестованы так: «Стоит их тронуть пальцем, дабы полилась из них всемирная ученость, ибо они всё знают, они всё читали».

Когда мы вошли, эти юноши друг за дружкой, как молодые борзые, еще не умеющие травить зайца, накидывались на невы-

---

[1] Вечера *(франц.)*.

сокого средних лет человека, стоявшего спиной у окна. Он отвечал им с поразившим меня раздражением и совсем не в той манере, какая принята для светского разговора.

— Это Достоевский! — шепнула мне тетушка, зараз и с гордостью и с снисходительным извинением, как о человеке, не знающем обычаев нашего круга.

— Да, я написал это в статье и повторять не устану, надо веровать, что русская нация — необыкновенное явление всего человечества! — выкрикнул Достоевский.

На слова «всего человечества» он так сильно нажал, будто собирался навеки вдавить их в лоб слушателей. Я заметил — это многих покоробило: всякая подчеркнутость для светских людей — признак дурного тона, а он словно весь был подчеркнут. Движения угловаты, голос глух и без основания выразителен. Словом, в нем не было и тени той одаряющей приятности, благодаря которой человек, на деле вам ничем не помогший, запоминается вами с благодарностью навсегда.

— Как это вы, сударь, сказали? Мы, русские, явление в истории человечества? — разъярился вдруг один почтенный, очень европейский старичок. — Как? И даже при условии, что в семье цивилизованных народов мы всего без года неделю, да и то под понукой дубинки Петровой?..

— À propos,[1] — прервал другой старичок, давнишний поклонник тетушки, как опытный светский рулевой торопясь перевести колючий разговор в спокойное русло, — à propos — кто помнит, господа, как недавно Погодин убил наповал одну славянофильскую Музу, осуждавшую между строк как раз вот эту дубинку Петрову?

Архивные юноши пустились наперебой приводить цитату Погодина: «Хоть каша, замешенная Петром, и солона и крута», — начал один, а другой на лету словно блюдо выхватил: «да по крайности есть что хлебать, есть чем быть».

Положение было спасено, и светский салон не утратил своего легкого, порхающего характера без углубления в тяжелые материи во вкусе учителей-бурсаков, если б не легкомыслие кузины.

— Почему именно русским вы отдаете такой преферанс перед англичанами и французами? — сказала она и наставила на Достоевского свой черепаховый лорнет.

По началу Достоевский ответил даме как бы шутя:

— Англичанин, сударыня, до сих пор не любит видеть никакой разумности во французе, и обратно — француз в англичанине. И тот и другой в целом мире замечают лишь себя самих, а всех других мыслят как себе личное препятствие...

---

[1] Кстати *(франц.)*.

Но уже через минуту Достоевский забыл и о барыне и о салоне. Отдаваясь потоку собственных заветных мыслей, он, как ураган, смял плотину всех светских обычаев. При этом, не соразмеряя силы своего голоса с комнатой, он пустился громить, как с трибуны.

— Таковы все европейцы. Идея общечеловечности все более стирается между ними. Вот причина, почему они совершенно не понимают русских и величайшую особенность характера нашего, способность всечеловечности, они называют безличием. Сейчас особенно, когда христианская связь, соединявшая народы, с каждым днем теряет свою силу, сейчас особенно необходима...

В эту минуту случилось необычайное для нравов салона.

Михаил, не сводивший горячих своих глаз с говорившего, забыв все свои обещания и то, где он находится, шагнул вдруг на середину комнаты и, не владея собою, крикнул:

— Если прежняя связь, соединявшая народы Европы, слабеет, то это лишь признак того, что связь старую должна сменить новая — социализм!

Это был удар грома. Ахнули дамы, перешепнулись архивные юноши, тетушка грозно встала. Один лишь Достоевский, слегка побледнев, с интересом глянул на Михаила и сказал:

— Наш спор с вами длинный, зайдите ко мне как-нибудь...

Неизвестно, каков был бы финал этого фармазонского выступления Михаила, если бы не подоспела на помощь одна не относящаяся к делу случайность.

Лакей, подносивший тетушке чайный поднос, где был огромных размеров английский чайник кипятку, поскользнулся и должен был обварить Лагутина, сидевшего рядом, если бы не Михаил. Он стоял сзади и одним порывом заслонил собою старика. Весь чайник кипятку, таким образом, он получил на свою правую руку, которая немедленно стала багрово-алой.

Дамы разохались, тетушка принесла мазь и бинты и, властно засучив рукав Михаила, стала делать ему перевязку.

Здесь я должен оговорить одно как бы пустяковое, но для дальнейшего крайне важное обстоятельство: немного выше запястья у Михаила была черная родинка, по форме совершеннейший паук. Как пером, отмечены были на белой коже тонкие ножки. Паук этот — следствие испуга матушки Михаила, когда она им была в тягости.

Паука этого одна сердобольная девица, — как сейчас помню, — слегка пискнув, пыталась смахнуть кружевным платочком с руки Михаила, в ответ на что он превесело рассмеялся и рассказал происхождение диковины.

Гости изъявили сочувствие пострадавшему, шутили над пауком и девицей. Михаил отшучивался и просил тетушку помиловать лакея, его обварившего.

Так в светском обществе ничтожное обстоятельство меняет впечатление от всей личности. За минуту подозрительный и пренеприятный юноша стал вдруг всем мил и любезен.

— Молодой человек, — сказал Михаилу старик Лагутин, нюхая из табакерки с той вельможной жеманностью, как это умели делать одни лишь старинные люди, — вы спасли мне больше, чем жизнь. Вы спасли меня от ужаса быть ridicule.[1] Сегодня мне надлежит появиться на рауте в Михайловском дворце, а с лысиной, вздувшейся пузырем, я бы принужден был сидеть дома, обвязанный платком à la московская просвирня.

Достоевский откланялся и, проходя мимо, еще раз сказал выразительно Михаилу:

— Итак, я вас жду для дальнейшего спора.

Михаил молча ему поклонился.

В салоне стало весело: остряки подробно вычисляли возможный полет чайника и смехотворно выводили, у кого и что именно должно было быть обваренным, если б не смелая интервенция Михаила.

На прощанье тетушка ему сказала:

— Приходи с Сергеем еще; хоть ты, батюшка, и зубаст, да зато не квелый, как архивные. Ну, дай срок, мы тебе зубы обточим. Ты из киевского корпуса, говорил Сергей; знаем, чьи это штуки...

Тетушка намекала на известных киевских педагогов: одного — родню Герцена, другого — учителя словесности с вреднейшим направлением.

Михаил, к радости моей, ничего не возражая, лишь вторично приложился тетушке к ручке.

Да, я опять должен оговорить второе примечательнейшее обстоятельство: среди гостей присутствовал один человек, на которого обваренная рука Михаила не произвела вовсе действия, смягчившего и даже как бы совершенно затушевавшего его дерзкую фразу о социализме. Человек этот был молодой блестящий генерал, граф Петр Андреевич Шувалов, начальник III отделения, высокий красавец с таким правильным и породистым лицом, что в своей неподвижной белизне оно казалось отлично раскрашенным мрамором. В движениях его не было ничего лишнего: точная определенность, как следствие способности к мгновенной обдуманности поведения.

Шувалов вышел вместе с нами в переднюю. Старый тетушкин лакей ловко набросил на плечи ему николаевку. Плотно запахиваясь, Шувалов сказал, глядя своим острым взором в черные глаза Михаила:

---

[1] Смешным *(франц.)*.

— Молодой человек! Примите дружеский совет и остережение: не всякая поспешность может завершиться удачно. Памятуйте также одно изречение Кузьмы Пруткова: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития».

Михаил, сверкнув своими зубами, не без задора ответил:

— У Кузьмы Пруткова есть и применительно к вам, ваше превосходительство, нравоучительное изречение: «Не все стриги, что растет».

Шувалов мило улыбнулся, как светский человек, показывая, что в частном доме он вовсе не начальство, и как-то знаменательно сказал Михаилу:

— До свиданья! Мы еще с вами, конечно, увидимся.

О, сколь горестно сбылось в скором времени его предположение!

По дороге домой я сказал Михаилу:

— Советую тебе быть с ним осторожней; он управляющий Третьим отделением и жестокий карьерист, не оглянешься — подведет.

— Какое мне до него дело! — вспыхнул Михаил и, понизив голос, сказал с глубиной, незабвенной до последнего дня моей жизни: — Поверь, Сергей, я, как Рылеев, уверен, что погибну, но пример мой останется. Ибо, как истинно утверждал этот герой-поэт, вся сила, вся честь революции в словах: «Каждый — дерзай!»

По спокойной ленивости моей природы и привычному доверию, что рука промысла ведет каждого неисповедимыми путями, я не стал противопоставлять Михаилу авторитетные в нашем доме, совсем иные взгляды на земное устроение. К тому же, после напоминания тетушки о вольнодумстве киевских педагогов, я понял, что атеизм и мечтания революционные не были следствием испорченной натуры Михаила, а лишь чужими перенятыми мнениями.

Я решил противоречить ему только в крайности, а лучше всего, не теряя с ним чисто приятельской связи, водить его чаще к тетушке, где он будет встречать людей, не менее господ Огарева и Герцена желающих пользы отечеству, но с пониманием последней в совершенно иной диспозиции.

О, сколь розовы и детски неопытны были эти мечтанья! Михаил наотрез отказался посещать салон тетушки, угрюмо сказав: «Хороший охотник не ходит дважды в то же болото». Впрочем, со мной он стал так усугубленно ласков, что меня это даже задело; он, будто с игрушкой, отдыхал со мной от своих мрачных дум, любил бороться, загибать салазки, играть в чехарду. Бывал он приступами бурно весел, а порою чувствителен; именуя меня пастушком с картины Ватто, он просил читать вместе

Шиллера. Вот тогда-то мы оба пленились дружбой маркиза Позы и Дон-Карлоса и посадили в училищном саду деревца.

Впрочем, глубокое значение нашим отношениям, как вскорости оказалось, придавал я один. У Михаила уже к тому времени все, даже священнейшие чувства были одним только средством для приближения к злодейскому замыслу, которым он был одержим.

ГЛАВА III

Поездка к озеру Комо

Мне сейчас предстоит переход к тому этапу наших отношений с Михаилом, когда событие на балу в институте превратило его из пленительного друга в заклятого врага, не только личного, но и политического.

Но как мне сейчас говорить о последнем обстоятельстве, когда, благодаря произведенной в стране революции, во мне самом, как уже сказано, произошло изменение, вырвавшее с корнем доверие к себе самому!

Так многократные бури вырывают крепкое, но ниоткуда не защищенное дерево.

Окончательно убедился я в том, что не только подточен фундамент, а, как негодное, рухнуло все мое внутреннее здание, когда я попал в упомянутый выше день, 12 марта, на Дворцовую площадь.

Я переходил эту площадь, как всегда, с особым волнением. Вот она, все та же, вознесенная при императоре Николае, Александровская колонна, и все тот же над колонною ангел. А над Главным штабом все та же квадрига; и рвутся кони. Я уже семьдесят два года, с десятилетнего возраста, все помню, как рвутся эти кони, а их держат воины.

Сейчас на площади — четыре громадные мачты. Верхушкой они выше штаба, и на каждой крылатое красное знамя. От главного полотнища, как от хоругви, с обеих сторон легкие лопасти-ленты. Они вьются красными змейками.

Человек вверху, снизу глядеть — малый карла, укрепляет знамя. Развернулось оно, блеснуло серебром, и явственны буквы: «пал западный фронт». И второй, и третий, и четвертый столбы — все увенчаны алым, на всех серебро: «пал восточный, пал южный, пал северный». Эти знамена — в память недавно бывших четырех фронтов. Были — и нет их.

И кто, кто поймет человека? Ведь какой гордостью взыграло мое старое сердце былого вояки! Спохватился: что такое? Эти знамена не меня вовсе касаются, даже совсем наоборот. Я, начальник эскадрона, я, который из уст своего государя слыхал: «По-

здравляю тебя георгиевским кавалером»... я, который верил всю жизнь, что монарх помазан свыше... И когда, в семнадцатом году, пришел к Потапычу рабочий и сказал: «Чхеидзе смеется, что помазанник смазан», я ведь в петлю полез. Вынули, отходили, зачем? Чтобы мне дожить до предела скорбей? Стать себе самому и палачом и казнимым?

Да, как палача к лобному месту, влечет меня к этой площади. А дойду — там мне казнь. Разве могу, например, не припомнить, как впервые мальчонкой тут я шел с моим батюшкой, лейб-гвардии сапером? Батюшка, указуя на дворцовое крыльцо, с волнением сказал:

— Сережа, в незабвенный день четырнадцатого декабря двадцать пятого года хранимый высшей силой император Николай нам, саперам, вручил отсюда своего первенца-цесаревича. Царь приказал лобызать отрока первому от каждой роты; я был одним из счастливцев.

Сейчас здесь уже красные войска. Как-то перед концом зимы, когда выдалась совсем необыкновенная погода, прибрел я на это свое лобное место. Туман стоял такой густоты, что Главный штаб был затушеван до незримости как бы множеством кисейных завес. Кто-то, тоже незримый, с высокого амфитеатра производил смотр войскам, и проходили войска. Будто из бесконечности возникали. На миг явственны — и, глядь, уже канули в ночную бесконечность.

Впереди Балтфлот в курточках, брюки клеш, с наушниками шапки. За Балтфлотом, как зимние зайцы-беляки, мохнатые белые лыжники; дальше — кавалерия. Из молочной перламутровой мглы выступают одни лошадиные морды да первых рядов молодцы; крупы коней уже тонут в тумане. Над конями, от половины, как бы возникает из облаков колонна и над нею ангел черный и громадный. И столь дивно звучала команда откуда-то и ни от кого! Люди слушали и, как прежние, заводные, шли.

— Почище старых, — сказал кто-то в толпе. — Те, ровно бараны, знай, глазами жрали начальство, а эти с собственным смыслом. Сознательные, революционные войска.

Уж насколько они сознательны, и похвально ли вообще это военному, не берусь судить, но что они уже не шантрапа, как их именуют враги революции, а регулярные дисциплинированные войска — очевидная несомненность. А коль скоро есть у страны войско — есть опять и страна.

Как добрел я, не знаю, — шатался. «Эй, назюзюкался самогону!» — кричали мне мальчишки. Добрел. К счастью, в комнате никого. Сел и заплакал.

Штатские люди этого не поймут. Но для военного тут все. И как же это, как? Прежнего уклада жизни нет, а войско есть? Да ведь с войском, дай срок, по всем швам докажут, что воз-

можно прежнее развитие жизни воскресить. А что, если лучше прежнего? Есть войско, есть и страна.

Что же, прав, что ли, был Михаил? Помню его с запрокинутой головой, лицо ветру навстречу. Глаза мечут искры, в руках Герценов «Колокол». Свернув его в трубку, как маршал жезлом, Михаил машет им вправо и влево. И, должно быть, у него в мыслях толпы народа, и это им он кричит своим глубоким гневным голосом:

— Совершенное уничтожение нелепого самодержавия есть вызов к жизни нового строя, новой, прекраснейшей жизни.

И вот опять спрашиваю: что, если окажется прав Михаил, отдав без оглядки свою свободу, свой светлый разум за это дело, и новая жизнь, как уже во многом сейчас примечаю, выйдет окончательно справедливее прежней? В таком случае кто же тут Иуда, который погубил Михаила не только как соперника личного, а как борца за эту вот свободнейшую и лучшую жизнь? Но кому до меня дело! О нем одном речь, пока действует память и хоть дрожит, но выводит буквы рука.

Как уже сказано, наше имение было совсем рядом с имением Лагутиных. Веру по слабости здоровья, не в пример прочим институткам, по настоянию отца отпускали летом домой. Проводя каникулы вместе, мы с ней жаждали видеться зимой. Многие интересы нас связывали: я кончал училище, она институт. У меня всегда было много женственного в натуре, и хотя как воин я не из последних, но втайне знаю про себя, что гожусь только лишь в общем строю. Дерзкая независимость, столь любезная характеру Михаила, мне совершенно чужда. Склонность влекла меня к искусству живописи. Часами я мог поглощаться сочетанием красок и чудесными световыми эффектами. Предполагаю, по тому месту в жизни, которое брало у меня восхищение созерцательное, что рожден я был только художником. Но как в моем звании дворянина и военного не подобало серьезно предаваться искусству, мои качества поэтические, не помещенные как дарование, выражались в чрезмерной чувствительности. Это сразу приметил Михаил и окрестил их «сентиментами Бедной Лизы».

Веру Лагутину я обожал с детских лет, а она мной командовала. Теперь это должно было измениться, но как взять верный тон, я не знал. И можно ль поверить нелепости? Михаила, коему втайне я завидовал как мужчине и хотел подражать, я сам подговорил ехать на торжественный бал, чтобы подсмотреть, как он себя держать будет с женщинами, и затем самому подхватить этот тон. Глупец! Как было мне не понять, что если сам я им столь зачарован, то как избегнуть этих чар существу, которому по самой его природе надлежит быть плененным силой и мужеством?

Но моя голова была полна какими-то грезами, и действительной жизни я не понимал.

Хотя Михаил ехал в институт первый раз, а я ездил постоянно, волновался я больше него. То духи мне казались неприлично крепкими, то думалось, не плохо ли выбрит мой подбородок, то назойливо представлялось, что на блестящем, как зеркало, полу большого танцовального зала я сегодня поскользнусь и с собой увлеку свою даму.

Сколько бы я ни видел его, по моей великой чувствительности к перлам искусства изобразительного я без особого волнения не мог подъезжать к этому чуду строительства графа Растрелли — собору Смольного монастыря.

В тот знаменательный день белые пилястры на голубовато-сером фоне как бы продолжали атмосферу морозного вечера и придавали и без того легчайшей постройке невещественность совершенную.

Башни-церкви, монастырские помещения вызывали память об итальянском зодчестве и преданиях о чудных девах, чудовищах, драконах и рыцарях. За садом, через синий лед Невы, мигали то тут, то там далекие огни в домишках предместья.

Весною, в воскресный день отпуска, я, бывало, любил, взяв у лодочника быстрый ялик, перерезывать в этом месте широкую водяную гладь, не уставая любуясь на несравненные пропорции собора, сизо-дымчатого в заходящих лучах. Я любил воображением выполнять иной план Растрелли, превысивший безумием своей сметы даже расточительный век Елизаветы, почему он и не получил заслуженного воплощения.

Первоначально Растрелли затеял взметнуть на берегу Невы колокольню в шестьдесят саженей, крытую золотом и серебром, с белоснежными украшениями на фоне ослепительной бирюзы. Для постройки заведены уже были особые кирпичные заводы, к заводам приписаны были деревни, а чугунная черепица отливалась под руководительством иностранного мастера.

О, зачем не рожден я был в век Возрождения, когда все три Парки, по велению Рока, первенствующей нитью вплели в историю человечества пробуждение чувства к прекрасному! Там был бы я не последним жрецом.

Но, капризно для смертного, ныне судьба путает этикетки. Не в своем веке, в чужом духу его окружении, не на своем месте рождается человек. Впрочем, Яков Степанович, мудрейший из старцев, которого я в дальнейшем введу в свой рассказ, пояснил мне строптивые недоумения моей мысли так:

— Премудрость строения мира противоположна человеческой справедливости, и все наше горе лишь в том, что нам этого нечем понять. Но ежели б поняли, то не дивились бы, почему, например, на убийство избирается тот, кому в тайниках сердца

нет тяжелее пролития крови, а кровожадный поставлен в условия благодетеля. Исполненный дарований бьется ради хлеба насущного, и скудны в своем тупоумье богатые... Но посуди: разве по добровольному хотенью человек впряжется в ярмо или глянет внимательно в жизнь другого? Нет, как стрела, метнувшись из лука, он полетит по одной своей линии. Но люди — не одинокие стрелы, а малые капли. Из них надлежит быть великому океану. Вот для того, чтобы могли мы расширить свои берега, полезно каждому и работать и жить не в своей скорлупе.

— Впрочем, — прибавил Яков Степанович, — понимать это надо особенно, а не то усугубишь ерундистику жизни.

Однако я так отвлекся, что и для черновика разорительно. Бумагу-то из подвала таскать запретили. Вчера девочки набрали полный подол, а управдом налетел, велел им снести назад в кучу. Но все же об институте скажу несколько слов.

Моя тетушка, графиня Кушина, рассказывала мне, что первоначальный замысел Екатерины был создание воспитательного заведения для образования «новой породы людей», при ближайшем участии, как во Франции, просвещенных монахинь.

Для этой цели святейший синод посылал московскому митрополиту указ персонально пересмотреть игумений и монахинь, чтобы выбрать достойнейших. Но оказалось так мало грамотных и хотя бы только пригодных для услуживания в лазарете, что они в небольшом количестве оставлены были, так сказать, для ландшафта. Скоро Екатерина увлеклась в своих поисках влияния на «новую породу людей» в направлении, более соответствующем ее личным вкусам, а именно: привлечением к тому делу Вольтера и Дидерота.

Тетушка Кушина, ненавидевшая энциклопедистов, рассказывала, что Вольтер, давший обещание написать благонравную комедию для девиц института, но привыкнув выводить одни лишь кощунства, всякий раз, приступая к сей невинной работе, заболевал сильным расстройством желудка. Екатерина жаловалась Дидероту, что за преклонностью лет старик не способен на изящное творчество для театральных упражнений девиц, на что Дидерот, не меньше безбожник, доподлинно отвечал: «Комедии для девиц будут составлены мною, и притом ранее, нежели я достигну преклонных лет».

Но, как известно, Дидерот не потрафил императрице, настаивая на преподавании в институте в первую голову анатомии — науки, по мнению тетушки Кушиной, почти что лишавшей девицу невинности.

В традиции Смольного до конца его существования живописно вплетены были эти обе ноты, при его основании взятые Екатериной: нечто от монастырской повадки в соединении с прелестной живостью светскости вольтерьянской. Воспитанницы

сохраняли свои неуклюжие одеяния из добротной негнущейся ткани зеленого, голубого, кофейного и белого камлота, белые пелерины и фартуки и привязанные рукавчики так же ритуально, как монашенки — облачение монашеское. К этому присоединялись внешняя богомольность, обилие образков, суеверие и ладанки, кроме того — обычай держать за щекой непроглоченный кусок освященного артоса на труднейших экзаменах, запихивание ватки от Иверской, нарочно привезенной из Москвы, во вставочку для пера при письменной математике. Рядом с этим переходили от выпусков к выпускам изощреннейшие способы переписки амурной и легкость завязок и развязок романов с «подоконными супирантами».[1] Последнее производилось без различия сословия и ранга, что отнюдь не имело места при вопросе серьезном о замужестве, которое заключать со «шпаком» или офицером не гвардейцем можно было при окончательной пламенной, «роковой» любви или из-за особых, чисто житейских преимуществ жениха.

Институтки с малолетства до выпуска оторваны были от родной семьи. Под руководительством особо подобранных учителей обучались они разным наукам и упражняли свои таланты в искусствах танцев и рукоделия. Помимо обучения предписывалось развивать, по замыслу основательницы заведения, «веселые мысли» и доставлять им разные «непорочные забавы». Вот почему блестящей кистью Левицкого запечатлено не однажды кокетливое обаяние девиц Хованской, Хрущевой и Левшиной в костюмах маскарадных и бальных.

Со времен екатерининских институт оставался в особом приближении ко двору, и девицы, вследствие частого посещения дворцов и внимания царственных особ, были полны повышенного и несколько экзальтированного монархического чувства, но Вера, под влиянием Линученка, своего побочного дядюшки, о котором будет подробная речь, отнюдь не разделяла общего обожания институток к царской фамилии. Хотя она и была на линии chiffreuse, она настойчиво умоляла отца, не доводя ее до класса пепиньерок, взять домой. Но старому Лагутину, при всем его вольтерьянстве, было лестно, чтобы сама императрица пришпилила шифр[2] к левому плечу его дочери, что давало ей право бывать на придворных балах и приближало к званию фрейлины. Это звание кружило не одну честолюбивую головку, особенно сейчас, когда прекрасная наружность и грация вызывали особое внимание государя и были причиною немалого фавора не только по отношению к взысканной девице, но и ко всем ее близким. Последнее обстоятельство возбуждало порой низкую страсть сводничества

---

[1] Воздыхателями *(франц.)*.
[2] Знак отличных успехов при окончании института.

в ближайшей родне. Так в случае, который предстоит воскресить мне в памяти, заинтересованным лицом являлся не кто иной, как родной отец девицы, титулованной и богатой, но соблазнившейся блеском придворной жизни.

Мы подъехали к зданию самого института. Да, конечно, нужен был изощренный талант Джиакомо Кваренги и его благороднейший вкус, чтобы без скуки и казарменности создать длиннейший фасад в более чем сто саженей, при том, что единственным украшением его являются лишь трижды повторенные полуколонны с роскошными капителями. Институт этот поистине достоин быть рядом с пышной роскошью собора Растрелли. Так великие зодчие, чуждые мелкому соревнованию, умели передавать из рук в руки факел красоты. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю, что Кваренги, в знак особого преклонения перед творением Растрелли, во всякую погоду снимал свою шляпу перед Смольным собором, кланяясь низко его создателю...

Огромный швейцар Матвей Иванович, в красной ливрее с орлами и с бронзовой булавой, нас, как и прочих гостей, встретил при главном входе с поклоном. Старшему швейцару была присвоена двора его величества камер-лакейская ливрея. Другой швейцар открыл дверь, третий снял шинели. Мы натянули белые замшевые перчатки и пошли вверх по мраморной лестнице, устланной красным сукном. Звуки вальса, как шампанское, мне ударили в голову, и я вошел вслед за Михаилом, заранее смущаясь, что не сумею найти Веру.

В громадном белом зале в два света шел в длину по обе стороны ряд стройных колонн. Гирлянды зелени вились от одной стоячей люстры к другой вдоль всех стен. Огромные, в рост, портреты царствующих особ под светом люстр переливали шелками, драгоценностями, слепили горностаевой мантией, но не могли затмить своей пышностью скромной прелести институток. Девицы были однообразно одеты в камлотовые платья с обнаженными шеей и руками, в кисейных пелеринах с большими розовыми бантами. В своей юной свежести они, как нежный яблоневый цвет, облетающий под ветерком, носились в танцах по залу. Начальница — высокая кавалерственная дама в небесно-голубом форменном платье — в окружении целого штата таких же ярких классных дам, в просторечии «синюх», важным кивком отвечала на почтительность наших поклонов.

Всякий раз, когда я попадал в это женское царство, я терялся и то одну, то другую головку принимал за Верину, и мне то тут, то там кричали:

— Сержик, Серж Русанин!

— Вот она у колонны, — указал мне Михаил Веру Лагутину.

Я поразился:

— Как мог ты узнать ее, не видавши?

— В этом нет ничего сверхъестественного, — усмехнулся Михаил. — Мне компасом послужила чудесно спасенная от обварки лысина ее отца: гляди-ка, она отражает, как в зеркале, люстру. Старик — ни дать ни взять индюк в орденах, но дочь очень мила.

И Михаил, не озираясь на меня, своим стремительным легким шагом перешел зал. Он расшаркался перед Лагутиным и, будучи им тотчас представлен Вере, через минуту уже с нею вальсировал. Когда я подошел звать Веру на контрданс, оказалось, что она уже первый отдала Михаилу. Мне ничего другого не оставалось, как стать визави с одной из приятельниц Веры. Рассеянно слушал я щебет своей дамы:

— А представьте, малявок совсем не пустили на бал, но они сделали ужас: вообразите, надушились мылом бергамот!

— Как же так мылом?

— Наскоблили ножом, натерлись — и запахли, как целая лавка сквернейших духов. Душиться ведь нам разрешается только в самых старших классах, и бергамот — неприличнейший запах.

— А какой же считаете вы запах приличным? — спросил я, чтобы поддержать болтовню моей дамы и тем облегчить себе наблюдение над визави.

У Веры и Михаила были совсем не бальные лица. Иногда, как бы спохватываясь, они улыбались и для вида бросали пустые фразы. Но я видел ясно: у них сразу же вышел серьезнейший разговор. И как же могло быть иначе? Вера читала бездну книг, и у нее давно были вредные фантазии. Будучи внучкой декабриста, она особенно относилась ко всем либеральным бредням, а в деревне у нее в столике был заперт томик Рылеева.

— Да, он недаром носит свою фамилию, — услышал я восторженный голос Веры в ответ на что-то, тихо сказанное Михаилом, — я благородней сердца не знаю.

Она сделала ударение на слове «сердце», и я понял, что этот каламбур относился к Герцену.

Мне всегда было страшно за Верино направление мыслей, но сейчас радость соперника охватила меня. Я подумал: нет, так романы не начинаются, быть может Михаилу удастся, как тогда по-новому выражались, «распропагандировать» Веру, но едва ли он пробудит влюбленность в ее воображении. А с вредными его мыслями я через салон тетушки Кушиной сумею вести ловкую борьбу. Тетушка Веру очень любила, и та ей платила взаимностью.

Но происшествие, чрезвычайное по своему значению, как рука великана Гулливера в стране лилипутов, в один миг смело все хитроумные ходы моей маленькой шахматной игры.

Вдруг среди девиц произошло невероятное смятение. Все, бросив танцы, кинулись к окнам с криком:

— Карета в главном подъезде!

Средний подъезд, всегда запертый, раскрывался лишь для царских особ. Классные дамы, пунцовые от волнения, увели куда-то группу красивейших воспитанниц, которые в короткий миг появились снова, облаченные в заготовленные на этот случай парики и костюмы маркиз и маркизов. Прочие институтки выстроились полукружием, скрывая девиц, костюмированных как при Екатерине. При появлении государя с начальницей все, как одна, под приветственные звуки музыки опустились в глубоком придворном реверансе. Заиграл традиционный менуэт. Маркизы с маркизами выпорхнули из засады и, соединившись в колонну, пошли по направлению к царю.

Александр II был в гусарском мундире. Столь эффектный в санях или верхом на параде, как любили изображать его живописцы, он проигрывал без соответственного военного окружения. Он был хорош, как составная часть картины, выделяясь из войска отличнейшим от всех ростом, наследственной от отца богатырской грудью и неподдельностью царской осанки. Но среди цветущей юности, где вместо монументальности любезна прелесть интимная, он был только импозантен. Притом лицо его, уже немолодое, поражало своей желтизной, а глаза, не соответствуя восхищенной улыбке и приятности грассирующего разговора, оставались неизменны своему оловянному, как бы застылому выражению.

Очень красивая пепиньерка сказала царю стихотворное приветствие и, густо покраснев в ответ на его приглашение сесть рядом, опустилась в кресло. Царь сделал знак музыке, и бал возобновился. Государь очень скоро удалился, сопутствуемый адъютантом, пить чай в апартаменты начальницы. Во время антрактов между танцами, когда Вера и мы с Михаилом, как сопутствующие ей пажи, угощались оршадом и конфетами в живописном уголке между фикусов, гиацинтов и пальм, Верина подруга Китти Тарутина подошла к нам со своим правоведом.

Китти, курносенькая и веселая блондинка, нам сказала:

— Хотите участвовать в поездке к озеру Комо?

Мы с Верочкой знали, что это значит, и, смеясь, согласились, посвятив в секрет Михаила. Одна из классных дам, молодая и всеми любимая итальянка, не отличалась стародевической чопорностью прочих синюх. Она охотно предоставляла девицам в своей комнате видаться с братьями и кузенами. Молодая и веселая, она сочувствовала шалостям молодежи, но, дабы не пострадать ей самой в случае доноса, дело было обставлено по взаимному соглашению так: дверь в комнату классной дамы будет только притворена, но никак не заперта на ключ. В случае, если нагрянет контроль, попавшиеся должны будут сказать, что они зашли сюда самовольно.

Прикрываемые дюжиной камлотовых юбок подружек Китти, величайших охотниц до шаловливых эскапад, мы выскользнули вон из зала, не замеченные строгим оком дежурившей инспектрисы. По бесконечным коридорам мы отправились в комнату итальянки, где на стене висел огромный вид прелестного озера Комо, чьим именем называлась вся веселая затея.

— А вы знаете, Земфира исчезла сейчас же, как только ушел государь? Она в него влюблена по уши, — сказал Киттин правовед про пепиньерку, говорившую приветственный стих. За восточный тип лица ей дали прозвание Земфира, как это часто водится в закрытом заведении.

— И предпочтение, которое ей оказывает государь, тоже всем очень заметно, но фрейлиной императрицы ей все же не быть, — сказала досадливо Китти. — Она неуспешна в науках, начальница ее не выносит и даст ей плохую аттестацию.

— Государь часто вас посещает? — спросил Михаил.

Китти, польщенная вниманием красивого, но доселе сурового юнкера, стала с удвоенной скоростью болтать о том, как обожаемый царь любит внезапно посещать институт.

— Чаще всего он появляется вечером, в часы, обычные для уроков танцев у старшего класса. Иногда царь приходит в столовую, садится за стол и пьет с нами чай из казенной кружки. Разумеется, кружку эту мы разбиваем и делим кусочки. Многие девочки носят их в ладанках на груди, а одна даже съела.

— Эта девица, очевидно, сродни страусу, — усмехнулся Михаил.

— О нет, у нее фамилия чисто русская! — возразила наивная Китти и под общий наш смех продолжала лепет, который, как я заметил по нахмуренным бровям Михаила, немало его раздражал. Но Китти не смущалась:

— Во время обеда государь садится то к одному столу, то к другому, поровну, чтобы никого не обидеть. Теперь, впрочем, он все больше идет к пепиньеркам и садится рядом с Земфирою, она нарочно самая крайняя... А в прошлом году постом государь приходил к нам на вечернюю молитву и, на «господи владыко живота моего», вместе с нами бил поклоны.

— Хорошая подготовка к реформам! — начал было Михаил так насмешливо, что Китти на половине слова споткнулась, а правовед с холодным удивлением оглядел его с ног до головы.

Вера вспыхнула, но нашла, как спасти положение.

— Бежимте скорее, а не то другие займут наше место, — вскричала она и, схватив меня и Михаила за руки, кинулась с нами вдоль бесконечных коридоров, пересекающих один другой и путаных, как лабиринт. Китти и правовед побежали вслед за нею.

Вот и комната итальянки. Дверь притворена, но мы дернули — она отворилась. Заслышав голоса вблизи за углом, мы поспешно вошли на цыпочках. Как стая пичуг, знакомых с выстрелом охотника, мы с опаской присели на край большого дивана, в случае чего готовые вспорхнуть или спрятаться.

Опасность могла угрожать из дверей другой комнаты, принадлежащей той же классной даме, но через коридорчик, смежный с комнатой инспектрисы. Последняя, под видом дружественного покровительства, любила войти невзначай, чтобы проверить красивую и легкомысленную итальянку. Китти, как мышка, сбегала в коридор и, удостоверившись, что инспектрисы нет дома, пришла нам сказать, что мы в безопасности.

Вдруг из другой комнаты, тоже запертой изнутри, мы услышали голоса: женский плачущий и утешающий мужской. Говорили по-французски.

— Однако я с таким трудом вырвался от почтенной начальницы совсем не для того, чтобы сейчас утонуть в ваших слезах, прелестная Земфира. Что же касается вашего отца, то, поверьте, мои нежные к вам чувства уже давно заручились его родительской санкцией, а его радость видеть вас фрейлиной...

Мы не могли не узнать этого голоса, так же своеобразно грассирующего в любовном лепете, как мы привыкли это слышать в публичных приветствиях и на парадах.

— Итак, не правда ли, до очень скорой и решительной встречи? Я не враг мифологии и, подобно проказнику Зевсу...

Тут послышался малоискренний смех и поцелуи. Мы вскочили, испугавшись своей невольной нескромности, и кинулись к выходу. Но Михаил с искаженным лицом поднялся и шагнул к дверям.

— Ты себя погубишь, — шепнул я ему, стиснув руку, — государь сейчас может выйти отсюда.

— Я ему не позволю губить...

Глаза Михаила горели таким бешенством, что, казалось, способны были одной своей силой причинить зло человеку.

Я выбежал в коридор, где уже не было ни правоведа, ни Китти. Одна Вера, белея лицом и плечами, как призрак, стояла в глубокой нише. Я стал с ней рядом и тихо взял ее руку в свою.

Я не постигал, как могла дверь итальянки остаться без стражи, но две фигуры в дали коридора мне объяснили загадку: молодая воспитательница и адъютант, увлеченные собственным флиртом, не заметили, как покинули свой ответственный пост.

Государь, очевидно, выходя от начальницы, чтобы еще раз подняться в зал, зашел в комнату, соседнюю с «озером Комо», где его по уговору уже ожидала Земфира, для каких-то окончательных решений.

Минуты тянулись часами. Вдруг дверь запертой комнаты отворилась, и кто-то вышел. В ту же минуту, задыхаясь от волнения, глухой голос Михаила сказал:

— Это... низость!

Мы не дышали. Я почему-то ждал выстрела. Но выстрела не последовало.

Государь торопливым, убегающим шагом, не свойственно своему обычаю втянув голову в плечи, как бы не желая быть узнанным, вышел из комнаты. Он в один миг свернул за угол. Испуганные адъютант и итальянка подбежали к нему.

— Там был ее брат? — гневно спросил государь, должно быть вспомнив неприятную историю с Шевичем.

— Ваше величество, у нее нет брата, — сказала смертельно бледная итальянка.

— Там не должно было быть никого...

И, не появляясь более на балу, раздраженный государь уехал в сопровождении своего адъютанта. Из глубокой ниши, меня скрывавшей, я видел, как итальянка кинулась в свою комнату искать, кто там был, но Михаил, открыв противоположную дверь в коридорчик, благополучно исчез. Мы с Верой пустились бегом в танцовальный зал.

Прошло более полувека, когда, в один из зимних дней 1918 года, я снова попал как-то в Смольный. Я метался больной и бездельный по столице, ища приюта у прежних друзей и знакомых. Многих не было в живых, другие не оказались на прежних местах.

Влекомый узами прошлого и неистребимым во мне интересом художника, я добрел до института, где мы с Михаилом были на балу.

Весь длиннейший фасад, как и тогда, в день бала, горел огнями, и так же непрерывно вливался в огромное здание поток людей. Но это не была линия нарядных карет с лакеями на запятках. Здесь не было рысаков с драгоценными полостями и кучером, возглавляющим наподобие идола козлы.

В средний, главный, исключительно царский въезд, охраняемый вооруженными красноармейцами, тянулся бесчисленный хвост, держа в руках листки-пропуска.

Автомобили, мотоциклеты, серые броневики, все с красными флагами, с воем сирены, с трубными звуками, то и дело влетали и вылетали из ворот, охраняемых тоже двумя рядами часовых. Везде пулеметы. Шумели моторы, суетились люди с портфелями.

Мохнатые шапки делали лица суровыми. Многие в защитного цвета и серых военных пальто, где от споротых пуговиц и наскоро снятых погон были свежие следы. Крестьяне — в онучах и лаптях, с ружьем на веревочной перевязи. Все кричат и все спорят. Когда вышли из подъезда двое штатских и, взобравшись на боль-

шой ящик, сказали несколько слов, им не дали кончить. Их речь покрыл пропетый всей площадью «Интернационал».

— Что тут такое? — спросил я одного, сильно вооруженного, с очень свежим и почему-то мне знакомым лицом.

— Чрезвычайное заседание Петроградского совета, дедушка, — охотно сказал он и, в свою очередь вскочив на ящик, повысил голос до крика, обращаясь ко всем:

— Товарищи! Социализм — отныне единственное средство, с помощью которого страна избежит нищеты и ужасов войны.

Зажженный пикетом костер вдруг ярко осветил говорившего, и, когда он кончил и слез, я невольно вскрикнул:

— Я знаю вас! — и я его назвал.

Я хорошо был знаком с его отцом и самого юношу совсем еще недавно видал в гимназическом мундире и особливо запомнил по причине резких левых речей против войны. Речи эти мне очень напомнили Михаила.

Сейчас юноша был пламенный коммунист. И он узнал меня. Это он дал мне денег и помог устроиться у Ивана Потапыча. Сам же он торопился, как говорил, на «красный фронт». Там вскоре доблестно пал он одним из первых. Его имя прочел я в «Известиях», которые принес мне Горецкий 2-й. Вместе помянули мы храброго юношу, а кстати отца его и деда, столь же доблестно павших первыми в свое время, но на иных фронтах.

ГЛАВА IV

Ведьмин глаз

Пасха в том году была не очень поздняя. В зеленом пуху стоял лес, и особенно зловеще чернели старые сосны от соседства с цветущей молодой порослью. Таким и остался у меня в памяти этот путь в Лагутино — зловещим.

Был шестидесятый год. Крепостное право доживало последние дни. Среди разных направлений и кружков, за и против освобождения, было немало отдельно стоящих, очень образованных, вольтерьянского закала дворян, над которыми ни бог, ни человеческие постановления не имели никакой власти — в первую очередь выступал их собственный самодурный нрав.

Таков был отец Веры, Эраст Петрович Лагутин, один из умнейших людей своего времени, по собственному выражению не веривший ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Всю цивилизацию обзывал он мировым свинством, что, однако, не мешало ему иметь у себя в Лагутине отменную картинную галлерею. Он видел в раскрепощении крестьян нарушение пределов своей власти и навыков и напоследок, как говорят, распоясался вовсю.

Был Эраст Петрович вдов и большой женолюб. За барщину мужики его не корили, но так как не пропускал он ни одной пригожей девки или бабы, то злоба на него была велика.

Дочь его Вера выросла сиротой под опекой француженок, то вознесенных прихотью барина на положение хозяйки дома, то разжалованных в бонны при дочери. Эти бонны часто менялись. Вера приучилась жить в самой себе и прибегать за поддержкой к самым верным и скромным друзьям человека — бесчисленным книгам отцовской библиотеки.

Правда, наше имение было рядом, но с матушкой моей, великой хозяйкой и хлопотуньей, у Веры близости не вышло. Была она несколько дика и безмолвна и матушке моей непонятна. Может быть, впоследствии отношения бы обошлись, но матушка скоро скончалась, я осиротел, а над имением опекуншей назначили тетушку Кушину.

Один я делил с Верой досуги. Собирали все лето грибы и ягоды, обучались вместе французскому языку и танцам. Вере нравились изобретаемые мной рисунки и сказки, которые во множестве я ей посвящал. Но, хотя мы и были погодки, Веру чувствовал я гораздо зрелее себя. Ее вопросы касательно цели жизни и мучения насчет участи декабристов были мне совершенно чужды. Декабристы, в глазах моих, казались обыкновенными мятежниками, усугублявшими свое злодеяние тем, что они были хорошо образованны и дворянского роду. Но Вера их чтила героями.

Жизнь в нашей усадьбе при матушке и позднее, под управлением тетушки, мирно текла, как у прочих помещиков средней руки. Тысячью интересов, кумовством и взаимным расположением из рода в род владельцы Угорья были связаны со своими людьми.

Ближе всего к сердечной и умственной жизни Веры была одна неприятная мне чета, сыгравшая впоследствии немалую роль в ее необыкновенной судьбе.

Верстах в трех от усадьбы жил художник Линученко со своей женой Калерией Петровной. Он был ученик знаменитого живописца Иванова, того самого, который чуть ли не тридцать лет писал одну и ту же картину — «Явление Христа». Картина эта была выставлена в свое время рядом с батальной живописью некоего Ивона, и, признаться, на большинство посетителей последняя произвела впечатление сильнейшее отменной мускулатурой коней. Повторяли также эпиграмму остроумнейшего Федора Ивановича Тютчева о том, что громадный холст Иванова изображает собой не апостолов, а является фамильным портретом семьи Ротшильдов...

Художник Линученко — по боковой линии дядюшка Веры. Надо обмолвиться: насколько наш род был спокоен и в простоте

души выполнял свои обязанности верноподданных дворян, настолько род Лагутиных был тревожен. Он славился необыкновенными похождениями дедов, увозом чужих жен, кутежами, дуэлями, а при Александре Благословенном чернокнижьем и богопротивной мерзостью.

Порода Лагутиных высокая, плечи — косая сажень, волосы кудреватые, нос прямой, с особо красивыми ноздрями, а глаз, под дугообразной бровью, светлый и острый, как у ястреба.

Дед Веры от любовного каприза с украинской девкой прижил сына, Кирилла Линученка, которого отдал в обучение живописцу, а матери его отрезал в приданое пятьдесят десятин к хутору, но дарственной на эти десятины он не дал, сказав: «Пока я жив, не сгоню». Эраст Петрович подтвердил то же самое.

Вот этот, в то время пожилой уже, художник и побочный дядюшка Веры был и закадычнейшим ее другом.

Линученко, наполовину холопской крови, имел в деревне кучу родни. Он не только ее не чурался, но, напротив, всячески защищал и только и делал, что науськивал Веру против отца. Кроме того, давал ей в руки вольнодумные книжки, неустанно толковал о правах человека и прочих атеизмах французской революции, которых сам был усердным поклонником.

Он этим достиг того, что все кровные естественные чувства дворянки были у Веры жестоко искажены. И немудрено, что столь злачно взошли в ее беспокойной и великодушной душе зловредные семена, брошенные рукой Михаила. Впрочем, во всей пагубной силе влияние Михаила на Веру я понял позднее.

После случая в Смольном мы так крупно поспорили с Михаилом, что потеряли всякую охоту общаться. Он грубейшим образом поносил государя за его человеческую слабость, столь понятную при красоте, которой он обладал. Я защищал государя, утверждая, что половина приписываемых ему похождений не что иное, как порождение клеветы, а другая половина лишь является ответом на вызов со стороны легкомысленного, хотя и прекрасного пола, который втайне почитает за счастье свою так называемую «гибель» от монарших ласк. Частный же случай, на который мы натолкнулись, был вызван сводничеством родного отца этой пепиньерки, титулованной и изрядно богатой, честолюбиво желавшей себе звания фрейлины.

Михаил оборвал меня, как обычно, бунтарской речью против самодержавия и сказал:

— С корнем бы их, как крапиву, да и дворян всех туда же... И вырвем, дай срок!

Я остановил его, прося не испытывать дольше моего терпения верноподданного, ибо я обязан, по чувству долга, вызвать

его на дуэль, так как донос не по мне, а пресечь его поносную речь я обязан.

Михаил совершенно неожиданно засмеялся добродушнейшим образом и весело сказал:

— Ну, цвети в невинности, не буду тебя разъярять; успеешь в чинах — даст бог, меня же и повесишь!

С тех пор мы перекидывались самыми поверхностными разговорными речами. Но помешать приезду Михаила в Лагутино я уже не мог. Он был туда приглашен самим стариком, угодив ему ловкостью в танцах и снискав его благосклонность с того достопамятного вечера у тетушки, когда был спасен Михаилом от кипящего чайника. О том же, что Михаил под видом кузена посещает Веру в институте, старик вовсе не знал ничего. Сейчас Вера, вследствие общей слабости и малокровия, в виде исключения была отпущена на праздники домой. По всем признакам, отец согласился, наконец, уступить ее настояниям и взять ее из института совсем.

Сейчас мы почти молча проехали десяток верст, отделявший Лагутино от почтовой станции. Созерцая по своему обыкновению излюбленный мной закат солнца в широком просторе полей и смягченный умиляющим душу зрелищем, я стал говорить Михаилу иносказательно о моей любви к Вере. Я помянул о Платоновом мифе — двух рассеченных половинках человека, которые при встрече должны непременно или слиться, или погибнуть. Михаил понял и сказал:

— Подобная любовь недостойна человека. Погибнуть можно никак не от чего-нибудь, а только за что-либо. Каждому, ежели он мнит себя человеком, надлежит иметь соответственную высокую идею. — И, подумав, прибавил: — Впрочем, сие — привилегия нашего брата. Прекрасный пол чаще всего обречен на гибель бабочки от огня.

— Значит, ты думаешь, — не скрывая радости, прервал я, — женщина не способна пойти на костер, как некогда Иоганн Гус и ему подобные?

Я решил, что Михаил был желчно настроен против Веры из-за неуспеха своих бунтарских речей.

— Женщина пойдет, куда угодно, — возразил Михаил, — но редко сама, чаще за тем, кого она любит.

Как я был счастлив: опять надежды были при мне! Ни внезапного румянца, ни потупленных и вдруг вспыхнувших взоров, этих безошибочных улик юной страсти, не наблюдал я ни разу при встречах Михаила и Веры. Конечно, я знал, что на приемах в институте Михаил, почтительно кланяясь, подавал Вере не французские конфеты, как стояло на коробке, а ту или иную либеральную книжку. Разговоры же их были всегда серьезны, на мой взгляд — отменно скучны. Со дня на день я ждал, что

и Вере все это обучение надоест и она будет искать разнообразия хотя бы в искусствах, более свойственных поэтической юности. Тем часом, дабы быть — в противовес Михаилу — во всеоружии своего дела, я усердно посещал императорский Эрмитаж и прочел немало иностранных увражей[1] касательно чудесных коллекций картин.

Старик Лагутин встретил нас на крыльце, увитом свежей хвоей. Во множестве нарезанные прутья с зелеными перьями-листьями были причудливо воздеты на высоких шестах. Казалось, в Н-ской губернии вдруг возросла роща финиковых пальм. Перед домом была покрыта немалая горка молодым газоном, и десятка два красивейших девушек в нарядных сарафанах и парней в алых, как маков цвет, рубахах катали разноцветные яйца. В ряд, сверху вниз, шло множество деревянных желобков, и весело было смотреть, как синие, красные, зеленые и желтые яйца драгоценными камешками катились друг за дружкой в изумруд муравы. В заключение повели хоровод, и все девки и бабы пошли христосоваться с барином, а он их одарял кого рублем, кого платком.

— Из всей христианской религии сего поцелуйного обряда я — наибольший поклонник, — сказал старый греховодник Лагутин.

Он захохотал, показывая крупные, еще целые зубы. Он был дороден и красив, но совершенно лысая голова и жирный кадык, как это верно нашел Михаил, делали его похожим на индюка.

Я глянул на Веру: лицо ее было бледно и выражало тревогу, она не спускала глаз с Мосеича. Этот уродливый человек с большой головой, но ростом с малолетнего, был злым гением Эраста Петровича. Сам из французских дворян, образован и жесток, он служил у Лагутина по вольному найму. Он был по фамилии Шарль Дельмас, но мужичками переименован в «Мосеича». Человек этот обладал всей извращенностью умного дьявола. Обучившись по-русски, он объединил в своей особе весь цинизм и утонченность своей безбожной нации с жестокой грубостью наших нравов. По части безнравственности и садических удовольствий себе лучше наперсника и советника Эрасту Петровичу было бы не сыскать. Посему в деревенской глуши он особенно дорожил Мосеичем, уважая его к тому же и за прекрасный французский язык.

Когда черед христосоваться дошел до красавицы Марфы, молодой жены Петра-конюха, отличного парня, Мосеич шепнул что-то Эрасту Петровичу. Тот ухмыльнулся и сделал вид, что не заметил, как Марфа, спрятавшись за соседку, нырнула в толпу

[1] Сочинений.

девушек, чтобы миновать барского поцелуя. Но когда все, поблагодарив за подарки, пошли с песней домой, Эраст Петрович повернулся к старосте, дрянному угодливому мужику, и небрежно обронил:

— Петра не вредно б отметить.

Вера вспыхнула и, подойдя к отцу, смело сказала:

— Нет, батюшка, вы не сделаете Петру худого!..

Брови Эраста Петровича дрогнули, и как-то еще более побелели острые светлые глаза, а ноздри раздулись. Но он себя сдержал и, обернувшись к дочери, сказал ей по-французски:

— Мое желание — чтобы ваши юные мечты не выходили из стен вашей библиотеки.

— А теперь, — обратился он к нам, — прошу, обедайте без меня, я прощаюсь с вами до вечера. Пользуйтесь деревенской свободой в свое удовольствие: есть отличные верховые, есть лодка и экипажи... Но куда бы ни заехали, чуть взовьются над домом три ракеты — прошу всех обратно. Я приготовил вам спектакль и сюрприз: последний, надеюсь, для всех трех одинаковый! — Эраст Петрович обвел нас всех взором, от которого мне стало не по себе.

Обед прошел довольно чопорно, с лакеями и блестящей сервировкой. На месте хозяина сидела старуха Архиповна, Верина няня: таков был каприз старика после изгнания последней француженки.

— Пойдемте на хутор к Линученкам; быть может, они уже приехали! — сказала после обеда Вера.

Взволнованные, каждый от своих причин, мы долго шли молча по деревне. У околицы свернули в улочку, узкую, словно труба, — двум телегам не разъехаться. У ставней сбоку, как хвост у собаки, болтался железный болт, и хоть был большой праздник, а неубраны стояли то тут, то там корыта, и валялись тряпье и битые черепки.

— Какая темнота! — сказала Вера. — Уж сколько раз выгорала деревня, а строят все снова по-старому. Зато у батюшки целая полка книг по усовершенствованию деревянных построек. До бедных крестьян никому нет дела.

— Дайте срок, — возразил Михаил, — они сами возьмутся за ум, только б нам не зевать.

Мне, конечно, не нравился их разговор. Мы проходили такими чудными лужайками, где уже голубели цветы и медовый одуванчик потряхивал золотой головкой. Я сорвал самый крупный, поднес его Вере и сказал:

— Тут, как в ромашке, стоит только сказать: «Поп, поп, выпусти собак», — черные козявки и вылезут.

Вера глянула на меня в упор своими светлыми, как у отца, глазами и с усмешкой сказала:

— Вы, Сержик, опоздали родиться; вам бы, правда, быть пастушком с картины Ватто.

В первый раз, что она мне говорила это с насмешкой; я это отнес за счет влияния Михаила и умолк.

Тропинка наша то терялась в оврагах, то растекалась в широких песках в одно с ними общее море.

Я глядел, как Вера ловила свой газовый шарф, сдуваемый ветром, глядел и не мог наглядеться на это лицо. Оно было необычайно. Будто не одно, а два лица — не слитые, а включенные друг в друга. В худощавом теле, подавшемся вперед, в узких покатых плечах, как на старинных портретах, была почти слащавая покорная женственность. Цвет лица, слишком белый, с неестественной розоватостью щек, придавал лицу нечто кукольное. Когда шла она, как сейчас, склонив голову с заложенными назад светлыми косами, приходила на память какая-то средневековая покорная жена. Вот держит она стремя рыцарю или, сидя за пяльцами, высматривает запоздавшего в кутежах властелина. Но вот, отвечая на какой-то вопрос Михаила, Вера подняла глаза. И в них показался иной ее облик. Глаза серые, твердые, с той же ястребиной хваткой, как у отца, с затаенной мыслью, которую — умрет, а не захочет — не выскажет.

На хуторе ждала неудача. Сторож сказал, что Линученко прислал письмо: он не может приехать, и передал Вере записку, которую она читала, бледнея.

— Калерия в чахотке, — сказала она, — и они уехали на год в Крым. О, как мне будет страшно тут без них! — вырвалось у ней невольно. И того не замечая, она взяла под руку Михаила, а он крепко пожал ей руку, как бы обещая защиту.

А я, пастушок Ватто, значит, теперь уже ей не в счет.

— До вечера времени много, — предложила Вера, — пойдемте к озеру.

И мы пошли.

Недалеко от хутора, как говорили, по старому шляху в город, было странное место. Сходились близко один к другому высокие холмы, поросшие широким листом зеленой мать-мачехи и каким-то пахучим кустом. У своего подножия холмы эти вдруг обрывались, и ровной блестящей водой стояло небольшое круглое озеро, неизвестно как тут возникшее; говорили: по заклятью старой помещицы над непокорной дочерью, бежавшей с заезжим гусаром. Здесь настигли беглецов злые думы матери: от этих злых дум кони увязли в трясине, а над ней забурлили ключи, и к утру было ровное, как чашечка, озеро. Тут Верина няня, Архиповна, в рассказе вставляла пояснение: «Старая-то помещица ведьма была. Чай в час тот пила, брови сдвинула, как повернет полную чашку на блюдце: «Пусть и ей, непокорной,

так будет!» Вот озерко и круглое, ровно чашка с чаем. Одно слово — ведьмин глаз».

Вера эту знакомую мне легенду рассказывала дорогой Михаилу и, кончив, выразительно глянула на него и промолвила: «Вот за непокорство дочери я это озеро и люблю». А Михаил засмеялся.

Нет, решительно у них что-то затеяно, надо быть настороже.

Вера села на большой камень, Михаил рядом с Верой, а я в ногах у нее внизу. Солнце зашло, небо было нежнозеленое.

— Смотрите, первая звездочка, — показала Вера, — да какая чистая, будто умытая. Скоро пустят ракеты, надо поспешить домой, а мне, признаться, просидеть бы на камне всю ночь...

— Я в небе одну звезду люблю, — сказал Михаил. — Звезду Веспер, воспетую поэтами, предвестницу зари. И знаете, почему? Еще в детстве я где-то прочел, будто алхимики верили, что Венера дает земле треть той силы, что получает от Солнца сама, а получает она много больше Земли. И потому дух Земли должен быть подчинен духу Венеры, полнокровному, жизненному духу знания опытного. Басня эта мила и моему нраву очень любезна. А тебе, Сергей, уж наверно, любезней стишок: «Приди грустить со мной, луна, печальных друг!»

— Не понимаю твоих слов, — сказал я. — Что такое путь опытный, и в каком это смысле?

— А в таком, что ежели древний смельчак испытывал сильное чувство, так он его не душил во имя земных добродетелей и каких-то там небесных благ. Он чувству своему отдавался и — что надо было — свершал. Да, один только опыт, доведенный до конца, отсекает все то, что непригодно для роста. И когда настоящие, свободные люди создадут, наконец, последующим поколениям прекрасную жизнь, достигнуто это будет не трусливым умытием рук, а одной лишь попыткой хотя бы насильно, но опрокинуть негодные формы, заменив их формами лучшими. Итак, во имя жизни надлежит быть хозяином жизни!

Вера слушала Михаила, как пророка, а меня высокомерный тон возмутил, и я сказал:

— Но кто же тебя-то поставил этим хозяином над другими и кто порукой, что ты думаешь мудрее и лучше других?

Не забуду лица Михаила, когда, сперва покраснев, а потом по привычке откинув голову, он сказал совсем не высокомерно, а в какой-то особой сердечнейшей глубине:

— Так бывает с иным человеком, что для себя самого у него нет больше радости на земле, пока на ней худо другим. И такой человек, даже в случае, если свяжет себя какой-нибудь иной связью, кроме блага всего человечества, большой утехи от этого не получит, только лишится своей самой нужной и драгоценной свободы. Да, так. Словом, явились люди, явятся еще и еще, кото-

рые не захотят требовать счастья себе, а радостно будут искать, где и куда сложить свои силы на освобождение и радость всеобщую!

Михаил нагнулся ко мне и, как давно этого не делал, положил свою руку ко мне на плечо.

— Милый Серж! — сказал он. — Тебе сладостен каждый закат солнца, луна и стихи. А подумал ли ты, где у тебя на все это право, когда кругом, быть может, люди и лучше и умнее тебя все еще родятся, живут и умирают рабами?

— Михаил... — начала и почему-то не кончила Вера.

А у меня в сердце как нож: не договорила она от волнения, или уж ей так привычнее его звать и только невзначай она обнаружила всю короткость их отношений?

Вдруг послышался стон, кто-то всхлипывал на дальней могиле. К озеру почти вплотную примыкало старое кладбище.

— Никак это Марфа на могиле своей матери! — воскликнула Вера и, легко перепрыгнув канаву, отделявшую нас от кладбища, подбежала к молодой женщине. Марфа повалилась в ноги Вере и заголосила:

— Заступись за Петра, не то ему лоб забреют!

Вера стояла бледная, с поникшим лицом.

— Батюшка меня не слушает, — сказала она.

— Что же мне — руки на себя наложить? Его забреют, а меня, сама знаешь, к себе возьмет вместо Палашки. Да я в прорубь скорей...

— Слушай, Марфа! — сказала Вера; лицо ее было жестко и горело почти тем же светом, как у Эраста Петровича, когда он, бывало, тихонько говорил: «На конюшню по-роть»... — Завтра на заре жди меня в голубятне, лучшего места нет. И ты узнаешь, что̀ я решу. Поверь мне в одном: я тебя в обиду не дам, потерпи до утра.

Когда успокоенная Марфа пошла домой, Вера сказала Михаилу:

— Мы включим ее в наш кружок. Иного выхода нет.

— Ну, что же? — сказал Михаил. — Баба, кажется, молодец.

Меня эти двое откровенно не замечали, должно быть не в шутку относили к эпохе Ватто.

Взвились одна за другой три ракеты, мы встали и, прибавив шагу, пошли обратно к усадьбе. Дом был освещен разноцветными шкаликами. С балкона верхнего этажа до балконов нижнего они ниспадали сверкающими гирляндами. Это был великолепный барский дворец работы Монферрана, строителя Исаакиевского собора, с белоснежною колоннадой и сводчатыми крыльями по обе стороны главного корпуса.

Освежившись в приготовленных нам комнатах, мы с Михаилом облеклись в новые мундиры, лакированные бальные сапоги и, стараясь ступать в них мягко и размеренно, появились среди гостей.

Посреди зала устроен был грот, где бил прелестный фонтан, а на камнях под цветущими олеандрами, замаскированными так, что не видать было кадок, а казалось, что будто деревья росли меж камней, сидели грации, пастушки и нимфы.

Сквозь узкие прорези шелковых черных масок лукаво сверкали глазами костюмированные гости. Огромные стенные зеркала отражали всю эту роскошь и как бы передавали ее в бесконечность. В глубине зала возвышалась сцена, куда внезапно по хлопку хозяина, под звуки незримого в зелени хора, умчались от бассейна нимфы, пастушки и грации.

На Эрасте Петровиче надет был бархатный кафтан его деда, екатерининского вельможи, с лентой и регалиями. В соответствующем парике, он казался важным выходцем с того света.

Кроме нас, не костюмирован был еще один гость — князь Нельский, ближайший богатый сосед, очень просвещенный и гуманнейший человек, уже немолодой, но с лицом прекрасным по выражению душевных качеств.

Эраст Петрович настоял, чтобы мы облеклись в костюмы маркизов: князь — в кафтан шарлахового бархата, мы — в одинаковые голубые камзолы и парики.

Мы были с Михаилом одного роста, так что, надев маски, легко могли сойти друг за друга. Обстоятельство это оказалось новым звеном в той объединяющей нас тяжкой цепи, которой, не спросясь, нас сковала судьба.

Перед ужином Вера, прелестно носившая костюм «помпадур», шепнула мне в ухо:

— Сейчас беги в беседку!

Я глупо спросил:

— Ты придешь?

От звука моего голоса Вера вздрогнула и сказала:

— Нет, Сереженька, не приду, я нарочно... — И легче перышка она отлетела.

Я понял, что приглашение относилось к Михаилу.

Тут словно бес меня обуял. Острая пронзительная ненависть к товарищу, которого моя же рука привела мне на гибель, разбила и пронзила мою душу. Истинны слова некоего старца, которые тетушка Кушина любила повторять: «Бесы не сильней человека, но когда человек до них снизится, он станет с ними единой природы, и ему уже их не стряхнуть. Ибо их легион!»

Легион низких страстей пробудился в моей душе. Увы, она не оказалась подобной величавому океану, а дрянным болотцем, подернутым сверху приятной для глаза изумрудной ряской.

Месть, ненависть, оскорбленная любовь и мелочное самолюбие, задетое Михаилом, столкнули меня по крутой тропинке к пруду, где стояла беседка.

Я укрылся в кусты. Начался фейерверк.

Сотни огненных мячей взметнулись в темном небе и, как бы не удержав воздуха, разорвались в вышине и брызнули вниз разноцветными искрами. А озеро, большое водное зеркало, отдало небу обратно огни.

Мои чувства художника были столь дивно встревожены, что на минуту все злое как будто отлегло от души. Но два знакомых голоса заговорили в беседке. О, этим двум не было никакого дела ни до красоты сего мира, ни до моей разбиваемой ими жизни!

Ведь мы все, Русанины, — однолюбы. Две тетки от несчастной любви ушли в монастырь, а дядя Петр застрелился.

— Дорогая моя! — сказал Михаил с таким страстным чувством, которого я не ожидал от него. — Дорогая, так неужто не сон, ты решила соединить свою жизнь с моей?

И в ответ ее нежный голос:

— Ты можешь еще спрашивать?

На минуту затихли: они целовались.

У меня мутнело в глазах, и ракеты, падавшие в воду, казалось, падали в мое сердце и жгли его.

— Но я тебе должен признаться, — голос Михаила вдруг стал отвратительно жесток, — я для своего дела пожертвую и любовью. Когда одна женщина пыталась меня обратить в свою вещь, я едва не свершил убийства. Это было в Крыму... рассказать тебе?

— Мне твое прошлое нечего знать, я соединяюсь с тобой для грядущего, — сказала с достоинством Вера.

— Дорогая, но ведь кроме лишений со мной ничего. И это еще в лучшем случае. Мой выбор неизменен: отдать жизнь на восстание рабской страны против деспота. В случае неудачи, ты знаешь, даже не каторга, а виселица.

Но она прервала его древними, как мир, как любовь мужчины и женщины, словами:

— С тобой, мой милый, — на плаху!

Опять убийственное молчание, опять поцелуи.

Потом, смеясь как ребенок, она сказала:

— Сейчас за ужином батюшка объявит меня невестой князя Нельского. Он только что строго со мной говорил и был поражен, что я не возражаю ему, как это обычно у нас бывает и по менее важному поводу. Представь себе, это и был обещанный сюрприз всем троим. Батюшка вспомянул вас обоих: «Твои кавалеры, — сказал он многозначительно, — не будут столь спокойны, как ты». На что я ответила: «Тем хуже для них! Я ложных надежд никому

не давала, и хоть князя я тоже не люблю, но не за мальчишек же мне выходить!» Теперь батюшка далек от подозрения, что к одному из этих мальчишек я завтра сбегу.

Михаил хохотал:

— Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег?

— Утром я обо всем скажу Марфе, а она Петру. Если не удастся вскорости попасть к твоей матушке, как мы решили, то жди письма, я пришлю с Сержем — он верный.

— Да, пороху он не выдумает, но парень, кажется, действительно верный, — сказал снисходительно Михаил.

Несчастный! Это были слова, которые его погубили. Эти слова вырвали из моего сердца последние остатки великодушия, на которое я еще был способен. Как, мне предстояло отказаться от всех радостей жизни, созидать счастье соперника и за все это лишь получить малолестное определение — недалекого парня!

Звуками гонга и труб гостей созывали на ужин. Среди блистательной сервировки и благоухания цветов, вынесенных на торжественный случай в вазонах из оранжерей, Эраст Петрович встал с бокалом шампанского. Он был все в том же кафтане екатерининских времен и особливо торжественен — как французский маршал двора.

— Дорогие гости, почитаю себе за честь объявить мою дочь Веру Эрастовну невестою князя Нельского, — сказал он.

Заиграли туш, пошли поздравления и тосты в честь жениха и невесты...

Я, не в силах вынести вероломных лиц Михаила и Веры, убежал. Последнее вышло как бы естественным выражением моих обманутых чувств, ибо все знали о моем давнем расположении к Вере. Таким образом и тут я остался в дураках, невольно помогая их планам.

ГЛАВА V

Голубиные шейки

Начинался день. Небо было серое, сеял дождь. Моим измученным чувствам была приятна эта невыразительность природы. К рассвету я забрался в ту беседку, где было ночное свидание Михаила и Веры. Под скамьей что-то белело. Я нагнулся взглянуть: это были листы заграничного «Колокола»; верно, их Михаил обронил этой ночью. Я подобрал с отвращением.

Эти листы были лазейкой хищного волка, через которую удалось похитить ему, убийце и заговорщику, мой покой и отраду. Вид этих страниц, в два черных печатных столбца, был для

меня — как гробовая змея древнему князю Олегу, выползающая из мертвого черепа. Бешенство охватывало меня все сильней по мере того, как в печатном тексте я узнавал почти дословные изречения Михаила. Я не заметил, как в беседку вошел Мосеич.

— Не ожидал я от вас, сударь, столь вольнодумного увлечения, — сказал он по-французски, осклабляя свой большой рот.

— И были правы, мой друг, мсье Дельмас, — отвечал я, как обычно называя его по фамилии, за что пользовался неизменною его дружбою. — Дворяне, как вы и как я, не должны быть предателями своего сословия. Собственник подобной заразы может быть лишь тот, кто сам ею заражен.

— Подобно вашему другу Бейдеману?

— Я его не назвал.

— Но у меня есть свои наблюдения. Прошу вас, — сказал Мосеич, — дайте мне этот проклятый журнал. Я считаю долгом чести бороться с врагом своего сословия. А в данном случае еще предстоит оградить от злого влияния юную девичью душу. Разве вы не видите: Бейдеман околдовал Веру Эрастовну. Вчера, когда объявили ее помолвку, я подметил интересные вещи: она с ним перемигнулась. Это был взгляд заговорщиков. Они нечто задумали, чему надлежит помешать. Или вас не трогает судьба неопытной жертвы? — прибавил карлик с коварностью.

— Я погибну, но не дам ее погубить! — воскликнул я вне себя.

— Так дайте мне журнал.

Передавая журнал в длинную, как у обезьян, цепкую руку Мосеича, я уже не хочу говорить, как говорил себе всю жизнь, что не знал вполне того, что я делаю. Конечно, я не мог знать той формы, какую примет это мое первое предательство, но не знать, что обличение Михаила как распространителя запрещенных изданий не пройдет для него без вреда, я, конечно, не мог, особенно отдавая журнал такому злодею, как Мосеич.

Я сейчас в тех годах, когда человек больше от своей совести не желает уйти и когда уже больше не тешит никакое прикрытие. Мне осталась бесславная, но гордая отрада: быть своим собственным правдивым судьей. И вот надо отметить: едва я в гневе дал Мосеичу «Колокол», как тотчас кинулся за ним взять обратно. Но, как опытный совратитель, зная все изгибы слабой воли, Мосеич, не дав мне опомниться, скрылся из кустов в подвальном этаже дома. Там была у него мастерская, про которую ходили темные слухи и где, за ходами и переходами, мне б его было все равно не найти. Я горел как в лихорадке, прыгали мысли. Только неизменным оставалось одно руководящее чувство: быть около Веры, не отдавать ее Михаилу...

Мне все чудилось почему-то Лобное место на московской площади и палач, обмотавший вокруг кулака русые Верины

косы. Ее белая шейка на плахе, сверканье топора... Я галлюцинировал, я был болен. И вдруг мозг с точностью записи восстановил разговор, слышанный ночью в беседке: дальнейшее в судьбе Веры будет связано с Марфою и Петром, — отсюда обещанный Верою визит в голубятню...

Едва вышедшее еще слабое солнце чуть позлатило верхушки березовых рощ и березки затрепетали от привета первым лучам, я, как тать, пробрался на голубятню и скрылся за разной рухлядью, в беспорядке сваленной в кучу.

Еще раз: не буду лгать вовсе. Мне не было стыдно, хоть я и знал, что делаю низкое дело. Но в тот миг я не был корыстен. О своем счастье я больше не думал. Мне надо было спасти Веру, обольщенную мятежной волей, быть может, больного человека. Михаил говорил мне, что у них в роду есть сумасшедшие. Эта его устремленность в одну точку, этот огонь, всегда его сжигавший, могли быть и началом болезни. Подслушанное мною признание, что он едва не совершил убийства любимой женщины, привело меня в ужас. Слова же его Вере, что в союзе с ним ей придется делить не только Сибирь, но и виселицу, обличали гордыню бездушного злодея. Слова эти жгли мое сердце: если Вера за ним пойдет, на полдороге ведь она не остановится! А помыслить ее в тюрьме, в ссылке и лишениях я не мог. Я должен спасти ее. У нее к Михаилу не любовь — злое наваждение. К тому же, как верноподданный, зная о вредных умыслах юнкера, которому скоро, как и мне, предстояло облечься в офицерский мундир, я чувствовал себя обязанным их пресечь.

Кто знает, как далеко могла посягнуть его злая воля? Ведь говорил же он не раз: «Если имеющий высшую власть от нее не откажется, можно его к отказу принудить».

Послышался легкий шорох, будто кралась кошка. Я глянул в просвет. Это был Мосеич.

«Что ему надо здесь?» — подивился я, и мне вдруг стало страшно.

Мосеич подошел к домику, где сидели молоденькие голубки, вытащил одного, свернул ему шею, другому и третьему. Лицо его было отвратительно, как у колдуна из «Страшной мести». Как у того, нос Мосеича показался мне больше обычного. Из плотоядно приоткрытого рта глядел желтый клык. Длинные, не по росту, руки с костлявыми пальцами вдруг мертвой хваткой зажали трепетной птице клюв и головку. Как штопором в пробке, он крутнул сизой шейкой раз, два; хрустнули позвонки. Старые голуби вздымали крыльями и курлыкали с жалобою несказанною...

Негодование мое было так велико, что я было двинулся схватить негодяя за шиворот, как внезапно он сам, подхватив мертвых голубей, юркнул в дальний угол. По лестнице взошли Вера и Марфа.

— Ахти, беда! — воскликнула Марфа и кинулась к дверце голубиного домика, которую Мосеич не поспел захлопнуть. — Опять трех голубочков унес, дьявол горбатый!

— Кого ты бранишь? — спросила Вера.

— Карла Мосеич голубкам свернет шейку да съест. «Вкусней, говорит, чем цыплячье!» Хуже этого дьявола никого нет на свете, барышня; ведь это он барина подучает...

— Низкий человек, — вспыхнула Вера. — Но оставим его, нам с тобой время дорого; брось голубей, сядь ко мне.

При всем моем волнении я не мог не оценить и не запомнить навсегда восхитительной картины, которую увидел. Как в Рембрандтовом освещении, прорезывая окружающую мглистую тьму, через слуховое окошечко на головы Веры и Марфы упадал золотой солнечный луч. Тонкое лицо Веры, охваченное внутренним возбуждением, как ангел страшного суда, и сейчас сияет предо мной своими непреклонными взорами, а девичья небольшая рука ее легко лежит на золотой волне густых и пышных волос Марфы, русской красавицы в белой шитой рубахе и излюбленном в наших местах синем кубовом сарафане. Они условились бежать нынешней ночью. Петр, один из старших конюхов, должен был выкрасть пару вороных, запрячь шарабан и ждать ночью за околицей. Марфа под вечер, как старый Лагутин любил, должна была принести ему в спальню после ужина графинчик вина, куда будет подсыпан сонный порошок, чтоб избежать ей ночного плясанья.

Вера была немногоречива и покойна. Весь план у нее был твердо обдуман.

— А дальше, барышня милая, куда денемся?

— Дальше в Лесное, под Петербург; там нас укроют, пока не приедет Линученко. Сейчас мешкать нечего. Выпускай голубей и беги ко мне в комнату. Только б вырваться на свободу. Не пропадем...

— За вами, барышня, в огонь и воду! — сказала восторженно Марфа.

Вера встала и пошла к лесенке. Когда она нагнулась, чтоб сойти на ступеньку, ее легкий газовый шарф скользнул мне по лицу. За нею спустилась и Марфа, а освобожденные голуби, оттолкнувшись красными лапками от деревянных домиков, взвились над березами.

Я сидел неподвижно, потрясенный всем слышанным. Какую силу над Верой имел Михаил!..

Два месяца тому назад он, незнакомый ей человек, сейчас заставляет порвать навеки со старым отцом, с родным домом и бежать с челядью путем вероломных обманов. А я, друг ее нежного детства, как от первого ветерка пух одуванчика, вылетел вон из ее памяти.

— A la bonne heure,[1] — сказал вдруг голос Мосеича, — вот нежданная дичь! — И с любезностью, какую позволяло его безобразие, прибавил: — Не спрашиваю вас, сударь, о том, как вы попали сюда. Надеюсь, мы с вами единомышленники по поводу заговора юных дев. Все, вплоть до сонного порошка, как в мелодраме, — невинный результат французской библиотеки отца! Мы, для благополучия героинь, разумеется, должны помешать им разыграть пьесу в жизни. Что, впрочем, будет тоже «по пьесе». Извините, мой галльский вкус к остроумию не покидает меня ни при каких обстоятельствах жизни.

Мне был отвратителен сей Квазимодо, но я должен был с ним согласиться в желании помешать ночному побегу. Мысль, что Вера совсем уйдет к Михаилу, мне темнила сознание, лишала рыцарских чувств.

— Сейчас ни звука, мой друг, — зашептал мне горбун, — положитесь во всем на меня. Пусть злой похититель уедет в надежде свидания, а героиня со златокудрой наперсницей приготовит все к бегству из отчего дома. Пусть попробуют; мы их у околицы хлоп, — и в мышеловку мышат. Мы их допустим, mon ami,[2] на шарабанчик к Петру, с узелочками, с сувенирами; а чуть кони с места, верная стража — наперерез с фонарями и гиканьем. Можно ракету-другую пустить, от помолвки остались! Хе, хе... Невеста, разумеется, в обморок, ее в девичью светлицу под замок. Петра, по обычаю здешних мест, на конюшню, а рыжую Марфу... — лицо Мосеича стало как у мерзкого павиана, — разверстка по чинам! А утешителем при героине опять вы, как было раньше, — один.

— Негодяй! — сказал я, дрожа от бешенства. — Я не участник в издевательстве.

— Это вы? — Мосеич попятился к слуховому окну и на всякий случай первый спустил ноги наружу, на перекладину лестницы. — Вы, сударь, участник решительно во всем, от вас первый толчок к семейной драме. Вы предали Бейдемана, раздавив его «Ко-ло-ко-лом». Не правда ли, для Китая то был бы недурной каламбур?

Я кинулся к лестнице и крикнул ему:

— Что вы сделали с журналом?

— Ничего плохого, я передал его в сохраннейшую из библиотек, в отцовские гневные руки Эраста Петровича.

— Куда вы меня вовлекли!.. — вырвалось у меня.

— Полно, mon cher,[3] вы не малолетний. — Мосеич уже не скрывал презрения. — Но, по русской пословице, вы хотите, чтоб

---

[1] В добрый час *(франц.)*.
[2] Мой друг *(франц.)*.
[3] Мой дорогой *(франц.)*.

у вас рыльце не было в пуху. А я, сударь, и для своего стола имею мужество собственноручно свертывать голубкам шеи. Что же, еще не поздно, — сказал этот дьявол, и опять он сказал правду, — идите, предупредите Веру Эрастовну!

Он не сомневался в моей низости.

Когда я сошел вниз по чердачной лесенке, яркий день ослепил меня. Серое небо сменила сплошная синяя эмаль. Я побрел к усадьбе. Дойдя до скамьи, откуда издали было видно поросшее диким виноградом окно девичьей спальни Веры, я свалился без сил. Всю ночь я не смыкал глаз. Пережитые волнения были слишком сильны. Если б сейчас Михаил оказался рядом и спросил меня, что со мной, я, не думая о последствиях, рассказал бы ему решительно все.

За кустом в ручье щелкали утки, ловя червяков; стадо коров, тяжело топая, прошло к водопою. Слабо звякнули бубенцы, к крыльцу подкатила тройка. Я сообразил, что это для Михаила, который, попрощавшись со всеми еще с вечера, торопился попасть в город к поезду, чтобы в последний день отпуска повидать еще свою старушку-мать в Лесном.

Вдруг из плотных кустов буксуса, росших прямо под окном Веры, как из-под земли, показался Михаил. Он был в шинели и фуражке. Сорванным прутом он легко постучал в ставень. Конечно, его стука ждали: окно распахнулось, и Вера, в розовом кисейном капоте, сияющая, ликуя в ответ солнцу на чистом, без облака, небе, протянула ему свои тонкие девичьи руки. Михаил ловко прыгнул на подоконник. Они обнялись.

Решительно судьба надо мной издевалась: в том, что ночью я лишь угадывал по слуху, сейчас должен был воочию убедиться.

Вера что-то долго шептала Михаилу — верно, рассказывала про побег. Он торопил ее, оглядываясь по сторонам; он боялся, что их заметят, раза два глянул в моем направлении. Я был от них скрыт густой беседкой сирени, но мне-то они были видны сквозь небольшой просвет.

Они прощались так весело и были полны таких непреложных надежд, что я не заметил и тени боли, этой неизбежной спутницы любви при малейшей разлуке.

Он спрыгнул с окна, обернулся. Она ему махнула оставленной им веткой и долго смотрела на дорогу, пока не улегся последний столб пыли, взметенный умчавшейся тройкой. Не отрывая глаз от нее, я видел, как она все с той же победной, ликующей улыбкой ушла вглубь своей комнаты. Если б она знала, что в это сияющее утро она видела Михаила в последний раз... Впрочем, нет: она увидала его еще однажды. Но это уже был не он.

Мой отпуск кончался через несколько дней, но я не мог выдержать так долго пытки. В доме было напряженно, как перед

грозой. Старик Лагутин сказался больным, и Мосеич от него не выходил; очевидно, обдумывали вместе ловушку. Вера появлялась, как лунатик, видимо отсутствуя где-то чувствами, и все больше сидела запершись с Марфой; как потом оказалось — отбирала все ценное для побега. Улучив минуту, я подошел к Вере и сказал:

— Прощайте! Я ухожу на охоту, и, чего доброго, завтра не удастся попрощаться. Вы спите долго, а мне ехать зарей, как сегодня Михаилу.

Я нарочно подчеркнул последнюю фразу, я с вызовом смотрел на нее, я внутренно молил ее обеспокоиться моим возбуждением, задать вопросы, потребовать ответа. Кто знает, хоть минуту обрати она на меня лично внимание, я, может быть, ей рассказал бы про Мосеича... Я бы не знал удержу в благородстве, я бы создал новый план бегства, я сам бы помог его выполнить! Кто же знает всю глубину низости и всю высоту подвига самоотвержения собственной таинственной природы?

Вера насторожилась при имени Михаила, но тут же, должно быть привычно учтя мою недалекость и постылое «благородство», решила, что подчеркивание случайно, рассеянно сказала мне: «Вот как! Ну, прощайте», — и ушла к себе на зов Марфы.

Я схватил ружье и пошел, куда глаза глядят. Целый день пробродил я, ничего не убив, да и было мне не до охоты. Сам, как смертельно раненный зверь ищет место, где бы ему приткнуться и зализать свои раны, я со стоном прометался по чаще всю ночь, и на заре, охваченный мучительным беспокойством относительно судьбы Веры, с чувством вины перед ней и презрением к себе, подходил я к усадьбе Лагутиных.

Вдруг из конюшни, мимо которой лежал путь, донеслось нечеловеческое рычание. Я прислушался: хлест плети и оханье после удара, как от поднятия тяжести, без слов объяснили мне о производимой там мерзостной экзекуции.

— Стой! — раздался голос Мосеича. — Он не дышит. Окати его водой.

Я изо всех сил дернул дверь, сорвал ее с петель и вошел. На скамье лежал туго связанный, смертельно бледный Петр. Он был без сознания. Его здоровое голое тело было вздуто сине-багровыми рубцами и залито кровью.

— Мерзавцы, вы его забили до смерти!

— Последнее всыпали, — сказал равнодушно огромный мужик. — Пущай отлежится.

И он стал обтирать трехконечную плеть от крови.

Мосеич, сощурив ядовитые свои глаза, закурил трубку.

— Сорвалось, — сказал он. — Всем трем голубкам свернута шея!

— Что с Верой? — крикнул я.

— Королева под крепким запором, хоть и не в круглой башне, но едва ли сбежит. Старый король с большим вкусом воскресил этой ночью рождение Афродиты из пены морской при участии рыжей Марфы.

— Что решил он для Веры Эрастовны?

— Нечто вам приятное. Выдать ее немедленно за князя Нельского. Он вдвое старше, и молодой утешитель будет хорош...

Я пощечиной свалил дьявола с ног и побежал к дому. Был очень ранний час. Двери и ставни заперты. Я подтянулся на руках, как вчера Михаил, к подоконнику Веры и постучал кулаком в ставень. Не сразу чуть приоткрыла его старуха Архиповна. Она замахала на меня:

— Погубишь нас, уходи, стерегут...

Послышался голос Веры, она спрашивала, кто говорит. Архиповна опять высунулась, оглядываясь кругом, и шепнула мне:

— Жди в кусту.

Как заяц, я прыгнул в густую акацию, и во-время. Гришка-цыган, приспешник Мосеича, с дубиной выскочил из-за угла и крикнул:

— Кто здесь?

Целый час просидел я в засаде, пока Гришку не позвали в людскую и сменить его под окно пришел Кондрат, молодой славный парень, с которым я ходил в ночное. Он был мне очень предан, и я хотел выкупить его у Лагутина.

— Кондрат! — крикнул я.

— Что вы, барин! — отмахнулся он. — Меня запорют, если вас допущу...

Сморщенная рука няни Архиповны, с красной шерстинкой от ревматизма, высунула письмо из окна.

— Кондрат, дай скорей письмо, — попросил я.

Кондрат оглядел зорким глазом вокруг и, взяв у няни конверт, отдал мне. Я скрыл его на груди. Ставень захлопнулся.

— Как было дело, Кондрат, скажи в двух словах?

Кондрат рассказал, что Марфа под вечер принесла старику Лагутину вино, куда барышня сыпнула сонного зелья, а как барин про всю затею уже знал от Мосеича, то графинчик он обменил другим, заготовленным. Марфе плясать приказал, а сам притворился, что засыпает.

Марфа, уверившись в его сне, побежала к барышне, и обе, схватив узлы, за околицу. А уж там Петр ожидал их с коляской. Только сели, Эраст Петрович им наперерез, да с револьвером. Хоть стрелял он в воздух, а обе со страху сомлели. Петр ударил по коням, да куда против скакунов... Тут его, раба божьего, спéшили, связали по рукам и по ногам и Мосеичу сдали, заплечных

дел мастеру. Барышню на руках в светлицу внесли, с нянькой заперли, а Марфу — всю ночь плясать...

— Пляши! — кричит барин. — Пока пляшешь, Петра пороть не велю, а как присядешь — начнется работа! До утра буду взбадривать. А ну-ка, сократи ему срок!

Всю ночь, как ведьма на шабаше, плясала Марфа, пока, словно сноп подрезанный, не свалилась. Сейчас больная лежит.

— Идите, барин, от греха...

Кондрат, завидев сторожа, отскочил от меня, а я пошел заказывать лошадей.

Верино письмо не было запечатано. Я так мало был для нее человек, что не стеснял ее в проявлении самых заветных чувств. На преданность мою и великодушие она, повидимому, надеялась совершенно.

Как оскорбительно и опасно для человека то, что люди именуют уважением и что на деле — лишь величайшее равнодушие при удобном для них признании тех или иных возвышенных качеств души! Но ведь от бездушности признания человек немедленно теряет все эти качества, чем, конечно, печально свидетельствует, что совершенное бескорыстие, ради самой красоты поступка, является уделом лишь самых немногих избранных.

Вера описывала Михаилу неудачу побега, равно как и причину, побудившую ее не пытаться что-либо предпринять без договора с ним. Отец явился к ней с листами «Колокола» и с заявлением, что он представит начальству Михаила все дело как совращение дочери в политических видах.

У Веры был страх, что Михаил при своей горячности станет открыто говорить о своих убеждениях, чем немедленно лишит себя свободы, а с ней и действительной работы для дела революции.

«Впрочем, — заключила она, — если находишь нужным себя обнаружить и пасть сейчас, застрельщиком дела, то умоляю лишь об одном: не забыть и меня взять с собой. Ведь мы соединены навеки...»

Тут следовали такие признания любви, которых я сам и в мыслях не посмел бы сделать Вере.

И она даже не сомневалась, что такое письмо я передам! Так напрасно же она не сомневалась!

ГЛАВА VI

Круглая комната

Какие дожди этим летом! С холодной зимы не отогреться. Я ухитрился подшить под валенки по куску линолеума, чтобы не промокли: калоши — не по карману. Девочки очень смеялись, однако помогли.

И сколь счастливы их ручонки: денег набрал я, как никогда. Жалели проходящие старика: под дождем, а в валенках, и с подметкой из клетчатого линолеума.

В сущности люди больше художники, чем они это думают. Их трогает не сама нищета, а лишь ее новый, живописный оттенок.

Когда я шлепал по лужам в прежних намокших валенках, мне было куда хуже, а давали-то меньше. А сейчас, с этой остроумной заменой калош, когда я выиграл в смысле здоровья, впридачу и люди на меня умиляются и дают вдвое больше.

Купил я к хлебу полфунта костей в мясной. Девчонкам я купил по конфетке ирис; спохватился, да поздно, что мальчишки с лотками их для блеска облизывают языком. Ну, ничего, обварю кипятком, будто нечаянно; съедят девочки на здоровье.

Приехал домой я сегодня в трамвае. Сидя в углу, я читал объявление о разоблачении плутней гадалок и гипнотизеров каким-то заезжим профессором психологии. Я вспомнил вдруг Париж и гадалку m-me де Тэб. У нее в приемной комнате висел гипсовый слепок одной руки, такой мне знакомой по карточной игре. Я всмотрелся и говорю: «А ведь это рука генерала Д.». Де Тэб как привскочит:

— Как вы узнали? Дайте-ка мне вашу. — И вдруг грустная стала, чуть не плачет: — Ужасная ваша судьба...

Я пристал:

— Расскажите.

— Большой художник в вас погиб, — сказала она. — А если человек убьет данного ему художника, в нем неизбежно возникнет злодей: таковы законы духа. Ну, это ваше прошлое...

А про будущее она, уступая моим настояниям, сказала, бледнея, в ответ на вопрос, какою смертью мне суждено помереть:

— Вы умрете, сударь, от истощения, после невыразимых мук одиночного двадцатилетнего заключения и сумасшедшего дома.

Нынче мне восемьдесят три года. Если даже сегодня, придя домой, я буду посажен в тюрьму, то и в безумном состоянии прожить еще двадцать лет и умереть ста трех лет от роду едва ли вероятно.

Да, с предсказанием m-me де Тэб, как говорили у нас в корпусе, села в лужу. Кто тронет нищего старика?

Я не мог писать эти дни. От дождей вспыхнул ревматизм. Я, как больной зверь из берлоги, смотрел в непроглядное небо, ожидая солнышка.

Завтра Первое мая, день навеки мне памятный, когда я сделал свой второй шаг на пути гибели Михаила. Первый шаг, если читатель помнит, свершен был в беседке, когда я в руки Мосеича

передал заграничный журнал «Колокол». О последствиях этого дела скажу в этой главе, но прежде для себя самого надлежит занести мне ближайшее: первомайское торжество в шестой год революции.

Еще накануне сеяло весь день, словно из сита, и девочки наши всплакнули, что не удастся им завтра справить праздник. Однако первого мая солнце вдруг вышло такое пышное, жаркое, как в лучший день июля. Девочки весело щебетали, нацепляя друг на друга красные банты; старик Потапыч надел сбоку коммунистический знак: серп и молот на красной звезде. А в красный галстук воткнул он булавку с портретом товарища Ленина.

Я смотрел, как Потапыч брился и надевал эти новые знаки, признак окрепшей власти.

Все ушли из дому; я — один. Девочки со своей школой уехали на грузовике, увитом еловыми ветками, с огромными плакатами о преимуществах грамоты над темнотой.

Старик Потапыч тоже идет нога в ногу с «работниками просвещения» — он числится сторожем в Наробразе. Уходя, он сказал мне с гордостью:

— У нас свое знамя, отменной вышивки. Обратите внимание: колосья на вишневом бархате и лозунг...

Я не долго оставался один. Кряхтя от высокой лестницы, взгромоздился Горецкий. Любопытнейший старик, любит зрелища, а у нас окна на Невский, и к тому же с птичьего полета.

Горецкий окончательно впал в детство: он прежнее все забыл, живет последней минутой. Прежде всего он спросил, есть ли сахар и не вредно б чайку... Пили вприкуску — такова стала роскошь. Впрочем, это заветный, припрятан у меня для девочек.

Горецкий с жаром описывал, какие пойдут процессии и инсценировки. Ему посетители нередко оставляют газеты и болтают со словоохотливым стариком.

Видя превосходное состояние здоровья Горецкого по сравнению с моим, я взял обещание со старика, что он, в случае моей смерти, записки мои передаст по назначению. Он долго упрямился, говоря, что у него нет свободного времени, но за фунт махорки согласился, что, в случае чего, снесет мое писание в редакцию сам.

Вдруг ударили трубы: от Николаевского вокзала по всему Невскому широко протянулась процессия. Шли рабочие, шли войска, шли дети. Шел просто народ и праздновал свой праздник. Посреди на грузовике — огромных размеров земной шар. На нем красной краской среди голубых морей отмечены революционные земли, где революция уже совершена или ожидается. А вместо экватора подвижной пояс с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И когда вокруг этой громады хор чистых девичьих голосов выкликнул тот самый призыв, который, бывало, с такой горячей верой в грядущее мне шептал Михаил, мне чудилось: незримый, он тут. Надо признаться, что было и чувствительно и прекрасно. В другом грузовике, громадной калоше, — веселая буржуазия всех стран. Из калоши — обмен острословия с окружающими, ко всеобщему удовольствию.

А в стройных колоннах — войска. На войсках отлично пригнана форма с разноцветными петлицами. Все они в шлемах, как витязи. Опять понабрались откуда-то рослые молодцы... Не оскудевает Россия! Давно ли поля битвы усеяны были лучшими бойцами, а она уже, гляди, — как целина, напоенная солнцем, не устает выгонять стройный колос, — опять выгнала новых в ряды.

От духовой музыки охваченный воинским пылом, мой бедный Горецкий вдруг вспомнил про прежнее.

— Сережа, порой я от старческой злости ведь вру. Я сторож... А ведь аул-то Гильхо взят был мной, мной!

Он было всхлипнул, но тут же, ликуя, как будто и он участник первомайского торжества, вдруг сказал мне:

— Ага, теперь небось можно так, теперь и с красными, со знаменами, а прежде-то, прежде?

Меня взорвала его безответственность.

— Дурак! — сказал я ему по-старому. — Да из-за кого же нельзя было, соломенная голова? Из-за таких вот, как ты да как я. Протестовал ты, когда вешали террористов, когда гнали в тюрьмы? Ты, братец мой, одобрял.

— Ну, mon cher, — сказал он, не смущаясь, — это другое дело, террористы хотели применять насилие...

Я с ним не стал разговаривать. Старик явно сходит с ума. К тому же он так радовался, что у милиции новая красивая форма, черная с красным воротом, и сшита по росту.

— Mon cher, у нас снова полиция, и насколько приличнее прежней, ma foi,[1] — европейская. О, если б я знал, что будет так, ни за что я бы не саботировал! И они, между нами говоря, поторопились истреблять нас. Сразу надо было нас кооптировать... Впрочем, я не ропщу: мое место тихое и, так сказать, са-мо-державное. Сам себе голова, и канцелярии... хе-хе... никакой.

Я устал от Горецкого и обрадовался, когда он стал уходить. Но, тут же устыдясь, что тягостен мне этот последний родной человек, я сам вызвался его проводить.

Идя обратно, вовлекся я в общий поток и со всеми попал на эту роковую для меня площадь Урицкого. Несметная толпа народу в образцовой тишине и порядке слушала речи высоко на

---

[1] Честное слово *(франц.)*.

трибуну взошедших ораторов. А когда вознесли и развернули пурпурное знамя, грянул из тысячи уст «Интернационал».

Что действительно видел я и что мне пригрезилось? Не на этой ли самой площади, неотделимый от слова «Россия» — казалось — навеки, мощно звучал иной гимн? И давно ль это было? По времени — краткое пятилетие, по пережитому — века. И вот таким же неотъемлемым от страны стал «Интернационал».

Девочки вернулись веселые, с гостинцами, а Иван Потапыч явно выпивши.

— Угостили кооператоры пивом, не по-товарищески отказаться, — объяснил он свое состояние.

Снимая свои новые значки, Иван Потапыч, желая праздник Первого мая утвердить в домашнем быту, крикнул громко, как на улице: «Да здравствует красный пролетариат!» Затем, облекшись в халат и позевывая, нимало не шутя, спросил у девочек:

— А долго ли протянутся царские дни?

Младшая, Сашенька, с досадой сказала:

— Вот еще выдумал: про-тянутся! Завтра же уроки.

Революция решительно стала бытом. И как скоро! Дольше зарастает молодняком старый, с корнем выкорчеванный лес. Отстоялись и становятся милыми новые формы. Из-за чего же, спрашивается, из-за чего столь бесславно погиб Михаил, а я дожил? Не я ведь, а он хотел этих форм.

От солнечного ли дня, от музыки ль и чужой бодрости, но утих мой ревматизм. Когда наутро все ушли, я, как назначено, сел за тетрадь. На чем же я остановился в повести о Михаиле? Да, на письме, данном Верой с такой уверенностью в передаче...

Я не передал этого письма. Оно и сейчас со мною.

Письмо это — моя улика, мое сокровище, мой позор и оправдание. Выцветшее от времени, со следами горьких слез, оно пусть пойдет со мной в могилу.

Как же это вышло, что такого важного письма для судьбы Веры и Михаила я не отдал?

Как и всегда в таких случаях, моя злая воля как бы создала и благоприятные к тому обстоятельства. Вернулся я из отпуска в срок, а Михаила все не было. Оказывается, он днем просрочил, в оправдание чему представил медицинское свидетельство, которому, разумеется, никто не доверял, но по форме так водилось.

Я же, к своему удивлению, оказался вдруг настолько больным от всего мною пережитого, что вечером, за всенощной, упал в обморок и, будучи отнесен в лазарет, оказался в нервической лихорадке. Когда меня раздевал служитель, письмо Веры, хранимое на груди, я успел сунуть в ящик больничного столика и впал в трехдневное беспамятство.

Первое дело, когда я очнулся, было проверить, тут ли письмо, и еще сохраннее спрятать его в ящик под разными туа-

летными мелочами. Через неделю ко мне пустили товарищей, пришедших меня проведать; между ними был и Михаил. Это было — навсегда помню — первое мая. Оставшись один, он спросил: что случилось в Лагутине и есть ли ему письмо? Я молчал, как бы собираясь с силами, а у самого молнией пронеслось в голове: если скажу, что побег не удался, он найдет способ подвигнуть Веру на поступки чрезвычайные, а я сейчас распростерт и бессилен охранить ее. И, притворяясь более больным, нежели был, я сказал ему:

— Я подробнее расскажу все позднее. Особенного ничего не случилось. Вера пока у себя в имении, на днях же тебе вышлет письмо, а со мной не успела: я уехал внезапно по вызову тетки.

Так велико было невнимание Михаила к моей личности, что, приняв меня однажды за готовую схему, он себе не дал труда всмотреться в меня как в живого человека.

— Нет письма, — сказал я.

Вот оно — и сейчас тут! Голубоватый конверт, вложенный в большой полотняный, прочнейшего качества. И Михаил и Вера истлели, даже вещи Михаила, пробывшие, как и он, в заключении двадцать один год, по донесению коменданта пришли в ветхость и по его предписанию были уничтожены сожжением в присутствии двух жандармских офицеров, а письмо это цело.

Не отдав письма, я решил окончательно не говорить всей истины, и, выйдя из лазарета, в единственном разговоре, которым меня Михаил удостоил, я был уклончив, отзывался неведением, пребыванием на охоте.

Между тем был конец мая, день производства в офицеры близился. День этот для каждого юнкера — необычайное торжество и в некотором смысле единственный, неповторяемый день в биографии.

Впоследствии для военного многие дни могли быть счастливее и торжественнее, как, например, получение за храбрость Георгия; но более разительному психологическому переходу из одного состояния в другое — не повториться.

Производство — это как бы посвящение в рыцари. Вместе с погонами офицера вчерашний юнкер должен был спешно усвоить себе целый курс особой офицерской тактики и знания законов офицерской чести, прав и обязанностей. Этот сложный кодекс был своеобразен и часто прямо противоречил кодексу общечеловеческому.

Этот наш особый уклад был не однажды описан писателями, и я упоминаю о нем лишь потому, что столько лет был он мне как цыпленку скорлупа, охватывающая все, что необходимо для его питания и роста. Но цыпленок, коль скоро он разбил скорлупу, уже на ногах. Я же из разбитых осколков не знаю, куда мне ступить.

На производстве был государь. Он нас поздравлял и целовал фельдфебеля и портупеев. Я обратил внимание на то, что Михаил, смертельно бледный, не сводил горящих взоров с царя. Он был портупей-юнкер. Когда государь слушал рапорт фельдфебеля, он встретился глазами с Михаилом. Я видел: что-то дрогнуло в его лице; он его узнал. Царь повернулся и заговорил с Адлербергом. Я потом узнал от его племянника, моего товарища, что царь спросил: «Кто этот юнкер?» Услыхав фамилию, как бы боясь забыть, он повторил ее дважды: «Бейдеман, Бейдеман». Потом прибавил: «Пренеприятное лицо!»

Михаил вынул носовой платок и, приложив его, как бы удерживая внезапное кровотечение, вышел. Он не хотел принять поцелуя.

Когда прошли мы в столовую на парадный обед с военной музыкой, не утерпел я и сказал Михаилу:

— Что это ты, при общей радости, как некий Мельмот-скиталец, таящий зловещую тайну?

— Не всегда будет тайной, дай срок; но зловещей кое для кого останется!

И вдруг, приблизившись, он быстро спросил:

— А ты мне правду сказал, было мне письмо от Веры?

И второй раз я постыдно солгал, опуская глаза:

— Да, карандашом были две строчки, даже незапечатанные, но, прости меня, в болезни я его потерял и по слабости не мог признаться. Но я рассказал тебе все, что знал, и, если б захотел, ты бы мог действовать.

— Со связанными руками? — в бешенстве прохрипел он. — Но знай однако: если письмо не потеряно, а ты мне солгал и от этой лжи пострадает наше с Верой дело, я убью тебя.

— Предлагаю хоть завтра дуэль, — сказал я.

Мы не могли оторваться друг от друга. Михаил опомнился первый.

— Прости! — сказал он. — У меня порой чувство, что ты мне будешь причиной великой беды. А на дуэли драться не стану. Моя жизнь нужна делу.

Я был почти счастлив. Михаил стал меня замечать. Дивно устроена природа всех склонных к художествам! Я понял, что не только Вера, а и сам Михаил мне, пожалуй, не менее дорог.

Осмелев, я спросил:

— Ну, а если затронут твою честь офицера, ты и тогда не пойдешь на дуэль?

Он сказал задумчиво:

— Моя честь — честь человека, а не офицера.

— Тогда ты не сможешь и месяц прожить в полку!

— А кто тебе сказал, что я там собираюсь жить?

Под вечер из залы собрания, где предполагалось изрядное

вспрыскивание производства, я был вызван вестовым, который сообщил мне, что меня дожидается пришедший с письмом нижний чин, никому не известный. Я вышел в переднюю, и немалым было мое изумление: передо мною стоял Петр, муж красивой Марфы. Хотя смотрел он очень бодро и вытянул руки по швам со столичной выправкой, в моем воображении встало лицо его, тогда на конюшне, мертвенно бледное, и ужасная спина: вся иссеченная, сине-багровая. И потому невольно первое, что я спросил его, было:

— Ну, как же ты, поправился?

— Да, с недельку валялся, вашбродь, а потом лоб забрили и сюда, в гвардию. От барышни нашей два письма — к вам и поручику Бейдеманову.

Михаил был у дверей; услыхав свою фамилию, он подошел, взглянул на Петра, вмиг узнал его, вспыхнул, потом побледнел, молча протянул руку за письмом Веры.

— Когда поручик Русанин тебя отпустит, найди меня в библиотеке, — и он спешно ушел.

Петр рассказал мне, что Вера вышла замуж за князя Нельского. Марфа, которую Вера выпросила у отца себе в дар в счет приданого, тоже прислала весточку, где говорит, что молодые собираются за границу, куда хотят взять и ее.

Я не верил ушам, переспрашивал много раз, но Петр подробнее не мог рассказать. Его скоро отправили в полк. Впрочем, он утверждал, что Вера спокойна.

С князем, который женихом приезжал очень часто, охотно и подолгу они все о чем-то говорили, гуляя по темным аллеям сада.

В письме Вера прежде всего настойчиво просила меня взять Петра в денщики. Потом она кратко упоминала о том, что вышла за князя Нельского потому, что он оказался ей неоценимым другом. Скоро они действительно едут за границу, через Петербург, где Вера надеется меня видеть. Затем следовали ласковые слова, от которых я давно отвык, с повторением просьбы о Петре. Я обещал ему немедленно начать хлопоты и провел его в библиотеку к Михаилу. Скоро из дверей они вышли оба, причем у Михаила был такой ликующий вид, будто вовсе не князь Нельский, а сам он женился на Вере.

— Прощай, Русанин! — сказал он мне. — Я на попойке не буду, у меня времени в обрез. Сегодня же я должен ехать в Лесной, меня матушка не дождется. А тебе на прощанье два слова...

Он вспыхнул и остро мне глянул в глаза.

— Ты мне солгал, от Веры письмо ко мне было. И далеко не в две строчки. Но хорошо то, что хорошо кончается. А сейчас для нашего общего дела вышло так, как лучше нельзя и придумать.

— Для дела... — начал я и запнулся, не докончив мысли, что сама, значит, Вера ни на что ему не нужна. Впрочем, я был этим счастлив. Этот фанатик, очевидно, любил только мгновением: не сам ли он признавался Вере, что женщине не принадлежит в его жизни решающая роль? Не сам ли он намекал на трагический случай, что любимую чуть не убил, едва она взяла над ним власть? Впрочем, может быть, он рисовался и сочинял... Однако я тогда же спохватился, что на лгуна он совсем не похож, а изумительная соподчиненность наших двух судеб заставила меня своим опытом проверить и это его приключение. Но об этом много поздней...

Михаил своей легкой, стремительной походкой пошел к воротам по длинному плацу, облитому заходящим солнцем, пожаром зажигавшим все стекла кирпичных строений. Михаил шел в таком пламенном освещении, что дежурный, уже сильно подвыпивший, глянув в окно, крикнул вдруг: «Пожар, братцы!» — на что ему, не оборачиваясь, ответили: «Знай себе, заливай глотку!» — и хором грянули застольную.

А мне стало вдруг как-то особенно тяжко глядеть вслед высокой фигуре Михаила, сиротливо убегавшей вдаль среди нестерпимо сверкавших окон, в кровавом свете заката, что я, повинуясь вдруг неодолимому желанию остеречь его от чего-то, схватил фуражку и кинулся ему вслед...

Догнав Михаила, я сказал:

— Позволь, я провожу тебя до почтовой кареты, мне приятно пройтись.

— Что же, проводи, — отозвался он дружески.

Мы двигались молча. Так вдруг стало радостно, как было у нас в дни первых встреч и как давно уже не было. Мы дошли до Полицейского моста, где Михаилу надо было что-то купить. В это время поровнялся с нами шедший нам навстречу некто штатский средних лет, в бороде, не слишком хорошо одетый. Он был мне знаком, но сразу я не мог припомнить, где мог его видеть.

Пристально вглядываясь в Михаила, штатский сказал ему:

— Здравствуйте! Что же вы не зашли? А я ждал, что зайдете...

Это был Достоевский.

Меня он было совсем не заметил, но, спохватившись на мой поклон, с преувеличенной любезностью сказал:

— Вы, кажется, тогда вечером были также в салоне графини?

— Графиня Кушина — моя родная тетка, — глупо ответил я, чем-то словно задетый.

Михаил был, видимо, взволнован этой встречей и молчал.

— Господа, — сказал Достоевский, — зайдемте сейчас ко мне, не откладывая в долгий ящик, благо тут рукой подать.

У Михаила до отхода почтовой кареты в Лесной было еще много времени, а мне предстояла попойка всю ночь, и начать ее часом раньше или позднее было мне безразлично. И мы оба пошли за Достоевским.

Когда мне впоследствии приходилось читать характеристику этого писателя и воспоминания о нем как о человеке, я был поражен той обыкновенностью, той бедностью наблюдения, какой отличаются люди. Они ловятся на маску, которую носит каждый мыслящий человек для удобства общения с себе подобными. Эту маску они принимают за лицо.

Мне пришлось вырасти в кругу, где видимость обманчива исключительно, где грубейшие по характеру люди и совершенные невежды в искусствах и науке обучались вести многочасовую салонную causerie,[1] умело касаясь всего, и заставляли предполагать не сказанным еще большее, между тем как сказанное ими было не более, как та искусная театральная декорация с далекой перспективой, которая на самом-то деле заключается в небольшом куске картона и хитром расчете.

От этого опыта у меня выработалось совершенное пренебрежение, при серьезной оценке человека, к последней его работе, сделанной напоказ.

Должен сознаться, что из сочинений Достоевского я к тому времени не прочел ничего, и тем свежее и непринудительнее, как сейчас могу понять, было мое о нем впечатление. И всю жизнь мне чрезвычайно смешно, когда какой-нибудь недоношенный неврастеник со слезливыми чувствами воображает себя «под Достоевского».

Совсем обратными свойствами поразил меня этот писатель, когда я внимательно к нему присмотрелся.

У него в высшей степени было то качество, каким обладают очень немногие светские женщины, порой далеко не красавицы, но в них есть нечто большее, чем красота. В них очарование, бесспорно решающее чужую судьбу.

После знакомства с ними все впечатления, получаемые вне их сферы воздействия, бедны и бледны. Их присутствие подымает, множит все силы, как шампанское, бьет в голову, обогащает.

Тайну подобного обаяния ученые люди, вероятно, когда-нибудь вскроют, как присутствие в ином организме усиленных токов жизни.

Воздействие Достоевского от присутствия в нем этого сгущенного эликсира жизни было так стремительно и беззаконно,

---

[1] Беседу *(франц.)*.

как свет прожектора, вдруг вспыхнувший и сразу же охвативший своими лучами предмет.

Быть может, люди не художнического склада, а сильные волей и мыслью, нечувствительны к подобным воздействиям; но я шел за Достоевским в величайшем волнении, похожем на ту утрату внешних чувств, которая охватывала меня, к примеру сказать, в императорском Эрмитаже перед иной из любимых картин.

Глянув на Михаила, я заметил, что взволнован и он, но по-иному. Его мужественное лицо как-то сделалось жестче, он весь подобрался, поправил лядунку, передернул плечами, как перед смотром, и стал ступать круче, отчеканивая каждый шаг.

— А ведь вы уже офицеры, — улыбнулся Достоевский, — а тогда были еще юнкера. Полагается вспрыснуть. У меня кстати недурное вино. Угощу вас им в замечательной комнате. Я здесь временно у приятеля, который сам за границей, пока в моей квартире ремонт.

Мы поднялись в четвертый этаж. По каким-то темным и мало хорошего обещающим переходам подошли мы к ободранной двери. Достоевский пошел рядом в чулан, за бечевку вытащил, как рыбу, дверную ручку, вставил ее в отверстие двери, поворотил. Мы оказались в темной передней, заваленной подрамниками и дровами. При нашем появлении пискнули и прошли в угол две крысы.

Достоевский толкнул дверь, и мы вошли в удивительную комнату. Она была огромная и совершенно круглая. По внешней стороне, дугой огибающей проспект и канал с желтозеленой водой, шли три большие окна. На одном, широко открытом, весь подоконник был в цветах благоухающего душистого горошка, как сейчас помню, одних лиловатых колеров. Этот первый план прекрасно совпадал с бесконечной перспективой на город. За нежными лиловыми цветами, как призрачное, возникало одно из чудес Растрелли — красный графский дворец. На фронтоне — две лисицы, взметенные на дыбы. В переменчивой игре заката они казались ожившими. Конечно, я знал и названия пересекающихся улиц, и дома, но отсюда, с четвертого этажа, когда все окно охвачено пурпурно-золотым небом заката и все здания зыбки, я в этом городе чую острей гений строителей, и Петербург предстает мне нередко Италией.

Большой чаровник — час заката! Так однажды в Париже от Булонского леса я взволновался, как от овражков нашей скромной Смоленской губернии. Быть может, тоска эмигрантов по родине, во множестве там бродивших, мне навеяла это чувство.

Как бы отгадывая мои мысли, Достоевский нам указал на первые огоньки, задрожавшие в темных волнах канала, на длинную лодку под мостом и сказал:

— Ну, чем не Венеция! Впрочем, и действительность мечте не уступит. Лодку эту, полную глиняной самодельной посуды, привели из Череповца гончары. Уже раскупили. А вчера, под нежданно ярким солнцем, и наши горшки заиграли не хуже мозаики святого Марка... Однако присядемте, господа, и вспрыснем ваше новое звание.

Мы отошли от окна и сели на один из длиннейших диванов, которые шли по окружности вдоль стен, совпадая с их выгнутой линией. Диваны перемежались с книжными шкафами. Посреди не было ничего. Матовый паркет, давно не натертый, но чистый, будто для сказочной игры, причудливо разбросал свои прекрасно сбитые ромбы. Под потолком висела люстра, тоже круглая, византийского стиля, с цветными лампадами вместо свечей. Достоевский налил нам в рюмки отменной марсалы.

— Я, знаете, просто по-детски рад, что у меня хоть временно эта фантастическая комната, — начал было он, но Михаил вдруг, особенно волнуясь, его перебил:

— Мне помнится, в первой главе «Униженных и оскорбленных» вы говорите, что хотите себе квартиру особенную, не от жильцов, и хоть одну комнату, но непременно большую... Еще замечаете вы, что в тесной комнате и мыслям тесно, а вы любите, когда обдумываете свои повести, ходить взад и вперед по комнате...

— Откуда вы знаете? Романа еще нет в печати...

— Наш профессор Селин хранил как-то ваши рукописи, я его секретарь, он давал мне прочесть.

— Как же, Селин, свойственник Герцена, очень, очень помню его... Но, однакоже, вы произнесли слово в слово. Неужто так пристально читали меня? — удивился Достоевский.

— Мы, русские, иначе не умеем... все с головой. Я слышал, художник Иванов показался Штраусу сумасшедшим оттого, что его «Жизнь Иисуса» выучил от доски до доски и приставать вздумал к автору с такими вещами, о которых тот уж и думать забыл.

— Последнее вы предполагаете сделать со мной? — улыбнулся Достоевский.

— Вы угадали, — не улыбаясь ответно, сказал Михаил. Он стал очень серьезен. — Да, я именно пристально вас читал. И, мучась некоторыми мыслями относительно вас, я у вас же набрел на разгадку, на некое одно «кстати»...

— Любопытно, очень любопытно...

— Вы говорите, между прочим, следующее: «Кстати, мне всегда приятней было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их». И спрашиваете тут же: отчего это?

— Ну-с, и вы мне хотите сказать, отчего?

— Увольте... Уж это пускай вам говорит ваша совесть...

Я с удивлением взглянул на Михаила. Он сказал фразу почти грубо и совершенно, по-моему, неуместно. Что же в том плохого, если кто мечту предпочитает словесному выражению? На мой взгляд, это даже поэтично, ибо мечта — бескорыстней всего.

Но Достоевский не удивился. Он склонил голову и внимательно, будто собираясь чему-то учиться, как бы с особым уважением слушал Михаила.

Насколько Достоевский поразил меня в салоне тетушки своей угловатостью, настолько сейчас я пленен был его внутренней обаятельной деликатностью, с которой пытался он как бы расправить судорожность волнения Михаила, которое, казалось, он до тонкости понимал.

— Отчего вы ко мне не пришли до сих пор? Ведь это же не случайность? Ведь вы не хотели прийти ко мне?

Достоевский так говорил, будто одну за другой снимал ненужные перегородки и входил в человека так же просто, как входят в сад, отворяя калитку.

— Конечно, вы мне не чужой, — не подымая глаз, сказал Михаил, — но для моего дела... для моего дела... вы самый жестокий, самый вредный человек.

Михаил выговаривал твердо. Он весь насторожился, как некто на бойнице, окруженный врагами, но не готовый к сдаче.

Волнение его, хотя совершенно мне непонятное, как, впрочем, и весь разговор, передалось и мне.

— Так я и думал про вас, — как бы одобрил Достоевский.

— «Записки из мертвого дома» все завершили, они окончательно оттолкнули меня от вас. Конечно, человек себе сам судья, и — как я уже вам сказал — ваша совесть пусть и знает... Но вот аналогия: насколько, по собственному вашему признанию, вам приятней мечтать, чем писать, иными словами — приятнее оставлять при себе, нежели закреплять для других, другим отдавать свое внутреннее богатство, настолько же... Ну, словом, и с живой жизнью у вас тот же сделан выбор...

И, вдруг вспыхнув, Михаил отрезал с невыразимой горечью:

— Подешевле вы обернулись! И это с тем, что вы знаете, с тем, что вы видели!

Михаил встал и, не в силах говорить, отошел к окну. Я, смущенный, смотрел на Достоевского. И вот не забыть мне лица его в ту минуту. Сквозь большую, какую-то могучую древнюю скорбь, которая не оставляла лица его и при веселой улыбке, ему свойственной, вдруг проступила такая сияющая, такая любовная радость.

Достоевский подошел к Михаилу, а я остался сидеть на диване, прикованный взорами к их почти силуэтным фигурам на все еще розовом фоне окна.

Михаил был в том своем аффекте, когда, сжигаемый диким огнем, он уже не видел перед собой никого. Как стреле, пущенной из сильного лука, ему уже было только вонзиться, а не свернуть с полета...

— Когда вы выходили из каторжного острога, — уже не сдерживаемый загремел его глухой и глубокий голос, — когда вы прощались с почернелыми бревенчатыми срубами казарм, где вы с такой мукой отсчитывали по палям забора дни заключения, да неужто только гением вашего художественного дара запомнили вы то, что̀ оставляете там за собой, выходя на свободу? Я наизусть выучил этот кусок, вот он: «Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уже все сказать: этот народ — необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» И вы же, вы сами, еще раз с новой строки, для внимания читателя, еще переспрашиваете: «То-то, кто виноват?»

— Что же мне, по-вашему, надо было сделать? — очень тихо и бережно спросил Достоевский.

— Я знаю только, что̀ надо делать нам.

— Кому это... нам?

— Нам, молодым! Молодые гибнут, не сходя с того места, где они увидали насилие. Им не передать устно свой опыт, им истратиться. Им лечь костьми! Когда были мученики за Христа, небось во вселенских соборах нужды не было... Против зла и насилия жизни был, есть и будет выбор один — добровольная *смерть* за свободу. Посудите: зачем же было мне к вам приходить? Вы ищете примирения, вы ищете выхода. А нашему делу нужны непреклонность и смерть. Прощайте...

Михаил пошел к двери, Достоевский взял его за руку.

— Постойте, я вам посвечу, в коридоре темно...

С разбитыми чувствами и ничего не понимающий, я безмолвно пошел вслед за Михаилом. Достоевский шел впереди со свечой. Свеча эта бросала дрожащий свет на ближайшие части стен и бессильна была разогнать ночные тени, сгущенные в многочисленных нишах, закоулках и пересечениях главного коридора. И как недавно Петербург из окна странной круглой комнаты мне вдруг почудился Италией, так сейчас эти чуть освещенные лестницы и переходы странного дома возродили во мне память о катакомбах, первых мучениках и гонителях.

Сейчас, когда передо мной лежат все события в их окончательном завершении, вижу ясно, сколь верное показание дали мне в тот вечер мои смущенные чувства.

А та круглая необыкновенная комната, по справкам, мной о ней наведенным, от приятеля Достоевского очень скоро перешла в руки к некоей мадам Флоранс. Этой даме служила она вплоть до революции общей залой для девиц и гостей ее легкомысленного, но доходного заведения.

ГЛАВА VII

Липы в цвету

Разумеется, согласно письму Веры, о Петре я стал хлопотать немедленно и успешно. Мне удалось перевести его в нашу часть и взять к себе в денщики. Относительно прочих событий я был в решительном недоумении.

Радость Михаила по поводу брака Веры с князем обличала, что брак этот вышел какой-то ненастоящий. Подчеркивание Веры, что князь оказался неоценимым другом, указывало на какую-то особенность их отношений. Но поездка за границу? В том, что любовь Веры к Михаилу не прошла, я не сомневался нимало; как же с этим вязался ее отъезд? Ведь Михаил не мог ей сопутствовать... Как офицер, он по крайней мере года на три был прикован к месту своей службы.

Скоро все объяснилось. Михаил Бейдеман исчез. Напрасно ждали его в драгунский Орденский полк, к сроку он не явился. Старушка-мать его, которую он уверил, что на короткое время едет в Финляндию, не имея о нем никаких известий, обратилась с просьбой о розыске своего сына к главному начальнику военно-учебных заведений, великому князю Михаилу Николаевичу.

Жестокий, как все фанатики, Бейдеман не думал ни о ком из людей, с ним связанных. Он не пожелал войти и в положение своей бедной матушки. Иначе как могло не прийти ему в голову то, что пришло бы всякому на его месте? Ведь детская ложь его при разлуке с ней, как потом оказалось — навеки, должна была обнаружиться уже через несколько дней и повергнуть ее в худшее из беспокойств. В его воле было это лишнее страданье от нее отклонить; его мать была особенная, мужественная женщина. Но он просто о ней не подумал, а сделал так, как ему было в данную минуту удобней.

А к Вере Михаил не поехал, чтобы не навлечь на нее подозрений и не помешать ее свободному выезду за границу, где она должна была съехаться с ним в Италии. О переходе Михаила через границу губернатор города Куопио сделал донесение финляндскому генерал-губернатору, чему имеются документы. Восстановляю события по ним.

Михаил поздно вечером остановился в одной гостинице, где переменился с буфетчиком платьем, дав объяснение, что это

нужно ему для того, чтобы наутро пойти на охоту. Но, уйдя утром, Михаил не вернулся совсем в гостиницу, а прошел пешком из Улеаборга в Торнео. Больше властям в то время ничего не было известно.

Я всей душой рвался повидать Веру и собирался просить краткий отпуск по делам своего Угорья, как вдруг от нее самой пришла мне эстафета с мольбой ехать немедленно, по особо важному случаю. Я приказал Петру укладываться. В это время мне доложили, что меня спрашивает пожилая дама. Это была мать Михаила.

Никогда не забуду я этой старушки. Михаил был ее последним, поздним сыном. Несколько с виду чопорная, немецкой складки, она, в черном платье и белоснежных рукавчиках, поражала столь редким в женщинах отсутствием всякой суеты. Казалось, вся жизнь ее протекала в большой внутренней глубине, и наружу вырывались только те немногие слова и движения, которые были необходимы, чтобы общаться с другими. При этом невыразимая доброта сияла в ее прекрасных, еще яркосиних глазах. Это не было то ни к чему не обязывающее и неверное светское добродушие, — это была доброта настоящая, приходящая делом на помощь. Потому, вероятно, что-то строгое и наблюдающее было в ее манере слушать и смотреть.

Я сразу понял, что такой матери Михаил мог бы довериться. И еще понял я, глядя на нее, как мог у него самого сложиться такой страстный, глубокий характер, устремленный, как стрела, к одной цели.

Мать Бейдемана без всяких подходов и намеков изложила мне цель своего посещения:

— Я пришла просить вас съездить к Вере Эрастовне: предполагаю, что она больше всех знает о моем исчезнувшем сыне.

Я показал ей на мои чемоданы и дал Верину эстафету.

— Не замедлите же ко мне по приезде, я так буду ждать вас!

Я, разумеется, обещал и поцеловал руку ее с истинным чувством сына.

Как волновался я, садясь в высланный мне экипаж, чтобы ехать в усадьбу князя Нельского! Я рад был, что у меня в запасе целых четыре часа времени, чтобы собраться с мыслями. Впрочем, на душе у меня было легко. Я себя уверил, что случай так повернул мои оба поступка, что стали они Вере и Михаилу лишь «счастливым обстоятельством». Из-за переданного мною «Колокола» — столь опасной угрозы в руках отца — Вера пошла на какой-то условный брак с князем, не лишившим, повидимому, ее свободы действий и чувства. А тем, что я утаил ее письмо, я только удержал Михаила от безумства. Сейчас они разлучены,

и сама судьба заставит их проверить, точно ли им необходимо соединиться.

Тронутый скорбью прекрасной женщины, матери Бейдемана, и польщенный эстафетой Веры с немедленным вызовом приехать, я настроился на романтическое великодушие. К князю же я не ревновал.

Дорога шла полями вперемежку с березовыми рощами. Среди столетних могучих лип, от которых ветер принес медовое благоухание, вдруг вылепился своей белою колоннадой великолепный дом Лагутина.

Навещать старика у меня не было охоты, и я еще с почтовой станции приказал подвязать колокольчик, дабы унять его непрошенную ябеду и — как следствие — неизбежное дознание Мосеича о том, кто именно проехал, не засвидетельствовав своего почтения Эрасту Петровичу.

В полуверсте от дома я обратил внимание на черные балки и уцелевшие стропила, печальные останки сгоревшего гумна.

— Что это, пожар был? — спросил я ямщика.

— Свои подожгли, — отозвался он, — лагутинские мужики за барскую издевку над бабами.

И по просьбе моей он рассказал следующее:

— Как вводили у нас уставную грамоту, как пошли землемер да мировой посредник кружок обходить, мужики и кричат: «Не принимаем!» В тягле-то было семь-восемь десятин, а надел у нас в Красненском уезде вышел всего десятины в четыре: как не обидно! Недаром княжецкие лагутинских мужиков вышучивали: «Бык у вас и мордой чужое ест и навоз на хозяйское стелет».

Вот начальство пришло, созвали сход и пошли нарезать. Честь-честью промежили, землемер проверил вехи, а как развел астролябию — откуда ни возьмись брюхатая баба: легла на межу брюхом вверх, не дает углы мерить! Истошным воем воет. И горе с этой бабой и смех. Пуще всех лагутинский барин хохочет, карле своему подмигнул, у всех на глазах о чем-то шептались.

Ну ладно, увели в тот раз бабу, отмерили землю. Указал землемер прочим, когда их черед.

А в следующий раз-то такое дело случилось! Да, не пройдет оно лагутинскому барину, забудет он себе потеху из мужицкого горя строить...

Мужик злобно умолк, но я поднес ему из дорожной бутылочки, и он продолжал:

— Пошел проклятый Мосеич от имени барина будто с добрым советом: пусть, дескать, все тяжелые бабы, сколько их есть, отовсюду сберутся да цепь протянуть не дадут. Брюхом вверх, как та, первая, пущай лягут, да беспременно чтоб голые... у той, вишь, толку не вышло за то, что в одежде, кто же ее щупал?

Может, чем и набилась. Ну, а брюхатых закон уважит. Ежели все гуськом лягут, — не пороть же их! Обязательно уважение сделают, и спасут бабы надел. И что скажете? Ведь поверили бабы. Которые мужики поумней, учить стали — так их чуть не в колья деревня. Чем ей темней, тем ей верней.

В назначенный день вышло начальство; глядь — сплошные брюхатые бабы, да — как нарочно — такая их прорва! Хохочет помещик, на гумно их зовет, поит для храбрости водкой.

Как изрядно охмелели, велел, чтоб разделись, да, как мать родила, к землемеру. А тут два человека уж цепь тянут; сами знаете, десять сажен цепь: воруй не воруй мужик колышки, землемер да начальники свое выберут.

Тянут цепь, а брюхатые бабы все, как одна, наземь хлоп — и завыли.

Ну, пороть их не пороли, однако жандармский полковник приказал всех, как были, в холодную. От давки, от драки, от перепуга две по ребеночку сбросили, одна в уме повредилась, а одна себя жизни лишила. Ведь им потом на деревне проходу не стало, засмеяли, что пороты, а эта — крутая, стерпеть не могла...

Ну, сейчас лагутинский барин держись! Мужик этой бабы не кто-либо, а Потап кривой, ему чорт не брат, гляди — всех подымет!

— Ну, а княжеские мужики как, довольны?

— Про князя грех сказать, всяк похвалит, а как женился на лагутинской барышне, ровно отец родной стал. Всех своих он на волю отпустил, а кто не хотел от него уходить, тому такой нарез дал — сиди да панствуй.

Мне хотелось подробней узнать про Веру, но показались строения и службы, а за ними предстал и сам длинный княжеский дом. Он не похож был на дворец соседа, так как выстроен был крепостным архитектором для удобной, но непритязательной жизни.

На балконе, увитом жасмином и вьюнками, стояла сама Вера в белом кисейном платье. Мне показалось, будто она стала еще выше и красивей.

— Милый Сержик, я так вам рада! — сказала Вера. — И Глеб Федорович ждал вас. — Она указала на князя.

С князем мы расцеловались. Он, взяв меня под руку, провел в приготовленную мне комнату.

— Совершите ваш туалет, и потом милости просим рядом, в летнюю столовую.

О князе надо сказать особо два слова...

Конечно, вполне основательно утверждение, особенно настойчивое в современном взгляде на вещи, что каждый из нас — продукт той среды и действительной жизни, в которых он рожден и живет. Но позволю себе отметить, что иной человек, даже деятель, может существо свое не выражать вовсе или выразить

превратно. Я знавал в юношестве людей, ныне давно отошедших, которые лет на пятьдесят опережали свой век, а посему в свое время годились на исполнение должностей лишь случайных и нимало для них не характерных. Так, собственный мой отец, человек большого философского ума, ненавидевший войну и весь ему современный государственный строй, всю жизнь принужден был отличаться на посту военного генерала. Также и дядюшка Юрий, страстный археолог, известный в Европе раскопками, занесен в историю завоевателем восточных земель благодаря одному блестящему военному действию, которое совершил он, по собственному признанию, не как военный, а как прирожденный азартнейший шахматист.

Князь Глеб Федорович принадлежал к таким людям. Внутреннее его содержание не соответствовало ни его званию, ни положению в свете. При тончайшей европейской образованности, он был из типа тех русских людей, которым ничего от жизни не надо. Сами же они, принимающие правой рукой подаяние, а левой его отдающие, легко и любовно идут по земле. В простонародье чаще всего такие люди в буквальном смысле странники; не ханжи-дармоеды, а те мудрые простецы, которых подсмотрели писатели наши Толстой и Тургенев.

Князь Глеб Федорович, если бы не тетушки и не бабушки — норовистые старухи, давно бы роздал все имения и с сумой пошел по лесам.

Большой ум, суждения совершенно свободные, без пристрастия, давали беседе его очарование неизъяснимое и убедительность совершенного бескорыстия.

Встретясь с Верой, он сразу угадал ее гордую независимость и, как потом оказалось, уж давно предлагал ей выйти за него замуж для снискания полнейшей свободы действия при значительных средствах.

При воспитанности и брезгливом нежелании «дразнить гусей», князь сумел сохранить всю видимость светского человека, не вызывая в свете ни особой к себе близости, ни раздражения. Но, женившись на Вере и встретив горячую действенную волю проводить сейчас в жизнь свои чувства, он с головой ушел в земельную реформу, чем вызвал ненависть своего тестя Лагутина.

Князь и Вера по своему усмотрению, к благополучию крестьян, в ущерб себе, принялись исправлять «Положение» и с родительской заботой создавали каждому тяглу наилучшие условия. Старик Лагутин перестал вовсе к ним ездить. В этот момент взаимного расхождения, и, в частности, по его поводу, я и был ими вызван.

На террасе, обвитой яркоалыми турецкими бобами и вьюнками, кипел сверкающий самовар и дразнила аппетит румяная и сдобная снедь. Вера, отпустив девушек, хозяйничала сама.

Этот утренний свежий час среди двух лучших в мире людей, из которых она — моя единственная в жизни любовь, запомнился мне совершенной, нездешней красотой.

Пусть читатель простит мне сентименты. Этот час был как яблонный майский цвет, невзначай пропущенный жестокими Парками в кровавую ткань наших трех жизней. Без этого часа у меня бы сейчас не было примирения со всем, что, как это видно из дальнейшего, не замедлило разразиться над нами.

Итак, два слова об этом утреннем часе. Почему же он так выделен мною и запомнился как счастливейший? И что вообще каждый из нас перед смертью может вспомнить как счастье? Не правда ли, это будет лишь то состояние, когда хоть на миг, а тебе удалось, разбив оковы собственной маленькой личности, как из душной канавы вдруг выплыть в большое, под солнцем горячее море...

Бесчисленны в этом море струи. И чем ты мудрей, тем короче и чище твой путь. Однако, не осуждая, поверь, что и грязный подземный сток приводит туда же. Важно одно: хотя однажды, хотя на миг попасть в безбрежное море, над собой увидеть безбрежное небо. И где бы и в чем бы оно ни случилось, нет силы заставить тебя позабыть, что́ ты видел.

Я этот заветный мой час испытал в то утро, за незатейливым деревенским чаем.

Терраса была пронизана солнцем так сильно, что зеленые нежные листья дикого винограда изумрудами прикрывали яркие, будто чистая алая краска, цветы. Жужжали пчелы, неся к себе мед с отяжелевших хмельных старых лип, и текла внизу тихая синяя река.

Князь Глеб Федорович, склонившись ко мне лицом с особливо тонкою белою кожей, придававшей ему вид молодого, так и сиял большими добрыми глазами, объясняя мой вызов в связи с общим делом.

— У нас, видите ли, оказался естественный триумвират, — говорил он, отечески улыбаясь на Веру. — Я представляю собою казну и жизненный опыт, Михаил — яростную волю, Вера Эрастовна — умное сердце, по прекрасному слову поэта. Эти три фактора неизбежны, чтобы воплотить и провести в действие новые, лучшие формы жизни. Да что говорить по-журнальному: мы хотим попросту создать мужикам, перед которыми грешили столетиями, возможность свободной человеческой жизни...

Тут Вера взяла меня за руку и сказала с сестринской лаской:

— А вы, Сержик, избраны нами посредником между старым миром и новым. Для начала поезжайте-ка к батюшке в гости и убедите его отписать хутор и хоть пятьсот десятин Линученку в собственность. Он все еще дарственной не дал, а это крайне

важно для нашего дела, чтоб Линученко был хозяином на своей земле, и такой низкий человек, как управляющий Мосеич, не имел бы над ним своей воли.

— Какое же Линученко имеет отношение к вашему делу и в чем самое это дело? — спросил я.

— Я подробно вам рассказать не могу, это могло бы вас только смутить. Но у вас сердце, способное чуять прекрасное, доверьтесь только ему. Мы трое: князь Глеб Федорович, Михаил и я, хотим нашей рабской родине свободы, и за это дело мы готовы на смерть.

Вера встала. Воздушная от своих белых кисейных одежд, она быстрой походкой прошлась раза два по террасе и стала передо мной. Ветерок развевал ее мелкие кудри, выбившиеся из-под ровных светлых кос, положенных, как обычно, вокруг головы.

Глядя такими же сияющими, как у князя, властными серыми глазами мне в самую глубину души, Вера взяла мои обе руки в свои, и, как говорят слова любви, она еще раз сказала:

— Мы готовы на смерть. Но у вас, Серж, своя жизнь, свои цели. От вас мы только просим доверия. Помогите нам выполнить наше дело, ни в какую опасность мы насильно вас не вовлечем...

— Вера, я рад за вас отдать жизнь... — сказал я.

— Но мне от вас нужно больше, чем это, — сказала Вера торжественно и серьезно. Она села со мной рядом, не выпуская моих рук из своих. — Мне надо, чтобы вы, помимо самого себя, помогли вовсе не мне, а, по доверию ко мне, одному нашему делу.

Я понял ее. Да, она просила большего, чем жизнь. Я должен был, ненавидя их политические идеи, помогать им по чувству к ней, не допускавшему и мысли, что такая, как она, избрать может злое. Читатель, я понял темный текст: «Несть больше любви, аще кто положит душу...» Обычно понимают здесь добровольную смерть за что-либо. Но сказано ясно: не жизнь, а душу. И сколько коварства в том, что для достижения полной свободы от себя самого является предательство себя же!

Но Вера смотрела в глубину моих мыслей, и побелевшие губы ее еще раз, как вздох любви, прошептали:

— Мы, Серж, обреченные...

Я не выдержал и повлекся за ней, в ее сверкающее море без берегов, с синеющим небом без края. Я сказал:

— Жизнь моя в помощь вам!

Поцеловала меня Вера, поцеловал меня князь Глеб Федорович.

Затем за чашкой душистого чая, обвеянные медовым запахом липы, мы повели деловые разговоры. Михаила здесь

не было, после производства этого требовала осторожность. Сейчас, устроившись с крестьянами и добившись укрепления за Линученком хутора, они оба, Вера и князь, едут за границу, где в Италии встретятся с Михаилом. Хутор Линученка будет русским центром кружка. Сюда же приходить будут письма Веры ко мне. Подробности обещали мне рассказать вечером, а сейчас торопили ехать в Лагутино, пока старику не донесли, что я проехал мимо него, и он от этого не пришел в раздражение.

Предстояло мне пробудить в Эрасте Петровиче родственную жалость к Линученку, который привез из Крыма все еще больную жену. Он хотел бы немедленно отвезти ее на хутор, но больше, чем когда-либо, тяготился зависимым положением и не хотел подчиняться Мосеичу. Настаивать надо было на дарственной.

Ни одной сопротивляющейся мысли уже не было в моей голове. Со всей страстью своих двадцати лет я был охвачен романтическим пылом юного Вертера отдать рыцарски свою жизнь, и в тот миг даже не только за Веру, а за князя, и за Михаила, и за оскорбленных всего мира...

Но эта идиллия, хотя мне ее и хватило, чтобы помнить всю жизнь, продолжалась не долее часу.

Вдруг к крыльцу подъехал на взмыленной лошади нарочный и, не слезая, крикнул, что взбунтовавшиеся мужики собрались поджечь лагутинский дом.

— Где мой отец? — спросила Вера.

— Барин вырвался и на жеребце ускакал к мельнице. Если там нет засады — уйдет. А Карлу Мосеича со старостой заперли в кладовой, где порох для фейерверков; как подожгут — крышка!

— Седлать вороного! — приказал князь.

Я попросил дать лошадь и мне, а Вера настояла запрячь шарабан, куда она села вместе с Марфой. Мы с князем решили взять разные пути: я на мельницу, он к усадьбе, куда приедет Вера.

О, сколь превратны и непрочны дни нашей жизни! Бывало, в Неаполе, взбираясь верхом на Везувий, как бы усеянный лиловыми осколками разбитых аспидных досок, сколько раз я дивился детской беспечности поселян, чуть не на кратере насадивших свои виноградники. Больших извержений не ждут, а в случае беды надеются, — как надеялись и те, древние, — поспеть убежать.

Но куда убежать человеку, если, как сказано у Будды, ты рвешь цветок, а князь Мара, злой, уже спрятал ядовитую змею под цветком?

Давно ль мы сидели на террасе все трое? И вот уже я на вспененном коне лечу к мельнице, чтобы предупредить преступление. Увы, я опоздал!

Пьяная орава с топорами и с длинными заостренными кольями тесно охраняла двух рыжих парней, чинивших расправу. Парни подымали какую-то громаду без рук и без ног высоко над головами.

Это было перед самой мельницей, пущенной во весь ход. Вода в этом месте отменно глубока, и желтая пена бьет там и крутится, словно кипит. Не успев хорошенько разглядеть, я издали угадал, что громада без рук и без ног — связанный старый Лагутин и что сейчас его бросят под мельницу. Я выстрелил в воздух, желая остановить самосуд, и круче пришпорил коня. Но конь мой внезапно шарахнулся, захрапев: на дороге лежало мертвое тело. Я вылетел из седла и, ударившись головой, потерял сознание.

Впоследствии я узнал, что труп, испугавший мою лошадь, был лагутинский мужик Потап, застреленный Эрастом Петровичем. Потап вызвал припадок бешенства у старика своей гневной речью в защиту обиженных баб. Когда он грозил отомстить за смерть жены, Лагутин уложил его выстрелом.

Это толкнуло крестьян ко всему происшедшему. Лагутина тут же связали вожжами, и, пока я был от падения в беспамятстве, они его бросили под мельницу в реку.

Меня же обезоружили и заперли в амбар. Всю ночь пролежал я там в смертном ужасе за Веру. Экзекуционный отряд казаков, вызванный еще накануне из города покойным Лагутиным, узнавшим от Мосеича, что крестьяне затеяли бунт, освободил меня только утром. От казаков я узнал, что князь Глеб Федорович погиб на пожаре, пытаясь спасти старую няню Архиповну, со страху забившуюся в свою клеть. От Мосеича и старосты, погребенных под обломками крыши, не нашли и костей. Вера, живая и невредимая, укрылась у няниной дочки.

Не в состоянии сознать всего происшедшего, я, однако, понял ясно одно: судьба развязала все узлы в жизни Веры и Михаила, так или иначе завязанные при моем содействии.

В лице старика Лагутина выбыл из строя единственный враг Михаила, облеченный властью, который мог бы ему повредить в случае возвращения из-за границы и соединения его с Верой. Вера, оставшись сиротой, являлась обладательницей громадного состояния, и отныне ничто не стояло препятствием к широкому развитию их общего дела.

Мне же, выбитому ими из прочности моего былого уклада и не приставшему к ихнему, лучше всего было бы сейчас умереть. Насильственная смерть сообщников как бы восстанавливала былую незапятнанность моей совести, и, погружаясь от слабости вновь в глубокий обморок, я почти радостно подумал, что это конец. И было бы много лучше, если бы я не ошибся.

ГЛАВА VIII

Из древних Фив в Египте...

Когда Вера оправилась, я привез ее вместе с Марфой в столицу прямо к матери Бейдемана, которой обо всем происшедшем я написал. Старушка встретила нас как родных, отвела Вере чистую, как сама слегка чопорную комнату и обласкала всячески. Тут узнала она про условленную встречу с Михаилом в Италии и все то, о чем в те поры не только писать было нельзя, но и говорить шопотом.

Удивительная была эта старушка: при чрезвычайной любви к сыну, у нее вера к нему и уважение были еще больше любви. В политических делах она разбиралась плохо, воспитана была, как и все женщины дворянско-помещичьей среды, конечно, в понятиях старого монархизма. Но она как-то умудрилась, оставаясь тем, чем была, совершенно не пугаться и не противоречить убеждениям сына.

Впрочем, она почти не задавала вопросов, она только страстно желала вестей, и вести пришли.

Приехал с юга художник Линученко с женою. Он от каких-то таинственных передатчиков привез письмо Михаила. Бейдеман писал восторженно о Гарибальди, о том, как вместе с «тысячью» вступил он в Неаполь. Но прибавлял: Гарибальди находит, что Михаилу необходимо служить родной стране, а не чужой, и торопит его ехать в Лондон к Герцену, куда он и едет.

Вслед за этим получила письмо и Вера все тем же таинственным образом, через передачу Линученка. Михаил писал, что из газет он узнал о несчастье в Лагутине и, не ожидая Веру в Париже, сам приедет в Россию, тем более что этого требует дело.

В ожидании Михаила Вера прояснилась и стала заметно бодрей.

У нее из квартиры не выходил ненавистный мне Линученко. Он был какой-то весь острый, не сидел на месте, все будто что-то высматривал, сощуря зеленые узкие глазки. Он был широкоплеч и приземист, с черной волосатой головой, большим лбом, калмыцкими глазками и увесистым носом. Впрочем, когда говорил, лицо его было умно и значительно.

В его студии на Васильевском острове у меня вышла одна странная встреча с человеком, ставшим мне единственной поддержкой в страшные годы. И, — будь жив этот человек, — не к священнику, а к нему пошел бы я разрешить мой последний вопрос перед смертью.

Но нет его. Умер Яков Степаныч, великий мудрец. Был он дворцовый лакей, выслуживший себе пенсию, которую всю целиком раздавал приходящей во множестве бедноте. Он слыл прозорливцем и на Васильевском острове, где жил, был очень изве-

стен. Обладая особыми связями и влиянием, он был для некоторых планов нужен Линученку.

Старик же до странности любил этого человека и часто к нему заходил. Я как-то пошел провожать Веру на остров; она затащила меня в рисовальную студию, где, по просьбе Линученка, позировал этот вот Яков Степаныч.

Студия — огромная комната, вдоль и поперек перерезанная хитрой системой веревок, как на дешевых квартирах общий чердак. Это все измышления Линученка для лучшего изучения анатомии.

Одни веревки болтались качелями, другие — туго натянуты, тронуть их — загудят. От потолка, привязанный к крюку лампы, спускался вниз толстый канат и, как змея, уползал по полу в не освещенный лампой угол.

— Мне инквизиция вспоминается, — сказал я, смеясь, Линученку.

— Дворники, хотя о таковой и не слыхали, и те пугаются, — отвечал он. — Ничего, живьем выпускаем. На этой дыбе как руки вывернем, — он указал на ламповый крюк, — мускулы все наперечет... Впрочем, Якова Степаныча мы не пытаем, он вольно сидит.

— Сижу да на них гляжу, что так невеселы, — сказал, указывая на меня, Яков Степаныч, небольшой старичок, чистенько одетый, весь пушистый и седенький, в ласковых тонких морщинах. Я удивился, как он мог угадать, что мне плохо; по виду это не могло быть заметно. Я только что весело смеялся, но на душе у меня было томительно и мертво, как перед обмороком или тяжкой болезнью. Пустая вычеркнутая душа, пуды на руках, словно вериги, так и клонило к земле. Вот бы лечь и лежать.

Я запутался. Из-за любви к Вере я вовлекся во враждебные моему чувству знакомства и не мог, как старушка-мать Михаила, соединять безотчетно несоединимое. Со дня на день нервы мои разбивались, я боялся, что, перестав собой владеть, я обнаружу себя перед Верой и мне придется от нее отойти. Но это равно было смерти, и, скрепясь, я носил маску смирного парня.

А старичок Яков Степаныч, улучив минуту, когда Линученко занялся с другим художником разговором, а ему предложил отдохнуть, мелко прошагал ко мне и, щурясь в улыбку, сказал:

— Не тоскуй, надо, выдержи! Перво-наперво без имени рождается человек и не ведает, есть ли у него душа: пробует так и этак ее переступить — ан границы-то и нащупает. А как перетерпит много мигов смерти духовной да выйдет из нее победителем, нарекается именем и приобщается на свой страх к великой работе, к тяготам земным. На огне, чай, кирпич обжигают.

— А в случае, лопнет кирпич на огне? — улыбаясь, спросил я в тон старику.

— А не вынесешь дух тления, отступишься сам от себя: управляй, дескать, мною, кто хочет, только покой дай, — ты свою жизнь, родимый, предашь. Хоть по облику — как все люди, на самом-то деле впустую, негодною шелухою, проболтаешься на земле. Ведь про это сказано: нельзя талант в землю зарыть, — а ты думал?

— Я думаю совсем про другие вещи, — засмеялся я.

— Ну, гордись, пока можешь, гордись, — улыбнулся старик. — А вот адресок ты запомни: Семнадцатая линия, в третьем дворе...

И он дважды повторил номер дома, так настойчиво, что я нехотя запомнил. И когда пробил мой час, по этому номеру я пошел. Но это случилось много-много поздней; сейчас я от старика отмахнулся и стал смотреть на художников.

Их было пять-шесть и две девушки, все ученики академии, знакомые Линученка.

— Отчего не рисуем? — спросил один длинный.

— Сейчас придут еще трое, — ответил Линученко, — они зашли к профессору холст Джорджоне смотреть.

Рисовать Якова Степаныча в этот день не пришлось. Только уселись, как раздался в дверь стук. Косматый Бикарюк, товарищ Линученка, вошел, как-то ежась в своем не по росту коротком пальто. За ним Машенька, жена его, и какой-то небольшого роста художник. Глаза Машеньки были заплаканы.

— Аль не солоно хлебавши? — спросил Линученко. — Картина оказалась брехня?

— Джорджоне и есть, — отозвался хмурый Бикарюк, — на толкучке профессор нашел. Кому кривая везет, тот и в навозе перлы отроет. Да к чорту его... с Кривцовым неладно.

— С Кривцовым? — Линученко побледнел и, шагнув к Якову Степанычу, сказал: — Сегодня рисовать мы не будем.

— Кривцов повесился, — словно пролаял Бикарюк.

Все молчали. Вера смотрела такими глазами, будто кого умоляла сказать, что это неправда. Машенька и другие ученицы заплакали.

— Кривцов из своей деревни письмо получил, что отца его насмерть засекли. Они ведь из Казанской губернии, крепостные: наш два года как выкуплен. По приговору отцу тысячу всыпали, а сердце слабое, старый и не выдержал. У Кривцова письмо от дьякона в кармане нашли, сегодня только и пришло. Сгоряча это он... А к последней картине он билет привесил: «Проклятие деспоту, проклятие рабской стране!» Вот он, я снял. Увидели бы, сестру арестовали бы. Она еще не знает, мы первые пошли.

Линученко тяжело ходил по комнате. Все сжались и умолкли. Было темно, но забыли о лампе. Большая, странно плоская луна со светлого северного неба спустилась совсем близко за самым

окном. На окне косматый, скрюченный Бикарюк, с выдающейся вперед путаной бородой, зачернел космами длинных волос, как какой-то Иуда, на редком переплете ветвей.

Он хрипло от волнения сказал:

— А какую картину Кривцов не окончил? Гопак наш, украинский. Да, у него это тебе не хата с подсолнухом и дурнем вприсядку — вся Украина как есть! Эх, большого художника погубили!

— Мы погубили! Слышите, мы! — сказал, останавливаясь, Линученко. — Пока мы не решимся до капли крови отдать все силы, всю жизнь на борьбу с насилием — мы заодно с ними, с убийцами!

— Что же, нам с кистями и палитрою итти воевать?

— Есть состояние страны, когда ей не надо художников, а нужны одни лишь граждане. А гражданин найдет, чем бороться. Все вы читали «Колокол» от пятнадцатого апреля, и разве не все вы согласны? Народ царем обманут! Крепостное право не отменено. Борьба против бесчестного правительства, кровавыми экзекуциями забивающего справедливые требования несчастных крестьян, обязательна каждому честному человеку. Наш товарищ был гениальный юноша, но он не вынес рабской смерти отца. Он умер, проклиная рабскую страну. Так принимайте проклятья и вы, пока остаетесь рабами. Кто со мной? — закричал Линученко. — Кружок Атаева зовет нас соединиться. Вместе мы вдвое сильнее. Друзья, пусть двинет нас хоть на один шаг вперед безвременная смерть Кривцова!

Бикарюк вскочил и, подойдя к Линученку, шепнул ему что-то на ухо.

— Не боюсь! — отмахнулся Линученко. — Лучше того, я сейчас и тебя самого выдам.

— Господа! — подошел он ко мне, стоявшему рядом с очень побледневшим, но спокойным Яковом Степанычем. — Товарищ мой сказал, что здесь есть чужие. Но вас, Яков Степаныч, я знаю давно и как отца почитаю, — он поклонился старику, — а вы, Сережа, хоть и военный, но Верин друг детства, вы...

— Я ручаюсь за Сережу, как за себя, — сказала, подходя, Вера.

Я был потрясен горестным событием с талантливейшим юношей, которого я знал лично; но отсюда до вовлечения в политический кружок, которому я никак не сочувствовал, было далеко. Я растерялся, не находя сразу мыслей и слов, чтобы сильно и раз навсегда отмежеваться от этих людей. Я уже отошел от Веры на середину комнаты, я хотел говорить, но сильный стук в дверь отвлек всеобщее внимание.

Когда вошедший опустил поднятый воротник штатского пальто и снял фуражку, какую носили мелкие служащие, я обо-

млел. Предо мною стоял переодетый мой собственный денщик Петр. Удивление мое возросло, когда Петр, в волнении не замечая меня, подошел к Линученку, как равный знакомый. Назвав его по имени и отчеству, он что-то стал говорить. Но вот он узнал меня, вздрогнул, как по заводу, взял руки по швам:

— Ваше благородие...

Кровь мне бросилась в голову. Мое достоинство офицера одержало верх над всеми чувствами:

— Как ты посмел...

Но Вера схватила меня за обе руки с необыкновенной силой и вне себя закричала:

— Ни слова дальше, или все кончено между нами! Здесь нет ни солдата, ни офицера. Петр — наш верный товарищ, он пострадал от произвола моего отца, и кто не друг Петру — мне враг.

Линученко отвел Веру:

— Успокойся, я все объясню. — Он подошел ко мне: — Петр принадлежит к нашему кружку, в который зовем мы и вас. Ваше дело — войти или нет, но предателем вы, конечно, не будете, Если вашему чувству военного претит это нарушение дисциплины, то у вас есть простой выход: подайте рапорт об отчислении Петра из ваших денщиков, хотя это, конечно, нашему делу и повредит. У Петра есть кум в Третьем отделении, он там служит сторожем и дает через Петра драгоценные показания о политических заключенных, чем помогает нам облегчить их участь. Говорю это вам как человеку, чье благородство проверено и бесспорно. А теперь, Петр, какую же весть ты так поспешно принес?

Я был взбешен: как смел он говорить так назойливо о моем благородстве? Но, не в силах от волнения собрать свои мысли, я решил сегодня же письменно отказаться от всякого участия в делах кружка Линученка. Однако я забыл все на свете, когда Петр начал делать свое сообщение. Петр сказал:

— В пять часов вечера восемнадцатого августа с парохода, пришедшего из Выборга, был принят старшим адъютантом корпуса жандармов, капитаном Зарубиным, и помещен в арестантские номера при Третьем отделении Михаил Степанович Бейдеман!

Вера упала, не вскрикнув. Мы, положив ее на диван, кинулись приводить в чувство. Тем временем Линученко выспрашивал подробности: откуда привезли Бейдемана и что известно об его аресте?

Через кума Петр мог узнать только одно: арестовали Михаила в Финляндии, при переходе на русскую землю. При нем были найдены сущие пустяки: испорченный пистолет, перочинный нож и гребенка в футляре. Из Улеаборга он был доставлен в Выборг, а оттуда морем в Петербург.

По архивным изысканиям, из той книжки, что всюду со мной, я должен прибавить следующую пояснительную выдержку: «18 июля 1861 года, в северном финском приходе Рованиеми, Улеаборгской губернии, на станции Корво коронный ленсман Кокк обратил внимание на неизвестного человека. На вопрос ленсмана, кто он и что делает, он ответил, что он кузнец Степан Горюн из Олонецкой губернии, искал в Финляндии работу, но не нашел и возвращается домой через Архангельскую губернию. Паспорта у Степана Горюна не оказалось; ленсман задержал его и приказал приходскому сторожу доставить задержанного в Улеаборг в распоряжение губернатора. Здесь он был посажен в острог и двадцать шестого июля на допросе подтвердил показание, данное ленсману. Через четыре дня Степан Горюн попросил допроса и заявил, что его показания неверны, что он — поручик Михаил Бейдеман, в июле 1860 года переправился через границу у Торнео в Швецию, откуда в Германию, а теперь возвращается из-за границы!..

Об аресте Бейдемана было донесено великому князю, и он приказал препроводить его немедленно в III отделение».

Веру Линученки оставили у себя. У нее сделался бред, пришлось вызвать доктора. Я стал искать моего денщика Петра, но он исчез бесследно. Вместе с Яковом Степанычем, печальным и безмолвным, я вышел из студии.

Прощаясь, Яков Степаныч сказал мне еще раз:

— Запомните, батюшка, мой адресок. Вы — сирота, а сироте совет нужен!

Он сказал деловито, как дают справку, и, поклонившись, пошел. Глядя ему вслед, я, помню, подивился его нестариковской походке; он ступал легко и точно, не сгибая прямой спины, как будто не было на нем тяжкого груза лет.

Было поздно. Все та же огромная луна висела уже не в темном, а в сумеречном небе, и свод небесный над далеким Исаакием казался безвоздушным. Сфинксы, как утомленные тигрицы, смотрелись друг в друга, и в бесчисленный раз прочел я под ними: «Сфинкс из древних Фив в Египте. Перевезен в град святого Петра в 1832 году».

Запомнилась мне эта минута. Перед глазами за гранитом стены, тяжкая, ртутью свинцово катилась Нева. Чернели баржи. На другом берегу, в пустых глазницах бесчисленных окон, кое-где, как уцелевший зрачок, мигал огонь. Сзади огромная Академия художеств без статуи Минервы наверху, которую водрузили много позднее, казалась ближе, чем днем.

Я стоял смущенный, потерявший путеводную нить поведения и жизни. Честь офицера, достоинство дворянина, все привычные убеждения, моральные и государственные, вооружались, как на злейшего врага, на мои привязанности человека: безмерное чув-

ство любви к Вере и верность дружбы к ее друзьям. А Петр? Что предпринять мне с ним? Как встретимся дома? Предерзостный обман его сношений с заговорщиками я всем существом ощущал как достойный одного: расстрела. А что дальше с Михаилом? Нельзя не предвидеть, что не кому иному, как мне, придется взять на себя все хлопоты об его освобождении, прибегнуть к связям тетеньки, молить Шувалова и Долгорукова как родственных и хорошо мне знакомых людей, и о чем же? О даровании свободы непримиримейшему врагу царя! И для чего же? Для лучшего и хитрейшего применения его силы к борьбе разрушительной...

Нет, это было слишком. Сохраняя ко мне хоть каплю уважения, они должны были больше щадить меня и, хотя бы хитростью, столь свойственной их поступкам, оградить меня от муки невыносимых двоящихся чувств.

Но я был для них лишь удобным механизмом. И как в паровую машину для действия паров кидают уголь, так, чтобы меня использовать, как им было надо, они играли на этом пресловутом моем благородстве.

Я сошел по ступенькам вниз. У воды было холодно. Тускло светились тяжкие волны. Я подумал: не лечь ли на них? Пусть понесут под этим серым сводом, пока не устанут, а там погружусь... И не повернут каменных голов, увенчанных тиарами, эти двое, что вывезены из древних Фив.

Но я вспомнил о Вере и, ежась от холода, пошел домой. Я знал, что буду ей нужен всю мою жизнь.

На этом самом месте в восемнадцатом году со мною еще раз случилось то же самое и в такой же час.

Я, одетый в свои лохмотья и уже ставший на линию подаяния, по одной своей старости не возбуждая подозрений, ходил днем и ночью по городу и смотрел...

И вот, в такой точно час, когда такой же тусклый шел свет от большой плоской луны, я видел, как бросился в Неву человек. От правого уха к ноздре у него в сумеречном освещении багровел длинный шрам. Я знал этот шрам... Еще бы мне не знать! Это был тот самый, от удара турецкой сабли, когда мы двое в безумном азарте проскочили вперед. Вдруг подоспели наши и взяли в плен авангард турок. За этот шрам капитану Алферову дан был Георгий...

Сейчас старый, негнущийся человек, он опять по-военному просто и смело отставлял себя сам от жизни. Я видел, как он поклонился по-русски на все четыре стороны, как разделся не спеша, как вошел в воду, как, отплыв, погрузился. Я его не окликнул. По-своему он был прав. Я сошел вниз по ступенькам. Свинцовые воды несыто ворчали, ударяясь подо мной о гранит. О, как тянуло меня в эту тяжкую глубину...

Но мысль о Вере остановила меня. Ей, давно уже покойной, я обязан обнародовать правду о многострадании Михаила и уж потом отойти.

Я вышел наверх. Чернела огромная Академия, опять — как в те годы — без возглавляющей статуи Минервы, которая в девяностых годах провалилась, разрушив потолок. Но сфинксы все так же таинственно и лениво смотрели друг на друга, и чернела под ними все та же надпись веков: «Из древних Фив в Египте».

ГЛАВА IX

Под колпаком

Перед тетушкиным особняком я был внезапно смущен. Вместе со мной подъехала карета, и в великолепных бобрах, легко выпрыгнув, граф Петр Андреевич Шувалов направился к дверям. Я, будто вдруг увлеченный витриной цветочного магазина, вплотную подался к большому цельному стеклу, которое украшало собою проспект рядом с последней полуколонной тетушкина дома.

Граф своим быстрым всевидящим оком увидал мой маневр и, улыбаясь почему-то с величайшим удовлетворением, подошел ко мне и сказал:

— Войдемте вместе к графине; что даром тревожить старого Калину?

Калина был тетушкин почтенный лакей, никому не уступавший своей привилегии открывания парадных дверей. Нередко жаловали к тетушке «особы», и первое им приветствие казалось Калине делом придворным, как бы по сану церемониймейстера двора.

Все было чрезвычайно естественно в манере графа, он только, казалось, был особенно в духе, и сейчас свойственный глазам его острый приметливый блеск был как бы притушен тонкой обходительностью великолепного красавца, не сознающего своей власти.

Непринужденно болтая, я внутренно трепетал. Меня пронизала внезапная и совершенная уверенность, что сейчас граф пришел к тетушке исключительно ради меня и боялся, что меня тут не будет.

Как человек, опустивший руку за билетиком и взявший шутя первый приз, он, при всей своей выдержке, не мог скрыть наплыв чисто животной доброты, которая бывает всегда при удаче без препятствий. Я раз сам наблюдал, как кошка, с размаху поймав мышь, очень миролюбиво уступила собаке кусок брошенного ей сала. Не зная научно пределов сознания у живот-

ных, не могу решить, была ли то простая случайность или указанное мною чувство. Но в том, что поведение графа Петра Андреевича в эту незабвенную ночь было похоже на добродушие тигра, довольного удачной охотой, у меня есть, увы, слишком неопровержимое доказательство.

К сожалению, нас научили слишком доверять только фактам и логике, презирая, как романтическое наследие предков, остерегающие движения чувств. Будь я мудр, я бы послушался своей безотчетной тоски при виде мраморного лица с острым блеском глаз, повернулся и ушел бы домой. Но я не был мудр и пошел вслед за Шуваловым.

В салоне у тетушки было оживленней обычного. Вместо центральной персоны, которую тетушка подавала, как метрдотель отменное блюдо, шумела оживленная молодежь обоего пола. За отсутствием салонного «кита», гости разбились на естественные группы, в которых велись соответствующие их интересам беседы.

Вокруг круглого стола, в мягких креслах, царила тетушка, окруженная «своими». Тут были люди чиновные и темы моднейшие: предполагавшееся закрытие воскресных школ, беспорядки в университетах и пресловутый «женский вопрос».

— Я всей душой за графа Строганова, — сказала тетушка, — по мне, он один не врет, говоря, что высшее образование прилично давать лишь имущим дворянам. Какой-нибудь разночинец выскочит грамотней отца, да и пойдет перед ним руки в боки! А другой наберется ума да с голоду вздернется, как давеча в газете писали. Нет уж, кому как от бога положено — пусть так и живет.

— Как вам нравится мнение барона Корфа? — сказал тетушке старичок. — Он предлагает прежде всего университет сделать с отменой учебных классов...

— Вздор! Мы не дозрели, батюшка, до парламентской системы: коли без дубины на водопой пойдем, мы, как скот, покос вытопчем! — оборвала тетушка.

— Любопытна записка Ковалевского... — начал осторожно Шувалов своим обычным вопросительным тоном, ничем не выдавая собственного мнения, а сманивая каждого, как воробья на мякину, высказать свои мысли.

— Фант, фант! — закричали со всех сторон, подвигая Шувалову саксонскую вазу с звенящим серебром.

— За Ковалевского, батюшка, у меня нынче фант платят, — сказала тетушка, — целый час из-за него тут шел бой. Я вижу — дело жаркое, значит, для сироток овечку и можно постричь. Плати, батюшка Петр Андреевич, да больше не поминай его: навяз в зубах, как рахат-лукум греческий!

— Есть о чем и говорить, когда с ним решили вчистую! Назначены Строганов, Долгорукий и Панин, — вскипел быстренький

старичок и сделал ручкой другому старичку, как бы сбивая головку одуванчика. — Ковалевский... по шапке!

— Плати, плати штраф! — Тетушка передвинула старичку вазу. Все смеялись.

Обыкновенно, по моему художническому расположению ко всякого рода игре, я восхищался, как ловкими конькобежцами, минующими глубокие проруби, этим легким салонным искусством, ничего не задевая глубоко, касаться всего, выводя, как по гладкому льду, сложнейшие словесные хитросплетения.

Но сегодня, оттого ли, что Михаил был заключен в III отделение, в совершенной власти человека, так непринужденно сидевшего против меня, эта светская беспечность была мне отвратительна.

— На Ковалевском заработано изрядно, — сказала тетушка. — Ну-ка, Марья Ивановна, теперь твой черед, садись на своего конька, только смотри, завлечешь разговор до Августина, двойной плати штраф.

У тетушки были старинные немецкие часы с боем и получасовой музыкальной фразой на мотив: «Mein lieber Augustin!»

— Я не хочу сесть на конька, — сказала Марья Ивановна, улыбаясь, — я люблю по старинке, на целой тройке со всеми удобствами да полной хозяйкой. И себе я не вижу обиды от моего женского положения: как бабушки были домовитыми матерями, так и мне дай бог век скоротать.

— Да, ты баба толковая, все знаем; вот про дочку расскажи, — велела тетушка, почитая Марью Ивановну по отношению к себе девочкой, хотя той было за сорок.

— Точно, что с Любинькой мне горе; представьте — она художница, — Марья Ивановна покраснела, будто произнесла не вполне пристойную вещь. — Ну, порисовала бы часик-другой, а то не угодно ли — целый день! А намедни — в слезы. Учитель безо всякой дурной мысли ей сказал: «Большое у вас дарование, только жаль, что вы не юноша». А она в амбицию: «Вы, кричит, китайскому посланнику небось не сказали бы, что он умный человек, да жаль, что косоглаз, а женщине смеете? Вон из моей комнаты!» А мне говорит: «Я, мама, барышней вовсе себя не чувствую, хочу жить как мужчина».

— Приведи свою Любиньку завтра ко мне, — сказала тетушка, — я про одного женишка ей скажу, замуж-то ей ведь пора.

— Феминистический бунт! — воскликнул европейский старичок. — Если бы женщины были разумнее, они бы не бунтовались. Ведь научно известно, что, в среднем, их мозг на много единиц легче мозга мужского. И разве была из них хоть одна гениальной? Хотя бы в литературе? Больше каши, чем Жорж Занд, не заварят, а и ту Шарль Бодлер звал коровой...

— A Jeanne d'Arc? [1] — сказала, краснея, самая пожилая из незамужних женщин.

— Жанна д'Арк не по времени. И к тому же, сударыня, нам Вольтер ее обезвредил. Подвиг ее и необычайность военного дарования возникли на почве... ну, как бы деликатнее сказать?..

— А ты промолчи... — тетушка погрозила пальчиком своему любимому старичку, великому мастеру на французские скабрезности.

— Словом, Jeanne d'Arc — не в пример женщинам, ибо она вовсе не женщина, — вставил небрежно Шувалов.

На что девица спросила:

— Но разве это возможно?

Все очень смеялись. Тетушка, в отличнейшем расположении духа, кричала:

— Еще штраф Петру Андреичу за то, что ввел красную девицу в краску!

Но скоро беседа стала серьезной. Кто-то привел статью Лескова из «Русской речи», и, хотя давно прозвонили часы и дважды сыграла их музыка «Августина», с этой темы гости сойти не могли. Начавшееся женское движение не на шутку взволновало отцов и матерей, а примеры увлечения новыми идеями не в одной семье создали трагические противоположения.

Я неприметно отошел к окну, желая скрыть свое волнение. Модный женский вопрос ведь и мне был особенно близок. Ведь благодаря ему погибло счастье всей моей жизни и Вера увлеклась Михаилом...

На мою удачу известный говорун и светский художник вдруг объединил всю гостиную своими ловкими репликами. Он говорил с неприятною кудреватостью, но, как показалось мне, неглупые вещи.

Читатель может быть поражен, как могу я, вспоминая о такой решающей минуте моей жизни, о чем догадался он по началу этой главы, размениваться на подробнейшие воспоминания пустых разговоров? И является сомнение: точно ли я это все запомнил или же, замаскировавшись удобным предлогом, обманывая себя самого, удовлетворяю свою слишком поздно пробудившуюся писательскую жилку, компонуя какой-то светский журфикс?

Отвечу на вопрос вопросом. Разве не наблюдал читатель, как люди, перенесшие роковую утрату, искалечившую всю их жизнь, повествуя о ней другому, нарочито подолгу задерживаются на мельчайших вещах. Человек должен взывать к защите повседневности, чтобы иметь возможность перенесть то, что выше силы обычного человека.

[1] Жанна д'Арк.

Что же до памяти, как фотография, отпечатавшей все, что свершилось полвека тому назад, то ведь этой памяти стариковской, словно солнышку, уже безразлично, что̀ малое, что̀ большое. Однако разрешу себе еще немного подробностей, как приметных кусочков, которые врезаются в память человека, ведомого на казнь...

Вышеупомянутый светский художник и говорун был в бархатной куртке и жестикулировал.

— Разрешите посвятить вас в тайну искусства, где глубже, чем где-либо, вскрываются тайны мужчины и женщины, — обратился он к тетушке.

— Посвящай, батюшка, — сказала со свойственным ей юмором тетушка, — только помни: и статуе непристойно быть вовсе голой. Впрочем, в местах опасных переходи на французский.

— Надеюсь и по-русски миновать Сциллу с Харибдой. Но к делу; допустим, что я рисую Гермеса... Выслеживая его крепкие, строгие мышцы, у меня чувство, будто я кую драгоценность. Когда проследишь и отметишь верно мускул, почти злое чувство расчета и логики, если смею так выразиться, ведет мой карандаш. Похоже: идешь над пропастью и собранной волей продвигаешь свой шаг.

— Кто это, кто? — зашептали тут и там.

— Талантливый parvenu,[1] пенсионер графини.

Художник продолжал:

— Словом, mesdames, эти чувства — радость прицела, полет пули в мишень...

— Да ты нам о военной-то стрельбе не читай, — вставила тетушка.

— Терпенье, графиня, сейчас я перейду к Венере... Здесь я чую божественные формы уже не в линии, а в тенях: я вхожу будто по горло в синее теплое море, под чудным синим небом. Мне празднично, я слышу пасхальный перезвон... Mesdames, я купаюсь в Венере!

— Est-ce que c'est convenable?[2] — спросила Марья Ивановна.

Все рассмеялись.

— Плати штраф, — сказала тетушка, — ты зарапортовался.

— Позвольте, графиня, досказать до конца, и может быть, приговор общественный не будет столь жесток, как ваш.

И художник, как импровизатор, сделав театральный жест, продолжал:

— Если в художественном воспроизведении торсов мужского и женского такая разница в ощущениях, то, значит, тут

---

[1] Выскочка *(франц.)*.

[2] Разве это прилично? *(франц.)*.

глубокий закон, и нельзя в жизни путать оба начала или одному сбиваться на другое. Ну, да пусть мне дамы простят. Творчество не ихний, а наш удел. Венеру Милосскую и Медицейскую создал мужчина. Но, конечно, создал не из собственной головы, а любя без памяти какую-нибудь Аглаю или Клео. И вот оно, женское дело: вызывайте в нас любовь. Mesdames! Заставляйте нас творить прекрасные вещи, творить прекрасную жизнь!

Художнику аплодировали и мужчины и женщины, а тетушка сказала ему:

— Молодец, но за купанье в Венере все равно клади штраф.

Мне стало очень тоскливо. Невольно я сравнивал, не к чести светского общества, пустозвонство здешних речей с глубиной, которую почувствовал я в неприятном мне кружке Веры. Но где же теперь мое место? Одинако отравленный противоположными влияниями, не осужден ли отныне я вечно стоять на распутье?

Ко мне подошел Шувалов. Он нет-нет, а поглядывал в мою сторону, словно стерег.

— Вы, как я замечаю, хотите уйти, — сказал он, — у меня те же намерения; исчезнем à l'anglaise,[1] не прощаясь.

Когда мы в передней одевались, у меня промелькнуло в уме: он позовет меня ехать с собой. И действительно, когда подали карету, Петр Андреевич сказал:

— Садитесь, у меня к вам разговор.

Боясь сделать промах, я молчал. Граф посмотрел на меня и сказал участливо:

— Вы совсем больны. Впрочем, немудрено, у вас такое горе... Но я думаю, что могу вам очень помочь, если вы сами того захотите.

Я продолжал глупо молчать и напрягал всю свою энергию, чтобы догадаться, как мне себя с ним держать. На что намекает он, не называя? Неужто хочет, чтобы я невзначай вовлекся в разговор и выдал, что знаю, где Михаил? Но для ловушки это слишком просто и грубо. Мы подъехали к одному из лучших особняков и, минуя парадную лестницу, идущую вверх, прошли через коридор в какую-то дальнюю угловую комнату. В передней граф сказал швейцару, что у него спешное дело и гостям следует говорить, что его нет дома.

Комната, в которую мы вошли, была с очень глубокими небольшими окнами на Неву.

Прямо напротив сверкал длинный шпиц Петропавловской крепости, и вся она, с Трубецким бастионом и мысом треугольного равелина, была передо мной.

Кроме мягкого дивана вдоль стен, крытого каким-то летним, веселеньким ситцем, где чередовались птички и бабочки, не было

---

[1] По-английски *(франц.)*.

ничего. На полу стояли ящики с упакованной в сено посудой, а в углу какая-то ломаная мебель. Комната была складочным местом.

— Прошу извинить, здесь весьма неказисто, — сказал граф, с удовольствием, как иностранец, преодолевший трудности языка, выговаривая слово «неказисто». — Но зато можно ручаться за нерушимость беседы. А беседа у нас, как вы сами отлично знаете, — первейшей важности.

Чтобы быть естественным, мне давно пора было воскликнуть, что я ровно ничего не понимаю, но горю желанием понять. Но я пропустил к тому все приличные сроки и сейчас, как откровеннейший дурак, стоял у подоконника. Я был в оцепенении, как заяц под взглядом удава.

Пустяк на окне привлек мое внимание: огромный стеклянный колпак, каким накрывается сыр, совсем пустой стоял на светложелтом мраморе подоконника, и в нем, стукаясь то об одну стенку, то о другую, докучно жужжа, из последних сил билась синяя толстая муха.

— Отпустим мушку на волю! — Шувалов приподнял колпак и выхоленным тонким пальцем с длинным ногтем столкнул на пол обалдевшую муху. Потом он чуть улыбнулся и взял меня под руку: — Держу пари, милый поручик, что у вас сейчас промелькнула одна аналогия. Что, попал в цель?

Я вздрогнул и, фальшиво смеясь, подхватил:

— Не скрою, граф, вы действительно отгадали; но будьте великодушны, как с бедной мухой: освободите мой разум от дурацкого колпака. Я теряюсь в догадках, о чем будет наш разговор.

— О Михаиле Бейдемане, — сказал просто Шувалов. — Как вы уже знаете, он сидит у меня в Третьем отделении.

Я приказал себе сделать жест изумления и, как плохой актер, развел слишком широко руками. Шувалов не дал мне сказать, перебив снисходительно:

— Ну, разумеется, вы обязаны выразить изумление. Милый Сережа, бросим программу!

Он взял меня за руку и серьезно и ласково, без всякой игры, посмотрел долгим взглядом. Шуваловы были с нами в свойстве, граф знавал меня с детства, но, занятый делами, редко обращал на меня внимание.

Внезапная родственность обращения, не будучи привычной, разбила последнюю официальность между нами, за которою я хотел укрываться.

— Сядем на диван. Хотите курить?

Граф протянул портсигар. Мы закурили.

«Предательства еще нет», — отмечал я себе. У меня в голове не было мыслей, было одно напряжение всех сил: не предать.

— Михаил Бейдеман пойман на финской границе, когда он под чужим именем хотел пробраться в Россию. Государь его делом раздражен необыкновенно, и юноше грозит наихудшая участь, если мне не удастся создать смягчающие обстоятельства.

Граф говорил очень серьезно, просто и только с той мерой чувства, которая была для него здесь уместна. Малейшая фальшь резнула бы мой слух, но, благодаря такту графа, я невольно стал верить обычному, столь естественному в порядочном человеке доброжелательству. К тому же, хоть я и помнил, что граф карьерист, но предположить, что история с Михаилом могла вплести новый лавр в его послужной список, было бы нелепостью. Однако это было именно так; но только сейчас, через пятьдесят с лишним лет, узнал я это доподлинно. Кое-что пережив и имея перед собой историческую перспективу, я только сейчас вижу ясно все дело Михаила в связи с окружающим.

Ведь это были шестидесятые годы, первые годы реформы, которых столь пламенно ожидали и которые столько всех обманули.

Начинались революционные волнения молодежи, университеты всколыхнулись. Появились прокламации. Почти перед злосчастным арестом Михаила шеф жандармов получил по почте листы «Великоросса». А в августе и сентябре уже разошлось по широким кругам знаменитое воззвание «К молодежи».

Конечно, графу Шувалову, молодому генералу, было очень важно проявить свои таланты защитника трона. Для этого нужно было создание крупных врагов. Михаил оказался как нельзя более подходящим материалом.

Граф Шувалов, сделав паузу, многозначительно прибавил еще раз:

— Итак, если мне при вашей помощи не удастся создать смягчающих обстоятельств, наихудшее грозит Бейдеману, да и не ему одному...

Шувалов ожидал моей реплики. Но, стиснув до боли руки, я молчал. Тогда он тем же сердечным и задушевным тоном, как родне и другу, сказал:

— Я принужден арестовать и снять допрос с дочери Лагутина, Веры Эрастовны.

— Нет, этого вы не сделаете... — Я вскочил, я был вне себя. — Вера Эрастовна совершенно ни при чем, ее вовлекли!

— Но вы с нею вместе посещали кружок Бейдемана! — Шувалов не подымал глаз, как бы боясь их остроты, не соответствовавшей мягкости тона.

— Никакого кружка нет, — сказал я твердо, — есть один Михаил Бейдеман, совлеченный в вольнодумство...

— Послушайте еще раз и очень серьезно: вы один можете избавить Веру Эрастовну от неизбежного ареста, если поможете мне пролить свет на один документ.

Шувалов вынул из бумажника исписанный лист бумаги, положил его на стол, прикрыл большой белой, еще белее, чем лицо, мраморной рукой и сказал, впервые глянув мне ярко и твердо в глаза:

— Все, что мы здесь говорим, — абсолютная тайна. При вашей малейшей нескромности и вы и Вера Эрастовна будете посажены в крепость, и еще кое-кто. У меня сведения есть о всех тех, с кем знаком Бейдеман.

— Каких вы хотите от меня объяснений? — сказал я.

— При тщательном обыске Бейдемана на дне коробки с папиросами мы нашли разорванную в мелкие клочья бумагу. Ее удалось сложить, и, несмотря на пробелы, текст ясен. Вот он. •

Шувалов протянул мне копию документа.

«Божьей милостью мы, Константин Первый, государь всероссийский», — торжественно начинался подложный манифест от имени измышленного сына Константина Павловича. В манифесте воображаемый претендент заявляет, что престол был похищен у его отца, Константина, братом Николаем I, а сам он с детства заключен в тюрьму. Далее шел призыв к свержению незаконной власти, грабящей народ, и следовали обещания раздачи всей земли, отмены рекрутчины и все прочее, о чем кричали все подметные листки.

Шувалов не спускал с меня глаз, но это было мне уже все равно. Я утратил всякую от него обособленность, я был возмущен грубой ложью документа и дерзким самовластием составителя. Таковы были в ту минуту мои чувства. Они отразились на моем лице.

— Милый Сережа, как я рад, что в вас не ошибся! — Шувалов пожал мою руку и уже без наигранной доверчивости, а как союзнику, деловито сказал: — Помогите же мне не впутать в это дело Веру Эрастовну. Расскажите мне сами все, что вы знаете о Бейдемане.

И сейчас, как собственный предсмертный судья, без утайки озираясь на прошлое, я по совести не могу осудить себя, такого, каким я был, за этот разговор с Шуваловым, до двух пунктов ненужного и рокового сообщения.

Желая одного — выгородить Веру из дела, я описал Михаила как упорного обособленного гордеца, желавшего привести в исполнение, ни с кем не соединяясь, а лишь всеми управляя, свои революционные замыслы. Шувалов значительно развязал мне руки своим сообщением о признании Бейдемана в том, что замышлено было им не более и не менее как цареубийство. Этот злодейский акт, по его изъяснению, не трудно было ему исполнить, потому что, как воспитанник военно-учебного заведения, он знал прекрасно все обычаи и привычки государя. Шувалов привел подлинные слова Бейдемана, которые к тому же обновляет

в моей памяти брошюра архивных изысканий об этом деле. Михаил сказал на допросе после признания, что ехал в Россию с тем, чтобы совершить покушение на государя.

«Не дорожа своею жизнью, которую я посвятил на это дело, я даже не намерен был по нанесении удара бежать и укрываться от преследования».

Бешенство охватило меня. Как, в своем беспредельном эгоизме бунтующего демона, Михаил смел не дорожить жизнью, предварительно связав свою судьбу с судьбой Веры? Имея хоть каплю рыцарского великодушия, он должен был бежать от ее любви, а не сметать мимоходом ее прекрасную юность, как сметают тяжелой рукой подлетевшую к огню бабочку, навеки губя ее легкие крылья.

Раздраженный этой его фразой, которая могла погубить во цвете лет близкое мне существо, уже не подстрекаемый Шуваловым, я был охвачен одной звериной ненавистью. Я стал толковать вслух, ища злейшего смысла в дьявольском по надменности заявлении Михаила.

— Он хотел поднять страну против дворянства! — вскричал я. — Убийство государя дворянином могло быть понято как месть дворянина за освобождение крестьян... Бейдеман ненавидел свое сословие, я помню его речи: «Вырвать с корнем его, как крапиву»...

— Сережа, дружок, успокойтесь, — отечески обнял меня Шувалов, — быть может, Бейдеман только жалкий безумец?

— Нет, он не безумец, он злой фанатик! И если сейчас из презрения к властям он дает скудные показания, то, поверьте, это только затем, чтобы на суде с яростью предать гласности свои злодейские убеждения, в дикой гордости прослыть в глазах других революционеров мучеником...

Я глянул на Шувалова и осекся. Он сиял от восторга, как получивший нежданно августейшую благодарность. Да, за свою коварную игру опытной кошки с глупой мышью он и получил ее в превосходнейшей степени, перескочив в производстве товарищей. А мне за предательство и глупую злобу он выхлопотал не в очередь орден.

О, мы дешево продали могучий дух и светлый ум Михаила!

Но ведь окончательно я понимаю суть дела только сейчас, на восемьдесят третьем году, погибнув раньше смерти. А тогда?.. Тогда я только бессознательно испугался торжества в выражении графа и вдруг остыл от своего бешенства против недавнего друга и стал думать, не предал ли я его.

Нет, я этого не нашел. И, окончательно великодушный, вообразив, что этим могу смягчить положение Михаила, вдруг подхватил мысль графа, что он, может быть, психически ненормальный. Теперь, в свою очередь, я приводил этому многие доказа-

тельства, но граф Шувалов их слушал уже без интереса. Он уже был обычно бесстрастный, отлично собранный механизм, заключенный в красоту мраморных форм. Очевидно, мои первые показания в минуту бешеной вспышки пришлись ему более на руку.

Придворным движением, как бы кончая аудиенцию, он встал и любезно сказал мне:

— Извините, у меня спешные дела. Относительно себя и Веры Эрастовны — будьте спокойны.

— А участь Бейдемана?

— Решится по заслугам.

Последнюю фразу он бросил уже как начальник, самовластно отстраняющий всякое чужое вмешательство. Граф сам вывел меня в переднюю. Он сказал лакею: «Шинель поручику!» — и упругим шагом поднялся вверх.

Выйдя на улицу, я пошел куда глаза глядят — по одному проспекту, по другому. У меня было чувство, что из меня выбрали все, что было мною, и пустую оболочку пустили ходить. Предо мной, как видение, стоял дьявол Микель-Анджело и держал перед собою кожу, снятую с грешника. Как одержимый, я шатался по островам, а под утро вдруг очутился опять у подъезда графа. Я хотел было войти, но в окнах было темно. Я вдруг почувствовал себя безмерно несчастным и свалился тут же без чувств.

Конечно, если б я сознал тогда ясно все последствия моего разговора с Шуваловым, я бы не мог жить спокойно остаток своих дней. Но всего лишь смутное ощущение чего-то непоправимого в судьбе Михаила, свершившегося по моей воле, верней — посредством меня, неопределенной тяжестью легло мне на сердце. Вот это чувство, ставшее в дальнейшем невыносимым, двинуло меня на безумную попытку освободить Михаила с риском собственной жизни. После этого обстоятельства все укоры моей совести значительно притупились до нынешних дней.

Но сейчас, изучая нелгущие строки архивного изыскания, как не назвать мне себя главным виновником одиночной двадцатилетней пытки Михаила? Ведь у человека, в чьих руках была его жизнь и судьба, у графа Шувалова, самостоятельным было совершенно иное решение, нежели то, что последовало позднее, после разговора со мной.

Ведь это Шуваловым, как видно из доклада его великому князю Михаилу Николаевичу, было сделано предложение, чтоб передать Бейдемана в военное ведомство и судить его военным судом. Худшее, что могло ждать его, — была смертная казнь. Но не о ней ли, как о милости, будет умолять он в раздирающей сердце записке, которая словно чудом, из загробного мира, в один чудный вечер уютного чаепития появится с неизвестным перед нами... Но об этом позднее.

А теперь: вот итоги моего разговора с Шуваловым. Я подсказал графу новое освещение всего дела, а в связи с ним и роковое решение участи узника. Мое утверждение, что Бейдеман — не безумец, как они было склонялись признать, привело их к убеждению, что того, кто не гнется, всего проще сломать.

Число в число, после нашего разговора, Шувалов доносил царю в Ливадию буквально мои собственные слова. Он говорил, что упорное молчание, которое хранит Бейдеман, не желая давать дальнейших показаний, происходит только оттого, что он собирается во всю силу заговорить «в день суда в единственной надежде предать гласности свои намерения и выставить себя мучеником за политические убеждения».

Для того чтобы опасному арестанту пресечь все возможности гласности, его без суда и следствия заключили в Алексеевский равелин, в камеру № 2.

ГЛАВА X

Одет камнем при Екатерине II

Был чудный июльский день, когда я нашел, наконец, силу пойти в Петропавловскую крепость, чтобы воссоздать в воображении Алексеевский равелин, где сидел Михаил двадцать лет в одиночном заключении.

Сколько раз я переходил Биржевой мост, вдоль тучнеющих огородов, которые разбил крепостной гарнизон рядом с деревянным широким помостом, ведущим во входные ворота! Вместе с экскурсией пытался я пройти внутрь. Но в глазах темнело, ноги подкашивались, и я мог только сесть на большой придорожный камень и долго бессмысленно созерцать громадный революционный плакат, вознесенный над этим первым входом. На небесном фоне изобразил художник слева и справа пушки, с высоким прицелом черного дула; над пушками вверху красная звезда, а в сердце у ней серп и молот. Еще выше труднейшее словосочетание: Штаб Петрогрукрепрайона. Я это слово твердил машинально весь обратный путь до своего чердака, стараясь отвести мысль от своей досадной слабости, которую, знал я, должен во что бы то ни стало преодолеть. Случай неожиданно мне помог.

Через бывшее Марсово Поле, где этим летом разбивается отличный цветник, я, приветствуя украшение столицы, прошел было к Цепному мосту, чтобы точно найти дом бывшего III отделения, где спервоначала сидел Михаил и где еще с такой несокрушимой силой и гордостью он отвечал на допросах.

Я был одет приличней обыкновенного; для торжественных случаев у меня уцелели весьма старые, но все же темнозеленого

гвардейского сукна брюки и сюртук. Я надевал их в последний раз, когда определял девочек в школу.

В этом виде все зовут меня «дедушкой», и мне это очень приятно. Самое главное: на вопросы отвечают как равному, а сегодня мне вот именно важно, чтобы мне ответили на вопрос, где дом бывшего III отделения.

Найти этот дом я так и не успел, потому что как раз тут случилось то происшествие, которое меня придвинуло к цели.

На Фонтанке есть пристань, где отдают по часам лодки. Было пустынно. В конторе белела голова мальчика, дежурившего в этот вечерний час, да курил трубку, свесив босые ноги в воду, содержатель лодок.

Белокурая девушка, веселая, в коротком платье, с толстыми ножками, о чем-то шепталась со своим спутником-красноармейцем. Вдруг она подошла ко мне и сказала:

— Гражданин, не хотите ли с нами проехать на лодке? Наверное, вы умеете править рулем, брат мой будет грести, а я, как буржуйка, посижу сложа руки. Мы объедем крепость и вернемся назад. Времени не более часу.

Я поблагодарил и с биением сердца вступил в лодку. Эта поездка — как нельзя более кстати, если обречен я воскрешать в памяти былое...

Мы проплыли по Фонтанке мимо бывшего Училища правоведения и под тем странным мостом, где бывали мы с Верой не раз, когда, как маньяки, одержимые упорной идеей, с утра до вечера искали одного: как ее выполнить?

Это было весной шестьдесят второго года, вскоре после того, как Петр проведал от кума, что Михаил свезен в крепость, но в Трубецком бастионе не числится. Оставалась догадка, что он в Алексеевском равелине.

Вера продала все, что осталось в наследство от отца и мужа, и, когда составилась крупная сумма, она, как безумная, стала требовать у нас помощи устроить побег Михаила. Напрасно твердил ей Линученко о неприступности равелина, обнесенного высокой стеной, об обилии стражей, о неслыханной изоляции узников. Вера слышать ничего не хотела. Она отдавала на это дело все свое состояние и добилась того, что Линученко решил сделать попытку.

Петр должен был через верного своего кума организовать широкий подкуп людей в Трубецком бастионе и в равелине. Целый месяц прошел в тщетной надежде, но, если капля со временем долбит камень, то и золото в неограниченном количестве всегда разобьет наемное сопротивление.

И вот Петр объявил, что человек соответственный есть. Это был помощник одного из надзирателей равелина — Тулмасов.

На подкуп часовых и прочих охранителей он требовал пятьдесят тысяч рублей.

Линученко объявил, что должен сам видеть этого человека. Свидание состоялось, и Линученко поведал нам план Тулмасова.

Глубокой ночью, когда не будет луны, двое должны будут подплыть в лодке со стороны Биржевого моста к стенке равелина и для сигнала на минуту зажечь огонь.

Кроме двух часовых, никто этого видеть не может. Часовые же, заметив сигнал, со стены бросят веревочную лестницу, по которой подымется Петр с необходимыми инструментами для распилки железной решетки каземата. В случае, если не удастся вывести узника из дверей, оба спустятся обратно по той же лестнице.

Линученко предупреждал, что Тулмасов ему крайне не понравился и что весь его план скорее всего вычитан им из дрянного романа и, кроме риска, не даст ничего. Но Вера, ослепленная страстью, умоляла нас отважиться на попытку. Вызвались я и Петр. Вот причина, почему так знакомы мне вдоль и поперек все протоки и речки, впадающие в Неву. Ведь мы целыми днями плавали с Верой, ища безопасных путей, как подойти к грозной крепости и уплыть обратно, увозя с собой Михаила.

Как Веру тешила эта затея! Но из-за этого с каждым днем все труднее было мне, подобно Линученке, ей объявить, что надежды нет ни малейшей, а риск для жизни велик. При первом подозрении нас с Петром уложат на месте. Но для меня, хотя б и бессмысленный, героический конец в глазах Веры — был в то же время и единственный желанный выход. Виновником заключения Михаила без суда и без следствия я уже и тогда ощущал где-то втайне себя...

Кроме того, жизнь моя была расколота, и своего в ней места я найти не умел. Сколько я себе ни твердил, что разговор мой с Шуваловым не мог иметь плохого значения, чувство мое подсказывало мне иное.

Сейчас, когда мы через канавку входили в широкое лоно Невы, воскресает предо мною во всех подробностях незабвенная ночь нашей безумной попытки освобождения Михаила.

Сейчас от закатных лучей, как на густосинем атласе, разлилось жидкое золото на могучих холодных волнах, а тогда...

Тогда целый день шел проливной дождь, к вечеру разыгралась буря, и зловеще ударяла пушка, объявляя об опасности наводнения.

Я перенесся на полвека назад. Да, была черная ночь. На Неве буря. Не часто шли пароходы. Огромным черным телом чернели затонувшие баржи...

— Дедушка, не попадите под катер! Правее! — окликнула белокурая девушка, потому что, весь в прошлом, я позабыл о руле.

Мы подъехали. Петропавловская крепость с шестью бастионами похожа на невиданного паука, выставившего верхние членики лап и спустившего в воду концы. Мне почудилось: лапы его не кончаются там, в воде, а, расчлененные на тысячу нитей, незримой паутиной опутали весь Петербург. Когда в Музее революции я недавно рассматривал сеть царской охранки с разноцветными кружками слежки, у меня воочию связалась эта паутина над городом с таинственной подводной работой чудовищного паука Петропавловской крепости.

— Смотри-ка, эта крепость похожа на паука, — выкрикнула белокурая девушка, а ее военный спутник вымолвил с важностью:

— Потому что здесь пауки царского режима сосали кровь революционного пролетариата.

Паук... какой пророческой меткой была та родинка на правой руке Михаила! Так в феодальные времена люди сюзерена носили на себе его герб.

На замшенных ветхих стенах Трубецкого бастиона крупными буквами выбито: «Одет камнем при Екатерине II».

Одет камнем...

Не один он, этот бастион, — и Михаил, на двадцать лет без выхода в четырех стенах, с окном под тремя решетками, выходившими на другую несокрушимую стену, — и Михаил был одет камнем с 1861 года.

И не один Михаил...

Чуть поднять голову, над бастионом пушки. Вот главная, которая бьет в полдень, минута в минуту, без перерыва, с Петра Великого до последнего из царей, и от его отречения до нынешних дней, шестого года революции. Над пушками вышка, мачта и флаг. Ныне — красный.

Вот здесь, где пышно разрослись деревья, за Трубецким бастионом шла стена и внутри. За ней, отделенный каналом, на острове был Алексеевский равелин, откуда людей не выпускали, а выносили или в могилу под чужой фамилией, или в дом сумасшедших. За равелином — опять стена, за стеною Нева.

На эту последнюю стену, шестьдесят один год тому назад, уговорено у нас было с Тулмасовым, что выйдут подкупленные им часовые с веревочной лестницей. На самом же деле, едва мы подъехали ночью в лодке и сверкнули огнем, из двух противоположных кустов раздались два выстрела. Одна пуля предназначена была для меня, но я как раз откинулся назад, доставая свой револьвер, и обе они угодили Петру в голову. Петр, едва не опрокинув лодку, бесшумно скользнул в воду и скрылся в волнах. Мне оставалось с удвоенной силой грести к берегу, где в кустах, полумертвые от ужаса, меня ждали Вера и несчастная Марфа...

Как безмятежно сейчас в этом месте плещутся волны, вызванные пробежавшим весело пароходом! Какой смех на том самом берегу, где из-за кустов стреляли в нас подкупленные злодеи!

Красноармейцы купали здесь маленького ручного медведя и купались сами. Смешной медвежонок прыгал на солдата и, пока тот плавал, сидел у него на спине, как обмокшая собачонка. Мои спутники очень смеялись и с большой неохотой поплыли обратно.

— Вот роскошная, вот веселая прогулка! — твердила белокурая девушка, а я не удержался, чтобы ей не сказать:

— Однако место, вокруг которого мы только что оплыли, далеко не веселое! Знаете ли, сударыня, там лучшие и умнейшие люди сидели по двадцати лет...

— Гражданин, — сказал хмуро красноармеец, — у вас старозаветная ориентация говорить про единичные случаи, что они лучшие и заслуженные. Оплот и базис революции — вовсе не отдельные единицы, а сознательность коллективов.

Он был очень молод и важен, этот юноша в чистенькой форме, с розовыми петлицами на груди. Я притворился глухим, что-то промычал и умолк.

На берегу мы расстались друзьями; оба пожали мне руку. Потом белокурая девушка купила у торговки булку и два куска постного сахару и подала мне, краснея:

— Мерси вам за руль, гражданин.

Эту ночь я вовсе не спал. Все, шестьдесят лет тому назад погребенное, продолжало воскресать...

Наутро после ужасной гибели Петра я подал начальству рапорт об исчезновении моего денщика. Его всюду искали и, не найдя, решили, что он утонул в пьяном виде. Для правдоподобности я дал показание о его пристрастии к водке. Мы боялись, что нас выдаст Марфа своим безудержным горем. В ее бессвязных речах о неудавшемся побеге было бы много подозрительного для опытных сыщиков. И, боясь, чтобы не пошла она к месту гибели своего мужа, мы держали ее взаперти, решив в скором времени увезти временно вон из города.

Вера как бы окаменела; глаза стали огромными и потухли. Пусто смотрела она часто в одну точку, и оживление в ней вспыхнуло вновь, только когда приехала из Бессарабии сестра Бейдемана, Виктория, хлопотать через видных родственников о смягчении участи брата.

На другой день после того, как я побывал в лодке у Петропавловской крепости в компании красноармейца и белокурой девушки, я уже не мог не попасть в нее и путем сухопутным.

Часам к трем я дошел до Троицкой площади, оттуда через мост — к Петропавловским воротам. Там руководитель делал перекличку своей экскурсии.

Это все были юные девушки с какого-то завода. Окончив свой рабочий день, они, не заходя домой отдохнуть, пришли сюда и на собственные сбережения наняли себе вольного инструктора, надеясь, как они выражались, что он и покажет «вольней»; у большинства я заметил ныне модные полосатые шарфы с мягкой кисточкой на концах. Когда их кто-то спросил: «Что это у вас всех одинаковые?» — сказали: «А мы их гуртом купили в Пепе».

— Пепо, как и депо, не склоняется, — поправил руководитель и подвел всех к воротам.

— Обратите свое внимание, товарищи, на возглавляющий барельеф. Тут изображен не столько летящий, сколь неблагопристойно, вниз головою, застрявший в воздухе человек. На него указует сбоку мальчик такой чрезмерно длинной рукой, что, если ее опустить, она ему будет до пят. Бывший царь Петр хотел почтить своего ангела, апостола Петра, и приказал выискать какое-нибудь чудо, им содеянное. Чудо выискали в лице неблагопристойно летящего человека, он же — посрамленный апостолом колдун Симон-волхв. Все это не более как преданье и басни в угоду слабоумных и малограмотных.

— Религия — опиум для народа, — сказали две в шарфах.

Руководитель указал дальше на две ниши в воротах.

— В них статуи, языческий бог Марс и супруга его — Венера. — Он прибавил с иронией: — Конечно, Марс тут на месте, по случаю военного учреждения, но Венера — по той причине, что при прежнем буржуазном строе муж, словно каторжный к тачке, был прикован к своей жене, то и в каменном виде поставили ему в нишу Венеру.

— По мифологии муж Венеры — Гефест, а Марс всего-навсего — похититель, — сказал, смеясь, какой-то «вузник», приставший к экскурсии. — Так что выходит: царь Петр поощрял не законную любовь, а именно свободную.

Все засмеялись, а руководитель рассердился.

— Это спорный вопрос, — сказал он с достоинством. Потом вспыхнул: — Которые примазавшись к экскурсии — уходите!

Вузник, посвистывая, отошел, а меня девушки скрыли в рядах, пригрозив, чтоб молчал.

Вошли в собор. Я никогда не любил его нерусскую роскошь. Низкий алтарь в завитках барокко, золотая лестница с нависшей ложей проповедника, царское место под тяжким балдахином, митрополичье — посередине под красным сукном. Колонны до самого верху, как зимними сказочными цветами, усыпаны серебряными венками с похорон царей. Все важные гробницы — серого мрамора, а Александра II символическая — кровавого камня.

В годы самодержавия любили цари в этом соборе проделывать однообразную восточнvю шутку. Волостных и сельских стар-

шин, приезжавших поздравлять с коронацией, сюда приводили на парадную службу. Вспыхивала огромная хрустальная люстра, ей ответно сверкали серебряные листья несметных венков, брильянты придворных дам и золотая резьба иконостаса. Незримые хоры пели с небес, и, овеянные клубами росного ладана, падали старосты на колени.

Каждый раз царь и царица спрашивали их, как им понравилась служба, и говорили старшины от воцаренья к воцаренью то же самое: «Как в раю побывали, ваше величество!»

Едва ли этот вопрос и ответ не входили и в обязательный коронационный ритуал церемониймейстера двора.

Сейчас собор был не тот. Сняты все венки и свезены в московский музей. Лучшие образа — тоже. Бесприютней могил бедняков на сельском кладбище однообразные мраморные гробницы. Только у императора Павла непонятное стечение народа. Под цветами не видно мрамора, венки из васильков, ноготков и ромашек, неугасимая лампада и паломники — стар и млад. До революции Павел в народе считался святым: одни верили, что помогает он от всякой беды, а другие — что от одной лишь зубной боли.

Я задумался, пока не увидел, что остался один. Экскурсия мигом обежала гробницы. Я заметил, что мужчины, как и раньше, были в церкви без шапок. Но они их сняли еще у ворот, как сейчас догадался, именно для того, чтобы не вышло прежнего оттенка особого уважения к храму. Однако и остаться им в шапках, повидимому, было тоже неприятно.

Я присоединился к экскурсии под громадным деревом. Все сидели на траве, и руководитель говорил, что как раз здесь было при Петре «плясовое место» — место пыток и наказаний, от которых «плясали». Сажали человека на железного коня с острой спиной, пускали ходить по острым кольям.

Наконец руководитель перешел к тому, ради чего я пришел в это место. Он нас повел тем самым путем, как возили арестованных в черных каретах с зелеными занавесками. В карете сидели с каждым два жандарма и офицер.

Так проезжал тут в 1861 году Михаил Бейдеман — замуровать навеки свою юную жизнь.

Я больше не видел девичьих лиц и слышал руководителя, лишь поскольку мне это было надо, чтобы представить себе, где и как протекали дни заключения Михаила.

Не знаю, как именно везли его: вдоль Екатерининской куртины, как возили поздней Поливанова, или с другой стороны, мимо осевших в землю казарм Анны Иоанновны.

Впрочем, в обоих случаях была процедура одинакова. У низкого дома обер-коменданта карета останавливалась, офицер соскакивал и уходил в подъезд с докладом, а жандармы с аресто-

ванным доезжали до серых ворот, где сейчас на их месте — свернувшийся набок фонарь. Но с правой стороны все так же, как и тогда, врастали в небо частые бурые трубы Монетного двора.

Здесь уже угадываются сырые нижние камеры, черный карцер, двойные стены, вся глухая, бесправная гибель. И оттого ли, что так тесно сдвинуты небо и здания, — небо совсем не кажется уходящим вверх безграничным пространством, а низко упавшим, нелегким покровом.

Настоящему руководителю надо бы здесь перебить хохот и шуточки и ожидание легкомысленной молодежи поскорей увидать пошловатые рисуночки каких-то былых охранников, сейчас очень модные в публике...

Я сказал соседкам:

— Вот для того, чтобы вы могли прийти сюда с хохотом после восьмичасового рабочего дня, здесь на всю жизнь замурованы были люди.

Но они, как тщеславные гусята, ничего не поняли и сказали:

— Этого больше не будет, не бойтесь, гражданин, ведь мы опрокинули царский строй!

Я хотел было объяснить руководителю, что, прежде чем показать одиночную камеру, одиночную баню и, как он выражался, «прочее, все одиночное», — надлежит найти слова, какими бы пронять молодежь, слова, какими бы им в глубину сердца ввести само содержание слов: принудительное бессрочное одиночное заключение.

Но я ничего не сказал, я не мог говорить. Я держался за стенку, чтобы не упасть. Волнение подрезало силы, я не мог угнаться за веселой экскурсией.

Посидев с десять минут на подоконнике, я попал в новую компанию. Четыре старые дамы, приехавшие из провинции, наняли себе ветерана-надзирателя, здешнего старожила чуть не со времен Николая I. Я попросил позволения примкнуть, и мы все, соответственно возрасту, побрели черепашьим шагом.

Я был обрадован этой неспешностью, я мог вживаться в протекшую жизнь. Нет, скажу, как в святцах про мучеников, — житие.

Прежде чем впустить сюда, узника долго морили перед последней железной решеткой. Офицер нарочито задерживался у коменданта, чтобы создать арестанту особое нервное состояние. Затем в караульном помещении с него снимали домашнюю одежду и надевали халат.

Старик-надзиратель — богомольного вида, с елеем в мелких чертах. У него есть гордость профессионала, когда он говорит:

— Я стерег заключенных при двух Александрах и при Николае последнем, стерег при Керенском... вот посудите размах

времени. А почему уцелел в одном месте? Никому зла не делал, закон исполнял. Прикажут: «Гляди в глазок!» — я и гляжу. Арестант рассердится да в уголок, я его не дразню, отойду. А потом снова. А чтоб Фигнер не стучала соседям, мы ее отсадили промеж двух пустых кладовых, — вот, не угодно ли взглянуть? Она ножкой топнет, а внизу, как с боков, — никого-с!

Он говорил, как добрый дедушка про шалость внучат. Так в римском форуме с добродушным достоинством говорит опытный гид, гордясь перед иностранцами анекдотами древних времен. И как там путешественники, жадные к жестоким волнениям, не стесняясь меня, старика, потные от любопытства, приставали к надзирателю и эти женщины:

— А правда, что бывали тут избиения? А чем вы их тут били, куда?

Надзиратель с неудовольствием отрицал избиения; он стремился отвести внимание дам на заботу начальников:

— Вот, изволите видеть, мы сойдем этой лестничкой в сад, обратите, между прочим, внимание: к перилам приделан сплошной высокий забор — как бы вы думали, на какой именно предмет?

И, наслаждаясь недоумением, со своей стариковской улыбкой он сказал:

— Очень просто, это затем, чтобы политическим убиться не дать. Были случаи, были, — хитрый народ! И кому бы сидеть надо годы, он норовит собственный срок сократить. Очень просто: через лесенку в пролет да на голову.

В крохотном садике одиночная баня и несколько деревьев, дорожки чуть отмечаются — заросли.

— В прежнее время песочком тут было посыпано, — с укоризной к нынешним сказал надзиратель. — Напоследок, в военное времечко, царские генералы у нас тут гуляли. Адмиралы посиживали. Ну, у них уже не камера, а по два покоя, кабинет и спальня, а кушанье — свое в три блюда. И супруг допускали. А глядите, на стенке Пуришкевича стихи длинно написаны и подпись: «Владимир Митрофанович, несчастный Пуришкевич, краса и гордость контрреволюции».

Я запомнил две последние строчки его стихов: «Безумья семена дадут вам рабства всходы...»

Дамы алчно кинулись к стенам модной камеры охранника. Она вся в размашистых рисунках из «Нивы»: девица в джерси у окошка, рот бантиком; огромный, во всю стену, подробный, как план, вид Люцерна, с отмеченными окнами самых дальних домов. Под видом стих:

Ах, если б мы сюда вернулись снова,
Где были мы столь счастливы с тобой...

Как выйти из Трубецкого бастиона, через несколько шагов влево — Васильевские ворота. Через туннель попадаешь в новое место, по уровню много ниже. Здесь через подъемный мост, под которым прорыт был канал, шел треугольником Алексеевский равелин — одноэтажное здание с четырнадцатью небольшими камерами. Туда заключали особо важных преступников. Заведовал им смотритель, и для внутреннего дозора приставлены были стражи. Ключ от каждого номера был у смотрителя, без которого в камеру никто не входил. Днем и ночью смотрел в глазок — узкую щель в дверях — зоркий глаз дежурного. Из неприступного, несокрушимого равелина никто никогда не убежал.

В Алексеевском равелине было так сыро, что в 1873 году, 2 октября, двух узников, Михаила и Нечаева, под наблюдением смотрителя Бобкова и караула равелинской команды, из-за угрозы наводнения, каждого порознь перевели в Трубецкой бастион. Там оставались они под наблюдением этих людей до рассвета следующего дня.

Дамы, пошептавшись о чем-то со смотрителем, сунули ему деньги. Сторож молча кивнул головой. Одна дама, обернувшись, сказала мне:

— Дедушка, и вы с нами идите, а то нам, женщинам, одним будет страшно.

Не спрашивая, куда мы пойдем, я молча кивнул головой. Мы спустились обратно в нижний этаж Трубецкого бастиона, вошли в какую-то камеру, и надзиратель захлопнул за нами плотно дверь.

— Посмотрите по часам, чтобы не больше десяти минут, — воскликнула дама.

— Разумеется, — сказала другая, — больше будет, пожалуй, и вредно, а представить себе то, что они испытали, можно и в кратчайший срок.

— Закройте, mesdames, глаза, потом откройте... ах, как интересно испытать, как испытали они!..

Надзиратель обиделся, как честный профессионал, и сказал болтливым дамам:

— А вы, сударыни, помолчите: здесь ни говорить, ни смеяться ни-ни!

Я смерил камеру: десять шагов в длину, пять ширины. Грязнобелый потолок, серые стены — вот и все здесь цвета. В окно за тройной железной решеткой — кусок подступившей грязной стены. Привинчена кровать, привинчен стол, и в стеклянной нише привинчена лампа, чтобы узник не задумал сжечь сам себя. Одежда из мешочного полотна, верхний халатишко. Жидкое, не греющее одеяло...

Все то же самое было и у Михаила в его камере № 2 и позднее № 13, только еще много сырее, чем здесь.

Но, по свидетельству там сидевших, звуки у них были слышнее и разнообразнее, нежели тут, отчего мука неволи становится острей; порой доносил ветер музыку Летнего сада.

Что же испытывал Михаил, одетый камнем, когда нараставшие пятилетия вошедшего юношу сделали зрелым и пожилым все в том же заключении: десять аршин длины и пять ширины?

И это — при сознании, что всего лишь за двумя стенами течет прекраснейшая многоводная река, по ней идут пароходы через Балтийское море во все части света, что укрепляется берег строениями, что идет накопление разнообразнейших опытов жизни через войны, просвещение и через простой человеческий быт!

Эту богатую, пеструю жизнь изведал не он, а я, его бывший друг и предатель. Да, предатель — ибо человек есть только то, кем он себя сам ощущает. И да свершится надо мной справедливая Немезида!

Пусть читатель, искушенный в классификации явлений психологических, отнесет, соответственно своим познаниям, куда угодно мои дальнейшие сообщения. Я спорить не стану: нервическая ли это расслабленность старости или особое глубокое потрясение всего жизненного моего аппарата, — я слишком знаю то, что я знаю.

По капризу любопытных я пробыл в камере одиночного заключения всего десять минут. Но мука в ней заключенного, но вековая ползучая сырость насквозь пронизали меня — от волос головы до подошв моих распухших ног. Мука этих стен одела камнем. И вне этих стен мне уже не быть.

И вот знаю, проведу ли я двадцать лет в этом застенке, незримом глазу, или какие-нибудь два-три года, что мне остается дожить, — я приму целиком заключение Михаила, я изживу его смертельные муки, и впишутся мне они, как ему, тем же полным числом, в мою черную книгу судьбы.

Читатель, свершилось надо мной пророчество предсказательницы m-me де Тэб.

Одетый камнем, как был Михаил в 1861 году, я в 1923 — становлюсь на его место.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Черный Врубель

Сергей Русанин и Михаил Бейдеман — одно. Я узнал о проницаемости тел, об одержимости личностью другого человека не сразу. Это случилось после того, как я стал сыном матери Михаила, мужем его кратковременной жены. А третье... третье не скажу. Словом, мое устремление к его личности и судьбе заставляет меня порой настолько отождествлять себя с ним, что я не могу вспомнить своего имени и называю его имя.

Так, на той неделе, когда я вышел на рынок за пятью фунтами картофеля, я почувствовал головокружение и должен был сесть на паперть той большой церкви, где в семнадцатом году на колокольне обнаружен был пулемет и взамен его водружен красный флаг. Я сам не помнил, но Ивану Потапычу говорили те, кто меня свел в лечебницу душевнобольных, будто я там просидел с мешком недвижимо до вечера, чем и вызвал участие всех торговцев. Русский человек, как известно, настолько же добродушен, насколько жесток. Торговки накормили меня и хотели водворить домой, но я твердо заявил им, что дома никакого не имею, ибо сегодня лишь утром выпущен из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. А в равелине я будто сидел со времен царевича Алексея Петровича и неустанно ловил мышей с ножек княжны Таракановой. Она очень долго, несмотря на смертельную опасность, ей угрожавшую, сохраняла свою наивную женственность и не столько пугалась подымавшейся в ее камере воды, сколько мышей, в изобилии прыгавших на красный бархат ее бального платья.

О лечебнице душевнобольных я хорошо помню все. На вопрос старшего врача о том, кто я такой, я немедленно вызвал

в памяти самый эффектный момент из жизни Михаила и, подняв плечи, легкой походкой прошел в дальний угол, как бы приглашая на контрданс Веру Лагутину. Поклонившись с достоинством, я отрекомендовался из угла:

— Михаил Бейдеман, юнкер третьего корпуса Константиновского училища.

И еще прибавил:

— Vaut mieux tard que jamais! [1]

Последнее изречение должно было означать, что я желаю исправить с самого начала все вины перед другом, начиная с зависти к его прекрасной внешности.

Старший врач и помощники, конечно, полезные граждане, но они — лишь рабочие муравьи и ходят по своей линии. Они зарегистрировали меня сумасшедшим и приказали посадить меня в ванну. Но прочие, так называемые больные, меня отлично поняли и с одобрением мне аплодировали.

А горячо мною любимый художник Врубель, принявший образ какого-то верзилы с черной бородой, подошел ко мне и сказал:

— Из видов окончательного освобождения, о котором я узнал из своей последней работы — портрета Валерия Брюсова, теперь я таков. Но я вижу: меня вы признали, а значит, достойны, чтобы я разъяснил вам одну картину. Уединимся вечерком.

Я доволен, что неделю провел с сумасшедшими. И раньше я подозревал, что и здесь, как над каждою вещью в земном обиходе, этикетки все перепутаны, и эти сумасшедшие — самые свободные из людей. Они сбросили маску. Ведь все дело — в преодолении пространства. Люди в масках движутся вперед по прямой, а мы, как крабы... впрочем, этого я не смею открыть, разве что намекнуть.

Проницаемость тел, одержимость другими начинается так: левый локоть под углом в 45°... как кинжал. И пятками сейчас же в его пятки, а теменем в темя. Так у меня всегда с Михаилом, следствие — легкая дурнота.

Оказывается, Врубель с чернобородым верзилой сделал то же. Он рассказал мне это в тот же вечер, вскрывая причину принятия нового образа. Но об этом немного поздней, сейчас мне надо итти только вперед по прямой линии и, чтобы читателю было понятно, продолжать повесть обыденным способом передачи: предложением главным, от придаточного отделяемым скромною запятой.

Кроме продолжительных бесед с художником о вещах, понятных нам обоим, но вызывавших улыбку у старшего врача, странного в моем поведении ничего не нашли. К тому же на третий

[1] Лучше поздно, чем никогда! *(франц.)*.

день я надел маску и, извиняясь за причиненное мной беспокойство врачебному персоналу, вежливо попросился домой, предполагая у Ивана Потапыча и у славных девочек тревогу по причине моего исчезновения. Я только отвечал на вопросы, дал телефон Ивана Потапыча. Сейчас он сторожем в Центросоюзе и, по ориентации на полнейшее равноправие в наши дни, имеет возможность говорить и слушать по телефону учреждения, как самый его главный товарищ начальник. Иван Потапыч не замедлил явиться. Он обрадовался мне, как родному, и тут же подарил антоновское яблоко, по своей обстоятельности прибавив, что в этом году яблоки дешевле огурцов.

Старший врач отпустил меня с Потапычем, наказав ему не выпускать меня вовсе из дому.

— Кровоизлияние в мозг, — сказал он, — может повториться, и старик, чего доброго, попадет под трамвай.

Я хотел было возразить доктору, что снимать маску я могу по собственной воле и в любой момент, так что этот способ расширения сознания совсем неосновательно называть почему-то кровоизлиянием в мозг... Но я ничего не сказал. Они в своих куцых знаниях упорны и посадили бы меня снова в ванну. Мне же сильно хотелось домой — чайку выпить с яблочком и записать необычайное открытие Врубеля, важное для каждого и для всех.

Однако продолжать будем по порядку, чтобы читателю стало понятно, как человек перестает быть «одетым камнем».

Первое доказательство взаимообщения через мысль, презирающее пространство и время, что в грядущем попадет в графу математических исчислений, а по модности обучения сменит ритмику, испытал я, идя навстречу событиям, еще в 1863 году осенью, когда я вез матушку Бейдемана в Крым.

После неудавшейся детской попытки освободить Михаила, жертвою чего погиб Петр, матушка внезапно пала силами, но не духом. Чувствуя, что болезнь ее (острое расстройство сердечной деятельности) значительно ухудшилась, она объявила нам, что должна торопиться прибегнуть к последнему средству: самолично молить государя о помиловании. Чувствуя к этой женщине искреннюю сыновнюю привязанность, я не мог отпустить ее одну и, взяв краткий отпуск, поехал с ней вместе.

Матушка Михаила заболела. Мы должны были остановиться в дрянном городишке, в гостинице.

Здесь и произошло...

Как много можно узнать от человека умирающего, если этому человеку есть что сказать. Ведь все, что равняет нас друг с другом или создает преимущества в смысле образования, savoir vivre[1] и прочих, как сейчас принято говорить, «культурных цен-

---

[1] Умения жить (*франц.*).

ностей», все это отходит перед лицом смерти, как к ней ни отнестись — величайшей из тайн.

При человеке неотъемлемой до конца остается лишь емкость его собственной души. И вот в душе этой умирающей женщины горел целый мир.

Когда после одного особо острого припадка она поняла, что до Крыма ей не доехать, во всем существе ее изобразилась нечеловеческая мука. Но в одиночестве, собрав силы, она скоро овладела собой. У нее не было обычной женской религиозности, хватающейся за духовника, но доверие к великому разуму и добру, к которым идет мир, несмотря на горести жизни, было так сильно, что давало ей совершенную организованность для себя и любовь материнскую и покрывающую для каждого, кто подходил.

Малоречивая и, как внутренно собранный человек, невольно внимательная к малейшей расшатанности другого, матушка, в светлые промежутки между страданиями, своими простыми вопросами, из которых ни одного не оказалось пустого, как бы принудила меня сделать итоги всему тому, что я продумал и прочувствовал до сих пор. У нее было особое умение помогать и давать, не навязывая...

В знаменательных разговорах Гретхен и Фауста не те ли качества, столь пленительные в существе невинном и мудром, открываются много испытавшему скептику?

Сколько бы жены ни обрезали волос, ни дымили папиросами, беря себя руками в бок, и ни писали трактатов хотя бы не хуже мужчины, — только от этого особого их достоинства, от любви материнской и покрывающей, будет жив и прекрасен весь мир. Был и будет!

Эта замученная горем, умирающая старая женщина в то же время была как артист, которого день-деньской заставили таскать тяжелые камни и лишь к вечеру освободили для любимого дела.

Музыкальность и гармония — основы высокой души — сообщили невыразимую нежность ее уходящему внутреннему существу.

— Стеша! — совсем перед кончиной сказала матушка убиравшей девушке, указывая при этом на принесенный ей голубой чайник кипятку. — Стеша, заткни ему носик чистой ваткой. Сережа придет — чай остынет, а я вдруг помру и уже не напомню тебе, чтобы согрела.

Но, к счастью, я поспел во-время...

Какой земной последней радостью озарилось ее уже отрешенное от желаний лицо, когда я вошел! Торопясь, что не успеет, сняла она с шеи ключик и указала мне подать ей ореховую шкатулку. Я открыл; она передала мне твердой бумаги серый конверт с надписью: «Ларисе Полыновой».

— Эта женщина Михаила любила, она сделает то, чего я не смогла... Ее в Ялте знают, она близка ко двору.

После этого матушка закрыла глаза. С каждой минутой дыхание ее становилось порывистей, и сердце трепетало так сильно, что ослепительно белая кофточка вздрагивала. Лежать она не могла. С высоко приподнятой головой раскрыла навстречу широкому окну свои вдруг помолодевшие яркосиние глаза.

Был закат, и пурпуром охвачено небо. На нем большое, тяжелое, как бы дымное солнце. Внезапно до острой боли припомнился мне тот незабвенный закат в день производства, когда я побежал по двору училища вслед Михаилу. Сходство довершали десятки нестерпимо сверкавших стекол больших домов нашей улицы.

«Что с Михаилом? Чувствует ли он, что его мать умирает?»

В эту минуту матушка еще приподнялась на кровати и, как бы потянувшись вслед заходящему солнцу, сказала мне тихо, но ясно:

— Сережа, пойдем к сыну моему Михаилу!

Она протянула мне обе руки и взяла их крепко в свои.

На другой день я очнулся в постели в своем номере, и доктор, считавший мой пульс, предупредив, чтобы я не вздумал вставать и волноваться, рассказал мне, что вчера после заката, часов около восьми, меня нашли без чувств на кресле около старушки Бейдеман. Уже мертвая, она не выпускала моих рук из своих. Меня высвободили с трудом.

Я не расспрашивал о подробностях. Но и про себя я не рассказывал им всей правды. Но сейчас расскажу.

Едва матушка взяла мои руки в свои, солнце внезапно зашло, и наступило странное освещение, как бы без источника света, какое бывает только во сне.

Я увидал себя с нею в лодке и почему-то бешено стал грести. Мы мгновенно перерезали Неву поперек и подошли к Невским воротам Петропавловской крепости. Я было подумал: «Почему мы не входим Петропавловскими воротами, как обычно?» Но матушка махнула в том направлении легкой ручкой, и я увидел толпы людей вдоль валов. Через них нам с суши было бы не пройти. Новгородцы, олонецкие и петербургские крестьяне копошились по пояс в воде. Лишенные необходимейших инструментов и тачек, они рыли землю руками и, вместо мешков, подолами собственных рубах таскали ее на валы. Они были мертвенно бледны, с огромными белыми глазами. Их желтые длинные зубы стучали от холода. Мне стало их страшно жаль, но тут же я понял, что мы с матушкой незримы, хотя сами видим хорошо, иначе как могли бы нас не заметить два парадных кортежа: с левой стороны, в Екатерининской беседке, Екатерина I со штатом своих фрейлин, а с правой — сам великий царь Петр, входящий с приближенными на колокольню послушать игру курантов.

Тому, что я вижу людей, давно уже умерших, я не дивился нимало: ведь они, как и я, были во времени, а время что? Время — фикция.

Царь Петр с придворными сошел вниз и, соединившись на «плясовом месте» с двором Екатерины, шутя с хорошенькой фрейлиной, направил размашистые шаги к домику дедушки русского флота. Когда мы подошли к железной решетке Трубецкого бастиона, вдруг, заломив над бледной головой высоко руки, упала перед матушкой на колени княжна Тараканова. Прекрасная ее нагота была чуть прикрыта драгоценным кружевом и обрывком древнего истлевшего бархата. Матушка положила ей легкую руку на голову, будто игуменья, мимоходом дающая отпуск провинившейся послушнице, и мы прошли далее. Царевич же Алексей, не подходя близко, осторожными шагами крался поодаль. Вобрав в плечи длинную узколобую голову, он недобрыми глазами воззрился нам вслед. Мы шли между Монетным двором и Трубецким бастионом. В глубине дорогу преградили ворота; не знаю как, но мы сквозь них прошли, хотя калитка была заперта. Налево зачернели другие ворота, в Алексеевский равелин. Они открылись сами собой, будто чудовищный рот зевнул. Мы вошли под свод крепостной стены, перешли через канал с черной водой. В треугольном одноэтажном здании горел свет.

Перед последней калиткой вдруг выросли две фигуры. Высокий, в пальто военного врача, бормотал гробовым голосом:

— Я старик, и голова у меня поседела на службе, а я не помню, чтобы отсюда куда-нибудь увозили иначе, как на кладбище или в дом сумасшедших! — еще выкрикнул и отвратительно захохотал.

Бедная матушка как бы в отчаянии закрыла руками лицо, но я, обнадеживая ее, сказал:

— Это нас не касается, это слова грубого, недостойного своего человеколюбивого звания врача, некоего Вильмса, тюремного доктора, жестокие слова, брошенные им некогда народовольцам.

Вероятно, как в Дантовых адских кругах, здесь каждый таким, как он есть, застывает в своем преступлении.

— Пришли — так входите! — яростно крикнул нам другой омерзительный призрак и, подняв тяжелую руку, как будто для удара, вдруг опустив ее, быстро зашевелил короткими, словно обрубленными пальцами. Глаза его, бутылочного тусклого цвета, навыкате, не мигая, смотрели на нас, как глаза гнусного пресмыкающегося. Они застыли с выражением тупой и холодной жестокости.

— Соколов, — узнал я тюремщика, — ведите нас к Бейдеману!

— Есть пропуск — пущу, нет — самих посажу, — начал было Соколов, но вдруг снизилась с неба, тяжелого, как литая эмаль, голубая луна.

Луна нас покрыла . . . .

. . . .

Едва ноги мои коснулись пола камеры Михаила, моим первым невольным движением было оглянуться, чтобы понять, как мне выйти обратно. Стекла были матовые, и на них лежали черными полосами тени перекладин решетки. Стены были страшно сырые. Они на аршин от пола, казалось, обтянуты были черным бархатом. Я тронул пальцем и раздавил противную чернозеленую плесень.

Налево была огромная изразцовая печь с топкой из коридора, у другой стены — старая деревянная кровать. Около нее на полу кто-то лежал без чувств.

«Михаил», — подумал я и хотел к нему кинуться, но матушка вдруг отдернула меня в угол, отдаленнейший от дверей, и вовремя. Покрышка над глазком поднялась, и кто-то глянул в него. Громыхнул запор, и в сопровождении Соколова и сторожей вошел доктор. Сторожа подняли того, кто лежал, с полу. Лицо его было сине-багровое, шея туго затянута полотенцем, привязанным к спинке кровати. Доктор стал делать искусственное дыхание, сняв петлю с шеи. Изо рта и носа хлынула кровь. Лицо из багрового стало как мел.

Я узнал Михаила. Он так исхудал, что обозначились скулы, а тонкий нос с горбинкой обтянут был желтой кожей покойника. Глаза, не прежние, сверкавшие гордой силой, а глаза затравленного, угасающего в муке, с робкой надеждой смотрели перед собой.

— Я умер? — спросил он. — Значит, мне удалось?

— Удалось сойти с ума! — ответил грубо доктор. — Отобрать у него полотенце и простыни, чтобы он снова не вздумал...

Сторожа сдернули простыни, Михаил привстал. Глаза его бешено засверкали; казалось, что сейчас он выкинет чрезвычайное... В этот миг матушка, протянув ему обе руки, двинулась к нему из угла.

— Матушка, наконец-то! — и Михаил, не в силах сдержать радость, несмотря на присутствие сторожа, зарыдал, как дитя.

— И без смирительной рубахи засмирел, ишь плачет... — сказал сторож.

— Ослабел, ночь обойдется без буйства, — решил врач и вышел, сопровождаемый сторожами, уносившими простыни и полотенце.

Опять загремел запор запираемой двери. Отвратительная светильня, распуская страшный чад, слабо озаряла изможденное, бессильное тело распростертого на грязном соломенном матраце.

Горели безумные глаза, слезы текли по бескровным щекам, и слышался лепет частый и однообразный, как маятник:

— Матушка, выведи меня, матушка, я погибаю...

. . . .

— Сергей Петрович, что это ты? Никак сонный пишешь, — потряс меня за плечи Иван Потапыч. — Чайку выпей.

Я очнулся. Тихо у нас. Девочки уже спят. Выпил с Потапычем чаю. Потапыч полез на диван. А я, когда все уснут, стелюсь на полу.

— Электричество не забудь, — говорит мне Потапыч, — оно с улицы видать, неравно донесут управдому-то, нас и выключат.

Задернул окно старым ковром. Перечел я написанное. Спросят: что правда, а что мне привиделось? А пусть раньше определит мне любопытствующий сам: что считать надо правдой? То ли, что случается с человеком, не бороздя ему душу и малейшею бороздою, или то, что он, едва лишь помыслит случившимся, запоминает навеки как самонужнейшую, как светлую правду?

Или правда лишь то, что можно ощупать? Извольте: такою правдою был толстый серый конверт с письмом матушки Михаила к Ларисе Полыновой, на которую была надежда, что довершит она дело с просьбой к царю.

А чернобородый верзила, рекомендовавшийся Врубелем, пожалуй, мечтание. Но, как известно, мечтанием открыта Америка, да не одна она...

ГЛАВА II

Козий бог

Я давно не писал. Отбывал Михаиловы муки. Был одет камнем, как Трубецкой бастион. Во мне были камеры, и сам я был в камере заключен. А Иван Потапыч денно и нощно кричал:

— Не смей лазать в шкап, отвезу в сумасшедший.

Надоел как попугай, до того, что сегодня я опять стал во времени, надел маску и взялся за перо. Люди пугаются больше всего, когда отменяется время...

К Ивану Потапычу сегодня пришел доктор, говорил со мной, но я безмолвствовал. Доктор говорил Ивану Потапычу, что сейчас замечается новое помешательство в связи с перестановкой часов. Людям вдруг страшно, будто последнего кита выдернули. Какую-то Агафью Матвеевну свезли на днях в тихое отделение. Есть-пить перестала.

— Почему именно, — говорит, — я знаю, куда пища и питье пойдут дальше! Сейчас ничему нельзя верить — уж ежели и часы фальшивят.

А про себя вот что заметил: когда смешиваются у меня в памяти сроки, когда сквозным ощущаю непроницаемое, то, выйдя из камеры Михаила, ну, хотя бы на прогулку в треугольном садике равелина, я не хожу уже, как все люди, а подлетываю.

С каждым днем все лучше, все выше. Почти как тяжелый мякинный воробей, могу вспорхнуть уже на печку.

Вот своего лёта боюсь.

Иван Потапыч сейчас сознательный человек, ни живой, ни мертвой церкви не признает, а неблаголепия не спустит. Вдруг на печке в моем-то возрасте... и вообще, как ему после этого перед знакомыми быть? Но уходить раньше срока мне из дома не хочется: остается опять признать балласт дней и месяцев и осесть в плоскодонное.

Иван Потапыч верно отметил: перо и чернила меня, как няньки, ведут по гладкому... Ну, а уж я поведу свою повесть далее...

Я только ранней весной мог выполнить поручение матушки. Получив опять краткий отпуск, нигде не задерживаясь, я мчался в Ялту на поиски Ларисы Полыновой. Серый толстый конверт был у меня на груди. Я нашел дачу ее без труда. Ларису знал весь город. Почему-то я ожидал нечто вроде идейной девицы, стриженой и для меня не интересной, но оказалось наоборот...

Золотой дождь и густорозовые цветы иудина дерева, как сейчас вижу, покрывали все склоны гор могучим расцветом, так что закаты казались потухшими. Все, что таилось в природе красок, было вызвано к жизни этим буйным цветением земли. Темный блестящий плющ, как змей, оползал вокруг огромных камней, а гроздья нежных глициний лиловели на его твердых листах. Кругом горели розы — оранжево-розовые, как внутренность больших раковин Средиземного моря, и пурпурные, и белые. Розы гордо качались в садах, взбегали на крыши, свисали над открытыми окнами, ткали на белых стенах нежнейших нюансов гобелены.

Весь город был корзиною роз. В общественных парках, по главным аллеям, высоко вознесенные на поперечных шестах, с восходом солнца уже сверкали они брильянтами еще не испарившейся росы и поили воздух запахом свежего чая. Две ночи я не спал, а бродил по горам, как безумец. Наконец мне показалось глупым не понимать того, что со мной случилось, и я понял.

Едва я увидел Ларису, я в нее влюбился. И если у нее был роман с Михаилом, то будет и со мной. Если с Михаилом были одни разговоры и лунная ночь, то же будет и со мной.

Какое взаимоотношение между этими условиями? Спросят — не умею объяснить, но угадано было верно.

Узнать окончательно и самое тайное про человека можно, только сойдясь в той же мере близости, в какой бывал он с од-

ним из выбранных им себе дополнений. Это одинаково по отношению к мужчинам и к женщинам.

Через Ларису мне откроется, почему от личной любви бежал Михаил. На каком горне судьбы ковалась его революционная воля? Ведь из одних глубоко личных причин куются даже достоинства и недостатки, ставшие достоянием человечества...

Но мне было не до философий. В краткосрочный отпуск, с лапидарностью древних времен, надлежало мне: прийти, увидеть, победить.

И, хотя Лариса Полынова была молодая вдова с репутацией доступной ялтинской дамы, я был немало смущен и далеко в себе не уверен. За городом, у подножия гор, вблизи старинной крепости генуэзцев, у нее была своя дачка. Лариса была богата и, не считаясь с общественным мнением, жила по тем временам с поражавшей всех независимостью. Спервоначала я принял ее за прислугу, когда, подъехав верхом к ее даче, указанной мне первым встречным, я спрыгнул с коня и, не зная, где его привязать, обратился с вопросом к девушке, обвязанной по-украински платочком, в вышитой белой рубахе и темной юбке, возившейся с лейкой у гряд:

— Куда, милая, деть мне коня, и где ваша барыня, госпожа Полынова?

— Коня привяжите к забору, здесь воров нет, а барыня я, точно, себе сама и есть.

И она засмеялась, освещая улыбкой лицо, такое необычайное, что я не понял, красиво оно или нет.

— Я — Лариса Полынова, войдите.

Дом был непохож на обычную дачную игрушку; выстроенный из красивого кирпича в стиле английского коттеджа, он был прост и удобен. В библиотечных шкафах много книг.

Горничная, подтянутая на петербургский манер, принесла мне кофе. Хозяйка, ничуть не меняя костюма, только вымыла руки, которые были в земле, вошла вслед за мной и спросила меня с прелестной естественностью:

— Вы ко мне от кого-нибудь с поручением?

— Вы угадали: я привез вам письмо.

Я вдруг почувствовал самолюбивое раздражение, которое испытывает мужчина от совершенной натуральности красивой женщины, которая позволяет себе в его присутствии продолжать свою жизнь, не вводя в нее ни малейшего волнения, которое — бессознательно считает он — должно бы было в ней вызвать его появление... Она же проходит сквозь вас, как сквозь пустое пространство.

Лариса смотрела на меня спокойно своими серыми, по-калмыцки приподнятыми глазами. Черты лица были некрупны, приятны, кожа ослепительно бела, и темнорыжие волосы, с кото-

рых снят был платок, словно пронизанные солнцем, задержали в себе его блеск. Они, как у девушки, ниспадали до колен пышно густой косой. Поражала она и фигурой, подобной Тициановой Магдалине, крупной, здоровой, с выражением свободы и покоя в каждом движении.

И вдруг мне стало приятно разбить этот покой, сказав ей прямо в упор, подавая письмо:

— Вот вам от покойной матушки Михаила Бейдемана с мольбой взять на себя хлопотать об ее несчастном сыне. Он четвертый год как томится в каземате.

Лариса не изменилась в лице и продолжала с тем же спокойствием ждать, что я скажу ей еще.

Я подумал, что она не поняла моей речи, и воскликнул:

— Письмо от матери Бейдемана! Вы не можете не помнить ее сына, ведь вы же любили его...

У нее дрогнули брови, медлительно она покраснела, взяла письмо из моих рук, стала прямая и важная, позвонила. Вошла петербургская горничная, приносившая мне кофе, к которому я не поспел и притронуться.

— Маша, вы отвяжете коня от забора и покажете поручику, как короче проехать в город.

И, не дав мне выговорить что-либо, чуть склонив голову, ушла с письмом в свою комнату. Я же глупо пошел вслед за горничной.

ЕЩЕ ВТОРАЯ ГЛАВА

Я бродил по горам, не находя себе места. Все мной пережитое: безнадежная любовь к Вере, влечение дружбы и ненависть к Михаилу казались мне занимательной, но уже прочитанной книгой. Впервые сейчас я понял, что молод, что передо мной — вся жизнь неизведанных собственных радостей и своих страданий. Для чего, в самом деле, как отжившему и бесстрастному старику, мне жить не своей, а чужой судьбой?

Мое обещание матери Михаила было исполнено. Я письмо передал. Но женщина, интересная мне доселе лишь как разгадка чуждой мне психологии друга, внезапно стала завлекательной сама по себе. И вот бестактным напоминанием о бывшей любви я сразу испортил отношения с ней и был ею изгнан из дома. Впрочем, не этим ли меня раздражавшим поступком воспламенила она все сложные взрывчатые вещества, из которых образуется страсть?

Все мои прогулки, откуда бы я их ни начал с утра, приводили к вечеру к одному и тому же месту — развалинам Генуэзской крепости. Дня два окна в доме были закрыты, ее не было.

Но вот все окна открылись, на рояле играли Шопена. Играли прескверно: с задержкой, с шумливой страстью. Я, помню, обрадовался, подумав: «Если это она, я тотчас ее разлюблю и буду снова свободен». Но играла не она. Ее, как и первый раз, я опять не узнал, хотя, когда она мне сказала, смеясь: «Здравствуйте!» — оказалось, что стояла она совсем близко на камнях. На ней были татарские шаровары и куртка, в руке альпийская палка и кожаный саквояж. Она, как будто между нами не вышло ничего неприятного, смотрела приветливо на меня.

— Куда вы идете? — осмелился я.

— Я иду к старому чабану, моему приятелю, несу ему разного зелья. У нас уговор: я хожу к нему каждое лето.

Я не знаю, как мог ей сказать:

— Возьмите меня с собой!

Она чуть подумала, медленно обмерила меня взглядом и сказала:

— Ну, хорошо, с одним условием: вы будете всю дорогу молчать. Я терпеть не могу с болтовней ходить в горы.

— Я стану глухонемым, — обещался я.

— Довольно только немым до козьей сторожки, там вы можете говорить.

Я взял у нее из рук чемоданчик, и мы пошли.

Сначала тропинка была некрутая. Справа синее море, слева цеплялся за ноги кривой кизил, цвели ломонос и шиповник... Серые скалы были навалены друг на друга, будто с силой брошены великанами из-за главного хребта огромной крутой горы, похожей на верблюда, поджавшего ноги. Растения встречались с душистыми листьями, и серебряной пылью подернуты были цветы из семьи эдельвейсов. Гора, похожая на верблюда, поросла небольшими колченогими соснами.

И сейчас вижу я, как странно они закрутились много раз вокруг своих же стволов, с облупленной вовсе корой, совсем серолиловые.

Иные, горбылями изогнув всю середину, будто червь-землемер, вершиной уперлись в камни, разметывая по скалам и шишки и темные ветви. Меня эти перекрученные жилистые сосны наполнили романтической грезой, и, памятуя Дантову песню, которую, по настоянию тетушки, графини Кушиной, я хорошо изучил и очень любил, как дающую воображению пищу, я, забыв обещание немоты, вдруг воскликнул, указывая Ларисе на горбыли сосны:

— Это — непокорные калеки адского круга, это — закрепленные в дереве души самоубийц!

— Ну вот, начинаете, — с непритворной досадой, как просыпаясь от сладкого сна, сказала Лариса. — Бросьте книжки из го-

ловы, да и мысли впридачу. Вы здесь ничего не поймете, если будете думать... Или хоть мне не мешайте.

— Простите, я не буду, — сказал я, — я люблю сам природу...

Я знал, что сказал глупо, но мне было все равно. Я вдруг перестал чувствовать близко Ларису. Пропала острота ее существа. Мне теперь только казалось, что я ее знаю бесконечно давно, что мы родные, что мы возвращаемся вместе, как дети, на родину.

Мы шли без конца. Под самым верхним хребтом гóры, как зàмки зубцами своих бойниц, вырезывали легкое синее небо. Между бойницами окаменелые залегли навеки какие-то чудные ящеры и драконы. С самого верха скакали вниз по камням, будто мальчишки, разогнавшись в лошадки, веселые буйные ручейки. Было и освежающе и знойно. И чудилось, когда вошли мы в глубокое изумрудно-сумеречное ущелье, что это — вход в жизненную грудь земли. Мы присели на скалу, и, охваченный духовитостью трав, я сказал:

— О, если б обратно в мать-землю, в ее темные недра, и не думать, не знать и не чувствовать...

— Это на вас действует козий бог, — сказала Лариса, — тут все его... Но молчите, молчите.

Лариса сидела тяжелая. Лицо ее со странно застывшей улыбкой было как лица архаических статуй, чьи изображения меня так особенно волновали в музее. Сама богиня земли была предо мной, и от нее шла ко мне сила, текущая, ровная, как полуденный зной.

— Идем выше, — сказала она, встала и опять пошла безмолвно вперед. Я за ней.

Куда мы сейчас забрались, казалось, еще не ступала нога человека. Великолепие цветущей травы, диких ирисов и гвоздики не было примято и дыханием ветерка. Солнце слабело. Все быстрей шел таинственный обмен красок между небом и соснами. Густые сосны жадно вбирали в себя синий покров и одевались им, как венчальной фатой.

— Вот и козья сторожка, — сказала Лариса, — я вам возвращаю дар слова.

ВСЕ ЕЩЕ ВТОРАЯ ГЛАВА

Заметка о дюжине и об единице

Только сейчас, через полвека, когда черный Врубель объяснил самое нужное для всех людей, я понял всю бессмыслицу, которая случилась со мной в козьей сторожке. Для всякого — два выхода, только два, все прочее — обстоятельства второстепенные.

Вот слушайте: есть древняя мелкоглавая церковь вблизи сумасшедшего дома, где впервые сидел черный Врубель, объявив за литургией, что в этой церкви хозяин он, ибо сам же ее расписал. Было митрополичье служение, а он, столкнув с амвона владыку, встал на его место сам. Но ведь это чистая правда, что наверху, на коробовом своде хор, есть его картина — откровение всем. Он учил меня, как ее надо смотреть, чтобы вышло...

К заходу солнца по лестничке скоро взбежать, озираясь в пролеты сквозь узкое оконце, чтобы поспеть назад во-время. Вдруг зажмуриться и вдруг глянуть на безбородого молодого пророка, на того, у кого уже глаза демона... Он готов к полету, как тот, кто разбился в падении, развеяв о скалы павлинье перо.

Над пророком двенадцать. Сидят плотно, твердо оперев две босые ноги на квадраты ковра. Сидят на деревянной скамье, огибающей внутренний купол. Кисти рук исполнены дивной жизни: лежат ли на коленях, как у старого справа, прижаты ли к груди или чуть воздеты.

Руки и ноги держат тела. Не будь их яростной силы, тела бесновато закорчились бы на квадратном полу.

Черный Врубель держал предо мною большую фототипию с той картины и раскрывал мне ее тайный смысл под гогот непосвященных. Он делал руками поочередно, как каждый из двенадцати.

— Люди думают, им нет числа. Им число есть. Двенадцать. И все, как солдаты по роду оружия, по этим вехам: Петровы выхватят меч; Иоанновы, безмолвствуя, знают; от Фомы не устают влагать перст. Все, что рассеяно мелочами во всех, отстоялось в двенадцати. Найди своего, встань, как он. Руки легонько сложи, чтобы их не знать, глаза закрой, и вся сила в точку: стой, солнце!..

Оно ударит последним лучом на картину, нестерпимый свет заструится... двести тысяч свечей. Хе-хе... Электрификация центров. А вы думали? Невинный образ на стене для молящихся? И это кто? Такой-то художник, как Врубель. Чтобы вам всласть плакать и каяться... да, чорта с два! Завуалировано от дураков. И под покровом Изиды одному показалось ведь пусто...

А в газете читали? Отличнейшая передовица; я выписал слово в слово:

«Мы стоим у порога разрешения задачи передачи на расстояние энергии без проводов».

Так вот-с: некая энергия без проводов может заструиться на каждого, как там, на стенке, желтым лучом, с утолщением в виде шелковичного кокона... А наивно обнесенные вокруг голов венчики — фиговый лист. Ибо можно увидеть, можно услышать, можно узнать, чего обычно не знают! Но вывод делает каждый сам: расточить себя, как двенадцать, или собрать себя, как один.

Мы держали в руках фототипию, пока не стало заходить солнце. Пора.

Вдруг, глянув в окно, шепнул черный Врубель:

— Последний луч принять в себя, им, как багром, зацепить солнце, солнцу не дать зайти. Остановим солнце для мировой электри-фи-ка-ции! Всем, всем, всем!

Художник вскочил на кровать и залаял; я, помнится, ему лаял вслед, считая лай заклинаньем. Но кругом нас завыли. Увы! — опыт был опять преждевременный. Солнце зашло.

— Опыт с солнцем отменяется, — кричал в коридорах художник, когда нас обоих влекли в буйную.

Вот тогда-то, повернувшись ко мне, он и решил:

— Сперва единичный пример, мы призваны оба, оба!

И, подняв два указательных костлявых пальца кверху, он крикнул на весь коридор:

— Две единицы!

А в козьей сторожке, под властью козьего бога, я было сбился в числе. Единица — захотел подешевле прожить, стать из двенадцати, включиться в двенадцать.

Козий бог — страшный путаник.

ЕГО КАПИЩЕ

Мне Лариса сказала:

— Вы любите чувствовать по книжке, как давеча с кручеными стволами; так я же вам покажу...

Она взяла меня за руку и повела к каким-то постройкам циклопов.

Огромные белые камни навалены друг на друга. Каменным поясом-стеной охватили черный утоптанный круг. Посредине три жбана. На жбанах чабаны. Свисают с боков шаровары в густых, словно кожаных сборах. На бронзовых лицах этих людей, все лето живущих в горах, покой окружающей природы. Но вот они запели гортанно, чуть-чуть качаясь. У них была та же улыбка древних бездумных предков, что на лице у Ларисы.

— Песнь козьему богу, — шепнула она. — Они просят обильного удоя.

Перед узенькой дверцей толпились несметные козы, рвались доиться. Девичьи большие глаза полны крупных слез, бородки трясутся от мемеканья, громадное вымя напряглось и торчало. Татарин, низавший на толстую нитку бараньи шкурки для просушки, вдруг гикнул разбойничьим гиком и поднял заслон у ограды. Козы втиснулись, чабаны рванулись со жбанов, схватили коз за хвосты, развели им тонкие розоватые ножки, посадили перед собою. Черными цепкими пальцами дернули за сосцы, будто пробуя инструмент, и вдруг, стиснув вымя, по горному

обычаю, вытиснули из него разом все молоко. Подоенную козу татарин хлопал по пыльному заду, сгонял и сажал пред собой другую. Удой был обильный, все козы здоровы. Чабаны пели хвалебные песни козьему богу.

Козы перекликались человеческими голосами, смотрели девичьим кротким взором, а люди с улыбкой древнего предка, с глазами без мысли пели песнь козьему богу.

Я припал головою к камню. Он был как колени матери. Надо мною ласковым звездным покровом держалось небо. Кругом горы: каждая в собственной думе, с окаменелыми замками, зверями и бойницами стерегла, охраняла пастбища козьего бога и густые отары овец.

Вдруг Лариса взяла меня за руку, провела за камни и, подведя к обрыву, отвесно возникавшему с глубокого дна ущелья, сказала:

— Бросьте вниз камень!

Я бросил. Лишь через долгий миг глухой звук мне отметил падение.

— Вот в этом месте чуть было однажды не совершилось кровавой жертвы козьему богу, — сказала Лариса, — но козий бог крови не любит. Старый чабан-ведун поспел во-время: только он да козы умеют ходить по откосу. На мое счастье, он поспел вовремя...

— Почему на ваше? Разве жертвой были вы?

— Да, меня бросил сюда в припадке дьявольской гордости тот, кто меня побоялся любить...

— Михаил Бейдеман! — со злобой окончил я, и вдруг, полный мести к нему за отнятую любовь Веры и сейчас за возникшую тень его между мною и новой любовью, я сказал в бешенстве:

— Так знайте ж, каков он! Он такой же звездной ночью другой женщине, которую любить не боялся, рассказал про этот случай с вами...

Лариса молчала. Стало очень темно. Я не видел ее лица, но я знал ее рядом: тяжелую, плотную, со страшным каменным лицом.

Когда она заговорила, как всегда, ее голос был прост и ровен.

— А как вы-то узнали о том, что ваш друг говорит, оставшись вдвоем? Вы подслушали?

Моего лица не было видно, и я сказал ей ли, себе ли — не знаю. Я был как пьяный, я сам будто летел по отвесному обрыву на дно глубокого ущелья. И слова мои были — как отзвук падения.

— Да, да... Я подслушивал... Я любил безнадежно ту женщину, которая любит его.

— Почему же в прошедшем? И сейчас ее любите?

— Сейчас я люблю только вас, только вас...

— А... — сказала Лариса. — И вы позабудете, что вы его друг? И позабудете, зачем вы меня разыскали?

— Я передал поручение, — сказал я, — и какое мне дело... У меня своя жизнь!

— Здесь козий бог, здесь козья жизнь. — Лариса тихо засмеялась. — Это он, Михаил, так называл нашу любовь: козья. А меня — жрицею козьего бога. Что же: пусть так и будет. Так он про меня рассказал?

— Имени он не называл. Он сказал, что это было в Крыму.

— А если бы она спросила, он бы имя назвал?

— Они соединялись навеки. Он бы имя назвал...

— А... — протянула снова Лариса и безмолвно, взяв меня под руку, повела.

Перед козьей сторожкой, сложенной из камней, с холщовым верхом, стоял необыкновенный старик.

Он был невысок, совсем голый, в ярких лохмотьях вокруг пояса. На длинных седых волосах по самые брови надвинута полосатая шапка. За спиной желтая тыква паломника. Безусый, безбородый, он походил на жреца. Улыбнулся Ларисе; не поздоровались, а хлопнули друг друга по рукам. Лариса передала чемоданчик.

Вдруг подскочил татарчонок, что-то прокричал, и два чабана, доившие коз, положили к ногам старика внезапно заболевшего козла.

Старик тотчас присел на корточки, замурлыкал протяжную песнь и, вынув из-за пазухи кривой нож, подставил его луне. Луна, дымная и неполная, выходила из-за облаков. Как белые бельма, тускнели закатившиеся глаза больного козла. Старик прищурился, скрипнул зубами, полоснул козла около живота. Хлынула черная гадкая кровь. Он прихватил цепкими пальцами, как крючками, разверстую рану, придержал ее недолго и вдруг, дернув козла за рога, поставил его на ноги. Козел, шатаясь, пошел к стаду. Стадо шарахнулось от него, чего-то испугавшись.

Чабаны, гортанно гикая, стали щелкать бичами.

Старик подошел к нам, остро глянул на меня, тронул черной рукой. Проговорил что-то ласково Ларисе, указав на сторожку.

Лариса, побледневшая под луной, с каким-то новым, помолодевшим лицом сказала мне:

— Дед уводит стадо на ту сторону, а нам дает свою сторожку.

Многоглазый небесный покров, ужас стада, темная власть старика, кругом немая, плодородная земля.

— Идемте же в козью сторожку, к козьему богу!

И я сказал:

— Я пойду, куда поведете...

В большой холщовой палатке, обложенной снизу дерном, было душно и совершенно темно. На земле на душистом горном сене разостланы козьи шкуры, они же развешаны были вдоль и поперек. Несло острым потом, козьим молоком, кожей, сыром, прокисшим вином.

Усевшись в шелковистую шерсть, мы словно попали в отару овец.

И мы целовались, не видя друг друга.

Перед рассветом я, должно быть, заснул. Когда, открывая глаза, я почуял на лице своем солнечный луч, мысли мои прояснились, и я вдруг пришел в ужас, что сейчас увижу Ларису.

Но тут же по ощущению той физической свободы, которой ее присутствие меня всегда лишало, я мгновенно понял, что ее больше нет в палатке.

Эта мысль неожиданно меня наполнила беспокойством. Я вскочил — ее не было. Я выбежал наружу: солнце едва взошло. Горы, как умытые, стояли в нежноголубых тенях.

Полное безмолвие. Стадо с пастухом ушло до восхода. Я крикнул:

— Лариса!

Откуда-то снизу, быть может из того же ущелья, куда ее столкнул Михаил, мне ответило твердое, неприятное, как попугай, эхо.

Я сел на камень и заплакал. Мне казалось: я себя потерял безвозвратно.

Старый чабан вырос откуда-то из кустов. Он мне знаками объяснил, что Лариса ушла. Своей узловатой палкой он указал мне подробно дорогу.

Я стремительно кинулся по тому же пути, где мы подымались вчера. Я, спотыкаясь, топтал огромные шишки с пахучей прозрачной смолой, и опять мелькали по краю обрыва серебристые сосны с перекрученным голым стволом. Опять в бархатистых складках зеленых долин между гор белели отары овец. Сейчас я не видел красот, мне все было — лишь вехи в пути. Мне надо было только одно: скорей ее видеть, заставить ее отвечать.

За минуту боявшийся ее присутствия, я сейчас был в бешенстве от одной мысли, как смела она убежать. Ее коварство походило на издевательство.

У водопада я услыхал голоса: девица и некто плотного вида, с золотой цепью, похоже — инженер. Он говорил галантно девице, покачивая тросточкой над разбитым в ручейки водопадом:

— Не правда ль, водопад этот — страсть: она свободная мчит, закусив удила, а разбитая исходит потоком слез...

Не задумываясь, не колеблясь, как был, запыленный, в колючках и белом пуху ломоноса, с небритым лицом, я вошел в дом к Ларисе.

— Барыня занята, — ответила мне петербургская горничная, и, как почудилось, с дерзкой усмешкой.

— Мне должно быть исключение, я вечером еду, и мне нужен ответ в Петербург.

Горничная пожала плечами, но через минуту пришла:

— Посидите в кабинете, пока барыня кончит работу.

Я прошел в кабинет и сел на диван. Из соседней комнаты, должно быть будуара Ларисы, дверь была полурастворена. Слышен был стук молотка, какое-то противное дребезжание.

— Барыня выстукивает себе камин, — пояснила горничная и исчезла.

Я видел с дивана белый утренний пеньюар Ларисы. Лицо было скрыто. Конечно, она знала, что я вошел. Она продолжала свою неприятную работу. Перед ней лежала полоска железа, и по узору, наставляя разной величины долотца, она сверху ударяла молотком.

Противный, раздражающий звук царапал нервы.

Я не выдержал, шагнул в полуоткрытую дверь и схватил Ларису за руку с молотком:

— Вы можете кончить потом, у меня есть дело...

— Дело? — Она усмехнулась. — Если упреки, то оставьте их при себе.

— Я желаю спросить не о себе.

Я осекся. Мои глаза уперлись в большой портрет на стене. Это была знакомая мне увеличенная карточка Михаила юнкером. Огненные глаза его вопросительным укором глянули на меня.

Я сухо спросил Ларису:

— Какой же ответ мне свезти в Петербург? Когда начнете вы хлопотать?

— Я хлопот никаких не начну.

Лариса теперь не стучала, но делала вид, что выбирает узор из кучи наваленных на столе.

— Вы мне сами сказали, что у Бейдемана осталась невеста. Пусть она и хлопочет.

Презрение меня охватило:

— Низкая женская злоба... Но никто ведь не добьется того, чего добиться можете вы, если верить слухам.

Она подняла глаза:

— Договаривайте здешнюю сплетню, тем более что она — правда.

— Правда, что вы были близки с великим князем?

— В той же мере, как с вами, если вы это называете близостью.

Эта женщина, влекущая к себе безглазой, тяжелой земляной силой, была мне сейчас отвратительна. Я видел перед собой одно лицо друга и — увы! — с поздним жаром стал умолять

ее взяться за хлопоты. Не помню, что я говорил, но я нашел краски изобразить его жестокую участь в противоположность ее годам свободы и праздных капризов.

— Только подумайте: он сидит в бес-сроч-ном одиночном заключении!

Ни стыда, ни смущения не было на лице ее, когда с непонятной мне горечью вдруг она прервала мое жалкое красноречие.

— Кто знает сроки? — сказала она. — Быть может, я завтра умру и больше не буду ничем наслаждаться. Но хлопотать за свободу того, кто был враждебен той земной жизни, которую я люблю, я не стану.

Дрожа от негодования и ненависти, я сказал:

— Не правда ль, предел этой жизни — лишь козья сторожка...

— Где я вам подобных обращаю в козлов? — с невыразимым презрением оборвала Лариса.

Я поклонился и пошел к дверям.

— Подождите, — вскрикнула она и встала во весь рост.

— Запомните на всю жизнь, ведь больше мы не увидимся. Запомните: это вы разбудили во мне обиду и злейшие силы мои. А у меня нет, во имя чего с ними бороться. У козьей жрицы — козий бог. Еще запомните, что в ваших руках было иное: вы могли соединить две наших воли только в заботе о друге. Если б вы были ему верны, и я б оказалась иной. Но вы мне предали Бейдемана. Будьте же вы прокляты, как и я!

Я уехал из Ялты. Последнюю неделю отпуска я пробыл в Севастополе. В ресторане у моря я слышал, как пришедший с пароходом капитан рассказывал о том, что все в Ялте взволнованы происшествием в горах.

— Я держал пари, что эта Лариса Полынова плохо кончит!

— Эксцентричных женщин всегда убивают, если они не догадываются убить себя раньше сами, — сказала ближняя дама.

— Я подозреваю, тут не без романа с татарами, — вставила дальняя.

— Нет, нет! — защищал капитан. — Хотя ее действительно принесли с гор татары, но это простые, хорошие люди, всем известные пастухи, из которых главный, старик — приятель Ларисы, рыдал, как ребенок. Он рассказал, что она, принеся ему, как всегда, запас нужных лекарств, подарила на память часы. Он показал расписку ее, где написано, что дарит в полной памяти и здравом уме такому-то в знак многолетней дружбы. Умнейшая барыня все обдумала: распоряжение насчет имущества написано отцу Герасиму заказным по почте, просит в смерти своей никого не винить... Татары говорят: она отбежала на край отвесной скалы и у всех на глазах застрелилась, они же ее вытащили с опасностью для жизни и принесли домой на руках. Хотя эти

татары все же арестованы, но по следствию их, разумеется, оправдают.

— Уж какой-нибудь виновник да есть, — сказала ближняя дама и случайно глянула в мою сторону.

«Да, я виновник», — подумал я, но вслух сказал, как обычно, лакею:

— Подайте мне счет!

Я пошел далеко по камням туда, где узкая коса клинком врезалась в море.

Я помню: вырезным и бумажным мне показался огромный диск луны, и отражение ее отвратительно. Все было кругом как захватанный и пошловатенький лунный ландшафт над красным бархатным гарнитуром гостиной в провинции. Большая душевная мука выветривала жизнь и красоту из самой природы. Вдруг я ощутил с новой силой, отделяющей меня от всего живого, свое клеймо древнего Каина — мой новый позор предателя.

Да, никем не изобличаемый, как мерзостный хитрый гад, сокрывший себя между трав уподоблением их окраске, предатель угнездился в бессознательных недрах моего существа.

Ибо я предавал людей, не желая предать.

ГЛАВА III

Глиняный петушок

Когда, уезжая в Крым, я сказал Вере о письме матушки к Ларисе Полыновой, Вера, нахмурив брови, ответила:

— Такие женщины самоотверженно не помогают.

Она уже не верила в возможность освобождения Михаила и все силы свои и надежды направила на деятельность революционную. Только от нее в зависимости ставила она разрешение вечных узников от уз.

У Линученка, с которым Вера жила, умерла жена на хуторе, он поехал ее хоронить. Квартира Веры была теперь осаждаема откуда-то набравшейся молодежью. То заседали кружки взаимопомощи по доставлению средств образования, то составлялась библиотека запрещенных книг, то типографию приносили прятать. От меня она попрежнему ничего не скрывала, и я терзался от мысли, что кто-нибудь донесет и ее постигнет ужасная участь. Наконец, когда я стал ее умолять быть осторожной, она сказала, глядя пустыми отчаянными глазами (такой точно взор был у Ларисы, когда она меня прокляла):

— Ради чего беречь мне себя? Хоть малую пользу делу, а значит и Михаилу, принести может только моя гибель. Без него я — рядовой боец и погибну в начале или в конце — дело случая.

Сейчас для революции одно важно, чтобы правительство знало нашу непримиримость до смерти.

Но я всеми силами стал вливать в Веру надежду на освобождение Михаила через Ларису Полынову, рассказав ей, что, по наведенным справкам, эта женщина действительно близка к одному из великих князей. Я обещал, что найду слова убеждения, способные растопить камень...

Мне удалось повлиять на Веру, и она мне дала обещание, что до моего возвращения не примет участия в рискованном деле. Больше даже: она решила поступить на фельдшерские курсы и отдаться всецело занятиям.

И вот сейчас я ехал из Севастополя в Петербург, как негодяй, которому доверили последнюю ценность, необходимую для жизни, а он расточил ее на свою прихоть.

В Петербурге меня ждало новое испытание.

Как в романах Дюма события нарочно нагромождаются в особенно важных главах, так и в эпилоге моей жизни одно за одним пошли необычайные приключения.

Впрочем, именно такое неправдоподобие обличает порой самую правдоподобную действительность так же реально, как чудища из облаков на невероятно окрашенном фоне, вырывающие у зрителя восклицание: «Если б художник нарисовал, ему бы никто не поверил!»

Едва вошел я прямо с вокзала к Вере, в небольшую ее комнатку на Васильевском острове, как вместе со мной протянул руку к звонку некто высокого роста, в башлыке, обмотанном вокруг шеи. Он отдернул руку, уступив мне звонок. В комнате было сизо от дыма, на полу окурки, на диване и сундуке тесно сидели незнакомые люди. Председательствовал Линученко, вернувшийся с хутора. Лица все новые, молодые.

Только одного блондина, угрюмо забившегося в угол, я признал тотчас же. Лицо его было знаменательно, и я, еще в первый раз видя его, очень отметил. Вера почему-то именно его мне упорно не хотела назвать.

Сейчас, едва я вошел в комнату, Вера кинулась ко мне, схватила за руку и шепнула:

— Она согласилась?

Как заводной истукан, я ей ответил:

— Она внезапно скончалась, я в живых ее не застал.

Вера еще смотрела, не понимая смысла моих слов, как вошедший за мной, подойдя к Линученку, протянул ему руку и назвал себя. Тот радостно его обнял и громко объявил:

— Товарищи, поздравьте. Счастливый выходец из казематного ада. Ну, дружище, с какими вестями? Здесь все свои.

— Прежде всего поручение. Один из наших, выйдя из еще худшего места, чем я... из Алексеевского равелина, дал мне для

передачи родным и друзьям Бейдемана записку. Он сидел полгода рядом с несчастным. Тот простукал ему и взял клятву о доставке домой. Мне сказали, что здесь...

— Здесь! — воскликнула Вера. Она протянула руку и застыла, как на миг застывает мать, у которой на глазах тонет дитя.

Линученко прочел вслух записку:

«Умоляю, хлопочите об освобождении. Надвигается безумие. Пусть сошлют в солдаты, на каторгу... Пусть казнят... Все, все лучше, чем это».

— При первом приступе безумия он пытался повеситься, но неудачно. У него отобрали полотенце и простыни, — сказал пришедший. — Это было осенью шестьдесят третьего года.

— Да, двенадцатого августа тысяча восемьсот шестьдесят третьего года! — воскликнул я. — Да, это было в день смерти его матери!..

Меня словно вихрем рвануло куда-то, и я без чувств грохнулся на пол. Это понято было всеми только как законная скорбь о друге, но на самом деле это был еще и обратный удар того потрясения, которое испытал я в этот день, уйдя вместе с матушкой в мое первое воздушное путешествие. Ведь я тогда не был еще обучен черным художником в том, что он зовет «электрификация центра», я еще не мог использовать миг, разрывающий предел и движение по линии, не теряя сознания.

Зато не далее, как сегодня утром, я пустил машину времени ровно на пятьдесят лет назад и, когда девочки и Иван Потапыч ушли в гости, сам вошел в камеру к Михаилу.

Он только что съел свои вечерние ужасные щи, из которых выловил двух тараканов живыми. Он забавлялся тем, что, вылепив из черного хлеба им помещение, искал, куда бы ему их запрятать от зорких глаз ирода Соколова, чтобы сделать потом их ручными. Хотя лицо его было бледно и измождено, как бывает от тяжкой болезни, оно светилось хитрой улыбкой. Увидав меня, он испугался, но, как только узнал, ласково обнял.

Сидя с ним рядом на жестком матраце его нищенского ложа, я рассказал ему не про то, что было в горах, а только про то, что там должно было быть.

Я говорил, что Лариса и Вера подружились, как сестры, оттого, что обе любят его, и о нем завтра же пойдут хлопотать. А сейчас я предложил ему прогуляться в горах.

И, высоко подымая ноги, Михаил стал ходить по камере. Как дитя, он гонялся за бабочкой, рвал цветы, любовался направо восходом, налево луной. Времени не было; все, что вступало в мысль, вдруг делалось жизнью. А когда старый пастух напоил его теплым молоком, пришла Лариса и, обняв его, увела в козью сторожку. Я же не ревновал. Я был рад, что несчастный наш друг нашел хоть минуту забвения.

Когда вечером смотритель Соколов вошел со сторожем, Михаил спал с такой блаженной улыбкой, что даже это грубое животное было тронуто и проявило несвойственную ему заботу, конечно — в соответствующем ему выражении:

— Не будите его; натоптался днем, пускай дрыхнет!

. . . .

Иван Потапыч мне сегодня сказал:

— Это очень похвально, что ты перестал прыгать, как воробей, трепыхая локтями. А нынче окончательно возьмись за ум, прекрати бормотание, сделай милость, — девочек пугаешь. На вот, маракуй себе на бумаге: спокойное дело.

И добрый человек подарил мне стопу чистейшей бумаги, присовокупив пояснение:

— Тебя ради облегчил наверху канцелярию; чай, казенная, нет греха.

Сделаю праздник, попишу на белой бумаге и черновик. К тому же пусть канцелярская эта бумага — хищение Ивана Потапыча, — как действие, лежащее всецело в наших трех измерениях, — удержит мою недавно освобожденную мысль в пределах, приемлемых здешними. Ибо про событие исключительной важности мне сейчас надлежит рассказать. Факты этого события общеизвестны, но кое-что из того, что за фактами, может вскрыть только такой, как я, кому время стало — фикция.

Однако сначала два слова о том, что произошло после записки, так чудесно попавшей из Алексеевского равелина к Вере.

Выписанная эстафетой, приехала сестра Михаила — Виктория, женщина высокая, очень лицом на него похожая, безмолвно твердая. От имени ее составили следующий документ, который ныне напечатан целиком в книге о Михаиле:

«Поручик драгунского Военного Ордена полка, Михаил Степанович Бейдеман, три года тому назад без вести пропавший, оказался содержащимся в С.-Петербургской крепости. Мать его в сентябре 1863 года умерла на пути из Бессарабии в Крым для испрошения у государя императора помилования ее сыну. Сестра заключенного в крепости Бейдемана, Виктория, уверенная в благодушии вашего сиятельства, осмеливается испрашивать единственной милости: дозволить навещать Бейдемана в его заточении».

Записка эта через влиятельного родственника с письмом от другого важного генерала к третьему была доложена самому шефу жандармов князю Долгорукову. Князь написал, что резолюция государя на этот раз и на все будущие попытки сношения с узником одна: о Михаиле Бейдемане правительству ничего не известно.

Пока не пропала последняя тень вновь воскресшей надежды, Вера, оставив свои кружки и даже единственное утешение — ра-

боту в госпитале, как в дни нашей безумной попытки освободить Михаила, опять, словно маньяк, с горящими глазами, безмолвная, с нечеловеческим напряжением воли, хлопотала о доставлении записки Виктории куда следовало. После резолюции, положенной свыше, она, как автомат, которого рука заводящего перевела на другую пружину, стала так же безмолвно и без оглядки работать на дело революции: ходила на какие-то тайные сходки, кого-то осведомляла, кого-то прятала. Ни дождь, ни тьма, ни опасность глухой окраины ей не были препятствием. Она не худела, а просто таяла на глазах. Я сказал Линученку:

— Если ее не остановить, к весне у нее будет скоротечная чахотка.

Линученко горько ответил:

— Если можете — остановите.

Полный невыразимой жалости и вспыхнувшей с силой любви, я искал случая застать Веру одну. Однажды я пришел, когда в квартире не было никого; дверь в ее комнату полуотворена. Я увидел ее в кресле в глубокой задумчивости: исхудавшие руки ее были жалостно вытянуты на коленях, и крепко, по-детски, стиснуты пальцы. По тишине, царившей в комнате, как и во всем доме, я решил, что у Веры нет никого, и, войдя быстро, вдруг неожиданно для самого себя стал на колени и, целуя ее милые руки, сказал:

— Вера, очнись! Вера, если тебе не жаль себя, пожалей меня, я гибну... Уедем на Кавказ, попробуем начать новую жизнь. Ты будешь со мною свободна.

Кто-то сзади кашлянул. Я вскочил в ярости. Мы были не одни: здесь сидел этот, уже мною отмеченный, угрюмый молодой блондин. Он подошел ко мне и, глядя сконфуженными, прелестными, полными необычайной доброты голубыми глазами, сказал поспешно:

— Простите, но, право, я не в счет.

И действительно, неловкости от его присутствия я не почувствовал.

Вера встала, взяла этого человека за руку и с видом вдохновения, напомнившим мне лицо ее тогда на террасе в деревне, когда цвели липы и когда на один миг она, князь Глеб Федорович и я были нечеловечески счастливы, мне сказала:

— Сережа, брат, вот мой новый жених, единственный, чьей невестой я смею быть, не изменяя Михаилу. Но только невестой...

— Итак, поезжай, — повернулась она к нему, — и помни и знай: каждая мысль моя и дыхание и сила всей воли — с тобой! И больше нет колебаний. Бесповоротно.

Он повторил приятным и глуховатым, как у больного, голосом: «Бесповоротно».

Вера поцеловала его, он мне поклонился и ушел.

— Кто это? — спросил я.

— Зачем имя... — уклонилась Вера. — Впрочем, это имя скоро узнает вся Россия, и его впишут в историю. Сережа, я принадлежу к революционному обществу, которое зовется «ад» и члены его — «мортусы». Это звучит по-ребячески; но, удастся нам она или нет, мы возобновим попытку декабристов дать родине свободу. Вас привела сейчас судьба в решительную и необычайную минуту — неужели опять понапрасну? Опять чтобы, мучительно раздвоив вашу душу, не выковать решения воли? Сережа, вы своего места в жизни все равно не нашли, пойдите же с нами! Мы знаем, за что и на что мы идем. Сейчас нет свободной жизни, сейчас нельзя жить для себя. Сейчас время гибели за грядущее. Пойдем вместе с нами!

— Смерти я не боюсь, но умереть предпочитаю один, а не за компанию.

Первый раз в жизни я враждебный простился с Верой и уехал в полк. У меня шевельнулось недоверие к ней из-за этого нового «жениха», и мелькнула мысль, что, как свойственно большинству женщин, самое обыкновенное увлечение свое она из самолюбивой гордости облекает в форму таинственную. И первый раз не в ее пользу я сравнил ее с гордой дикостью Ларисы.

Ужасные события не замедлили обнаружить всю плоскость моих суждений. Зиму я провел отвратительно: образ Ларисы, как бы оспаривая в моем сердце привязанность к Вере, возник вдруг с такой томительной силой, что двинул меня на нелепую связь, одну из тех связей, которых каждому надо бояться, как огня. Случайное сходство в одном из поворотов головы, напомнившее мне ночь в козьей сторожке, заставило меня очертя голову, не ища подтверждения в уме и характере, бешено влюбиться в одну из полковых дам. Впрочем, я больше всего искал забвения, которого ни вино, ни карты мне не давали.

Полковая дама в маленьком городке, как известно, исчисляет дни своей жизни от романа к роману, и страсть моя не только препятствия не встретила, но очень скоро превратилась в тяжкое обязательство. Дама оказалась неумной, с сильнейшим характером и совершенно мещанским обычаем. Она ревновала, делала сцены и всячески предъявляла «права». Соединение двух без участия чувств и разума, по одной лишь физической склонности, вероятно, безопасно для людей исключительно деловых, с воображением сонным и тупостью восприятий. Но ежели кому не редкость волнение чувств, пробужденных художеством или мыслью, тому будет жестокое наказание уже в том обстоятельстве, что он примет в свой организм, как инородное тело, всю грубейшую часть ему чуждой души. Качества эти ему придется или переработать, или быть ими отравленным.

Сколько я ни защищался от влияния этой женщины, я был ею затянут в болото каких-то отвратительных мелочей, и, нехвати у меня силы воли бежать, я бы погиб в этой тине, как гибнут десятки юнцов. Но я подал прошение об отчислении меня для подготовки в академию генерального штаба и уехал в Петербург учиться.

Веру нашел я в совершенно мне новом состоянии. Она остриглась, курила прескверные папиросы и манеры свои изменила соответственно типу окружавших ее фельдшериц, акушерок, курсисток. И самое главное: она потеряла неуловимые, ей одной присущие черты. Только и узнал я прежнюю, особенную Веру, ту, которую любил, когда на вопрос мой, зачем она себя изуродовала, она серьезно сказала:

— Так легче мне жить. Меня прежней нет вовсе, а есть только винтик сложной машины, которому легче делать работу, когда он смазан тем же маслом, что и соседние с ним винты.

Но, с другой стороны, уже не Линученко, почему-то вдруг страшно замкнувшийся и безмолвный, где-то занятый неизвестным мне делом, а Вера была верховодом и душою кружка. В кружке были опять новые лица. Из отрывков разговоров, которые велись много осмотрительнее и серьезнее, чем в первые годы, я понял, что в Москве у них главный центр, а здесь, у Веры, лишь самое первое звено.

Революционное движение после студенческой истории развивалось с необыкновенной быстротой, а в салонах тетушки графини Кушиной и ей подобных все еще считали, что движения серьезного нет, а есть, как выражалась тетушка, «сплошные амуры безобразнейших синих чулков с бурсаками». Интересовались в свете больше всего внешней политикой. Европейские старички захлебывались от восторга при имени Бисмарка, твердя в сотый раз всем и каждому, что канцлер превратил Staatenbund в Bundesstaat. [1]

А у тетушки на столе в чудной ореховой рамке стоял наш посол барон Брунов, удостоенный этого отличия за находчивую поддержку, как выражалась тетушка, чести родины.

Когда в заседании лондонской конференции прусский уполномоченный возобновил давнее предложение Франции решить вопрос о пограничной черте в Шлезвиге между датчанами и немцами опросом населения, барон Брунов сказал корректно, но твердо:

— Было бы противно началам русской политики, чтобы подданных спрашивали, хотят ли они остаться верными своему государю.

И добавляла иронически тетушка:

---

[1] Союз государств в союзное государство *(нем.)*.

— Смешно подчинять приговор правительств Европы мнению шлезвигской черни!

В конце пятой недели поста, через несколько дней после моего приезда в Петербург, я опять встретил у Веры того блондина с необыкновенным лицом.

Какие неопознанные психические силы стоят на страже нашего существа, которые при встрече с иным человеком, как бы угадывая роковое пересечение его судьбы с твоей, наполняют сердце необъяснимым ужасом? Впрочем, после встречи с черным Врубелем и разъяснения его схемы эволюции мира я могу формулировать.

Ужас испытывает каждый, кто связан с судьбой числом двенадцать при встрече с единицей.

Я был одним из многих, а тот человек с необычайно светящимися лаской глазами был единицей.

В эту встречу меня поразил его донельзя измученный вид: впалые щеки, чахоточный румянец, светлые волосы без блеска, мертвыми прядями прижатые к вискам.

— Вы больны? — спросил я его.

— Я только что из больницы, — отозвался он своим ослабевшим, глухим голосом, — и на самом деле я плохо оправился.

— Тогда отложить? — зорко глянула Вера, услышав разговор.

— Нет, откладывать дольше нельзя, — сказал он твердо, — моя чахотка не ждет, у меня сил будет все меньше... — Он говорил про себя, как говорит машинист про свою машину.

— Главное ваше дело, Вера Эрастовна, через месяц отпечатать воззвания. Поспеете?

— Отпечатаю и привезу... Но вы обещайте мне, что дождетесь меня и что еще мы увидимся.

Он подумал, глядя в сторону:

— Обещаю. Только для дела лучше, чтобы вы сидели в деревне.

— Но я еще поспею отдать делу остаток всей жизни!.. — Вера сказала это так резко, что я окончательно уверился в мысли, что чувства ее, отданные, как я предполагал, Михаилу навеки, вновь воскресли для этого человека.

Что поделать? Каждый из нас умеет любить всего только лишь для себя и предъявляет за муку лишения свободы требования без границ. За неверность Михаилу я, ревновавший всю жизнь к нему, сейчас презирал Веру, за воображаемое новое чувство. Слепец, опутанный тиной провинции, я меньше, чем когда-либо, мог понимать тот особый пламень, которым горели эти чуждые мне по духу люди.

Вера уехала на хутор печатать прокламации. Я уже не боялся, что она будет арестована и сядет в тюрьму.

Вера, Лариса и моя последняя связь в провинции — все оскорбительно объединялось теперь у меня в одну женскую похоть, которая лживо носит то ту, то иную личину...

Я с головой ушел в светскую жизнь, и к апрелю у меня уже было несколько салонов, где наперерыв меня звали на спектакли и вечера. Один из интереснейших предстоял четвертого апреля в доме европейского старичка, приятеля тетушки.

Я еще накануне занялся своим туалетом. В голове у меня было легко и пусто, как у игрока, проигравшего все ставки и твердо решившего с последним грошом самому выйти в тираж.

Были сумерки. Что-то вроде разбавленного молока было разлито по небу и белесым туманом отодвинуло вдаль привычные глазу здания. Горели две лампы, я стоял перед большим зеркалом и при помощи маленького ручного пытался проверить, безукоризнен ли новый мундир.

Мне доложили, что меня хочет некто видеть.

— Не обзываются кто, должно быть по бедности, проситель... — от себя прибавил денщик.

— Пусть входит, — сказал я рассеянно, занятый швом, который разглядеть мне надо было, свернув в сторону шею. Так, увлеченный своим делом, не поворачивая головы на вошедшего, я увидел его в зеркале.

Краска залила мне щеки; я, сконфузившись, как мальчишка, застигнутый в глупости, спрятал спешно зеркальце и приказал слуге:

— Запри дверь и не пускай больше никого, пока не выйдет мой гость.

Предо мной стоял странный Верин «жених».

— Я к вам пришел, — сказал он, не подавая руки и тоном, каким не начинают, а продолжают давно начатый разговор, — чтобы просить вас передать Вере Эрастовне...

Он покачнулся, я подхватил его и усадил в кресло.

— Вы совершенно больны. Что с вами?

Я подумал, что он сумасшедший. Ярко голубели его удивленные глаза, устремленные прямо на лампу, рот, с детски сложенными, как бы огорченными губами, слабо улыбался. Его сознание отсутствовало.

— Вы больны, больны! — бессмысленно повторял я, не зная, что предпринять. Я налил ему вина, он с видимой радостью выпил и немного оправился.

— Да, я глубоко болен, — сказал он, — но сейчас это кстати. Я вас прошу передать Вере Эрастовне, что больше ждать по причине моей болезни было нельзя. И так лучше для дела и для меня лично, что мы не видались. Еще передайте, что я ее благодарю...

Он встал и пошел к двери.

— Что вы хотите сделать? Вы собой не владеете...

Он вдруг твердо, с большой силой посмотрел на меня и сказал:

— Я владею собой совершенно, и это будет мною доказано завтра. Да, в пять часов у Летнего сада. Придите, чтобы ей рассказать. Но прошу: не называйте меня по имени никому после того, что будет завтра.

— Я не знаю, кто вы.

— И нет нужды. Слуга народа — вот мое имя!

— Я знаю, вы не скажете, что будете делать: себя ль убивать или другого, и в конце концов мне это решительно все равно! — закричал я, взбешенный, что судьба опять выбивает меня на чуждую мне колею. — Но вот на одно я прошу вас ответить, на то, что важно для каждого: во имя чего? В чем ваше дело?

— В достижении свободы.

— Слыхал и не верю... Свободы, которой сами-то вы не увидите, потому что лопух из вас вырастет, а в бессмертие души вы не верите. Я вас не про то, что полагается... про личное ваше спрашиваю. Лично для себя зачем вы-то боретесь за других?

Он ответил то, что я ждал:

— Лично для каждого окончательная свобода — добровольная смерть.

— Но за что? За что?

— За что каждый найдет нужным... Надо найти. Я нашел.

Вдруг он страшно смутился, покраснел, неловко выворачивая худую руку в локте, полез в карман.

— Передайте вот это Вере Эрастовне.

Он вынул глиняного петушка, из тех, что продаются на ярмарке за пятак:

— Это с детства осталось, подарок матушки.

Он повернулся и ушел.

Почему я его не удержал — я не знаю. И зачем эти люди врезались в мою жизнь? Я не звал их. Пусть я совсем заурядный, не умный и не глупый человек, неудавшийся художник и офицер, как все; я, наконец, желаю прожить собственную свою жизнь, а не ихнюю.

Я помню, как в гневе еще и еще бормотал:

— Да, собственную, хотя бы тараканью...

Я напился пьян в одиночку и тут же свалился на диван в новом мундире, зажав в руке глиняного петушка. И в пьяном мозгу мне гвоздило одно: держать его, чтобы не вылетел!

Проснулся наутро я поздно, с отвратительной головой, и хватился сейчас же за часы: опоздал я или нет? Я не помнил, куда: то ли на обед к тетушке Кушиной, то ли на five o'clock[1] в два других дома. Я помнил одно: к пяти часам.

---

[1] Пятичасовой чай *(англ.)*.

Денщик, которому раз навсегда не велено было будить меня, в каком бы виде и где бы я ни заснул, вошел с чаем и, поставив поднос, вдруг нагнулся поднять что-то с полу.

— Никак свистнет, ежели в хвост ей подуть, — сказал он.

— Как смеешь трогать, пошел вон! — закричал я, хватая петушка. Денщик, непривычный у меня к крику, думая, что я все еще пьян, пробормотал:

— Опохмелиться не прикажете ли, ваше благородие?

Я приказал приготовить мне ванну. Вид глиняного петушка напомнил мне все: больше того, я понял весь ужас своего поведения. У меня вчера был больной человек, в припадке на что-то роковое решившийся, и я, сознавая его состояние, не двинул пальцем, чтобы его остеречь.

Уложить его надо было в постель и не пускать из дому! В пять часов у Летнего сада он свершит роковое... Ну и чорт с ним, пусть свершает. Что я, нянька им всем? Предназначен спасать их в последний момент? Как хотят, так пусть кончают. Обвинение Ларисы, что я ей принес смерть, ожесточило меня. А теперь этот Верин сумасшедший «жених», с указанием дня и часа! Не пойду!

Я пообедал и отправился играть на бильярде. Мне везло. Я позабыл про часы. Но, очевидно, внутренно это было не так. Часы важно ударили половину.

«Если это лишь половина пятого, я успею», — подумал я и, взглянув на часы, увидел, что, точно, это было так. Я сказал, что у меня деловое свидание, и пошел к Летнему саду...

Не могу сегодня дальше писать. Как тогда, все воскресло во мне, и нестерпимая тяжесть на сердце. Будто великан стиснет и отпустит, как кошка мышь. Вот если б перебить это состояние, полетать бы по комнате? Да боюсь Ивана Потапыча, и то уж поваркивал:

— Смотри мне, говорить сам с собой будешь — свезу тебя в сумасшедший!

А мне раньше срока нельзя, дописать надо. Милейший человек Иван Потапыч: с тех пор как я побывал в сумасшедшем, он считает, что я потерял себя, опозорился, вроде как проворовался, и он говорит мне «ты», ворча, как на баловника-мальчишку.

ГЛАВА IV

Ровно в пять

Когда я свернул к Летнему саду, я увидал необычайное зрелище: толпа народа с криками бешенства, с ревом «ура» толпилась у решетки. В коляске сидел государь с племянниками. Кучер не мог тронуть с места от напора людей. В другой коляске был

граф Тотлебен с каким-то невзрачного вида малым. Дамы напе-рерыв сыпали этому человеку деньги, махали платками, купцы лезли в коляску с объятиями. Тут же поодаль была ужасная свалка: полицейские не то колотили кого-то, не то отбивали его от толпы, которая его избивала. Я подозвал извозчика, влез в пустую пролетку, так что, встав, оказался выше всех головой и мог разобрать то, что происходило.

— Вон злодей! В царя стрелял...

Извозчик мне указал на темную фигуру, которой полицейские скручивали назад руки; другие, став цепью, удерживали озверелую толпу, готовую кинуться и растерзать.

Лица схваченного человека не было видно. Шапка сбита в борьбе, и по волосам, светлым, льняного мягкого цвета без блеска, по покатым слабым плечам я узнал его. Вдруг он повернулся в мою сторону и, сияя прелестными сероголубыми глазами, с невероятным чувством сказал:

— Дураки, дураки, я ведь это для вас!

И сейчас, через миг после покушения, в его лице не было и тени жестокости.

— Цареубийца! Антихрист! Смерть ему!

Полицейские посадили его в пролетку и, хотя связанного и не сопротивляющегося, держали его с двух сторон. В сопровождении конных чинов все двинулись к Цепному мосту.

Я пошел, куда глаза глядят. Не помню, где я ходил. Мне казалось, я в необозримом поле, где надо мной только серое небо, под ногами талый почернелый снег...

А может, я ходил по улицам, и, как обычно, по обе стороны шли дома, горели огни, за самоваром пили чай почтенные семьи. Мне было безразлично. Я шел и крепко сжимал в кармане пальто грошового глиняного петушка. Вдруг вспомнил, как сказал давеча мой денщик: ежели подуть его в хвост, чай, свистнет. Я вынул, подул. Петушок не свистнул: вероятно, он засорился. Я сунул его обратно и опять крепко сжал. Я будто держался за него, как за единственный твердый предмет. Все разорвалось в моей голове. Всплывали какие-то рожи, и Петька Карский пел в самое ухо поганую песню:

Капитан, как я рад, что я вас увидел.
Вашей роты подпоручик дочь мою обидел...

Я старался об одном: шагать в такт словам.

Если признать меня умом поврежденным, как в этом заверил Ивана Потапыча старший врач, то повреждение мое началось именно в этот день.

И только внешне до самого последнего времени мне удавалось носить непроницаемую для постороннего глаза маску, приличествующую тому обществу, куда я попадал.

Поздним вечером того дня, четвертого апреля, я оказался у тетушки Кушиной. Помню, что глиняного петушка я переложил из кармана пальто в карман брюк и вошел, как обычно.

Народу у тетушки было несметно, и, к счастью, я мог, не участвуя в разговоре, узнать все подробности покушения. В четвертом часу царь выходил после обычной прогулки из Летнего сада в сопровождении племянника и племянницы. Неизвестный выстрелил из пистолета в него. Как говорили, крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке, и пуля пролетела мимо.

В салоне все возмущались. Забыв свой благовоспитанный обычай, мужчины ругали грубейшим манером преступника. Прекрасные дамы одна перед другой изыскивали пытки, боясь, что преступник не сознается; предлагали письменно изложить эти пытки шефу жандармов. Всех без исключения раздражало, что пойманный скрыл свое имя и звание, назвавшись крестьянином Петром Алексеевым. И с злорадством добавляли: раз что звание неизвестно, на него наложат оковы.

Во всем винили князя Суворова, генерал-губернатора, за потачку революционерам. Утверждали, что в самый день покушения он получил предостерегающее письмо, но спрятал его под сукно.

— Должны вызвать Муравьева, этот сумеет принять меры...

Я ушел. Напился. Спал мертвецки до позднего часа. Встав, снова пошел по знакомым. Всюду можно было молчать, не возбуждая ничьего удивления. Говоривших было слишком много, и для чего-то мне было нужно каждый день слушать все, что будет сказано об этом человеке, имени которого я так и не знал. Но ни на чем ином, кроме него, я не мог остановить своих мыслей.

Вера не ехала с хутора. В былое время я бы к ней полетел. Сейчас мне было все безразлично, кроме события, участником которого я себя ощущал. Все прочее выпало из меня, как выпадает то, что не вошло в поле зрения. Порой тупо я думал: если б я этого человека с голубыми глазами не выпустил от себя, а уложил бы в постель, происшествия не случилось бы. Но укоров совести я не ощущал.

. . . .

В Белой зале Александр II сказал дворянам:

— Все сословия выразили мне свое сочувствие единодушно; эта преданность поддерживает меня в трудном служении. Надеюсь, что господа дворяне радостно примут в свою среду вчерашнего крестьянина, который спас мне жизнь.

Этого обалдевшего от рукопожатий и объятий нового дворянина, недавнего пропойцу-картузника, я видал сам на обеде у князя Гагарина. С идиотским видом он молча напивался и в ответ на пространные тосты патриотов бормотал лишь свое: «Премного доволен». Супруга его, говорят, величала себя «женой спасителя».

Наперерыв графини, княгини вырывали друг у друга «спасителя», истязая его обедами и раутами, где сидел он обычно, растопырив все десять перстов на коленях, пока не валился, упившись, под стол.

Какой-то шутник обучил его на вопрос государя, чего ему еще хочется, непременно ответить: камер-юнкера! Смеялись, что первое слово он позабыл и попросил просто юнкера, почему сейчас же был зачислен в Тверское юнкерское училище. Оттуда он в скором времени уволился в отставку корнетом.

В дальнейшем Комиссаров запил горькую и, как ходили слухи, в припадке белой горячки повесился.

Каракозова же повесили.

Черный Врубель, вскрывая свою схему «электрификации центра», объяснил мне, что до исполнения зрелого срока нанесенный удар не нарушит обычных законов физики, угол падения останется равным углу отражения.

Ранний выстрел пролетел мимо, и оба, проявившие активность, разбиты обратной силой. Каракозова повесили. Комиссаров повесился. Но исполнились сроки — и нет царя.

В тот день, когда на неизвестного надели оковы, Александр II принял поздравления сената, явившегося во дворец в полном составе, с министром юстиции во главе. На другой день принесли поздравления представители иностранных держав. Митрополит Филарет прислал образ в честь избавления.

Тетушкин сенатор говорил:

— Истинно, государь имел полное основание произнести: «Сочувствие ко мне всех сословий со всех концов обширной империи доставляет мне трогательное доказательство несокрушимой связи между мной и всем преданным мне народом».

Кругом вести так и сыпались:

— Вы слышали, князь Суворов оставил пост генерал-губернатора?

— Должность будет совсем упразднена.

— Заведование столичной полицией будет поручено генералу Трепову.

— Рескрипт председателю совета министров, князю Гагарину, с предписанием «охраны основ».

— Привлекут, слава богу, одни благонадежные силы!

— Граф Муравьев вызван. Опрокинет Валуева.

— А Суворову, князь-либералу, он припомнит его охотничью остроту.

— Как, вы не слыхали? Как же, государь удачным выстрелом убил медведя, а Суворов и выскочи: недурно бы, дескать, и двуногого Мишку [1] так-то. Царь его резко обрезал...

[1] Имя Муравьева — Михаил.

И еще важным известием для меня было то, что из Прибалтийского края вызывается граф Шувалов, с назначением его шефом жандармов.

О преступнике сообщил по секрету тетушкину старичку князь Долгоруков, что допрашивают его день и ночь, не давая заснуть ни на час, но, хотя он в совершенном изнеможении, а придется его еще «потомить». В городе говорили еще об иных пытках, сопровождавших эту пытку бессонницей. Пока преступник имени своего не открывал. Как известно, его имя — Каракозов — и звание дворянина были открыты случайно, по найденной записке в Знаменской гостинице, где он стоял. Привезенный из Москвы двоюродный брат Каракозова Ишутин подтвердил достоверность догадок. Когда я услышал, что привезен и писатель Худяков, организатор общества «Ад», я со дня на день ожидал услышать имена Веры и Линученка.

Каракозова перевели в Алексеевский равелин. В квартире же коменданта Сорокина стал заседать верховный уголовный суд. Для сильнейшего нравственного воздействия, чтобы вызвать на откровенность и раскаяние, приставили к Каракозову известного протоиерея Палисадова. Замученный непрерывным допросом, узник, придя к себе в камеру, не имел возможности прилечь, а должен был, не прислоняясь к стенке, слушать службу и речи о. Палисадова.

Этого протоиерея я не выносил. Он был модным светским священником и раза два в год служил у тетушки в доме молебны. Палисадов был лектором университета, и вечными про него анекдотами пересыпал игру на бильярде один мне знакомый веселый студент. Он любил изображать протоиерея со всеми его жестами и нижегородско-французским прононсом. В доказательство, что вера без дел мертва есть, он говорил:

— Допустим, что у нас есть некий flacon, а в нем две жидкости: желтая и голубая, два невзрачных сами по себе цвета; а попробуйте их взболтать, смешать, и у вас получится прелестный vert de gris. [1]

О благости божией у о. Палисадова был не менее игривый вывод: он призывал слушателей восхищаться тем, что бог, великий любитель прекрасного, при создании человека преследовал не одну лишь грубую пользу, а и тончайшие наслаждения.

— Ибо что есть органы обоняния и вкуса, как не орудия наслаждения? — восхищенно разводил Палисадов руками. — Ибо для ради поддержки бренного тела достаточно было б иметь в животе прорез, наподобие кармана, куда, как в оный, ссыпали бы просто-напросто пищу с тарелок.

---

[1] Серозеленый *(франц.)*.

Был Палисадов статного роста, чернокудр с проседью, с манерами недуховными. Любил вспоминать о томике своих проповедей, изданных в Берлине на французском языке.

Он настолько офранцузился в Париже, что, приехав в Россию, подал было прошение митрополиту о том, чтобы ему разрешили носить короткие волосы и штатское платье. За эту просьбу его чуть не упрятали в монастырь.

Какое утешение мог дать этот игривый, тщеславный человек Каракозову? Впрочем, как сейчас известно, не утешения ради просился модный пастырь напутствовать смертников, а для карьеры...

. . . .

Сегодня ночью я силой мысленного тока установил себя в том году, месяце и дне, о котором вчера написал. Я очень думал о Михаиле. Что должен был он испытать, когда тут же, недалеко, пытали Каракозова, а потом на рассвете увели на казнь? Конечно, я знал, что их комнаты не могли иметь сообщения. А хотя б и были рядом — о перестукивании не могло быть и речи. Но ведь на гребне великих страданий есть способ узнавать больше обычно доступного.

Итак, сегодня ночью я силой своих устремлений побывал у Михаила и разузнал доподлинно. Продолжаю сегодня уже как очевидец. Нам удалось пройти к Каракозову вместе. Уже тогда, силою страданий, Михаил научился тому, что я лишь недавно, в конце моей жизни, узнал от черного Врубеля: проницаемости материи перед напором воли.

Итак, сегодня ночью, а во времени в 1866 году в апреле, мы вошли к Каракозову. Была, вероятно, середина апреля.

Замученный бессонными ночами, бессменными допросами, Каракозов перестал владеть членораздельною речью, и сам Муравьев собирался доложить царю, что, по мнению докторов, надо дать отдых преступнику.

Мы вошли, когда Палисадов едва кончил всенощную в его темной камере и, сняв облачение, аккуратно его складывал обратно в большой принесенный платок на доске, привинченной к стенке, служившей столом. Мы с Михаилом спрятались за печь. Я не узнал Каракозова, видевши его месяц назад. Он был покинут жизнью больше, чем мы.

Если б он умел двигаться в нашем пространстве, то он нашел бы снова себя самого. Но он еще был неразрывен со всей тяжестью скелета, мускулов и крови, и небольшие оставшиеся силы его, до положенного каждому срока, обязаны были охранять его форму. Той же частью своего существа, которая мыслит и чувствует, он был уже вне этой формы и потому лишь с трудом мог отвечать обыкновенной человеческой речью.

Палисадов с недовольным лицом за то, что ему приходилось служить без дьякона и обходиться без помощи дьячка, о чем он впоследствии подавал записку с указанием особой за это мзды, подошел с узелком к Каракозову. Он поднял для благословения руку. Лицо его, выразительное и очень подвижное, изобразило религиозный восторг. Он сказал своим бархатным сладким голосом балованного проповедника:

— Да возбудится в вас живейшая вера в незримого судию вашей жизни, да возведет, да очистит он вашу душу до состояния ангелоподобного!

Он сам приложил к посинелым губам Каракозова свою холеную полную руку, потому что тот стоял как истукан, мертвенно бледный, с потухшим взором своих прекрасных сероголубых глаз.

Собственная элоквенция настолько понравилась Палисадову, что у дверей камеры он еще раз сделал ручкою:

— Да, да, состояние ангелоподобное даруй вам бог!

Каракозов почти без чувств повалился на кровать. Мы оба с Михаилом подошли к нему. Михаил сел в ногах, я стал на колени и, целуя его восковую исхудавшую руку, сказал:

— Простите меня, что вас не остановил, когда вы больной были у меня накануне покушения. Ведь в здравом уме вы бы не рискнули на подобное дело.

Каракозова будто подкинуло, он сел. Румянец вспыхнул на ввалившихся щеках. Глаза, невыносимо яркие, пылали. Он своим прежним глуховатым голосом произнес:

— Если бы у меня была не одна, а сто жизней, я все бы их отдал за благо народа!

Эти слова общеизвестны. Каракозов написал их государю. Ими он выразил всю свою внутреннюю сущность.

— О, сколь вы счастливы! — вскричал Михаил. — Ваша смерть родит новых героев. О, почему мой злосчастный жребий не ваш!

Михаил стал неистово вопить, биясь головою о стену. Вошла стража; на него с побоями надели смирительную рубашку, связав узлом на спине... Я в бешенстве, не помня себя, кинулся с кулаками на стражу... все вмиг исчезло. Я со стоном открыл глаза. Со стаканом воды стоял Иван Потапыч:

— Испей водицы: привиделось что. Да не ори больше, девочек испужаешь.

Я извинился и притворился, что вновь задремал. Я понял, что изменил наставлению черного Врубеля. Овладеть центром животного электричества можно лишь при совершенном бесстрастии. Моя бурная жалость к Михаилу мгновенно, как постороннее тело, выбросила меня из той тончайшей сферы, где хранятся отпечатки событий...

Через некоторое время мне удалось вновь собрать свою разбитую чувством волю и привести себя в состояние хирурга, который чем закаленней, тем благоприятней для операции устремляет себя к заданной цели.

И вот опять я в уже знакомой мне камере Михаила с черным бархатом плесени внизу стен, с убогим соломенным матрацем, с которого сняты простыни, чтобы он снова не вздумал повеситься. Как белая мумия, туго спеленутый вместе с руками, лежал он на спине. Михаил был в глубоком, блаженном забытьи. За минуту искаженное безумием и гневом лицо его было покойно, и слабая улыбка была на бледных губах. Он бывал таким в редкие минуты беспечной веселости, когда загибал мне салазки на огромном столе в дортуаре и мы в драке оба с грохотом катились на пол. Боясь потревожить редкий радостный отдых несчастного друга и самому от размягчения чувств утратить снова необходимый над собой контроль, я не стал будить Михаила и проник один к Каракозову. В его камере был смотритель тюрьмы. По его приказу жандармы одевали узника, чтобы вести его на первое заседание верховного уголовного суда, на квартиру коменданта.

Я не знаю, как перевели нас из Алексеевского равелина в крепость. Вероятно, это произошло еще прошлой ночью. Днем и вечером из равелина не выходили.

В длинной зале коменданта было заседание верховной уголовной комиссии. Оно было назначено для выдачи главным подсудимым копии с обвинительного акта, с правом вызвать себе защитника.

Я вспомнил, что у тетушки один из сенаторов рассказывал, как перед тем, чтобы впустить Каракозова, у председателя суда князя П. П. Гагарина было некое препирательство с секретарем: князь упирался на том, чтобы говорить Каракозову «ты», ибо с таким «злодеем» зазорно быть на «вы». Наконец секретарь убедил старика, что для судьи выражать таким образом негодование — неприлично. Сейчас, глядя на князя П. П. Гагарина, седоватого человека с большим носом и мохнатою бородою, похожего на доброго волка, я припомнил и резолюцию защищавшей его тетушки Кушиной: ежели злодей дворянин, его надо б и вешать без тыканья!

Первым из подсудимых должны были ввести Каракозова. Я сейчас же стал с ним рядом. Сзади и спереди нас — два солдата с обнаженными тесаками. Каракозов тонкой костлявой рукой пощипывал свои усики. Он был, видимо, смущен, не знал, куда ему итти и где сесть.

— Каракозов, подите сюда! — сказал князь Гагарин дрожащим от волнения голосом: он в сущности был добрый человек, и объявлять смертную казнь было ему тяжело.

Для отобрания показаний введен был и Осип Комиссаров, предполагаемый спаситель, о котором полгорода говорило, что он выдуман графом Тотлебеном, хронически пьяный картузник, случайно всех ближе стоявший к воротам. Но пьяный картузник был нужен как символ руки народа, как охрана царя. Символ стал идолом. Басне спасения не верил никто, но по отобрании показания председатель суда встал. Встали все члены, и, стоя, князь Гагарин, председатель суда, сказал Комиссарову:

— Вам, Осип Иванович, вся Россия выражает свою благодарность!

Каракозов вздрогнул. На минуту с глубокой скорбью обвел глазами все лица; бледная улыбка чуть прошла по губам, когда он встретился на миг с перепуганными глазами Комиссарова, который, неестественно выпятив грудь и держа руки по швам, как любили стоять перед фотографом денщики, собрав в крупные сборы низкий, тупой лоб, силился понять, почему его снова чествуют.

Я не знаю, видел ли я все это сам, или только слышал рассказы, или только на днях прочел из тех книжек, что принес мне Иван Потапыч...

Путается у меня в голове с непривычки к новому способу думать и чувствовать. Все, что волнует чувство, сейчас для меня одинаково: прочел ли я это, услышал или сам пережил.

На столе вещественных доказательств лежали пистолеты Каракозова, шкатулка и яд, который он себе приготовил, чтобы отравиться немедленно после выстрела, но, придя в оцепенение, не поспел.

Глаза Каракозова приковались к столу. Секунда: схватить яд, проглотить — и нет долгого ужаса смертной казни. Глаза его как-то побелели. В тяжелых взорах была нечеловеческая борьба, потом сила их потухла. Глаза тусклоголубые, безмерно утомленные бессонницей. Часто моргали покрасневшие веки. Каракозов решил себя не убить, а принять казнь.

Через минуту граф Панин, перешепнувшись с соседом, быстро убрал яд и пистолет.

Я не могу больше писать сегодня. Нечеловеческая борьба Каракозова с самим собою разбила меня, как будто сильнейший ток мне пропустили сквозь сердце. Оно не выдержало, но я остался жить.

Какая сила, какая вера в свое дело были у этого человека, если дважды, имея перед собою неслыханные душевные муки и на месяцы отложенную смертную казнь, он не прибег к самовольному мгновенному концу?

ГЛАВА V

Барабаны

Я не вставал эти дни совсем с постели; безнаказанно невозможно преодолеть волей пространство. Добрейший Иван Потапыч, давая мне с воркотней лучший в доме кусок, сказал:

— Дело твое старое, знай полеживай, — нам так от тебя безопаснее. А ежели к тому и чулок вязать выучишься — прямой толк. Понять не мудрое дело, когда грамоте знаешь; я ужотко бумагу и спицы тебе принесу, девчонки обучат.

Лежу я. Лежу, отдыхаю. Опять попрежнему, по прямой пошли мысли. И в отличном порядке память. Но нет, сегодня ночью не пойду к Михаилу. Припомню, что видел я в тот страшный день сам, тем способом, как обычно видят люди.

Был конец августа 1866 года. Очень умилялись в салоне у тетушки, что государь дал знать через Шувалова: если казнь Каракозова не будет совершена до 26 августа, до дня коронации, то уж ему не угодно, чтобы она произошла между 26 и 30 августа — тезоименитством царя, памятью князя Александра Невского.

Это распоряжение Александра II, вызванное нежеланием омрачить высокоторжественные дни, доказывало, по мнению всех, необыкновенное сердце императора, которому даже казнь последнего злодея могла быть не безразлична. Помню по этому случаю «мо» графа Панина:

— Я того мнения, что двух казнить было бы лучше, чем одного. А трех лучше, чем двух. Но... faute de mieux,[1] хорошо, что хоть один самый главный висельник будет.

Но были светские салоны оттенка либерального, где распоряжение государя о дне смертной казни не находили гуманным, а все восторги вызывал П. П. Гагарин, который от слез едва мог дочитать Каракозову резолюцию, осуждающую его. Он прибавил, что осужденный может подать просьбу о помиловании.

Защитник Остряков сам составил краткую и сильную просьбу. Каракозов, в последнее время почти лишившийся сознания действительной жизни, прошение подписал.

Государь в помиловании отказал.

— Но как, как он это сделал? Что за изысканность формы! — восхищались дамы.

А европейский тетушкин старичок, нарушив ради этого свой до минуты размеренный день, как юноша, прибежал к тетушке рано утром, чтобы передать подлинные слова министра юстиции Замятина, который доложил прошение Каракозова царю в вагоне, когда ехал с ним из Петербурга в Царское Село.

---

[1] За неимением лучшего (*франц.*).

— Какое ангельское выражение было на лице у государя, — говорил Дмитрий Николаевич Замятин европейскому старичку, — когда царь сказал: «Я давно простил преступника как христианин, но как государь простить его не считаю себя вправе».

Добрый старик П. П. Гагарин эту окончательную резолюцию передал Каракозову за несколько дней до казни, чтобы он поспел подумать о своей душе.

Узнав об этом, я взял обратно свое прошение о поступлении в академию и стал хлопотать о зачислении меня в один из действующих отрядов против немирных горцев.

Охотников было немного, и я без труда получил назначение. Я до странности успокоился, словно поместил себя в верное место. В тот же день я прочел в газете, что казнь Каракозова будет произведена публично на Смоленском поле в семь часов утра.

Это было назавтра.

2 сентября на всех углах улиц расклеены были объявления о казни Каракозова. Я знал, что я пойду. Не могу не пойти. Но до рассвета я не мог быть один и отправился играть на бильярде. Знакомый студент был уже там. Говорили все, как и в последние дни, лишь о правильности судебного процесса.

Чиновник юстиции, с губами ниточкою, медлительным голосом, будто в гору вел воз, доказывал, что Худякова как идеолога организации и Ишутина как подстрекателя справедливо было бы присудить к той же каре. Он говорил, что в высших сферах недовольны сентиментальностью первого гласного суда и что государь сказал с раздражением Гагарину:

— Вы ничего не оставили для моего милосердия!

Впрочем, Ишутину он заменил смертную казнь — после прочтения ему приговора у виселицы с наброшенным саваном — пожизненной каторгой.

Пришел и завсегдатай-студент. Он рассказал, что сегодня на лекции богословия о. Палисадов сидел долго задумавшись, потом тряхнул кудрями и отечески гневно сказал:

— Вот, поучай вас истинам христианским, а потом вози вас, вешай...

Но разговоры о суде были только вечером, когда еще много часов отделяло нас от того, что должно было произойти на рассвете на Смоленском поле. Вечером, при уютном освещении знакомого зала, при веселых возгласах: «дуплет в среднюю...», слово «смертная казнь» хотя говорилось в строчку, как другое всякое слово, но для чувства было оно и чудовищно и посторонне..

Но вот пробило четыре часа, пять часов, и кто-то сказал:

— Господа, надо бы двинуться, занять получше места.

Я вздрогнул и внезапно понял, что двинуться надо нам на Смоленское поле, где произойдет как раз то, что черными буквами на белом квадрате бумаги стояло на всех углах улиц:

«Исполнение приговора верховного уголовного суда о государственном преступнике Димитрии Каракозове последует 3 сентября, в субботу, в С.-Петербурге на Смоленском поле, в 7 часов утра».

— Они соберутся у министра юстиции, — сказал чиновник с губами ниточкой.

— Кто они? — спросил студент.

— Директора департаментов, генералы, члены обвинительной комиссии, чиновники сената. — И, как бы наслаждаясь лицезрением переименованного блестящего сборища, он прибавил: — И все в золотом шитых мундирах.

Я вышел из бильярдной и пошел один на Смоленское поле.

День еще не начался, а уже дворники мели улицы. И оттого ли, что тротуары не были утоптаны прохожими, оттого ли, что не тарахтели по камням мостовой извозчики, двигаться было легко. Казалось, будто за ночь выпустили из-под голубого небесного купола весь вчерашний воздух и накачали нового. Сдержанное волнение было в осеннем чистом, бестуманном небе. Солнце готовилось к выходу.

Я вдруг вспомнил о глиняном петушке. Да, он был здесь, в кармане. Значит, все правда. Помню, что тогда еще я подумал: «Если взойдет солнце без туч и день будет яркий, то все еще может быть хорошо».

Стали появляться в калитках кухарки с корзинами, под большими платками, отчего все они казались толстыми.

Солнце взошло яркое, точное, без малейшего облачка. И я, глядя на такую же яркую, для случая начищенную хлебной гущей медную бляху полицейского, понял вдруг, что ничего не будет хорошо, ничего не поможет: ни то, что метут рано улицы и кухарки с корзинами, ни глиняный петух...

Будет — казнь.

Улицы вдруг наполнились. На Васильевском острове это была уже сплошная масса во всю ширину до домов. Полиции едва удавалось создавать криками посредине проезд. Блестел, как зеркало, черный лак карет. Мимо меня протянулись в николаевках с плюмажами чины военные, штатские. Увидев экипаж, толпа решила, что опоздала, и кинулась бежать. Испуг и алчность исказили лица. Я свернул в сторону, чтобы пробраться одинокими закоулками. Сократив сильно путь, я подошел вместе с экипажами на Смоленское поле. Вдруг, не доезжая, экипажи остановились. Для комиссии по исполнению приговора приготовлен был небольшой домик. Все в него вошли, дожидаясь привоза осужденного. Некоторые, выходя из экипажей, разговаривали, но никто не улыбался, и все были бледны. Рядом со мной спешили на казнь гулящие женщины. Они говорили о своих делах. Та, что постарше, корила младшую:

— Гуляла ты с Васькой, гуляла с Сидором. Ну, а чем тебя разодолжил Клим? Уж без него тебе звезды не светят? Что он, что они — один товар.

— А вот и не один, — сказала младшая, с мягкими прядями из-под платка и пустыми глазами, так мне вдруг напомнившими глаза Веры в последнее время. — Гуляла я и с тем и с другим, а судьба моя — он, Клим. Ему одному я есть нужная. За него и ответ мне давать.

— За него ответ мне давать, — повторил я и злобно, помню, подумал, как отдавать буду Вере глиняного петушка.

Проехал обер-полицмейстер Трепов. Военные и штатские чины вышли из домика, сели в экипаж и поехали следом.

На поле, там, где было каре из войск, все снова вышли и медленно взошли на деревянную возвышенную площадку, выкрашенную черной краской. Я перевел глаза напротив и увидел то, что я ожидал увидеть, что знал отлично по начертанию, и все-таки не понял, что это то самое, то есть виселица.

Конечно, если б меня спросили, где виселица, я бы показал на эти черные два столба с перекладиной. Но чувством я этого не понял, потому, вероятно, что самый большой ужас я ощутил не от виселицы, как ожидал, а от высокого помоста, свежевыкрашенного, как и все здесь, черною краскою. Этот обширный черный помост, как резервуар с не человеческой черной кровью, зловеще отблескивал в ответ только что взошедшему солнцу. И самое ужасное произошло на этом помосте.

— Это зовется эшафот, — сказал гимназист гимназисту, показывая пальцем.

Может быть, позорная колесница подъехала тихо, я не знаю. В моих ушах стоял грохот. Но я думал, что это громыхала она, безобразная колымага, запряженная парой, с высоким сиденьем. На этом сиденье спиной к лошадям прикован был кто-то.

Я не узнал Каракозова. Да это и не был он. Не тот, который гордо кинул царю в предсмертном письме, что «не одну, а сто жизней отдал бы за благо народа», и не тот, исполненный сердечного обаяния, с прелестными сероголубыми юношескими глазами, который поручил мне передать свой предсмертный привет, игрушку детства, той, которая была ему, может быть, дорога.

Здесь, на позорной безобразной колымаге, — синее лицо с беловатыми, уже словно незрячими, мертвыми глазами.

Глаза эти встретили виселицу, голова отдернулась назад, как в конвульсии.

Потом он окаменел. Как на распятье Рембрандта, на минуту, неживое, осело его тело, когда палачи отковали его от позорной колесницы, взвели по ступенькам на высокий черный эшафот и поставили к позорному столбу в глубине эшафота.

— Так называемый позорный столб, — сказал кто-то в швейцарской пелерине, и ответил ему такой же другой:

— Не позор ли... сколько позора! И казнить-то должны поподлей.

У самого эшафота сидел на лошади один из полицмейстеров; с другой стороны стояли кучкою североамериканцы с той эскадры, что пришла в Кронштадт. Я продвинулся ближе со стороны обер-полицмейстера. Я слышал, как он сказал секретарю суда:

— Необходимо, чтобы вы взошли на эшафот, а то никто не услышит приговора. Надо, чтобы народ понял, что у нас все чинится по закону.

Секретарь взошел по ступенькам, в мундире, генеральская шляпа с плюмажем подмышкой, бумага в руках. Он стоял у самых перил. Бумага дрожала в его руке, он был так же сине-бледен, как осужденный.

«По указу его императорского величества...»

Какой холод от боя барабанов! Меня всего затрясло отвратительной мелкой дрожью, пока войско делало на караул. Все сняли шапки. Барабаны утихли, но я продолжал дрожать и не понял ни слова из того, что прочел секретарь, сошедший обратно на помост, где стояли министры и комиссия.

На эшафоте перед Каракозовым был теперь протоиерей Палисадов. Он в твердо вытянутых руках, как бы защищаясь или нападая, держал сверкающий на солнце золотой крест. Палисадов был в полном облачении.

Что он говорил осужденному, не было слышно. Приложив крест к мертвым губам стоявшего под позорным столбом, Палисадов повернулся и сошел вниз.

Взошли на эшафот палачи. Вдвоем они подняли над замерзшим, посиневшим, мертвым лицом, в котором не оставалось и признака жизни, белый саван. Они его почему-то не умели надеть и прежде всего накинули колпак на голову и лицо.

Для приговоренного в этот миг потухло солнце, и, может быть, он уже умер сам.

Я думаю, это самая страшная из всех минут, когда еще живым сознанием переживается смерть.

Но тут произошло нечто, превышающее жестокостью все преступления и все кары. Пережитую сознанием смерть на миг сделали вновь жизнью, чтобы в следующий за этим другой миг дать несчастному новый ужас смерти.

Палачи, ошибочно накинувшие саван, по движению руки полицмейстера сделали то, что делают только при помиловании. Они саван сняли.

На миг лицо его озарило солнце. На миг глаза, вдруг вспыхнувшие жизнью, просияли невыразимо. Дрогнул детски очерчен-

ный, вдруг заалевший рот. Кто-бы он ни был, ему было всего двадцать четыре года, ему хотелось жить. И в этот миг он поверил, что жить будет.

Но два палача спешно втиснули его руки в длиннейшие, как у маскарадного Пьеро, рукава, завязанные сзади крепчайшим узлом, и вторично накинули саван.

Оба палача взяли крепко под локти эту огромную белоснежную куклу без лица и без рук, свели неспешно по лестничке вниз и влево под виселицу. Здесь оба палача бережно, как драгоценную вазу, поставили снежную куклу на скамью.

Тот, кто только что невыразимо просиял глазами и по-человечески, по-детски дрогнул ртом, — как заводной, переступал тупо ногами.

Белоснежной кукле на шею надели веревку, и палачи ногой вышибли из-под ног скамью.

Забили барабаны...

И бьют они, бьют... Иван Потапыч, уймите ба-ра-ба-ны!

ГЛАВА VI

Сплошь блины

Пишу после большого промежутка. Иван Потапыч заставил меня лежать неделю, а вторую — в сидячем положении — вязать чулок. Если я не слушался, он грозил отвезти меня сейчас же в дом сумасшедших. Мне же ранее срока нельзя видеться с черным Врубелем. Но срок есть, и свидание будет...

Я решил не перечитывать написанное, я могу вычеркнуть совсем не то, что надо. Я ведь позабыл, что понятно всем, а что — только мне самому. Пусть вычеркнет для чистового товарищ Петя. Он отличный юноша и земляк, из нашей губернии, приятель Горецкого.

А случилось две недели тому назад вот что: когда писал я прошлый раз, то затрещали барабаны. Мне так невыносима была их гнусная дробь, что я стал кричать, а полицмейстер на коне один из барабанов приказал мне проглотить. Он сделал знак рукой, солдаты взяли на прицел, я испугался и проглотил. Руками защищаться я не мог, длинными белыми рукавами руки у меня завязаны туго сзади. Но проглоченный барабан и внутри меня продолжал выбивать дробь. Заткнув уши ватой из шубы Ивана Потапыча, я подлез под кровать и загородился мешками с мукой. Иван Потапыч таскает, как в восемнадцатом году, на всякий случай запасы. Так заслонившись, я думал, что скроюсь от полицмейстера на коне и он меня перестанет пытать. Я за мешками заснул. Оказывается, Иван Потапыч очень испугался и искал

меня до глубокой ночи, предполагая, что я ушел без верхнего, которое он запирает. Когда же девочки, подметая утром, закричали, обнаружив мои ноги, я не пожелал вылезать, по глупости решив, что это снова полицмейстер.

Иван Потапыч привел Горецкого 2-го, и его веселая болтовня перебила мой кошмар, вернула меня к действительной жизни. Я вылез, рассказал про барабан и вежливо извинился. Но Иван Потапыч был неумолим: он хотел немедля водворить меня к черному Врубелю, предположив вдруг смехотворную вещь, что я могу начать кусаться.

Благодаря заступничеству товарища Пети, молодого приятеля Горецкого, Иван Потапыч дал мне последнюю отсрочку. Он согласился продержать меня лишь только до октябрьских торжеств, но не иначе, как в постели, отобрав у меня платье и сапоги. Он и не подозревает, что октябрьские торжества он назначил не свободно, а по моему внушению. Этот день — условная встреча и первый наш опыт с черным Врубелем.

ВЕЛИКИЙ ОПЫТ

А Ивану Потапычу удобно сбыть меня с рук: у него и девочек в эти дни суматоха и выступление.

Я покорно лег в постель и отдал запереть в большой сундук мои сапоги. Но бумагу, перо и чернила он мне дал, как всегда, сказав: «Мне всего спокойнее, когда ты пишешь».

Горецкий 2-й сел на сундук. Против света заметно, какой он глубокий старик. Но одет теперь чисто, опять держит грудь колесом и, как при Александре II, пробривает подбородок. Товарища Петю Тулупова я и раньше видел у него; он брал уроки французского и немецкого языка, привязался к старику и звал его дедушкой. А старик прозвал его: «Петя Ростов от коммуны или Петя Тулупов-Ростов». Он был похож на эстандарт-юнкера и отлично ездил верхом. Едва девятнадцати лет стал коммунистом: как чистейший сплав, без брака, без трещинки, отлился в форму. Мне он близок и особенно мил: ведь и мы, по-иному, но были точно такими в своей юности.

Я сказал ему:

— Товарищ Петя, вас именно прошу я через две недели, накануне октябрьских торжеств, прийти сюда. Я передам вам свою рукопись о днях минувших и днях нынешних; прошу вас процензуровать и, что возможно, напечатать.

— Мемуарная литература? — сказал Петя. — Хорошо. Но если ориентация антимарксистская, я, знаете, не стану...

— Ориентация у него безотносительно военная, — вступился Горецкий 2-й. — Он, как и я: приемлет. Коль скоро дисциплина — значит, дело бамбук. Крепко. Вчера Петя водил меня

в конюшни, ну, братец, — чистота! Фальцфейнова завода полукровки у него в денниках, как в салонах.

Горецкий, как это делал, бывало, при имени модной балерины, причмокнув, поцеловал кончики пальцев.

— В Корсаре здорово крови, — сказал Петя, — может, он и кровный.

Горецкий в ужасе замахал руками:

— Без аттестата от Фальцфейна не в счет! Будь он Араповского завода — иное дело, но от Фальцфейна одни стати без аттестата не в счет.

Он стал так кричать, что я закрыл уши, боясь опять услышать барабаны. Однако, обернувшись на меня, он вдруг спохватился и сказал:

— Тебе, дружище, надобен покой. Вставай скорей да к нам на чаек. А я к тебе уж в последний, пухнут ноги, хоронить приходи!

— Протянешь до ста лет, дедушка, — сказал Петя.

— Вообрази, mon cher, Петя огорчается за мое социальное положение, сколько я ему ни твержу: «самодержавен», а канцелярии нет никакой! Но дело в том, что он пописывает. После моей смерти уж наметил препикантнейший некролог. Я, ma foi, жажду теперь одного: на этом месте скончать дни свои и положену быть в гроб. И последняя воля моя... дружище, я апеллирую к тебе!

— Вы бы их не беспокоили, — начал было Иван Потапыч, но, глянув на возбужденного Горецкого, только рукой махнул: — Обои малые дети!

Горецкий сел ко мне на постель и вдруг заплакал:

— Я, mon cher, прошу у Пети уважения, а он не согласен.

— Брось, дедушка, брось, — сказал Петя.

— Mon bon ami, потерпи, я сейчас объясню. Моя последняя воля вот: вместо венчика пусть мне оденут пурпуровый ободок, c'est tout à fait simple à coller, [1] мы детьми клеили. Гуммиарабиком отлично берет. Тем более что добротность бумаги безразлична, хотя бы папиросная. Главное — цвет: пурпур революции! Но отпевать должен поп, и не поп-живец, а отец Евгений, почтеннейший старец.

Горецкий вскочил на сундук. Он или бредил, или сошел с ума.

— Mon bon vieux, [2] — сказал Горецкий, — я не уверен, достаточно ли я верил в бога, но вот двунадесятые праздники чтил я истово. Я до спаса, как у нас в доме водилось, яблочка не вкушал. Я на крестопоклонной говел и в рот спиртного ни-ни.

---

[1] Это очень просто приклеить *(франц.)*.

[2] Мой добрый старик *(франц.)*.

Но прежде всего как был, так и есть — я военный. И вот со мною сделали так, что мне в церковь ходить стало так тяжело, как водить дружбу с товарищем, хоть любимым, но битым.

— Но при чем красный венчик? — спросил товарищ Петя.

— При чем?! — зарычал Горецкий. — А при том, что девять лет долбил я или нет катехизис Филарета? Я или не я целых полвека налаживался чувствовать так, как в наше время чувствовать полагалось? Волнение мозгов, быть может, в себе убивал, чтобы каждой кровинкой прирасти мне к походной нашей церковушке. Без водосвятия в атаку никак... Хоть и в пьяном виде, а зря грудь грудью колоть — это, батенька, не фунт изюму! Небось Керенский солдатику-то ответить не сумел: зачем ему итти на смерть, когда от этой «земли и воли» ни чорта не увидит?! Только ножками изволил топотать. Да-с, а нам, помимо доблести, «венец» был уготован, и на пролитие крови благословляли нас протоиереи. А про церковь мы знали: «врата адовы не одолеют ю». Ну-с, а теперь куда я пойду? Твердыня взорвана, острижен поп. Все, чему полвека веровал, что любил, — все насмарку! Так пускай в некоем высшем разуме совокупят происшедшее, ибо аз не вместих! Я вон путать стал, кто взял аул Гильхо. Я ли взял или Войноранский? А посему моя воля — на тот свет в пурпуровом венчике... Накось, выкуси!

Горецкий 2-й, как плохой король Лир, надменно вышел из комнаты.

Вдруг красное лицо его снова появилось в дверях. Он был окончательно вне себя, он крикнул:

— Полвека ступал правой ногой и вдруг пошел левой. А порох-то вышел. В расход, старичок! Но не смирно в расход, а с подъятою левой!

Горецкий дрыгнул ногой, к радости девочек прокричал петухом и ушел.

— Обожди, дедушка, — крикнул товарищ Петя и, подойдя ко мне, сказал: — А ваше писанье я обязательно заберу, будьте благонадежны...

После истории с проглоченным барабаном у меня к себе мало доверия. Вдруг случится со мной раньше времени то, что у нас с черным Врубелем назначено на октябрьские торжества. Передо мной всего две недели; надлежит мне торопиться занести только самое главное по линии Михаила.

Ну вот: я уже говорил, что в тот день, когда сентябрьское утро вставало такое румяное, а телега в одну лошадь везла черный гроб с телом Каракозова, провисевшим весь день до ночи, у меня впервые возникла в ушах эта мерзкая дробь барабана. Чтоб ее заглушить, я, не зная другого дурмана, пил непробудно неделю. Очнувшись, я, не колеблясь, пошел к одному прекрасному особняку. Я чувствовал в себе несметную силу, не боялся

ни смерти, ни жизни и знал, что сейчас моей воле покорится всякий, кого я изберу.

Покорится даже он — шеф жандармов.

Я выбрал его не потому, что сейчас мне близка была участь друга, а потому, что шеф был каменный. Мне же надо было разбить камень. Что касается чувства дружбы и прочего, их я забыл. Я сам каменел.

Только собирался я узнать, когда принимает хозяин, как сам он, граф Шувалов, вышел из подъезда.

«Судьба», — подумал я, и мне это придало решающую дерзость.

— Я должен с вами говорить, граф, секретно, — бросил я ему, как приказ.

Неподвижное лицо графа еще более застыло, и, сделав пригласительный жест к двери, он неспешно сказал:

— Я собирался было по личному делу, но оно подождет. Я к вашим услугам.

Мы вошли в переднюю. И так отвратительно иной раз повторяются вещи: граф повел меня в ту же комнату, где был некогда памятный наш разговор. В этой комнате было все как тогда: ящики, запасная посуда и на подоконнике тот же стеклянный колпак. Я подумал невольно, нет ли под ним синей мухи. Мухи не было. Мне пришло в голову, что эта комната устроена тут нарочно. Я глянул на Шувалова и удивился, как за это время он постарел. Это был уже не мраморный красавец, а постаревший каменный истукан. То, что зовем мы душой, та, просвечивающая в чертах, внутренняя жизнь человека, казалось, окончательно от него отлетела. Сейчас это был механизм.

— Что же вы имеете мне сообщить? — спросил граф, стоя сам и предлагая мне сесть.

Но ни его отстраняющий вид, ни холодный прием, наметанный большой властью, — ничего меня сейчас не смущало. У меня возникла в ушах снова мерзкая дробь барабанов, и, заглушая ее, я с бешеной внутренней силой сказал:

— Я прошу вас доставить возможность Михаилу Бейдеману быть лично допрошенным государем.

— Вы нездоровы, — сказал опешивший от дерзкого тона Шувалов. — Раз навсегда по поводу этого узника дана резолюция начальству: о нем ничего не известно.

— Но вам лично, граф, должно быть известно, что этот узник близок к безумию, что сейчас, после судопроизводства и обличения всех причастных к делу покушения, еще очевидней стало, что Бейдеман вовсе не связан ни с какими организациями. Граф, он оговорил себя сам, у вас и раньше мелькала догадка, что он безумец. Прошло шесть долгих лет, неужто нельзя сделать проверку?

По недрогнувшему лицу графа пробежало не чувство, нет, а будто какое-то соображение. Глаза его, точные и острые, какие должны быть у летчика перед сложным маневром, умно глянули на меня, когда он сказал:

— Я сделаю все, что возможно.

Но, тут же спохватившись, как примернейший формалист, он добавил:

— Если, разумеется, такой политический узник числится в списках. Будьте через неделю у вашей тетушки, графини Кушиной, и я дам вам ответ.

Я поклонился, мы вышли вместе.

. . . .

Я все еще не мог жить, как раньше, и всю неделю пил. В воскресенье я пошел к тетушке.

Когда я входил в салон, европейский старичок громогласно объявил, что сейчас пожалует граф Шувалов с интереснейшим письмом от священника Палисадова о последних минутах Каракозова.

— Эта конфиденция — чистейший плод недоразумения. Вы слыхали, что произошло на поле казни? — обратился к тетушке сенатор. — Граф спросил Палисадова, чистосердечно ли раскаялся преступник, и тот с необычайным для него достоинством обрезал: «Это секрет духовника!» Но, увы, достоинство модного пастыря не изменило ему лишь до тех пор, пока он не узнал о своей ошибке. Он было принял графа Шувалова за кого-то из обыкновенных смертных, но тотчас испугался и разрешился витиеватым посланием, которое вы будете иметь удовольствие сейчас услыхать.

— Какой ты нынче желчный, — сказала тетушка. — Хотя, положим, Палисадов мне самой не угодил — русскому попу французить непристойно. Но, бог с ним, в проповедях он соловей. Ты лучше объясни, что стало с графом: чисто монумент.

Славянофильский старичок, бывший на ножах с европейским, быстро поспешил сказать:

— Я сделал наблюдение, графиня, что все русские люди, коим идеал — Европа, презирая отечественную безалаберность, впадают в смехотворную крайность, втискивая год, месяц и каждый день до получасового интервала в свою записную книжку. Безалаберность, точно, уходит, но с ней вместе и весь человек.

— Вот и выходит, что прав мой садовник Тишка, — сказала тетушка, — когда говорит: «Не в свой срок поспеет ягода, тотчас и скашлатится».

— Граф Шувалов скашлатился... — смеялись кругом.

Однако насмешка превратилась мигом в любезнейшие улыбки, едва лакей доложил о графе, и тот вошел, как всегда, великолепным и внушительным царедворцем.

Ни в его рукопожатии, ни в скользящем надменно взоре, на миг относившемся и ко мне, я не мог прочесть того, что̀ он мне скажет. Мне даже показалось, по привычному элегантному движению, каким он вынул отереть усы ослепительный носовой платок, распространяя крепкие, но фешенебельные духи, что он позабыл наш разговор и меня самого не отличает от привычной ему тетушкиной мебели.

По просьбе присутствующих граф стал читать письмо Палисадова.

Письмо было исполнено гнусной пошлости и самого лживого ханжества. Но мужчины и дамы, вытянув шеи, с таким алчным любопытством слушали эти бездушные упражнения в элоквенции о последних минутах замученного человека, что меня вдруг охватило отвращение. Внезапно я перестал видеть лица. Вместо лиц мне почудились сплошь блины. Блин с усами, блин без усов. Ни глаз, ни характеров...

И сейчас едва вспоминаю того, с сероголубыми глазами, и слышу необычайный голос его там, у Летнего сада:

«Дураки, я ведь для вас...»

И потом жадность уличной черни, бегущей на казнь, и жадность черни светской — услышать пикантное о последних минутах казнимого... Мне стало так страшно, так страшно!

Не могу, нырну под койку...

Полежал часочка два за мешками. Обошлось. Ни девочек, ни Ивана Потапыча еще нет дома. Я до их прихода опять прилично улегся в постель. А за мешками мне в полумраке легко, будто выскакиваю на другую планету. Если б рассказать, что я вижу, закрывши глаза, что я слышу!

Однакоже нет, я не стану рассказывать: получился бы вред государственному ходу машины, ибо всякий гражданин вместо службы и прочих приличных занятий стал бы учиться выпрыгивать вон.

Но тогда, у тетушки, я еще дорожил мнением о себе, и, выпятя грудь и сделав в меру почтительное выражение, я подошел ближе к дверям, чтобы при выходе графа расспросить его про наше дело. Граф должен был в тот же вечер прочесть свое письмо еще в двух домах и очень торопился. Он подходил уже к ручкам дам; мимоходом, не глядя на меня, он мне обронил:

— Просьба не может быть уважена, его в списках нет.

Помню, я молча поглядел на его хищную, грациозно извивающуюся в поклонах спину и подумал: «Шеф жандармов солгал!»

Я ушел от тетушки, ни с кем не прощаясь. Кому мне было жать руку: блинам с усами, блинам с буклями? Я пошел домой, чтобы застрелиться. Мне это было так просто в тот вечер и так

неизбежно. Одно меня смущало: кому передать для Веры глиняного петушка? У кого не блин, у кого лицо? Кто человек?

Передо мною возникла вдруг сама Вера, как тогда, на крыльце лагутинского дома. Беловатым огнем сверкнули ее светлые глаза, и, опять вспыхнув, сказала отцу:

— Вы этого не сделаете, батюшка!

Лицо было у Михаила и у того... с сероголубыми глазами. Даже с высоты черного эшафота, у позорного столба, синемертвенное — это было лицо.

Еще необыкновенным, единственным я запомнил лицо Достоевского. Если б я знал, где он живет, я бы пошел к нему. Пред тем, как уйти совсем отсюда, я должен взглянуть на лицо человека. У себя дома, в зеркале, ведь я тоже вижу лишь блин. Но я не знал, где жил Достоевский.

Вдруг предо мною непрошенным всплыл некий адрес. Яркий, черным крупным шрифтом, на белом квадрате, как намедни были объявления о казни. «17-я линия, дом...», и голос серебряного румяного молодого старика Якова Степаныча:

— Придет час, по адресочку приди!

И, не рассуждая, я пошел.

ГЛАВА VII

Один адресок

Да, шеф жандармов солгал...

Но мне с каждым днем все труднее писать. Приближаются октябрьские торжества, и мое тело все легче, все легче. Теперь я уверен, что даже без упражнений, которые запретил мне Иван Потапыч, я полечу, когда черный Врубель даст знак. Да, через две недели мы соединимся для «великого опыта».

Товарищ Петя Ростов-Тулупов приходил еще раз уже без Горецкого за моими записками. Я рассказал ему, как в чулане достать у нас лестничку и, прислонив ее к железной печке, взять наверху рукопись. Я там спрятал ее от мышей. Я передал Пете все мной написанное, взяв обещание, что он придет через две недели еще, обязательно накануне двадцать пятого. Придет и унесет главу последнюю о последних событиях...

Я больше не могу писать связно, у меня мысли толчками, будто отара овец там, в горах: чуть без пастуха, разбегаются. Да, мысли мои — одни, без пастуха, и все лезут в голову сразу. А бумаги-то кот наплакал. Иван Потапыч больше не дарит. После сумасшедшего дома говорит: «Пиши сверху писанного, не все ли тебе равно!» Что же, напишу самое главное про себя и про Михаила.

Шеф жандармов солгал, царь с ним видался.

Как я об этом узнал? Хотя не сказка, но похоже на сказку. Мне все рассказал Яков Степаныч.

. . . .

Он сам отворил мне дверь. Комната была узкая, помню половик из разноцветных тряпок, какой плетут чухонки зимой. Яков Степаныч меня узнал; не только не удивился, а будто бы ждал:

— Посидите на диванчике, пока я отпущу пришедших; уж извините — приходят.

Он поклонился, пошел в комнату рядом, но дверь не закрыл за собою, и разговор мне был слышен. Мерцала из угла лампада, чернел темный лик. Я почему-то подумал, что Яков Степаныч старообрядец.

— Опять, батюшка, запил, опять, — говорил со слезами старик, вероятно — про сына. — Убить я могу, гажусь я им, опоганел он мне... Легче убить его мне, чем злобой давиться.

— Немедленно передай торговлю старухе, а сам вон из дому, вон! Стань работать, как давеча, год назад. Кули потаскай, гнев разгони: сам родил, сам. А порешишь его — не исправишь. Отопьет сын свое, я его в мыслях держу, отопьет — сам ко мне придет, как тогда, адресок вспомнит. Год целый не пил, а сейчас два не станет. Опять оступится, опять подбодрим. И прутья целым веником никому не сломать, а поодиночке — мигнуть не успеешь.

— Верю, отец, тебе, верю, — сказал восторженно старик и земно поклонился Якову Степанычу. — Пойду отработаю за его душеньку и всю выручку нищей братии...

Старик вышел, высокий, в пальто, с седой бородой, похоже — небогатый купец. Мне он поклонился со словами:

— Не печалуйтесь, барин, и вас Яков Степаныч, отец наш, рассудит.

Яков Степаныч сам проводил гостя, запер дверь на засов и, вернувшись, еще раз весело сказал мне:

— Извините-с.

Он принимал теперь старуху.

— Уж плачу, рекой изошла, в ногах у ей вяну... не слушает! — ноет старуха. — Как это села она уже три дня на сундук, ни пищи, ни сна, глаза — что чашки, уставила в угол, молчит. Опять, видно, в петлю затеяла. Кум да кума с ней, а я к тебе: облегчи, отец.

Старуха свалилась на пол. Яков Степаныч строго крикнул, подымая:

— Ленива ты, мать! Себя лишь слезами тешишь, а ей твои слезы — банный пар, вконец запаривают. А ей надо б силы поддать. Силушки жить у иного нехватка, бодрить надобно строгостью, да не с бабьей злостью твоей, а с одним гневом за лик человеческий. Эх, глупа ты, мать, что с тебя взять! Хоть силком,

с кумой и кумом, тащи твою дочку ко мне, а не расположится — скажи: сам, старик, к ней зайду.

Яков Степаныч проводил благодарившую старуху, опять запер засов и, как добрый врач, сказал мне:

— Пожалте-с!

А у меня вдруг пропала охота с ним говорить.

«Василеостровский гипнотизер, — подумал я, — он, чай, и меня включил в число своих клиентов. И куда это платить ему: на стол или в руку?»

Комната была очень чистая. Вся беленая, без обоев. Постель, стол, два стула, на которых мы сидели, и все белое, но на больничный номер не похожа. Полка книг над столом. Я с изумлением отметил Ренана «Жизнь Иисуса» по-французски.

Яков Степаныч тотчас это заметил.

— Ренан вас дивит? Это Линученко мне подарил. Всю книгу с начала до конца самолично мне перевел и на память оставил. Вот завтра на хутор поедете, так особенно поклонитесь ему; твердый он человек.

Старик взял меня за руку и взглянул ясными, на первый взгляд простоватыми глазами.

— Я вовсе на хутор не собираюсь, откуда вы взяли? — сказал я, защищаясь от неприятного мне напора чужой воли.

— Обязательно соберетесь, обязательно... — очень серьезно сказал Яков Степаныч, — сами увидите, что иначе нельзя. Я о вас всю неделю подумывал. Адресочка не знаю, да и сказывали люди о вас, что вы с самого дня казни и дома-то не ночуете.

— Что вы, сыщик, что ли? — вдруг рассердился я.

— В особенном смысле, пожалуй, что и да, — усмехнулся Яков Степаныч, — без сыска и помощи не окажешь. Но перейдем к делу. Дело важное есть. Из-за этого дела я пристально дни и ночи о вас думаю, и вот посчастливилось: ведь всплыл у вас адресок-то, припомнили...

— Колдун вы, что ли? — Я хотел, чтобы меня возмущал шарлатанский прием старика, но внутри я ему почему-то сразу поверил.

— Никакого колдовства на свете и нет, сами вы знаете, и я знаю, — спокойно заговорил Яков Степаныч, — а может быть только большая воля у человека. У одного — к добру, у другого — к злу. В обоих случаях, если при тщательном упражнении пристально думать, достигаются вещи, которым принято изумляться, а они вроде как телеграф. В Индии всякий голый факир, как фокус, делает... И у нас есть мужички. Я дедом обучен. Но не во мне сила. Я вам имею сообщить секретное дело для Линученка. Про такое не написать... Ну, словом: того офицера, заключенного в равелине, о котором денщик ваш Петр тогда при мне говорил, я на днях видел.

Яков Степаныч, лампада и темный лик спаса вдруг подернулись голубой мглой. Мгла поплыла, стало темно.

Измученный безобразным пьянством, бессонными ночами, я не выдержал внезапности сообщения. Очнулся я на белой кровати Якова Степаныча. На голове у меня был компресс. В комнате пахло чебрецом и мятой. Яков Степаныч ласково и по-бабьи, как бабушка, хлопотал вокруг меня, причитая:

— Прости, родной, прости, голубок, огрел я тебя, как медведь пустынника! Просчитался, старый дурак. А уж износил ты себя, износил...

Я совершенно пришел в себя и сел. Яков Степаныч взял меня за обе руки. Уже не защищаясь, я повлекся к нему с детским доверием. Просто узнал: все, что скажет он, чистая правда.

— Оправился? Ну, испей капель и лежи себе ровно, а я расскажу по порядку. Запомнить ты должен слово в слово. Сам поймешь, как услышишь. Этого записать нельзя.

И вот то, что я запомнил.

Граф Шувалов неделю тому назад присылал за Яковом Степанычем, принял его тайно и дал приказ: ночью, около часа, ждать его близ решетки дворца направо к Неве. У Якова Степаныча с Шуваловым дело не первое: он был истопником во дворце по рекомендации кума, тамошнего служащего, и граф его очень отметил: был у него на дому, уверился, что он не болтун, компании не водит, а живет по своей линии. Яков Степаныч через это доверие графа, по словам Линученка, оказывался многим полезен.

Итак, ночью Яков Степаныч был у решетки дворца, далеко до часа. Вдруг видит: карета Шувалова. Кучер его признал и по данному знаку сейчас же взял на козлы. Открылись бесшумно ворота, кучер подъехал к дворцу, ночь черная, зги не видать, на дворе часовые, у кареты два жандарма.

Вышел граф, жандармы вынесли кого-то, за темнотой не разобрать. Рост высокий, на ногах и руках кандалы. Выйдя, он не хотел дальше итти. Жандармы его тотчас под руки, подоспел третий, подхватил ноги. Лязгая цепями, внесли мигом в тамбур, тот, что внизу, в подвальном этаже; Яков Степаныч с графом вошли следом. Захлопнулись обе двери. На ключ их и на засовы. Тогда осветили большим фонарем винтовую лестницу, что ведет в следующий этаж, в особые покои императора Николая. Жандармам с револьверами наготове граф приказал остаться у наружных дверей, как только ввели они через порог этого человека. Дверь за ним запер граф собственноручно. Якову Степанычу приказал стать в первой комнате у бронзового бюста Михаил Павловича и по первому знаку кинуться на помощь, если приведенный станет бесноваться. Яков Степаныч запомнил, граф так и сказал: «бесноваться». Сам же граф вынул револьвер и, держа

его в левой руке, правой открыл следующую дверь в спальню и вполголоса доложил сидящему у окна:

— Мы прибыли, ваше величество!

Граф взял под локоть нежданно послушного узника, с трудом переступавшего по ковру, звеня кандалами, и продвинул его за собой. Горели свечи в бронзовых канделябрах на столе. Царь сидел спиной к окну, к тому, что выходит на Неву и Адмиралтейство. На окнах были тяжелые двойные занавеси. Шувалов поставил узника направо, наискось от царя; свет бил ему и царю прямо в лицо.

Хотя царя отделял от него огромный письменный стол и в проходе между стеной и столом стоял граф Шувалов с револьвером наготове, за дверью два вооруженных жандарма и Яков Степаныч с веревкой в руках, врученной ему на тот случай, если узник начнет «бесноваться», Александр II был очень бледен и как будто испуган. Между тем высокий человек, стоявший перед ним, если б и захотел, едва ли имел силу что-нибудь сделать. Он был закован. Его руки висели, как плети. Тонкие длинные пальцы ровно вытянуты и прижаты к солдатской шинели, надетой на него, по случаю поездки, сверх арестантского халата.

Он поражал страшной худобой. Скулы на щеках были обтянуты темножелтою нездоровою кожей, к которой черные как смоль борода и усы были словно приклеены. Невыразимое страдание было на лице его. Зрачки глаз, яркие и большие, как бы вопияли к кому-то, моля о сознании. Высокий лоб был мучительно сморщен, длинная шея вытянута, все тело застыло в неслыханном напряжении.

Он хотел и не мог что-то припомнить.

Возможно, что граф не предупредил узника, что везет его во дворец для свидания с императором, или же, предупрежденный, от слишком большого волнения заключенный сейчас был разбит.

— Я думаю, что он не понимает, где находится, — сказал царь Шувалову, — предлагаю вам ему разъяснить.

Шувалов подошел близко к закованному человеку и сказал ему, как говорят глухому или иностранцу, излишне расчленяя слова:

— Государь по своему милосердию оказал вам неслыханную милость, приказав привезти вас из крепости во дворец. Шестилетнее заключение, надо надеяться, привело вас к полному раскаянию в злодейских помыслах вашей юности. Откровенно назвав всех вовлекших вас в пагубное заблуждение, вы тем самым смягчите свою участь. Вы поняли? Пред вами сам государь.

Вдруг узник выпрямился, закинул голову назад, глаза его загорелись дивным огнем...

Помню, тут Яков Степаныч показал мне на проповедующего Иоанна Крестителя на гравюре Иванова, висевшей у него на стене. Михаил вдохновенный действительно на него был похож.

Голосом хриплым, лающим, отвыкшим издавать человеческие звуки, узник произнес:

— Самозванец!

И, взмахнув рукою, гремя цепью, крикнул еще громче, сделав шаг к императору:

— Самозванец! Царя давно нет, я его смертью купил благо народа! Я даровал конституцию... Приказываю вернуть Чернышевского! Министрами Огарева и Герцена. Чего стоишь идолом? — кинулся он к Шувалову. — Беги! Выполняй! А этого самозванца... — узник повернулся к побледневшему царю. Вдруг он словно признал его. В бешенстве, потрясшем все его тело, он поднял оба кулака над головою и крикнул:

— Палач! Да здравствует Польша! Да здравствует свободная Россия!

Шувалов стремительно закрыл узнику рот, крикнул Якову Степанычу:

— Держи его за руки!

Яков Степаныч подскочил, но держать ему пришлось падающее без чувств тело узника, силы которого надорвались.

— Ваше величество, — сказал Шувалов, — вы видите, он совершенный безумец. Прикажете, быть может, перевести его в Казань, в дом умалишенных? Это — отдаленное место, где держать его можно в одиночестве.

Царь встал, молча подошел к распростертому на полу бесчувственному страдальцу и долго смотрел на него. Страшно бледное лицо его дрожало от неразрешившегося гнева. Холодно и недовольно глянув на Шувалова, он сказал:

— Пусть узника водворят на прежнее место, — и, помедлив, прибавил, — для примера.

Шувалов впустил жандармов. Все еще бесчувственного человека они подняли и унесли. Яков Степаныч отметил: как у мертвого, в одну сторону свисали его руки, окованные кандалами. Страшно выдавался орлиный, заострившийся нос из-за впавших щек и черной спутанной бороды.

. . . .

Вот что я запомнил на всю жизнь — слово в слово.

ГЛАВА VIII

Опять на родине

«Помимо занятых клеток, в мозгу человека есть еще масса свободных клеток для ощущений и представлений новых, имеющих еще проникнуть в мозг данного индивида, словом — запасной склад клеток, незанятых и свободных, куда можно было сложить будущий материал...

«И дальше по Мейнерту: клеток в мозговой корке от 600 до 1200 миллионов, количество же наших представлений несравненно меньше. Кроме того, сила человека тратится в каждодневной жизни на прохождение волевых импульсов по проводниковым путям. Да, на это времени тратится в пять раз больше, чем на образование представлений.

«Ну-с, а если волевые импульсы прекратить и всю силу собрать на одно? И кто знает, какие новые представления, а за ними какие новые открытия станут уделом незанятых клеток? Быть может, человек вновь откроет...»

. . . .

Эту выписку нашел я на листке голубой бумаги, написанной тончайшим, но не женским почерком, в старой «Ниве» с картинками, которую дал мне смотреть Иван Потапыч. «Ниву» же он вчера выменял на махорку еще с пайковых времен.

Я потрясен этой запиской. После слов «вновь откроет» приложен рисунок колеса Фортуны: колесо с двумя крылышками, летучее.

Да ведь это — как раз то, что мы с черным Врубелем знаем. Ко-ле-со!

Все у нас точно условлено, старший врач прозевал. Ему б нас рассадить, а не оставить шептаться. Дошептались, хе-хе...

Попросим у Ивана Потапыча ножницы. Надо вырезать кое-что из газетной бумаги, а ножницы он не дает. Повернулся ко мне от бритья, щека в мыле, скосил глаза под кустистой бровью, и будто не Ивана Потапыча голос, а того... художника черного:

— Проткни горло, проткни!

Ну, конечно. А я-то мучился, я позабыл...

Проглотить колесо надо накануне, чтобы за ночь оно вставилось в кадык, как пропеллер.

А днем, едва толпы народа заполнят проспект и музыка хватит под окнами, надо впустить воздух, чтобы началось вращение колеса. И вот я забыл... что именно для этого нужно сделать?

Утомленный мельканием колеса жизни, я овладел ключами, я прочел книгу, я понял символы. И мне разрешено передать мое знание. Для передачи нужно общепонятное действие.

Посредником между центрами движения и чувствительности служат нервы. Ну, а передачу между глубоко скрытым центром полета и первым удачным взмахом рук-крыльев еще надо создать!

Но мы догадались. Близка наша благая весть и другим.

Теперь ясно: на улицу Иван Потапыч меня не отпустит. Бежать у меня нету силы, ноги колодой. Придется лететь одному. К черному Врубелю я уже послал с этим известием воробья. Открывали форточку, и влетел воробей. Как только я сказал ему адрес, он вылетел, и напрасно Иван Потапыч собрался ловить его длинным сачком: воробей — по-польски ведь Врубель, хе-хе...

Колесо, по моим просьбам и слезам, вырезали девочки. Каждая по колесу. Если одного будет мало, проглочу и другое. Но, пока Иван Потапыч не сказал: «проткни горло!» — я не знал, как мне принять воздух из сфер. Впрочем, как уже сказано, через Ивана Потапыча шел мне приказ от *иного* учителя.

Теперь только одно: к двадцать пятому октября украсть ножницы!

Я стал очень волноваться. Кричать я боялся, но каждый раз, как Иван Потапыч проходил мимо меня, я вытягивал шею и шипел, как змей. Деликатней и ясней нельзя было объяснить ему, что, задерживая мировое открытие, он уподобляется пресмыкающемуся. Но по невежеству Иван Потапыч не понял ничего, а девочки по невинности очень смеялись.

— Пиши свои сочинения! — крикнул мне Иван Потапыч и, как ему теперь стало обычным, сунул мне в руку перо.

Только взял я перо, как увидел на печке Якова Степаныча. Он сначала был маленький и похож на «американского жителя». Ему это было надо, чтобы сползти с печки по бечевке от душника. Когда он подходил ко мне, он был уже обычного своего роста, в люстриновом блестящем пиджачке, серебряный и румяный. Обе руки положил мне на голову.

— Успокойся и людей не пугай! Возьми глиняного петушка и Вере Эрастовне передай все, что видел.

Я взял глиняного петушка, и он перенес меня на хутор Линученка в комнату Веры.

Или нет, нет. Я ехал долго: и по железной дороге и на тройке мимо пожарища былой лагутинской усадьбы... Впрочем, не все ли равно, как я добрался, раз я попал?

В комнате было светло от первого выпавшего снежка, окна только что вставлены, чисто промыты. Сквозь стекла гляделись какие-то кудрявые молодые деревца. Они не хотели сдавать земле свои еще крепкие листья и предерзостно зеленели, продираясь сквозь снежную пелену.

Вера лежала высоко на подушках, покрытая из разноцветных шелков испанским одеялом. Это одеяло я помню с детства. Когда она бывала больна, я сидел около, и мы играли. Гуляли, как по парку, по дну морскому, по лунному кратеру — по тончайшим оттенкам шелковой ткани.

Вера смотрела в окно и не заметила, как я тихо вошел с Линученком. Я с трудом узнал ее, так она исхудала. Она была прозрачно бледна, косы, без прежнего золотистого блеска, мертво и ровно лежали по плечам.

— Вера! — позвал Линученко. — Сережа приехал!

Она легко повернула голову. Глаза ее — огромные, пустые — в какой-то надежде глянули на меня. Она чуть протянула мне руки. Я стал на колени. Я взял эти бледные, слабые пальцы

и приник к ним губами. Как я мог забыть ее? Я любил Веру за то, что не мог разлюбить. Едва видел ее — я любил.

— Он с вами видался? — спросила она, не называя кто.

— Он был накануне и просил меня вам передать, что больше ему ждать нельзя, он чувствовал себя очень больным. Он посылает вам любимое, что осталось от детства.

Я отдал Вере глиняного петушка. Но едва она взяла его и слезы безмолвно полились из глаз, мне стало невыразимо мучительно. Повинуясь сложным и едва ли добрым чувствам, не щадя ее слабости, я сказал:

— А Яков Степаныч видал Михаила. Он был свидетелем его свидания с царем; Михаила в кандалах привезли во дворец.

— Что вы делаете? — вскричал Линученко.

— Говорите, Сережа, я умру, если вы мне не скажете...

Она села. Судорожно сжала петушка, как бы держась за него — совсем как делал это я, когда бродил как безумный после покушения в Летнем саду.

Я ей все рассказал. Она слушала, не двигаясь, не дыша, так, что мне вдруг показалось, что она умерла. Я прервал речь и кинулся к ней. Она отвела меня рукою и твердо сказала:

— Я слушаю. Я все понимаю. Не пропускайте ни слова.

Когда я кончил, она повернула голову к Линученку, долго молча смотрела и выговорила с мольбой:

— Друг мой, никого, кроме меня, не посылайте по Волге! Я в Казани останусь. Ведь когда-нибудь его туда привезут.

Вера откинулась на подушки и закрыла глаза. Я вышел вслед за Линученком.

— Зачем вы ей рассказали? — начал он и перебил себя: — Впрочем, для нее так лучше. Для нее, не для вас.

Он испытующе и жестко мне глянул в лицо.

— Однако я сейчас не могу говорить с вами, придите ко мне поздно вечером. Но придите непременно!

Я пошел бродить по местам, родным с детства, с ними прощаться навеки. Я был уверен, что больше сюда не вернусь. Кончилась эта жизнь...

Ведь каждый живет несколько жизней. Изживает одну, временно пребывает, как труп, нет — как земля, под снежным саваном с мертвой травой и с глубоко дремлющим новым семенем. И, как земля от морозов, от лютейшего горя отходит убитый человек. Опять держится, опять, как и все, заполняет каждый свой день. Только ночи не те. Ночью у того, кто знал смертную муку, сама смерть держит сердце в руках; сама смерть не дает ему сна, не дает отдыха.

Но это ночью.

Наутро я уезжал на Кавказ. Сейчас я пошел по избам прощаться с молочными братьями, с крестниками, с кумовьями. Там

мне так усердно наливали настойками «посошок» в дорогу, что перед тем, как итти к Линученку, я прошел к круглому озеру, к «Ведьмину глазу», чтобы отрезвиться.

Вот и большой камень, где семь лет тому назад сидели мы втроем, полные муки и надежд, каждый своих. Сейчас один из нас — безумец, погибший для жизни, а мы с Верой — разбитые люди.

Но озеро все то же: весь день застывшее, словно зеркало, ночью оно дивно менялось. Тысячеглазое небо отражалось в воде, звезды вверху мигали звездам внизу и зарождали в воде совсем необычайную жизнь, которую не видать днем.

Мелкая рябь, как холодок по взволнованной коже, пробежала от одной звезды до другой. Под мелкой рябью чье-то смутное очертание, большое и темное, заколотилось глубоко на дне. Словно хотело оно вырваться, родиться наружу, и не умело.

На синее небо вышла луна, белыми лебедями проплыли облака. Луне отдавая почет, отступили вглубь звезды, и, как созревшая равнодушная красота, смахнув облачных лебедей с чистого неба, в свое чистое зеркало — озеро, на себя одну залюбовалась луна.

Вот на дне закипели ключи: из вязкого ила, из тяжких пут и водорослей в судорогах выбивалось наружу плененное. Выбралось. Ударило в зеркальную гладь и на миг, на один только миг, разбило уверенный точный круг луны в миллионы сверкающих искр. Огнем зажгло озеро. На миг, на один только миг.

Ушла луна, огни умерли. И, торжествуя над усмирившимся бунтом, звезды вверху улыбнулись звездам внизу, как древние авгуры, храня про себя свою тайну.

«Но едва взорвешь все пограничные камни, земля станет легкой, и ты полетишь!» Кто сказал это, кто? Все равно, кто. Он сказал, а я сделаю.

Полечу. По-ле-чу. . . . .

. . . .

Прошло полвека после этого разговора, а я до сих пор ненавижу его, Линученку. Этот человек обобрал меня и оставил жить. Есть вещи, которых или нельзя говорить вовсе, или, сказав, надо человека прикончить. Впрочем, мало кто подозревает силу слова, мало кто умеет действовать словом как оружием. Люди ссорятся, любят, изменяют, порой убивают, и все это как-то помимо друг друга. Каждый выставил в жизнь вместо себя заместителя, а сам скрыт.

Линученко добрался до меня самого, до того, кого знал только я. И только сам себе, и то в иную минуту, имел я силу сказать то, что открыл во мне, не повышая голоса, этот приземистый неприятный человек.

— Вы, я слышал, едете на Кавказ? — сказал Линученко, запирая комнату на ключ, чтобы никто не вошел. — И, надеюсь, надолго?

— Еду. Но почему вам приятно «надеяться»?

— Потому что иначе мне пришлось бы вам предложить прекратить с нами общение. Мы переходим на такую деятельность, которая безразличных свидетелей не выносит. Дальше недопустимо быть вам ни с нами и ни против нас. И еще я хотел вам сказать... как видно, вы сами не знаете... мне дает на это право известная привязанность к вам, как к человеку, знакомому с детства.

— А я думал, вы меня презираете, — вырвалось у меня.

— Пока не за что, насколько я знаю, — он сказал без улыбки, что меня очень кольнуло. — Но предупредить вас мне очень хочется. Вы разрешаете?

— Я вас прошу, — сказал я, ненавидя это скуластое твердое лицо.

— Вы уже не юноша, а все еще безответственны. Между тем пора бы знать вам, что мысль, чувство и воля должны быть согласованы. Говоря вашим военным языком, вам пора сделать себе инспекторский смотр, мобилизовать свои силы, наметить себе в жизни ту или иную позицию. Несобранные люди — худшие из предателей.

И, сверля меня узкими зелеными глазами, он бросил:

— Признайтесь, вы пытались изменить участь Михаила? Я уверен, что вы говорили с Шуваловым.

— Разве попытка смягчить участь друга, хотя бы и неудачная, есть предательство?

Мне показалось, что человек этот говорит оскорбительные вещи, но я не чувствовал гнева. Он говорил так бесстрастно, как какой-нибудь старший механик, сосредоточенный на том, чтобы части машины были свинчены скоро и точно.

— Если вы, хлопоча за Бейдемана, допускали по вашему слабоволию, как сейчас вы это сделали в разговоре с Верой, хоть тень чувств иных, разрушающих ваше стремление ему помочь, — вы его так или иначе предали. Разве вам не известно, что капля собачьей крови, привитая кошке, убивает ее? Там, где нет цельности воли, лучше не действовать. В вас этой цельности нет, а вы, как я уверен, действовали. Фактов я у вас не спрашиваю. Формально вы даже можете оказаться правы. Из своей среды вы вышли, но и к нам не пришли. Мы же — сплав одного металла. Прощайте!

Я опять подумал, что, быть может, надо вызвать его на дуэль, но вместо этого я поклонился ему сухо и сказал:

— Прощайте, если это вам угодно. Я еду завтра навсегда. Но я хочу видеть Веру наедине.

— Хорошо, — сказал Линученко, — все равно больше повредить ее здоровью, чем вы это сделали, вы не можете.

— К чорту ваше менторство! — закричал я, теряя терпение. — Я к вашим услугам. Можно и без секундантов, на жребий... Американская дуэль.

Он посмотрел на меня отрывисто и прямо, как смотрят, кидая слово «дурак», но слова этого не сказал, пожал плечами, открыл дверь и вышел.

Ночь я не спал, я считал, сколько раз я предал Михаила. Я насчитал четыре. Да, благодаря вмешательству моей воли, судьба этого человека четыре раза была мною повернута. А воля моя была не из чистого, не из цельного сплава. Следовательно...

Первый раз я дал Мосеичу «Колокол», чем помешал соединению Веры и Михаила. Второй — я внушил Шувалову иное освещение всего дела, чему следствие — Алексеевский равелин, а не дом сумасшедших, откуда бы друг мог бежать. Третий раз я, чувственно увлеченный Ларисой, с пробудившейся завистью к безоружному другу лишил его мощной заступницы. Четвертый и последний раз, вовсе не помышляя об освобождении друга, а лишь желая разрядить свою собственную боль, я подвел его, уже безумного, под вечный гнев Александра II.

Пусть оправдывают меня присяжные судьи. Я в старости знаю лишь то, что я знаю.

Не только твой поступок — твоя злая мысль, твое злое чувство могут быть той решающей тяжестью, которая потянет книзу горькую чашу чужой судьбы.

ГЛАВА IX

Паук и удод

Я слежу за окном. Сегодня чуть было не случилось несчастья. У Ивана Потапыча вышел спор с девочками; он требовал, чтобы окно замазали, девочки стали плакать и божиться, что замажут двадцать шестого. Все к тому, чтобы двадцать пятого был мой последний бой. Осталось несколько дней.

И еще мне сегодня знаменье, что решение взято правильно: за стеклом между рамами незамазанного окна, моего окна, появился...

Появился Паук.

Едва я его приметил, как Иван Потапыч, о ком-то повествуя, выразительно сказал:

— Преданный друг.

Какое слово, какое слово! Ведь не иное, а это — выражение

сильного чувства дружбы. Да, да, друг только и дорог, когда он предан.

У меня есть предан-ный друг и:

Паук. . . . .

. . . .

Как странно. Веру не должны были повесить, как того... с сероголубыми глазами. Отчего же лицо ее было, как у него, мертвенно-синее, когда я сказал ей, что уезжаю навсегда.

Мы молчали. Я держал ее за тонкие пальцы, потом, указывая на испанское одеяло, я сказал:

— Вот и опять мы с вами, Вера, как, бывало, мальчик и девочка, прошлись по разноцветным шелкам. Не правда ли, пусть кто хочет нанимает квартиру, пусть кто хочет покупает гарнитуры в гостиную и множит детей. Мы начали и мы кончим тут, в разноцветных шелках испанского одеяла. Я не знаю, что это было у вас; у меня, сколько бы женщин я ни знавал, — это была только любовь. Неистребимо единая, как у бедного Вертера. Прощайте ж, моя любовь, навсегда, я еду на Кавказ.

— Навсегда, Сережа?

Она была так поражена словом «навсегда», что внезапно я понял: она привыкла считать меня своей собственностью. Кроме того, с моим отъездом обрывались все связи с ее личным прошлым и оставалось на долю ее одно лишь суровое служение революции под железной рукой Линученка.

И вдруг на миг, на один только миг, мелькнуло в глазах ее не Верино, а простое, женское... И я понял: она испугалась.

— Навсегда, — твердо сказал я и, вспыхнув от всплывшей в памяти отповеди Линученка, добавил гневно: — Довольно быть мне при вас прикладным.

— Сережа!

Необычайная, впервые ко мне обращенная нежность пришла слишком поздно. Я был измучен, я был разорен. В этом выражении ее глаз, о котором мечтал я тщетно столь долгие годы, в ту минуту я лишь злобно прочел: она прикидывает, а вдруг можно со мной нанять ей квартиру, купить гарнитур и завести детей. Главное — детей. Ведь женщины в отчаянии, как заяц в кусты, вечно прыгают в этих детей.

— Навсегда, Сережа!

И в этот миг, мной угаданный, вернее по низкой злобе придуманный, случилось последнее ужасное несчастье...

Я выпустил ее руки и встал. Я ее разлюбил.

Неправдоподобно?

Нет, именно так и бывает.

Впрочем, понимаю я это только сейчас, а тогда я не знал, что я разлюбил. Мне только стало вдруг томительно скучно,

но и вместе необычайно легко, будто я весь стал пустой. Только бы выйти из комнаты, только б уехать.

И вот уже не я, а она сказала с мольбой:

— Если я вам напишу, что мне необходимо вас видеть, вы приедете, где бы вы ни были? Обещаете? В память прошлого нашего детства, в память юности...

Я молча стоял у окна.

Она, угадав, что со мной произошло, но, как и я, не умея назвать, приподнялась и сказала:

— Ну, в память Михаила?

Она нашла верное слово. Я подошел к ее постели и, протягивая руку, сказал:

— И в память того, другого, кто дал нам глиняного петушка. Клянусь честью офицера, что приеду, где бы я ни был. Знаю, что зря вы меня не позовете.

Мы не поцеловались. Я приложился к ее руке, как к руке покойницы, и вышел.

Помню, я ехал на Кавказ совершенным мерзавцем. По дороге пьянствовал, играл в карты и твердил каждому, что возвышенно любимая женщина потребовала, чтобы я ей купил малиновый гарнитур. А жениться я — чорта с два! Мне черный Врубель сказал, что каждый человек должен себя выразить художником. Завершиться и выразить. А в промежутке между человеком и невыраженным художником каждый просто-напросто негодяй.

Я был в промежутке. Как этот паук между окон. Однако скоро он ткет. Трудись, славный ткач! Он на чьей-то руке... Чья рука на такой высоте? И засучен по локоть рукав. А, это тетушка Кушина опять делает Михаилу перевязку. Матушка Михаила, будучи им в тягости, испугалась паука.

Паук отметил жизнь Михаила.

— В трамвае мужчина нонче как дятел сидит, — жалуется старушка-гостья Ивану Потапычу, — а ты перед ним с корзиной стой. Здоровый мужчина сидит.

Солнце ударило в окно. Паутина — золотая игла. Еще такая на крепости. Там сидит. Двадцать один год здоровый мужчина сидит. На руке у мужчины паук. То Михаил — мой пре-дан-ный друг!

Я нарочно поклялся Вере честью офицера, чтобы отмежеваться от них. И действительно, я офицер. Я кавалер орденов: Георгия, Анны, Владимира, персидского Льва и Солнца и многих иных... послужной список при мне. Перепечатан на теменной кости внутри, чтобы скрыть от правительства, как скрыта фамилия. Там же дела мои против немирных горцев.

Кроме войн, было куначество. И чудесный кунак был рыжий имам даже после того, как оказался преступником. Его судили за то, что на груди у жены разводил он горячие угли, пока

не прожег ей сердце. Но ведь жена обобрала его и бежала с другим. Он поймал и пытал.

А меня Вера обобрала безнаказанно: когда поняла, что теряет навеки, она в уме прикинула гарнитур. А я ей в ответ: чорта с два!

И все-таки: тот, кто воевал с немирными горцами, дружил с преступными, бывал ранен и награжден, заводил любовь с татарками и офицершами, тот был не я, а чорт знает кто.

Я же был и остался невыраженным художником. И поэтому я копил в памяти все восходы, закаты, запах горного воздуха, блеск кинжалов в попойках с резней и многое, не нужное никому. Я из лиц человеческих скопил три лица: лицо Михаила, лицо того, кто был повешен, и лицо Веры, которая для сердца моего умерла. Остальные мне были — блины. И, сам блин, жил с блинами. И когда ели блины, мы их запивали аи.

Но ордена я любил надевать и за честь офицера держался. И когда пришла эстафета от Веры из Казани с просьбой ехать немедленно и спешно — я выехал.

. . . .

Девочки очень смеются, мешают писать, допишу ночью; уже двадцать третье.

Девочки себе вшивают для сладостей большие карманы, их будут угощать комсомольцы. Пусть тащат — дело детское.

ГЛАВА X

Миргил

Я пишу ночью. Колесо проглотил. Устанавливается в кадыке. Легкая щекотка, но терпимо. Я лишен речи: мычу. Впрочем, речь ни к чему. Но завтра иное действие... убедительнее речи. В мозжечке кружится кое-что, набирает пары. Допишу, брошу перо и до утра продержу затылок ладонями, а локтями: мах, мах!

Этому я научился от Михаила. Я же сказал: Михаил Бейдеман и Сергей Русанин — одно. Понемножку и сделалось: пятками в его пятки, темечком в темя, и вместо имен Михаил и Сергей вышло имя новое: Миргил. Имя художника, который взорвал пограничные камни. Миргил полетит!

Я сказал: так стоял Михаил Бейдеман в одиночке, когда мы с Верой к нему вошли. Да, клянусь, это так было. И не сейчас, после смещения времени, а в самых настоящих человеческих днях с боем часов.

Да, пробило в коридоре дома умалишенных ровно шесть, когда подкупленный фельдшер Горленко провел меня с Ве-

рой к безумному таинственному узнику за номером 14, 46, 36, 40, 66, 35 и т. д.

Под этими цифрами, как сейчас стало известно, зашифровано было: Михаил Бейдеман.

Последними, несказанными усилиями мозга, уже перерождающегося в части дивного механизма для полета «Миргила», я постараюсь передать то, что было в Казани.

Получив Верину эстафету, я подумал, что она при смерти и хочет со мной проститься. Получая изредка письма от тетушки, я знал, что Вера давно жила в Казани вместе с бывшей крепостной женщиной Марфой, а Линученко, как я узнал из газет, по участию в первом марте был давно сослан в Сибирь. Вера тоже немало просидела в тюрьме, подведенная плохими знакомствами, как по наивности писала мне тетушка, и, выйдя из тюрьмы, заболела злой чахоткой. Письмо последнее от тетушки пришло в восемьдесят шестом году. Сейчас, когда я, спешно вызванный, ехал в Казань, был конец ноября 1887 года.

Я не видел Веру двадцать лет. Значит, сейчас ей, как и мне, пошел сорок седьмой. Я ехал бестрепетно, холодно любопытствуя о цели моего вызова. Но в Казани, когда на окраине города ямщик еще издали указал мне ее квартиру, я вдруг приказал ему остановиться и пешком прошелся раз-другой в переулке, чтобы унять неожиданную острую боль в сердце. Как ни пытался я объяснить себе, что у меня от долгого пути обыкновенный сердечный припадок, сознание, не обманываясь, знало, что это не сердечный припадок, а сердечное чувство.

— Ей сорок семь, — твердил я, — и давно я ее разлюбил.

Наконец вошел. Открыла она.

Вера не была старухой. Горели щеки ее, как никогда, ярким румянцем. Глаза блестели, седины не было видно из-под белоснежной косынки фельдшерицы. Безмолвно мы обнялись и разрыдались. Ведь, не живя, мы прожили вместе всю жизнь.

— Сережа, вы остались один из всех, кто знал Михаила. И Марфу весной унес тиф. Я бы не посмела вас звать, если б была хоть она. Но мне нужен свидетель.

Вера страшно закашлялась, у нее сделалось от волнения кровоизлияние. Доктор уложил ее в постель и, когда я назвал себя родственником, сказал мне, что дни ее сочтены.

Вера, горя той нечеловеческой энергией, которая охватывала ее, бывало, в дни надежды помочь Михаилу, уже на другой день овладела собой и могла рассказать мне, в чем дело.

Марфа, служа в доме умалишенных фельдшерицей, дозналась, что с 1 июля 1881 года, в особой, ото всех изолированной комнате, содержится таинственный узник, привезенный под конвоем двух жандармов из Петербурга. Из низшего персонала, кроме фельдшера, никто в эту комнату не допускался. Вера

немедленно решила, что это Михаил. Фельдшер на подкуп не шел и ни за какие деньги не хотел устроить свидание.

— Мне удалось умолить его сделать одно. — Вдруг Вера побледнела: — Сережа, а что, если вы не помните? Вся моя надежда на вас! У Михаила была родинка у правого локтя...

— По виду сущий паук, — прервал я, успокаивая, и рассказал ей эпизод с обваренной рукой в салоне тетушки Кушиной. Об эпизоде знала она от отца.

— Теперь я спокойно могу умереть, — сказала Вера, — свидетель есть. Сережа, фельдшер сказал, что родинка-паук на руке у безумного больного... Это было как раз пред внезапной болезнью Марфы. Сейчас этого фельдшера переводят в другой город, и за большую сумму он склонен дать мне свидание. Я говорила про вас. Ваше звание и чин на него сильно действуют. Подите к нему завтра же и устройте, чтобы назначен скорей был день и час. Мне осталось недолго.

Все уладилось. Подкупленный фельдшер назначил нам первое декабря в шесть часов вечера. Он сказал, что узник очень слаб, вероятно протянет недолго.

Первого декабря мы забрались за два часа в жарко натопленную комнату фельдшера в нижнем этаже здания, вблизи одиночной камеры узника. Нас не должен был видеть никто из персонала больницы. В половине седьмого, когда все мимо нижнего коридора пошли на обед, фельдшер сделал нам знак, взял ключи и повел в одиночную камеру.

— Одну минуту, — сказала Вера, когда он повернул ключ, — одну минуту.

Она не могла дышать. У меня самого подгибались ноги. Нам предстояло увидеть Михаила после двадцатишестилетней разлуки.

— Он седой? — спросил я.

Надо было что-то узнать, как-то приготовиться, как готовятся к зрелищу дорогого покойника...

Фельдшеру вопрос показался пустячным, вместо ответа он пробормотал:

— Не дольше десяти минут, по уговору.

Мы вошли.

В большой, давно не беленной комнате, на больничной койке сидело существо. Я не знаю, кто... Ни одной черты Михаила. Как лунь белые волосы и борода. Глаза стеклянные, без признака мысли. Когда он увидел, что мы подходим, лицо его исказилось ужасом; он дернулся в постели, привстал, хотел было юркнуть под койку, но распухшие от колен ноги не пустили, и он, спасаясь от воображаемых мучителей, сделал жалкую попытку улететь.

Вытянувшись во весь свой высокий рост, он заложил руки на затылок, от чего широкие рукава рубахи осели и обнажили

иссохшие от худобы заостренные локти. На правом локте чернел явственно паук с тонкими, словно пером прочерченными ножками. Михаил захлопал локтями, как крыльями. Он думал взлететь...

Но он не знал, как знаю я, что нужны ножницы, чтобы через надрез горла впустить себе воздух сфер... Но это будет завтра. Сейчас я должен вспомнить, отчего Михаил стал таким.

Да. Двадцать лет одиночного заключения в равелине. Увезен безумным в казанский сумасшедший дом, где еще шесть лет одиночества. Итого: двадцать шесть лет. Я считал, глядя на этого чужого мне человека, где не было ни одной черты того вдохновенного, прекрасного юноши. Только черный паук на заломленной, как птица трепыхавшей руке: мах... мах...

— Михаил, я — Вера. Я пришла... Вера. Я — Вера!

Она говорила голосом, после которого совершается чудо. Она поникла на колени, обняла его ноги. Она не уставала взывать к его померкшему сознанию, как, должно быть, взывал вне себя тот пророк, извлекая воду из скал.

— Я — Вера!

— Вера...

Он повторил хриплым, отвыкшим от речи, но все же своим голосом, ему одному присущим, глухим, глубоким звуком: «Вера...» И он протянул руки. Вере? Нет, не ей, не той, которая вызвала чудо. Ее образу юности. Он увидел ее в прошлом...

Лицо его осветилось на миг подобием чувства, но тут же вдруг, утомленный, он рухнул на постель.

Она целовала его длинные желтые, как у мертвеца, руки. Он смотрел бесконечно утомленными, тусклыми глазами без признака мысли.

— Пора уходить, подведете, сударыня! Пора, пора, — торопил Горленко.

Узнав фельдшера, Михаил радостно замычал и, широко открыв беззубый рот, стал громко чавкать.

— Есть просит, — объяснил Горленко.

Мы ушли. Вместе с фельдшером я довез Веру домой. На другой день она лежала на столе, покрытая белым, такая же чужая, как Михаил.

Я не узнал ее, когда, обмыв ее, со словами «готово» какие-то женщины впустили меня в комнату. Помню: на глазах у этой желтой восковой куклы были медные пятаки. И под одним пятаком поблескивал белый-белый белок.

— Не закрылся один глазок; знать, высмотреть надо ей своего ворога, — сказала баба.

Этот ворог — я.

Я не исполнил и последней Вериной просьбы. Я не рассказал никому, как замучили Михаила, ни тогда, ни в 1905 году, когда ко всем с просьбой пролить свет на это дело обращался один историк.

В архивах все узнано без меня.

А я, не желая себе неприятностей, жил в своей деревеньке и очень часто бывал пьян. Тогда-то в моей голове завелся Верин удод и стучал день и ночь:

— Худо тут... худо тут.

. . . .

В мозжечке кое-что развивает давление всех атмосфер. Я бросаю перо, держать надо голову, приучать руки к крыльям — мах! мах!

Едва завтра музыка и такие слова: «Это есть наш последний и решительный бой»...

В горло... рраз!

Головой в стекло — два. И к чорту Паук!

А над городом плавно Миргил.

Художника — лёт
И нет — лет...

Кавалер орденов: Владимира, Анны, Георгия... пр-равое плечо впе-ред!



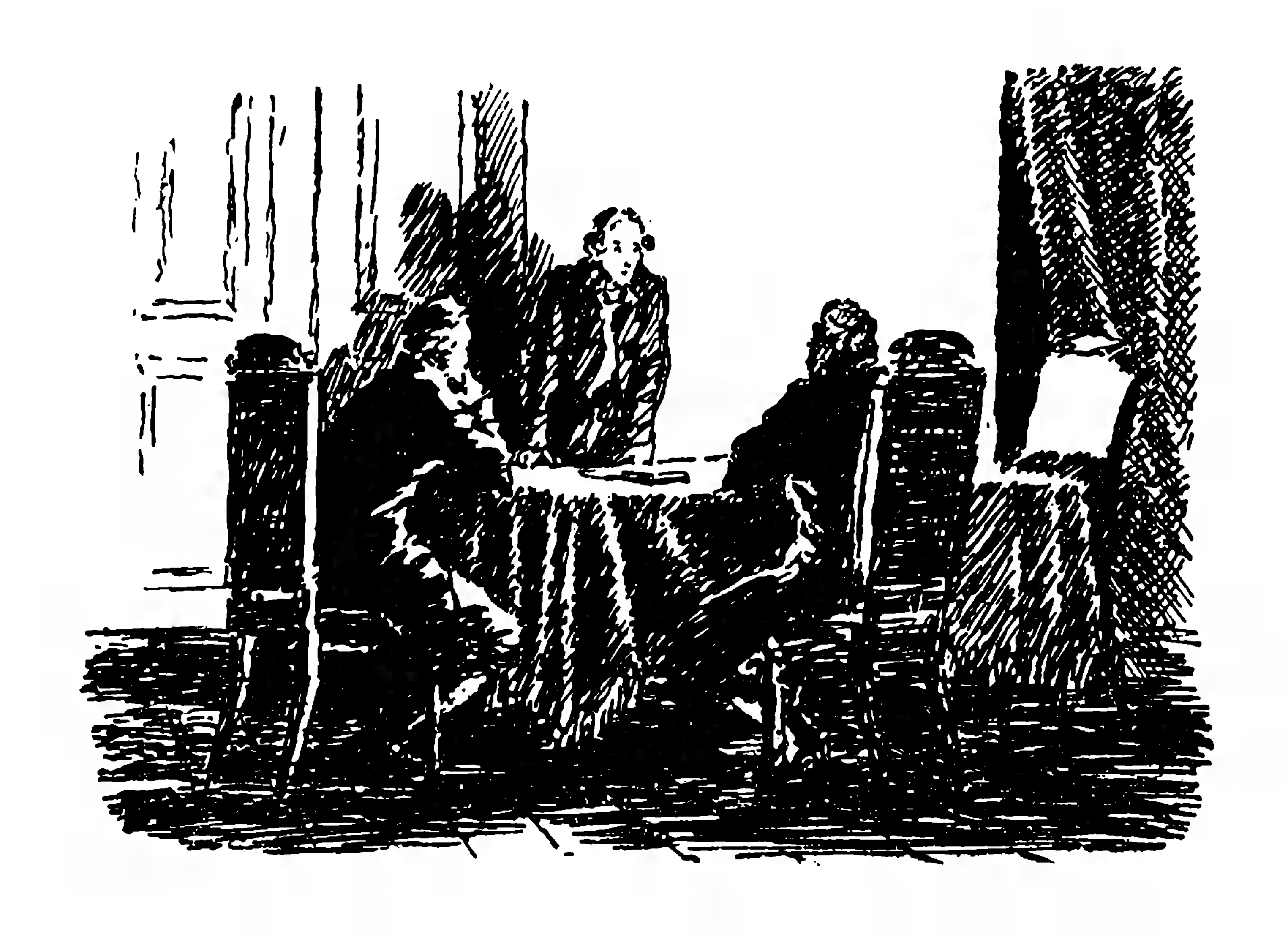
РАДИЩЕВ



РОМАН

...Человек без всякой власти, без всякой опоры дерзает вооружиться против самодержавия, против Екатерины!

А. Пушкин.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Афишки приклеены были к высоким заборам, к дубовым столбам масляных фонарей, освещавших город. Афишки подносились почтенным бюргерам. Бюргеры важно шествовали под руку с супругами в Петерстор, на открытую сегодня Michaelsmesse, сиречь — ярмарку Михайлова дня.

На афишке изображен был в стиле барокко, входящем в моду, весь в завитушках, полновесный, чепраковый носорог. Печатный текст под рисунком гласил:

По заключению людей, в этом деле осведомленных, данный Риноцерос есть не кто иной, как именно Бегемот, поминаемый в книге Иова — стих 10, глава 40.

Данный вундертир[1] доставлен к нам из Азии, из владений Великого Могола. Он обладает темнокоричневой окраской и не имеет вовсе на теле волос. Но это обстоятельство не препятствует ему, однако, иметь волосы на самом конце своего хвоста, притом наподобие большой кисти.

---

[1] Диковинный зверь *(нем.)*.

Этот первый в наших местах Риноцерос кроток, как ягненок. Будучи изловлен арканом в возрасте одного месяца, он полюбил людей. Матушка зверя была убита стрелой одного черного индуса. Для увеселения дам и кавалеров вундертир может расхаживать в их среде, не нанося им никакого ущерба.

Самое главное сообщение, прочтя которое, иной холостой бюргер со смешком подтолкнул другого, заключалось в том, что

вышеприведенный вундертир обладает магическим свойством исцелять все тяжкие и самые секретные болезни.

В заключительных двух строках была хвала богу, создавшему столь чудесного зверя:

So wunderbar ist Gott in seinen Kreaturen:
Man findet überall der Allmacht weise Spuren.[1]

Афишка с носорогом пробралась в общежитие русских студентов. Этих студентов объединяли в университете с поляками, и значились они под одной общей буквой «Р» — Poloni.

Императрица Екатерина, тщеславясь иметь русских ученых юристов, не уступающих европейским, собственноручно обвела карандашом вокруг фамилий пажей, которых надлежало отправить в Лейпциг. «Отличные в науках пажи должны были еще более в них преуспеть в славном Лейпцигском университете, дабы употребить их было возможно с наибольшим профитом на пользу отечества».

Русские распределялись в общежитии попарно в комнате. Для услуг состоял при каждом вывезенный из вотчины крепостной человек. Общий надзор за всеми положен был гофмейстеру Бокуму, пропитание колонии передано в руки жене его — скаредной Бокумше.

Власий, крепостной человек пожилых лет, дядька братьев Ушаковых, принял афишку с носорогом от зверинецкого служки, постучавшего в дверь. Заинтересовавшись невиданным зверем, Власий сел в коридоре на подоконник большого окна. Он так засмотрелся, что не приметил, как веселый парикмахер Морис, который шел брить барчуков и накручивать им букли, вдруг потайным образом присел сбоку и взял в рот брызгалку с пузырьком.

Морис изо всей силы раздул щеки и обрызгал дождем лавандовой воды склоненный кок Власия.

Француз первый захохотал на весь коридор:

— Это карашо, Базиль, — parfum!..[2]

---

[1] Как поразителен господь в его созданиях! Во всем видны мудрые следы его всесилья *(нем.)*.

[2] Аромат *(франц.)*.

Власий нашел запах ахтительным и не рассердился. Он обтерся чистой белой рубашкой, которую понес было своему Мишеньке. Французу, с которым дружил и у него же учился французским тонким фасонам, Власий протянул листок с носорогом и не без яду сказал:

— Вот бы тебя впору на такого чорта верхом!

Морис живо пробежал объявление. Власий видел, как лицо его, быстрое и мигучее — сказать, обезьянка, — застыло вдруг гневом. Француз вытащил записной карнетик и мелко списал в него что-то. Отдал афишку без шуток и в приметной остуде прошел в комнату Радищева.

Радищев с полуночи дежурил у больного Федора Ушакова и еще не вернулся к себе. Сожитель и друг его Алексей Кутузов встал нынче весьма рано и давно был одет. Он взял с полки тетрадку, мелко исписанную, и стал просматривать собственный перевод с немецкого:

Орден свободных каменщиков есть некое древнее всемирное тайное братство. Оное братство тщится быть водителем человечества в достижении земного Эдема, златого века любви и истины — сиречь царства Астреи.

Ежели все люди будут просвещенны и совершенны, то самосильно отпадут уродства земной юдоли и существенные несправедливости состояний. Ибо масонско-каменщицкая работа изъясняет свою цель как...

Кутузов помнил, что на этом «как» перевод его оборвался, дальше шла одна чистая бумага. Теперь же и дальше было мелко исписано. Пригнувшись, он внимательно глянул близорукими, светлой бирюзы, глазами и узнал сразу почерк Радищева. Он залился краской до корней густых русых волос, кои природно курчавились.

Обида взяла за неизменное свое рассеяние, что заветную тетрадь опять не запер в ящик, а оставил валяться, как неважное, на столе. Рассердился и на нескромного друга. Однако полюбопытствовал и прочел:

История с самых древних времен нам свидетельствует, что никакое превосходство отличий персональных не послужило препоной кому-либо к стяжанию богатств и, главное, к употреблению своих ближних в рабство. Чего же должно ожидать и впредь, при воздействии токмо словесных упражнений в добродетели, от негодяев и себялюбцев, коих есть превеликое среди людей большинство. Нет, друг мой, Эдема земного вам ждать не дождаться, доколе не будет поставлен человек, уже самими условиями общественными, в совершенную невозможность творить насилие над себе подобными. Но сему научают меня Руссо, Дидро и Рейналь, а никак не сумнительные и «тайные» какомаги. Попомни, друг: в недавнее время пытка в Саксонии кем отменена? Не усилиями свободно-каменщицкими, а токмо благодаря пламенной любви к вольности нашего славного профессора и ученого Гоммеля.

Впрочем, разность суждений гнездится лишь в наших головах, сердце же мое, в чаянии Астреина века, бьется с твоим согласно, и ты есть, как и был, мой ближний друг. Делаю тебе пропозицию на длинную беседу в нашем лесочке...

Кутузов, прочтя приписку, взволновался и стал еще краснее, так что светлые глаза его обозначились просто белесыми. Высокий и тонкий и, несмотря на молодость лет, уже сутулый, ходил он долго, поколе не успокоился. Внезапно стал как вкопанный и зачастил особые, «апрантифские» вдохи и выдохи, шепча что-то полными яркими губами на теперь побледневшем лице. Окончательно остудился, умылся холодной водой и, уже спокойный, запер тетрадочку в ящик на ключ. Засим, взяв линеечку с треугольником, он стал вычерчивать некие звезды и фигуры.

Как человек, заучивающий внове нечто затрудняющее память, он то откидывался назад и что-то шептал, то, устремляясь немигающими глазами в потолок, тер себе лоб, радостно улыбался и опять вычерчивал.

Кутузов вздрогнул и быстро спрятал под книгу свою работу, едва куафер Морис легко и неслышно подошел к нему.

— Bon! Вы пойманы, любезный Алексис, не отрицайте, вы штудировали известные листки с пантаклями, которые Шрёпфер вам выдал. Вы таились от мосье Радиш... — Морис никогда не доканчивал эту трудную для выговора фамилию. — Но поверьте, Алексис, ваш Шрёпфер посвящения несправедливого, знания его беспорядочны. Им не заслужены персонально, а украдены. Он...

— Да, мне известно, — прервал Кутузов, — что в Лейпциге Шрёпфера почитают шарлатаном, но спрашивается — какие к тому основания?

Голос Кутузова был переходный и сейчас от волнения еще больше давал «петуха».

— И почему должно мне верить вам? Ваши-то где сертификаты? — выкрикнул было он, но тут же угас и сказал с печалью: — Первее всего соблазнил меня почтеннейший Гердер, писатель. В журнале «Адрастея» — известно мне, сколь увлекательно он изъяснил — масонство есть око и сердце человечества. И только к оному масонству, объединяющему все человечество, устремил свои помышления и я...

— Почтеннейший Гердер — член справедливой ложи «Zum Schwerte»,[1] а вы, как голубь в грязную лужу, попали к мастеру самозванному, в ложу так называемую «биллиардную». Известно, что сборища Шрёпфера протекают в биллиардной комнате собственной его кофейни без всяких полномочий и гарантий.

— Но ведь я еще не попал к Шрёпферу, — задумчиво сказал Кутузов, — и, быть может, я вообще ни к кому не попаду, а изучать буду теорию на свой страх. Насколько она меня привлекает, настолько отшибает сумнительная практика. Но, во всяком случае, на первое-то свидание, назначенное мне, я пойду, и посему

[1] «К мечу» *(нем.)*.

не токмо прошу — я требую, Морис, чтобы вы удовольствовали меня, доказав, какие же у вас пропозиции и чем оные подтверждаются, дабы почитать вам столь решительно Шрёпфера негодяем.

Морис тонко улыбался, грея одни щипцы, а другими прикручивая под общий модный ранжир природную капризную кудрявость русых волос Кутузова. Сзади, для модного «кошелька», Морис отделил широкую прядь, передохнул и не спеша вынул из кармана карнетик.

— А хоть бы вот это, — указал он на последнюю строчку, списанную им с носороговой афиши. — Плутовское сие объявление о целительном хвосте носорога происходит при участии Шрёпфера. Ложа Минервы знает доподлинно, что всем пациентам вундертира будут подсунуты еще и дополнительные листки подобного зазывающего содержания...

Морис подал вчетверо сложенную бумажку, где крупным почерком под пламенеющей пентаграммой стояло указание дня и часа в биллиардной комнате кофейни Шрёпфера, где каждому, с полным сохранением тайны, будет самим «великим мастером» предложено закрепительное против болезни лечение.

— Еще известно, — продолжал Морис, — что Шрёпфер задолжал аптекарю за фосфор, необходимый ему для вызывания духов. Известно и то, что дух, который по глупости на прошлом сеансе обронил с себя плащ, оказался обутым в модные башмаки с парижскими пряжками. Пряжки эти, как вещественное доказательство, фигурировали на одном заседании, где обсуждалось, что именно предпринять с Шрёпфером, ежели он не прекратит своих фокусов... Поймите и то, Алексис, — он берет себе в ученики только тех, которые легко подчиняются. Одурманенные пуншем со специями, ученики по капризу этого какомага повергаются в самый ад и теряют от ужаса перед ним свою последнюю волю. Неужели подобной зависимости можете искать вы, уважаемый Алексис, жаждущий одной истины?

Морис отступил в волнении и, увлеченный собственной речью, так долго крутил за ножку щипцы, что они совершенно остыли, в то время как другие перекалены оказались свыше меры.

— Sapristi! [1] — воскликнул он и принялся восстанавливать в своем деле порядок.

— Боже мой, — сказал Кутузов, — кто рассеет мрак не постигаемого мною! Гипохондрия не пустая терзает мое сердце, нечто существенное бродит в моем мозгу. Я знаю, что в Лейпциге есть шотландская ложа, считающая себя справедливой. Но кто же после проделок изверга Джонсона поверит шотландскому масонству!

---

[1] Проклятие! *(франц.)*.

— Дорогой друг, — сказал лукаво Морис, — верьте только собственным глазам и разуму, ничем не затемненному. Ну разве я, например, звал вас куда-нибудь? Разве соблазнял заманчивыми обещаниями? А Шрёпфер? Не он ли, чтобы доказать свою таинственность, приглашает вас на вызов тени бюргермейстера Романуса? Кстати, когда назначен этот вызов?

— В ночь присяги этому курфюрсту... — И, внезапно испугавшись, что сказал лишнее, Кутузов вскочил и, бурно зашагав, бросил вспыльчиво: — Больше о сем предмете я, сударь, говорить не желаю!

Морис убирал свои куаферские принадлежности, опустив деловито глаза. Он как бы вовсе не заметил волнения Кутузова и проронил добродушно:

— В случае, если вы будете ровно в полдень на ярмарке у клетки вундертира, обещаю вам легонький divertissement,[1] одновременно он же будет первым предупреждением защищаемому вами Шрёпферу. А сейчас — au revoir, у меня сотня дел.

Кутузов, взглянув на солнце, прикинул, что до полудня времени много, и, сунув упражнительный листочек в карман, спустился украдкой с лестницы, всего менее желая, чтобы его сейчас остановил своими расспросами Радищев.

Между тем Власий, приведя перед зеркалом в порядок свою расстроенную Морисом прическу, будучи щеголем, перекрутил сам косицу наново, как учила его некая фрейлейн Минна, услуживающая у Бокума. Косицу он щедро усыпал барчуковой пудрой. Покрутился перед зеркалом, понравился сам себе и сказал стишок, с превеликим трудом заученный им со слов Минны:

«Катринхен, мейн либхен,
Вас костет пар шу?» —
«Ейн талер цвей грошен
Унд кюссе дацу».[2]

Послав в зеркало поцелуй, предназначавшийся мысленно Минне, Власий пошел будить, наконец, своего Мишеньку.

Спросонья, испугавшись, что будит его сам рассвирепевший Бокум, — столь усердно потряс его Власий за плечи, — Миша Ушаков вскочил мигом и сел на кровати, протирая еще по детской замашке кулаками глаза. Вчера как раз он праздновал свое восемнадцатилетие. Праздновали густо. Из Голиса наволокли ящики пьяного мерзебургского пива, от него и посейчас в голове трезвон, а язык во рту — ровно дохлая рыбина.

— Михаил Василич, глянь-кось, что за чудо рогатое немцы на ярманку вывезли.

---

[1] Развлечение *(франц.)*.

[2] «Катринхен, моя милая, что стоит пара башмаков?» — «Один талер два гроша и поцелуй впридачу» *(нем.)*.

Миша взял из рук дядьки афишку и стал с трудом разбирать готические завитушки.

В то время как старший брат его Федор вместе с Радищевым были любимыми учениками Геллерта и бойко писали немецкие сочинения, Миша и другие кой-кто вразумительно читать не умели. Мише больше нравилось шалопайничать и бегать в погребок к Элизхен.

— В недобрый час на наши бутылочки да Бокуму наскочить — вляпаться, Мишенька, нам в новую беду... — И дядька стал для порядка далеко под кровать загонять пустые бутылки.

— Кому ж это было их убирать, когда ты сам пьянее всех нас валялся? Хорош вчера был, старичок, нечего сказать!

— И никакой, Мишенька, я не старик, — обиделся Власий, ужимая губы. — Не старичок я, а еще вполне середович. И кой-когда, значит, сбалмышем быть мне еще по годам не зазорно...

— Середович! — захохотал Миша. — Ну, выдумал. Вот и ходи у нас отныне в своем этом втором крещении — Середович. Поразмысли однако, откуда на ярманку талеров раздобыть? Получки больше не будет, скоро домой ехать. Хоть продать чего из домашней русской одежи? Не везти же обратно.

— Расторгуешься тут нашей одежей, — очень она им к рылу! Тут, Мишенька, хоть неметчина, а все норовят на легкий французский манер... на фу-фу. А у нас одни подошвы — пуды. Вот разве экономишку разрядить, — копить больше некуда. Дома, слава богу, не Бокумшин габерсуп.

— Мне Элизхен богемские бусы на ярманке заказала, — сказал Миша. — Бес их знает, в какой будут цене.

Власий на цыпочках подошел к Мише и, пригнувшись к уху, сказал доверительно:

— Слышь, Михаил Василич, давно тебе говорю, — истреби к этой Лизе амурность. Девке давно за двадцать, а хитра, каждый год себе двенадцать месяцев убавляет. Лукава та Лиза, насурмлена выше меры. Вскружена твоя головушка, сказать правду, зря. Главное дело — не с тобой одним Лиза гуляет...

— Наобум брешешь! — крикнул Миша. — Что ты про мои с Лизхен дела ведать можешь?

— А коли брешу наобум, Михаил Василич, все одно бери себе на ум.

— Экой Телемахов ментор сыскался! Вот оженю тебя самого для потехи на вдове твоей, на Минне, — обработает тебя! Она, говорят, первого мужа совком била. Ты уж ей, Середович, заранее и эпитафию приготовь, благо тут в «Трутне» готовая есть. Да где, бишь, листы «Трутня»? Мне их Радищеву занести сказано...

Дядька подал несколько листков и, любопытствуя, спросил:

— А какая такая капитафия, Мишенька?

— А такая, брат, капитафия, что для жены сварливой лучше и не надо. — И Миша прочел:

Здесь спит моя жена,
Вовек пусть спит она —
К покою своему
И моему.

Миша хохотал, натягивая чулки и башмаки с пряжками. Каблуки были стоптаны. Камзол и кафтан — куцые, не по росту, дрянно пошитые из линялого камлота. Гофмейстер Бокум, заботясь о переводе в собственный карман казенных сумм, нищенски обряжал свою колонию. Хотя на каждого питомца определена была по тому времени немалая сумма — тысяча рублей в год, — кормил Бокум прескверно. Многочисленные жалобы досаждали царице. Между тем от ожидания, что его вот-вот могут «счесть и отозвать», Бокум напоследок все увеличивал свой грабеж.

Но Миша Ушаков такой был свежий, такой красивый, так безудержно хохотал, что и в плохом костюме нравился не одной Элизхен. В том саду с погребком, где он был усерднейшим посетителем, известен он был под сладким наименованием: «Zuckerpüppchen». [1]

Миша Ушаков, одевшись, схватился опять за афишку. Он, наконец, расшифровал полностью смысл особо нарядных, в честь ярмарки, готических букв. Безусое лицо его вспыхнуло, и, как у детей перед плачем, дрогнули губы.

— Власий, — притихнув, позвал он, — понимаешь ли, что тут за посулы? От зверя от этого совсем будто особливые идут исцеления.

У Миши, по юности и по склонности нрава, все чувства хоть и были отходчивы, но потрясающи и внезапны. Он ощутил пронзительное раскаяние, что вчера, упившись тяжелого пива, совсем было позабыл неотпускающую беду: любимый брат его, всеми почитаемый как наставник, душа русской колонии, Федор Ушаков в нижнем этаже этого же дома помирал в тяжелых муках.

Власий понял чувства любимого Мишеньки и постарался своим перепойным басом изъясниться с возможной деликатностью:

— Предпочтительно, Михаил Василич, сей невиданный зверь нимало не вылечить, а обратно — вконец испортить способен. Приглядись-ко, ведь он, ферфлухтер, рогат как бес. А вот посулила мне фрейлин Минна от тутошнего одного колдуна травки декохтовой, противу всех болестей вызволяет. Ну, эта уж точно...

---

[1] Сахарная куколка *(нем.)*.

Но Миша не слушал. Он уже распахнул мелкостекольное оконце и высунулся как можно далее, спустив низко голову и задрав ноги вверх.

Окно было высоко над садом. Далеко окрест круглилась пространная равнина некогда славянского сельца с бургом Липцы, ныне именитого города Лейпцига. Город с башнями без числа, с флюгерами, мостами и крепостью Плейсенбург. Равнину омывали три чистые реки, окаймленные садами и веселыми деревеньками. Красивей всего была старинная, ближняя часть, с древнейшим университетом, замысловатой ратушей и несметным количеством нарядного разноплеменного люда, распестрившего площадь перед Петерстором.

— Эй, Миша! — позвал снизу голос. — Иди сюда!..

— Ich komm![1] — заорал Миша и, сгребая с ладони Власия талеры, другой рукой шарил шляпу. Власий рванулся ему вслед на винтовую лестницу:

— «Капитафию» позабыл!

На лету схватил Миша журнал и застучал по ступенькам. Внизу его ждал человек среднего роста, немногим постарше его.

— Ну, как нонче братец? Поспал ли хоть малость?

— Ничуть мы не спали, — ответил Радищев.

Он был бледен. Большие карие, очень выразительные глаза от темных кругов, которыми обвела их уже не первая бессонная ночь, были просто огромны и как бы ужаснувшиеся того, чего насмотрелись они в комнате больного, за этим окном, сейчас плотно прикрытым глухими ставнями.

Хотя не было еще жарко, Радищев снял шляпу и обмахивался ею. Он обнажил высокий лоб, круто убегающий назад, под копну темных волос.

— Нонешний день для занятий, конечно, пропал, — сказал он, — ибо в первый день ярмарки коллегии все закрыты. Пойдем, выпьем чего...

— Все наши с раннего утра на Михаельсмессе... — И Миша, вспомнив про талеры, переложил их в надежное место. В кармане набрел на афишку с носорогом, протянул ее Радищеву. — Вот, сулят, видишь ли, продижьёзные[2] исцеления.

Радищев на ходу пробежал быстро листок, — он бегло владел немецким, — и брезгливо поморщился:

— Ерундистика. А вот мне сказывали, у тебя имеется последний выпуск листов «Трутня». Прихватил?

Миша порылся и подал смятый журнал, где на титульном листе изображен был сатир, копытом лягающий осла.

---

[1] Я иду (*нем.*).
[2] Чудесные (*франц.*).

— Очень смехотворный тут один есть стишок, я Власию его прочитал. Вот старый-то селадон! «Я, говорит, не старик, я — середович».

Миша опять повеселел и показал Радищеву стишок — «капитафию».

— Ну, братец, и это ерундистика, а вот где тут обретается некий Правдулюбов?

Радищев знал уже от проезжающих, что под этим именованием скрывается тот именно человек, коего превыше всех прочих мечтал он на родине скорей увидать.

— А, вот и он... Ну, теперь, Мишенька, ты послушай да на ус намотай, — сказал, прояснившись, Радищев. — Станем малость тут, у фонаря. Можешь ли, Мишенька, ты понять, сколь великой важности сие место? Какова его вольность? Сколь неприкосновенна сатирическая мысль? И подумать только, кому аттестован подобный ответ? Самой императрице!

И Радищев с улыбкой прочел выдержку из восьмого листа «Трутня», которую уже успел мигом пробежать про себя, одними глазами:

Ежели я написал, что больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным потакает, то не знаю, как таким изъяснением я мог тронуть милосердие? Видно, что госпожа Всякая всячина так похвалами избалована, что теперь и то почитает за преступление, если кто ее не похвалит. Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством?.. в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нет ни кнутов, ни виселиц, ни прочих слуху противных речей, которые в издании ее находятся.

Радищев подчеркнул голосом и еще однажды повторил:

— ...которые в издании ее находятся... Но дальше, Мишенька:

...вся ее желчь в оном письме сделалась видна. Когда ж она забывается и так мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то, кажется, для очищения ее мыслей и внутренности не бесполезно ей и полечиться.

— И самое существенное, слушай, Мишенька:

Я тем весьма доволен, что госпожа Всякая всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав.

— Вот он — новый-то век Астреи! Но ужели при содействии самого трона?! — воскликнул было Радищев, но тут же одернул сам себя. — Подождем ликовать преждевременно. Ведь сие лишь справедливые предерзости Правдулюбова. Каков-то будет на них ответ от самой «пожилой дамы», им уязвляемой?.. Прибавим, Мишенька, ходу...

Радищев с Мишенькой направились через Зальцгесхен к золоченому фонтану ярмарки. Узкий переулок был уже полон студентами, — им пришлось умерить шаги.

Среди толпы выделялись два человека: один был совсем юный, красавец столь правильной, почти античной красоты, что русские между собой прозывали его «статуй Антиной». Он изучал те же юридические науки, что и они, но с курсом старших.

Речи спутника вызывали в Антиное явное волнение. Несмотря на правильность черт, в обычном представлении согласованную с неподвижностью мрамора, лицо его легко вспыхивало от особой живости мыслей и чувств. Взор черных глаз был стремителен и полон такого огня, что глаза казались дерзкими и как бы нарушающими весь античный канон красоты. Увидав однажды подобное лицо, невозможно было его не запомнить. И Радищев его, конечно, отметил давно. Кроме того, он знал, что с Антиноем у него связано какое-то мимолетное, но очень неприятное воспоминание. Содержание его он странно забыл и сейчас, от крайней утомленности всех своих чувств, напрягать память не только не мог, но и не хотел.

Спутником молодого был известный всему городу так называемый «Серый дьявол», очень высокий человек лет тридцати, ходивший исключительно в сером платье тончайших оттенков, при шпаге и с треуголкой подмышкой. Сегодня, для разнообразия, в руках его была парижская трость с набалдашником из слоновой кости. На голове был длинный, в крутых локонах, парик, обрамлявший, как туча, его прекрасный матовый лоб. Далеко выдающийся горбатый большой нос и театральная осанка делали его похожим на какого-то сказочного рыцаря, возвестителя мрачных утрат. Он ежедневно, в один и тот же час, катался на паре белых коней в фаэтоне рядом с питомцем своим, молодым графом Линденау, которому принадлежал прекраснейший в городе уголок — Ауербахстор. Фамилия этого странного человека была Бериш.

Студентов он восхищал своим щегольством, эрудицией, тонким вкусом в делах искусства, французским модным умением танцовать и слагать bouts-rimés. [1] Сверх того он прививал провинциалам вкус к ядовитой насмешке Вольтера.

Бериш, сделав ловкий пируэт, уперся своей тростью в театральное объявление. Молодые люди, его окружавшие, остановились. Вслед за ними — невольно и Миша с Радищевым.

Директор Кох открывал свой театр необходимым извещением, что «mit gnädigster Erlaubniss» [2] представлена будет придворными комедиантами в первый раз пьеса Иоганна Шлегеля «Hermann».

Бериш читал вслух и ухваткой очень похоже передразнивал коротенького суматошного бюргермейстера города. Хохот студен-

---

[1] Буриме — стихотворная игра *(франц.)*.

[2] С всемилостивейшего разрешения *(нем.)*.

тов перешел в восторженный рев, когда Бериш высокими нотами классического пафоса, в котором нельзя было не признать надоевшего своей ходульностью профессора Клодиуса, прочел некоторое прибавление «властей»:

«Строго воспрещается в антрактах бросаться на сцену с целью целования рук примадоннам придворной труппы».

— В Париже запрет подобных обезьяньих проявлений уже в силе с сорок восьмого года, — сказал студент теологии, — а к нам докатился он только сегодня...

— Подобные запрещения — прежде всего подрыв театральной кассы, — иронически прервал Бериш. — Многих людей со вкусом только и тешил в нашем театре, что этот, по настоянию квиетистов и прочих ханжей сейчас запрещаемый, бенефис обезьян.

— Но почему же вы считаете, что сама пьеса не заслуживает внимания? — спросил робко один из свиты.

— Потому, что у немцев не имеется вообще литературы, заслуживающей внимания.

Бериш сделал новый необычайный вольт своей тростью, а местные щеголи так и впились в него глазами, чтобы запомнить движение.

— Однакоже настоящее содержание в немецкой литературе вот-вот должно появиться. И знаете ли, благодаря чему?

Бериш надменно сощурился, как близорукий, потерявший лорнет:

— Исключительно благодаря презрению короля к национальному творчеству и предпочтению ему литературы французской. Да, да, авторы будут биться из сил, и если им все-таки не повезет с упрямым Фридрихом, нечто лучшее им удастся наверное. Недаром старуха змея говорит своим змеенышам: «Стоит, детки, лишь хорошенько натужиться, чтобы вылезти из кожи вон...»

— Ваши рассуждения, Бериш, слегка запоздали, — горячо произнес Антиной, — у нас есть уже Лессинг. А подобные ему не способны оглядываться ни на каких королей...

Компания свернула за угол и потонула в ярмарочной толпе.

Перед Петерстором, в лавчонках, будках, на площадях и подмостках, подвизался сегодня кочевой сброд, рассеянный круглый год по всей Германии. К Михайлову дню бродячие актеры в таратайках, фургонах, верхом и, наконец, пешком, как железные опилки, тянулись к большому магниту — Лейпцигу. Здесь были кукольные театры, китайские тени, фехтовальщики, акробаты, силачи и силачихи, глотатели шпаг и огня, обжоры, великаны и карлики, верблюды, медведи, говорящие попугаи.

Фокусники зазывали наперерыв в черные кабинеты ужасов, какомаги возвещали поименно услужающих им чертей, восковые

фигуры, «как живые», таили за своими занавесками секретный отдел. Зубодеры, они же окулисты и дробители мочевых камней, с инструментами в руках восхваляли собственное искусство.

Бюргеры переходили от рядов к лавкам, от шарлатанов к почтенным книготорговцам, которые съезжались в Лейпциг аккуратно три раза в год на ярмарки: новогоднюю, пасхальную и Михайлову, чтобы обмениваться друг с другом новыми книгами своих изделий.

Все тут восхищало людей, утомившихся однообразием своего города: длинные одеяния восточных народов, островерхие шапки персов, меховые толстые шубы русских. Вовсю шла здесь торговля мехами, шерстью и щетиной, кожей и товарами колониальными.

Особенной живописностью поражали глаз художника люди, не имевшие определенного места для своей торговли. Они по необходимости являлись олицетворением гордого изречения философа: omnia mea mecum porto. [1]

Инвалид Семилетней войны насадил на себя единственный собственный стул, избрав ему точкой опоры свой затылок. В руках он держал предназначенную для сбыта утварь: два подсвечника, чайник и вожжи. Инвалид, угревшись под необычайной амуницией, благодушно дремал, лишь по временам вскидываясь, чтобы выкрикнуть свои вещи, как военную команду.

Салатница в круглой шляпе, похожей на опрокинутое решето, дискантовой дробью выбивала:

— Radieschen! Salat! Salat! Salat! [2]

Кривоногий карлик потрясал стеклянной банкой с жирными пиявками и вызванивал тоненько и раздельно:

— Köfen se Sägespiene! [3]

Пропойца в треуголке и в грязных лосинах застыл, как статуя, под фонарем. Он, далеко отставив палку с веревкой, воткнул ее в землю. Другой конец веревки прикрепил к пуговице своего камзола. На веревку понавешал картин собственной кисти. Пропойца, подобно инвалиду, то клевал носом, то, протрезвившись на миг, говорил с надменностью первоклассного живописца о своем мастерстве.

Словом, у каждого была здесь своя хитро надуманная сноровка. Философ бы не ошибся, сказав, что эта ярмарка Михайлова дня разоблачала в миниатюре всю скрытую махинацию жизни.

Сновали, как деловитые мыши, торговки специальной ярмарочной снедью. Эти по предварительному соглашению выкликали

---

[1] Все мое ношу с собою *(лат.)*.
[2] Редиска! Салат! Салат! Салат! *(нем.)*.
[3] Купите пиявок! *(один из немецких диалектов)*.

поочередно на разные голоса, от тоненького писка до медвежьего рева, которого иной полнокровный бюргер уже выдержать не мог и, хлопнув какую-нибудь Kräuterfrau [1] по широкой спине, восхищенно орал: «Ну и лошадь!»

Однако всех этих Kräuter-Brezelfrauen, как клекот аиста — воробьиный писк, перекрывала единственная в своем роде, гигантских размеров Appelsfrau... [2] Она долбила без интервала и передышки на одной только ноте «Äppel! Äppel! Borster Äppel!» [3]

Торговки, как залившиеся песнею соловьи, зачарованные, не видали перед собой ничего, так что их приходилось то и дело состегивать с дороги кнутом здоровенному «буттерманну». На высоких кобылках ехали эти буттерманны с бочками масла перед седлом и с корзинами живых гусей на спинах. Гуси, взволнованные многолюдством, далеко высунув сквозь прутья корзин свои длинные шеи, шипели, как змеи. Им первокурсники, «фуксы», дурачась, кричали: га-га!..

Кипела, расторговывалась освященная древним обычаем знаменитая ярмарка Михайлова дня.

Перед зверинцем, занявшим место в самом центре площади, торг яствами был особенно оживлен. Жареных любимых жаворонков и шпеккухены поглощали граждане сами, а саксонские крупные вишни в сахаре бросали обезьянам.

Перед зверинцем из всей густой толпы выделялись мальчишки. Они, вспрыгнув друг другу на плечи, строились в несколько этажей пирамидой. Внизу для широкого основания раскорячивали ноги самые здоровые — крутоплечие, как бычки. Кончалось все здание легким одиночкой, с руками, растопыренными наподобие крыл.

Эта живая пирамида, ловко эквилибрируя, но все же угрожая ежеминутным свержением, особенно пугала матерей с малолетками.

Пирамида перемещалась с места на место, то рассыпаясь, то вновь возникая, при малейшей попытке носорога выбраться из копны сена, в которую он спрятался с головой.

Служки зверинца, с заячьими хвостами позади красных курток, увертывались очень ловко от десятков рук, желавших поймать «зайца за хвост».

Служки выкрикивали:

— Риноцероса, который есть не кто иной, как Бегемот из книги Иова, можно смотреть ежедневно. Особы высокого ранга за посмотрение платят потом, по желанию, все же прочие — плату вперед!

---

[1] Торговку капустой *(нем.)*.
[2] Торговка яблоками *(нем.)*.
[3] Яблоки! Яблоки! Наливные яблоки! *(нем.)*.

Тут же, поблизости носорога, находилась площадка с уродами и площадка с калеками — инвалидами Семилетней войны. Обнажая обрубки своих ног и рук, инвалиды прирабатывали себе на табачок.

Здесь, глубоко задумавшись, стоял Радищев, потерявший в ярмарочной толкотне своего спутника Мишу Ушакова.

На площадке уродов всех больше зарабатывал один безносый. Он за грош вставлял себе в дырку носа свистульку и высвистывал превесело:

Ach, mein lieber Augustin, Augustin...[1]

Прочие уроды безносому завидовали.

Радищева тронул за руку немолодой уже человек в коротком фартуке, какой носили ремесленные подмастерья, и сказал:

— Герр Александр, что же вы к нам так давно не заходите?

— Близкий друг мой умирает, и свободное время я при нем. — Радищев крепко пожал протянутую руку и, указывая на площадку с инвалидами, промолвил: — Вот смотрю и прикидываю невольно в уме — сколько судьбе нужно было им подобных, не считая оставленных на полях боя, чтобы вашему Фридриху выкроить титул «Великого»?

Соответственно Радищеву оказались настроенными и прочие подмастерья, которые сейчас же прихлынули всем цехом к площадке с инвалидами. Разглядывая увечных воинов, даже те, что сейчас только гоготали над свистулькой безносого, мрачно притихли.

Злой голос из гущи сказал:

— Что ж, камераден, побеждать, выходит, нехитрое дело, если не бояться из человека сделать обрубок...

— Да впридачу казны и страны не жалеть!

Недавно заключенный мир еще не успел ослабить ненависти Саксонии к Пруссии. Бремя войны тяжко пало на Лейпциг, и Фридрих симпатии здесь не вызывал.

Подмастерья были выразителями скрытого общественного мнения. Вообще они были тут самый свободомыслящий народ. Благодаря кочевому образу своих занятий они побывали во Франции и впитали в себя энциклопедистов отважнее, нежели студенты, обезвреженные бюргерством, скованные традициями своих коллегий.

Знакомый Радищева сказал ему:

— Приходите же скорее: один из наших только что вернулся из Петербурга — он расскажет вам новости. Главное, он расскажет правдивые новости, не те, которые вы можете услышать

---

[1] Мой милый Августин, Августин *(нем.)*.

от ваших проезжих вельмож. Кстати, герр Александр, я забегал сейчас к вам и занес в вашу комнату один последний русский журнал...

— Вот это удружил, дорогой Шихте! На днях буду у вас... Обязательно...

— Эй, Шихте, не отставай от цеха! — И двое подмастерьев ухватили знакомца Радищева под руки. — По уговору всем цехом сейчас прямо в Голис...

Только подмастерья ушли, как привалили к площадке инвалидов студенты с Беришем во главе. Студенты воздали щедрую лепту безносому свистуну и уже поспели рядом в будочке перехватить. Бериш, окинув ястребиным глазом инвалидов и калек, превратил неожиданно всех жертв Семилетней войны в подсобный назидательный материал:

— Друзья мои!.. Я не могу пропустить столь наглядный пример для торжества теории Лессинга «о границах прекрасного». Иллюстрация — перед вами.

Бериш кивнул в сторону калек. В своих праздничных костюмах они еще страшнее были под ярким солнцем. Ярче обнаруживались все разновидности обнаженных ими культей, багровых рубцов, гноящихся, незаживающих ран, ударами сабель изувеченных лиц.

— Живопись и поэзия находятся в неодинаковых условиях при изображении безобразного, — цитировал Лессинга Бериш. — В живописи отвратительное даже при художественном изображении не может перейти в прекрасное. Между тем в поэзии безобразие форм почти теряет свое неприятное действие, потому что части его передаются не в совокупности, а в преемственности времени. Иной отвратительный пример может даже усилить смех. Ну, разве не великолепен Аристофан: между тем как Сократ, рот разиня, наблюдал луну, ящерица с кровли напакостила ему прямо в глотку...

Студенты хохотали, к полному недоумению инвалидов и калек. Радищев, стоявший сзади Бериша, не вытерпел и с гневом сказал:

— Стыдитесь! Только что подмастерья, менее образованные, чем вы, себя вели здесь гораздо достойнее. Они громили виновников подобных увечий...

Бериш иронически прищурился и, даже не ища глазами того, кто ему бросил упрек, ответил:

— Угадываю энтузиаста и поклонника энсиклопедистов! И, конечно, вы правы: ваши подмастерья негодовали именно потому, что они мало образованны и не знают, что уничтожение всех видов насилия еще вовсе не значит уничтожение *самого* насилия. Его причина — бессмертна, ибо соотношение сил...

Ярмарочная толпа с такой жадностью и столь внезапно кину-

лась к самому помосту носорога, что сбила студентов с ног. Произошла свалка. Бериш крикнул: «Sauve qui peut!» [1] — и, держа за руку своего античного спутника и размахивая тростью, бросился вон из толпы.

Неожиданный напор произошел по той причине, что служка с хвостом на красной куртке, появившись на эстраде, возгласил:

— Предлагается всем, кто ищет себе необыкновенное исцеление от вундертира, вносить в кружку по гульдену!

Служка над головой ярмарочного люда поднял кружку-копилку и пригласил входить поочередно по лесенке вверх, на эстраду. Под свист и проклятия непопавших взошедшие счастливцы бросали в кружку свои гульдены и становились вокруг клетищи носорога наподобие почетной стражи.

Возвещенный трубой, вышел торжественно сам хозяин зверя. Он был в мантии алхимика, в островерхой шапке, украшенной знаками зодиака, весь расшитый золотом. В темной по смыслу речи он расхвастался, что знает язык птичий и звериный и все целительные свойства трав и камней.

— По мановению моего магического кадуцея, — он поднял над головой жезл, — этот Риноцерос, который есть Бегемот книги Иова, соберет на кончик своего хвоста великую целебную силу всего животного царства. Прикосновение к этой силе способно восстановить самые истощенные организмы. Да будет вам известно, — кричал маг, — что ногти и волосы содержат в себе особый жизненный флюид. Это и есть причина, почему именно ногти и волосы употребляются колдунами в целях приворота или порчи человека. Итак, я начинаю.

Алхимик хлопнул в ладоши. Тотчас служки, став по обе стороны зверя, защелкали бичами. Из кучи сена неохотно выбрался разоспавшийся носорог.

Пошатываясь на коротких ногах, облаченных в твердые панцырные штаны, он прошелся по клетке.

Носорог остановился, поглядел на публику маленькими красными глазками и зевнул изо всех сил, обнаруживая громадную пасть, белорозовую и нежную, как пасхальный окорок.

Восторгам толпы не было предела. Алхимик с огромными ножницами в руках подошел к самому краю эстрады. Служки поставили рядом с ним столик. На столе лежала стопочка каких-то бумаг. В руках у служек было длинное полотенце и чаша с водой.

Алхимик, сверкнув ножницами на солнце, погрузил их в чашу, вытер полотенцем и стал чертить, обращаясь на все четыре стороны света, каббалистические воздушные знаки.

— Сейчас вы услышите заклятие «четырех стихий» — воздуха, земли, огня и воды. После заклятий к вашим способностям

[1] Спасайся, кто может! *(франц.)*.

может приложиться зоркость орла, бессмертие саламандры, величие льва...

— Вы забыли про глупость осла! — крикнул голос из толпы.

С эстрады понеслась ругань, и даже алхимик на миг утратил свою важность, снизойдя до перебранки:

— Пусть глупость осла останется при вас.

— Получайте обратно, — полетело, как мяч.

— Прошу внимания!.. Я одних духов заклинать буду по-латыни, других духов — по-ассиро-вавилонски. После заклятия я остригу намагниченный кончик хвоста вундертира вот этими ножницами. Необходимо соблюдать строгий черед. Волоски будут розданы всем, давшим свой талер. Впридачу, безвозмездно, дана будет инструкция дальнейшего курса лечения.

Алхимик поднял стопу бумажек, положил их обратно и, щелкая ножницами, натряс на них магию. Потом он высоко воздел руки и, кланяясь на все стороны, завопил:

— Fluat udor... Maneat terra... Fiat firmamentum... Fiat Judicium per ignem in virtute Michaeli. [1]

Однако хозяину носорога перейти на ассиро-вавилонский язык не пришлось. Внезапно на эстраде откуда-то вырос скромный пожилой человек в темном костюме аптекаря или врача. Он не спеша подошел к алхимику и что-то тихо сказал ему. Говоря, он невысоко поднял правую руку с большим темным кольцом. Потом, к изумлению раскрывших рот служек, он легким движением взял намагниченные магом бумажки и скрылся в толпе.

Алхимик необыкновенно смутился. Он даже снял островерхий колпак с зодиаком и чуточку постоял совершенно лысым дураком. Однако все-таки спохватился, насадил обратно колпак, воздел обе руки, возопил:

— Созвездия неблагоприятны! Сегодня в толпе были люди с нечистыми эманациями. Благодаря им духи воздуха способны навеять дыхание чумы от погибшего в песках каравана. Исцелений на сегодняшний день не последует.

— А наши денежки, выходит, плакали?!

— Давай гульдены!

— Друзья мои, — крикнул алхимик, — ваши деньги здесь будут в полной сохранности, покуда созвездие Рака...

— Не надо нам рака... Подавай назад одни гульдены!

Алхимик передал служкам обратно копилку и поспешно исчез под крики, улюлюканье, хохот и свист.

Радищев успел с изумлением заметить у самого помоста своего друга Кутузова, бледного от волнения. Он хотел было

---

[1] Да течет вода... Да пребудет земля... Да пребудет небосвод... Да свершится правосудие огнем во славу Михаила *(лат.)*.

к нему ринуться и пробовал окликать, но тщетно. Кутузов ничего не слыхал. Вдруг он кинулся, разбрасывая людей, вслед аптекарю в черном кафтане.

Радищев, наконец, тихо выбрался из толпы и вздохнул свободно, когда попал в чудесную липовую аллею, обегавшую вокруг всего города.

Навстречу ему попадались запоздалые пожилые горожане, старомодные и надутые бюргерши. Они, из опасения уронить себя преждевременным поклоном кому-либо низшему по рангу, держали головы кверху на деревянных, негнувшихся шеях.

Студенты увивались вокруг жеманниц в белых платьях, вынутых из сундуков после прошлогодней конфирмации. Щеголи модно вздыхали, неся букеты вслед модницам в зеленых шляпках, с глубокими вырезами шелковых платьев.

На ярмарку проехал на своем всем известном гнедом мерине, подарке самого курфюрста, знаменитый профессор и баснописец Геллерт. Студенты, модницы и жеманницы ему кланялись прелюбезно и делали книксены. Геллерт, доехав до ярмарки, спешился, дал слуге держать мерина под уздцы, а сам пошел к носорогу.

Было время его обеда, и вундертир жадно чавкал из огромнейшей миски сырой картофель и свеклу. Вундертир коротким хвостом с пресловутой кисточкой-талисманом на конце простодушно работал, как маятником, выражая свое удовольствие, и порою похрюкивал.

Геллерт с возвышенной улыбкой на тонком, полном высоких моральных достоинств лице обошел клетищу зверя. Первая строфа его знаменитого стихотворения, написанного именно по случаю этого первого привезенного в Лейпциг носорога, возникла в трудолюбивой его голове. Стихотворение о том, как он «вышел из дома и встретил зверя», суждено было долгие годы заучивать школьникам решительно всех стран мира:

Um das Rhinoceros zu sehen
Ging ich vom Haus...[1]

ГЛАВА ВТОРАЯ

Радищев шел по липовой аллее, глубоко погруженный в себя. Его не на шутку беспокоил избегавший серьезного разговора Кутузов, заботил шалопай Миша, у которого, слышно, какие-то пошли амуры с гулящей Лизхен. И раздражал этот серый дьявол, спутник Антиноя.

---

[1] Чтобы увидеть носорога, я вышел из дому (*нем.*).

Прямо-таки непереносен был Бериш. Своими замашками, высокомерием он вызывал в памяти неприятные годы, когда в качестве пажа приходилось дежурить во дворце.

Бывало, стояли, как статуи, за спиной важных придворных гостей. Офранцуженные кавалеры, сверкая бриллиантами, кружили головки фрейлинам модными комплиментами. Через плечи, как лакеям, делали пажам знак менять тарелки, цедить в бокалы венгерское. Сияла победной синевой глаз царица, обнадеживая робких ласкательной речью. Впрочем, в постановление церемониймейстера, по которому неловких пажей секли, царица не вмешивалась и порки виновному никогда не отменяла.

Беда — заглядеться на красавицу, заслушаться хитроумных речей дипломата либо по ребячеству зазеваться на невиданные фленские устерсы[1] и залить соусом фрейлинский шлейф. Беда — звякнуть золотой тарелкой о другую над ухом вельможи в многоярусном парике.

Немедленно церемониймейстер с большим горбатым носом, вот совсем как у Бериша, — то-то он неприятен! — подмигивал кому следует о замене ротозея исправнейшим. Насчет же ротозея отдавалось некое особое распоряжение. По тому особому — порка.

Радищев зашел в безлюдную часть города. Окна домов были закрыты ставнями, как во время эпидемии, высокие ворота заборов, обегавших каждое владение и превращавших его в маленький средневековый бург, были задвинуты окованными в железо бревнами. Даже собаки не лаяли. Все живое схлынуло на Марктплац — покупать, продавать, торговаться и просто глазеть. Тень старых деревьев так была здесь густа, что солнце, пробиваясь сквозь переплетенные в беседку ветви, лишь редкими яркими зайчиками дрожало на покрытой тенью дороге. В отрадную прохладу на придорожный камень присел Радищев и тут только почувствовал, как он сильно устал. Но спать не хотелось.

Вызвав из складов своей памяти дворцового церемониймейстера, схожего с Беришем, он больше не мог остановить эту память и, как бывает в утомлении, уже без всяких усилий собственной воли ей подчинился. Он стал пересматривать свое недавнее прошлое, приведшее его сюда стипендиатом императрицы.

Конечно, к общежитию Пажеского корпуса привыкнуть было невесело. Старшие куражились, «цукàли» младших, — так испокон было заведено, — посвящали малышей зазорно, с особо злой понукой, в еще не нужные им «утехи любви»...

Тем более было трудно, что перед этим в Москве шла совсем иная, непохожая жизнь у дядюшки Аргамакова, куратора уни-

---

[1] Фландрские устрицы.

верситета, который озаботился, чтобы племяннику преподавали лучшие профессора. Здесь же, в Москве, первые речи о вольности услыхал от собственного гувернера-француза. И хотя всего, что говорил учитель, ум двенадцатилетнего усвоить полностью не возмог, но сверкание очей, но пламенный жест внедрились в сознание навсегда.

И вот подобное блестящее развитие чувств естественных было прервано «монаршей милостью», которая гласила, что «сын подполковника Радищева пожалован в пажи». Вместе с двором, гостившим в Москве после коронации, пришлось переехать в Петербург и начать совсем новую жизнь.

Самое замечательное в этой жизни была она — матушка-царица. Случалось не раз стоять при карете, передавать ее приказы лакеям, дабы по придворному этикету не приключилось непосредственного касания смердов двору. В сих обстоятельствах был не однажды поражен чарующей простотой матушки, нарушавшей стеснительный устав своей умной шуткой, своей доступностью. Еще более восхищали речи ее за столом — речи, полные духа вольности, напоминавшие содержанием все то, что говорено было французом-гувернером в Москве. Выходило: матушка-царица единых мыслей с ансиклопедистами.

И какие вселяла надежды!

Казалось, стоит довести лишь до сведения ее о попранных правах и утеснениях — и справедливость восторжествует. «Императрица — мудрее и вольнолюбивее всего сиятельного своего двора, и столь великие дела возможно свершить для блага родины и вольности, апеллируя к ней одной через все головы!»

Так мечталось отроку, еще не знающему своих сил и даров, полному брожения мыслей и благородства чувств.

И с преданностью чертил он для будущей союзницы в своих великих прожектах виньетки для Эрмитажного театра, любимого ею, или излагал вкратце и необременительно для понимания зрителя содержание дававшихся при дворе пети-пьес или нах-комедий.

Между тем дни обычные в корпусе текли тяжело и душно, без всякого внутреннего руководительства, и все еще неизвестно было, куда и на какую цель направить свою волю. Ничто не препятствовало в будущем скрутиться в разврат и бражничество. Таков был удел очень многих. Сколь ни силен умом близкий сердцу Федор Васильевич, ведь и он не устоял. И сейчас эта гибель жестокая в цвете лет...

Между тем встреча и дружба именно с ним были тем внутренним руководительством, которое дало желанный компас для направления воли и всей жизни к единой цели.

Федор Ушаков, брат Миши, был старше всех вошедших в студенческую колонию Лейпцига. В то время, как те были еще

детьми, он занимал уже видное положение в свете. Царедворец Теплов (шептались — цареубийца... не Орлов-де, а он прикончил в Ропше императора) взял его к себе в секретари. Хотя и Ломоносов не одобрил сего вельможу, припечатав ему кличку «развратный и отъявленный подьячий», но к Ушакову он был благосклонен и карьеру ему сделать хотел.

За помощь в труде над рижским торговым уставом Ушаков получил чин асессора. В нем заискивали, он мог как секретарь, входящий с докладами, оказать немалую протекцию. Один из многих случаев снискания этой протекции рассказан был Федором совсем недавно, в одну из счастливых минут облегчения от страданий, и притом в весьма фривольном духе.

Радищев, невольно улыбаясь, вспомнил рассказ о том, как некая разведенная жена, подкупив слуг молодого секретаря, явилась к нему на рассвете прямехонько в спальню, когда он еще спал. У сей разводки была прековарная мысль уловления «простейшим и натуральнейшим способом».

Федор Васильевич, отпущенный на короткий срок болезнью, с молодым лукавым блеском несоразмерных на исхудалом лице огромных серых глаз уморительно рассказал о своем пробуждении, о смятении чувств при виде неизвестной, как с неба спустившейся на его одр сирены с улыбками нежных страстей. Она отгоняла крылатых насекомых с лица его и «распростертым опахалом умеряла зной солнца», уже проникнувшего лучом своим в его спальню. Словом, в намерении своем обольстить сия сирена успела.

Но тут же, едва вызвал в воображении лицо друга с его редкой улыбкой, как непрошенно встало оно, уже искривленное судорогой нечеловеческих мук. Эти муки тщетно пытался Радищев прошедшей ночью вместе с врачами хоть немного утишить...

Сейчас от пронзительного воспоминания вскочил он и стремительно вновь зашагал по бесконечной аллее. Так на ходу стало легче.

«Почто в нужный час на пути достойнейшего нет остерегающей от соблазна руки? Почему столь поздно предложена другу возможность познания? Ему, который одной лишь мудрости наук отдал бы с радостью свои силы! И вон он сейчас умирает только оттого, что силы эти расточены, и расточены безрассудно. Днем непомерное служебное прилежание, ночью — пирушки, похождения с сиренами, карточная игра...»

Жертва окружавшего его хода всеобщей жизни, Федор Васильевич Ушаков невольно подсек свой неокрепший организм, и страшная секретная болезнь сводит его в могилу — когда профессора им гордятся, когда он горит одной жаждой познания и кто знает, что бы мог совершить?

Вчера еще слабым голосом, сопровождаемым ему свойственной умной насмешкой одних глаз, он прошептал: «Хоть поздно, а учусь, братец... учусь мыслить по Гельвецию!»

Федор Ушаков был истинным воспитателем, образователем ума и воли всех способных его понимать студентов, свыше вверенных бесчестному руководительству глупого и низкого Бокума. Студенты добровольно передоверили сами себя — достойнейшему.

Не менее странен, хотя лишенный зловредства первого, был и второй наставник юношей — отец Павел. Этот являлся блюстителем нравственности, дабы сохранить и в земле еретической во всей чистоте древлее православие воспитанников. Но питомцы наперерыв высмеивали познания отца Павла по части метафоры и антитезиса и кроили штуки, от коих бедняга попадал впросак. Как наилучшую опору доброй нравственности, отец Павел учредил всеобщее утреннее и вечернее пение молитв. Вследствие отсутствия у большинства слуха получался неописуемый козлиный хор. Один басил, другой пищал, третий вполне недостойно кудрявил звуки, четвертый ржал жеребцом. И все согласно на высоких нотах строили рожи.

Отец Павел, на беду свою, болезненно был смешлив и, памятуя свою слабость, зажмуривал очи, дабы не прыскать ему от смеха. Миша Ушаков, первый шалостник, подметив слабость чернеца, стал ее нарочито подвергать испытаниям. Расплющит отец Павел веки, а Мишка, скорчив свинский пятачок, как хрюкнет ему прямо в бороду и сникнет в поклон. А в Риге и не такое вытворил.

Пришлось отцу Павлу служить в горенке перед иконой, возглавляющей стол, накрытый белой скатертью. Памятуя свою несчастную смешливость и штукарство питомцев, он заблаговременно, дабы вовсе их не видать, преплотно защурил веки. Уже никакой шкоды не опасаясь, разомкнул очи лишь в поясном, глубоком поклоне над самой иконой. Ан ему тут как тут, прямо в нос, непристойность — белый замшевый кукиш! Это Мишка Ушаков, преловко соорудив из пустой перчатки, надутой собственным духом, подкинул оный кукиш под самый нос. Отец Павел так и скис. Однако преодолелся и налетел на студентов, в нешуточном гневе выражаясь неграмматически.

Тут скорый на запальчивость Мишенька кинулся к стене, сорвал шашку, прицепил к бедру и, будучи в гневе особливо заиклив, стал наступать на чернеца, захлебываясь: «Ты заб... б... был, что я кир...р...расирский офиц-ер?!»

Под общий хохот отец Павел укрылся в своей комнате и даже Бокуму не пожаловался.

Но окончательный конфуз, погубительный для значимости духовника, учинен был в присутствии петербургского курьера,

некоего Гуляева. Отец Павел, от истовости уж не зная, что и придумать, завел было моду толковать питомцам после обеденки, как некоим болванам, своими словами уже прочитанное евангелие еще раз. Подобной процедурой он затягивал и без того утомительное стояние на ногах.

Царицын курьер, как нарочно, подоспел в праздник Благовещения, когда отцу Павлу надлежало своими словами пояснить, что означает наименование «ангел».

— Сей есть слуга господень, которого он на небесах употребляет для нужных к случаю посылок. Сие подобно тому, как ныне угодно было нашей государыне употребить здесь присутствующего господина Гуляева курьером.

Тут уже все, купно с новопожалованным курьером-ангелом, покатились, увлекая в смех и отца Павла. Впрочем, он немедленно вслед за оплошностью прослезился и, махнув погребально рукой на карьеру свою и фортуну, изрек заключительно: «Аминь!»

Но если русские студенты на чужбине одним легким смехом обезвредили своего соглядатая духовного и лишили его всякого авторитета, с главным начальником, зловреднейшим Бокумом, дело обернулось гораздо труднее, и здесь одна только твердость мыслей и вольность их выражения — основные качества Федора Ушакова — положили закладной камень чувству достоинства студентов и умению их постоять за свое право.

Первая стычка с Бокумом произошла немедленно, едва перемахнули заставу. Русские юноши, привыкшие к еде обильной, были досадно поражены, когда после прощальных великолепных обедов в Петербурге скаредная Бокумша, ужимая губы, крутя маленькой плоской головкой наподобие ящерицы, стала распределять им на ужин по куску хлеба с вареным мясом. Миша Ушаков тут же правильно опознал, что сей первый ужин есть корень грядущей вражды и что желудки студентов, растревоженные без насыщения, кончат тем, что поглотят Бокума самого.

В Лейпциге Бокум завел каторжную, фрунтовую дисциплину, мешавшую учению, на которое кинулись с жадностью. Кроме того, он продолжал, подзадориваемый своей ящеровидной Бокумшей, всех держать впроголодь. Все письма домой перехватывались и истреблялись. Бокум боялся жалоб, торопясь нажиться за счет студентов. От напряженности слежки у него развилась подозрительность. За пустяк он студента сажал под замок, с приставленным к дверям часовым в полном вооружении.

Дров Бокум не покупал вовсе, а зима в Лейпциге, как нарочно, стояла суровая, и русские мерзли больше, чем дома, при морозах сильнейших, но при жарко натопленных печах. За выражаемое неудовольствие по поводу голода и холода Бокум

кричал, грозился наказывать фухтелями, сиречь ударами тесака по обнаженной спине.

Особенно туго пришлось студентам, не получавшим из дому денег...

Радищев шел все дальше по великолепной аллее. Она без перерывов обегала вокруг всего города. В центре аллея казалась узкой и тесной оттого, что кишмя кишела бюргерами, выводившими на променаду супруг, от обилия нянек, возивших в колясках ребят, от петиметров, волочившихся за модницами, признававшими только места многолюдные для выставки своих парижских омбрелек [1] и аграфов. [2]

Здесь, на окраине, текла рядом с аллеей и тихонько журчала одна только синяя речка, да между частых стволов сверкали шпицы крепостных башен и красные черепицы крыш. Здесь можно было собрать свои мысли и, опросив прошлое, понять, в чем же был его смысл?

А смысл был, и немалый.

Преотменной политической школой оказалась эта зависимость молодых студентов от гнусных и глупых наставников, потому что, как говорил Ушаков, ничто так не связует людей, как вместе переживаемая, одинаково испытуемая несправедливость.

— А ежели притеснение переходит все пределы, — доканчивал его мысль Радищев, — то рождается возмущение, выходящее из границ. И вот, гляди: уже зреет восстание рабов и диктует новому Спартаку, куда и на что их вести...

О том, сколь логично в развитии общественных сил все следует своей чередой, было видно уже на таком мелком примере, как событие, окрещенное в Петербурге, по донесению Бокума, — «студенческая история».

Одна мысль, что революция, как отражение солнца даже в малейшей капельке, подчиняется непреложному закону, утешала Радищева, наполняла его радостью и живыми надеждами. Уже с удовольствием стал он припоминать все перипетии этой истории — первого боевого крещения, где студенты оказались победителями.

Дело произошло в ту самую холодную лейпцигскую зиму. Студент Ваня Носакин, слабого здоровья, не имея возможности купить за свой счет дров, выведенный из терпения корыстолюбием Бокума, отправился к нему за объяснением. Бокум играл с каким-то своим приятелем на биллиарде и, по чванливой спеси низкого душой человека, на представление Носакина о невозможности ему работать в промерзлой комнате хватил его

---

[1] Зонтиков *(франц.)*.
[2] Брошей *(франц.)*.

по щеке. Носакин, не ожидая такого поступка, растерялся и, не ответив никак Бокуму, кинулся к товарищам. Студенты под влиянием рассмотревшего дело Федора Ушакова немедленно постановили, что Бокуму необходимо, наконец, дать крутую острастку, а себя поставить как полноправных граждан.

— Посему, — сказал Федор Васильевич, — хоть обида не велика, коли тебя лягнет осел, но требовать от осла извинения, коль скоро он владеет членораздельной речью, есть необходимость.

В противном случае — как установлено общим мнением — полагается сделать вызов и драться на дуэли.

Носакин только что пришел из гостей, когда ему объявили постановление совета студентов. Он на него охотно согласился. В пылу, как был, во всем параде и при шпаге, вместе с товарищами, «всем скопом», — так жаловался потом Бокум, — вошел к нему в комнату. Миша Ушаков стремился было первый «цукнуть» Бокума, но предпочтение оказано было Носакину, как обиженному.

Увидя студентов, непрошенным скопом вошедших, Бокум, при всем хвастовстве будучи трусоват, испугался. Высокий, рыхлый от пива, он стоял, багровея от злости и покачиваясь на столпообразных ногах. Ему сразу вообразилось, что студенты пришли его убивать, особливо потому, что у шедшего перед всеми Носакина болталась при бедре шпага. Пугливо озираясь на единственного свидетеля — своего писаря, Бокум пролепетал, как школьник, в ответ на заявление Носакина:

— Вы давеча дали пощечину... требую удовлетворения!

— Никакой пощечины я не давал-с.

Тогда Носакин, размахнувшись, хватил Бокума запросто по щеке — раз и два.

Миша Ушаков не пропустил случая захлебнуться, выкрикнув: «Воз...врат с л...лихвой!»

Бокум позорно ретировался к себе и тотчас заперся. Телохранитель-писарь оказался на высоте своего звания. Введенный в заблуждение трусостью начальника, он тоже решил, что тут имеет место посягательство, и выхватил шашку из ножен Носакина. Но студенты с громовым хохотом шашку водворили обратно, а с писаря сняли парик.

Бокум же оказался окончательным негодяем и трусом. Он немедля состряпал экстренную бумагу, что на жизнь его студентами произведено было вооруженное нападение, но он их разогнал голыми руками, как ребят. Про пощечины Бокум умалчивал.

Предвидя именно эту подлую клевету, студенты собрались было бежать, кто в Америку, кто в Ост-Индию, но Бокум действовал молниеносно. Он истребовал от военного начальника

«по случаю бунта русских студентов» вооруженную охрану. Каждый заключен был в своей комнате, к дверям приставлен вооруженный солдат. Вот тут-то старший Ушаков, чье значение росло так же быстро, как падал престиж начальников, избран был «атаманом». Это он писал письмо русскому послу с правдивым изложением всего дела. Как цепную собаку, спустил оное письмо в нижний этаж и, по всем камерам заключенных хитро собрав подписи, нашел случай переправить письмо князю Белозерскому.

Умный князь эту студенческую историю притушил и якобы помирил студентов с Бокумом. Но, как у отца Павла по его линии, провал Бокума был уже без восстановления. Сколь он ни хитрил, послание о его художествах было отправлено в Петербург, и справедливая оценка ему готовилась. Сейчас Бокум доживал последние дни. Он пустился красть со своей ящеровидной Бокумшей вовсю, но зато питомцам предоставлена была свобода полнейшая и безнадзорная.

Однако перед самой сдачей позиций Бокум, не зная о том, что жалобе студентов дан дальнейший ход, успел выкинуть самую гнусную из своих воспитательных манипуляций.

Провинившихся студентов он затеял сажать в преогромную клетку, которую и заказал университетскому столяру, — такого размера, как в зверинце делают медведям. Он уже купил для запора невиданной величины висячий замок и похвалялся им перед питомцами. Таким образом мог быть осуществлен самый строгий арест без возможности убежать и без малейшей затраты на стражу.

Проведав сии Бокумовы художества, студенты отрядили Радищева к столяру с конфиденциальной инструкцией.

Едва Радищев собрался изложить вежливому герру Шнейдеру — старшему столяру, очень хвалимому его приятелем подмастерьем Шихте, — в чем состоит его конфиденциальное поручение, как вошел в мастерскую не кто иной, как всегдашний спутник Бериша — Антиной.

Ну, конечно, как мог он запамятовать, что это и была та особенная, неприятная встреча, почему смутное неудовольствие ощущалось им теперь всякий раз, когда он встречал правильное, красивое лицо Антиноя.

Хотя Радищев пришел раньше, он нарочно уступил свой черед красавцу, не желая его делать свидетелем своего, оскорбительного для национального чувства, дела. Но юноша огромную медвежью клетку в углу заметить поспел и, заинтересованный, спросил Шнейдера, для каких она зверей.

— Это еще не определено, для каких, — уклончиво ответил столяр и немедленно перешел к обсуждению заказа, с которым пришел Антиной.

Когда он скрылся, Радищев предложил от имени товарищей почтенному Шнейдеру взять у Бокума, любителя затягивать платежи, следуемую за клетку сумму. «Потому что, едва клетка появится в нашем общежитии, — сказал он, — мы разнесем ее в щепы, и Бокум не даст вам за нее ни гроша». Столяр поблагодарил и, смеясь, сказал, что, принимая в этом деле сторону студентов, соорудит все на живую нитку, дабы ломать было сподручнее.

Рихтерскафе — великолепное барокко в четыре этажа на углу улицы Брюля и Катериненштрассе — было некогда обиталищем пышного бюргермейстера Романуса. Сейчас оно превратилось в Assemblée publique, [1] место встречи многочисленных в дни ярмарки иностранцев и студентов из Галле, Иены и Виттенберга.

Бериш с группой своих обожателей, ходивших за ним следом, как «галанты» за жеманницей, после шатанья на ярмарке добрался тоже до Рихтерскафе.

Все были отменно веселы.

— Если мнение справедливо, — сказал Бериш, — что архитектура — сильнейший центр влияния на творческие силы людей, то уж одной этой великолепной постройки достаточно если не для оправдания, то для объяснения неслыханной плодовитости убогой музы Готшеда. Остается пожалеть, что его водянистой богине не был положен столь ранний предел, как художнику и строителю этого дома. Из вас, вероятно, мало кто знает, что дом Романуса — памятник тройной кровавой драмы?

— Мы сейчас про этот дом знаем только одно: лучшего пива и биллиарда в целом Лейпциге нам не сыскать, — смеялись студенты.

— Однако, пока мы не углубились в кружки с прославленным этим пивом, расскажите нам, Бериш, про тройную драму.

— Великолепный Романус замечателен уже тем, что он спародировал бога-отца, приказав темному, грязному Лейпцигу: да будет в тебе свет! — продекламировал Бериш. — Он заставил скупых наших бюргеров раскошелиться на целых семьсот фонарей. Это благодаря ему наши пьяницы перестали разбивать в кровь носы, а модницы — попадать туфлями в лужи. Однако — увы! — когда однажды в сочельник благодаря Романусу впервые вспыхнули на дубовых столбах масляные лампочки, сам он за подложные счета городу сидел уже в крепком месте. Здесь, в Лейпциге, веселья и шуток не любят: Романуса впустили за железную дверь тридцатилетним красавцем, прожигателем жизни, а выпустили дряхлым безумцем.

---

[1] Общественное собрание (*франц.*).

Поднимаясь по лестнице, Бериш, по взятой им моде высокомерно сощурясь, придерживая шляпу, поигрывая тростью, рассказывал о прочих жертвах тройной драмы:

— Художник Давид Гейер, которого Романус пригласил расписывать этот дом, так щедро был им вознагражден за работу, что родная сестра, ему позавидовав, его отравила. Поспешив с похоронами, она возбудила подозрение. Гейера откопали — сестру казнили. Итак, три казни за красоту этого дома, в котором мы сейчас будем пить...

— Однако мы не по заслугам попадаем вместо кофейни прямехонько в рай, — здесь ничего, кроме облаков! — возгласил Бериш, вступая в зал.

В комнате действительно было так сильно накурено, что даже сосед только сквозь сизый туман различать мог соседа. У всех изо рта до полу, как змея в каталепсии, свисали длинные чубуки с табаком. Пыхтели взапуски. Между затяжками тянули черное пиво. Огни многочисленных канделябров и стенных бра окружены были, как месяц в морозную ночь, радужным сиянием. Побеждая сизую мглу, поблескивали то здесь, то там пряжки туфель, шпоры военных, стальные аграфы, бриллианты перстней.

Одни сидящие за карточными столами не курили из чубуков. Они настороженно, как кошка за мышью, следили за рукой банкомета и за кучей горящего золота, переходящей то и дело к очередному счастливцу. Почти все были в длинных кафтанах, расстегнутых спереди, с двойным рядом пуговиц на парчевом камзоле или на жилете. При каждом движении тончайшего кружева белые жабо трепетали, как крылья громадных бабочек.

Едва завсегдатаи Рихтерскафе рассмотрели вошедших, как со всех сторон послышались восклицания:

— Серый дьявол с питомником!

— Ваше великолепие, гофмейстер Бериш...

И взапуски приглашали вошедших к своим столам.

Здесь были студенты четырех университетов; каждый отличен был от других особой славой, что удостоверяла большая гравюра, висевшая на стене. На гравюре во весь рост стояли четверо собирательных представителей своих университетов с отличающими их атрибутами.

Лейпцигский студент, вывернув ноги, как танцмейстер, закрутив локоны, изогнувшись в поклоне, держа шляпу подмышкой, истекал галантностью.

Студент из Галле, где победили сейчас ханжи пиетисты, скроив постную рожу, отворачивался от женщин, книг и бутылок, между тем как виттенбержец, хмельной молодец, облизывался на полный бокал. Студент из Иены, кичившейся фехтовальщиками, делал шикарный «выпад». Под гравюрой кто-то громко читал стихотворное пояснение текста, из которого слуша-

тель узнавал, что в Лейпциге бурш не дурак приударить за девочкой, между тем как в Галле царит вечная постная мода на «ахи» и «охи»... В городе Иене пальму первенства получал всегда фехтовальщик, а в Виттенберге — пьяница-весельчак:

In Leipzig sucht der Bursch die Mädchen zu betrügen,
In Halle muckert er und seufzet ach und weh!
In Iena will er stets vor blanken Klinge liegen,
Der Wittenberger kriegt ein «à bonne amitié!»

Все различия, данные гравюрой, действительно существовали, но уже вырождались. Хотя в Иене и Галле еще попадался нечесаный «Raufbold», [1] как говорили, жеманясь, бюргерши, «ohne Politesse und Conduite», [2] но его уже вытеснял петиметр, безбородый, завитой и напудренный. На нем прекрасно сидели черные короткие панталоны, богато вышитый кафтан надет был на камзол с золотыми пуговицами. Петиметры стремились вести под руку бюргерских модниц с глубоким вырезом шелковых платьев. На зеленых шляпах и на груди им полагалось иметь поднесенные вздыхающим юношей розы. Случалось порой, что иные упорные студенты из Галле пытались воскрешать старые нравы и развертывали кулачный бой на Марктплаце. Однако, приобретая синяки, они теряли своих дам, для которых «галантность Лейпцига», этого маленького Парижа, была непреложным законом. Галантность являлась главным условием, открывавшим молодому человеку гостиные надутых спесью бюргеров, на «галанта» сыпались предложения посещать семейно-танцовальные вечера, этот благопристойнейший смотр невест. Они же были участниками пикников в знаменитую «Kalte Madame» [3] — павильон, торговавший мороженым в Розентале. И студенты Лейпцига, почитая себя украшением века, задавали всем тон, не подозревая, что в конце концов они сами лишь подчиняются вкусам бюргеров, после разорения войной стремящихся к благолепию.

По причине указанной моды и тщеславного именования города «Kleine Paris» [4] гофмейстер Бериш мог процветать именно здесь. Возможно, что в Иене и Галле он просто был бы высмеян со своими причудами. Но кружку завсегдатаев Рихтерскафе он решительно импонировал театральной аффектацией. Студенты подражали его медлительно-высокомерной речи и упражнялись в его искусстве — из ничего создавать сверкающую остроумием беседу. Пытались, подобно ему, одеваться во все серое, тратили массу времени, чтобы изобрести новый пустяковый оттенок. Огорчались, когда он уничтожал все их провинциальное остроумие

---

[1] Буян *(нем.)*.
[2] Без вежливости и манер *(нем.)*.
[3] «Ледяная мадам» *(нем.)*.
[4] Маленький Париж *(нем.)*.

очередной парижской шуткой и держал в Рихтерскафе ядовитую речь о бездарности их воображения.

Однако большинство молодых среди увлечений модным шиком, сомнительного вкуса любовными забавами и пирушками прежде всего жаждали все-таки знаний. И здесь блестящий скептик Бериш сверкал оригинальностью мыслей и новизной, он шутя разбивал и высмеивал все ходульные авторитеты. С такой же легкостью, как знаменитое свое манипулирование со шпагой, которую он умел закрутить так, что она, исчезнув из поля зрения, оказывалась в совсем неожиданном месте, — он жонглировал мыслями энциклопедистов и их противников, зачастую смеясь над обоими.

Когда Радищев вошел в Рихтерскафе, речь Бериша уже потеряла обычную аффектированность, попав на любимую литературную тему. Радищев, кое с кем поздоровавшись, тихонько сел за отдельный столик спиной к шумной компании. Поискал глазами Кутузова и Мишу Ушакова, но их не было, и спросил себе пива.

— Первым шагом выхода из этой водянистой болтливой эпохи должны быть точность языка и краткость мыслей. Немецкой литературе надлежит в первую голову приобрести все, чем гордится французская. Вместо дрянной дребедени олимпийских богов, вкус к которым привила нам все та же неумная муза Готшеда...

Почтенный бюргер, медлительно встав, подошел к столу молодых и сказал:

— Однако во время Семилетней войны, под гром пушек, прусский король улучил время, чтобы пробеседовать целых три часа не с кем иным, как с этим почтеннейшим герром Готшедом. Что, он глупее студентов, прусский король?!

Бериш иронически поклонился придворным поклоном, округло взмахнув шляпой по адресу бюргера:

— Прошу прощенья, но это и были три часа исторической скуки. Мне доподлинно известно, что умный король в кругу близких сказал: «Решительно ничего, кроме грамматики, наш бедный язык не создаст!» За слова короля пусть отвечает тот, кто дал ему соответствующий для подобного заключения материал. Наконец, вы опоздали с вашим заступничеством: новый столп вашего бюргерства, почтеннейший Геллерт, давно свалил авторитет Готшеда. Мы только его добиваем.

— И в свою очередь мы подроемся и под Геллерта, — выкрикнул кто-то из толпы, дразня бюргера.

Бериш тотчас подхватил:

— Если хорошенько порыться, благочестие Геллерта — его манера, расслабляющая нервы, его погребальный тон и его знаменитая проникновенность речей — если не вполне, то отчасти —

просто дряблая перистальтика! Обобщение я сделал на днях, когда он сам мне признался, что должен ездить на своем мерине ежедневно ради хорошего пищеварения. Сказал без улыбки, без ловкой вольтерьянской шутки, подходящей к случаю, а как преважное государственное дело.

Студент-теолог, смутясь, возразил:

— Однако курс Геллерта все еще собирает полную аудиторию.

— Хвост носорога, которого мы только что лицезрели на ярмарке, собрал еще большую, — отхватил мигом Бериш.

— Ну, Бериш, это вы чересчур, — поморщился Антиной.

Бериш круто к нему обернулся:

— Не ожидал... Вам, значит, все еще хочется обожать, а не рассуждать? Но, чтобы поднять немецкую литературу на высоту, даже лирический поэт сейчас обязан быть умен. Кроме того, ваш Геллерт, поверьте, недурной практик, и на своем гнедом мерине он уедет далеко.

— Студенты особо благородного происхождения берут у него частные уроки, — упорствовал бюргер, — значит, наша знать ему доверяет...

Другой бюргер сказал:

— Брат Геллерта держит столовую; он сам — фехтовальный мастер, но кормит отменно. Я у него обедал и выразил свою благодарность...

— Вообще просим студентов почтеннейшего герра Геллерта не трогать, — сказали оба бюргера.

— Еще бы! Уж если сам курфюрст подарил ему мерина...

— А город Лейпциг готов подарить любого из своих старых ослов...

— Благо их немало пасется на Езельвизе, — подхватил целый хор.

«Eselwiese» [1] называлась сатирическая часть «Leipziger Woche», [2] где нередко продергивали даже почтеннейших горожан.

Бюргеры оторвались от кружек с пивом и, держа в руках, как оружие, длинные трубки, чередуясь, завопили:

— Геллерта читают все немцы — от короля до последнего дровосека...

— Читали бы и вы басни Геллерта — были б умней!

Бериш, как дирижер, взмахнул тросточкой и скомандовал:

— На-чи-нать!

И тотчас понеслись в уши бюргеров громовым хором пропетые первые строчки всем прискучивших басен маститого герра профессора...

---

[1] «Ослиный луг» *(нем.)*.

[2] Газета «Лейпцигская неделя» *(нем.)*.

Бюргеры плюнули, заплатили за пиво и, чтобы не ввязаться в историю со студентами, направились к дверям. Перед выходом они не утерпели и дружно бросили:

— Молодые ослы!

— Слышим от своих дядюшек! — догнал их веселый ответ.

Смех студентов покрыт был грохотом падающих стульев и буйным весельем, с каким ворвалась в Рихтерскафе новая ватага. Эти уже на другой манер — из кругов, где умеренно интересовались искусствами и наукой, где сказывалось влияние Виттенберга.

Шумной гурьбой они только что бродили по ярмарке, вступали в единоборство с силачами, дразнили медведя, щипали цыганок. Войдя уже подвыпившими, они выхватывали один у другого большой лист с гравюрой, пахнувшей еще свежей типографской краской, и кричали:

— Для любителей! Для холостяков! Новинка сегодняшней ярмарки! Подробный план Лейпцига!

План в минуту прибили к стене и запели хором ему посвященный стишок так забористо, что даже игроки, зажав веером карты, вылезли из-за зеленых столов посмотреть, как веселятся студенты. На особом плане разными красками, с нецензурными соответствующими пояснениями, отпечатаны были все места тайных развлечений.

Об окрестных трактирах, об особых беседках и прочих излюбленных и днем вполне «семейных» местах, посещаемых «с женой и дочерью», ночные подробности ходили уже в рукописном листке по рукам. Очевидно, столько местного «перца» с понятными всем намеками и вскрытием интимных сторон было в этих прикладных к плану сведениях, что самые почтенные отцы семейств вынимали изо рта неразлучную трубку и в жирном хохоте долго колыхали затянутые камзолами животы.

— Ну, заржала конюшня!.. — брезгливо сморщился Бериш. — Подобного заряда им хватит надолго — и, значит, моей компании уже не до высоких материй. Хотите, уединимся, — предложил он Антиною.

Они перешли с кружками на маленький парный столик неподалеку от Радищева. Бериш был сильно не в духе. Высокомерное лицо его потемнело. Он отяжелел. Радищев отметил, что этот издали столь молодой и нарядный человек совсем не так молод и, пожалуй, не так уж благополучен. Разговор был ему ясно слышен. Бериш сказал Антиною не без скрытой насмешки:

— Почему, милый друг, вы так беспрекословно идете сейчас в Рихтерскафе, когда еще недавно из некоего погребка вас было не выманить? Очевидно, магнит, который вас притягивал там, потерял свою силу, и ваша тема «Анхен» исчерпана? Фантазируя

дальше, проявлю сейчас настоящий дар прозрения. Ну, изумляйтесь! Тема «Анхен» абстрагирована и переведена вами в стихи.

И, подняв бокал в уровень с прищуренными глазами, любуясь сквозь янтарь пива на яркий огонь соседнего канделябра, Бериш протянул:

— Скажите стихи...

Антиной вспыхнул и вскинулся, как орленок:

— Нет, этих стихов я не скажу.

— А... в таком случае с меня довольно и того, что угадано верно, — все-таки стихи есть. И есть потому, что окончилась любовь.

Но молодой не поддавался на поддразнивания Бериша. Он так поглощен был самим собою, что столь трудно приобретаемые естественность и простота были в нем натуральны и природны, как в ребенке, еще не соблазненном тщеславием. Не замечая язвительности тона Бериша, заинтерсованный одним существом заданного вопроса, он ответил со всем благородством простоты:

— Про стихи угадано верно только относительно их появления. Но причина, их вызвавшая, противоположна той, которую указали вы. Мои стихи свидетельствуют о том, как влечение слепого инстинкта, очистившись красотой, возвышается до любви.

Бериш остро глянул на смотревшего куда-то вдаль юношу. Он им любовался. Но, по привычке не доверяя, на всякий случай вымолвил:

— Темно и невнятно. Сколько вас ни учу хорошему вкусу, вы опять сбиваетесь на высокопарный тон.

Юноша так непонимающе, так как-то издали глянул на Бериша, что тот смутился и неожиданно для себя самого положил свою руку, изнеженную и нарядную, как у женщины, от сверкающих колец, на еще юношески неуклюжую кисть Антиноя. Потушив колючий блеск глаз, Бериш сказал:

— Разве вы не знаете, как мне дороги ваши стихи? Я ломаю голову, чтобы создать достойный их шрифт. Я загонял приказчиков Шенэ поисками для них особой бумаги, я, «серый дьявол», для всех злой Бериш, я ведь первый, кто высоко оценил ваши стихи.

И опять вдруг испугавшись смешной чувствительности, он снял руку и улыбнулся с обычным высокомерием:

— Ну, расскажите по крайней мере, каким образом произошло абстрагирование темы «Анхен» в красоту? Человек, который переписал собственным великолепнейшим почерком в золотообрезную книжку все ваши стихи, ей посвященные, кроме этих последних, которые вы сейчас желаете утаить, — не правда ли, достоин, зная начало, узнать и конец?

Антиной весело улыбнулся, но не Беришу, а собственным воспоминаниям, и, очевидно, только в них погруженный, легко рассказал:

— Это было, Бериш, еще до знакомства с вами, шлифовщиком моего вкуса, и я страдал одной глупостью, присущей малограмотным людям: я любил всюду лепить собственный вензель. Таким образом я нанес ранение чудесной липе на опушке Розенталя. Буквы состарились и одеревенели, когда я, познакомившись с Анхен, над своим именем вырезал на свежей коре той же липы имя ее. Вырезал и забыл. Всю зиму я вел себя пребезобразно: ревновал, обижал, терзал капризами. Она была бы вправе сказать: «Der Liebe leichtes Band machst du zum schweren Joch...» [1]

— За нее сказали вы... — усмехнулся Бериш.

— Словом, Бериш, я в эту зиму исчерпал ее свежее чувство и надоел сам себе.

— Прекрасно сформулировано! — воскликнул Бериш. — Это именно то, чего никто не прощает, если из-за возлюбленной надоест сам себе. По этой причине мое сердце уже не замирает от чьих бы то ни было инициалов, исключая соединения на титульном листе иной книги двух имен: Краузе и Графф — первейшего нашего гравера и лучшего в мире издателя. Но продолжайте, мой друг, вашу идиллию...

— Однажды этой весной, когда в злом унынии, окончательно поссорившись с Анхен, я бродил на опушке нашего парка, я набрел на ту липу, носившую наши имена. Взглянув на них, я отпрянул, пораженный... Как обычно в эту пору, молодые весенние соки, мощно бродившие в дереве, струились из свежих надрезов имени Анхен и орошали одеревенелое имя мое. Милый Бериш, уверяю вас, — дерево плакало.

— Очень любезно со стороны дерева, — засмеялся Бериш. — Стихотворение в честь него должно быть названо «липовые слезы». Скажите на милость! Сквозь имя возлюбленной оно оросило с укором имя жестокого. Не правда ли, этот поэтический упрек вызвал в ваших чувствах то, чего вызвать уже не в силах была живая девушка своими настоящими, солеными слезами. Эти слезы текут у них по щекам, оставляя порой грязноватые полоски.

— Как вы сказали, Бериш? — Антиной глянул строго глазом, вбирающим мгновенно, как бы ловящим в себя предметы. — Знаете, так именно, как вы, должен бы воспринимать все вещи некий дух, воплощение злого начала, если бы ему пришло в голову появиться в современности. Вы Мефистофель из легенды о докторе Фаусте...

---

[1] Легкие узы любви ты превращаешь в тяжелое иго *(нем.)*.

— Вы мне оказываете много чести, — слегка поклонился Бериш, — но я по капризу претендую в данную минуту скорей на звание пророка, нежели дьявола. Я вам прорицаю опять, и уже без ошибки. Из-за «липовых слез» вы были ужалены заново стрелой Амура. Признайтесь, вы рыдали под этой замечательно педагогической липой. Рыдали... пока у вас не вылился экспромт. Молодой друг, не бойтесь выводов разума, — они одни нас принуждают умнеть. Не только поэт, всякий мыслящий человек лишь притворяется, что чувствует непосредственно. Действительность слишком глупа, пестра и бессильна. Только очистив чувство от случайности и переведя его в красоту, получаешь очарование. Что поделаешь! Вторичное воздействие того же самого явления, притом без присутствия вызвавшего его объекта, действует гораздо сильней. Но люди из трусости не умеют быть одинокими. Однако скажите мне все-таки эти стихи, — они, разумеется, лучше моей философии.

— Нет, Бериш, этих стихов я все-таки не скажу, — упрямо сказал Антиной. — Стихи мне еще дороги. Но зато я вам продемонстрирую, если вы ко мне зайдете, отличного вкуса рамку, которую соорудил мне наш университетский столяр. Рамка редкого дерева — мореной груши — и, между прочим, является новым нюансом к гамме любимого вами серого цвета. Эта рамка для портрета Анхен, и я хочу в память розентальской липы прибавить к ней...

Но Радищев уже не узнал, что еще мог хотеть Антиной. Он внезапно вскочил и двинулся к выходу так поспешно, что толкнул по дороге бюргера и вызвал недовольную реплику:

— Русский медведь!

Радищев кинулся вон из Рихтерскафе, потому что, невольно следя за рассказом Антиноя, едва тот дошел до рамки грушевого дерева, со всей яростью вспомнил эту особую встречу. Наверное Антиной поспел узнать все подробности и сейчас начнет рассказывать, для какого рода зверей клетка предназначена. И Бериша за наглую усмешку, которая бы последовала, пришлось бы неминуемо съездить по горбоносому лицу.

Шагая стремительно к общежитию, словно за ним гналась погоня, Радищев вдруг вспомнил и последнее, что до сих пор ускользало из памяти, — странную фамилию Антиноя. Ведь он машинально в раздражении повторял ее про себя там, у столяра, ожидая, когда юноша окончит свой сентиментальный заказ. На прилагаемом листке к рамке грушевого дерева старательным почерком юноша вычертил: Вольфганг Гёте.

Придя домой, Радищев был неприятно поражен, что Кутузова все еще не было в комнате. Зато на столе лежали листки выпуска «Всякой всячины», занесенные подмастерьем Шихте.

Радищев впился в них глазами, ища ответа на предерзости Правдулюбова.

Никаких речей про общественный разбор, на чьей стороне правда, у «Трутня» или у «Всякой всячины», больше не было. Взамен всего один высочайший окрик из уст разгневанной «пожилой дамы». И не только окрик — угроза:

«Были на Руси сатирики и не в его пору, да и тем рога обломали».

Екатерина явно была недовольна дерзким журналом Н. И. Новикова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Весной новый курфюрст Фридрих-Август принимал присягу от верноподданных в своем городе Лейпциге.

Навстречу ему уполномоченные выехали в Гримишестор. Бюргермейстер города в низком поклоне, вздымая кружевом рукава — словно дым кадильницей — тонкий желтый песок, подал на бархатной подушке большие резные ключи самому курфюрсту.

Курфюрст недвижно, как божество, взирал на золотые бляхи с именованием четырех ворот города и безмолвствовал. За него по ритуалу ответствовал гехеймрат:

— Его княжеская светлость в знак доверия к своему городу Лейпцигу вручает бюргермейстеру ключи от ворот обратно.

Перед въездом в город сооружен был Парнас из двух скал, покрытых мохом и елочками. Посреди восседал Аполлон с девятью музами. Все — с позлащенными лирами в руках. Перед этими божествами, изображаемыми студентами университета, предстояли аллегорические фигуры — добродетели курфюрста. Они держали грандиозный герб его дома. Фигуры были — Фортитудо, Темперанта и Пруденция.

Внутри самого Парнаса находилась комнатка, где помещался в большой тесноте оркестр. Он тоже весь состоял из студентов и столь отменно играл, что карета остановилась и курфюрст с курфюрстиной слушали музыку, высунув из окошка августейшие головы.

Под салют выстрелов, под крики «Salve!», извергаемые глотками горожан, студенты от имени университета поднесли курфюрсту в подарок ценный серебряный кубок.

Дворянство подымало два пальца в знак присяги в Хофштубе — крепости Плейсенбург, а бюргеры подымали два пальца на Марктплаце.

Когда курфюрст въехал на площадь, ему предшествовали двести рыцарей с обнаженными, на солнце сверкавшими саб-

лями. Гайдуки гарцевали на вороных конях вокруг его белой, без пятнышка, лошади. Вдоль кортежа шпалерами шествовали горожане в так называемых «кафтанах присяги», при желтых лентах на шляпах и шарфах. Почтенные отцы города подали бюргермейстеру просьбу разрешить им заменить на Марктплаце стражу, расставленную в шахматном порядке. И пока длился в ратуше грандиозный обед, заданный курфюрсту Лейпцигом, отцы города, чередуясь на часах, верноподданно потели.

Студенты, игравшие в недрах Парнаса, были извлечены в пышный зал и сопровождали бесконечные блюда все той же заслужившей высочайшее одобрение музыкой. В заключение обеда был подан замечательный торт столь почтенных размеров, что внесли его два повара с поваренком. Торт сооружен был искусством прекрасных горожанок, из миндального марципана. Он изображал площадь города, полную сахарных граждан с подъятой для присяги правой рукой.

— Совсем как живые! — воскликнула курфюрстина, оглядывая с умилением своих сладких подданных.

— Они настолько живые, — подтвердил с улыбкой курфюрст, — что мы, из страха прослыть людоедами, их вовсе кушать не станем, а свезем на память домой и поставим под стеклянный колпак.

Бюргермейстер провозгласил высочайшую здравицу, ружья бахнули, и начались долгие возлияния...

Русская колония вместе с коллегами из университета была на Марктплаце и немало веселилась лицезрением толстых отцов города на часах...

В общежитии около больного Федора Ушакова оставались немногие. Среди них — Радищев, Алексей Кутузов и Мишенька, брат больного.

Федор Васильевич чутко дремал. Лицо его, продолговатое, той прозрачной бледности, которая бывает у тонкокожих молодых людей после долгой болезни, и во сне было поглощено глубокой думой.

Изболевшее тело, которому одеяло — уже непосильная тяжесть, лежало под одной белой простыней. По выпирающим костлявым коленям, более выразительным, чем полная обнаженность, угадывалась предсмертная скелетная худоба. Волосы, отросшие за болезнь, цвета крепкого кофе, были волнисты и неприятно густы. Казалось, это именно их тяжесть и обилие обременяют больного и принуждают его отбрасывать голову назад. Федор Васильевич, теша себя остатком молодого тщеславия, волосы свои стричь не давал, говоря, что ждет соответственную этой процедуре Далилу-очаровательницу. Но вернее — нервозность его была столь велика, что одно прикосновение ножниц уже было терзанием.

Радищев сидел у окна за столом в комнате Ушакова, и, как это у него от долгих дежурств вошло в обыкновение, чтобы не делать лишнего шума, пока не потребуется его услуг, он, очинив новое перо, стал продолжать запись своих мыслей и чувств в дневнике:

«Никакие родители, нижѐ наставники и книги не могли бы столь пронзительно запечатлеть в наших сердцах правила справедливой жизни, как сей юный мудрец, созревший в муках. Хотя сие есть правило натуры, что всякое зерно лишь гибелью собственной создает урожай новых колосьев, но возмущение подъемлет все мои чувства при одной пропозиции, что подобное жестокое условие должно иметь место и в заражении людьми друг от друга добродетелью. Но ежели так... пусть гибель дорогого друга не останется втуне! Пусть перерождает прохладные ленивые чувства в опаляющий пламень! Пусть уязвляющая скорбь этой гибели...»

— Саша! — позвал Ушаков.

Радищев кинулся к другу. Привстав, сколько позволяли силы, на подушках, Федор Васильевич смотрел в окно, где в беспредельность уходили поля и рощи и золотом горели на солнце остроконечные шпицы немецких строений.

— Саша, хочу в рощицу, сведи меня вместе с Мишенькой.

Федор Васильевич говорил слабым, но ясным голосом, горя темносиними, непомерно большими от худобы глазами.

— У меня опять жар, значит, подъем сил, и смогу, опираясь на ваши плечи, добресть...

Радищев хотел было сказать по привычке, что ежели жар, то тем более вредно, но Ушаков предупредил его легкой улыбкой:

— Медикусу не говори, будет жужжать, аки шмель. А мне что с жаром, что без жара... в последний-то раз!

Радищев поспешил выйти, скрывая волнение, позвал Кутузова и Мишу. И они поняли; не возражая, одели бережно друга и, пользуясь тем, что все начальствующие и телохранители глазели на курфюрстов парад, на руках вынесли Ушакова к любимому его ручейку в ближайшую рощицу...

Федор Ушаков поддерживал свою молодую уходящую жизнь одной бешеной волей и гордым сознанием, что человек должен умереть, когда сам решит, а не когда его невзначай скосит смерть. Чем более изнемогало тело, тем возбужденнее в голове были мысли. Так на сраженном бурею дереве при засохших корнях могучей зеленью зацветает верхушка.

Быть может, рассуждения Федора Васильевича носили характер слишком книжный, но для товарищей его они были убедительней заученной латыни отца Павла, волнительней почтенной, отстоявшейся, не связанной с жизнью морали Геллерта.

Федор Васильевич ушел с пути несомненных удач, наград и восхождения по службе, имея одну мысль, одно стремление расширить и углубить свои познания в науках. Когда Екатерина послала в Лейпциг двенадцать пажей для обучения юриспруденции, он упросил приписать и его «сотовариществовать юношам».

Очень скоро Ушаков, этот юный философ, пренебрегший карьерой, открывшейся его исключительным дарованием, стал вождем мысли Радищева. Твердость характера, ведущего к цели жизни, достойной гражданина, подчинила Ушакову сердца юношей. Под руководством почти столь же молодого, но уже совершенно самостоятельного в мышлении учителя Радищев и сам стал критически относиться к модным «просветителям» и ко всем идеям, идущим из Франции.

Заявление Жан-Жака Руссо, что «человек велик своим чувством», вызвало противопоставление Радищева: «Человек велик своей заслугой обществу». Исходя из этого положения, все воздействие просветительной философии на чувство и характер Радищев оценивал по одному главному признаку: *как* они подготовляли человека быть гражданином и *чем* его для этой цели вооружали. Полный глубокой любви к России, горевший мечтой об уничтожении рабства, Ушаков внушал молодому другу — если потребуется, положить свою жизнь, но добыть желанную вольность.

Мысли о мощи и всевластии человека, питавшие Ушакова, воскрыляли друзей его, побуждая их на доблесть и подвиги.

Федора усадили на цветущий луг, подостлав одеяло, захваченное Мишей. Он с наслаждением вытянулся, раскинув руки на траве. Долго молчал, глядя в ровное, густое синее небо. В вышине, над его головой, темным крохотным облачком повис жаворонок, залившийся песнью. Наконец, с усилием от него оторвавшись, Ушаков сделал знак, что хочет нечто сказать. Все сдвинулись теснее.

— Дай мне вещество и движение, и мир созижду, не так ли вещал нам Картезий? И вполне достойно возгордиться человеку, подчиняющему власти своей звук, свет, гром и молнию. Найдя точку опоры, некий Архимед, он изменит и самое течение земли! Но истинно, друзья, — человек, справедливо сознающий свои силы, тем самым обязуется уважать и тело свое — обиталище этих сил.

Федор Васильевич приподнялся с силой, неожиданной при его слабости. Тонкая краска залила щеки, он с глубоким чувством сказал:

— Да, тело есть священный храм всех сил и возможностей человека, и потому решительно все, что может нарушить гармонию, разложить, осквернить, повредить строение этого храма, да будет вам мерзко. Друзья мои, простите... но поневоле, не отпу-

скаемый грызущей болью, должен я торопиться, хотя докучая вам, убеждать всеми силами, кои еще в моей власти, избегать примера моего. Берегитесь разврата. Ничто столь не ослабляет цельность твоей силы и воли, как непременное следствие близости физической — приложение к тебе иного, чуждого, порой прямо враждебного характера. Вступая в связь с существом, которое стоит ниже тебя умом и сердцем, знай — ты добровольно впускаешь в себя врага внутреннего. И чем этот враг тебе обольстительней, тем он опаснее. Вообще как правило: едва притяжение сердечное происходит за счет твоей свободы, — беги!

Догадываясь по замешательству любезного младшего брата Мишеньки о непорядках в его жизни, Федор Васильевич, как мудрец, не обращаясь к нему лично, но имея на него устремление, сказал:

— Уступкой страстям своим, — так познал я, — страсти нимало не гасишь, а, напротив того, распаляешь до чрезвычайности. Но ежели не ты, а они возьмут над тобой силу, то нет им конца, нет удовлетворения. Ибо воображение наше и похоть превосходят решительно все возможные осуществления. И знаете ли выход, дорогие? Каждый должен сам положить себе предел. Найти и положить. А излишек воспаляющих чувств усилием воли перевести на энергию умственную. И столь быстро и велико наслаждение. Чистое умственное познание в самом себе уже носит все стадии чувств, подобных пылу влюбленности...

Взошла на светлом, зеленовато-нежном своде первая робкая звездочка. Улыбнувшись ей как знакомой, потому что ежедневно ее наблюдал из окошка, Ушаков тихо сказал:

— Да, как пламенный любовник, прилепился я в последние мои годы к величайшей из наук — математике. И скрою ли? Высокое блаженство, чистое, без своекорысти, но в силе не уступающее былому обладанию физическому, испытал я при преодолении того закона, по которому узнавал, как мельчайшая звездочка, на самом деле громадная и бесконечно от земли отдаленная, может быть подвержена исчислению тончайшему. Сколь велики и разнообразны способы познания миров! И сколько их самих, нам еще не известных...

Русским студентам, безбожникам благодаря духу века и неблаголепию смешливого и неумного отца Павла, немудрено было подкопаться под какую угодно мораль и высмеять наставительность поучения. Особливо имея такого ментора, как Бериш, который сумел выставить слезливым болтуном даже окруженного уважением, популярного Геллерта.

Но в словах Ушакова было нечто большее, нежели мораль. Он говорил, как верный знаменосец, который, падая сраженным, торопится передать свое знамя. За ним была не кафедра нрав-

ственного богословия, а сама смерть, и потому, когда он говорил о том, что в монашеской проповеди отца Павла вызывало лишь грубые насмешки и непристойности, — то это доходило без промаха до сердец.

— А ты, Мишенька, — сказал с отеческой улыбкой старший брат, — женись, друг, в ранних годах. Человек все же не мотылек. Чувства, волю, рассудок надлежит ему соподчинить в одно целое, даже если нет у него каких-либо широких затей, просто дабы оправдать свое звание человека. Как о постороннем и нелюбимом, надлежит выяснить о себе самом, в чем именно твоя недостача. Все люди в чем-либо тайно уроды. Вот применительно с познанием своего уродства ищи себе недостающее восполнение или помощь. Это компас всех обогащающих отношений. Ужели человек не разумнее растения и животного, кои, обладая инстинктом, устремляются к совершенству?

Ушаков, откинувшись на подушки, умолк. Молчали и друзья. Вдруг дотоле пустынная аллея оживилась. Она наполнилась множеством почтальонов. Пачками вынимали они из служебных своих сумок только что отпечатанные и полученные для продажи листки с объявлением о публичной казни.

Почтальоны торопились на Марктплац со свежей новостью. Увидав на нежданном месте кучку студентов, они подлетели и, наперерыв потрясая листками, предлагали купить, кто басом, кто тенорком:

— Exe-cu-tions-zettel! [1]

Публичные казни все еще были чем-то вроде любимого народного зрелища... С вечера занимали горожане места, приходя целыми семьями, чтобы наутро не прозевать приезд преступника в колымаге, на коровьей коже. Тут же закусывали, разводили костры, ссорились из-за удачного места. В день самой казни и даже несколько ранее продавали на улицах экзекуционс-цеттели. Они состояли из четырех страниц: на первой был грубый отпечаток с деревянной гравюры, изображавшей на смертном помосте палача и его жертву, на остальных трех — изложение самого преступления. Непременным заключением являлся покаянный стишок от имени преступника, сочиняемый специально для этого дела особым погребальным поэтом. Приличие и мораль требовали, чтобы стишок этот был вложен преступнику в рот после казни. С ним его и погребали.

Таким образом почтенные бюргеры, уважая себя, почитали, что они воздают дань милосердия даже последнему злодею. С покаянным стишком во рту преступнику прибавлялся лишний шанс снискания милосердия у самого бога.

---

[1] Извещение об экзекуции (*нем.*).

Картина сегодняшнего «цеттеля» изображала палача, занесшего меч над женщиной, которой уже завязали глаза. Другая, оцепенев от ужаса, глядит на ее казнь, ожидая собственной.

Текст гласил: «Иоганна Тейсман, 17 лет, и сообщница ее, столь же юного возраста, Регина Штейн вместе убили новорожденного мальчика Регины, неизвестно от кого ею прижитого.

«По всей справедливости закона обе женщины присуждены к обезглавлению в Рабенштейне. После казни тела их будут возложены на колесо».

Друзья торопились купить листки, чтобы скорее избавиться от почтальонов и все дело замять. Надо было скрыть новую смертную казнь от Ушакова, которого это событие непомерно всегда волновало.

Но скрыть не удалось. Зоркий глаз Федора Васильевича увидал листок. Ушаков его потребовал, прочел и, побледнев, закрыл глаза. Все кинулись, испугавшись, что ему дурно. Но он сделал неимоверное усилие и с гневом сказал:

— Этот листок даст мне силу прожить еще несколько... он пришпорит меня окончить давно начатые мысли о смертной казни.

В своей замечательной статье, которую по болезни Ушаков так и не окончил, главною мыслью было то, что смертная казнь не только не нужна, но просто бесполезна. Злодеяния не суть природны человеку, писал он, ибо люди зависят от обстоятельств, в которых они находятся, и само собой разумеется, что люди подлежат исправлению. Отсюда логическое следствие: общество должно направлять волю *каждого* на благо *общее*. Общество должно добиться того не казнью, а разумным воспитанием, чтобы отдельный человек не становился нарушителем закона, полезного для всех. Бессмыслица же смертной казни, по мнению Ушакова, в том, что нет злодея, который не был бы к чему-либо пригоден, так что зло, им содеянное, можно будет исправить его же работой.

Ослабевшим голосом Ушаков продолжал:

— Друзья мои, человек не рождается преступником. Помните сие, особливо вы, в чьих руках по возвращении на родину окажутся дела правосудия! Люди нередко идут на преступление только потому, что сами жестоко теснимы...

От слабости он прервал речь и подал знак унести его в комнату. Радищев и Кутузов взяли его под руки. Мишенька, желавший скрыть слезы, непроизвольно текшие по щекам, подхватил за ноги. Так и понесли.

Солнце близилось к закату. В густой зелени было уже сыровато, и легкой дымкой курился туман... Свернули с дороги, чтобы не встретить кого-либо. Пошли напрямик, лугом. Густые кусты белого и розового клевера благоухали. Над ними жужжали мох-

натые весенние пчелы, подальше мирно журчала чистая быстрая речка. Друзья остановились для передышки.

— Как хороша, как чудесна жизнь...

В голосе Федора Васильевича не было ни горечи о прошлом, ни зависти к остающимся — одно столь чистое, столь детское восхищение, что Радищев с невольным уважением, как на существо высшее, уже свободное, взглянул на него. Бледное лицо Ушакова, только что утомленное беседой и расстроенное до предела, было в этот миг молодо и прекрасно.

— Друзья мои, — сказал он, обведя потемневшими большими глазами луг, деревья, речку и небо, — друзья мои, берегите жизнь.

Принесенный в комнату, Ушаков забылся сном, давно его не посещавшим. Радищев, приметя, что Кутузов, с досадой взглянув на часы, поспешно вышел из комнаты, догнал его и сказал:

— Я хочу тебе сопутствовать, Алексис; твой масонский журнал «Der Freimaurer» [1] я прочел, хотя и занята моя голова вовсе иными делами. Немало поражаюсь, что тебе не интересно узнать мое о нем мнение. Прежде обычно ты бывал нетерпеливым.

Кутузов смешался. Он, видимо, очень торопился, и допросы Радищева были некстати. Он неохотно сказал:

— Если тебе по пути, проводи меня до картинной галлереи.

— Опять туда! Ты каждый день в этот час ходишь, чтобы смотреть как вкопанный на портрет бюргермейстера Романуса. Озабоченный немало всем твоим поведением, я однажды последовал за тобой. Мне известно, что ты связался с содержателем кофейни — вызывателем духов, союзником в деле наживы за счет хвоста носорожьего с хозяином здешнего зверинца. Но одумайся, это ли может способствовать «возведению всего человечества на высшую ступень», как цитируется в вашем журнале?

Кутузов зашагал длинными ногами, не умеряя пылу, так скоро, что Радищев, тоже немалого росту, едва за ним поспевал. Он раздраженно бросил на ходу:

— Изучающему право не приличествует бездоказательно делать заключения...

— Но доказательность есть. Посему и начал я свой разговор. Присядем-ка тут, под деревом.

— Нет, мне нет возможности. Я должен быть к известному часу...

— В известный час каждый день на закате ты исчезаешь, подобно сказочной Сандрильоне, и — любопытствую — не по приказу ли все того же Шрёпфера? Друг, откройся, пока не поздно. Я тебя не узнаю. Ты одержим, как маньяк, одной идеей, ты забросил науки. Ты упускаешь из внимания наш скорый отъезд

---

[1] «Вольный каменщик» *(нем.)*.

и необходимость сдавать последние проверочные испытания. Как ближайший тебе, я обязан тебя остеречь. По тем книгам, кои ты дал мне для ознакомления с масонством, я успел разобрать главное. Минуя все сказки и басни о допотопном его происхождении, которые, впрочем, лишь дурак понимает буквально, а умник — в иносказании, оказывается, что рядом с благородством основной цели там открыта великая возможность к процветанию молодцов, которые мастера ловить рыбку в мутной воде. И велика разность между учением о правильных основах свободы и общественности, как это можно усвоить из «Масонских бесед» Лессинга с Иоганном Швабе, который защищает масонов от упреков в «вольнодумстве», говоря, что «оное сладчайшее братство никогда не позволит себе сопротивляться ни светским властям, ни духовным». На кой чорт — спросить — существует тогда вся их тайность вызывать мертвяков?

Самое же существенное заключается в том, что предлагаю тебе разобраться совместно в сем, для меня небезинтересном предмете, минуя сумнительных руководителей. Шрёпфер же твой ежели не обманщик, то, повторяю, пребольшая энигма.[1]

Кутузов, который едва ли внимательно слушал речи Радищева, повернувшись всем разгоряченным лицом, прервал:

— Словами, брат, мне не поможешь; хочешь помочь — помоги делом. Выслушай ты, что я тебе предлагаю, взамен менторского зубоскальства.

— Я тебя слушаю, Алексис...

— Сегодня ночью в отдаленной комнате своего дома Шрёпфер назначил мне прийти... Еще ничего безвозвратного. Я свободен, не связан клятвою. Я имею даже предложение привести с собой одного друга, ближайшего, кому я доверяю. Я вовсе не так необдуман, как ты полагаешь: прежде чем принять те или другие обязательства, я хотел все подвергнуть обсуждению другого, лучше меня разбирающегося ума... Но ты не отходил от больного Федора Васильевича. Кроме того, мне особенно трудно было говорить с тобой. Боясь твоей насмешки, я слишком долго скрывал от тебя мое увлечение. Короче сказать, если вправду хочешь помочь, то пойдем ночью к Шрёпферу вместе. Он вызовет тень бюргермейстера Романуса. Это и будет проверкой его тайных знаний.

Радищев пытливо глядел на друга:

— Так вот почему ты ходишь изучать его портрет? Значит, я не ошибся, это приказ Шрёпфера.

— Который только доказывает добросовестность учителя. Ведь он настаивает на ознакомлении с лицом, флюидическое

---

[1] Загадка *(франц.)*.

тело которого он собирается вызывать, единственно для возможности проверки.

— Еще один вопрос. Припомни, Алексис... — Радищев, в волнении за друга, приковался к его светлым, выпуклым, немного стеклянным глазам, — припомни, не говорил ли тебе Шрёпфер, что он своим посещением намеревается осчастливить Петербург?

— Он хотел дать кое-кому письма...

— Для начала довольно. Дорогой Алексис, прекрати изучение лица бюргермейстера Романуса. Неужто тебе не приходит в голову то, что при трезвости мысли тотчас пришло в мою? Ведь, запечатлевая данные черты лица в своей памяти, ты работаешь как раз на руку недостойному какомагу. Ему будет гораздо меньше хлопот, опоив тебя своим зельем (по городу ходят коекакие на этот счет слухи), заставить тебя в любом чучеле увидать этот обещанный, из твоей же памяти извлеченный образ. Алексис, — воскликнул Радищев со всей настойчивостью и внушительностью голоса, — опомнись, пойми, в какую темную яму идешь! Пусть Шрёпфер растрясет золотые мешки таких бюргеров, как книготорговец Рерке и братия, но при чем ты среди них? Тебе, студенту, читающему Гельвеция, просто позорно присутствие на вызове мертвецов. Желторотый воробышек, при посредстве которого хитрый обманщик задумал пробраться в нашу страну! Любезный Алексис, не ходи фиксировать портрет Романуса, брось, идем кататься на лодке по Шванентейху, — схватил Радищев за руку друга.

— О нет, я должен... Я должен при вызове флюидического тела признать, чье оно.

Кутузов вырвал руку и убежал.

В нижнем этаже Рихтерскафе, в отдельной комнате, про которую знали немногие, сидел пожилой человек, кого-то, видимо, поджидая.

Он был в нетерпении: то вставал с кожаных кресел и шагал по паркету, заложив руки за спину, то вооружался большими щипцами и тушил в высоких шандалах свечи, еще не давшие нагара.

Человек этот был примечателен несоответствием своего возраста и юношеской быстроты движения. Он был плотен, высок, крепко сбит. Быть может, он был даже очень немолод, но мысль о его возрасте не приходила в голову. Во всяком случае, если бы Кутузов этого человека сейчас увидел, то никак бы не признал в нем того незнакомца, за которым кинулся в переулок, чтобы узнать от него, какой властью запретил он вдруг стрижку хвоста носорогова.

Но между тем незнакомец был именно этот щеголеватый легконогий человек. Его черный кафтан, расстегнутый на расшитом камзоле, от богатого кружевного жабо сейчас утратил свою погребальную важность. Но главным, что изменяло первоначальное впечатление, было отсутствие пышного седого парика. Собственные волосы, чуть тронутые над лбом серебринкой, не были взяты в «кошелек», а свободно спадали до плеч. Выразительная подчеркнутость черт выдавала его итальянское происхождение. Нос, слегка горбатый, с неприятно подвижными ноздрями, казалось, все что-то вынюхивал, как у ищейки. Рот был извилистой тонкой линии и выделялся своим ярким цветом на лице бледной матовой кожи человека, привычного к уединению библиотеки.

Это был ученый иезуит граф Анджолини, последователь и союзник некоего Штарка, тоже иезуита, пробравшегося в Россию и в самом Петербурге основавшего так называемый «тамплиерский клерикат».

Целью Штарка было сделать модное масонство орудием католицизма. В противоположность барону Гунду, влиявшему сейчас в Европе, Штарк проповедовал, что высшие тайны ордена тамплиеров унаследованы и сохранены в неприкосновенности не светскими, а только духовными людьми.

В России Штарк укрыл свою тайную деятельность под скромной должностью учителя немецкого языка в Петрисшуле, что на Невском проспекте.

Век просвещения был особливо неприятен иезуитам, и они стремительно теряли свое влияние в Европе. Понемногу среди их главарей созрел грандиозный план — изгнать из Италии всех Габсбургов и Бурбонов и утвердить свою власть, как неприступную крепость. Они полагали, что могут быть в безопасности и силе, если, по выражению Петручелли, удастся из «папы соорудить исполина».

Но бурбонские дворы в этот план проникли и стали еще настойчивее в своем требовании — либо коренные реформы в ордене иезуитов, либо полное его уничтожение.

Папа сопротивлялся.

Тогда мщение дворов распалилось до такой степени, что явился прожект — Рим блокировать, истощать его голодом, доколе не отдан будет папой приказ о секуляризации всем ненавистного ордена. Французским посланником была представлена Клименту XIII в таком смысле составленная мемория.

Когда и в среде кардиналов создалась партия, противная ордену, папа покорился и назначил конгрегацию для расследования всех злоупотреблений, в которых обвинялись иезуиты.

Накануне означенного дня Климент XIII, прекрасно себя чувствовавший еще за обедом, снимая на ночь белую атласную фуфайку, внезапно пал мертвым.

Рим заговорил об отравлении. Вновь избранный папа, кардинал Ганганелли, был главой противников ордена. Сейчас он готовился издать бревэ о его закрытии.

Часть иезуитов, упорно желавшая сохранения своей власти, могла рассчитывать на убежище и успех только в двух странах — Пруссии и России. Связь с Россией входила в самый ближайший план действия, и особые полномочия на этот счет даны были Римом ученому иезуиту графу Анджолини.

Наконец в коридоре послышались легкие торопливые шаги давно ожидаемого гостя. Анджолини насторожился, однако не двинулся навстречу, лишь полуобернулся с ожиданием к дверям.

Одному ему свойственной легкой, подлетывающей поступью в дверь вошел парикмахер Морис.

Если Кутузов не узнал бы в Анджолини давешнего аптекаря в черном кафтане, то тем менее узнал бы Власий в сейчас вошедшем своего приятеля, хохотуна-куафера, который приходил в общежитие брить барчуков и накручивать им букли. И не то что костюм или парик Мориса были иные, чем обычно. Нет, в горделивости осанки, в совсем другой манере говорить, делая редкие сдержанные движения, была вся разительность перемены.

Черты лица утратили свою наигранную живость — они были надменны; тон речи — привычный к тому, чтобы каждое слово ловилось, как приказ. Середович, конечно, не знал, что маркизу де Муши, набившему руку в комедиях Мольера и Бомарше, с блеском разыгранных недавно при французском дворе, сейчас ничего не стоило для особых своих целей импровизировать ловкача-парикмахера.

— Я нашел своего русского, конечно, опять в Плейсенбурге, — сказал Морис с раздражением, — я довел его обратно до Рихтерскафе и совсем было убедил со мной войти, желая его вам представить, но перед самым входом он вспомнил какой-то новый приказ своего руководителя и улизнул. Он утомил меня. Это — совершенная женщина: порывист, чувствителен, поддается внушению до одержимости.

— Но при опытном руководстве перечисленные вами качества, маркиз, — незаменимый по гибкости материал...

Анджолини говорил с Морисом искательно и осторожно, как с известным своими капризами ребенком.

— При опытном руководстве... — вспыхнул тот. — Но ведь я уже вам говорил, что Шрёпфер предвосхитил наше воздействие. Я послан был слишком поздно и только напрасно завивал русские головы! Сегодня ночью этот столь нужный нам Алексис станет «неофитом» биллиардной ложи, иначе говоря — покорной вещью вредного шарлатана...

— Если, конечно, не будут приняты меры, — поправил Анджолини.

— Неужто меры приняты?

— Как можете вы сомневаться, дорогой маркиз, — тонко улыбнулся Анджолини, — ведь если вы отлично играли парикмахера, то я с успехом неменьшим играл посвященного высокой степени.

— И спасли своим ритуальным кольцом кисть хвоста носорога от усекновения, — засмеялся Морис.

— Я сделал лучше, представив в ложу Минервы, заинтересованную из своих соображений биллиардным мастером, его листки с обещанием чудесных исцелений. Я объясню вам все в немногих словах. К Шрёпферу нам сегодня ночью надо явиться порознь. Вам часа за два, с последним предупреждением, мне, как инфернальному вестнику, ровно в полночь.

— Первое предупреждение уже вчера сделано, — сказал Морис. — На него надо действовать подкупом. Он честолюбив и жаден к познанию тайных наук. Это все уже мной учтено. Человек невежественный, Шрёпфер, как Дон-Кихот рыцарскими романами, набил себе голову чернокнижием, алхимией и оккультической медициной...

— Ложа Минервы давно им заинтересована, — подчеркнул Анджолини. — Я условился Шрёпфера ей передать. Там его знания упорядочат, приберут его к рукам. Так как он обладает действительно недюжинными способностями и сам верит в свои фантазии, то ему обеспечена большая карьера. Вам, вероятно, известно, до какой степени кронпринц увлечен магией? О Шрёпфере он уже слышал.

— Одно обстоятельство нам чрезвычайно на руку, — сказал Морис. — Благодаря Шрёпферу перед русскими скомпрометировано масонство Гунда. Это даст нам возможность через некоторое время у них на родине подсунуть им масонство Штарка...

— Которое на самом деле явится свежим ответвлением нашего ордена в передовом облачении просветительной философии, — подхватил Анджолини. — И поверьте, маркиз, на эту умную приманку пойдут и не такие безоглядные головы, как бедный наш Алексис! А сейчас у нас есть еще время распить бутылочку мозельвейна, — вскочил Анджолини и с юношеской легкостью откупорил замшелую темную бутылку. — Однако расскажите, дорогой маркиз, как здесь в последнее время обстоят дела с масонскими ложами? Совершенно несомненно, что в ближайшее время все влияния на Россию пойдут только отсюда, из Германии. Английские ложи устарели...

— Что касается Лейпцига — здесь главная мода зубоскальство и так называемая галантность, — пренебрежительно сказал Морис. — Некий Бериш, студент барокко, задает тон. Но главная

помеха каким-либо прочим влияниям — иенские студенты. Ведь Альтенбург у них под рукой, и все проделки Джонсона им отлично известны.

— Кое-какие слухи дошли и до Рима, — оживился Анджолини, — но я так был погружен в дела нашего ордена, что на дела масонские не обратил должного внимания. К тому же для нашего плана интерес к ним был еще преждевременным. Но разрешите, милый брат, наполнить еще ваш бокал. Я вижу, что русский студент израсходовал ваши силы, а ночью вам придется быть во всеоружии вашего остроумия!

Морис, не скрывая своего утомления, сидел в кресле, полузакрыв глаза. Он протянул бокал зеленого витого стекла и сказал:

— Я не прочь подкрепиться, тем более что вино — прекрасно. Но я бы желал, чтобы сейчас нашему разговору и отдыху никто посторонний не помешал.

— О, сюда никто не войдет, я отдал распоряжение кроме вас никого не впускать. — И для верности Анджолини, ловко скользнув по паркету, щелкнул в двери ключом. — Говорите, дорогой маркиз, про знаменитого здешнего Джонсона.

— Под этой фамилией появился в последний год войны в городе Иене некий молодец. Дьявол знает, откуда он родом, только выдавал он себя за великого приора, посланного тайным шотландским начальством, чтобы формировать масонство немецкое. Этот ловкач сумел пустить пыль в глаза местным баронам своей болтовней про знание и могущество ордена. И чудаки поверили: они научатся делать золото, управлять незримо всем английским флотом, одной силой мысли убивать на расстоянии противника и располагать, как послушным лакеем, смертью собственной. Непостижимое легковерие, — презрительно поморщился Морис. — Вообразите, этот Джонсон отдал немецким ложам приказ съехаться всем для предъявления ему «полномочий и грамот», и бароны, как овцы к пастуху, съехались все в Альтенбург.

— О век глубочайших противоречий! — воскликнул Анджолини. — С одной стороны, профессор Христиан Вольф, приравнявший нас к животным, почитающий деятельность чувств низшей формой познания, с другой — университет в Галле, где этот профессор прославился на весь мыслящий мир, изгоняет его же по нажиму ханжей и пиетистов, сочинения его запрещают к печати. Наш Штольберг и за ним многие именуют носителей просвещения «убийцами души». А им в противовес эти безудержные фантазеры... Однако вернемся к делу. Что же проделали в Альтенбурге ваши депутаты от всех лож?

— Джонсон устроил им прекрасный обед и пышный прием. Затем подвыпившим баронам он с великой наглостью объявил, что все представленные ими грамоты он от лица тайных шот-

ландских властей почитает недействительными. Чтобы не дать времени жертвам одуматься, он забивал их парадами, делал собрания ночью при свете факелов. Все это в полном рыцарском вооружении: шпоры, доспехи, мечи — преловкий бурш! Тут ансиклопедисты все традиции и ритуалы спровадили к дьяволу, а тут чародей берет историю за хвост и тянет ее, как корову, обратно в любезные всем средние века. Уж за одно это бароны осыпали его золотом. Надо признаться, что мошенник оказался завидным психологом, — смеялся Морис. — Вместо туфелек обабившихся петиметров он из кладовой истории не только вытащил сапожищи со шпорами, но впридачу поднес им целиком весь любезный феодальный букет — таинственность, рыцарство и лестную для их спеси власть свыше, от «неизвестных начальников». Себя же он окружил железной стражей. Иенских студентов послушать — потеха! Добро бы одних баронов взял Джонсон в телохранители, а то — не угодно ли — профессоров теологии, смирных учителей, консисторских чиновников... Вы только вообразите: подагрические профессора глубокой ночью на дежурстве, с алебардой в руках, на облезлых кобылах! Это в то время, когда они привыкли храпеть, нахлобучив колпак, рядом со своей фрау профессорин...

Оба собеседника рассмеялись.

— Очень, очень неглуп этот Джонсон, — сказал Анджолини, повел ноздрями, выждал паузу и перевел шуточный тон на весьма деловой. — Вот нечто подобное, дорогой брат, разумею, конечно, не по форме, а лишь по влиянию на слабые человеческие умы, надлежит и нам привести в действие, дабы укрепить наше дело, прежде всего хотя бы в... Weissreussen. [1]

Весь разговор велся по-французски, и только последнее слово о Белоруссии, чтобы выпуклей его подчеркнуть, граф произнес по-немецки: Weissreussen.

Анджолини положил свою руку с темным кольцом на руку Мориса, тем давая понять, что настала самая конфиденциальная часть разговора. Морис поглядел в деловые, знающие, чего хотят, глаза Анджолини не без скрываемого волнения.

— Дорогой брат, выбор пал на вас. В Россию поедете вы. — Анджолини, хотя никто слышать не мог, понизил голос, но с силой продолжал: — Сокрытый, как сейчас, от непосвященных взоров вашим званием куафера, чье ремесло вы, как говорят, прекрасно и шутя изучили, вы в Петербурге поступите в услужение к одному видному вельможе. Этот вельможа — Елагин...

— Но неужели, граф, я принужден без конца продолжать подобный маскарад? — прервал гневно Морис. Он, не скрывая своей досады, встал, лицо его пылало. Минуту оба смотрели друг

---

[1] Белоруссии *(нем.)*.

другу в зрачки, как старые злые враги. Внезапно острые глаза Анджолини смягчились, и он с вкрадчивой мягкостью сказал:

— Разве вам неизвестны события, дорогой брат? Мы гонимы повсюду. Общественное мнение, сейчас всемогущее l'opinion,[1] — граф поднял кверху белый палец с темным кольцом, — воспитанное просветительными идеями, обрушивалось в первую голову на нас! Мы этим обязаны тому ядру догматиков, непримиримых тупиц, которым окружил наш орден генерал его Ричи с известным своим девизом: «Пребудь каким есть — или вовсе не будь». — Анджолини привычно перевел с французского на латынь: — Simus, ut sumus, ant non simus. Дорогой брат, подумайте, кто только не числится нашим врагом! Речь уже не о янсенистах или протестантах: правоверные короли, французский, испанский и португальский, когда-то ученики наших коллегий, наши высокие духовные дети, яростно требуют секуляризации нашего ордена. И, конечно, новый папа, этот свободомыслящий Ганганелли, пойдет навстречу требованиям века.

— Нам остается предупредить этого умного папу и пойти еще дальше, чем он, не правда ли? — улыбнулся Морис.

— Nous y sommes,[2] — взял его за руку Анджолини, — о, мы с вами столкуемся, дорогой маркиз! Умные политики ведь тем и умны, что лишь слегка опережают требования века. Мы теряем Европу, тем важнее нам завоевать Россию! И кто знает, — сказал он с ударением, — кто знает, не посчастливится ли нам именно там воскресить и расширить бессмертный наш орден и выбрать нового, достойного генерала? Итак, вы поедете в Россию, дорогой брат.

Опять помолчали. И уже тоном каждодневной деловой беседы Анджолини досказал:

— Вы поедете, дорогой брат, вскоре после отъезда русских студентов, следом за ними, в Петербург. Когда вы заслужите полное расположение Елагина, что при ваших талантах удастся вам очень легко, вы порекомендуете ему повара-француза — лакомство, до которого русские вельможи весьма жадны. Мы вышлем немедленно подходящего. Когда все привыкнут к вам обоим как к повару и к куаферу...

— То есть к чему-то, входящему в свиту русского вельможи с его собаками и лакеями... — опять с раздражением начал было Морис, но Анджолини, уже как начальник, имеющий власть и право, его осадил строгим тоном приказа:

— Пока для целей нашего ордена это необходимо, я надеюсь, маркиз де Муши пребудет куафером Морисом!

---

[1] Мнение *(франц.)*.
[2] Угадали *(франц.)*.

— Я отдал себя в распоряжение ордена, — церемонно поклонился Морис.

— Не сомневаюсь в вашей ему преданности, — столь же церемонно склонил голову Анджолини. — Итак, я продолжаю: когда вы с другим братом, нами присланным, станете в доме Елагина своими людьми, в один прекрасный день вы должны будете ошарашить всех сиятельных и превосходительных тем, что представите им ваши масонские грамоты. Вы заявите, что, являясь рыцарями немалого посвящения, вы имеете все права на то, чтобы двери их ложи вам были открыты.

— Да, это будет сен-са-ция... — протянул понимающе Морис.

— И немалая. Тем более что ложа «Zu den drei Weltkugeln»[1] только запретила прием мусульман и евреев. И это в то время, когда нашим веком особливо культивируется веротерпимость! В противовес отсталым, в масонском ордене необходимо взорвать сословность. И тем лучше для нас, если первую уступку идеям просвещения сделаем мы. Тем более что вполне необходимо обессиливать идею сословности перед тем, как нам начать созидание новой иерархии, несомненно справедливейшей, основанной не на случайности, а на выдающихся качествах ума и характера. Самое главное, что эта идея назрела и отвечает вполне требованиям века. Еще раз повторяю для памяти: умные политики тем и умны, что только слегка опережают и расширяют знакомство с самыми значительными, просвещенными личностями. С этими достойными, предпочтительно молодыми, людьми, которые сгруппируются вокруг вас, после маленькой произведенной вами сенсации вы образуете новую ложу. Для передовых умов она будет стоять вне всяких смущающих подозрений. Этой ложе в свое время мы подыщем название и дадим полномочия. А сейчас двинемся к кофейне Шрёпфера. Я по дороге изложу вам стратегический план этой ночи.

В кофейне Шрёпфера, как всегда, было много посетителей. Содержателя ее давно заменила одна дальняя родственница. Сам он отошел от дела и предался экспериментальной магии. Кроме того, что интерес к магическим опытам становился поветрием, у Шрёпфера оказались блестящие способности. Шутя удавалось ему усыплять людей, производить устрашающие или, напротив того, восхитительные галлюцинации.

Для опытов нужны были деньги, доходов с кофейни нехватало, и Шрёпфер стал вступать в союз с персонажами столь сомнительными, как содержатель носорога.

---

[1] «Три земных шара» *(нем.)*.

Масонские ложи грозили Шрёпферу, увещевали, звали его к себе. Но, невежественный и самовлюбленный, он не выносил никакого руководства. Собственные силы его опьяняли, безудержное воображение рисовало сказочные успехи, богатство и власть.

Через Минну, свою подручную, поставлявшую ему для сеансов подруг тайно от их матерей, узнал он о русских студентах и дядьке их Власии, хлопотавшем получить знаменитый «декохт» для исцеления старшего Ушакова. Кроме того, с каждым днем все более увлеченный фрейлейн Минной, Власий хотел добыть «корень молодости» и себе самому.

Приблизив умело Власия, Шрёпфер из сделанных дядькой характеристик русских барчуков понял, что наиболее падок на магические науки должен оказаться мечтательный Кутузов. С ним и свел его невзначай Власий, указав часы, когда юноша обычно бродил вдоль берегов своего любимого озера — Шванентейха. Подстроенное свидание Шрёпфер умел сделать предначертанным свыше, пересыпая речь свою загадочными цитатами из Якова Бёме. В скором времени он сумел необычайно заинтересовать Кутузова.

Вместе на закате кормили лебедей, читали книги, дразнящие своей тайной, которую Шрёпфер умело чуть приоткрывал, втягивая ученика все глубже в свое влияние. Престиж его в глазах Кутузова рос с каждым днем, вплоть до события с носорогом. Хотя Шрёпфер дал ему кое-какие объяснения, говорил о врагах, о преследовании и тайнах, но совершенно восстановить прежнее, слепое доверие уже не мог, и видел это сам. Надлежало разбить все сомнения ученика вызовом тени Романуса, что давно было обещано, или необычайно исчезнуть.

Этот второй выход предложен был на днях Шрёпферу Морисом от имени «неизвестных братьев».

Морис, чего Кутузов не подозревал, был в тайном приятельстве с Шрёпфером. Он интересовался его опытами в алхимии, почитая его одним из самых любопытных в Лейпциге и одаренных людей. Они нередко распивали совместно бутылочку, толкуя пространно, какой из древних способов комбинаций неблагородных металлов вернее прочих может создать благородное золото.

Сейчас Шрёпфер стоял в своей лаборатории в большой нерешимости и не приступал к обычной ему в это время работе.

Недавно он расшифровал у великого Раймонда Люллия, что не с солью и серой — с одной ртутью надлежит ассимилировать «великий двигатель». Страстно хотелось приступить к опытам, но не было необходимых для этого тонкого дела условий: ни собранной воли, ни отрешенного от всех иных впечатлений внимания.

Вчера так называемый «парикмахер Морис» сделал ему от имени «неизвестных братьев» нежданную пропозицию. Сегодня

ночью, вместо давно назначенного опыта с тенью Романуса, надлежит ему, Шрёпферу, разыграть перед учениками комедию: дать себя арестовать и вывезти из Лейпцига вон. Натурально, взамен предлагается весьма почтенная сумма талеров.

Шрёпфер в растерзанном виде стоял перед большим столом с разного вида ретортами, склянками, порошками, металлами. Один чулок у него съехал по самую туфлю, обнажив смуглую крепкую волосатую ногу. Рабочий халат был весь в пятнах, проеден кислотами. Парик с головы скинут и вознесен на близстоящий скелет. Оный скелет инфернально оскаливал зубы сквозь черные локоны, нависшие на кости его былого лица.

Сам Шрёпфер, коротко стриженный, высокий, чернявый, с крутым носом, как у хищного кобчика, застылым взором больших серых глаз смотрел на множество специй, громоздившихся на столе, полках, шкафах. Он горько думал, что для затеянных в прожекте опытов ему нужно иметь вдвое больше всех этих вещей. Думал и о том, что, с другой стороны, у того же Люллия в заключение стояло: «Чтобы создать золото, нужно самому обладать золотом». Но главное дело: на ингредиенты давно денег не было...

Условным стуком постучали в дверь. Шрёпфер молниеносно сорвал со скелета парик, так что бедняга, как бы огорчившись, качнулся и заскрипел. На ходу Шрёпфер, скинув рабочий халат, переоделся в атласный камзол и, открывая дверь, встретил Мориса неторопливым поклоном, как человек, знающий себе цену.

Но вошедший, острым взглядом окинув хозяина комнаты и его реторты, увидал сразу, что к работе сегодня приступлено не было, и голосом, не допускавшим сомнений, сказал:

— Вы, Шрёпфер, забыли одно из основных правил вашей науки: сомневающийся всегда проиграет. Вы колеблетесь снова. Ну давайте еще раз обсудим все pro и contra[1] моего предложения.

И как будто владелец этой комнаты был он, а не Шрёпфер, Морис жестом пригласил его сесть рядом с собой на диван.

— Имейте в виду, — сказал Морис, — крепостной человек наших русских студентов, поклонник Минны, — чрезвычайный болтун. Он за бутылочкой бургундского, которым я умеючи его подпоил, выболтал, хвастаясь, что кружевной воротник для вашей тени Романуса на досуге вышивала Минна, а многоярусный парик заказан вами коллеге моему — парикмахеру Жоржу.

Морис внезапно и пристально глянул в большие серые глаза Шрёпфера, но тот, не смущаясь нимало, сказал:

— Только для профана собранные вами сведения могут быть предосудительны. Для Агриппы Неттесгеймского, например,

---

[1] За и против (*лат.*).

они означают лишь шаг навстречу неведомым силам. Он рекомендует при вызове флюидических тел воссоздавать и атрибуты, свойственные данному лицу. Не воображайте, любезный Морис, что я вами пойман, — ведь мне ничего не стоит сделать перед неофитами научную интродукцию, коей будут оправданы какие угодно предварительные приготовления! Мне же персонально, как вам давно из бесед наших известно, важно только одно: узнать, насколько ускоряется одержимость воображения ученика моей волею, ежели я сам ускоряю деятельность его воображения в желаемом мной направлении. Единственно с этой целью и было приказано Алексису фиксировать портрет Романуса, а также прихватить на сегодняшний опыт своего приятеля, не прошедшего вовсе его подготовки. Мое наблюдение отметит разность в быстроте впечатлений их чувств. Повторяю, это ничуть не обман, это научный опыт, один из тех, которые продвигают познание наших неведомых сил.

Шрёпфер умолк с выработанным достоинством, а Морис, чуть улыбнувшись, миролюбиво сказал:

— Любезный Шрёпфер, до прихода ваших неофитов времени уже слишком мало, чтобы нам с вами еще пререкаться. Окончим скорей наше важное дело. Я не сомневаюсь нимало, что вами владеет жажда знания, как не сомневаюсь, что вы замените ваши алхимические опыты в этой убогой лаборатории опытами, поставленными в королевском дворце. С безграничным выполнением всех ваших заказов вы достигнете успехов неслыханных. Для начала мне поручили передать вам некую часть талеров. Прочее вы получите от неизвестного замаскированного, который появится здесь ровно в полночь. Он же выведет вас вон из города и посадит в экипаж с прямым маршрутом — Берлин. Идет?

Морис выжидательно держал протянутый кошелек. Шрёпфер, нахохлившись, с головой, ушедшей в плечи, благодаря крутому носу и немигающим глазам еще сильней напоминал посаженного в клетку хищного кобчика. Его смуглое лицо потемнело, он, видимо, тяжко боролся с собой.

То манила его великолепная лаборатория, где, верил он, развернет крылья его творческий гений, то пугали слова Люллия о том, что, делая золото, надо им уже обладать. Эти слова с яркостью молнии, внезапно прорезывавшей черную ночь, сейчас вдруг предстали ему в своем новом, иносказательном смысле, как обозначающие высокую чистоту воли. Всякая примесь своекорыстия при том особом напряжении всех сил, на которое его толкала жажда тайных познаний, — он знал уже по многим примерам, — грозит нарушением равновесия, безумием и темным концом...

Морис сидел, опустив глаза. Казалось, он не дышал, казалось, его вовсе не было в комнате. Рядом с Шрёпфером, как фатум, одна протянутая рука. В руке червонцы.

Грандиозная лаборатория с раскаленным горном, с ретортами, полными редкого сплава, дразнила мучительно. Умевший чаровать других, Шрёпфер, в свою очередь, был сейчас сам как очарованный. Наконец он взял протянутый Морисом кошелек и положил его в свой карман.

— Я согласен, — сказал он беззвучно, — я уеду. Но зачем необходимо вам осрамить меня перед русским, который так мне поверил?

— Россия — не ваше поле действия, — уронил холодно Морис, — предоставьте ее другим, чьи цели совпадают с ее путями. Ваше поле действия — берлинский двор. Наследник уже вами заинтересован и вас ждет. Итак, Шрёпфер, окончательно, в последний раз решайте: проблематический успех в стране варваров без всякой поддержки с чьей-либо стороны (по крайнему вашему своеволию ведь вы не связаны ни с какой ложей) — или же постоянная материальная опора и бесспорность карьеры при дворе берлинском?

Минуту они молча смотрели друг на друга в упор понимающими глазами. Один предложение сделать посмел, другому предстояло предложение это принять.

— Если вы до конца взвесили, любезный Шрёпфер, — вымолвил, наконец, Морис, — то потрудитесь выдать мне... реквизит «тени Романуса».

Глаза Шрёпфера метнулись гневом, — вот-вот кобчик кинется и забьет, — но голос был без волнения:

— Хорошо, я вам выдам.

Шрёпфер постучал в дверь, скрытую под обоями. Дверь неслышно отворилась, из нее вышла Минна и, схватясь за передник двумя пальчиками, с обычной ужимкой присела.

— Что потребуется, gnädiger Herr? [1]

— Подайте сюда вашу работу, многоярусный парик, и вызовите ко мне из кофейни Базиля, — приказал Шрёпфер.

— Вызывать даже не надо, герр Шрёпфер, он тут давно ждет вместе со мной для примерки...

— Для примерки тени Романуса? — не утерпел, засмеявшись, Морис.

— Надо же было прикинуть на ком-нибудь аксессуары, — невозмутимо ответил Шрёпфер. — Этот Базиль подходящего роста.

Когда Минна ушла, Морис, веселясь, продолжал:

---

[1] Сударь *(нем.)*.

— Если бы знали вы, милый Шрёпфер, как Базилем-Романусом вы облегчили мне мое дело! О, за мной ничего не пропадет, услуга за услугу! Но признайтесь: ведь вы бы этого Базиля выдали за подлинник Романуса, в случае если б воображение ваших неофитов не оказалось на желаемой высоте.

— Я мог бы это сделать единственно по человеколюбию, из уважения к их неоправдавшимся надеждам, — наконец улыбнулся и Шрёпфер. — Меня лично, повторяю, в чем, надеюсь, и вы не сомневаетесь, интересовать могут не дýхи, а лишь научно поставленные опыты исследования влияний человеческой воли.

— Герр Шрёпфер, можно войти? — послышался за потайной дверью писк вежливой Минны.

Шрёпфер распахнул дверку, и перед Морисом предстала Минна, держа за руку Власия.

Выйдя из темного помещения в более светлое, Власий было зажмурился, потом протер глаза и признал Мориса. От презрения к неметчине он ничему здесь не удивлялся. Не любопытствуя вовсе, как попал в тайную лабораторию Морис, почитая его себе ровней, Власий заважничал немедленно и, как студенты при встречах, коротким взмахом рубанул рукой и промолвил, как думал он, по-немецки:

— Ну, гут абенд!

— Карашо, Базилй, будем делать игра, — по-русски ответил Морис. — Faisons le jeu! Делаем игра!

— Мне, я полагаю, делать здесь больше нечего, — сказал Шрёпфер Морису. — Я пройду в кабинет привести в порядок кое-какие дела. На стук в двери я выйду...

Шрёпфер вынул из шкафа великолепный, шитый золотом кафтан и камзол и прочее, что по чину полагалось роскошному бюргермейстеру. Он приказал Минне помочь Власию облачиться в эти доспехи и, не оборачиваясь, привычной гордой походкой, откинув назад голову, вышел из лаборатории.

Власий, в кружевах и шелках, расставив ноги, боялся двинуться с места. Морис за руку усадил его перед зеркалом, натянул ему многоярусный чернокудрый парик и, раскрыв коробку гримировальных карандашей, принялся ему омолаживать лицо.

Минна плескала в восторге ручками, бегала вокруг и приседала, снимая пушинки со щегольских туфель бюргермейстера.

— О, герр Базиль совсем молодой человек! Вы сам Купидон, герр Базиль.

— И ведь, сказать, совершенную пустяковину Морис насурмил, — хорошился перед зеркалом Власий,— прочее же все осталось, как было. Собственное, сказать, натуральное естество.

— Теперь, Базилй, вам надо будет высыхать!

Морис дал в руки Власию веер, который раскопал в куче хлама в одном из шкафов.

— Вы не должны двигаться с кресла, Базилй, пока я вам не скажу. Не то ваши свежие черные брови потекут по румянцу вашего нового красивого лица.

— Тоже выдумал — новое! И всего-то минуту пострекотал кисточкой...

— Минна, — позвал Морис, отойдя к окну, — у меня к вам серьезное дело.

— Я слушаю, что скажет мне герр Морис, я слушаю.

И Минна, как послушная собачка, уставилась в зрачки Мориса, сложив руки на фартуке.

— Минна, слушайте меня крайне внимательно и постарайтесь все передать, не напутав, вашему Базилй. Скажите, что в России ему даны будут деньги, чтобы получить вольную и стать свободным человеком. Скажите, что ему даны будут деньги, чтобы вернуться обратно в Лейпциг и вместе с вами открыть здесь свою кофейню. Но все это при соблюдении следующих условий... Слушайте условия.

— О милосердный бог!

Морис для пущего вразумления Минны взял ее крепко за руку и, глядя в ее хитренькие васильковые глазки, медленно, выбирая самые убедительные немецкие слова, произнес:

— Главное условие — это чтобы ваш Базилй меня слушался беспрекословно.

— О герр Морис, он будет вас слушать, как самого господа бога!

— Вы скажете Базилй, что вслед за русскими я скоро сам еду в Россию. Там я потребую, чтобы он ходил, куда я пошлю, и следил, за кем я ему укажу. Впрочем, служба его начинается сегодня. Служба его начинается сейчас... Когда русские, которые сюда в скором времени придут, начнут его расспрашивать, кто его так нарядил, то отвечать он должен так: молодое лицо сделал мне владелец кофейни Шрёпфер. Костюм и парик дал мне владелец кофейни Шрёпфер. Вы меня поняли?

Сохраняя интонацию и внушительность тона Мориса, Минна повторила:

— Прекрасный костюм, и перрюк, и лицо молодого Купидо — все это дал Базилй герр Шрёпфер.

— Хорошо. В награду, повторяю, — вольная и кофейня. Идите, передайте, не путая.

Совершенно непостижимо, каким образом, не словами, а немецко-русскими интонациями и жестами, Минна принялась разъяснять Власию поручение Мориса. Однако она добралась до его сознания. Во всяком случае Власий не замедлил понять, что получит вольную, ежели будет послушен Морису, как самому господу богу. А Морис уже не простой парикмахер, а царский. Приглашен-де самой царицей к себе в придворные, о чем уж пришла

из Петербурга бумага. А как будет Морис теперь всегда при дворе, то нужда ему есть и в своем человеке. Морис русского языка не разумеет, знай лопочет по-своему. Долго ль нашептать кому на него, подвести. Словом, предложение Мориса уже было Власию самое натуральное дело... Когда же Морис подошел подтвердить посулы насчет вольной и кофейни, Власий, как был, в многоярусном парике и золотом шитом кафтане, бухнулся ему в ноги и завопил:

— Отец родной, Морисушка, да ужель это все не брехня?

Морис ласково поднял Власия, дал ему несколько талеров и сказал торжественно по-немецки, приглашая жестом Минну сделать Власию перевод языком любви:

— Вот, Базилй, первый кирпич для здания вашей свободы, воздвигнуть которое будет зависеть всецело от вас. Но только, — погрозил пальцем Морис, — это совсем нельзя будет пропивать.

И для большей понятности, скрепляя приказ жестом, Морис пощелкал пальцами по глотке. Это Власий понял уже без всякого перевода и, налагая крестное знамение на вышитый мундир бюргермейстера, сказал клятвенно:

— Лопни утроба моя, не нарушу!

Когда Морис убедился, что все главные положения договора Власием так или иначе восприняты, он еще раз подтвердил первый урок сегодняшнего дня. Говорить своим барчукам, которых сейчас здесь увидит, говорить твердо, на все времена, одно и то же: парик и костюм для неизвестных причин надел на него содержатель кофейни Шрёпфер. Он же его нарумянил и насурмил.

— Отсохни рука, разрази гром, ежели когда проврусь! Да пусть меня...

Но Морис прекратил клятвы Власия, сказав через Минну, что времени очень мало. Надо еще Власию поучиться, как на троекратный стук в тайную дверь ему с должной важностью выходить.

Морис для примера сам сделал два раза торжественный выход из комнатушки и успокоился только, когда Власий передразнил его, припустив от себя еще пущего гонору.

— Отлично, Базилй, — похвалил Морис, — и тс-с! Теперь не дышать, пока я не постучу трижды в дверь. Минхен, делайте ему компаний, чтобы он не заснул. Но и перрюк ему мять нельзя, понимаете?..

— О герр Морис... — застыдилась Минна, и, взяв опять Власия за руку, она скрылась с ним в комнатушке.

В скором времени раздался стук в двери, понятный одному Морису. Он кинулся и открыл. Вошел Анджолини в черной маске.

— Ну, как дела? — спросил он шопотом Мориса.

— Шрёпфер пошел на все ваши условия, — сказал Морис и прибавил громко: — Да вот он и сам.

Шрёпфер своей выработанной гордой походкой подошел к Анджолини и почтительно поклонился. В руках у него был дорожный чемодан. Как ни владел он собой, по непроизвольной судороге, дергавшей брови, можно было понять, как сильно он волновался.

— Вы пошли на все предложенные нами условия? — переспросил его Анджолини.

Шрёпфер еще раз молча поклонился.

Анджолини, не снимая маски, сказал:

— Это значит, что вы согласны на то, чтобы я вас арестовал в присутствии ваших неофитов, и вы обязуетесь беспрекословно последовать за мной?

— При исполнении, разумеется, и второй части сделанного мне предложения — возмещения с лихвой понесенных мною убытков, — сверкнул Шрёпфер дерзко глазами.

— Само собой разумеется. За последней заставой Лейпцига вы получите все ваши червонцы и коляску с лошадьми, которые отвезут вас в Берлин. Вас уже ждут там, — прибавил многозначительно Анджолини.

— У меня есть одна просьба, — сказал угрюмо Шрёпфер, — исполнить ее вам нетрудное дело, но для меня результаты немаловажны. Русские придут раньше немцев, — я бы просил, чтобы сцена моего ареста была разыграна только при русских.

— Охотно исполню вашу просьбу, — слегка качнул головой Анджолини, — тем более что мы готовы помочь вам процвести именно у немцев.

В дверь опять по-особенному постучали; Шрёпфер вспыхнул: «Это русские, это Алексис».

Он вдруг сильно побледнел и рванулся с выражением лица, какое бывает у человека, который внезапно одумался и хочет взять назад все вырванные у него обещания, чем бы это ему ни угрожало.

Но Морис тут же парализовал его опасное настроение. Он схватил Шрёпфера за руку, сжал ее до боли и с бешенством прошептал:

— Бросьте мальчишество! Перед вами двор кронпринца! Перед вами лаборатория, философский камень, перед вами Grand oeuvre! [1]

Шрёпфер сделал неимоверное усилие воли и вернул лицу спокойную, даже чуть презрительную мину. Ее почитал он наиболее подходящей для философа, который против воли подчиняется насилию. Такое выражение могло быть на лице Архимеда, когда грубый римский солдат испортил его чертежи. Стук в дверь повторился. Шрёпфер открыл дверь. Впустив Кутузова и Радищева,

---

[1] Великое дело *(франц.)*.

он тотчас наложил запор и нажал в стене какую-то невидимую пружину.

Вспыхнули многочисленные искусно скрытые светильни, и странное зрелище предстало глазам русских.

Обширная низкосводчатая комната полна была причудливых теней, бросаемых рыцарскими доспехами, скелетами, черепами, чучелами заморских птиц. Даже несколько высушенных и подвешенных к потолку крокодилов скалили многозубые пасти. Среди долгоносых стеклянных реторт, напоминавших чудовищ с картин, изображавших «искушение» святого Антония, стояли две черные высокие фигуры в масках и перед ними, в большой шляпе, надвинутой на самые брови, гордо замкнутый Шрёпфер.

Пылкий Кутузов к нему кинулся:

— Вам что-либо угрожает? Что это значит?

Кутузова отвел властно рукой Анджолини и театрально сказал по-французски:

— Это значит, что содержатель кофейни Шрёпфер арестуется по приказу «неизвестных братьев». Это значит, что он должен немедленно следовать за мною. Вы повинуетесь? — спросил Анджолини, обращаясь к Шрёпферу.

— Да, я повинуюсь,— ответствовал твердо, не подымая глаз, Шрёпфер, и, уже не глянув на вошедших русских, Шрёпфер двинулся вслед за Анджолини. Пропустив его вперед, на самом пороге Анджолини обернулся и, вытянув руку по направлению Кутузова и Радищева, приказал Морису:

— А вы, дорогой брат, потрудитесь открыть глаза этим юношам, вовлеченным в обман.

Едва дверь за Шрёпфером и Анджолини захлопнулась, парикмахер снял с себя маску. У Радищева и Кутузова вырвалось единодушное — «Морис!»

— Да... Морис — таково было имя, которое надлежало носить мне всю эту зиму нашего с вами знакомства. Прошу и впредь, до особых обстоятельств, так меня именовать, — поклонился церемонно Морис. И, не давая друзьям опомниться, продолжал: — А сейчас разрешите, дорогой Алексис, дать вам окончательное, вещественное доказательство справедливости всех обвинений, возводимых мною на вашего учителя Шрёпфера. Тень бюргермейстера Романуса и в его отсутствие послушно предстанет перед вами.

Морис стукнул трижды в потайную дверь кольцом и нажал пружину. Светильни все, кроме большой, скрытой в потолке, погасли. Дверь тихонько распахнулась, и в таинственном полумраке, памятуя о важности движений, медлительно вышел под своды Власий-Романус.

Кутузов невольно попятился, недоумевая, — столь сходственной была в полумраке эта тень с портретом, им изучаемым. Од-

нако сам «бюргермейстер» важного фасона внезапно не выдержал. От пыльного щекотания в носу он прегромко и многократно чихнул.

Тотчас Морис пустил гореть все светильники и со смехом скомандовал:

— Базилй, снимайте ваш перрюк!

Тень тотчас скинула многоярусный парик, и перед друзьями предстал хорошо им знакомый дядька Ушаковых.

— Середович! — захохотал первый Радищев. — Ну, с каких это, братец, пор ты ходишь в тенях?

— А вот и Минхен, — вывел за ручку из темной комнаты Морис. — Рекомендую, великая рукодельница. Воротник тени — ее вышивка.

— Морис, — воскликнул вне себя Кутузов, — во имя справедливости вы обязаны назвать себя! Вы обязаны назвать того, кто арестовал Шрёпфера.

— О, это все тот же человек в черном кафтане, которого вы искали со дня носорогова чуда, дорогой Алексис. Что же касается меня, я вам себя назову лишь при следующей нашей встрече. Я вам обещаю, что эта встреча будет весьма скоро. Она будет на вашей родине. А пока прошу вас запомнить одно только: я тот друг, который готов остеречь вас всегда от ложных увлечений... Теперь, мои дорогие, нам здесь делать больше нечего. Выйдемте отсюда. И прошу вас обоих, — Морис слегка поклонился Радищеву и Кутузову, — прошу не бранить злосчастную «тень бюргермейстера». Ведь не кто иной, как я сам, желая основательней вас разубедить, любезный Алексис, порекомендовал через Минну в подручные Шрёпферу нашего милого Базилй.

Власий, считая, что наступила минута, когда ему надлежит выполнить урок сегодняшнего дня, завопил:

— Лопни глаза мои, ежели этот ферфлухтер немец не улещал меня на коленях подновить себе морду и напялить парик!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Миша Ушаков сверх обыкновения спозаранку ушел в коллегию. Дома был один Власий. Он выставлял проветриться во дворе общежития барчуковы сундуки — пора было готовиться к отъезду. Неожиданно, украдкой, подошла к Власию фрейлейн Лизхен, пассия Мишеньки.

Лизхен была в кружевной мантильке, накинутой на голову и скрывавшей черты, так что Власий вовсе ее не узнал, принял за Минну и улыбнулся с приятностью.

— Герр Базиль, у меня к вам важное дело, — прошептала Лизхен и метнула из-под мантильки глазками.

— Тьфу ты, и как это я обознался! — проворчал Власий. — Да к чему ты, канашка, врешь? Дело твое нимало не ко мне... А герр Мишенька — фью! Улетела птичка.

Власий потрепыхал локтями, как крыльями, и ткнул перстом в пустое окно общежития. Лизхен поняла, засмеялась, но тотчас настойчиво повторила:

— К вам, герр Базиль, к вам одному дело.

— В таком разе мне с фрейлин на дворе не гоже, — пожалуйте в апартамент.

Власий провел Лизхен по лестнице и открыл дверь в свою чистую светелку. Победоносно глянул на вышитую скатерть, немедленный подарок Минны после «вызова тени», и сказал пригласительно, широко разведя правой рукой, как, бывало, на пахоте, когда бросал в землю семя:

— Битте вам, присаживайтесь.

— О, какой восторг! — похвалила, оглядывая комнату, Лизхен. — Вы бравый мужчина, герр Базиль, и — ах! — как мне вас жалко.

Лизхен вынула платочек, но привычные слезки вдруг не послушались, и она только помахала сама на себя кружевцом.

— Ваша любимая Минна, герр Базиль...

Власий насторожился: «Ихние бабьи подвохи», — промелькнуло в уме, — и с достоинством сказал:

— Фрейлин Минна есть скромная девушка.

— Она сквозная голова,— вскричала Лизхен,— она мне хвастала, что вы будете на ней жениться и будто пришла бумага с печатями от самой царицы, чтобы вам стать при дворе камердинером. И будто она, Минна, будет жить в Петербурге, а захочет — так и в собственном доме здесь, в Лейпциге! Что? Вы будете ей в Лейпциге покупать дом?

— Что же, при фортуне... очень обыкновенно. Кому какая фортуна, — самодовольно сказал Власий.

— Это Минне фортуна? Минне? — пискнула гневно Лизхен, и маленький носик ее покраснел. Она забегала по комнате, стрекоча что-то позорное по адресу подруги.

Особо важные обвинения Лизхен выделяла отчетливо и повторно, сопровождая иллюстрировавшим поступок жестом. Так, посвящая Власия в темное прошлое Минны, — отец неизвестен, а мать «eine Dirne» — гулящая женщина, которая целовала всякого, — Лизхен чуть не задушила в своих объятиях Власия.

— Ну, эти французские штучки, Лизавета, ты брось... — остановил строго Власий, — говори одно дело.

Дело же, с грехом пополам понял Власий, заключалось лишь в том, что, позавидовав Миннину счастью, подруге пришло в голову его погубить.

В доказательство своих показаний насчет прошлого Минниной матушки Лизхен обещала выкрасть из сундука Минны особый билет с обозначением ее профессии и запрещением носить шелк и золото и в церкви стоять рядом с женами почтенных людей. Когда Лизхен с Минной еще дружила, та показывала ей сама этот билет и страшно ругала законы и самого господина бюргермейстера, их представителя.

— И все, что есть у Минны золотых вещей, а у нее их — ай, ай, ай! — с завистливым блеском в глазах перечислила Лизхен по пальцам, а когда нехватило пальцев, простым устным счетом, предметы давних своих вожделений — браслеты, аграфы, парюры недавней подруги, — герр Базиль, все это хоть дорогое, но для человека честного, какой вы есть, приданым считаться не может. Ведь мать Минны нагуляла все это в публичном доме, ведь она была eine Dirne!

— Великое дело — прошлое, — ответствовал Власий.— Уж и то добро, что эта мать хоть публичная, да рачительная!

Внутренно Власий радовался, что у Минны оказалось столько ему не известных богатств, — на гостинцы можно и не тратиться. И, вставая в знак оконченной аудиенции, он нравоучительно сказал Лизхен:

— Как на деньгах, равно и на мануфактурном товаре никакого сраму быть не может.

— Однако ее в нашем городе никто замуж не брал как раз из-за этой причины, — презрительно фыркнула Лизхен.

Власий развел руками:

— На вкус и цвет товарища нет, — кому арбуз, кому свиной хрящик.

Пословицы Лизхен не поняла, но почувствовала, что Власий не только на Минну не сердится, а, напротив того, ей сплетня Лизхен как-то оказалась в профит. [1] Она рассердилась сама на себя и уже с непритворными слезами сказала:

— За что же, герр Базиль, про меня вы так худо Мишеньке говорите, а этой Минне у вас почет? Ведь она по самому рождению уже хуже меня! Мой папахен — почтенный бюргер, он имел должность...

Но Власий осуждающим жестом прервал:

— Человека, милочка, родят не спросивши. Вот я, примерно, крепостного звания ни у кого не просил. Человек, милочка, только за персональное свое поведение отвечает.

Власий легонько щипнул круглолицую Лизхен и добавил галантно:

— Вот за французские за свои штучки ответишь! А засим, благодарим, визитация окончена, и гутен вам таг!

---

[1] Выгодной.

Власий открыл дверь, сердитая Лизхен, шурша юбками, выбежала вон из светелки.

Однако оброненная ядовитая сплетня свое действие на Власия возымела: деньги и вещи, — оно, конечно, — срамом не пахнут, но и то надо в память принять: от яблоньки яблоко падает недалече. Когда еще Морисова сказка о воле обернется былью, когда еще деньги свалятся купить здесь кофейню, а отъезд с барчуками домой на носу. Хорошо б Минну придержать чем-либо устрашительным в благолепии заглазного поведения. Девка молодая...

И, вспомнив, куда собирался наутро итти, любя волнительные зрелища, Середович решил для назидания обязательно прихватить с собой Минну.

А собирался он посмотреть казнь девушек-детоубийц.

Когда рано утром Власий и Минна подходили к лобному месту в Рабенштейне, Власий был очень доволен, что тут все без обмана, совсем как напечатано было на картинке, прибитой к городскому столбу.

Из больших камней полукругом сложен высокий помост, чтобы народу хорошо было видно. На помосте, сверкая обоюдоострым мечом, стоял палач в хорошем кафтане и ждал не шелохнувшись, как статуя. Преступниц еще не привозили.

Народу, несмотря на ранний час, было множество: усыпали холм, камни, редкие большие деревья. Казалось, на пустыре этом опять большое гулянье, как было недавно после присяги курфюрсту. Женщины все нарядны и возбуждены. Чтобы получить хорошее место, они забрались сюда до рассвета. Сейчас стрекотали, закусывая, а мужчины спорили громко о палаче, — вроде об заклад бились, — хорош ли будет у него удар. Вспоминали, как в прошлую казнь молодой мастер, привезенный из Иены, по неопытности два раза рубанул по шее некую Эльзу, и то не убил. По самый локоть рассадил ей соскользнувшим мечом руку и прикончил преступницу уже не на плахе, а на досках помоста.

Вдруг все вскочили, толпа завыла, махая платками и шапками. Показалась телега с детоубийцами. Минне и Власию хорошо рассмотреть их проезд не пришлось, потому что пришли они поздно, а за спинами горожан стало видно, только когда девушки начали подыматься вверх на помост.

Девушки медленно шли по ступенькам, нарядные, в новых платьях с пышными юбками и в белых косыночках. Этот праздничный костюм был милостью, которую власть оказала преступницам, снисходя к просьбам их родных. У девушек на руках, — для позора и в память того, что именно этими тонкими, слабыми

руками они совершили свое злодеяние, — звенели тяжелые цепи. Для равновесия девушки выставили пред собою эти руки в цепях, подымаясь с трудом по высоким ступенькам.

При взгляде на их покрасневшие лица, на глаза, опущенные вниз, на эти выставленные вперед руки, издали можно было подумать, что две нарядные кельнерши в праздничных платьях несут яства на тяжелых подносах каким-то важным гостям.

Минна, не отрывая глаз, глядела на их голые шеи. У одной девушки, Иоганны, шея была белая, пухлая, с еще детской складкой; у другой, Регины, — худенькая, с бьющейся голубой жилкой.

Какой-то человек в черном кафтане стал читать уже всем известное преступление девушек, потом к ним подошел с распятием пастор.

Девушки одна за другой приложились к кресту и вдруг разом, как подкошенные, упали на колени и, уронив руки по швам, далеко вперед послушно вытянули головы.

— Они озабочены, чтобы белые их косынки остались незапятнанными! — сказали соседки. — Они очень прилично хотят умереть... aber ganz anständig. [1]

У женщин Лейпцига было поверье, что, если тело погребено с покаянным стишком в зубах и в чистой белой косыночке, душе будет легче пройти все тяжкие мытарства.

Пока седая старуха разъясняла любопытствующим молодым эти загробные тонкости, палач не спеша стал снимать свой кафтан, чтобы правой рукой было сподручней рубить.

Толпа же, не владея собой, ринулась с воем к помосту. Ринулась и затихла. Потом дважды, одной огромной общей грудью, все разом ахнули, когда палач, сверкнув на солнце высоко вознесенным блестящим мечом, тяжко его уронил, свершая казнь «отделения головы от тела».

Первый удар палача был по беленькой пухлой шейке Иоганны, второй обрушился на тонкую шею Регины, с голубой жилкой, бившейся, как подкожный фонтан. Палач высоко над головой поднял одно за другим легкие девичьи тела и возложил их для более длительного позора и публичного назидания на колесо.

Отрубленные головы девушек были поставлены на спины туловищ. Палач разъял лезвием меча судорожно стиснутые зубы и вложил каждой покаянный назидательный, напечатанный в лейпцигской типографии, стих. Он начинался так. «Mensch, was du thust, so bedenke das Ende!» [2]

Стих был прочитан пастором громогласно всей площади.

Вдруг женщины с испугом зашептались:

---

[1] Вполне прилично *(нем.)*.

[2] Человек, что бы ты ни делал, помни о конце *(нем.)*.

— Палач перепутал головы!
— Голова Иоганны на спине у Регины...
— А не все ль им равно, — отозвался мужчина, — чья у кого голова? Ведь уж больше в ратхаус танцовать не пойдут.
— О милосердный бог, они больше танцовать не пойдут! — И только сейчас поняв, что произошло, Минна залилась слезами.
— Необходимо переставить девушкам головы! — кричали в ужасе женщины, глядя, как под пухлой шейкой Иоганны большим красным подносом сгущается кровь, а под головкой свисают чужие, длинные руки тонкого туловища Регины. Между тем коротенькое пышное тело Иоганны, с раскинутыми ручками в ямочках на локтях, служило пьедесталом голове ее смуглой подруги.
— Ох, надо переменить им головы... Как предстанут они с чужой головой на страшном суде?
И Минна не хотела уходить с пустыря, пока не уверилась, что палачу известна ошибка и что остались добровольные контролеры, которые при положении казненных в гроб присмотрят за тем, чтобы тела их положены были с собственными головами.
Что касается Власия, — в конце концов он был недоволен. Все вышло молча, скоропалительно, словно орудовано было не над людьми, а над восковыми фигурами. И главное — девки казненные ничуть не повыли...
— Вот ежели б так наших русских... — сказал он Минне, когда отошли, — при всем при честном народе, — да впору бы уши заткнуть и куда глаза глядят... А эти твои и не визганули.
— Но так гораздо приличней, Базиль! — воскликнула заплаканная Минна. — Они совершенно прилично умерли — aber durchaus anständig, и родным ихним не стыдно, и герр пастор их будет хвалить.
— А на чорта им резаного пастőрова похвала? Слыхала... танцовать не пойдут. Лучше попричитали б честь-честью, народ бы их пожалел. Причитать бабам надо, а они ровно куклы. Ну, пойдем, што ль, кофию попить...
Власий не окончил и шарахнулся в толпу. Он наткнулся лицом к лицу на Радищева, барина. Но тот его не видал. Стоял высокий, помертвелый, не иначе сам зарубленный. Ни кровинушки в лице, а глаза темные и немигучие.
«Может, припадок с ним будет, — опасливо подумал Власий, — водичкой бы прыснуть...»
Но Радищев сорвался вдруг с места и стремительно зашагал в лес.
— Ах, герр Базиль, почему девушкам подобная казнь, почему? — плакала Минна. — Вот им отняли головы один раз и навсегда, а тот мужчина, который соблазнял, тот мужчина сейчас, может быть, выпивает пиво и думает, как лучше соблазнить

ему новую девушку! Ах, отчего так несправедливы люди, герр Базиль?

— Чего людей в такое путать? Сам, значит, бог девок обидел. — Власий был раздражен тем, что многообещающее зрелище его не взбудоражило. — С мужиком разве можно девку равнять? Где мужику встать да встряхнуться — там девке рожать! И вот вы, фрейлин Минна, смотрите мне, — Власий погрозил выразительно пальцем, — соблюдите себя! Затем вас на такое дело и приводил. Значит, для примеру.

Потрясение чувств Радищева было велико. Кроме ужаса и пронзающей сердце жалости, позорное зрелище, коего он был только что свидетелем, давало как бы высшую санкцию и священные права последней работе Ушакова — его размышлению «о смертной казни».

Радищев все ускорял шаги, чтобы уйти от ужасного воспоминания — о двух девичьих легких телах, вознесенных высоко на колесе, с беспомощно раскинутыми руками.

О, сколь прав был Федор Васильевич, задавая свой главный вопрос: «На чем основано право наказания? Кому оно принадлежит? И нужна ли, точно, сама смертная казнь?!»

Со всем пылом присущего ему благородства Ушаков доказывал, что, помимо исправления преступника, никаких иных целей у правосудия истинного и быть не может. А посему следовало его категорическое: «Смертной казни быть не должно».

Образное доказательство Руссо полного бессмыслия отнятия жизни само собой встало вдруг перед Радищевым. Встало не в мыслях, а всем существом кровно им почувствовалось, едва он представил себе государство цельной персоной, а граждан — членами сей персоны. И сколь плачевно-бессмысленный получился немедленно вывод!

Ежели человеку, например, переломили ногу, то он, исходя из данного понятия, будет принужден уже нарочито раздробить и другую. Кому? Сам себе!

Ежели цель у государства одна, — шагал опять по проселку Радищев, — ежели цель эта — благосостояние собственное, то и наказание всякому преступившему должно заключаться лишь в том, дабы воспрепятствовать кому-либо здоровью общественному повредить. Но препятствовать вреду, не налагая при том ослабления ни на физические, ни на моральные силы злодея. Нет такого человека, который не оказался бы где-либо на своем месте и к чему-либо для всех пригодным. Надлежит только приобрести способ всестороннего исследования преступника, надлежит найти безошибочное применение его сил. И, неровен час, вчерашний убийца — сегодня спаситель человечества, знаменитый

хирург. Вот оно, вот единственное разрешение вопроса об исправлении преступного.

«О, сколь трудна будет подобная работа у себя на родине...» — внезапно перебились общие рассуждения Радищева такой близкой, своей, домашней болью. Он уже знал, что императрица, воспитавшая себя на Беккариа и Монтескье, их мысли включившая в свой знаменитый «Наказ», была щедра только для дворянства, ибо на него опиралась, а народ пуще прежнего замучен черной работой. Но если б даже царица оказалась верной опорой молодым просветителям, то дворяне допустят ли насаждать? Нет, вовек не захотят согласить волю свою с волей народа, который у них в столь им прибыльном позорнейшем рабстве находится. И, следовательно...

Радищев встал, отряхнулся, подошел к роднику, неподалеку бившему в камне, освежил пылавшее лицо и, овладев собой, но еще не желая встречаться ни с кем, зашагал по направлению к крепости Плейсенбург.

Привычка, по мнению Гельвеция, — вторая природа, если не первая. И если государство поставить на должную высоту, то сам собой подымется в нем и человек как достойный его гражданин. Ergo, [1] — вторично подошел Радищев в своих мыслях к последнему волнующему выводу, — чтобы человек правильно мыслил и справедливо поступал, надо в такой же мере, — если не в большей, чем его перевоспитание личное, — приняться за переустройство всего государства.

Крепостные стены с башнями и зелеными валами предстали перед Радищевым. В былое время сюда сажали важных преступников, здесь Лютер сражался с Экком, здесь недавно останавливался в придворных залах курфюрст для принятия присяги. В верхнем помещении была сейчас устроена постоянная академия живописи. Первым директором ее был знаменитый художник Эзер. При государственной академии он открыл и собственные частные курсы живописи.

Гёте охотно ходил рисовать к Эзеру. Об этом говорили в университете, потому что с некоторых пор Гёте стал предметом всеобщего внимания. Он высмеял в иронических стихах ходульную музу профессора Клодиуса. Его стихи, углем написанные на белой стене кондитерской известного в городе Генделя в прославление его вкусного производства, — тем же размером и с той же напыщенной образностью, с какой Клодиус трактовал свои сюжеты, — были у всех на устах.

Радищев подумал, что если Гёте будет в мастерской и будет один, то он к нему подойдет и непременно познакомится ближе. Необыкновенная внешность юноши, таланты его и какое-то особое,

---

[1] Значит *(лат.)*.

гордое право на жизнь и ее радости Радищева и привлекали и мучили непонятно. Необходимо было узнать, в чем же сила этого молодого? Где ее источник, каковы устремления в будущее?

Академия художеств была первым подарком, который недавно заключенный мир поднес городу Лейпцигу. В старинном замке по винтообразной лестнице Радищев поднялся в залы, полные простора и света. Стены были покрыты картинами и переносили из германского торгового города в чудесную страну итальянских мастеров.

Было еще слишком рано. До начала обычных занятий только немногие из самых ретивых сидели за мольбертами. Рядом, в кабинете коллекций минералов и редких книг по искусству, куда заглянул Радищев, целой группе молодых старший ученик и помощник Эзера так объяснял творчество учителя:

— Композиции Эзера основаны не на рисунке, а на светотени. Это повод врагам находить у купидонов его картин сбитые контуры и фигуры богинь громоздкими. Но что бесспорно, как прелестная улыбка на некрасивом лице, что отрадно поражает в его композициях — это всегда нежданная, полная жизни выходка, порой прямо юмористическая, разбивающая чопорность. От этой чопорности, деспотически введенной Готшедом, нам давно, друзья мои, стало тошно, а потому...

Радищев не дослушал. Среди слушателей-учеников прекрасной головы Антиноя не было. Радищев прошел в нижнюю залу. Действительно, Гёте оказался там. Но, к досаде Радищева, не один. Рядом с ним торчал длинной тенью неизбежный «серый дьявол».

Оба стояли перед громадным занавесом, который Эзер только что окончил для нового городского театра. Радищев с интересом глянул на занавес и подумал, что характеристика этого мастера, только что им услышанная, дана не без остроумия верно.

Занавес изображал храм Славы. Между двумя группами муз, застывших в своей важности на первом плане, стояли статуи Софокла и Аристофана. Вокруг них толпились вполне современные драматурги в модных костюмах. Взоры древних мужей и современных авторов обращены были на сверкающие вдали колонны храма Славы. И вдруг, среди всеобщей торжественной окаменелости, на свободном просторе картины, в развевающейся, вполне домашней куртке, дерзкая чья-то фигура! Человек в куртке, независимый от муз и мужей, не озираясь назад, шел, как идут в собственный дом, прямехонько к храму Славы, на который вся знаменитая братия лишь робко взирала с умиленным вожделением.

Бериш, указывая на этого дерзкого своей тростью, искривившись, как дьявол, захохотал:

— Еще щелчок по носу герра Клодиуса et compagnie! [1] Вообразите, это сам Шекспир. И от него видны всем одни пятки. По замыслу Эзера, только он, без предшественников, без преемников, не удостаивая всех этих «высокопочтенных» даже взглядом, как пуля, один прет в бессмертье. Можно вообразить, как эта поучительная аллегория за живое задела всех дураков. Молодец Эзер!..

Солнце чудесно дополняло художника. Оно ударяло всей своей силой в колоннаду храма Славы, золотя бесконечность его перспективы. Гёте, чтобы лучше видеть, встал на лесенку и собственной головой попал в яркий луч.

— Стойте так! — театрально выкрикнул Бериш. — Вы так прекрасны на этом месте. От имени самого Шекспира провозглашаю: вот он, преемник!

— Бериш, — сказал задумчиво Гёте, — я вчера прочел в одной книге, которую дал мне гехеймрат Бёма для ознакомления с искусством Индии, что у них аллегорически изображались с особым вдохновением две идеи: совершенство своей личности и жертва этой личности для совершенства других. Я же думаю, что в идее первой уже заключена и вторая идея, а потому...

— А потому обожайте себя самого на здоровье, мой друг. Меня же нимало не забавляет ни совершенство персональное, ни всеобщее. Самому в тысячу лет не достичь, а утирать нос каждому Гансу и Грете — слуга покорный. Давайте-ка лучше заключим союз: вы будете производить совершенные вещи, а я буду совершенных вещей толкователь. И как мудрецы скоротаем наш век.

Оба засмеялись и под руку пошли в верхний зал, не обращая никакого внимания на Радищева.

Наступило время, когда истощение сил Ушакова дошло до своего последнего предела. Никакое отвлечение воли, ни твердость мысли уже не помогали. Оставалось одно — глядеть в глаза смерти и сознавать свое угасание.

Прогулка с друзьями к любимому ручейку была последней вспышкой сил. Так костер, уже догорающий, может под внезапным порывом ветра еще однажды вспыхнуть на миг, чтобы тем быстрее угаснуть совсем.

За три дня до смерти, уже никакими лечебными средствами не заглушаемое, Федор Васильевич ощутил конечное разрушение всего своего тела. И тут он проявил полное присутствие духа, упрашивая врача сказать в точности, возможно ли ему облегчение и долго ль остается жить.

---

[1] С компанией (*франц.*).

Подробности болезни, поучений и мужественной смерти Федора Васильевича Ушакова достойны внимания особого уже потому, что, по свидетельству Радищева, именно личность этого друга в те юные годы легла в его сознание как пламенный «заквас». И был ему Федор Васильевич — «вождь юности».

Некий врач, уважая Федора, как все его уважали, скорбно понурясь, объявил ему правду: жить осталось не более суток.

Ушаков призвал друзей и, слегка удивляясь, ибо был в полной ясности мыслей, сказал:

— Завтра жизни не буду причастен... Завтра? Что же, умереть всем должно, днем ранее или днем позднее — какая соразмерность с вечностью...

Но тотчас, не желая на этой печали останавливаться, поблагодарил врача, считая подобную откровенность доказательством дружбы.

Вокруг Ушакова собралась вся русская колония. Каждый его обнял. Все рыдали.

— Ну, простите навеки! — сказал Федор. — Теперь уйдите и оставьте меня одного.

Они уходили, оборачиваясь невольно. Он же смотрел каждому вслед, ловя особо взгляд каждого своим умным и знающим взглядом, нестерпимой делая мысль, что такое благородное сознание уже завтра канет в полное небытие.

Овладев вполне собой, Ушаков вызвал одного Радищева и, через силу шевеля языком, выговорил:

— Мы столь с тобой много говорили, и столь одинаковое было нам важно. Прими, друг, бумаги мои, разбери, сделай, что хочешь. У меня сил хватило только начать... Подойди ближе, дай руку. — И совсем тихо, последним шелестом: — Еще помни, что тебя я любил. Помни, что в этой жизни нужно иметь правила, чтобы быть счастливым. Помни и последнее: нужна твердость мыслей, чтобы не только жить, но и... умереть бестрепетно.

Радищев вышел уже не озираясь и почти бегом прошел далеко в Розенталь. Проник прямо в те еще дикие, не разработанные садовником места, где, бывало, в первые годы, когда Ушаков еще был силен, они бродили часами. Слова умирающего, знал он, навеки вошли в его память. Больше того: вошел сам он. Весь духовный облик друга, с пламенем чувств, с неутолимой жаждой познания и твердостью воли, слился с сознанием его и — знал он — до гроба внедрился в сердце.

Переполненный горем, но в то же время дивно укрепляемый этой новой, прибавленной к нему силой, Радищев пришел к Шванентейху — тихому пруду с белыми лебедями. На мягких зеленых холмах здесь все лето цвели колокольчики и белели звезды ромашек. Плакучие ивы купали в воде серебристые косы, исторгая

у многих студентов тайный чувствительный стишок. Когда садилось солнце, особая невинность и первобытная свежесть охватывали неизменно этот мирный немецкий ландшафт.

Уже сильно больной, редко сюда добредавший Федор Ушаков, бывало, говорил: «Тут я снова юн и невинен, как на коленях у матушки. Когда помру, поклонись, братец, от меня старой иве! Без чувствительности живут одни бревна».

У этой земли, ласковой и прекрасной, искал прибежища Радищев, когда, рыдая о безвременно погибшем друге, упал под седую иву. Но едва склонился на траву, он сам как бы провалился в небытие, охваченный вдруг мертвым сном.

Радищев проснулся от холода. Солнце давно уже село. Туман стоял над озером. Черными сделались ивы. Сотни рук они спустили плетьми в воду, как бы ловя там кого-то. За холмами в ближнем лесу уже кричали совы, как злые дети.

Радищев вскочил. Сразу все вспомнил и пришел в ужас. Зачем же он здесь, когда Ушаков, быть может, еще не умер? Последние часы, самые последние минуты... Может быть, можно еще раз увидеть живого, если поспешить.

Радищев кинулся краткой дорогой к общежитию. У лестницы внизу стоял Мишенька, весь в слезах.

— Ум... мер, — заикнулся он и, не вполне еще понимая совершившееся, обиженно, по-детски прибавил: — Всех Феденька выслал — один Кутузов притаился и остался. Он ведь не брат родной, как я! А вышло — он-то и видел последнее вздымание груди, он один принял последний вздох!

Спустился сверху Кутузов, взял Радищева под руку, отвел в их общую комнату и тихо сказал:

— К Федору сейчас итти нельзя, его убирают.

— Какова была сама смерть?

— Страдания его под конец были ужасны. Знаки антонова огня, объявшего все внутренности, выступили наружу черными пятнами. Он просил меня дать ему яду.

— И, конечно, ты не дал? — докончил горько Радищев. — О, почему я позорно проспал! Друг хотел прекращения ужасного и бесполезного терзания. Я бы не струсил попов, я бы взял на себя. Ведь он в полном сознании тебя убеждал?

— Он был в полном сознании, когда своей рукой хотел положить предел мукам, — сказал бледный, как призрак, Кутузов, — но, поверь, не малодушие остановило меня ему всыпать яд! Нет, но я полагал, что это минута слабости духа лишь от страдания тела. Ведь я помнил слова, им же изреченные в его сильнейшем подъеме сил: «Друзья, берегите жизнь». И я мнил воздать другу большее уважение, памятуя именно эти слова, если откажусь самовольно разрушить его тело — «храм духа и мысли нашей». Я мнил...

Кутузов вдруг качнулся и без чувств упал на руки Радищева.

После смерти Ушакова столь горькая тоска охватила друзей, что только работой удавалось им заглушить эту тоску. Даже Кутузов, пораженный обманом Шрёпфера, внутренно опустошенный, без почвы под ногами, до сих пор все время убивавший на тщетные розыски как в воду канувшего парикмахера Мориса, с головой ушел в отчетные испытания.

В свободное время новое, тяжелое беспокойство стало терзать Радищева: положение дел на родине. Русские студенты, они окончили курс наук и возвращались домой в конце осени.

Радищев жадно собирал сведения о царице. До последнего времени русскую колонию посещали проезжавшие в Архипелаг воины и вельможи, упоенные славой русского оружия и неслыханной удачей морских битв. Юноши слышали от них одни восторженные отзывы о том громадном значении, которое доставила России в общеевропейских делах Екатерина.

В июле, незадолго до срока отъезда студентов, торжественно праздновала колония необычайную удачу графа Румянцева — победу при Кагуле. Все были согласны, что ежели граф был бы разбит неприятелем, состоящим из двухсоттысячной армии, то Порта, с крымскими, буджатскими и прочими ордами, отворила бы свободный ход в Россию и, сообщаясь с врагами ее — Польшей и шведами, положила бы надолго конец ее величию. И не удивительно было, что витии славословили спасение России от бедствий, равняя победу Кагульскую с победой Полтавской, одержанной Петром. И хвалилась сама матушка: «Я так своих расщекотала в их морском деле, что, гляди, все моря заберут...»

Гордились юноши немало и тем, что знаменитый «Наказ», составленный царицей по Монтескье и Беккариа, оказался даже для самой Франции столь вольнодумным, что был строго в ней запрещен.

Но, увы, слова, усвоенные царицей: народы созданы не нами, мы, напротив того, существуем для них, — лишь в начале пребывания за границей необычайно питали надежды мечтателей. Просветительные, дескать, начинания будут насаждаться при содействии самого трона, — детские мечты, они сейчас, перед отъездом на родину, уже предстали как злая издевка.

Первое разочарование случилось в шестьдесят восьмом году, когда все столь безмерно прославляли императрицу за смелость и самоотвержение прививки оспы себе и наследнику. Этой прививки всё еще опасались, предпочтя гибнуть, не препятствуя воле божией. От иностранцев наши студенты узнали, что в том же шестьдесят восьмом году издан был Екатериной указ, который запрещал крестьянам жаловаться на жестокость своих помещи-

ков. И больше того: приказано было возвращать жалобщика к тому, на кого жалуется, для домашней расправы.

Подмастерье Шихте сообщил вести еще более потрясающие, из которых все крепчало познание: «Наказ» — наказом, а справедливости не было вовсе.

Некая помещица Салтыкова заистязала до смерти около двухсот человек крепостных, между ними двенадцатилетнюю девочку. За это в конце концов была судима, но, как дворянка, без применения телесного наказания, между тем как лакеи ее, которые единственно по приказу барыни истязали бедных жертв, нещадно на площади были биты кнутом.

Еще источником, из которого друзья узнавали понемногу истинное положение дел на родине за последнее время пребывания их за границей, был некий блестящий богатый гвардеец, который получил длительный отпуск для лечения. На самом деле — поговаривали — уехал он от конфуза, не выдержав во дворце испытаний по части амурной. Поговаривали, что оный гвардеец мечтал было попасть в фавор, но чем-то не потрафил и озлобился.

И ежели за счет злословия и вранья отбавить хоть половину его россказней, то и оставшейся было довольно, дабы смутить юношей, чаявших на самом троне найти поддержку своим справедливым прожектам.

Поняли они крепко одно: на родине ждет их полное несоответствие между законами и правами граждан. Комиссия уложений — не великая гордость, а тщеславная забава; сказать прямо — «кабинэ де лектюр».

— Когда «Наказ» читали вслух, — болтал оный гвардеец, — то плакали все от умиления, а возможней всего от того, что сама царица сидела в ложе и слеза могла обернуться наградой. А в общем чорт знает, какая неразбериха в оной комиссии: никто не ведает, как должно работать, то и дело теряют планы... Когда рассматривали торговые дела, Лев Нарышкин взял слово, и подумать, что именно стал читать? Нечто о гигиене. Иной член комиссии предлагал универсальную им изобретенную панацею против отмораживания ног! В таком роде тянулось дело в Москве, потом с грехом пополам перешло в Петербург. Матушка устала, соскучилась. К тому же пеночки все уже с этой затеи она посняла, ну а тут кстати турецкая кампания... Бибиков, председатель комиссии, объявил, что «война призывает в ряды свои большинство депутатов, и комиссия сия закрывается». Злые языки говорят, — мне персонально до сего мало делов: продаю, за что купил, — злословил гвардеец, — что она, комиссия, не создала ни единого закона. Но Фридрих прусский царицу хвалил, берлинская академия ее сделала своим членом, в Париже пресловутый «Наказ» запрещен к опубликованию — сие войдет в историю, — пытался он тонко, как дипломат, улыбнуться. — А разве не курьезна пере-

мена придворного фронта касательно Фридриха? Слыхали? То со слов матушки его величали не иначе как смутьян — perturbateur du repos publique,[1] то вдруг разительная перемена. Ну, при дворе все секреты разнюхают. Оказалось, что при разборке бумаг покойного царя-супруга найдено письмишко, в коем оный Фридрих весьма лестно отзывался о разуме и талантах Екатерины. И вот: комплимент, сделанный женщине, изменяет всю политику царицы!

А старый один вельможа, тоже проезжий, хитро жуя тонкими губами, сам наслаждаясь своим остроумием, рассказал уже намедни последнее «mot»[2] императрицы.

Когда матушка узнала, что Австрия захватила два староства у Польши, то с августейшей улыбкой изволила уронить, играя в ломбер: «Ежели эти берут, то почему бы не взять и другим». И присовокупила: «Ясно, что в политике всегда во вражде начала справедливости и целесообразности».

От своих заграничных товарищей, из иностранных газет Радищев узнал, что, например, всем известное «дело Мировича», которое произошло за два года до их отъезда в Лейпциг, когда они еще были пажами и, не отставая от придворной клики, возмущались продерзостью жалкого пехотного офицера, толковалось иностранцами не так-то просто. Вся Европа насчитывает новое кровавое пятно на без того не весьма белоснежной горностаевой мантии русской царицы. Высочайший, дескать, претайный был с Мировичем договор об освобождении от неприятного узника, имевшего права на царство бо̀льшие, чем у «ее величества Случая», как обозвал Екатерину в злой час Фридрих II. Были, дескать, Мировичу в случае успеха сделаны богатые посулы, и Мирович с совершенным спокойствием пошел на казнь. Он ожидал в последний миг помилования и тайных наград. Но Орлов якобы на пять минут опоздал — то ли замешкался, то ли угодить догадался, — только голова Мировича снята была с плеч. Европа разумно объясняла, что подобного сообщника в живых оставлять было бы слишком большим неудобством. И сколь ни покрывай хитрый Вольтер свою «великую корреспондентку» золотой лестью, — выражаясь по-русски: у нее рыльце в пушку! Перед самым покушением Мировича, как нарочно, был освежен и подчеркнут настойчивый приказ: в случае попытки освобождения Иоанна Антоновича — его пристрелить.

Подмастерье Шихте со слов товарища своего, приехавшего из России и имевшего доступ к Новикову, опять и опять докладывал, что, как никогда, народ был замучен работой и рабством,

---

[1] Нарушитель общественного спокойствия *(франц.)*.
[2] Словцо *(франц.)*.

что чем наверху становилось пышней, тем страшнее убожество внизу.

— Герр Александр, — говорил Шихте, — ваш народ не имеет участия ни в каких великолепиях, за которые прославляют вашу царицу вельможи, — не верьте им. Кому от всех этих войн триумф? Престолу и дворянству. Народу вашему, как скоту, — одна бессловесная гибель... И что же происходит в отместку, какое опасное брожение умов?! Вообразите, короткое царствование Петра Третьего вспоминается уже многими. Отнятие земель у духовенства, им было начатое, перетолковывается как начало освобождения. Ведь те, кои приписаны были к владельцам, получили свободу! Это толкование разносят устной молвой ваши раскольники. Они Петра уже почитают мучеником. Примите к сведению, задумайтесь... Чем все это угрожает? Навстречу каким событиям вы едете на родину?!

Многие немцы здесь, в Лейпциге, ужасались тому, что герой Семилетней войны генерал Леонтьев, женатый на сестре Румянцева, убит своими крестьянами за жестокость и что отдельные случаи расправы все множатся, ибо в комиссии уложения нет голоса крепостным...

Почти перед самым отъездом прислали Мишеньке деньги с таким достатком, что он мог, наконец, как давно мечтал, приодеться по моде, чему словесно давно был обучен своей Лизхен. Сейчас красавчиком шел он на прощальную прогулку в Розенталь. Там уже его ждала Лиза с подружками.

Долго выбирал Мишенька, что ему лучше надеть: то ли темнозеленый кафтан при камзоле в красных цветах, то ли голубое платье, шитое золотом а ля бургонь. Прикинув то и другое, решил, что голубое ему как блондину будет авантажнее, и надел голубое.

Он научился маленькими глотками пить кофе, пробегая в газете смешной параграф из Езельвизе, научился курить длинную трубку, играть в модный l'Hombre и на биллиарде. А голосом умел выводить разный щебет любовный, вздыхать на луну и целовать слезу на щечке возлюбленной. Волосы он носил круто завитые, когда ходил — как танцмейстер на ходу ставил ноги. Башмаки купил с пряжками, вместе с Лизхен и выбирали... А как весело было Лизхен дарить, такая от всего ей радость! Платье подарил темносинее с маленькими золотыми пупончиками, купил самую цветистую шляпку, как у приличных дам, всю в розах. И так было «гемютлих», [1] как восклицает Лизхен, так с ней за

[1] Уютно (*нем.*).

эти последние неразлучные дни сжились — ну, сказать, новобрачные! И неужто навек расставаться?

Нарядный Мишенька пошел в Розенталь, роскошный парк, омываемый двумя реками: Эльстер и Плейсе. Здесь не много лет назад бродил столь сейчас знаменитый Лейбниц, размышляя о примирении Платона с Аристотелем...

Впрочем, Мишенька не думал ни об одном из этих трех мудрецов, как равно и о том, что убедительно на лекциях просил запомнить Геллерт. Эти по всей Германии рассеянные «Lokale» — все эти Розентали, Розенау, Розенфельды — были первоначально языческими рощами, посвященными божествам жизни и солнца. Отсюда, дескать, вытекает и то и иное... Но Мишенька служил сам, собственной персоною, этим радостным божествам и никаких научных выводов делать не хотел.

Тринадцать бесконечных аллей Розенталя все встречались, или, вернее, как речки в море, все впадали в огромный, необыкновенный по яркой зелени и пестроте цветов луг. Этот луг был любимейшим местом прогулок, беготни, любовных игр всей молодежи. Бюргеры и чопорные фрейлейн предпочитали выносить свои особы и наряды на модную Променаду с широкой аллеей.

В Розентале один Геллерт получил привилегию ездить верхом на своем «frömmen Schecke»,[1] которого подарил ему принц Генрих, так что повозки и всадники здесь не мешали влюбленным. Мешали здесь, пожалуй, по словам Антиноя, «в лучшее время года комары, препятствуя развитию нежных чувств».

Сейчас, в осенний вечер, даже комаров не было, и восхищенный Мишенька с нарядной Лизхен, давно прогнавшей из легкого сердца всю зависть к Минне, сидели за маленьким столиком и кушали мороженое в павильоне с потешным именем «Ледяная мадам».

Грубость нравов, неизбежное наследие войны, к последним месяцам пребывания русских в Лейпциге уже окончательно сменилась слащавой вежливостью. Даже в только что вышедшей новой поваренной книге стояло: «Необходимо хозяйкам озаботиться изобретением особо вкусных домашних напитков, потому что немцы начинают стыдиться неблагопристойности опьянения».

— Сегодня будет замечательное зрелище, как нарочно всем вам на прощанье, — сказала Лизхен. — «Фрейе фрауен» будут чистить город от чумы.

И она рассказала Мишеньке про древний обычай, сегодня воскрешенный по случаю тревожных известий о появлении страшной чумы в России.

Мишенька сегодня утром получил русскую газету, где перепечатан был доклад «чумной комиссии» императрице. Он бегло

[1] Кротком гнедом *(нем.)*.

просмотрел доклад утром, не желая омрачать себе последнее свидание с Лизхен, но событие сейчас неожиданно напомнило само о себе. Мишенька вытянул газету и, пока Лизхен бегала к зеркалу поправлять развившийся локон, прочел: «...за громкими победами русского оружия, за Ларгой и Кагулом идет по пятам страшное поражение в виде моровой язвы». Дальше, после длинного столбца сетований и призыва милости божией, следовал доклад «комиссии для предохранения и врачевания от моровой заразительной язвы» в следующих выражениях: «Сколь ни обширны были земли и моря, объятые пламенем войны, и сколь ни многочисленны были неприятели, повсюду следы победоносного воинства российского блистали трофеями. Но с таковою видимою силою магометан соединился из недр суеверного сего народа невидимый неприятель, требующий сугубого сопротивления, непостижимым образом поражавший иногда войска. Была то моровая язва. Болезнь сия, чем далее неприятели удалялись от победоносных наших войск, тем более приближалась к пределам империи, а наконец усилилась внутрь оныя и в самом первопрестольном городе Москве».

— Скорей бежим к реке, началось! — И Лизхен, схватив за руку Мишеньку, потянула его за собой к воде. Перед ними бежали со смехом такие же веселые парочки. Все на ходу кричали наспех друг другу про древний обычай топить «Черную тетку», про необходимость, чтобы этот обряд совершили непременно freie Frauen — публичные женщины. Однако тревога оказалась ложной, и на берегу реки, кроме садящегося в воду, как в ванну, большого красного солнца, никого еще не было.

Парочки весело расположились по крутым склонам на траве. Разговор вертелся не на чуме, которая была так далеко отсюда, в какой-то холодной Москве, где бегают, как собаки, белые медведи. Разговор шел о действующих лицах сегодняшней процессии — о «свободках». Мишеньке был предмет интересен, он расспрашивал подробно и узнал немало забавных вещей об обычаях города.

Публичные женщины прозывались freie Frauen, сиречь «свободки». Они были исключены не только из общества бюргеров — они были исключены из всех цехов. Нравственность цехов была под строгим надзором. Так, подмастерья ткачей должны были каждые две недели давать точные сведения о женщинах, с которыми жили. Так же булочники и сапожники. В случае, если подмастерье-сапожник путался со «свободкой», мастер обязан был не давать ему никакой работы. «Свободкам» запрещалось пребывание в погребках, разнос вина посетителям, не допускалось и появление их в семье или обществе. Они жили в особых «хурхаузах»

Но в «хурхаузы» поступала только часть женщин; их звали «die frommen Huren» — «благочестивицы». Прочие, практикующие тайно и в одиночку, звались «die heimliche Dirne» — потайные девки. Все дома веселья были в тихом предместье Галлишертор...

— Женатым нельзя ходить в эти дома, — прошептала Лизхен, прижимаясь к Мишеньке, и лукаво добавила: — А тем холостым, у которых есть *своя* красивая мегден, тем и не хочется, не правда ли, мейн цуккерпюпхен? О, им много что запрещено, этим женщинам, — с удовольствием болтала Лизхен, — им нельзя носить кораллы, вот такие, как ты мне подарил.

Лизхен с гордостью стала перебирать висевшую на ее шее рогатую алую нитку, которая, оказывалось, была в конце концов аттестацией добродетели. Мишенька расхохотался и покрыл Лизхен поцелуями:

— Ну, Лизхен, похвастай еще.

— А еще им нельзя подбивать мантильку шелком, как подбито у меня, им запрещено в церкви смешиваться с порядочными. Они стоят особо...

— А если они не послушают, а если они подобьют мантильку шелком, — ворковал Мишенька в розовое ушко Лизхен, — тогда им что?

— О, тогда они платят штраф. Анна из Франкфурта наказана штрафом — она носила серебряный пояс. Длинная Грета за шлейф платила столько же, это все знают. Ну, конечно, если зарабатывать очень много, то на штрафы плевать. Зато так приятно подразнить жену бюргермейстера, что ты одета шикарней ее! Ведь это им только вследствие просьб знатных дам все эти запрещения. Бюргеры подают вечные жалобы, что жены не дают им покоя, будто «благочестивицы» назло им одеваются роскошнее, чем они... Идут, идут! — прервала себя Лизхен и вскочила с травы. За ней вся толпа поднялась и вытянула шеи, жадно разглядывая приближавшуюся процессию.

— Это самые красивые идут впереди, — шепнула Лизхен. — О, какие у них веселые, какие чудные плащи!

Женщины молодые, по большей части красивые, в огненно-желтых, солнечных плащах с длинными голубыми шнурами, волокли на веревке громадное соломенное чучело. Чучело было в черном саване с круглыми, нашитыми на черное, яркокрасными пятнами. Это было символическое изображение страшной чумы, по прозванию «Die schwarze Tante» — «Черная тетка».

Женщины пели мрачные погребальные песни и медленно тянули веревку. Шурша травой, скользило черное чучело. За процессией следом все спустились вниз, к самой воде.

Когда совершенно стемнело, женщины зажгли погребальные факелы и, раскачав над обрывом «Черную тетку» с привязанным

к шее камнем, бросили ее в самую середину реки. Когда соломенная дама потонула, погребальные песни сменились внезапно песнями дикими, плясовыми. Не выпуская факелов из рук, девицы стали водить освободительный, торжествующий хоровод. С горящими факелами и с песнями они ушли обратно в свой «женский дом».

— Виват! — кричали студенты. — «Черная тетка» подохла в реке!

— Как бы freie Frauen, наши спасительницы, в свою очередь не наградили город чем-нибудь в том же роде... — проворчал толстый аптекарь. — Гляди, вместе с их хором исчезла и добрая половина гулявших здесь молодцов.

— Признайтесь, герр Шнейдер, снять вам десяток годиков — и вы бы красавицам вслед показали хорошую рысь...

— Ах, Лизхен, милая Лизхен, — сказал с внезапной печалью Мишенька, — у вас тут театральные штуки, а я вот завтра уеду на родину... А на родине встретит меня не соломенная кукла «Черная тетка», а страшное поражение в виде моровой язвы, и с ней вместе ждет меня превеликая без тебя гипохондрия!

— О мейн цуккерпюпхен, продай свой родовой замок и возвращайся обратно! Возвращайся скорей, здесь будет ждать тебя твоя верная Лизхен.

«А ведь и вправду, — подумал, зарываясь лицом в благоуханные локоны, Мишенька, — и вправду: братец Федор Васильевич завещал мне ранний брак. И свободы своей я с Лизхен уж никак не потеряю...»

Радищев тоже смотрел на потопление чумы «свободками» — с другой стороны реки. Там, в мало кем посещаемом уголке, назначил ему Шихте свидание, чтобы познакомить с приятелем, приехавшим из России. Приятель был некто Ицелиус, переплетчик сухопутного шляхетского корпуса в Петербурге.

Ицелиус, живя в России, порой ездил наведываться к родным и совершенствовать заодно свое дело. Закупить тисненых, позолотных, разводчатых материалов для переплетов, посмотреть знаменитые лейпцигские образцы, набрать именитых сочинителей для перевода.

Радищев надеялся узнать от Ицелиуса самые последние правдивые новости, как это бывало раньше со всеми знакомыми Шихте. Так было с подмастерьем мастера Веге, который жил на Луговой Миллионной в Петербурге и продавал еженедельное издание новиковского «Трутня» по одному рублю сорок копеек, а порознь — по четыре копейки за лист. Тот подмастерье подробно рассказывал о фаворитах, о раскольниках, о лже-Петрах, прибавляя дерзновенно, что не удивительно подобное брожение мыслей в стране, где воображение всех авантюристов возбуждено примером и удачей самой царицы.

Но Ицелиус был странно немногословен. Он только сразу сказал, что у него имеется поручение к Радищеву, но насчет жизни двора он осведомлен мало, ибо его интересуют одни, — подчеркнул он голосом, — «истинные властители» душ.

— Кто ж таковые будут?

Ицелиус тотчас ответил, как будто только и ждал вопроса:

— «Истинные властители» суть те, кои слились в братском твердом желании вести всех к свободе путем, каким народы единственно могут сами итти, а не путем, предрешаемым произволом единоличных правителей-деспотов.

— Но, признаюсь, — прервал Радищев, — я не охотник до тайн, тем более масонских. Недавно одно смехотворное происшествие у меня отшибло последний к тому вкус. Так что, ежели поручение ваше будет к обществу «тайному», прошу прощения — я не передатчик!

— Однако ужель непонятно вам, что лишь тайна строжайшая может обеспечить успех в таком, например, предприятии, как намерение раздобыть если не полную свободу, то хотя смягчение участи несчастных рабов вашей собственной родины? Разве не есть мудрая предусмотрительность, если на поверхность движущих дело пружин для власть имеющих глупцов будет наброшена золоченая мишура? Как иначе прикажете делать отбор в столь важном деле?

У Ицелиуса была узкая длинная борода, мохнатые нависшие брови и под ними спокойные ребячьи глаза.

«Не иначе — какой-то святой козел», — подумал про него Радищев, но человек этот ему сразу понравился.

— Наконец-то я слышу дельную речь, — сказал он с улыбкой, — речь без утомительных символов, на которых просто помешался мой близкий друг Кутузов. Эти символы — непонятная мне ерундистика...

— О, это не совсем точное выражение, — покачал головой Ицелиус, — символ отнюдь не бессмыслие. Совсем наоборот: это, так сказать, усовершенствование нашей речи. Объединение многих соответствующих законов под одним условным знаком, дабы важную мысль выразить кратко, — вот это что. Впрочем, довольно о подобных материях; я не уполномочен вам в этой области что-либо сказать. При вашем желании по этому предмету у вас могут произойти там, на родине, более подходящие вашему образованию встречи, нежели с неученым переплетчиком, каков есть я. И поручение мое к вам относится не к какому-либо обществу, а к отдельной персоне. Вы сейчас являетесь тем, что мы зовем «правильный канал» для передачи письма одному крайне почетному человеку. Вы знаете наверно, что на почте у вас сидят прелюбопытные лица. Они любят читать чужие письма раньше адресатов, что притом для последних не всегда весело кончается.

Почетный человек, кому адресован данный пакет, — Ицелиус вынул из кармана большой запечатанный конверт, — есть один известный журналист и издатель. Вы, может быть, читали, он пишет под именем...

— Правдулюбова! — почему-то подсказал Радищев.

— Именно так — по журналу. А в жизни частной он — Николай Иванович Новиков. Письмо отменно важное, и Шихте мне сказал, что вы есть верный человек и передадите не иначе как в собственные руки, — улыбаясь и шевеля бородкой, закончил Ицелиус.

— И с превеликим притом удовольствием, — пожал ему крепко руку Радищев.

Совсем близились дни отъезда. Уже сданы были все испытания в университете, и получены похвальные дипломы. Уже многократно отпраздновали прощальные ужины с немецкими товарищами. На законном основании осушили немалое количество бутылок, горланя ерундовскую застольную песню:

Zwanzig Jahr in Konstantin-
Opel ich gewesen bin,
Allwo ich mit den Janitch-
Aren sass auf einer Pritsch![1]

Отпразднован был прощальный обед с профессорами в трактире «Голубой ангел». Слушали напутственные умные речи, с горячностью говорили ответные. Давали обещания воздать на родине своей деятельностью честь учению любимого Эрнста Платнера. Этот профессор умел, как никто среди их учителей, убедительно сближать отвлеченность положений философских с вопросами насущного социального характера. Клялись искоренять вопиющую неправду между классом имущих и правами обойденных. Вообще все теоретическое изучение права во славу коллегий Лейпцига обещали превратить незамедлительно в практику.

Невысокий изящный Геллерт тихими, печальными глазами долго смотрел в глаза русских юношей, пожимал им руки и проникновенным голосом говорил:

— Несите, дорогие друзья, несите в порабощенную страну понятие о свободном человеке. Но будьте же и вы сами на высоте ваших слов...

Пришел проводить русских студентов и старый учитель рисования Цинк, сейчас мудрый слепец, которого водил за руку

---

[1] Двадцать лет был я в Константинополе,
Где вместе с янычарами я сидел на нарах *(нем.)*.

юноша ученик. У Цинка было благородное лицо со старинного портрета, полное дедовской благожелательности. Пришел и антиквар Вендлер, прелестный чудак, который, как Диоген, раздав все свои драгоценности, не имел даже постоянного пристанища. Эзер написал его портрет, Баузе сделал с этой работы чудесную гравюру, профессор Клодиус — подпись стихами. Типография размножила оттиски, и старик, продавая себя самого, — как он весело шутил, — добывал себе пропитание.

Пришел и Якоб Райске, ученый, основатель арабской филологии, тоже старик, никогда не уверенный, будет ли у него на завтра обед...

Все эти полунищие замечательные ученые и бескорыстные чудаки крепко жали руки юношам чужедальней стороны и как бы желали перелить в их сердца свою, доказанную долгой жизнью, беззаветную любовь к знанию и искусству.

Наконец дорожный возок русских был собран. Уже там лежал упившийся с горя Мишенька, а Середович, нетвердый сам на ногах, держал перед ним на прощанье «посошок» немалой вместимости, в то время как Лизхен и Минна, объединенные общей скорбью, лили поодаль тихие слезы.

Радищев и Алексис в последний раз взбежали на высокий холм кладбища. Здесь оставляли они навеки прах «вождя юности» — Федора Васильевича Ушакова.

С кладбищенского холма город хорошо виден был весь. Колокольни старых церквей, и крепостные башни, и цеховые дома с высокими крышами, и ратхаус, где столько веселых банкетов было отплясано вместе с милыми горожанками, оставив на время в забвении все философии и права.

Четыре мельницы наперегонки работали на голубоводной Плейсе. Краснела блестящая черепица в осенней зелени пышных садов... Так все было здесь близко знакомо, такой любезной сердцу второй родиной успел сделаться город Лейпциг. То тут, то там с невольной улыбкой отмечали, как рука Эзера, ненавидевшего рококо, наставила белые колонны, огромные урны, повитые розами. Это из-за них начитанные горожане, увлеченные Винкельманом, пренаивно гордились, что их немецкий купеческий город превращен в древнегреческий.

Как все здесь мирно, как располагает к наукам! И ни за что нет ответа. Даже отвратительная смертная казнь — там, на окраине, в Рабенштейне — касается будто не Лейпцига. Эта смертная казнь... уж не подготовка ли к тем потрясающим событиям, которые на родине ждут русских юношей?

— Окончилась юность наша, — сказал тихо Кутузов. — Да поможет нам память друга в трудном служении нашей отчизне.

Радищев стоял, глубоко уйдя в себя, и безмолвствовал.

— Нам пора, Сашенька, — позвал Кутузов.

Радищев тряхнул головой, взглянул на приземистую, тяжкую башню крепости Плейсенбург. Здесь, в нижней зале, перед большой картиною Эзера ему как бы самой судьбой было недавно сделано одно решающее предложение. О нем только и думал он все последние дни, ища точной формулировки своего ответа.

Уму, ведущему перед собою отчет, подобный вывод — необходимость, чтобы собрать воедино все силы. Так необходима плотина реке, когда предстоит ей делать большую работу.

И, непонятно для стоящего рядом Алексиса, обращаясь мысленно к одному вождю своей юности — Федору Ушакову, Радищев громко, с твердостью сказал:

— Нет! Будь я даже сам Шекспир, ни к какому бессмертию один я двигаться не желаю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не найдя перчаток ни в одном кармане, Радищев выдвинул ящик своего письменного стола с такой силой, что из него стрельнули во множестве на пол записки. Счета портного, фруктовщика, клочки разорванного буриме — играли в последний раз у Херасковых. Вот две строчки почерком Аннет...

Улыбнулся, чуть было не поцеловал бумажку. Сложил ее бережно, втиснул обратно в конвертик.

Привлек внимание Радищева листок записной книжки: «За напечатанный перевод Мабли 41 рубль». Получал еще в бытность на сенатской службе «титулярный советник Александр Радищев».

И еще получил 69 рублей уже на службе теперешней. Подписывал расписку «обер-аудитор при штабе графа Брюса».

Глаза Радищева сами собой перевелись к библиотечному шкафу, и рука потянулась за книжкой в кожаном переплете с тиснением золотом.

На титульном листе новиковская марка: «Общество, старающееся о напечатании книг».

И картинка сверху: из вензеля императрицы исходят лучи, упирающиеся в пирамиду. Две соединенные руки, рог изобилия, меркуриев жезл — сиречь кадуцей, тюки товаров и книги.

Радищев нашел пюсовые перчатки в потайном ящике. Они лежали рядом с книжкой, которую намедни получил он от Брюсши, Прасковьи Александровны.

«Однако почему легче мне перенять надутого Клопштока, а не эту вольную, несравнимую простоту?»

И, раскрыв золотообрезный томик, недавно присланный графине Брюс из Берлина, Радищев в вечернем камзоле, по-модному

завитой, среди груды разбросанной мелочи сел на пол и забыл все расписания, все сроки. Забыл даже сегодняшний вечер у Херасковых, на котором ему хотелось особенно быть. Известна в этой книге каждая глава, как страница собственной жизни, но как порох вспыхнуло сердце, и слезы исторгнулись из очей. Таков «Вертер»!

Еще волнительней было Радищеву от мысли, что «Вертера» написал тот самый красавец-юноша, с которым в одном университете слушали Геллерта.

«Антиной» — так его звали студенты, и Вольфганг Гёте — так значился он в списках.

Масонские часы, водворенные в их общую комнату Кутузовым, не переводя духа, отбили семь раз. Бог времени Хронос, подняв косу выше белой своей бороды, махнул ею вниз неумело, как плохой косец. Но он дал этим понять, что еще на час ближе стал к своей смерти каждый смертный.

Радищев очнулся. Обратно забил в ящик стола весь из него выпавший хлам и с неудовольствием приметил на полу свои выходные светлопюсовые, в комок сбитые перчатки. Он не заметил, как всей тяжестью сам на них сел. Схватив деревянные пялы, Радищев распялил перчатки одну за другой.

Прасковья Александровна Брюс строго наказывала, что свежесть вечерних перчаток — непреложный признак хорошего тона, и члену Английского клоба весьма надлежит соблюдать оный. Лишний раз с удовольствием вспомнить не преминул, что с недавнего времени и он есть член Английского клоба, где собирались для бесед и карточной игры все чиновные, должностные и знаменитые столичные персоны. Кроме того, члену оного клоба открыты были двери лучших гостиных.

В этих гостиных Радищев ныне бывал не последним, ибо под выучкой все той же Прасковьи Александровны получил светский лоск и приятность обращения.

Военная слава мужчин в салоне графа Брюса, остроумие и блеск светских модниц привлекали своим контрастом с кляузным миром чиновников, их служебных ябед, их озлобленных жен.

Радищев написал Кутузову записку с приказом, ежели он не поздно вернется, пусть едет к Херасковым — интереснейший вечер. Оглянулся, куда бы прикрепить записку повиднее.

Оба письменных стола были завалены. У Кутузова больше, чем в Лейпциге, развелось древних книг. Манускрипт с египетскими гиероглифами то и дело скатывался на пол, смахивая туда чернильницу, сургучи и гусиные перья.

Череп с малым количеством зубов пугал хозяйку комнаты и мешал Кутузову чертить пространные круги, арканы, пентакли.

У Радищева на столе была целая лаборатория алхимика: стеклянные реторты, ступки, паяльники и спиртовки. Он орудовал

с химией. Все собирался ставить ученые опыты, но пока что он гнал одну черемушную воду и настаивал из сушеной розы духи.

Над постелью Кутузова висело всевидящее выпученное «око», окруженное косым дождем золоченых лучей. Око наблюдало за чистотой помыслов и поведения Кутузова.

Над постелью Радищева были крест-накрест рапиры и прочие фехтовальные принадлежности, для верховой езды потребные стеки, великолепное охотничье ружье.

В футляре на полке, нарочно по форме сделанной, содержалась скрипка. Радищев талантами изобиловал.

Памятуя рассеянность Алексиса, Радищев, дабы привлечь внимание друга к оставляемой записке, соорудил особливую махинацию.

От большого крюка, предназначенного для висячей люстры, коей у бывших сенатских протоколистов еще не имелось, он протянул вниз веревку. Парадные штиблеты Кутузова к ней не замедлили быть привешены.

Расчет был таков: едва Кутузов, по обыкновению не осмотревшись, ринется к столу, чтобы зарыться в пентаклях и арканах, как штиблеты не замедлят хватить его по лбу и заставят прочесть привешенную к ним записку.

Второй билетик Кутузову такого же содержания Радищев, расшалившись, загнал черепу в зубы.

Радищев взглянул на Хроноса. Времени было достаточно до поры, когда прилично являться на вечер. Он сунул своего Мабли в карман, сам не зная зачем. Только что вышла эта первая книга, и не хотелось с ней разлучаться.

Надушился. Не собственной выделки розой, хотя уверял не однажды Кутузова, что ее запах субтильнее всех покупных французских духов. Пошел самым дальним путем, желая с часок побродить.

Между сухопутным шляхетским корпусом и Академией художеств имелось место на правом берегу Невы. Место было еще не мощеное и совсем пустое. Однако освещение уже имелось. Стояли голубой и белой краской окрашенные столбы, и железный прут поддерживал шарообразный фонарь.

Под столбом топтался фонарщик, похожий на медведя, одетого в пестрядевые штаны и рубаху. Он подливал из жестяной фляги в светильню свежий запас конопляного масла. У Радищева всплыли в памяти цифры отчета, застрявшие по какому-то иску гражданской управы:

«А масляных фонарей на весь город значится 3400. Масла же на них потребляется на семнадцать тысяч ежегодно».

Уже четыре года прошло, как Радищев с Кутузовым вернулись в Петербург, окончив Лейпцигский университет. И сколь много прожито! Да и сами совсем уже не те.

Тепличные растения, на сколь жестокую родину они попали! Что знали они там истинного за границей? Военачальники сухопутные и морские, посланные из столицы на театр военных действий супротив Турции, подбодряли самих себя, рассказывали сплошь о викториях. Знаменитый «Наказ» государыни овеян был духом Монтескье и Беккариа, хвалою которым полны были лекции профессора Гоммеля.

Правда, проникали через иностранных подмастерьев и другие, осудительные слухи, из которых понять можно было, что «Наказ» — наказом, а справедливость — свищи.

Но о всех ужасах крепостного права, о вновь прикрепленных, об умученных заводских лейпцигские студенты не знали.

Будучи по приезде в Петербург определены в «сенатские протоколисты», о сих ужасах узнали вплотную из первоисточника, составляя экстракты дел.

Когда-то в юности, пажами ее величества, оба друга делали тоже «экстракты» эрмитажных пьес. И сейчас небось в архиве театра хранится афиша с объявлением, что экстракт сделал: le Sr. Radichoff.

Для облегчения догадливости зрителей своими словами, вкратце, предлагалось пажам изложить содержание драмы, комедии и нах-пьесы. Теперь, определенные в сенат, они то же самое делали для облегчения мозгов почтенных сановников. Занятие скучное и нелегкое. В полторы недели надлежало сделать обстоятельную, но краткую вытяжку из многотомного сложного дела.

— Хуже корпусной лозы мне докучные наши экстракты, — вырвалось как-то у Кутузова, а старший протоколист Матвеев, брюзжа, проскрипел: «Сии экстракты суть великое милосердие, а не докука. Вот работали б при монархине Елисавет Петровне! Пустое дело о выгонах города Мосальска одним своим чтением заняло шесть недель заседаний сената. То-то же».

Опять в Петербурге поселились Радищев с Кутузовым в одной комнате. Как в Лейпциге зловредная грубость Бокума, объединило их одинаковое чувство отчужденности от обидных обычаев приказных.

Близкие по привязанности, различные по умственной склонности, друзья продолжали образовательную линию лейпцигского кружка: Кутузов переводил Клопштока, Радищев — Мабли.

Образовательная линия — одно, а душевное расположение у друзей пошло на различный манер. Кутузов состоял в своем земном теле непрочно, как гость некоей иной планеты, Радищев по земле ступал всей ногой, как хозяин, и тело у него было крепко сбитое, сильное. Кутузову, болевшему животом и лихорадками, фехтование, танцы, верховая езда не были любезны, как другу.

У Радищева случались попойки и кутежи — захлестывало. Забывал уважение к «храму духа своего», рекомендованное вождем юности Ушаковым. Ну что же, грешил. Но после кутежа встряхивался, садился свеж за работу. Раскаяние, коему предавался Кутузов после малейшей фривольности, допущенной в его строгую жизнь аскета, было Радищеву чуждо. Вторично не совершать — да. Но повторять и вновь каяться — сие для слабодушных.

«Раскаяние, страх и надежда — величайшие враги крепости сил человека».

Сию цитату в те учебные годы вымолвил он, лейпцигский Антиной, гуляя как-то вдоль аллеи Розенталя с неизменным приятелем Беришем чуть впереди Радищева. Тогда сентенция сильно смутила, как противная христианскому духу и общепринятому кодексу добрых нравов. Но сейчас она же стоит руководством при создании себя человеком и гражданином наподобие Спарты.

И вот нужно же, так случилось — не уберегся Радищев со своей книжной мудростью.

Радищев попал в хитрые сети некоей персоны и ныне утратил драгоценную свободу чувств.

Попал без любви, без особого очарования воли, как попадается пустая барынька, из одного любопытства.

Радищев не заметил, как вовлечен был в роман с женой своего начальника графа Брюса, с самой ближайшей подругой императрицы, Прасковьей Александровной.

Немолодая, с лицом изменчивым, еще миловидным, похожим на Грезов портрет, она знала все тайны улыбок. Глаза у Брюсши были чуть-чуть раскосы, носик толстоват. Умна же была необыкновенно. Образование у нее было редкое, не в пример прочим барынькам, тупо-развратным, готовым от скуки «валяться» с кем ни попало.

Уже одно то, что в библиотеке Брюсши были все новые заграничные книги, побудило Радищева искать от нее приглашений.

Однако роман вышел с Брюсшей нерадостный. И вернее: не роман это был — фехтовальный велся поединок.

С душой иссушенной, Брюсша ощущала усладу производить разорение цельности чужих чувств и твердости оных.

Руссо с его юным пламенем был ей нестерпим. Серьезность Радищева в вопросе сочувствия вольности, переходящей границы разумного, ее беспокоила.

Намедни крупно поспорили из-за приема, оказанного во дворце философу Дидро.

Как мальчишке экзаминатором, предложено было императрицей философу исполнить письменное испытание на тему: каким бы желал он увидеть правление в здешней стране.

Когда великий старец, юношески сохранивший весь пламень чувств, представил своевольные мысли на сей предмет, он всего-

навсего одарен был для обратного отъезда во Францию весьма теплой шубой. А для осрамления перед раболепным двором — ханжески-иронической сентенцией:

— Вы правите, Дени Первый, на бумаге, а я, Екатерина Вторая, — живыми людьми.

Радищев негодовал, Брюсша защищала коронованного друга, цинично перекрывая чистоту и пламень Дидро удобными афоризмами придворной мудрости.

И всегда в спорах Брюсша была увертливой, с готовой цитатой, с хитростью опыта, с душой, непоколебимой в холоде чувств. Там, где Радищев бушевал, где он искал истину, эта светская умница, давно ничему ровно не веря, хотела только виктории персональной. И наружно она ее получала легко.

Радищев был не совсем красноречив, не быстр, за слова ответственен, как человек, преданный мысли, а не жажде успеха.

Брюсша торжествовала, в то же время не упуская умело польстить. Ко всему прочему, она искренно любила Александра, как любят последнюю весну потушенных чувств.

Радищев уходил из салона Брюсши в раздражении. Так школьник уходит от фокусника-ловкача: пораженный его искусством, но в то же время знающий, что во всем им увиденном скрыт какой-то обман.

Эти беспокойные отношения усугублялись любовными чарами.

Брюсша хвастала, что она купно с Като — возрожденные в наш век египетская Клеопатра и Мессалина. В практику любовную она вносила опыт всех стран.

Радищев уходил от Брюсши опустошенный и не однажды решал: сие в самый последний раз.

Но приходил посланный с раздушенным billet doux, [1] или сам граф Брюс на службе, в порядке почти военной дисциплины, рапортовал:

— От Прасковьи Александровны вы нонче прошены на беседу.

И Радищев, не желая итти, шел.

Однако с недавнего времени явилось некое серьезное противопоставление Брюсше — прелестная Аннет Рубановская.

С ее родным дядей Андреем вместе учились в Лейпциге. Правда, в те годы особой дружбы с ним не было. Тяжкодум, как барсук в норе сидел он за книгами.

Будучи менее способен, чем товарищи, Андрей по четырнадцати часов в сутки долбил курс, в развлечениях и спорах ничуть не участвовал.

---

[1] Любовной запиской *(франц.)*.

И немало изумилась, помирая от смеха, вся русская колония, когда пришлось ей прикидывать на пальцах, как успел Андрей изыскать время, чтобы обрюхатить одну немецкую фрейлейн. Обиженная спохватилась явиться с материальной претензией в общежитие студентов.

Целый месяц пути из Лейпцига в Петербург друзья проводили в соседстве Андрея.

Он возбудил в них немалое любопытство, хвастая двумя взрослыми племянницами, первыми среди смолянок.

Лизанька, старшая, не столь авантажна — лицо ее было тронуто оспой; но сценический талант выше всяких похвал. Сама императрица оценила ее игру, назвав «лучшей мадам Крупильяк».

Младшая, Аннет, по словам юного дядюшки, была просто мечта! При дворе находили в ней сходство с предрафаэлевой чьей-то мадонной...

Радищев встретил Аннет у Херасковых. Это были дни его первого тщеславного головокружения от внимания, оказанного ему Брюсшей. По этой причине достоинства Аннет ему отметились холодно. Однако девица все же запомнилась.

И все вышло к лучшему: не испытывая особой заинтересованности ею, Радищев с Аннет разговаривал не слишком-то модно, а с братски участливой простотой.

Без усилий конфузливая Аннет с полной доверчивостью расположилась к товарищу своего дяди.

Не таясь, она рассказала ему, что мать докучает ей выйти замуж этой зимой непременно за кого-нибудь из видных придворных, чтобы включенной быть в свиту двора. Ее с этой целью вывозят на большие балы. Между тем Аннет прочла «Элоизу», и жизнь при дворе ей претила.

Как-то компанией, где был и Радищев, ездили пикником на Петровский остров. Гуляли в рощах, катались на рябиках по Неве.

Рябиками назывались гребные речные суда, они были одеты богатою позолотой и, на пример венецейских гондол, над головами имели зонты.

Рябик пристал к берегу, и компания затеяла беготню на лужайке. Радищев с Аннет «горели» в одной паре.

Розовое закатное небо стояло легко над водой. Трава была яркой зелени. Аннет, запыхавшись от бега, кинулась на скамью, роняя шелковый свой эшарп, который Радищев подобрал и укутал им смехотворно свою голову.

— Вот на этом острове я хотела бы иметь небольшое шалэ, [1] — сказала в мечтании Аннет, — или в крайности хоть

---

[1] Швейцарский сельский домик.

хижину. И я хотела б жить тут в полном согласии с природой... Ежедневно я бы отмечала восход и закат. Не правда ли, Александр, какие чудесные и разные бывают закаты? Восход же я до сих пор не видала... — невинно призналась она.

— Но ранее, чем мечтать о хижине, вам, любезная Аннет, не мешало бы приискать себе милого сердцу, дабы в ней с ним испытать обещанный пословицей «рай», — смеялся Радищев.

— А ежели милый сердцу уж найден? — вопросом ответила Аннет. И, оставив эшарп в руках спутника, вся зардевшись, убежала.

Радищеву стало интересно узнать, кто сей милый сердцу Аннет. К удивлению своему, он принужден был отметить, что далек от безразличия в сем вопросе.

Сегодня Аннет обещалась петь у Херасковых. Он еще не слыхал ее пения. Строгий учитель-итальянец впервые дозволил Аннет выступление при публике.

Радищев внезапно почувствовал, как должна волноваться Аннет, и, решив не ждать общего сборного часа, заторопился к Херасковым. Он сообразил, что и Аннет должна сегодня пораньше прийти, чтобы испробовать звучность рояля и спеть под аккомпанемент жены Хераскова, Елизаветы Васильевны.

Радищев ускорил шаги и чуть не попал под копыта четверки, внезапно появившейся из-за угла. Шесть лейб-казаков, красавцев, неотделимых от своих лошадей, сопровождали карету царицы.

Сквозь стекло, под упавшим лучом фонаря, Радищеву мелькнули два профиля: хищный, с подбородком императоров Рима, с мертвым стеклянным глазом, принадлежал новому генерал-адъютанту Потемкину; другой профиль, его дополняющий, как на юбилейной медали символа власти, — профиль Екатерины.

За пролетевшей каретой императрицы сверкнул золотом на голубом лаковом фоне герб графа Брюса.

Прасковья Александровна, дальнозоркая, без лорнета увидала Радищева. В заднее окошечко постучав, запяточному лакею дала какой-то приказ.

Лошади остановились, роя копытами землю. Лакей доложил Радищеву, что графиня просит его пожаловать к ней в карету.

Радищев с подавленным неудовольствием принужден был войти, согнувшись высоким станом, в тесную роскошную клетку. Стены простеганы были модным капитонэ нежного абрикосового шелка, с пуговками из перламутра. Графиня в карете была не одна. По тому, как она поздоровалась, чуть улыбнувшись изгибчатым ртом, изобразив линией губ лук амура, понять можно было, что она в свой эрмитаж заставит войти.

«А к Херасковым придется попасть под самый конец! Будет ли ждать его Аннет со своим пением?»

В карете рядом с Брюсшей сидела особо нарядная дама. В полумраке, не разгоняемом слабым отсветом фонарей, личико дамы, маленькое и миловидное, показалось Радищеву принадлежащим мохнатой медведице.

Перед дворцом Елагина даму приняли на руки два выбежавших гайдука. Они внесли ее бережно, как ребенка, в колоннаду передней. Там уже стоял, приветствуя ее появление, довольно тучный, в обтянутом шелке кафтана и белых чулках, украшенный звездами и регалиями, сам кабинет-секретарь Иван Перфильич Елагин.

В руках он держал целый куст белых роз из собственной оранжереи.

— Любопытно мне знать, кто была незнакомая глухонемая? — осведомился Радищев, когда карета довольно отъехала.

— Бесовскими чарами обладающая Габриэльша-певица. Свое безмолвие она искупает пением на сцене. Впрочем, не всегда Габриэльша безмолвствует, — засмеялась Прасковья Александровна. — Когда недавно в Италии ее запросили, за какую же сумму она будеть петь в Петербурге, Габриэльша назначила столь несусветно, что ведший переговоры воскликнул: «У нашей императрицы первые сановники берут меньше!» На это предерзостно Габриэльша ответила: «Вот пусть и будет предложено вашим сановникам пропеть мои арии». Какова? Но Като́ любит дерзости... сие разуметь надо — в известной лишь мере, — подчеркнула голосом Брюсша. — Словом, был выдан приказ сюда выписать Габриэльшу... Но вы меня не слушаете. Alexandre, вы, я вижу, не в духе? Конечно, торопитесь на вечер к Херасковым?

— Почему же «конечно»?

— Потому что вам не терпится блеснуть только что вышедшей книгой Мабли, о коей я уже слышала, но ее обладанием похвастаться не могу.

— Время настоящее в сем случае надлежит заменить вам давно прошедшим, — и с любезным поклоном Радищев поднес Брюсше свой томик Мабли.

— Заготовлено, чаятельно, не для меня, ибо не имеется мне дедикаса,[1] — развернула книгу Брюсша.

Она поджала пухлые губы, отчего черная налепленная мушка продвинулась, как живая, и Радищев во-время удержался предложить ей смахнуть скорее букана со щеки...

— Отсутствие дедикаса, сударь, — окончательный предлог, чтобы вам оказаться мною похищенну, хоть бы на краткий срок.

Радищев поклонился вторично. Подъехали. Приняв из кареты свою даму, он легко подвел ее к львам подъезда.

[1] Посвящения *(франц.)*.

Особые покои, где Брюсша принимала своих собственных гостей, в отличие от палат общих и парадных, были солидно просты и располагали к естественности. В парадных покоях давались балы, банкеты, обеды на много персон и кувертов, вечера с игрою в ломбер на много столов, которые любила посещать императрица.

Сейчас в большой библиотеке интимных покоев, с книгами в лучших лейпцигских переплетах, сидели в вольтеровских креслах друг против друга Радищев и Брюсша. Сбоку, в темным штофом покрытой стене, вела неприметная под общий колер резная дверь в эрмитаж — сиречь, уединение графини.

Радищев глянул на еще недавно так его волновавшую малоприметную резную дверь. Он твердо сказал себе, что нынче порога ее ни в коем случае не переступит. Пение Аннет его манило сильнее, чем все ухищрения Брюсши.

— Вы не прочли мною данного «Вертера», Alexandre?

Радищеву и про эту столь его взволновавшую книгу изъясняться совсем не хотелось, но Брюсша сама тоном, презирающим всякое иное мнение, сказала:

— Большого шума наделал молодой Гёте в Германии. Приписывают этой книге уже несколько самоубийств от любви. Возможно, что существуют такие глупцы, которые даже стреляться по собственному почину не имеют достаточно имажинации.[1] И пример им должен сделать другой. Но я нахожу сочинение не оригинальным, повторяющим «Элоизу» Руссо. Несносна мне и преувеличенность чувств глупого Вертера к не менее глупенькой Лотте. Да и вся их история на пустом месте построена. Ежели оба героя столь не по нашему веку целомудренны, что ради мужа отказались от утех любви, — кто же, кроме автора самого, мог им помешать изъясниться, пока Лотта замужем еще не была? Ведь взаимная склонность налицо с первых встреч? Нет, незамысловатая книга...

— Так читать книгу, способную привести в исступление все чувства, — это все едино, что преждевременно растоптать цветок розы и вопрошать с недоумением, почему он не пахнет.

Радищев встал и подошел к окну. Постоял. Когда повернулся, лицо его было бледно.

А Прасковью Александровну бес так и подзуживал:

— Конечно, ежели юноша влюблен в милую и сам столь же невинен, как она, — «Вертер» прекрасный подручный! Из него можно списать письмецо и сделать признание. Там полна кладовая и вздохов и слез. Но для меня совершенная энигма,[2] чем вас-то могла потрясти, любезный Alexandre, подобная книга?

---

[1] Воображения *(франц.)*.
[2] Загадка *(франц.)*.

— И все-таки вы правы: она меня потрясла, — не смущаясь, ответил Радищев. — Любовная история, вами осмеянная, божественна своим простым благородством. Она полна силы чувства и целомудрия. Сии качества утрачены людьми наших дней, изощрившими чувственность. Возможно, что таковы законы души, — чувственность изгоняет чувство. В этой же книге важна сила чувств, их цельность, громадность подъятия... Куда, на что, как обрушится сей океан жизненной мощи, при оценке книги вопрос не главный. Океан чувств присутствует. Он водитель жизни. Да, чувство движет всем миром. Им свершается невозможное: Спартак подымает рабов, Галилей утверждает вращение земли, апостол Павел меняет лицо вселенной.

— Чувством были двинуты и вы, не правда ли, Alexandre, когда написали вот это предерзостное примечание в вашем переводе? О нем я уже слышала, и, предупреждаю, — неблагоприятные идут толки. Я говорю про изъяснение внизу вот этой страницы слова самодержавство, которым по вольнодумному капризу вы перевели нарочито французское — despotisme.

И Брюсша, выводя голосом злую иронию, прочла вслух:

— «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Вот оно стоит черным по белому изъяснение переводчика. Вами сделанное заключение еще любопытней, и любопытно, что оно даже текстом книги не вызвано нимало. Послушайте, сколь предерзостно звучит оно в чужом чтении. — И Брюсша прочла: — «Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества». Да неужто вы думаете, Alexandre, что императрице подобный наскок может понравиться!?

— Я написал то, что я думал, — сказал гордо Радищев, — и мысли мои о сем предмете разделены лучшими умами Европы. Не сама ли императрица дала повод мыслить согласно ансиклопедистам?

— Давала... Но нынче более не дает, — отрезала Брюсша. — Ансиклопедисты! — засмеялась она. — Но вы сами знаете, как старик Дидро взамен убеждений, что у русской Семирамиды он может насадить по своей фантазии свободу, увез на плечах одну теплую соболью шубу? Да что далеко ходить, вчера еще Като мне сказала: «Как я люблю сентенцию Бейля! Вот уж точно ум, не витающий в облаках, как любезнейший Дидро». Хотите услышать сентенцию, Alexandre? Вот она: «Государственная политика и строгая честность несовместимы». Государям это правило — что папская индульгенция блудливым католикам. И поэтому я вам советую...

Радищев, забыв светское обращение, прервал вдруг с горячностью Брюсшу:

— Вы столь близки к трону! Сколь благотворно могло быть ваше влияние, ежели бы вы сами...

— Договаривайте!

— Ежели бы, говорю, сами вы не были столь равнодушны и развращены.

— Вы влюблены, Alexandre, я уверена, что вы влюблены. Идите ко мне на исповедь!

К Брюсше вернулось все — и лукавство, и веселость, и прелести умной светскости. Притертая в меру белилами и румянами, в пудреном парике, при сердцещипательных мушках, она была привлекательна.

Брюсша прошла первая в свой эрмитаж. На столе, сервированном с дорогой простотой, горели канделябры. Вверху люстра. Тени от люстры трепетными узкими цепями дрожали на потолке и спускались на стены, создавая беседку из теневых змей.

Брюсша пригласила к себе ручкой Радищева, но он к ней не двинулся. Он даже не вышел из охватившей его задумчивости:

«Что для нашего сердца весь мир, если в нем нет любви? Не то ли волшебный фонарь без зажженного внутри света?»

Это встало в памяти ярко одно из писем Вертера к другу.

Стоя в освещенной комнате, склонив искусно перевитую жемчугом голову, Прасковья Александровна выразительно спросила:

— Не правда ли, Вертера где-то ждет милая сердцу Шарлотта?

— Не знаю, ждет ли, но Шарлотта есть точно, — серьезно и просто, не желая отвечать на игру Брюсши, подчеркнул Радищев.

— Так что ж, — в добрый час! — уронила снисходительно Брюсша, играя цветком, вынутым из букета. — Я вас не задерживаю, Александр Николаевич.

Радищев откланялся и вышел.

Брюсша некоторое время сидела одна перед роскошным столом. Лицо ее вдруг состарилось. Взамен смены настроений тонкого ума печать озлобления проступила в чертах.

Наконец она подобралась, взглянула на часы. «Еще рано, — подумала она. — Като́, верная своему расписанию, сейчас только кончает дневник. Пока она будет занята ночным убором для принятия фаворита, можно будет нам поболтать».

Брюсша прошла в библиотеку. Книжка Мабли так и осталась лежать развернутой на самом том месте, где она прочитала примечание Радищева.

— Так он мне и не написал дедикаса...

Брюсша позвонила, приказала заложить придворную карету. Книжку Мабли прихватила с собой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сегодня Екатерина с великим князем и его супругой ездила мимо стоящих против Адмиралтейства на обширном лугу качелей, балаганов и гор.

Цесаревич сказал: «В карусели едут все пóсолонь, а на качелях падают с норда к зюду!»

Наблюдение Павла вызвало смех. Все стали рассаживать попарно придворных, воображая, как изменятся у них лица и все поведение при внезапности падений и взлетов. Понимать сие цесаревич предложил в аллегории...

Шла бойкая торговля гречаниками, квасом, блинами. Колонисты продавали свой молочный товар. Венгерцы и греки — нарядную мелочь и губки. Смехотворные и вольные шутки отпускал ярмарочный дед — дюжий парень с привязанной бородой.

В одном месте было много народу и крику. Полиция силилась схватить лист из рук махавшего им человека. Другие его защищали.

При виде кареты защитники разбежались. Арестованному стали крутить назад руки. Народ узнал Екатерину и ее шумно приветствовал. Цесаревич бросал в народ деньги. Екатерина остановила карету и приказала дать ей тот лист, который она видела издали. Не смели ослушаться, подали.

Екатерина пробежала строки глазами и приказала препроводить схваченного человека к генерал-адъютанту Потемкину. Наследнику с женой Екатерина листа не показала и, улыбаясь на все стороны, отбыла во дворец.

Сейчас этот лист лежал перед ней развернутый на столе в ее рабочем кабинете. Черными тесными буквами было на нем напечатано:

«Я во свете всему войску и народом учрежденны велики государь, явившейся ис тайного места, прощающей народ и животных в винах, делатель благодеяний, сладоязычной, милостивый, мяхкосердечны российски царь, император Петр Федоровичь, во всем свете вольны, в усердии чисты и разного звания народов самодержатель: и прочая, и прочая, и прочая».

Екатерина вспомнила, как восторженно приветствует ее появление народ, и опасливая настороженность отпустила ее сердце.

Она сложила лист, заперла его в ящик, презрительно молвила:

— Ах, эти глупые казацкие гистории!

В дни брачных торжеств наследника с Вильгельминой объявилась первая весть о новом самозванце, Емельке Пугачеве.

Немало было уже самозванцев со дня ее восшествия на престол. Немало злоумышляли и против полноты ее власти: заговор Гурьевых, дело Ласунского, Арсений Мациевич, казненный Миро-

вич. И сейчас вот идет дело претендентки княжны Таракановой. Да кто они? Все бесправные.

С портретом Иоанна Антоновича, точно, деньги печатались. Здесь законны были и власть и права. А вот не ему судьба вышла, а ей. Царя ли мужицкого ей побояться?

Вот «дом свой» очистить надо бы. Дом Панины роют — эти пострашней самозванца. Не по-ихнему вышло, не регентша из ихних рук, а самодержица. Так ведь разве угомонились?

С известным интриганом Тепловым проект состряпали о предоставлении власти совершеннолетнему Павлу.

Кто этот Павел — наследник и малознакомый сын?

Чужда его душа ее твердому нраву и, что перед собою таить, неприятна. А связи той, несказуемой, что у матери с сыном бывает, у них нету вовсе, ни даже крепкой привычки.

Видывала его, как рос он при тетушке Елизавете, всего один раз в неделю, и то ненадолго. Без воли ее и дозора Павла кутали до удушья, баловали, глупили, на четырехлетнего парик с буклями напялили, парик этот няня кропила святой водой...

Такова судьба ее — матери: при Елизавете не пускали к сыну, сейчас сына нельзя вызволить ей от Панина. Чуть заболеет Павел — а здоровья он не крепкого, — тотчас пойдут наговоры. Недавно в Лондоне брошюру издали, где уже накаркано: «Падет Павел жертвой властолюбия матери».

И наше и европейское общественное мнение за то, что Павел в безопасности, лишь пока он за Паниным. «Ну, а разве тот прекратит класть руку «между деревом и его корой»?» — с досадой спросила она себя по-французски.

В день совершеннолетия Павла все ждали, что допущен он будет к правлению. Но рассудили за благо не допустить его дальше командования кирасирским полком, коего был он полковником. Даже в Совет не взяла. Допустить его... тотчас Панины его втянут в «действо».

Екатерина задумалась, взяв понюшку табаку из великолепной табакерки работы художника Бларамберга. Разрисованы были на ней те празднества с иллюминацией, что даны были в день бракосочетания цесаревича.

Екатерина опять забеспокоилась. Она вдруг вспомнила одного из удачливых самозванцев. Выходит, им тоже бывает удача...

Некий Степан из Крайны под видом лекаря прошел всю Черногорию и всенародно провозгласил себя императором Петром Третьим. Черногорцы поверили, его признали правителем. И ведь не выдали, несмотря на его деспотическое правление, а даже вступили с турками из-за него в кровопролитную войну. Степан был только недавно убит слугой-греком, подкупленным турками. Турки Степана боялись. И нам было то на руку, что боялись.

Однако вот и самозванцу бывает удача, коли выйдет судьба!

И, желая успокоить себя окончательно, дабы ночь провести отрадно, не теряя сил попусту, Екатерина взялась за переписку.

Ее переписка была громадна. При наличии курьеров и доверенных агентов при дворах переписка была лучшим способом общения, поддержки общественного мнения, его изменения в желаемом духе и направлении. Корреспонденты Екатерины все были люди на виду, знаменитые талантами и сферой влияния.

Когда Екатерина была многострадальной великой княгиней и нелюбимой женой Петра III, ей предстояло или погибнуть, или научиться жить, скрывая вероломную и хитрую дальновидность под всем видимой жизнью каждого дня.

Оскорбления, наносимые мужем, доведшие Екатерину до ненависти к нему, упорство огромного честолюбия готовили ее к действию. Размеренная работа, твердая программа сделались необходимой школой.

В переписке с нужными людьми, кроме расчетов политики, Екатерина создавала и самое себя. Она придумала себе поведение, которое стала выполнять. Умный заказ — умное выполнение. Мало-помалу был ею создан тот образ русской царицы, в который поверили все. Образ обаятельно веселый, открытый, с проблеском гениальной непосредственности, великодушия и здорового, уравновешенного характера.

На самом же деле непосредственности не было никакой. Екатериной владел один твердый, неустанный расчет. И даже здоровья ведь не было: с детства хворость, ужасные головные боли, ныне — распухшие ноги. Но чем меньше равновесия было внутри, чем больше угрозы вокруг, тем с большей настойчивостью писала она о том, сколь все у нее благополучно, сколь в улыбательном виде идет ее маленькое «хозяйство», — так кокетливо именовала империю.

Писала она всем европейским знаменитым старухам и самой из них умной и злой, самой большой сплетнице — когда-то обожаемому Мари-Аруэ Вольтеру.

Его первого околдовала умелой лестью:

«Узнав ваши сочинения, перестала читать все другие романы. Вам обязана своими познаниями, вас предпочитаю всем на свете писателям».

С Вольтером Екатерина усвоила особливый, прехитрый и буффонадный манер. С полуслова оба лукавца понимали друг друга, и «отодвинутому» навеки Руссо был предпочтен этот иной, этот покладливый философ.

Вот что писал Екатерине Вольтер в самое худшее время турецкой войны:

«Каждое письмо, которого В. В. меня удостаиваете, вылечивает меня от лихорадки, приносимой плохими вестями. Уверяли, что ваши войска везде потерпели большой урон, что они совер-

шенно очистили Морею и Валахию, что в вашей армии появилась чума и что за успехом последовали всевозможные неудачи. Ваше величество — мой врач. Вы вполне возвращаете мне здоровье. Я же, как только узнал настоящее положение дел, сейчас описываю всем и заставляю морщиться тех, которые недавно на меня наводили тоску».

Екатерина отлично понимала, что философ под настоящим положением подразумевает именно то, которое она хотела, чтобы знали в Европе.

Впрочем, с егозливым французским подбрыком это удостоверял и сам знаменитейший старичок:

«Уведомьте меня на милость о взятии пяти-шести городов, о пяти-шести победах, хотя бы для того только, чтобы зажать рот завистникам».

И в ответ на Вольтеров французский подбрык отвечала «матушка», помахивая платочком, дородная румяная немка в парчовой русской робе, плавая лебедью в эрмитажных залах, куртагах и маскарадах:

«Несмотря на клевету наших завистников, у нас нет ни чумы, ни болезней в лагере Румянцева».

И насчет военных потерь так утешала философа:

«Потери ничтожны, нет ни одного значительного лица, даже никакого офицера главного штаба раненого или убитого».

Убитых солдат было без счета, но солдаты были не в счет.

О победах писала с усмешкой, присвоенной всем портретам того времени, порождающей легкие ямочки. Словно обмахивалась веером и стреляла глазами, говоря:

«Если считать христиан достойными награды за убиение турок, то моя армия целиком попадает в рай».

Или после чесменского боя:

«Вода небольшого чесменского порта побагровела от крови».

В город Гамбург известной мадам Бьелке Екатерина писала иные письма, не военные. Писала о роскоши своего двора, о могуществе, щедрости и богатстве былой бесприданницы — ангальт-цербстской княжны. Мадам Бьелке — старая подруга матери. Ей лестно будет похвастать мировому торговому городу, какие у нее друзья, а торговый город разносит вести до обеих Америк.

Мадам Бьелке писано про маскарады, балы и приемы. Пусть война идет с турками: с ними воюют войска, коих занятие есть воевать. «А в России все идет обыкновенным порядком. Есть провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чем. Поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся».

И только в самом конце этих парадно распущенных павлиньих хвостов промелькнет невзначай малый постскриптум, ради которого и написано-то все письмо:

«Не находите ли вы странным это сумасбродство, которое заставляет Европу всюду видеть чуму и принимать против нее меры, между тем как она только в Константинополе, где никогда и не прекращалася. Впрочем, и я взяла свои предосторожности, — всех окуривать до задушения; однако очень сомнительно, чтобы эта чума перешла через Дунай».

Чума перешла не только через Дунай, от чумы позорно бежал из Москвы сам главнокомандующий — старик Салтыков, полководец известной храбрости, от которого в свое время бегали пруссаки. Из-за чумы в Москве убит был Амвросий, из-за чумы был бунт. В общей сложности от чумы умерло около ста пятидесяти тысяч человек.

Кажется, можно было остепениться и при новой надвигавшейся беде уж не писать столь фиглярно о некоем «маркизе де Пугачев», как она его сейчас окрестила в посланье к Вольтеру.

Екатерина отодвинулась от письменного стола, подошла к жаркой печке, всей спиной прислонилась к изразцам. Ее зазнобило.

Простудилась ли, когда в опущенное окно кланялась на гулянье народу, — весна в Петербурге всегда несет с собой рюматизмы, — или зазнобило от иной причины, от страха пред словами Панина, в котором себе не хотелось признаться?

Когда разнеслась весть о появлении на Яике самозванца, она, не подавая вида тревоги, сказала тогда впервые у нее ныне ставшее обычным: «Все это глупые казацкие гистории!»

Но Панин ответствовал, забыв всю придворную улыбательность:

«Сие не токмо казацкие гистории, ваше величество, сие опасные крестьянские волнения».

Доложили приход графини Брюс. Ее раз навсегда приказано было, не в пример прочим, проводить чрез секретные комнаты прямо в спальню. С Брюсшей связана нежная юность и все секретные увлечения.

Брюсше Екатерина показала только что спрятанный ею «указ» Пугачева. Брюсша прочла внимательно и, презрительно сморщив свой толстенький нос, сказала:

— Как дело внутреннее и домашнее сие устрашить не должно. Давно ли наш Урусов усмирил заводских малой картечью? Для этих потребоваться может картечь покрупней. Вот и все различие. Важнее немедленно хлопотать о европейском престиже, чтобы эту весть не раздули.

— Господину Вольтеру уже начато и напишется завтра, — сказала Екатерина, — а прочим, кому еще будет надо, посоветуюсь с Гришенькой.

Брюсша прикусила губу. Орловым коронованный друг ее никогда не заменял. Значит, отодвинута, как больше ненужная.

Только что близкий сердцу ее зачеркнул, а сейчас и она, друг целой жизни. Нет, уж этому не бывать!

Да что откладывать? И сейчас может она доказать, сколь ревниво стоит на страже оскорбления ее власти самодержавной. Рано, рано делать из нее, П. А. Брюс, quantité négligeable.[1]

— Като́, — сказала дрогнувшим голосом Брюсша, — ты уж видала перевод Мабли «О причинах падения Греции»?

Брюсша несколько неестественно протянула царице книжку в кожаном переплете с тиснением золотом.

— Тут вот особливо примечательна выноска переводчика. Полюбопытствуй на странице сто сорок шесть... «О самодержавстве».

Екатерина прочла вслух и улыбнулась. Пристально глянув на Брюсшу, сказала нежданно:

— Что ж, сочинитель, я нахожу, прав! Его замечание только отнесено должно быть к правительствам деспотическим, к коим себя я нимало не причисляю. Но кто же сей автор?

— Александр Радищев.

— Ах, не тебе ли, мой друг, он писал восхищенные стихи в «Живописце»? Как мне известно, сей молодец состоит под управлением твоего мужа и под светским твоим руководством. Я оное на себе знаю и очень хвалю. Почему ж ты, мой друг, взбудоражена? Почему хочешь сочинителя подвести? Ведь я дерзостью его ничуть не задета.

Брюсша вспыхнула и, не скрывая досады, сказала:

— Ну, если ты сама, Като́, вольнодумное примечание к себе не относишь, тем паче не могу относить его я. Радищев склонен к чрезмерному увлечению Руссо, и я боюсь, как бы он, одаренный талантами, не сменил столичную жизнь на идиллию деревенской. Необходимо измыслить ему назначение, чтобы, соответствуя его склонностям, оно включало непременное пребывание в столице и приближение ко двору.

— Ах, вот оно что... — лукаво и понимающе протянула Екатерина. — Ну, я подумаю, на что будет можно его употребить. Ведь главное, чтобы он оставался в столице?

И, что-то вспомнив внезапно, уже без улыбки, глядя холодными, умными глазами, она добавила:

— Мне говорено было, что гнусный отрывок о «деревне Разоренной» принадлежит перу того же господина Радищева? Так ли?

— Мой друг, я на это не имею сведений... Но может ли быть помещено что-либо гнусное в журнале Новикова? Ведь он посвятил его тебе самой!

---

[1] Ничтожную величину *(франц.)*.

— То-то и посвятил Новиков, — нахмурясь, сказала Екатерина, — чтобы развязаны у него были руки...

Екатерина с некоторым волнением глянула на себя в зеркало. Она то тут, то там тронула щеки заячьей лапкой с румянами.

— Ты, я вижу, Като́, в особо авантажном состоянии духа, — обрадовалась Брюсша переменить разговор, — не буду тебе более докучать. Ждешь, видно, милого гостя?

— Гриши-фи-шеньку! — глуповато сказала Екатерина. Лицо ее распустилось, стало простым и бабьим. — Не уходи, мой друг, пока Перекусихина не доложит.

Влюбленными глазами смотрела Екатерина на миниатюру Потемкина, показывая ее Брюсше.

— Обрела в нем не только фаворита — супруга и советника. За ним — как жена за крепким мужем. И никакие самозванцы мне с ним не страшны. Что за ум, что за стать! Я, мой друг, его обожаю.

— Ах, как же Васильчиков, Като́? Ужели вовсе отставлен? — любопытством зажглась Брюсша. — С этакой красотой, мягкий нравом?..

— И той же мерою скучен, сколько пригож, — усмехнулась Екатерина. — В государственных делах — сущий профан, а в любовных, мой друг, лишен всякой имажинации... Намедни Храповицкий принес мне малую модель гидравлического пресса. Стал крутить ручкой, показал точную правильность сей машины. Работает как часы... А я, мой друг, как рассмеюсь — вообрази, Васильчикова вспомнила! Наплела Храповицкому невесть что в ответ на круглые глаза, которые он сделал на мой смех.

Подруги развеселились и заговорили про интимности.

— Допрашивала я Платона, мой друг, — сказала Екатерина, — на предмет философский о женщине: точно ли разнствует она от мужчины? Долго мямлил Платон, все текстами сыпал по-церковнославянскому, цитовал из Пифагора «Золотые стихи». Именовал женщину производительной Диадой, соподчиненной великой Монаде, — сиречь началу мужскому. Надоела мне эта канитель, мой друг, и я говорю: «А что бы вам, батюшка, сказать попроще? Мои философы учат — все точно ясное уму может быть и формулировано простыми словами, дитяти понятными». Он, мой друг, уязвлен стал в самолюбии, — пришпорила я его, — и как пойдет, забыл даже, с кем говорит... «Женщина, будь она превосходнейшая умом и дарами, сама собою скучает, ибо она есть окружность, внутри у нее пустота, — и в дерзости на круглой моей табакерке пример показал. — Сию скуку женщина ложно принимает за свою чувствительность и вменяет себе в похвалу. А дело все в том, что она, как пустая, обязана чем ни на есть себя заполнять. Вот и прилепляется она к мужу, к детям или к делам. Но все сие своекорыстно. Женщина прежде всего всегда требует

свою часть и награду. Там, где мужчина довлеет себе, ибо он есть Монада, женщина ищет только своего, ибо она есть Диада...» Дабы Платонову дерзость пресечь, говорю: «И что это вы цитуете, батюшка, всего охотнее в проповедях ваших Пифагора и прочих фабульных мудрецов? Чаятельно, должны быть у вас склонности и к прочим масонским обычаям?..» Узнай, мой друг, мимоходом, так ли сие? Платону и невдомек, что я им недовольна, чай, остерегаться не станет.

Екатерина не знала, что Платон, увлекшись существом разговора, когда она его речь прервала, вмиг отрезвел и подумал: «Ах я, октопод этакий, и с кем по душе разговаривал? Ну, теперь за мной последят...»

Рассерженная Екатерина продолжала:

— Сколь дика варварская наша страна, ежели Платон, просвещенная персона, столь ничтожно про женщину думает! Ну, а что думают прочие? Полагаешь, мой друг, я не ведаю, что̀ про меня болтают?. Не ведаю, сколь зазорно прозвал князь Щербатов Потемкина? Новый лейб... Знаю и про песенку, что будто сложена про Анну Иоанновну, а распевают про меня. Все знаю, et je m'en fiche — по-русски — плюю. Вчера написала госпоже Бьелке: «Я презираю всех, кто осуждение обо мне имеет, не зная моей души». И точно, мой друг, чувства мои таковы. Коль по справедливости рядить, разве дела постельные для меня суть важнейшие? Мои привязанности потому изменчивы, что не амур — бог моей судьбы, а справедливая Минерва».

Брюсша умно молчала, зная, что много горечи накопилось у царицы за последнее время и надо ей высказаться.

Екатерина перешла с Брюсшей на козетку красного дерева, и за «бобиком», уставленным склянками духов и притирок, друзья углубились в интимнейшую часть разговора.

— Мне довольно, мой друг, той горькой первой любви, — сказала простым женским голосом Екатерина, — что посетила меня в ранней юности. Бывало, вошел Сергей Салтыков — и солнце взошло. Нет его — сердца нет, самой жизни нет. Все в нем одном, целый свет. А он-то? Знай «валяется с кем ни на есть». — Екатерина подняла голову и высокомерно сказала по-французски: — Прилично ли той, в чьих руках вся империя, как девчонке томиться и сохнуть от сердечных скорбей? Что же сделать мне оставалось, мой друг?

— Только то, что ты сделала, дорогая Като́, — ответила тихо Брюсша.

— Да, я перестроила, перехитрила, я свершила насилие над своей нежной женской природой. Я стала поступать, как они... как мужчины. Но в то же время и работать, как самый лучший из них. Зачем же они судят меня? Какова б моя ночь ни была, чуть утро, ведь я сижу за делами. Кому фавориты мешают? Если мой

избранный глуп, он в делах государства не имеет участия. Если он умен, как Потемкин, от него государству быть может только профит... Потешаются, что в случай ко мне попасть может даже Федька-печник. Но чисто вымытый Федька, скажите на милость, чем он хуже иного? Зато, мой друг, я отомстила за все наше овечье женское трусливое стадо! Знаю, что история все, все мне запишет в хулу. И Перекусихину, cette pauvre eprouveuse...[1] Но за меня свидетельствовать будут мой век и мои труды.

— А многие, спросить, брезговали «испытанием», — сказала язвительно Брюсша, — брезговали проходить через «эпрувёзу» Перекусихину? Три ночи пытали на ней мужскую силу ради того, чтобы о них было доложено в соответствии.

Про себя Брюсша добавила: «А за соответствие и награда не мала — миллион и флигель-адъютантство».

Екатерина закончила свою мысль гневно, тоже по-русски:

— И после этого они судят меня... эти кóболи!

Брюсша расхохоталась и сказала:

— Ты, вероятно, Катó, производишь это слово от немецкого Kobold. Но это простецкое и, запомни вперед, это непотребное русское слово «кобѐль»!

Часы пробили одиннадцать. Екатерина тряхнула колокольчиком. Тотчас же камерфрау внесла ей атласный ночной халат и распустила длинные густые волосы царицы. Когда камерфрау Степанида Ивановна, любимая Екатериной за остроумный разговор, по прекрасным волосам царицы провела гребнем, она сказала:

— С гребешка искры спелые так и сыплют... Мы, матушка царица, на твою женскую силу просто потрясаемся!

Екатерина рассмеялась и спросила:

— Вот после этого, Степанида Ивановна, ты скажи, можно ли всех людей под одну мерку равнять?

— Никак, матушка, не возможно. Да и недалеко ходить: почему из цельного фунта кофею тебе всего четыре чашечки делают, и пьешь ты их все на здоровье. А давеча, когда секретарю твоему такой же крепости единую дали, так он чувств лишился. Сила сердечная, выходит, разная. Недаром в писании сказано: «Одна честь солнцу, иная звездам. Да и звезда от звезды разнствует».

Екатерина и Брюсша покатывались со смеху.

— Имея в Степаниде Ивановне адвоката, вперед будем знать, где защиты искать, — сказала Екатерина. — Ну, скажи правду, много меня пересуживают?

— А кто же это он, кто пересуживать смеет? И какой суд, коли злодея на земле вовсе нетути, а есть токмо одно: сколько

[1] Эту бедную испытательницу (*франц.*).

бесов к кому приставлено. К этому — два, а к тому — легион, и всем поручено своих обуздать!

Вошла знаменитая «эпрувёза» Перекусихина. Вошла она утицей и, как мажордом щеголяя превосходнейшим блюдом, доложила запросто, без чинов:

— Григорий Александрович, матушка.

Екатерина встала и обняла вставшую брать абшид [1] Брюсшу.

Но как ни увлечена была предстоявшим свиданием, царица деловито сказала:

— А книжку Мабли ты, Прасковья Александровна, мне оставь. А ужó рассмотрю на досуге.

Когда запирала перевод Радищева в особый маленький ящичек, на губах Екатерины играла лукавая усмешка:

— Предположительно, этот лейпцигский студент мою умную Брюсшу посадил в дураках и нанес ей амурный афронт!

Екатерина, подойдя к зеркалу, обмахнула кружевным платочком лишнюю пудру с лица и приказала Перекусихиной ввести фаворита.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Подходя к дому Хераскова, Радищев столкнулся с Фонвизиным.

— Ты-то, мон шер, почему запоздал? — крикнул Фонвизин, выказывая из плаща свое полное коротконосое лицо. — Я, братец, понятно, что мог проспать; вообрази, всю ночь, как юноша, протаскался по городу. Вернулся лишь в полдни, ну и залег.

Фонвизин только на пять лет был старше Радищева, но последний в ответ на ты говорил ему — вы.

За Фонвизиным был уже «Бригадир», читанный им в петербургских высших кругах и в петергофском дворце самой царице, весьма его одобрившей. И на придворном театре был игран с немалым успехом. Фонвизин «Бригадиром» свел на нет переделку своего начальника Елагина. Она имела доселе успех и шла под титлом «Француз-русский». В этой пьесе, как у Фонвизина, осмеивалось неумное галломанство.

Может быть, эта театральная победа и была причиной того, что под влиянием злоречивого В. Лукина, исконного врага Фонвизина и сослуживца у Елагина, не сей вельможа был первый, кто дал ход «Бригадиру».

Сейчас Фонвизин, отошед от Елагина, всей душой сделался предан Никите Панину. Он состоял у него секретарем, был при нем неотлучно и в полном фаворе.

---

[1] Чтоб уйти *(нем.)*.

Фонвизин значительно успокоился. Если пылкость ума осталась при нем, то свое природное уничтожающее остроумие он умел обуздать. Довольно оно ему породило врагов.

Сегодня при характеристике Дениса Ивановича пользовались только былыми примерами. Новых публично известных поводов он не давал. Но все же его побаивались.

Вспоминали например, как к нему разлетелся Хвостов, называя его кумом муз. Денис Иванович незамедлительно его срезал, сказав с добродушием:

— Только наверное покумился я с музами не на крестинах автора.

Не всякий умел ответить, как нашелся однажды Княжнин, когда поддет был Фонвизиным при чтении своего Росслава.

— Я росс! Я росс! — чрезмерно много и назойливо, показалось Денису Ивановичу, восклицает герой пьесы. Он и брякни Княжнину:

— Пора б ему, братец, перестать расти!

— Мой Росслав вырастет, когда твоего, Денис Иванович, Бригадира произведут в генералы.

— Почему же без сна была ваша ночь, Денис Иванович, и кто именно вас посетил: музы или Бахус? — спросил Радищев.

— Вообрази, Александр, никто. Не спал же я, братец, сейчас скажу почему. Неровён час, скоро сам попадешь в мое положение. Ну, слушай правдивую исповедь. Укроемся на время в извозном камине.

По случаю особо холодной зимы Екатерина приказала во множестве выстроить в городе уличные «камины для кучеров». Сейчас, в весеннее время, здесь под навесом укрывались нежные парочки, дабы выцарапать на столбах вензеля, интересные во всем мире только для них самих...

— Я сделал вчерась брачное предложение вдове Хлопковой, — сказал Денис Иванович, — да от расстройства сердечного всю ночь и пробегал.

— Как? Вы женитесь не на Александре Ивановне Приклонской? — изумился Радищев. — Ведь на днях только вы мне говорили о ней как о женщине «пленяющего ума». Ведь и на переводе вашем «Сидней и Силли» своими глазами я видел, как вами написано: «Ты одна всю вселенную для меня составляешь».

— К Александре Ивановне поклонение мое неизменно до гробовой доски, — торжественно сказал Денис Иванович, — но жизнь высших человеческих чувств есть одно, а удовлетворение тех, кои обычно трактуются как низшие, — совсем иное. Страсть моя к Александре Ивановне основана на почтении и не зависит нимало от различия полов. Что поделаешь, милый друг, если женщины или умны, или красивы? Соединение того и другого — ред-

чайшая удача, белая ворона или чудо из чудес — Аннет Рубановская!

Радищев, который было рассердился, что Фонвизин его еще задержал, при лестной аттестации Аннет стал примерней внимать взволнованной речи спутника.

— Друг мой, сколь много я думал о двойце нашей природы. Приходится нам, вздыхая о единстве, сию двойцу, увы, принять в свою жизнь. Если не утешение, то хоть некое оправдание дают нам грешным иные примеры великих людей, хотя бы Алигьери Данте или, сказать, — Марк Аврелий.

— Вы не обмолвились, Денис Иванович? — удивился Радищев. — Ведь оба именно знамениты особливой стойкостью их натур. Великий однолюбец Данте...

— То-то, любезный, что однолюб сей двоился! Ты вдумайся только: ну, мог ли он мечты не двоить, коль скоро небесная Беатрис его песен и толстая итальянка, всенепременно грязная, как бывают женщины на юге при многодетности и неважных достатках, — одно и то же лицо? У сей Беатрисы имелось детей близко к дюжине от обыкновенного мужа из ихних, што ль, приказных... Да, любезнейший Александр, горе обладателю ума сатирического, коего вкус направлен смотреть на предметы земные не с луны, а с земли!

— А Марк Аврелий? — беря сатирика под руку, чтобы скорей шествовать далее, спросил Радищев.

— Я пишу ему «Похвальное слово», — воскликнул Фонвизин, — это ль не знак особого почитания? Но, скажи мне, как изъяснить без приложения моей «двойцы», почему кротчайший сей стоик сурово преследовал христиан? Учение Марка Аврелия прилегает столь тесно к учению Христову, что цитуют его богословы всех вер. Форма, друг Александр, опрощенная, суеверная форма его же собственной философии, полагать надо, вывела его из себя до предела. До отдания единомыслящих на растерзание львам!.. Однако мы уж у дома Херасковых. Александра Ивановна, полагаю я, там. Высокого полета душа, она все может понять и простить. Но сколь затруднительно мне ей сказать о моем сватовстве!

Салон Херасковой держался на своем высоком просвещенном радушии в одинаковой мере благодаря хозяину дома, уже знаменитому Михайле Матвеевичу, и жене его, российской де ля Сюзе — Елизавете Васильевне.

Мать Михайлы Матвеевича, знаменитая красавица, воспетая Сумароковым, не оставила своих черт сыну в наследство. Лицо Хераскова поражало своей некрасивостью. Кто-то в Петербурге сострил, что если обмять лицо строителя Кваренги, чудовищно грузное, или извлечь из него радикс, то будет Херасков.

Нижняя часть лица поэта выдавалась грубо вперед, на щеке была бородавка, нос толст, неизящно слеплен. Но добрейшие глаза и улыбка излучали столь неподдельное благоволение, что лицо Хераскова даже нравилось и запоминалось, как своеобычное.

Удивительная гармония, царившая в его отношениях с женой, сделала салон их любимым юностью. Радушие хозяев было благоприятно развитию молодых дарований. Каждому как бы прибавлялось ему недостающее, и каждый был сам собой здесь доволен, не замечая, что сие состояние есть плод чудесной доброжелательности обоих хозяев.

«У Херасковых расцветают!» — полунасмешливо, не без зависти говорили хозяйки менее удачных салонов.

Кто раз к Херасковым попадал, уже не пропускал сборных дней. Ходили туда, как ходит кадет из сухопутного шляхетного корпуса на волю домой. Салон Херасковых, кроме улыбки муз, дарил посетителей умудряющей философией добродетели.

Сегодня у Херасковых был день женского торжества. Михайло Матвеевич, занятый «Россиадой», близок был к окончанию песни, но читать предполагал только в следующий раз. Он сидел как простой зритель в среде молодых, всех одаряя улыбками.

Когда Радищев и Фонвизин вошли, окончились только что bouts rimés, в русском произношении «буриме», игра упражнений в стихотворстве, и молодежь перешла в большой зал, чтобы поразмять свои ноги в беготне.

В центре комнаты, под люстрой, стояла милая Аннет с глазами, завязанными, как для игры в жмурки, прозрачным шелковым газом. В руках у нее был венок из лавров.

Радищев с гордостью подумал, что из всех женщин Фонвизин отметил столь превосходно одну лишь Аннет.

Хор, взявшись за руки, ходил вокруг ее тонкой фигуры и протяжно пел:

Срываю я цветочек,
И в мыслях говорю...

Аннет солировала в ответ «чудесной горлинкой», как шепнул Фонвизин, действительно легким, радостным голосом:

Кому сплету веночек,
Кого им одарю?

Голос Аннет дрогнул от волнения. Хоть и завязаны были ее глаза, но сквозь шелковую дымку она хитро увидала, что Фонвизин и Радищев вошли.

Фонвизин ловко подтолкнул Радищева в безмолвно пред ним разомкнувшийся круг. Впустив его, как «мышку», круг плотно закрылся.

Две миловидные дамы пригнули голову Радищева так, что она оказалась под руками Аннет.

И ничего другого для Аннет не оставалось, как возложить на голову Радищева лавровый венок.

Кого им о-да-рю...

Повязку сняли. Аннет, премило краснея, изобразила притворное удивление. Все плескали в ладоши, не выпуская пары из круга. Темп пения был ускорен до сходства с плясовой.

Маменька Аннет, сидевшая в соседнем салоне за ломбером с почтенными из гостей, приложив к глазам лорнет, рассматривала выбранного дочкой дружка.

Когда она увидела, что то был Радищев, неудовольствие проступило в ее чертах. Она тотчас решила, выдержав контенанс,[1] дать Аннет спеть и уехать домой из-за внезапного нездоровья. Пойдут танцы, шэн[2] в темных комнатах... А кавалер-то не ко двору.

За трельяжем, за густым дремучим плющом, как в лесу, укрылись Аннет и Радищев. То тут, то там на старой листве плюща уже были яркозеленые молодые листки.

У Радищева билось сердце. Оказалось очень трудно сказать Аннет то, что хотелось. Он открутил бедный зеленый листок и хотел выехать было на нем, сплетя аллегорию изъяснения своих чувств. Его, дескать, омраченное опытом сердце расцвело ныне опять зеленой свежестью милой Аннет. Аллегория застряла в горле, листок растерзанный свалился на пол. Аннет тоже молчала.

— Дары наших муз! — объявил некто открытие вечера.

Елизавета Васильевна, слегка конфузясь, возведена была рукою Михайлы Матвеевича на просторную ступень, покрытую ковром. Она стояла, обмахиваясь веером, и, как богиня с пьедестала, давала барышням какие-то последние распоряжения.

Аннет и Радищев сквозь просветы трельяжа с маленького своего канапе, где сидели рядком, видали то ненапудренный русый локон Херасковой, то ее руку с веером.

В городе сплетницы говорили, что за Елизавету Васильевну стихи пишет ее муж. В подкрепление злословью приводили насмешливый отзыв В. Майкова:

— Щегольская барынька, где ей писать? Муж пишет, жена пишет, — ну, а штей же кому сварить?

Но здесь, в кругу друзей, все знали, что у Елизаветы Васильевны есть своя собственная скромная, милая муза, вполне

[1] Приличие *(франц.)*.
[2] Цепь (в танцах) *(франц.)*.

соответствующая ее спокойному облику. Хераскова, нимало не ломаясь, стала говорить свои стихи:

Будь, душа, всегда покойна,
Не стремясь за суетой.
Частью я своей довольна,
Не гонюся за другой.
Век течет мой без напасти,
Не терзают душу страсти...

О, чистое женское начало, таящее в себе самом силу!.. И Радищев стал в волнении теребить «Полезное увеселение», лежавшее перед ним на столе. Вдруг он вспыхнул. Он увидел строку, выражавшую его мысли лучше, чем он сейчас мог выразить сам. Он указал строку Аннет, и оба, склонившись головами над «Второй Юнговой ночью», вместе прочли:

«Ни время, ни смерть не могут одолеть любовь».

Радищев поднял голову тогда же, как Аннет, глядел ей в глаза и скороговоркой, как бы опасаясь, что пройдет вот эта минута и он подобного уж не скажет, проговорил быстро:

— ...мою к вам!

Аннет сразу не поняла. Нагнулась еще раз и прочла Юнгову фразу с прибавкой слов Радищева. Выходило:

«Ни время, ни смерть не могут одолеть любовь... мою к вам!»

Аннет вся просияла. И, покраснев, так же быстро, такой же скороговоркой ответила:

— А ведь я вас, Александр, уж давно...

Из-за трельяжа показался чепец с лентами, седые букли, лорнет, приставленный к строгим глазам. Мать Аннет жестким голосом брюзгливо сказала:

— Тебе, мой друг, черед петь. И тотчас мы едем домой. У меня разыгралась подагра.

— Непременно поедем, maman, непременно! — с таким восторгом сказала Аннет, что мать, изумясь, отступила. Она ожидала совершенно иного и была сбита со своих наблюдений.

«Ежели б Аннет была влюблена, разве могла бы так покорствовать? Да я б своей маменьке в ее годы ответила... Попробуй она оторвать меня от предмета!»

Радищеву, как и Аннет, всего больше сейчас захотелось домой. Оба они были, как сосуды, до краев полны счастьем. И было страшно расплескать это счастье. Какие ж еще слова могут быть милее:

«А ведь я вас, Александр, уж давно...»

Елизавета Васильевна заиграла пасторальный аккомпанемент. Аннет, до боли зажав пальцами правой руки пальцы левой,

запела идиллию госпожи Дезульер, положенную на ноты ее учителем-итальянцем:

Овечки, вы всегда благополучны,
Не зная бедствия, пасетесь на лугах,
И в самой вы любви с покоем неразлучны,
Вы жизнь свою ведете не в слезах.

Желанья тщетные сердец не сокрушают,
Согласна в вас с природою любовь,
И в вас она, вспаляя кровь,
Утехи никогда с мученьем не мешает...

Вслед за Аннет хотел выбежать и Радищев, но Михайло Матвеевич перехватил его на пути и, непривычно строго глядя в глаза, понизив голос, сказал:

— Имеем к вам, сударь, большой сепаратный разговор, Николай Иванович Новиков и я. Обязательно будьте в четверг, и прямо прошу в кабинет.

Уходя как во сне, в одной из гостиных приметил Радищев Приклонскую Александру Ивановну. Сухая, высокая, сидя на бархатном кресле, она слушала Фонвизина. С лицом некрасивым, но исполненным благородства, отвечала она на его суетливую речь.

Денис Иванович был в волненье, то вставал, то садился, обронил на пол альбомы. Больше, чем обычно, поражало его толстое лицо своим несоответствием черт: умнейший лоб и щеки нарочно надутого, плохо нарисованного купидона.

«Нет, не выйти ему из этой двойцы, — мелькнуло у Радищева. — И сколь счастлив я, что, благодаря милой Аннет, перетянулся к единице.

Согласна в нас с природою любовь...

«О вы, навеки мне любезные «Овечки» мадам Дезульер!»

Когда Радищев пришел домой, Кутузова все еще не было.

Слуга, несколько смутясь, доложил, что пришел давно и дремлет в прихожей человек почтенных лет. Не объявляется, кто таков. Говорит, по самоважному делу...

— Быть может, от батюшки из Облязова... — И Радищев приказал привести человека к нему в комнату.

Едва тот вошел, как повалился Радищеву в ноги.

— Середович! Какими судьбами? — воскликнул Радищев, подымая старого знакомца и обнимаясь с ним дружески. — Что это ты, братец, в купцы записался?

Был Середович в бороде, длинных волосах, долгополом кафтане. В руках держал он немалый узел, который ни на минуту не отпускал, так с ним и бухнулся в ноги.

— Драгоценности, видать... — усмехнулся Радищев. — Ну, повествуй, где запропастился? Как о смерти Мишеньки написал, ровно в воду канул. Давно из Москвы?

Мишенька с дядькой, не задерживаясь в Петербурге, проехал прямо к родным в подмосковное имение. Несмотря на карантин и уже затихшую чуму, страшную эту болезнь он схватил и умер. Еще в письме упоминал о себе Середович, что на волю он выкупился и торговлишкой занялся.

— Ну, как ты в Москве расторговался?

Середович заерзал бородой и опять было повалился в ноги, но Радищев удержал:

— Я, братец, тебе не икона, садись и говори всю правду, что с тобой приключилось?

— Про Москву-то, батюшка Александр Николаевич, сущая ведь брехня! — признался Середович. — Только на первых порах под ей и стояли, пока Мишенька, царство небесное, не преставился. Слезами я изошел...

— Ну, а дальше что?

— А дальше, батюшка мой, жил я выкупленный, а хуже, чем раб последний, тут вот у вас под бочком, на Васильевском. К вам на глаза явиться я не мог... Видывал-то я вас с Алексисушкой не однажды, да беда, окликнуть не смел. Таков был приказ от моего окаянного! А Лизка-то, Мишенькина немка, о его смерти узнав, ведь в воду кинулась на том месте, где в реке чуму ихнюю, «шварцу танту», гулящие бабы топили. Минна мне писала, письмо человек перевел... Мы, говорит, оба-два с Мишенькой тогда с хохоточками, а надо б богу молиться. Там была ее чумная сила, она Мишеньку и отметила. Вот и гулящая та Лизка, а сердцем не вредна.

— Постой, обожди, Середович, — остановил Радищев, с жалостью слушая старика. — Ты по порядку, а то не понять. Прежде всего, кто это твой «окаянный», что у нас бывать запрещает?

Середович поводил бородой, глаза испуганно бегали:

— Как кто? Да Мориска тот... парикмахер. — Середович перекрестился и добавил шопотом: — Ей-ей, он антихрист. Убежал я, потому он в отъезде. Дай, думаю, хоть погляжу вас с Алексисушкой — ведь други Мишины... Плюнули б вы мне, барин, в морду, удостоверили б хоша, что был я истинно крепостной ушаковской человек. Себя я не чую — лист вроде жухлый, с панталыку сбит. То ли жив я, то ли в смертных хожу. Плюнули б, право...

— Да что Морис этот тебя... истязает? Коли вольный, чего не уйдешь? Непонятно, брат.

— А мне, што ли, понятно? — вопросом ответил Середович. — И жаловаться вроде не на что, а сдохнуть можно вполне. Жрать, например, дает сколько хочешь, а все вроде не сыт. Стол

у нас — все травяное, неспорое. Заместо квашеной капусты — салата. Сам ее жрет, ровно лошадь, — так ведь его природа не наша, ему способно... Водки — ни-ни. А вино ихнее меня не берет, ну хоть бочку! Лучше б выпорол когда, да водки дал.

— Да почему, повторяю, тебе не уйти, коли вольный?

— Да вольную он только в воздухе показал, к себе в ящик спрятал. Когда сам в разъездах, другие черти, его подручные, стерегут.

— Да живешь где? Дом, улица?

— Ишь ты, чего захотел! Да это самое он во как запретил! Лапы свои расчерепит, на плечи положит, буркалы выпучит, как заорет: «Не парлѐ, Базилий, не парлѐ!» Базилью кличет меня, ровно суку! И не хочешь, а как вкрутится в тебя бельмами — всю душу ему распояшешь.

Радищев растерялся. Очевидно, загадочный Морис находился здесь. Что он делает? Как добиться толку от Середовича?

— Слушай, приходи завтра. Алексис будет дома. Твой еще не приедет?

— В Могилев уехавши. А подручный с красного вина пьян. Приду беспременно, — кивнул Середович. — Барин, кормилец, Александр Николаевич, — просительно сказал он. — Христа ради, изъясните, поедут ли Алексисушка за границу?

Середович встал, прижал к себе узел, затаился не дыша.

— Ну, это твердо могу сказать — не поедет вовсе. Алексис с прошлого года ведь в армии. Отличился в корпусе князя Долгорукова. Разбивал турок под Кирасу. Ныне он здесь в кратковременном отпуску. Да что ты, Середович? — нагнулся Радищев к старику, который в заметном расстройстве, низко кланяясь, стал ретироваться к дверям.

— Недосуг мне! Подручный-то его отрезвится... Ужо́ завтра урвусь.

— Обожди, Середович, — еще раз попытался Радищев. — Почему Морис — антихрист? Знаменье какое было тебе? Или какое поведение его особое?

— То-то что поведение... — Середович оглянулся и прошептал: — Оборачивается он! То куафером главным у Елагина, всем очки втер, то вдруг в шелках, в орденах во дворец едет, к самой к фаворитовой персоне...

— А не врешь ты, Середович? Не с пьяных глаз?

— Когда б пьяному быть! — с чувством невозвратимой утраты сказал Середович. — Ныне вся моя судьба через то, может, и выйдет, что мы к персоне поехали. С казаком ведь я во дворце познакомился. Поджидал с шубой Мориску-то...

— С каким казаком?

Середович испугался, что проговорился, опять бухнул в ноги:

— Будьте здоровы, сударь, ужо выберусь, все скажу...

— Водки дадим, Середович, отведешь душу. Обязательно, завтра ж приди.

— Завтра, батюшка, премного благодарны вам.

Середович, выйдя на улицу, как человек, боящийся погони, почти бежал вдоль заборов, то и дело озираясь назад. Он держал путь к Ямской слободе, где небольшими группами остались жить казаки еще с семьдесят первого года.

С сотником Кирпичниковым во главе, депутаты «непослушной» стороны яицкого казацкого войска, снабженные от своих «верующим письмом», ходили Екатерине подавать челобитную на притеснения от чиновников.

С большими мытарствами прошение подать удалось. Но Военная комиссия через полицию дала приказ «изыскивать» казаков и на квартирах их не держать, «яко сущих злодеев». Шестерых поймали, обрили, высекли плетьми и отправили во вторую армию против турок.

Однако новые казаки приходили с Яика и тайно селились все в той же Ямской слободе. Были у них во дворце кумовья в лейб-казаках. О делах государственных и придворных они осведомляли земляков не хуже, чем барон Гримм царицу о делах европейских.

С тех пор как разнеслась весть о самозванце, сношения между Ямской слободой и дворцом наладились посерьезней.

Середович бродил по задворкам, ища нужного дома. Он был огорчен и почти что плакал. Радищеву главной правды он не сказал: он приходил в самый последний раз — прощаться. Ему внезапно стало страшно от одного принятого решения, и надежда, что — неровен час — Алексис или Радищев едут снова в Германию, поманила его как самый желанный выход.

Но друзья не ехали. Оставался Середовичу один выход — яицкий человек Арефий. Середович удрал из дому, воспользовавшись минутой, когда «антихрист» его Мориска, он же маркиз де Муши, по специальным делам своего ордена должен был несколько дней провести в Могилеве, а доверенное лицо, некий Пьер Жоли, «подручный чорт», напился.

Те самые тонкие вина, которые Середовичу были что квас, уложили Жоли.

«Похлипче нас эти французы», — думал Середович, выбирая из кармана Жоли ключ от тайного шкафчика, где, он знал, Морисом была спрятана его вольная.

Заодно со своей вольной Середович прихватил бриллианты и деньги Морисовы. На всякий случай — не обернуться б им в навоз! — перекрестил их образком, покропил святою водой, — ничего, не рассыпались.

Духов хороших у Мориса забрал — для французского обращения пригодятся. Две-три французские книжки с картинками похабного содержания.

Вот все это, вместе с одежонкой, и было в узле, с которым подошел он, наконец, к нужным воротам.

В одном из окошек домика внутренний ставень был неплотно прикрыт, и за ним теплился дрожащий огонь ночника. Середович постучал в ставень условным стуком. Донец, молодой и красивый, открыл двери.

Казак был в своей нарядной одежде: синий кафтан с польскими косыми рукавами, связанными на спине. Волосы носил коротко стриженные и холеные усы.

— Заждался тебя, — сказал недовольно казак, — мне спозаранку дежурить...

— Неужто Арефия еще нет? — прошептал Середович, оглядывая камору.

— А по-твоему, на всякий стук ему голову выставлять? Этак и без головы оказаться недолго.

Казак задвинул крепкий засов у дверей, притиснул ставень и, зайдя за огромную печь, открыл потайный лаз. Оттуда вышел рябоватый немолодой человек.

Не разобрать, что на нем было надето: одежда сливалась покраской с закопченной стеной, когда, приткнувшись на лавку, он к ней привалился небольшой седоватой головой.

После Морисовых наскоков, его черных горящих глаз человек этот понравился Середовичу. Был он не то что тихий, а притушенный. Так неостывшие угли в жаровне приглушат крышкой — они темны, а чуть дунуть — раскал и пыланье. Сила была в человеке, а разговора особого не было. Глаза были такие, что ровно их нет. Не колючи, как Морисовы сверла. Глаза, конечно, были, но взгляда не было. Потухшие, как весь человек, и больше вниз смотрели, как у начетчика. Звали рябоватого Арефий, был он прямо с Яика. С ним познакомил Середовича лейб-казак царицыной свиты Смоляков.

— Хвалит людей за аккуратность наш Надёжа, — сказал тихо Арефий, — ты это вперед запомни! У него когда сказано, тогда сделано. Еще, слыхать, хвастал ты, по-немецкому можешь? Нам, колонистам, язык нужен. Образованные нам нужны...

— Мы что ж... мы, конечно, не совсем лыком шиты, — сказал тоже севший на лавку с узлом Середович, — мы за границей бывали, в Лепцигове в городе. — Он вдруг распетушился и выставил грудь: — По-немецкому мы способны!

— А ну, доказывай, — уронил Арефий.

Середович набрал воздуху и одним махом выдохнул свою стародавнюю немецкую науку:

«Катринхен, мейн либхен,
Вас костет пар шу?» —
«Ейн талер цвей грошен
Унд кюссе дацу!»

— Ишь, как чешет-то! — позавидовал лейб-казак. — И ведь это в точности по-немецкому. По-французскому более пережуркивать надо. Вроде водку из горлышка лить.

— В немецком силен — у колонистов пребудешь, — утвердил яицкий. — Ну, а каков ты, скажем, боец? Потому в листе его царском сказано... — Арефий закрыл веками тусклые глаза и наизусть, как дьячок, забубнил: «И мне служить кто будет, не щадя живота своего и души своя, принося на жертву и неприятелем моим супротивляясь, к пролитию крови при мне в готовности быть...»

Арефий поднял веки, впервой глянул остро в глаза Середовичу, тому Мориска вспомнился, только без крика: «Не парлѐ, Базилий!»

— Каков ты боец? В бой пойдешь?

— Почему ж не ходить, — равнодушием скрыв смущение, сказал Середович. — Обучат стрелять, так пойду.

— А врагам императора нашего мирволить не станешь? Не все же тебе по-немецкому фигурять! Когда и на сук кого вздернуть потребуется. Понимаешь — казнить?

— У нас в Лепцигове это дело звалось: «предать смертной казни через отсечение головы мечом». Видывали мы! — Середович сказал с таким пренебрежением, что придворный казак наполнился боязным уважением, а яицкий решил про себя: «Быть дураку у нас в палачах».

Особых, военных вопросов больше Арефий Середовичу не задавал. Стали пить водку. Смоляков принес стаканы, соленые огурцы. Молча всем наливал. Середович блаженствовал и пьянел.

— Опрокидывайте без меня, — сказал Смоляков, — мне обязательно во дворец. Хоть ребята на страже, не выдадут, а все может выйти проруха. Под утро вас божья старушка выпустит. На печи она. Глуховата, да верная. Ну, давай, што ль, письмо?

Яицкий достал из-за пазухи тряпицу, вынул серый конверт с пятью красными печатями, на коих вытиснена принадлежность — «графа Ивана Чернышева печать». Он торжественно, как в большом выходе дьякон евангелие, подняв пакет обеими руками, с приложением ко лбу, вручил Смолякову и сказал приказательно:

— В проходном покое перед царицыным ходом подбросишь. Беспременно, чтобы ей прочитать.

На конверте стояло:

«Супруге нашей отставленной, Катерине Лексеевне, в собственные руки».

Смоляков вышел. Середович потянулся было к фляге еще налить чарочку, но Арефий без разговоров взял из рук его водку и запрятал в свой походный мешок:

— Выпьем ужо, как отъедем от города. — И обидно добавил: — А ты на водку слабый, видать. С пустяков охмелел.

— Единственно с отвычки... — сконфуженно бормотал Середович. — Я, братец мой, пить — орел! А с поста и дьякон у нас сто яиц съел, так объелся...

Арефий приложил глаза к ставенному вырезу — нет, еще не светало. Он опять порылся за пазухой, вынул пугачевский лист.

— Слушай пока, поучайся!

Арефий, близко держа к себе лист, при свете ночника стал вполголоса читать грамоту Пугачева на церковный манер.

Середович всхлипнул. Водка его разбирала, и было чувствительно. Когда Арефий заканчивал нараспев, словно акафист Иисусу сладчайшему в первую неделю поста, то плакал Середович уже в три ручья.

Арефий выводил голосом тонким, хотя в обиходе был у него бас:

— «Заблудившие, изнурительные, в печале находящиеся, по мне скучившиеся, услыша мое имя, ко мне итти, у меня в подданстве и под моим повелением быть желающие!»

Наконец рассвело. Старушка божья и впрямь выползла. Без единого слова выпустила Арефия с мешком и Середовича с узлом. Они прошли верст пять за город. У корчмы ждал их парень с телегой.

Оба, усевшись в мягкое духовитое сено, прежде всего прикончили флягу. Середович тотчас захрапел. А когда протрезвился, уже были далеко, кругом лес и лес...

Середовичу стало вдруг боязно, и в мысль вошло — не сбежать ли, пока цел? Ведь этот ихний Петр Федорович, «анпиратор», неровен час, в самозванных пойдет?

Но вдали опять зачернела корчма. Арефий с парнем песню запели. Мысли приняли новый ход:

«Пусть и самозванный он... а все свой. Православный».

И, непонятно для спутников, заключил вслух Середович:

— А православным антихристу быть нельзя!

Казак Смоляков, когда подошел ему час итти на дежурство во дворец, надел парадную форму и прицепил по артикулу на свою шапку белый бант. Он неслышно прошагнул по паркету дворца в зеркальную проходную из покоев царицыных в залу. Обронил на середку серый пакет печатями кверху, чтобы повидней. Никем не замеченный, Смоляков стал на свой пост и стоял как статуй. Глаза выкатил, почитай не дышал.

Екатерина шла плавно с Потемкиным в аудиенц-залу. Приметив пакет, недовольно промолвила:

— Подметный лист!

Однако прочла, не моргнув, дала прочесть и Потемкину.

И сказала императрица:

— У нас, полагать надо, довольно найдется картечи?

Содержание письма, адресованного в «собственные руки», было таково:

«На литии поминать о здравии его императорского величества сицевым образом: Благочестивейшего, Самодержавнейшего, великого государя, императора Петра Федоровича, и супругу его благоверную государыню императрицу Устинью Петровну, и наследника его благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича...»

Через несколько дней дан был высочайший указ о сожжении всех воровских подметных листов, не читая и не объявляя народу содержание оных.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Фонвизин был в ажитации. Он тяжело ходил по кабинету. Подбрасывая носом, рыл воздух и фыркал. Он совсем еще был молод, а уже при волнении покалывало сердце, и хотелось, открыв настежь окно, по-рыбьи расширить крупный рот и дышать глубоко.

«Скупо надлежит вам, сударь, жить. Скупо — в рассуждении вина и душевных волнений. Сердечко-то у вас не ахти!»

— Не ведомо, што ли, эскулапу, что в сей придворной клоаке износится вмиг и железное, не токмо что слабое человеческое сердце?

Только что был секретный разговор с Никитой Иванычем Паниным. Начальник перед Денисом без утайки. На возвращенье в повторный случай Сергея Васильчикова, столь дружественного пропозициям[1] «малого двора», надежды уж нет.

Тайным письмом императрицы вызванный из турецкой армии Потемкин пожалован ныне генерал-адъютантом.

Генерал-адъютант — особливое звание. Оно обозначает фавор.

От князя Щербатова для негласного обращения выдавался на сей случай титул иной — крепкого русского обозначения.

Остановившись на миг у конторки, Фонвизин дописал письмо Петру Панину, брату Никиты Ивановича. Скрепил печатью горькие мысли.

«Здесь, у двора, примечательно только то, что г. Васильчиков, фаворит, выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин по-

---

[1] Предложениям *(франц.)*.

жалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником».

Денис Иванович опять зашагал по комнате, пофыркивал носом, высоко держа голову с лицом обиженного купидона, посаженную на короткую толстую шею.

И подумать только: с этим вот Потемкиным вместе учились. Директор И. И. Мелиссино выбрал с собой в Петербург из десяти лучших воспитанников гимназии при Московском университете Потемкина, Фонвизина и Я. Булгакова. Юноши представлены были куратору. Дениса куратор подвел к Ломоносову...

Ныне вся власть взята Григорием Вторым, — так в дружеской беседе титулован был фаворит, — взята и за ним останется. «Пока он ищет в Никите Панине против Орлова и чтобы смягчена была к нему ненависть от цесаревича, — сказала как-то графиня Румянцева, — но стукнет час, и он отбоярит кого ни на есть». Истинно сказала: он жаден, когтист, говорят, влез уже во все дела. В раздачу вновь завоеванных земель и в очередную порку мундшенка. Всех и все зажмет в свой кулак!

Никита Панин хотел ограничить самодержавную власть Екатерины в пользу дворянства России. Не успев помешать воцарению Екатерины, он составил с Тепловым проект об учреждении императорского совета с сокровенной целью ограничить ее власть по шведским олигархическим образцам.

Недавно вторично, при совершеннолетии наследника, вместе с австрийским послом Сальдерном и женой Павла Натальей Алексеевной построили иной проект с цесаревичем во главе. Конституцию обещал Павел. И струсил несчастный, кинулся в ноги матери, все выболтал...

Можно ль полагаться на него после подобного? А Никита Иванович еще таит надежды и вновь твердит: «Одна самовластвует, а он под спудом, — то ли было бы при перемене мест?»

То же самое, если не худшее...

Чего стоит одна «записка» собственного измышления цесаревича на предмет «рассуждения о государстве вообще»!

Записка обнаружила не качества государственного ума будущего императора, а прирожденного берейтора, пригодного только к дрессированию лошадей.

«Предписать надо всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, все то, что им должно делать, тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено».

Какая напряженность при дворе!.. Екатерина не верит Павлу, он — ей. И безумные его выходки в гневе. Намедни, в любимом своем блюде вареных сосисок найдя кусочек стекла, кинулся в покои царицы, кричал, что его замышляют убить. На малоумка надеется Панин...

Вошел слуга, доложил о Радищеве. Александру Фонвизин был рад. Сегодня так трудно носить светскую личину, а с ним можно быть без хитрости. Александр даже родня. Сестра Федосья Ивановна замужем за Васильем Алексеевичем Аргамаковым, и Радищева мать — Аргамакова. Кроме того, что в одном семейном кругу вращались, нравился Радищев и сам по себе.

Самому Фонвизину таким вот быть надлежало, если бы не пошел на попятный... Оскалился крутой сатирой, да тут же и сробел. Как старший брат с малодушной биографией, гордился он этим младшим, его благороднейшей прямотой.

Пошел навстречу Александру, раскрыв объятия коротеньких рук, прижал его нежно к обтянутому под камзолом брюшку.

— Рад тебе, Александр, истинно рад!

Радищев принес с собой весенний воздух, как человек, долго гулявший пешком. Он исходил весь свой любимый Петровский остров с первой зеленью сквозистых берез и слаборозовой перелеской, кое-где белевшей крупными звездами на несмятых лугах.

Но лицо Радищева было хмуро. Его до конца очерченные дугообразные брови, несколько высоко поднятые над большими глазами, известными своей красотой, чернели угрожающе.

— Неприятность с Аннет? — догадался Фонвизин настолько деликатным тоном, что лишен был он всякой подчеркнутой женской пытливости. — Верно, мать заартачилась?

— Нет, согласье мы вырвали, назад ей нельзя. Но пытает Аннет укорами: жених не знатен и не богат! Откуда-то дозналась, что за мой перевод Мабли, коим столь гордится Аннет, получена скромная сумма — сорок один рубль.

— Ведь ей мечталось, старой дуре, кого-либо из царицыных отставных лейб... своей дочке сосватать! — рассердился Фонвизин. — Ну, это точно, — со средствами женихи. Добывали хоть не головой, как твоя милость, но зато крупными суммами. Вообрази: Орлову отступного дано десять тысяч душ, да сто пятьдесят тысяч ежегодной пенсии за былые труды, да сто тысяч на обзаведение дома. Все за то, что казенной квартиры ныне лишен. Впрочем, сервизы, мебель и прочее из оставленных покоев при нем, равно и право носить слугам дворцовую ливрею. — Фонвизин распалился: — Я намедни сестре написал и тебе, Александр, повторяю: развращенность здешняя имени не имеет! Ни в каком скаредном приказе нет таких стряпческих дрязг, какие у нашего двора ежеминутно происходят. «Наказ» давным-давно положен под сукно, у самой одно легкомыслие и сплошной амурдон... Дивно мне, как мог почтенный Новиков за ее комедию «О, время!» посвятить ей «Живописца»?

Круглое лицо Фонвизина вытянулось, самый носик его, в профиль вырезанный как полумесяц, вдруг обвис. Станом же выше, чем был, скорбен и строг. И до того похож на совершенно

ему противоположную фигуру знаменитого Николая Ивановича, что Радищев не мог не восхититься как художник чудесной работой Дениса. Смеясь, он сказал:

— Сколько раз ни видал — не уловлю, каким приемом вы себя в других претворяете?

Фонвизину легчало, когда он внутреннее раздражение выражал в шутовстве, в пересмешках.

— Итак: «Неизвестному автору комедии «О, время!» — повторил он, делая дамский придворный реверанс. — А что автор сей пьесы малосмыслен, твой Новиков не осведомлен? Хотя Козицкий и Храповицкий черновики царицыны правят, а белиберды предостаточно остается. В сей знаменитой, примерно, комедии служанка Мавра показывается столь просвещенна, что читает «Клевеланду» Прево и «Памелу» Ричардсона, коих на русском языке еще не имеется и перевода!

Денис Иванович захохотал во весь рот, завалившись грузным телом на диван. Его зубы, среди яркокрасных губ и налившихся кровью щек, были даже страшны своей белизной.

— Люблю ваш Рубенсов пиршественный дух, — сказал Радищев, любуясь взорвавшим Фонвизина смехом, — и не могу выразить, сколь мне обидно, что вы наложили последнее время столь постную мину на ваш вольный язык. Сколь было едко начало ваших вопросов в «Былях и небылицах»! Наизусть помню: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?»

— Ты забываешь, мой друг, — пугливо вдруг оглянулся Фонвизин, приняв свое обычное осторожное обличье, — ты забываешь, что́ именно ответить изволила мне на сие матушка: «Сей вопрос родился от свободоязычия, коего предки наши не имели». Я, милый мой, стреляный воробей, хорошо понял смысл ее слов. И память моя не плоха: привела мне перед очи ее указ «О молчании». Сей дан был по поводу дела Хитрова еще в первые годы восшествия. Хитров, если знаешь, находил, что всячески противодействовать надо вступлению матушки в брак с Орловым, ибо поговаривали о сем деле как о решенном. Угрозы в случае неисполнения указа, сиречь пересуды о персоне ее величества, пахли, братец, Сибирью. — Фонвизин с сердцем боднул головой: — Вот и пришлось мне написать свое покаянное: «Заготовленные иные вопросы отменяю, дабы не подать повод другим к дерзкому свободомыслию».

Фонвизин встал и прошел из угла в угол, припадая на ногу, — тяжелый купидон. Остановился, нижняя губа дрожала от волнения, обнаруживая, сколько детской, легко вспыхивающей чувствительности было в этом человеке.

— Да что указ «О молчании»! Намедни оброчный наш человек прибыл из Сибири, насмотрелся он «по милосердию» взы-

сканных каторгой заместо смертной казни. Та же выходит казнь, токмо горшая! Полоумный брянский пехотный солдат, самозванец Петр Чернышев, к чорту на кулички, в Мангазею сослан. Пред отправкой столь много порот, что в дороге скончался. Казенную шубу приказано было из-под него выбрать, расползлась шуба. «Стаяла от многого гною» — так ему в бумагу вписали. А что было вины на этом Чернышеве? Да ничего, окромя бессмысленной болтовни. Сила двора великая, где одинокому с ней бороться? Нет возможности, минуя двор, получить должность, подряд, награду. Фаворитизм — государственное учреждение, понял? Новая знать, всем обязанная «матушке», связана с людьми случая. И пойми тоже, сколь много мы положили надежд на наследника, мы, коренные дворяне, сыны отечества! Никита Панин и сейчас от него одного велит ждать освобождающих законов.

Радищев стремительно встал и сказал без запальчивости, с особливой серьезностью:

— Свободы ожидать у нас можно никак не от престола. Кто бы там ни сидел — мало различия. Свободы ожидать должно от самой тяжести порабощения!

— Дискобол! — вскрикнул, глядя на Александра, Фонвизин. — Давеча внизу, при входе ко мне, видал? Из Италии привезли. Молодой, напряженный, как конь пред прыжком. В руке диск. Коль метнет — попадет.

Радищев взял руку Дениса.

— Собрать бы нам воедино силы, широкий взять размах... Беда моя, не знаю пока, чем размахнуться и целить куда.

— На что Сумароков за царей распинается, — сказал Фонвизин, близорукими глазами глядя в брови Радищеву, — а и у него есть обмолвка. — И, понизив голос, он продекламировал:

Когда монарх насильно внемлет,
Он враг народу, а не царь...

— А по моему мнению, всякий царь и всегда враг народа, — ответил с твердостью Александр. — Не потому ли сейчас происходит у нас то великое бедствие, которое императрице благоугодно именовать «глупые казацкие гистории»? А на самом деле не бунт ли то бедных против богатых? Холопей против господ? Мне сказывали: бар, одетых в крестьянское платье, пугачевцы узнают по рукам или же их заставляют исполнять крестьянские работы. Не умеющих взяться за цеп и косу убивают, приговаривая: «Не коси чужими руками, не живи чужим умом!»

— Александр, — остановил Фонвизин, — тебе изменяет разум. Твои слова: «Свободы ожидать должно от самого порабощения» — слова безумца. Какое благородство может быть присуще вчерашним рабам? Не обернется ли их власть горшим видом нового порабощения?.. Однако волноваться впустую я не охотник.

Фонвизин вдруг рассердился на Радищева, что не поостерегся и вышел из себя. Выпил воды, уселся в вольтеровское кресло. Сказал своим наигранным голосом на стариковский насмешливый манер:

— Жизнь дает нам немало жестоких причин для волнения, чтобы мы еще сами себе добавляли. Довольно того, что моя прошедшая ночь протянулась без сна в дискуссии с Никитой Ивановичем, — нынешней ночью я желаю чудесно поспать. Как ученик Эпикура блюдя равновесие чувств, я намерен в памяти вызвать одни легкие, скоморошные впечатления. А посему, милый друг, перейдем на фривольный жанр. На днях я отменно веселился у одного светского друга из французского посольства. Вообрази, какие-то шалуны его затащили на полок в общую баню. Он тотчас обмер и, когда в перепуге друзей был ими окачен холодной водой, сообщил, придя в сознание, что обморок был не от жаркого пара, а от ужасов им. лицезренных нагих персон обоего пола.

Денис Иванович уже развеселился сам и, непременно желая развеселить Александра, собрался было рассказать еще кое-что позабористей, как снова вошел лакей и подал записку от Панина.

Никита Иванович звал к себе немедленно своего секретаря, чтобы спешно выехать вместе в Петергоф. Императрица экстренно созывала верховный совет.

— Вот и вторая бессонная ночь! — проворчал Фонвизин, приказав слуге собирать чемодан. — А свой небогатый запас нервной силы я уже растратил, поволновавшись с тобой, Александр.

— Не сетуйте, Денис Иванович... за дорогу наберете сторицей, — улыбнулся Радищев. — Вам светить будет луна, и в весенних дубровах защелкают соловьи. И то и другое расположит вас на амурные грезы.

— Ах, друг мой, — пофыркал носом Фонвизин, — а ведь я так и остался при своей «двойце». Не имею духу сказать Александре Ивановне о моем сватовстве к вдове Хлопковой.

Екатерине решительно не спалось. Несмотря на значительную уже полноту, она встала быстро и легко. Не беря в руки узорного колокольчика, чтобы вызвать дежурную камерфрау, сама облачилась в шелковый молдаван. Подошла к окну, не без усилия его распахнула. От непрестанных дождей рамы набухли.

Глянуло в комнату очень раннее утро, похожее тусклой желтизной на закат. Ленивые лучи пробирались сквозь ватный туман и, не стремясь итти дальше, уперлись в портрет Григория Орлова.

Красивое холеное лицо, с бровями, высоко очерченными, смотрело с удивленной надменностью.

Екатерина на минуту задумалась, разбирая, как незнакомый, стишок под портретом в отдельном золоченом ободке:

Чие ты зришь лицо?
Помощником был он
Спешащей истине
Спасти российский трон.

— То-то двенадцать лет я и терпела сего помощника... Нечего сказать — государственный ум!

У императрицы не проходила досада на Григория Орлова с недавнего Фокшанского конгресса. Как мальчишка, прервал мирные переговоры с турками, едва шептуны нашептали: его-де место не пустует, Васильчикова объявлен фавор.

— Вот и мой Алешка в него. И красавец и балбес...

И, как всегда при мысли о своем втором сыне — орловском, бастарде, получившем наименование «граф Бобринский», горечь проела сердце.

— Ему б на глазах, при дворе расти, ему б и наследовать мне.

Летом, когда Павел сильно болел, мысли у самой были, и Орлов спьяну выкрикнул: «Умрет Павел, объявить должно Алексея!»

Павел выздоровел. Орлова больше мочи нет выносить. Последние порвались с ним душевные скрепы, а он, как дурной, все круче себя заявлять стал. Нет, не муж он. Насильный, кровью скрепленный был бы с ним брак, и хорошо, что Панин помешал...

А терпеть его до сей поры надо было. На кого было положиться ей, кроме Орловых?

Сын Павел, великий князь, болтун несчастный, сам же намедни и выдал все замыслы вражьи: убоялся, как бы не дозналась стороной о пропозициях, сделанных ему Сальдерном: заявить свои права на престол.

Правда, всячески выбелял наставника своего Никиту Панина, он-де оного Сальдерна не апробировал. Однакоже промолчал Панин. Хоть знал о прожектах дерзких — не доложил. И как тут не подумать, что по той лишь причине Сальдернову затею не апробировал, что считал ее преждевременной?

С укором и болью глянула на профиль великого князя, висевший тут же на стене: чухонский нос мягкой пуговкой, с проваленным, как от дурной болезни, переносьем. То ли он недоумок, как отец, то ли какой-то остервенелый? В характере и уме точно черты имеются и ее, но до чего искажены, не приведены к ее силе, к ее выражению плавному!

Прав Корберон: все порывы цесаревича без твердой воли, без государственной дальновидности. Несчастный голштинский ублюдочный род!

Екатерина разволновалась. Тихо опустила на пол сонного сира Томаса, но он зарычал, и тогда, угрев его снова на руках, снесла на его собачью постель. Уложила белую тонкую морду на подушку, укрыла розовым стеганым одеяльцем.

Время двигалось медленно. Или оттого так казалось, что солнце не выходило из ватных белых облаков и невеселый, не летний дождь моросил в окно? Еще никто из дворцовых служащих не вставал. Только водовозы проехали с бочками, и шел пар из придворной пекарни, где пекли к кофею свежие сайки. Екатерина закрыла окно и стала ходить, неслышно ступая в плисовых котах, обшитых мехом.

Сегодняшний день — устрашительный. Надлежит собрать все свои силы для присутствия на тайном государственном совете.

Глянула на часы, шести еще не было. Решила: через час начнет думать об одном непременном решении, и надо, чтобы голова отдохнула на каком-нибудь чувстве любезном. Тогда мысли придут доходчивы, полны свежести.

В том одиночестве, на которое обрекла ее странная судьба, в том неослабном напряжении удержать трон у нее выработаны были проверенные опытом способы умного сохранения своих сил.

Однако, хоть разгар лета, как холодно в этом сыром Петергофском дворце! И собаки недовольны переездом. Вот сир Томас попискивает. И от сырости, что ли, фонтанов ноют ноги... Как это намедни столь забавно сказала Феклуша, истопникова жена: «Гудут ноги к погоде да к бабьему веку». Сорок лет — бабий век!

Екатерина несколько раз прошептала с сильным немецким акцентом:

— Сорок лет — баби фэк!

Она гордилась, что на каждый случай жизни помнит русскую поговорку. Там, в Ярославле, в семьдесят первом году, чтобы отвлечь мысли от московской чумы, писала комедию «О, время!» И, как девчонка, зубрила пословицы для своей рассудительной Феклы и народные приметы и суеверия для г-жи Ханжахиной. Храповицкий, секретарь, сна лишился, черкая царицыны черновики.

— Ах, мейн гот, уж эти мне русские падежи!

И, как всегда, сама перед собой не трусливая, Екатерина вдруг выговорила до конца одну свою тайную мысль: «Мне сорок пять. Потемкину тридцать пять. Ровно на десять лет...»

— Ну и что? Ну и хватит моего курцгалопа.

Взяла опять на руки пискуна сира Томаса, опять села в кресло, запахнула собачку полой молдавана и дала себе, наконец, волю. Думала о нем, сейчас пылко любимом и единой опоре.

Неприятно, что имя такое же, как у Орлова: Григорий.

Глянь со стороны, кто он? Мелкопоместный дворянин Смоленской губернии. Громаден, всех выше на голову, и хотя сердцу

мил, а не может она не видеть трезвым глазом, как и все и всегда видит: нет, не орел, — раскормленный хищный кобчик этот владыка и шельма, как уже именуют его в тайных письмах.

Суворов почитает ум его гениальным, — перехватил, конечно. Однако то истина, что Потемкину не до одной своей вотчины дело. А верней сказать — своей вотчиной хотел бы назвать не воеводство какое — целый бы мир. Вот каковы мы с Гришифишенькой!

Придумала ему словечко на свою голову: писать-то его легче, чем выговорить.

Пятнадцать лет ему было, когда впервой увидел ее, еще великую княгиню. Божится, что в тот же час стрелой амуровой был уязвлен. А может, и тут перехват, и одно честолюбие привести может в движение его чувства. Что толку разбирать! Ведь если в остуду нонешний пыл перейдет, на пути государственном им итти рука об руку до конца полный профит. Столь сходствуют мнения, тот же полет, и, главное, вера есть: этот вот не предаст. С кем же сравнить его? Ужели с грубияном Орловым, тем паче с недавним Васильчиковым?

При мысли об этом мимолетном Васильчикове, красивом, спокойном, как мерин-водовозка, Екатерина усмехнулась: «Вот уж точно не угадать ему, где нашел себе заступника. У барона Гримма...»

Открыла маленькое бюро красного дерева, достала черновики писем, выбрала последнее к Гримму. Письмо было по-французски:

«...вы назвали меня флюгером. Бьюсь об заклад, оттого, что в вашу бытность здесь, на ваших глазах, я удалилась от некоего прекрасного, но очень скучного гражданина, который тотчас был замещен, — не знаю сама, как это случилось, — одним из самых забавных оригиналов нашего железного века».

А ведь про флюгер-то барон сморозил из собственного баронского расчету, — догадалась Екатерина, — это он дорожится, вымогает все новые заверения, что переписка с ним невесть какой важности.

Взяла карнетик[1] слоновой кости и, брезгливо сморщась, отметила: «Послать новую шубу барону Гримму».

— Должно, не накладнее моего сей барон обходится старому ироду Фридриху, коего он состоит платным агентом-корреспондентом.

Кладя аккуратно сложенные черновики обратно в бюро, Екатерина вспомнила иные бесчисленные листки — записки своей юности. Разыскать бы их на досуге — то-то забава! Еще великой

[1] Записную книжку.

княгиней додумалась до сей дипломатии, или, верней сказать, необходимейшей жизненной тактики.

На вечеринках узнавала о здоровье именитых злоязычных старух. В памятные листки вписывала дни ангела, имена мосек, любимых дур, попугаев. При встречах осведомлялась, сопровождая улыбательным вниманием тягучие воспоминания стариков. Кое-что особливо лестное для славы их рода заносила особо. Не преминуть им же при случае выдвинуть.

И что же? Каково резюме из сего почти женского рукоделия?

Не прошло двух лет с ее приезда в Россию, как жаркая хвала уму ее побежала во все концы. И раньше, чем незадачливый супруг Петр Федорович утомил всех своей дуростью, общественное мнение, — сия всесильная мода, владеющая умами, — целиком было на ее стороне.

Да, за годы своей юности научилась она отменно хитрить. И еще научилась много и сильно хотеть. И в тот незабвенный день, давший ей царство, все вышло по ее хитрости и по ее хотению, сколько ни хвались Орлов, что это он ее посадил на трон, а дура Дашкова — что она.

В четвертом часу пополудни к деревянному дворцу приведены были войска и поставлены вдоль по Мойке от моста. Под барабанный бой двинулись сюда, в этот вот Петергоф...

Она впереди на белом коне в преображенском мундире, в руке обнаженная шпага. Сейчас это уже история, это — замечательный портрет там, внизу, в первой зале дворца. Вчера еще, мимо того портрета выходя в сад на празднество в честь французского посла, остановилась, охваченная внезапными тревожными мыслями. Сказать, это было предчувствие той страшной вечерней реляции...

В том же зале супротив Петра Первого — ливонская крестьянка, вознесенная им на трон прямиком из лачуги, чернобровая тезка ее Екатерина I. Тут же Елизавета в своей молодой бабьей прелести блестит очами, улыбкой, бриллиантами. И тут же она, Екатерина II, в сапогах, белом мундире, на белой лошади, с веткой дуба на шляпе, как кругом у ближайших.

На всю жизнь она помнила, как горело лицо ее, как волосы, густые и длинные, распущенные поверх преображенского мундира, словно ветви хлестали ее по плечам. Помнила, как минутами воображение, уставшее от необычайности того, что свершалось, пугалось и меркло, и некий голос, глумяся, шептал: «Ой, сорвется игра!»

А вот и не сорвалась игра.

И, торжествующая, сопровождаемая большой свитой, сошла она вчера в сад хвалиться послу высоко бьющими фонтанами не хуже версальских.

Позднее, переодевшись в платье алого бархата с малым шлейфом, с невеликой бриллиантовой короной на высоко взбитых волосах, она играла в ломбер с Чернышевым, Потемкиным и послом. С послом вела нужные французские разговоры, а уголком глаз наблюдала, как придворные шаркуны «махаются» с певицей Габриэль.

Оная Габриэльша, дочь повара, которой за талант ее князь Габриэль дал свое имя, мелкая чертами, дурная, но полная бесовской грации, всколыхнула всех шаркунов. И не только молодых — Иван Перфильич Елагин — скажите, пожалуйста! — статс-секретарь и масон, едва заиграла музыка, пригласил Габриэльшу на танец. Вознамерился ногами выплести прехитрые модные штуки, для балетных танцев оказался тяжелым, и хитрой штуки Елагин не вывел, а потерял равновесие и рухнул грузным туловом на паркет. Двор много смеялся, пока не кинулись смотреть иллюминацию.

Две аркады против большого дворца, канал, который соединяется с заливом, усыпаны букетом огней. Лампионы заложены в зелени, иначе — светляки-великаны. Пирамиды, храмы, боскеты — все являет вид огнем воздвигнутых фигурных строений. Фонтаны, отражая огни, сыпали мелкой бриллиантовой пылью.

— Какая сказка, какие миракли! [1] — восторгался французский посол.

Вдруг черный дым ужасающей копотью, как на пожаре, потянул на зрителей. Копоть чернила светлые платья дам и, забираясь глубоко в ноздри, вызывала смехотворное чиханье.

— Я полагаю, матушка, сии миракли прокоптят нас, аки окорок. — И Левушка Нарышкин отдал приказ тушить плошки и факелы.

Окончилась сказка превеликим смрадом.

И тут вот как раз возвещен был гонец с той ужасной реляцией: город Казань разорен. Губернатор со всеми командами заперся в Кремле. Пугачев похваляется: сжег Казань, иду на Москву.

Уже два раза на волоске была власть Екатерины, ее свобода и сама жизнь. Было ей восемнадцать лет, когда обвинялась она в государственной измене, в сговоре с Пруссией через Бестужева. Фельдмаршала Апраксина Елизавета повелела судить за бесславную ретираду, за поддачу якобы Фридриху. Дескать, не подкуплен ли? И пусть даже Фермор показал, что причиной отступления Апраксина был недостаток людей и что лошадям субсистенции нехватало, вследствие чего лошади в совершенную худобу пришли, так что невозможно было с желаемым успехом военных операций производить, — не помогало ничто.

---

[1] Чудеса (*франц.*).

Арестован Бестужев, канцлер, арестован и вот этот Елагин, тогда молодой адъютант Разумовского, и положение ее, великой княгини, было из рук вон — не ахтительно.

С послом Вильямсом разговоры не однажды велись. У посла Вильямса и расписочки были от великой княгини. Расписочки за полученные ею немалые суммы от английского короля. За что платил великой княгине английский король?

Редкую ночь не кричала в испуге: виделась камера Ивана Антоновича. В камере шмыгали крысы, подымалась по горло вода, палили в крепости пушки.

Хотя Бестужев умудрился из-под стражи передать ей записку, чтобы не беспокоилась, — все-де бумаги, которые их обоих могли погубить, им начисто сожжены, — в такой пытке жила, в такой пытке ждала ежечасного ареста.

Наконец Елизаветой затребована была на два ночных свидания, вернее сказать — на два допроса при свидетелях, скрытых ширмами. Одной собственной сметкой-умом выбралась. Пала в ноги Елизавете, просилась обратно домой в Ангальт-Цербст: «Если вам угодить не пришлось, лучше на свете не жить!»

Сделала вид Елизавета, что поверила, оставила дело. Была стара, чуя смерть, боялась хлопотни с престолонаследием. Самое же главное — не выдал Бестужев.

Второй раз искушение судьбы ее царской такой пышной победой окончилось, таким блеском, что и сейчас для борьбы с третьим искусом оттуда черпнуть надо мужества.

Такой был жаркий тот летний день, хотя почти на целый месяц раньше, чем сегодняшний. Тот день — 28 июля 1762 года. Давно было все заготовлено — и никак не решались. Арест гренадерской роты капитана Пассека двинул события. Началось — и пошло.

Семеновцы и измайловцы окружили дворец, преображенцы внутри... А если б полки не явились? Если б караулы не встали? Если б митрополит новгородский, согласно своему сану, держался бы за присягу, данную императору Петру III, ее законному мужу, и отказался б давать присягу новую ей, мужней жене, посторонней немке, прав на российский престол не имеющей, — что тогда?

Привезенная на одноколке Орловым в тот особенный, яркий солнечный день, — в какие бы места отдаленные могла бы быть препровождена, ежели не лишена самой жизни?!

В этот второй раз смертельной опасности была она в цвете всех сил.

И вот сейчас, на двенадцатом году царствования, судьба в третий раз занесла меч. И стынет в сердце кровь от разметанных по деревням листов Пугачева.

«Сошлю ее.. заточу... Пусть грехи замаливает!»

Из великой ектеньи ее вычеркнул — и нет ее царского имени. Не поминают за литургией послушные силе попы.

Екатерина больше не могла сдержать волнения. Не помогли хитрые расчеты, ни кровная немецкая дисциплина.

Как ни отдаляла минуту, инстинктом, как зверь, защищаясь, копя силы перед страшной борьбой, прикидываясь пребывающей в благополучии, — минута пришла. Надлежало глянуть прямо в лицо новому бедствию, не токмо одному Пугачеву — пугачевщине. Вот тебе и «казацкие глупые гистории».

Еще недавно, неутомимо поддерживая свой престиж, писала знаменитому корреспонденту-философу с расчетом на всеевропейскую его сплетню про маркиза де Пугачева о том, что разбит он то ли восемь, то ли десять раз, так что бить его надоело.

Писала небрежно, с установленной буффонадой, которая, казалось ей, должна выражать философское и просветительное ее превосходство.

Сейчас некуда было деваться от страха. Сейчас стояла перед большим зеркалом в серебряной раме с летящими амурами зеленая, с обрюзгшим от бессонной ночи лицом, растерянная пожилая немка.

Стояла, держа в руке звонок, и медлила звонить дежурную свою камерфрау, потому что ей никаким усилием воли не удавалось сделать лицо свое спокойным и царственным в обычном улыбательном ореоле. Словом, тем лицом, которому обучена была кисть живописца, дабы внедрять в сознание верноподданных августейший образ российской Минервы.

В который раз за эту ночь перебирала в мыслях, нет ли иного выхода из положения, как уступить ей сегодня на тайном совете предложению Никиты Панина, которое, знала она, непременно будет им сегодня сделано.

И предложение это — вот оно: вызвать из немилости брата его Петра Ивановича Панина и ему вручить полное командование против самозванца. Ей вызвать великого враля и персонального оскорбителя, который громко кричал на всю Москву: «Не баба — мужчина должен быть на престоле, дабы иметь возможность предводительствовать войском».

А что если самой ей сделать попытку? Самой впереди войск? Ведь уж однажды верхом на коне, сабля наголо, взяла трон?

И ответила сама с горьким унынием: тогда шла против жалкого, безумного мужа, ненавистного всем, сейчас надлежит итти против сына, против Павла, о совершеннолетии коего шепчутся. И ослабела чуть не до обморока. Долго сидела усталая полная пожилая немка с узорным звонком, зажатым в руке, и, как обыкновенная измученная женщина, она вздыхала о муже, о помощи, о защитнике. Поговорить бы перед советом еще раз, в последний, с Григорием.

От одной мысли свидания с Потемкиным подобралась, тряхнула колокольчиком, встала и встретила вошедшую камерфрау своим обычным одаряющим царским взором.

Парикмахера, ловко накинувшего на пышные ее плечи пудермантель, весело спросила о здоровье своих крестников, о дочке-невесте. Пока парикмахер гулял заячьей лапкой по баночкам с притираньями, румянами и белилами, пока оттягивал незримой машинкой височки, отморщинивал постаревшую кожу, Екатерина настраивала себя на любимый портрет Эриксона. Этот портрет ей, как певцу — камертон. Румяная, со взбитыми волосами, напудренной прической, как богиня, сияла она торжеством спокойной совести, яркими синими глазами и почти подавляла б величием, не догадайся художник смягчить его грацией, спустив ей с головы на грудь шаловливый локон, обвитый жемчужными нитями.

Наконец Екатерина встала и улыбнулась в зеркало своей особой улыбкой при сжатых губах, дающей ямочки на щеках. Она велела подать себе зеленый атласный молдаван. Она в домашнем обиходе уже несколько лет не почитала моды, а носила изобретенный ею костюм — платье с широким лифом, с длинными рукавами, скрывавшее ее полноту. Сверху надела соболью накидку. Пожаловалась, что непрестанно мерзнет здесь в Петергофе; сколько ни топят березой печи, все сыро и холодно; здесь словно дуют особые ветры, продувая все стены; сырость тут круглый год, невзирая на теплый сезон.

Доложили, что Потемкин просит аудиенции. Рванулось сердце от радости, как в самые юные дни, когда приходил Салтыков, но, не выдав себя, тем же ровным благоволительным голосом, каким только что велела передать садовнику о букетах для именинниц в сегодняшний день Марии Магдалины, велела принять в смежной гостиной. Всех отпустила кивком взбитой головы и не спеша вышла.

— Гришенок мой! Бесценни, милейши в свете! — проговорила она свое привычное в письмах к нему обращение с сильным немецким акцентом и перешла тотчас на французский язык.

Потемкин был хмур и не в духе. Он сказал отрывисто, как пролаял:

— Панин с Голицыным уже объявились в большом зале, все прочие — в биллиардной. Сейчас бы, не откладывая, и открыть совет.

Чего же мешкать?

Она еще несколько мгновений хотела побыть просто женщиной, любящей, нашедшей, наконец, опору и мужа.

— Что бы ни ждало меня, ты со мной? Не оставишь?.. Ну, скажи мне, бесценни?

Потемкин отступил на шаг и глядел на Екатерину своим единственным, огненным и ярким глазом, еще более сильным оттого, что другой глаз был у него мертвый, из фарфора, как у куклы. Он резко сказал:

— Не бывать тому, матушка, чтобы ждало тебя что-либо тебе не угодное! И мысли допускать недозволительно.

Она чуть дрогнула бровью, вспыхнула, хотела тоже гневно сказать, что получше его знает, что надо ей делать, но что минуточку вот одну хотела вздохнуть. Но она ничего этого не сказала, подумала: к чему говорить, если и минуты такой ей не суждено.

Потемкин обнял Екатерину и подвел ее к окну, откуда далеко вперед, не загроможденное деревьями, синело и ширилось море.

— Гришенок, — сказала Екатерина обыкновенным деловым тоном. — Не люблю я Панина. Недаром у него лучшая в городе поварня, во всех делах честолюбия выше головы. Посадит он надо мной своего братца. Увидишь, потребует сделать его властителем с беспредельной властью над войском. Сначала якобы для поимки сего бездельника Пугачева, но кто мне поручится, что оба брата и вся ихняя клика не войдут окончательно во вкус? Во всяком случае, коль скоро войска в их руках, я остаюсь ни малейше не сбережена. Гришенок, а что ежели я сама лично отправлюсь супротив мятежников? Ты помнишь, однажды уже удалось.

— Предложить сие должно, но настаивать не резон, — сказал Потемкин.

И вдруг вспыхнул, побагровел лицом, сжал до боли маленькую ручку императрицы. С поднятием чувства и выспренним жаром, как актер на театре, одним махом Потемкин торжественно произнес:

— Да, вспомни тот день, когда тебе было или погибнуть, или проложить себе путь к престолу. О, сколь ты дивно предстала пред нами! Каждый был счастлив умереть за тебя.

— Говори, Гришенок, говори. Сегодня подобный же день, — прошептала она.

— Ужели ты будешь сегодня слабее? — Ярко сверкнул он одним глазом, в то время как другой из своей вдруг расширенной орбиты странно засинел мертвым белком. Потемкин все сильнее сжимал руку Екатерины. Он требовал, он наступал: — Разве ты дрогнула, когда узнала про заговор Мировича, про нахальство претендентки Таракановой? Почто же смущается твое сердце сегодня? Твой путь — львиный путь. В нем женской робости нету места. И ты должна быть сильнее тех лет. Тогда были одни обещания. Ныне выполнено тобою немало. Слава России тебя охраняет, тобою горда. В краткие сроки независимой ты сделала нашу страну. В число первенствующих держав Европы включена

тобою Россия, неисчислимы выгоды, которые ты доставила ей. Своим проницательным умом ты перехитрила Фридриха, ты добилась независимости Курляндии, ты разобьешь турок, ты возьмешь Крым. И, как у Александра Великого, не должно стать предела владениям твоим! Ты двинешься на восток... Древнюю Византию я вижу под скипетром твоим.

— И твоим, владыка мой! — докончила Екатерина в слезах. — Наконец-то я встретила не тирана, не раба, но супруга. Да, я сильна. Я сильнее, чем когда-либо.

Екатерина сделала несколько шагов, подняла голову, и уже не слабая, любящая женщина — императрица, владеющая собою в совершенстве, сказала Потемкину:

— Объявите всем собравшимся в зале, что я тотчас проследую.

Потемкин поклонился придворным поклоном и вышел. Вдруг Екатерина легко вскрикнула и схватилась за голову. Потемкин немедленно вернулся и кинулся к ней:

— Вам нездоровится, ваше величество?

— В волосах что-то бьется, живое.

Потемкин, смеясь, вынул из легких напудренных волос императрицы желтенькую, в окно влетевшую, бабочку.

— Мотилок! — воскликнула Екатерина, неспособная выговорить это трудное для немецкой речи русское слово.

— Мо-ты-лек, — поправил Потемкин.

— Мо-ти-лок, — повторила Екатерина и, поднявшись на цыпочки, крепко, по-бабьи, его обняла.

Члены тайного государственного совета сидели в бархатных креслах за круглым столом, покрытым немецкой суконной скатертью.

Тут был и князь Вяземский, генерал-прокурор, с лицом толстым, туго набитым, так что кожа, не поддаваясь пудре, лоснилась, как у вспотевшего. Был и Захар Григорьевич Чернышев, давний фаворит, ныне председатель Военной коллегии.

Чернышев, не желавший против очевидности признавать волнение народное, почитавший, что войску только и дела, что словить «вора Емельку», сидел ныне расстроенный. Густые черные брови его с беспомощным удивлением ерошились над тяжелым, несколько бабьим лицом.

Да и было чего испугаться: поднялись орды башкир, заводские крестьяне передавали заводы самозванцу, ему лили пушки. В Европе помышляли нашей бедою воспользоваться...

— Европа принимает Пугачева за некое орудие турецкой политики, — сказал веско Панин, — и время не терпит... Сегодня надлежит до ее величества нам довести все резоны, угрожающие разрушением империи.

— Какие такие резоны? — отрубил Чернышев. — Зимовейской станицы беглый Емелька-казак — один резон всему.

— То-то что нет... — едва сдерживая горечь и гнев, сказал Панин. — Не кто-нибудь, сам Бибиков писал с глубоким знанием дела Фонвизину: «Пугачев только чучело в руках недовольных. Причина удачи его много глубже...»

Панин оборвал, а Чернышев не стал подымать разговора. Сидел он, трепетный, между двумя фаворитами — Григорием Орловым и Григорием Потемкиным — и не знал, как ему быть, чтобы не потерять по службе.

Григорий Орлов с презрительной миной смотрел по сторонам, намеренно не отличая людей от предметов. Он упражнялся, перенося взоры с картины на стене на сидящих за столом, нарочито не задерживаясь на лице Потемкина, как на чем-то крайне маловажном.

Потемкин сих орловских уничтожающих маневров не примечал. Сидел глубоко в креслах, огромный, одноглазый, и обихаживал свои ногти. То он их грыз, то, вынув стальную пилку, обтачивал.

Он взволновался, когда вошла Екатерина. Впрочем, едва на нее глянул, вставая и изгибаясь в поклоне, как успокоился: Екатерина была в своем полном параде, во всей непоколебимости власти.

— Я созвала вас сегодня на обсуждение общего блага, империи безопасности и самой целости оной...

Екатерина говорила длинно и торжественно, перечисляя всем известные события последнего времени. Дойдя до вчерашнего извещения об осаде Казани, она не совладала с волнением. Впрочем, по тексту речи чувствительность и слеза в голосе были у места.

— Сей осаждаемый злодеями город особливо мне дорог. Нет еще и полгода, как покойный Александр Иванович Бибиков своей умной речью столь одушевил казанских дворян, что они тут же создали легион из рекрутов собственного набора. В столь доблестной дворянской семье и мне пожелалось стать членом. Я с гордостью именую себя казанской помещицей.

И вот, судари мои, оная помещица, как в кровном своем деле, ищет заступничества тайного совета за злосчастный свой город. Что скажете? Каковы меры пресечения подлому вору и злодейской черни предложите?

Екатерина обвела сидящих за столом синими победительными глазами, и, привычно сопутствуя царственному взору, бодрящая подданных, благоволительная улыбка чуть обозначилась и застыла на тонких губах.

Панин сильно побледнел и, почтительно склонив голову, стал говорить.

Всем известная главная цель Панина была — настоять на вызове брата Петра Ивановича как единственного, после смерти Бибикова, достойного военачальника.

Старый дипломат, он начал не с этого. Он не хотел упустить случай еще раз дать понять Екатерине, сколь неумно ей было после совершеннолетия наследника удерживать власть только для себя. У Панина был честный государственный ум и фамильное отвращение к «немке в штанах» на престоле, где должен быть «муж доблестный», который сейчас мог бы стать во главе войск. Панин был не так стар, но давно уже болел и чувствовал, что недолговечен. У него была своя тайная политическая линия.

Придворно изогнувшись в поклоне, — придворная жизнь — вторая природа, само тело чуяло, как ему быть, — Панин стал держать свою речь:

— Дабы удачно лечить тяжко больного, на консультацию зовут много врачей. Врачи исследуют купно болезнь с самых ее истоков, с самого возникновения оной. А посему разрешите вам поставить на вид, Захар Григорьевич, — Панин сделал придворный поклон Чернышеву, — ежели бы вами досконально был выслушан Кар, у нас бы не вышло сегодняшнего конфуза, сиречь осажденной Казани.

Чернышев резко дернул грузным плечом:

— Сей трус по заслугам исключен из военного звания!

— Исключен, но не выслушан... — чуть улыбнулся Панин. — Не касаясь личных качеств Кара, надо сказать, что размеры бедствия им указаны правильно, и то, что вы почитаете лишь шайкой обыкновенных разбойников, было уже в самом начале восстанием народным. Судите сами, ваше величество. Я сделаю краткую экспозицию событий...

«Ну и беспардонная баба», — промелькнуло у Панина при взгляде на Екатерину, у которой для контенансу [1] уже водворена была на губах ее обычная портретная улыбка.

Ему захотелось ужаснуть ее, обрушив ей на плечи ответ перед страной, перед историей. И голос его, утратив мягкую дипломатическую выучку, стал говорить с жестокой отчетливостью приговора:

— Едва прошло две недели, что Пугачев появился под Яицким городком с горстью бунтовщиков, как он уже имел три тысячи пехоты, конницу, двадцать пушек. Вскорости взято им семь крепостей. Как? Почему взято? Потому, государи мои... — На миг у Панина нехватило дыхания, он строго, немигающими глазами уставился на Орлова, сидевшего с пренебрежительным видом, говорившим: вы меня отставили, так выбирайтесь теперь

[1] Приличия (*франц.*).

сами, как знаете...— Потому, государи мои,— отчеканил Панин,— что господские крестьяне явно привержены самозванцу, а крестьяне заводские ему отлили пушки, качеством превосходящие наши.

Екатерина приблизила к раздувшимся ноздрям табакерку, понюхала, скрыла гнев и сказала успокоительно:

— Не те, граф, обстоятельства именуете, кои благоприятствовали мятежу. Я сама вам напомню.— И, загибая пальцы, покрытые кольцами, Екатерина перечислила:— Наши войска отвлечены победами в Турции. Строгие меры супротив чумы растревожили население. Внимание наше к Польше опять-таки потребовало военных сил...

— Прибавьте в таком случае, ваше величество, хотя бы новый рекрутский набор,— подчеркнул голосом Панин.— Ваше величество только дополнили, но отнюдь не зачеркнули мной сказанного.

Екатерина тотчас отметила в мыслях упоминание про новый рекрутский набор. Вот оно налицо — влияние на Павла. Не из своей, чай, слабой головы болтает наследник, что Россия-де нуждается лишь в войнах оборонительных, а не матушкиных «славолюбных». Вся отсюда зараза!

Панин с новой желчью заговорил о другом бездарном полководце, в столь особых обстоятельствах заменившем Кара:

— Новая оплошность, государи мои,— сей Рейнсдорп, не чующий русской природы. Смехотворно, как дура, он налгал в объявлениях и приказах, будто на лице самозванца имеются каторжные клейма. Хотел опозорить Пугачева — опозорился сам.

— Сие не позор, а токмо недальновидность,— процедил нехотя Вяземский.

— Казнить за подобное мало!— вспыхнул Панин.— Невозможно упускать из виду, что едва люди начальством указанных знаков на самозванце не обретут, они тотчас ему предадутся. Дошли слухи: торжество в стане мятежников по сему поводу было немалое.

— Минуя бездействие власти и пагубное для дела состояние наших войск,— продолжал Панин,— довожу до слуха вашего величества лишь самые последние события, о коих мы оповещены вчерашним гонцом.— И, переживая горестно каждое слово, Панин стал говорить о гибели Казани.— На заре от станицы Царицыно по Арскому полю Пугачев выстроился против главной батареи города. Он не пошел на нее. С правого крыла изменник Минеев двинул толпы заводских крестьян. Дом губернатора захвачен пугачевцами, и левое их крыло двинулось к Суконной слободе.

— Суконщики, кулачные бойцы — ужель не отбили?— спросил Чернышев.

— Суконщики бежали, — отрезал Панин. — Мятежники ворвались в город. Слобода горела. В огненном море грабил, кто мог. Мятежники бросали пленных в огонь и топили в реке Казанке. Казань — груда углей. Из двух тысяч восьмисот домов сгорело две тысячи шестьсот. Сии цифры, ваше величество, суть точные. Если б не Михельсон с войском, все живота бы решились...

— Но ведь Михельсон отогнал Пугачева! — с нескрываемым гневом на Панина воскликнула Екатерина. Из всего, что она узнала, самое втайне ужасное было ей свидетельство очевидца, допрошенного Потемкиным, о том, что в войсках Пугачева развевалось голштинское знамя. И под белилами лицо Екатерины все пошло красными пятнами.

— Михельсон отогнал мятежников нынче, а назавтра что ждет? Пугачев перешел Волгу... — упавшим голосом кончал истомленный болезнью и горестью Панин. — Ведь вся западная сторона ему предалась. Крестьяне до единого... иноверцы и новокрещеные избили пастырей, воеводы бежали из городов, дворяне из поместий. Необходимей всего отметить, — повысил голос Панин, — чем именно берет людей Пугачев? Он обещает всем вольность...

Панин с поклоном императрице опустился в кресло. Чернышев думал о том, сколь хитроумны его приятели иезуиты, когда толкуют о власти церковной, направляющей чернь. Хоть запугали бы адом... а наши попы сами первые несут хлеб-соль самозванцу.

Сладким голосом, в уважение к волнению Екатерины, сказал генерал-прокурор Вяземский:

— Спешу довести до сведения вашего императорского величества: я составил тут приказ, каким полкам маршировать к Москве, ежели соизволено будет. Угодно будет вашему величеству рассмотреть?

Екатерина обрадовалась, что можно сделать оттяжку конечному разговору с Паниным о назначении его брата главнокомандующим войсками против мятежников. Она закрыла на сегодня совет, предложив для последних решений обождать румянцевского курьера с заключением мира с турками. Все откланялись. Екатерина занялась приказом Вяземского.

Всеми силами желая сохранить контенанс, после придворного обеда на тридцать пять персон императрица села было играть в любимый свой ломбер, но доложили о приезде нового гонца из Москвы, от князя Волконского, генерал-губернатора.

Генерал-поручик Ступишин ему доносил, что участь Казани ожидает Нижний и что он не отвечает и за... Москву.

Завидев Никиту Ивановича Панина, который шел к ней решительным шагом, Екатерина сама ему двинулась навстречу. Под люстрой зала, горевшей как солнце, они мгновение стояли, ненавидя друг друга. Императрица первая, боясь, чтобы Панин не потребовал во имя спасения империи назначения своего брата на пост главнокомандующего, сама предложила с благоволительной улыбкой, послушно вспорхнувшей на побледневшее досиня лицо:

— Никто лучше вашего брата Петра Ивановича наше возлюбленное отечество ныне спасти не может! Пишите ему немедля от моего имени пропозицию стать во главе армии. Я с чувствительной радостью его назначаю на сей пост.

Поздно ночью, потрясенная событиями, разбитая бессонницей и состоянием, близким к отчаянию, Екатерина писала в Париж длинное письмо госпоже Жоффрен.

Салон этой умной женщины обладал таким весом, что сам Гельвеций сказал своим друзьям после выхода в свет книги своей «De l'esprit»: [1] «Посмотрим, как примет меня г-жа Жоффрен. Я лишь тогда узнаю наверное об успехе моего сочинения, когда справлюсь с этим термометром».

Вот этой Жоффренше, как именовала перед Брюсшей Екатерина нужную ей даму, сейчас закончила она последнюю страничку невозмутимого по спокойствию духа письма:

«Вы интересуетесь, мадам, моим обычным деловым днем? Извольте же узнать: встаю аккуратно в шесть утра, читаю и пишу одна до восьми. Потом приходят мне читать разные дела, всякий, кому нужно говорить со мной, входит поочередно, один за другим. Так до одиннадцати, потом я одеваюсь.

«По воскресеньям и праздникам иду к обедне, в другие же дни выхожу в приемную залу, где обыкновенно дожидается меня множество народа. Поговорив полчаса или три четверти, я сажусь за стол. По выходе из-за стола является Бецкий («гадкий генерал»), чтобы читать мне наставления. Он берет книгу, а я свою работу. Чтение наше, если его не прерывают пакеты с письмами и другие помехи, длится до пяти часов вечера. Потом: или я еду в театр, или играю в карты, или болтаю с кем-нибудь. В одиннадцать — ужин. Ложусь и на другой день повторяю то же самое, как по нотам».

Екатерина запечатала письмо сургучом, положила его, чтобы не забыть, на видное место. Потом она выпрямилась, как безмерно уставший человек, заломила руки и прошептала с отчаянием по-немецки:

— От чумы спас мороз, кто спасет от сего домашнего врага?

---

[1] «Об уме» *(франц.)*.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Слухи об успехах Пугачева из тайных заседаний царицына совета чрез придворные круги, канцелярии и лакейские просочились во все концы города и привели население в трепет.

И было чего пугаться: Пугачев перешел Волгу.

Вся западная сторона с городами, покинутыми воеводами, ему подчинилась. Выходившие с хлебом-солью господские крестьяне ежедневно множили войско, и без того значительное.

Пугачев объявил вольность и требовал избиения дворян. После разорения города Цивильска он разделил свое войско на две части и, заняв ими алатырскую и нижегородскую дороги, лишил сообщения Казань с Нижним. Вот тогда и написал генерал-поручик Ступишин, губернатор нижегородский, московскому главнокомандующему, что участь Казани грозит Нижнему и отвечать за Москву он не может.

— Возможно ли Пугачу быть в Москве? — жители вопрошали друг друга и тут же сами решали: невозможного в нашей стране нет ничего, ежели граф Петр Панин, покоритель Бендер, войной двинулся против кого же? Против казака Емельки, безвестно служившего в его же войсках.

Вести сменялись с удивительной быстротой, одна другой устрашительней, и вот уже Пугачев перешел реку Суру, и офицеры инвалидной команды, кроме одного, ему присягнули.

Встреча самозванца с колокольным звоном стала в обычай. И валил к нему сейчас не один только черный народ, — примыкало купечество, и царем Петром Третьим его славило духовенство.

В ответ на плоты с повешенными его приспешниками, пущенные вниз по Волге, Пугачев дал приказ вздернуть на деревья больше трех сотен дворян и, неуловимый, среди орды инородцев стремительно двинулся к Пензе.

Только и было передышки в столице в тот день, когда долгожданный гонец от Румянцева привез обстоятельное донесение о заключении мира с турками. Императрица не упустила предлога поразить воображение народное своей не дрогнувшей перед бедами самодержавной мощью.

На торжественное молебствие в Казанский собор Екатерина прибыла в сопровождении несметных дворцовых карет, под пальбу пушек и пение архиерейских хоров «Тебе бога хвалим!»

У Аничкова моста, перед сенатом, коллегиями и прочими важными столичными местами, окруженные конной гвардией, сверкавшей золотом, вестники мира с нарочито воздвигнутых пьедесталов вещали жителям о победе русского оружия. Сии вестники имели поверх мундиров через плечо перевязь белого

атласа, обложенную золотым кружевом, а в правой руке пук лаврового ветвия.

В эти тревожные и торжественные дни Николай Иванович Новиков еще раз пошел гостем на заседание масонской ложи Урании. На востоке, сиречь на председательском стуле, был почтенный брат Лунин; прочие братья по местам. Из старых знакомых метнулся в глаза один лишь Челищев, Петр Николаевич, прапорщик Измайловского полка, брат Сергея, который с Радищевым учился в Лейпциге.

При взгляде на быструю его фигуру, наблюдая склонность его затянутой воротником шеи к мгновенному покраснению и раздражительный разговор с соседним братом, Новикову досадно встало в памяти, что сей Челищев, имевший церковный хор из собственных крестьян, тотчас нарушал усердную молитву, едва кто-либо из певчих голосов давал козла. Подбежав к виновнику, Челищев его размашисто заушал и, отбыв на место, столь же истово погружался в прерванную делом молитву.

Новиков отогнал суетные мысли. Настроиться хотел особливо серьезно. От сегодняшнего собрания ждал необыкновенных речей. Ведь, несмотря на царицын парад, на лавровое ветвие вестников мира, незабываемая опасность от мужицкого царя угрожала империи.

Ждал Новиков: вот брат Лунин встанет во весь свой крупный рост, стукнет молотком и, прервав вялое течение заседания, предложит всем братьям высказаться как истым «сынам отечества». И главнейшее — брат Лунин откроет всем особое, тайное, масонское мнение о том, как можно успешней пресечь великое народное бедствие.

Но брат Лунин вел собрание обычно, как полагалось по ритуалу. Он заученным приказом послал почтенного брата оратора в «черную камеру» узнать, не взывает ли из тьмы чья-либо душа, стремясь к свету «луча масонского».

Брат оратор высморкался, спрятал платок под свой расшитый масонский таблиер и отправился в черную камеру через коридор. Вскорости он привел из тьмы внешней непосвященного брата — флотского офицера майора Мякотина. Многие братья майора сего «подкрепили». Майора баллотировали в члены. Приняли. Сидел майор весьма багровый, распотелый и улыбался, как именинник. Так и написано было на круглом его лице, что отныне по службе он живо успеет.

Еще брат Коппе предлагал брата Назимова. Подкрепляли братья. Еще собирали деньги на бедных. Отдали негусто собранное почтенному мастеру ложи для каких-то ему ведомых бедняков. Определенные в комитет для празднования дня св. Иоанна, патрона ордена, объявили, что назначено праздновать тот день у «провинциального мастера», брата Елагина.

Долго спорили братья, сколько платить им с персоны в день праздника за парадный ужин, пока не столковались, что с членов по три рубля, а с гостей, ими приведенных, по четыре. В перерыве пили пунш по двадцать копеек за два стакана, и брат брата потчевал шампанским.

По делам хозяйственным единогласно было решено: «К провождению членов ложи завести в одном покое нанятого дома биллиард. За употребление оного платить: за ординарную партию пять копеек, за карамболь по десять с партии, за лагерре по пять с каждого играющего, с тем чтобы во время священных работ никто из братьев не играл под штрафом платежа десять рублей».

Еще постановлено: «Картошная игра таким же образом, и штраф на таком же основании, как выше сего биллиардной положено, — дозволяется. Но только коммерческие игры, а газардных ни под каким видом не играть».

Брату-эконому выработали инструкцию: должен он держать напитки в полубутылках. На место прежнего выбрали нового эконома, бывшего «паришных дел мастера».

На концерт и ужин Новиков оставаться не захотел.

Отпрощавшись, с ссылкой на недомогание, Новиков расписался в своем присутствии в книге удлиненной, вроде приходо-расходной. Бросился ему в глаза неумный почерк брата фон Эссена. Сокращенно, для чего-то с титлом вверху и с росчерком кольцами, вроде дым из трубы, как рисуют дети, подписывал этот брат свою нерусскую фамилию.

Ну, каков, спрашивается, подлинный может быть толк от сего ордена при столь великом разнобое почтенных его членов? Тут вольтерьянцы и церковники вроде Челищева, искатели фортуны и чинов и просто гуляки, не вылезающие из столовых лож.

Полный докучливых мыслей и осуждения, Новиков при самом выходе столкнулся с Елагиным, подъехавшим в карете. Вельможа раскрыл объятия.

— А я сюда нарочито сегодня для встречи с вами, любезный Николай Иванович, уж извольте, дорогой мой, обратно оглобельки повернуть!

Елагин крепкой маленькой рукой в перчатке тащил за собой Новикова.

— Полчаса разговора в одном из кабинетов есть решительная необходимость ежели не для вас лично, то для блага всеобщего, коего вы немалый ревнитель!

Изнеженное полное лицо вельможи было столь нежданно растроганно, что Новиков согласился вернуться. Перед Елагиным, как перед хозяином, раскрылись всегда запертые двери нижнего кабинета. Вельможа увлек спутника за собой через анфиладу слабо освещенных комнат при совершенно пустых, но диковинно

декорированных знаками Зодиака и чертежными фигурами стенах. Пройдя под арками галлерейки, по куриной витой лесенке, где шли в одиночку, поднялись чуть ли не под самую крышу. Елагин неотступно держал Новикова за обшлаг рукава, по временам оборачиваясь к нему всем лицом, выражающим дружество и ласку. От этой интимности обращения обычное расстояние между двумя персонами, столь отличными по придворной табели о рангах, изгладилось. Отставной поручик незнаменитого рода, книгоиздатель — и первейший сановник вдруг стали ровня.

При нажатии Елагиным боковой скрытой пружины дверь открылась, и, пригибая голову, можно было войти в просторную храмину.

Палата была невысока, но столь обширна, что углы ее терялись в темноте. В лепном камине пылали ярко дрова. Между двумя креслами стоял невеликий, отменно сервированный стол. На столе заедки всякого сорта и тонкой марки вино. Все было заранее приготовлено по данному кем-то приказу для уединенной беседы друзей. Но единственное окно, плотно закрытое ставнями, и задрапированные черным бархатом стены рождали мрачные представления и делали уютность пылающего камина, изысканную сервировку стола случайной затеей.

Вельможа пригласил спутника сесть. Выпили по бокалу. Елагин откинулся тучным телом на спинку кресла.

От каминного пламени и без того яркие шелка его одеяний и нарядные туфли, сверкавшие бриллиантами, заиграли сильнее. Елагин сделал ораторский жест, каким открывал собрания, своей дамской рукой и сказал торжественным тоном:

— Без ненужных предисловий, со всем уважением к вашей достойной деятельности и благородному характеру вашему, от имени пока неизвестных вам братьев предлагается вам принять высшую ступень голубого иоанновского масонства — третью. Пред вами будут раскрыты без потрясающих церемоний, вам нелюбезных, все тайны наших масонских устремлений. Но, приняв сие предложение, не скрою от вас, вы должны будете отдаться всецело служению священного ордена.

Елагин встал, легко подымая свое тучное тело, и развел обе руки, как бы возлагая издали, через стол с яствами, какие-то незримые регалии на сидящего Новикова.

— Отдайтесь сему служению! — внушающе вымолвил он, тряхнув пудреным париком, отчего легкой дымкой пыхнула с локонов пудра. — Отдайтесь!.. Дорогой брат мой, после неизбежного искуса вы получите власть управлять ложею, «яко Адонирам распределять рабочих»! По всему миру ветвь акации откроет вам доступ во все три ступени...

Глаза Елагина сияли уже не обычным придворным радушием — вдохновение исповедующего свою истину адепта было

в них. Огромный навык человека, проведшего годы, упражняясь действовать на воображение других, управлял его жестом и словом.

— Дорогой брат мой, вникните в предлагаемое. — Он попытался поймать взор Новикова, но тот, склонив свое длинное старообразное и некрасивое лицо на руку, сидел недвижимо и смотрел вниз на причудливые шашки паркета. Не поймав глаз собеседника, Елагин только усилил убедительность голоса. — Дорогой брат, велики следствия полномочия, вам предлагаемого. Насколько знаем мы вас, они соответствуют чистейшим вашим желаниям — готовности служить просвещению дорогого отечества нашего всею силой ваших даров!

И, выждав паузу, подойдя близко, с тихой лаской спросил:

— Какие еще сомнения держат вас в нерешимости?

Наконец Новиков в ответ на горячую атаку Елагина встал. Тот взял его тотчас под руку, и оба некоторое время безмолвно и тихо шагали в ногу по мягкому ковру, устилавшему во всю длину масонскую храмину. Новиков продолжал безмолвствовать. Елагин заговорил снова с той пленительной естественностью, которую порождает либо взаимное влечение друзей, или отменное воспитание очень умного человека:

— Я слыхал, ваши чувства оскорбляются неизбежным ритуалом, коим насаждаются в грубом мозгу апрантифов и прочих малосмысленных профанов наши бессмертные и глубокие истины. Но ведь этим людям даже дар обобщений неведом: как накормишь твердою пищей не имеющего зубов? К тому же не секрет, что собрания, где вы были гостем уже не однажды, равно как и братские ужины с усердным возлиянием одному Вакху, под рев песнопений, предназначены всего лишь для внешней жизни лож. Собрания и ужины дают возможность свершать необходимый отбор в ложу внутреннюю.

Блистающая, пламенеющая звезда, дорогой брат, единый справедливый компас всякой иерархии, она одна — точный расценщик людей. Что же знаменует она? Жизненную волю и мощь ума, присущие человеку.

Только по количеству и качеству сих воли и мощи делятся братья на градусы. Отсюда правильно, что братья внешних лож не вправе ведать то, что известно братьям, стоящим внутри. Путь же к власти открыт каждому. Пусть только запомнят, что чем выше градус знания, тем больше ответ.

Я не буду спорить с вами, что расчертить в символах совершенную ложу, как это сделано на масонском нашем «тапи», [1] много легче, нежели построить таковую в жизни. Но достойно ли будет вам умыть руки, отойти в сторону от нас, где непочатый

---

[1] Ковре (*франц.*).

край всякой работы, просвещающей не одну нашу родину, а весь мир.

Елагин широко округлил правую руку, знаменуя ею обхват земного шара, потом обнял крепко Новикова и закончил с отеческой лаской:

— Сколь ни плохи вам кажемся, мы все же по праву поем:

Чувство истины живое нас в священный храм влекло,
О стремление святое, сколь ты чисто, сколь светло!

Такова голубая Иоаннова ложа, цвета лазури неба. Но не говорите мне ни радостного да, ни горестного нет, — заторопился вельможа, оправляя на груди кружево, смятое объятиями. — Выдержим некий срок!

Елагин подошел к стене, повозился, нажимая то тут, то там в одном из знаков Зодиака, пока не раскрылись дверцы шкафика, из коего он достал рукописную тетрадь. Трижды облобызал это орденское cahier[1] и передал Новикову. Выпрямившись во весь рост, слегка поклонившись, торжественно и придворно, Елагин сказал:

— Вступите в наш орден, дорогой брат, и тотчас увидите сами, где ваше дело лежит!

Новиков раскрыл было тетрадь — Елагин тотчас остановил, зажав дружески руками в перстнях и ниспадающих кружевах его сухую руку в строгом темном рукаве.

— Вы подробно рассмотрите дома. Оставшись ныне наедине, до раскрытия сей тетради и углубления в смысл оной, вы пересмотрите, дорогой брат, всю деятельность вашу, столь всеми чтимую. Увы, ни для кого не секрет, что угроза, помещенная в журнале императрицы, в том, что в нашем отечестве умеют сатирику «рога обломать», приведена на вас в прискорбное исполнение. Отечество наше явных умников не выносит, — подчеркнул Елагин, — и вот вопрос: что же таковым остается? Либо ума своего отместись, либо второе — умнику явному стать умником тайным. Итак, раздумывайте и решайте...

До четырнадцати лет Новиков жил в родительском селе Авдотьине, Московской губернии. Жизнь текла как спокойная речка: в благочестии дедовских правил, с невинным разнообразием выездов на коломенскую ярмарку.

При Петре отец служил во флоте, потом перешел в гражданскую и при Елизавете умер статским советником. Состояние скопил изрядное: двум дочкам в приданое и подспорье сыновьям — старшему Николаю и Алеше.

---

[1] Тетрадь *(франц.)* — в данном случае символ веры.

По пятнадцатому году свезли Николая в обученье в Москву. В дворянской гимназии при университете он пробыл во французском классе три года. Преподавание здесь велось не знаменито. Отданный в ту же гимназию Фонвизин любил рассказывать, как он получил медаль за то, что, спрошенный, куда впадает Волга, чистосердечно ответствовал: «Я не знаю». Экзаменованные же перед ним ученики пренахально направили Волгу один в Черное, другой в Белое море. Немудрено, что в подобной гимназии Новиков учился без усердия. Наконец он исключен был за нехождение в классы и леность, о чем и пропечатано было в номере тридцать четвертом «Московских ведомостей» того года.

По решению университетской конференции имена ленивых учеников предавались гласности, дабы исправлять нерадивцев позором. Новиков был пропечатан на странице «Ведомостей».

Григорий Потемкин учился с ним вместе. Странно, бок о бок — и столь разная пошла их судьба в дальнейшем.

В знаменитом перевороте, возведшем на престол Екатерину, оба товарища принимали участие. Новиков, рядовой Измайловского полка, стоял на часах у подъемного моста, перекинутого через ров, окружавший казармы, когда туда подъехала Екатерина в сопровождении Алексея Орлова. Измайловцы приняли присягу и получили много наград. Новиков произведен из рядовых в унтер-офицеры.

Участие Потемкина было значительнее. Он состоял в «секрете» вместе со Ржевским, Дурново и Несвицким и подымал на сторону императрицы солдат. Он же конвоировал из Ораниенбаума в Петергоф карету, увозившую только что бывшего императором Петра III.

Он же был персонально в тот день царицей навеки отмечен еще за то, что смело подал ей свой темляк, сорвав его с сабли. Екатерина была в форме Измайловского полка, но темляка у нее впопыхах прицеплено не было.

По сему поводу, усмехаясь, говорили иные:

— Потемкин — хитрец, уже при первом шаге поспел с матушкой в ногу. Темляком началось — империей кончится...

По иной линии пошли встречи с царицей у Новикова: попав на службу в гвардию, Николай Иванович очень скоро утомился светским времяпровождением, безумием кутежей, роскошью.

Большая перемена произошла в гвардейской службе против петровского времени. Служебного рачения не было, одна лишь забота о празднествах, пышности и каретах. Бедные, разоряясь вконец, принуждены были тужиться, поспевать за богатыми. Считалось зазорным не иметь для выезда хотя бы четверки коней.

Зато заслуги господ офицеров были велики...

Новиков, углубившийся в книги, пополнял с жадностью свое небольшое образование. Скоро утвердилось о нем мнение как о самом ученом среди измайловцев. Посему, когда стали делать отбор молодых гвардейцев в Москву для письмоводства в Комиссии, снаряжен был Новиков.

В Москве он вел журнал общего собрания депутатов для составления Нового уложения и записки седьмого отделения о «среднем роде людей». Читал их лично самой императрице.

— Свобода — душа всего на свете! Без тебя все мертво! — любила в те дни восклицать Екатерина, наполняя восхищенной надеждою сердца, призванные, как у Новикова, к одному служению благу всеобщему.

И можно ль было поверить, если б кто заглянувший вперед рассказал, что монархиня, именуемая «Минервой на троне», всего через короткий срок времени, при назначении хотя бы Вяземского генерал-прокурором сената, с такою же обворожающей улыбкой скажет: «Российская империя столь обширна, что, кроме государя самодержавного, всякая иная форма правления ей просто вред».

Обнаружилась подобная же двойца и в самом главном — в вопросе о крепостных. С одной стороны, говорено было: «Противно христианской религии и самой простой справедливости делать людей, кои родятся все свободными, рабами кого бы то ни было». С другой стороны, почти не сходя с места: «Устроить крутой переворот, сиречь освободить крестьян, есть плохой способ заслужить любовь землевладельцев».

Но благодаря работе в Комиссии открылось Новикову все разнообразие жизни российской: ее лихоимное судопроизводство, бесправие гражданское, пропасть между знатью и чернью. И, великой скорбью пробужденная, его честная воля двинулась на борьбу.

Новиков вышел в отставку. Ему было всего двадцать четыре года. Именьице Авдотьино, дом в Москве дали возможность заняться журналом, ибо для борьбы с лицемерием и невежеством он выбрал «умаляющую пороки сатиру».

С первых же листов своих новиковский журнал «Трутень» начал единоборство со «Всякой всячиной» — так окрестила императрица журнал свой, издаваемый под ее руководством Козицким.

«И не чает небось, какая решающая гиря положена ею на чашку весов моей судьбы!» — с горечью думал Новиков про Екатерину в эти бессонные ночи, перед тем как взять решенье, вступить ли ему в третью ступень голубого Иоаннова масонства.

Сейчас, поздно вечером, ходил он большими шагами по своей библиотеке и, невольно повинуясь совету Елагина, пересматривал свою жизнь.

— Пожалуй, права та масонская книга, что давеча принес Кутузов, где говорится о групповых судьбах людей. Как некий микрокосм — малый мир, — в любое десятилетие рождаются связанные своими судьбами души. И будут их линии пересекаться, взаимно уничтожаясь или помогая друг другу расти. Все же вместе определенным соцветием они дадут в истории свой плод.

Признать должно, попался, как мальчик, на посулы вольности, исходившие от сей «Минервы на троне». Не помогли и предупреждения природной острой приметливости. Не однажды ведь, приходя к императрице с вопиющими о праве протоколами безобразнейших дел, бывал поражен ее бездушным расчетом, ее лишенными огня, повелевающими взорами синих глаз. Не раз мелькала догадка, что голова ее — одна бесовская память, мешок пустой с цитатами энсиклопедистов. Слова вольности у нее сами по себе, а власть самодержицы жадна и с вольнодумием не слиянна. Проведение слов в дело ничуть ее не пленяет, и она ответа до странности ни за что не несет. Правду сказать, и учитель ее Вольтер, как бес, изощрялся ей подсказывать свою дрянную, двуличную мудрость. Осуждая строго войны, к ним сам же толкал Екатерину, укрепляя ее в мысли, что она творит «войну ради мира». Писал акафист, величая ее — «пресвятая владычица снеговая», в честь которой он, «старая тварь», слагает гимны.

«Ну, можно ли было поверить всерьез, что понравится ей сатира, глядящая в корень?»

«Беспокойный поручик», — сказала о Новикове своей Брюсше Екатерина, и мнение при дворе, неблагоприятное для дела его жизни, утвердилось. А чуть перехватил — не замедлили «поручика сего» одернуть и прихлопнуть журнал.

Началось с сущих пустяков: продернул «Трутень» светскую некую барыню за то, что та польстилась стянуть в лавке материю. Купец постеснялся срамить даму на людях и явился к ней за материей на дом, она же велела его избить.

Обличение светской дамы при дворе не понравилось.

«Всякая всячина» заговорила о снисхождении и человеколюбии. «Трутень» едко высмеял «Всячину»: из человеколюбия она-де «сшила порокам кафтан»...

Журнальный поединок с императрицей обострялся с каждым номером. Новиков отстаивал сатиру на лица, а Екатерина находила, что задевание особ — по-чужестранному «персоналитет» называется — показывает невежливость и злость того, который пишет.

«Так некие дурные шмели прожужжали мне о мнимом неправосудии судебных мест...»

«Хорошо мнимое», — с особливой горечью подумал Новиков, стиснув пальцы до хруста.

Длинное некрасивое лицо его пылало. Глубокой скорбью смотрели в невские просторы, на редкие огоньки барж его внимательные черные глаза. Парика он не носил и в своем ненарядном кафтане с белым батистовым жабо, с большим носом среди дрябловатых щек походил всего более на некоего лютеранского проповедника.

«Что такое вольтерьянство в стране столь невежественной, как наша? Вот и поняли как снятие всех препон! Усугубилось только невежество, и прибавились доселе неведомые пороки».

Он опять заметался по библиотеке, обставленной полками и шкафами. Давно не отпускающая дума, встречая препоны к осуществлению законному, в нем превратилась в съедающую страсть того высокого порядка, которая знакома основателям новых учений и всем работникам жизни, призванным на дело не личное, а всеобщее:

«Продвинуть отечество к просвещению! Указать лучшую, разумную базу морали, основать ее не только на вере, по-дедовски, а на прочном, имеющем суждение разуме. О, сколь важно не быть в одиночестве для подобного дела».

Мысли Новикова остановились с любовью на Радищеве: сей юный шагнул дальше всех. От его «Деревни Разоренной» как на раскаленной сковородке караси себя ощущали помещики. А матушка императрица, — так из дворца передавали, — ужимая губы, промолвила своей Брюсше:

— Беспокойный поручик опять отличился!

— Можно б поручика и посократить, — отозвалась Брюсша.

И точно сократили: «Издатель — человек с злым сердцем и вреден молодым», — написала Екатерина в своей «Всякой всячине».

Ненадолго помогло и полное лести посвящение: «Неизвестному г. сочинителю комедии «О, время», чье перо «достойно будет равенства с Молиеровым». Как первый журнал «Трутень», был и журнал второй — «Живописец» — захлопнут.

Ныне правожительствует одна безрогая «Древняя российская вивлиофика». Ее при дворе одобряют, императрица одна подписалась на десять экземпляров. Зато подписчиков вольных — свищи! Вот она вся на полу... сия домашняя куча.

Новиков с горькой усмешкой взял с пола одну из груды наставленных друг на друга книжек «Древней российской вивлиофики», развернул ее: описание чина патриаршего шествия на осляти, шествия посольств иностранных...

Но что ж, и то не без цены. Однакоже не про одну древность нам мыслить. Живы мы и живого участия в жизни желаем.

Справедливо сказал Елагин: «Явных умников отечество наше не выносит». Что же, и впрямь соделаться ему же на пользу — тайным?

Новиков взял одну из древних книг масонских в кожаном переплете, снял со свечей нагар, сел в свое рабочее кресло.

«Цель нашего ордена — сохранить и передать некое важное таинство, от самых древнейших веков, даже от первого человека до нас дошедшее. От сего таинства, может быть, судьба всего человеческого рода зависит...»

— Однако кому может быть ведом сей «первый человек»? — усмехнулся Новиков. — Ох, не вышло б и тут как в Большой комиссии: наговорено пышно, а делов не видать.

В дверь постучали. Лакей Софроныч, седобородый, в домотканном архалуке, ворчливо сказал:

— Тут к вам, барин, молодые господа пришедши. Коль задержутся, опять вам работать до петухов! Сказать им, может, что вы почиваете?

— Проси, Софроныч, обязательно проси! — И Новиков сам вышел в прихожую навстречу Кутузову и Радищеву.

— Михайло Матвеевич занемог, и в нашем разговоре, к прискорбию, он не участник, — сказал Кутузов. — Однако обязательно настоял, чтобы нам с Александром быть нынче у вас.

Кутузов многозначительно и неуклюже пожал руку Новикова. У него было тайное поручение от Хераскова: убедить Радищева начать посещения ложи Урании в качестве гостя. При растущей удаче Пугачева слишком опасно было умонастроение Радищева, и друзья забеспокоились отвести его хоть силой в «тайный канал».

Кутузов, до поры хранивший про себя некое важное происшествие, которым одним хотел он в присутствии Новикова сразить упрямство Радищева, с церемонностью указывая на друга, вымолвил:

— Вот удалось-таки отвлечь мне его от суетных забот и, как вы того желали, привести к вам.

Радищев расхохотался:

— Можно подумать, что почтенный Николай Иванович уже есть мастер стула, а ты, Алексис, — брат оратор, извлекший меня из тьмы «черной камеры». Шалишь, братец, я с большей охотой предпочту просидеть у трактирщика Демута, нежели в ваших сборищах постного чина.

Голос Радищева был весел, лицо мужественное, при заметной ныне о нем светской заботе — картинно прекрасно. Тугие, твердо означенные брови были подвижны над яркими, большой жизненной силы глазами. Движения вольны, и все тело его, закаленное в свободные от занятий часы фехтованием, прогулками, греблей, охотой, являло полную контрастность с хлипким высоким Кутузовым, хотя сей последний был в военной форме, а Радищев — в скромном темнозеленом кафтане.

Кутузов, как фанатик, увлеченный изучением «натуры вещей», обычного людям страха не ведал и, будучи недавно в распоряжении Румянцева, стяжал от него заслуженную похвалу в своей храбрости. Сейчас он был в отпуску перед грядущей отставкой и поворотом всех своих сил к его увлекавшим кабинетным занятиям. Вся мимолетная военная выправка, как на время надетый маскарадный костюм, с него то и дело слетала.

Светлорусый, со взором отсутствующим, движениями вялыми, он пребывал в отрешенности от здешнего мира. Только и ждал — укрыться б ему в некую лабораторию алхимиста.

— Друзья мои, — сказал радушно Новиков, усаживая обоих гостей в такие же старые кожаные кресла из зеленой кожи, как его рабочее. — Не будем терять время на предварительное охаживание друг друга и маскировку цели, с коей Херасков, Кутузов и я решили к вам иметь разговор, Александр Николаевич! Я ваше дарование столь много ценю, что с вами хитрить не желаю.

Радищев не однажды задавался мыслью, что́ именно заставляет его так глубоко почитать доверием скромного Новикова. Он не имел блеска талантов. Почти безобразен, не речист. Но этого примечательного издателя книг нечто положительно отслаивало от прочих людей.

В долгих разговорах по журнальным делам, тускловато, не радуя остроумием, как Фонвизин, не обогащая образованием, как Херасков, Николай Иванович Новиков давал глубже и больше, чем они. Не выказываясь сам, как некое незримое солнце, он в другом умел вызывать его лучший цвет.

Все люди оставляли что-нибудь только для себя — Новиков ничего. Его необычная, лишенная малейшего себялюбия огромная воля служить человечеству и была отличная от прочих, иная природа.

— Дорогой друг Александр Николаевич, намедни в большом разговоре с Херасковым уполномочен я вам передать его слезную просьбу — соделаться вам долгожданным гостем ложи Урании. Я сам новичок в изучении масонства, его твердой защиты пред вами вести не могу, но почитаю разумным исследовать и сей умственный канал, поскольку, им пользуясь, можно оказать услуги просвещению отечества... От себя ж самого, как сыну отец, я должен прибавить: пятый лист «Живописца» с вашим отрывком, посвященным горестям деревни Разоренной, ныне у всех на устах. Цитуют его при дворе как весьма опасное ваше умонастроение в виду все растущего страха от подметных листов Пугачева. Помимо того, недавнее ваше примечание в изданном мною Мабли — я разумею ваше вольное разъяснение слова «самодержавство» — по всей видимости надолго пресечет наше с вами свободомыслие в печати.

Новиков прикрыл глаза и умолк, как бы собираясь с новыми мыслями. Все помолчали. Подымая на Радищева темные внимательные глаза, кладя ему руки на плечи, вопросительно и задушевно Новиков сказал:

— Ежели нельзя служить родине через сатиру, умаляющую пороки, как мы с вами сердечно хотели, Александр Николаевич, не попробовать ли нам стать нужными сынами отечества через «тайный канал»?

— Алексей Михайлович, — повернулся Новиков к Кутузову, — что можете вы нам поведать для расширения наших знаний о цели вашего ордена?

— Алексис, я в свою очередь о том же прошу, — сказал без обычной насмешки Радищев, — мой же ответ будет потом.

Кутузов, боясь вскочить и забегать по комнате в ажитации, впился длинными пальцами в ручки зеленого кресла и, как полководец, устремив взор перед собой, глядя на некий вдали предстоящий бой, стал стремительно излагать заветную мысль:

— Цель нашего ордена на каждое время бывает особая. Ныне главнейшее — испытание натуры вещей и через то приобретение новой силы и власти всем посвященным к исправлению рода человеческого. Найти философский камень и панацею — вот священная цель.

— Просим, Алексис, сделать усилие, мы тут собрались не для детской игры... — нахмурился Радищев. — Простыми, понятными словами разъясни извергнутые тобою энигмы.

— Я изъясню.

Голубые глаза Кутузова наполнились радостью.

— Ежели отбросить мудреные латинские и европейские наименования, то суть дела может быть трактована так: алхимики утверждали, что металлы, равно как и все созданное, стремятся к своему усовершенствованию. Известно превращение одного металла в другой посредством примеси недостающего. И что есть для неблагородного металла совершенство? Оно в том, чтобы стать ему *золотом*. Отсюда положение: ежели в природе металлы при благоприятных к тому условиях могут оказаться золотом, то нет для человека задачи достойнейшей — научиться создавать сии условия по собственному произволу. Алхимист должен похитить тайну природы и в короткое время произвесть то, что в недрах земли образуется веками.

При помощи уже найденного философского камня, превратителя камней в золото, найти будет нам возможно и панацею. В теле человека наличествует жизненная сила, коей имя — архей. Все болезни, несмотря на разнообразие оных, производят одинаковое ослабление всей центральной силы организма. И ежели в нужное время будем знать, как усилить ее, сия сила жизни,

сиречь архей, поглотит все болезни. Она сама собой сохранит в экилибре силы человека, создаст вечное здоровье...

Итак, найти философический меркурий и панацею — вот священная цель наших работ. Получив сверхчеловеческую власть, я смогу, ежели на то моя воля, облагодетельствовать все человечество! А потому я вам предлагаю...

— Довольно, Алексис... — прервал Радищев. — Пути наши окончательно разные. Ты хочешь быть благодетелем человечества, а я хочу только его видеть свободным! Не образ гордых, одиноких братьев, достигших над людьми божеской власти, прельщает меня — я озабочен самими людьми.

Радищев подошел к Алексису и, вразумляя, как малого, с невольным укором сказал:

— Разберись честно, мой друг! Намного ль продвинется благо всего человечества, если власть одиночек достигнет предела? Ведь всех-то людей философским камнем и панацеей одарять вы не станете? Ну, какие представишь ты мне доказательства, что, научившись столь прочно владеть другими, неизвестные братья свою власть вдруг уступят? Эх, милый друг, как с освобождением обездоленных крестьян, им все будет казаться, что рано... Чем сильней власть немногих, тем у них меньше желания способствовать освобождению всех.

Радищев, как лев, зашагал по библиотеке.

— Алексис, опомнись! Сидеть взаперти в подземелье, вытягивать золото из дерьма... Когда у нас в зале сената даже статую нагой истины генерал-прокурор приказал символически экзекутору поплотнее прикрыть. Знаем мы с вами, почтенный Николай Иванович, как лицеприятный и насквозь лихоимный наш суд сию истину не только прикрывает — распинает с утра и до вечера. Разве сравнимы наказания, коим подвергаются крестьяне за бунт против нестерпимых истязаний помещиков, и то легкое церковное покаяние, на котором в монастырях отъедаются помещики пирогами? Навеки помню жестокие случаи сенатских дел. Спать ложусь, стоят передо мной все они, измордованные, не отмщенные...

Вот и ты б, Алексис, вместо всяких пентаклей и фигур чужеземных припомнил бы... Вместе с тобой ведь по должности в сенате в подобные дела углублялись. Поражаюсь, каким это манером они тебя в алхимическую каменоломню занесли? Ярославского дворянина помнишь? По отдельным пальцам рубил своим крепостным руки и ноги. Супруги Савины, фон Этингер, генеральша Гордеева? Все сии — маркиз де Садовы приспешники. Пороли крестьян до смерти, с издевкою, солеными таловыми прутьями. Императрица же сим дамам тюрьму заменила инструкцией ихним мужьям: «Наблюдать, дабы не впали жены в суровость», а мужьям строгий выговор: «Впредь не запарывать!»

Что ж ты думаешь: не впадают в «суровость»? Не запарывают пуще прежнего? Кому про это кричать? У кого правды искать?

Нет, сударь мой, не панацея с камнями, хотя б философскими, — одно лишь неслыханное притеснение породить может в людях спасительное для них искупление. Не алхимиста — освободителя Спартака ждут порабощенные.

И оно, косное ваше масонство, не имеет просветительного движения вперед, у вас знатное происхождение все еще в цене выше, чем образованность.

— Остановись, Александр!.. — в свою очередь вне себя вскричал Кутузов. — В сем пункте ты даешь совершенно маху! Не далее, как вчера, в ложе Муз у Елагина произошло некоторое событие, уничтожающее твой упрек. Больше того, сие событие меня нынче двигает, в присутствии столь почитаемого тобою Николая Ивановича, умолять именно тебя, Александр, быть непременным гостем наших собраний.

— Повествуй о событии, Алексис...

— Ты сейчас опрометчиво утвердил, что просветительные идеи масонству чужды, так вот же тебе, Александр: красней и бери свои слова обратно! Намедни перед собранием в ложе Муз француз-куафер, служивший по найму у Елагина, явился перед братьями и потребовал, чтобы его допустили в присутствие. Он предъявил свои грамоты, правильные и достаточные, из коих следовало, что он рыцарь высокой ступени.

— Весьма заинтересован ответным поведением на сие заявление Ивана Перфильевича Елагина, — взволновавшись, сказал Новиков.

Глаза Радищева горели нескрываемой насмешкой, и только желание выслушать до конца удерживало его заявить одно, мгновенно пришедшее, смехотворное соображение.

Кутузов же, впервые чувствуя себя в учительном положении относительно пересмешника-друга, начальнически сказал:

— То, что Елагин не оказался на высоте, дает новую власть в руки наши. Мы, впитавшие просвещение ансиклопедистов, будем насаждать в ордене равенство. Тем более нам важно объединиться, итти рука об руку...

— Говори, Алексис, по порядку, — оборвал Радищев, — как именно повел себя вельможа в ответ на заявление оного необыкновенного, высших ступеней, куафера?

— Как повел себя Елагин? — привстал Новиков с кресла.

— Сей вельможа был весьма недоволен. Не скрываясь нимало, он тут же публично стал обвинять французские высшие ступени посвящения, к которым без разбора допускаются всякого звания люди.

— Неужто Иван Перфильевич таков? — с огорчением вырвалось у Новикова. — Не через него, видать, идет путь к истинному масонству.

— Теперь выслушай меня, Алексис, — сказал строго Радищев. — Заявляю твоему легковерию, что сей паришных дел мастер, носитель высших рыцарских ступеней, не кто иной, как наш старый знакомый по Лейпцигу — куафер Морис. Этот загадочный персонаж, игравший неказистую роль в совращении нашего бедного Середовича разыграть тень покойного бюргермейстера Романуса, мне не внушает никакого доверия. За отсутствием встречи с тобой, в моих разъездах по случаю сватовства, я не удосужился тебе рассказать о внезапном посещении Середовича.

Радищев рассказал подробно о Власе, и Кутузов так горячо принял к сердцу плен старого дядьки, что тут же поклялся непременно его разыскать и разоблачить все козни Мориса, если действительно окажется, что парикмахер Елагина и он — одно и то же лицо.

— На сегодня экилибр моего духа нарушен, и дурная бесконечность начал хаотических затмила ясность суждения. Я прощусь с вами, друзья мои...

На пороге Кутузов, вдруг побледневший, мрачно прибавил:

— Но весьма возможно и то, что елагинский куафер и парикмахер Морис — всего лишь фикции, выставленные духами зла, дабы воспрепятствовать вашим ясным умам, дорогие друзья, служить делу нашего ордена. Ради вас буду бодрствовать и поститься.

— Несчастный Алексис, — с горечью вымолвил Радищев, — от природы меланхолический и склонный к мрачности нрав его околдовался до потери здравого смысла. Быть может, есть какое-нибудь иное, правильное масонство, служащее подлинно возвышенным целям улучшения человека и жизни, но во всяком случае это не то, куда зовут меня Алексис и Елагин быть гостем. Здесь отсутствует всякий дух истины. Доказательство налицо — гибель бедного Алексиса. Прощайте, дорогой Николай Иванович, я уезжаю в Саратовскую губернию, где ныне развернулись кровавые события. В имении отца моего — пугачевцы. Защита младших братьев, изучение на месте правдивых причин, почему беглый казак, заведомый самозванец, поднял вокруг себя города и селения, — мой неотлагательный и священный долг.

Новиков горячо обнял Радищева и, оставшись один, еще долго ходил взад и вперед по громадной своей библиотеке. Ему с полок мелькали знакомые обложки им изданных книг и журналов, и домашней кучей лежали неубранные кипы «Древней российской вивлиофики» на полу.

— Да, пообломали сатирику рога! И в масонство подлинное тоже, видать, не пробраться...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Через десять лет после восшествия на престол Екатерины были присоединены воеводства — Полоцкое, Витебское и Смоленское.

Иезуиты, повсеместно изгнанные, нашли себе радушный прием в России. Екатерина, не сносясь с Римом, самовольно назначила епископом латинских церквей в Белоруссии Сестренцевича. Литвин по рождению, реформат, принявший католичество и поэтому отнюдь не фанатик, Сестренцевич отмечен и выделен был императрицей после великолепно им сказанной проповеди по поводу неудавшегося покушения на короля Станислава Понятовского. Покушение организовано было патриотами, недовольными этим «московским ставленником», бывшим фаворитом Екатерины. Назначая Сестренцевича, Екатерина давала понять самому папе, что латинская церковь в ее владениях обойтись может без его участия.

И когда наступил для иезуитов ими названный «адский год», когда появилось бревэ[1] папы Климента о закрытии их ордена, Екатерина не допустила обнародовать это постановление в России, не желая позволять Риму распоряжаться в ее владениях.

Политический шаг был очень умен: иезуитов на русской земле со времен Батория оказался целый миллион, и все их сердца были ею завоеваны.

Двум крупным лисицам оказалось выгоднее быть в союзе, чем во вражде. Иезуитский орден стал опорою нового трона.

Лейпцигский куафер Морис, елагинский парикмахер с дипломом высшего рыцарского посвящения, он же подручный кардинала Анджолини, посланный в Россию по делам иезуитского ордена, к Потемкину ехал с волнением.

Благодаря принцу де Линь, давшему блестящую характеристику временщика, он знал, что фаворит представляет собою какое-то собрание противоположностей, где качества драгоценные и безобразные взаимно парализуются. Европейски организованный вкус маркиза де Муши боялся встретить грубость, не подчиняющуюся никаким привычным нормам.

О Потемкине уже ходило много россказней и анекдотов, из которых явствовало, что он человек минуты и произвола. Присутствовало в этой оценке и предположение, что вся разглашаемая стоустой молвой его капризность — лишь ловкая форма, прикрывающая ум расчетливый и дальновидный, а по утверждению Суворова — гениальный.

---

[1] Грамота *(франц.)*.

Цинизм ничего не уважающего человека и привычка русских к своеволию правящих заставили Потемкина, издеваясь над собеседниками, с генералами быть богословом, с попами и архиереями говорить о войне. Будучи внезапно щедрым, своих карточных долгов он не платил. Безумно храбрился в опасности и скучал при удаче. Разочарованный во всем, коль скоро достигал удачи, он уже ею томился и шел с озорством на какую угодно новинку.

«Очевидно, это какой-то скифский Карл Двенадцатый», — снисходительно решил де Муши. Прибегнув к вносящей в его чувства порядок классификации, он успокоился.

Однако никакой Карл Двенадцатый не подошел к тому образу и виду, в каком француз увидал фаворита, когда, передав чопорному слуге в придворной ливрее свою карточку, почтительно был приглашен переступить порог спальни, по роскоши равной спальням Версаля.

Перед Потемкиным лежал последний пугачевский манифест. Опять он сулил спокойную жизнь до века. Помимо креста и бороды, одарял землями лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями без налога и оброка. А дворянам — смерть!

Потемкин сидел лишь в одном шелковом персидском халате и в туфлях на босу ногу. Богатырская грудь его была вся раскрыта и поражала мохнатостью зверя. На восточном низком столике, среди зеркал и великолепных картин, на блюде лежали яблоки, морковь и репа гигантских размеров. Очистки валялись тут же на текинском ковре. Вокруг столика батареей стояли на полу пустые бутылки из-под кваса.

Потемкин пребывал в меланхолии: ежели Пугачев двинется на Москву — конец всякой фортуне.

Когда казачок Филиппка, один к нему вхожий во время черной хандры, передал взятую им от лакея карточку маркиза де Муши, Потемкин спросил Филиппку:

— Как думаешь, принимать мне сего обезьяньего сына?

Дрессированный, как пудель, казачок, зная свое дело, застыл столбом и молчал.

— А гони ты его в шею...

Филиппка кинулся к дверям.

— Стой! — заорал Потемкин. — Маркиза просить вели с обхождением. Французишки, братец мой, знают только слова предпоследние, а мы тут завернем ему по-русскому, по-последнему. Пусть другой раз со своей мамзелью в Парижах смирно сидит да к нам зря не шатается!

Потемкин едва кивнул в ответ на изысканный поклон де Муши и тотчас рявкнул на Филиппку:

— Открой квас поигристей!

Казачок кинулся открывать бутылку, но чуть ее тронул, пробка вылетела сама с треском, и квас фонтаном стрельнул

вверх и залил обитую шелком стену. Толстые разбухшие изюмины застряли в густых волосах казачонка.

Потемкин захохотал во всю могучую глотку, глядя, как Филиппка мотает головой, тщетно силясь вытряхнуть изюм из волос.

Он схватил Филиппкину голову, пригнул ее себе на колени и, как большая обезьяна у своего детеныша, стал искать в его густых волосах.

— Ваше превосходительство... — с задетым достоинством сказал де Муши, так и не приглашенный Потемкиным сесть, — быть может, я не во-время... Быть может, я мешаю вашим государственным занятиям?

— А мне нечем и заниматься-то, — сказал хорошим французским языком Потемкин, вдруг с веселой наивностью поглядев на Муши и намеренно пропуская мимо ушей его едкое замечание. — У Филиппки вшей не оказалось, а изюминка — вот она последняя!

И Потемкин, раздавив пальцами, бросил куда ни попало изюм. Вдруг, подражая изысканным жестам придворного, он привстал и пригласил де Муши сесть на атласное канапе.

— Русского квасу не смею вам предложить, сей квас хорош только для наших желудков!

Не изменяя своей любезности, и маркиз де Муши сообщил, что русский квас он уже пробовал у Елагина, от него заболел и что справедливо, по его мнению, окрестил этот квас один из иностранных путешественников, дав ему наименование «лимонад для свиней».

— Ваши желудки, как и весь ваш состав, весьма субтильны, сие давно нам известно, — сказал, скребя грудь пятернею, Потемкин. — То-то мой предок, Петр Иванович, русский посол в Париже, в свое время заставил вашего короля, коего величали вы «король-солнце», свою шляпу снимать при упоминании титула царского... А у датского короля, простертого в болезни, тот же мой предок, дабы не ронять представительства, на аудиенции потребовал себе диван и растянулся с ним рядом. Но что в наших потребностях домашних и в частной жизни мы — свиньи, замечание ваше близко к истине. Однако запомните, сударь, в любую минуту сия свинья превратиться может в орла. А сейчас, — закончил Потемкин уже деловым голосом, — прошу вас, любезный маркиз, расскажите мне подробно про могилевские ваши дела. Мне помнится, вы только что оттуда? Готов слушать вас с полным комфортом, ибо санкцию на свинское поведение от вас уже получил.

И Потемкин вытянул длинные голые ноги и уперся босыми ступнями в атласные подушки дивана. Пугая Филиппку, он внезапно вытащил свой вставной фарфоровый глаз и опустил его в стакан с водой. Глаз этот, огромный и пристальный, сквозь

воду, странно живой, смотрел на маркиза. И было так, что Потемкин отправил представительствовать маркизу вместо себя свой фарфоровый глаз.

Маркиз принял вызов нарочитой дерзости Потемкина и захотел отпарировать тем же. Насилуя свою благовоспитанность, ставшую ему второю натурой, вместо того чтобы сделать вид, что ничего не приметил, он иронически спросил:

— В каких боях, осмелюсь спросить ваше превосходительство, потерять изволили глаз?

— А ни в каких боях, — ответил просто Потемкин. — Вскочил ячмень, а бабка присоветовала припарки, чего горячей не стерпеть. Я в те поры на докторов осердился, послушал бабку, глаз прикинулся и пропал. Однакоже нет худа без добра: благодаря двухлетней болезни столько одним глазом книг прочитал, что двумя во всю жизнь удосужиться не мог. И работу большую пришлось подымать — ничего, и с одноглазием поднял.

Потемкин растопырил пятерню с ужасными обкусанными ногтями и стал загибать пальцы:

— В синоде помощником обер-прокурора — раз, командовал ротой — два, наблюдал за шитьем мундиров, работал в Большой комиссии по составлению уложения и чорт его знает чего не переделал. Не токмо ручных — ножных пальцев нехватит сосчитать.

— Вы умолчали о самом доблестном — ваши отличия на поле брани! Под Хотином вы поразили великого визиря, при Фокшанах и Браилове — турок...

— Как же, портки растрясли, бежав от Рябой Могилы, — лениво усмехнулся Потемкин то ли с насмешкой, то ли хвастаясь. — Я из поручиков живо перемахнул в генералы. Ныне числюсь член государственного совета. А турок надо совсем вон из Европы! — внезапно гаркнул Потемкин и встал в креслах. Глаз его вспыхнул и разгорелся. В лицо хлынуло оживление, но тут же потухло, и, осев глубже в кресло, он еще выше и задорнее задрал свои ноги. Неотступная все эти дни мысль, произведшая настоящую тяжкую меланхолию, захлестнула всякий азарт: а ну, как Пугачев двинет свои орды на Москву!

И грубо рявкнул на оторопевшего маркиза де Муши:

— Я жду, сударь, доклада о могилевских делах.

— Разрешите прежде всего о делах нашего ордена.

Потемкин утвердительно махнул рукой и, обернувшись к Филиппке, страшно выругался русскими словами.

Развалившись в кресле, Потемкин взял в руки раскрашенную таблицу с изображением российской войсковой амуниции всех частей. Сообщением де Муши он интересовался и потому сделал вид безразличия.

Потемкин догадался, что де Муши и есть представитель враждебной Сестренцевичу истово-католической партии, а значит, явился к нему с камнем за пазухой против врага, Сестренцевича. Предположение оправдалось.

— Наш епископ убедил ее величество, что надлежит ей наложить запрет на ношение членами ордена Иисуса особого, ему издревле присвоенного, одеяния.

Де Муши говорил с печальной вкрадчивостью, опустив глаза. Потемкин, обмерив его стремительным глазом, отметил целиком в своей памяти и, уже не интересуясь им больше, углубился в таблицу войсковых амуниций.

— Я доверюсь только вам, ваше превосходительство, — выдавил голосом де Муши, — епископ Сестренцевич есть тайный враг нашего ордена. Но прошу вас отметить: желая вредить ордену, он посягает одновременно и на умаление власти ее величества императрицы. Его недозволение носить иезуитам сутану и заключает в себе начало запрещения самого ордена. Иными словами, епископ Сестренцевич хочет самовольно запретить то, что самодержавием уже допущено.

— Чай, неудобный костюм при амурных делах сия сутана? — не оборачиваясь от своих таблиц, бросил Потемкин. — И для чести мужчины, пожалуй, обидный.

— Возможно, что для лицемерия профанов сутана не совсем приятна, — слегка улыбнулся маркиз, — но амурным делам, я вас смею уверить, она не мешает нимало. — Значительным тоном подчеркивая важность дальнейшего разговора, де Муши продолжал: — Форма одежды, присвоенная ордену, целесообразна. Она освящена временем и значительностью влияния на умы. Она символ особой корпорации. Мантия, скипетр и корона, атрибуты вашей императорской власти, как и все внешние знаки, ведь также могут показаться излишними. Но политикам известно, что воздействие идеи тем обширнее, смысл ее тем жизненней, чем полней она вылита в форму.

Внезапно Потемкин, обращаясь к одному Филиппке, продолжавшему как столб стоять у дверей, бурно выбросил:

— А на кой чорт мне знать, в штанах или в сутане гулять будет иезуитская шайка, коль скоро Пугачев может двинуться на Москву?

Де Муши понял, что сказано вельможей что-то грубое по его адресу, и с поджатыми губами, потеряв терпение, встал, чтобы откланяться. Потемкин схватил его быстро за руки, пригнул обратно к дивану и, положив перед ним раскрашенную таблицу войсковых амуниций, любезно и быстро заговорил по-французски:

— Долг платежом красен, по нашей пословице; я внимательно слушал, как одеваются ваши, а вам не угодно ль прослу-

шать о наших: штаны у нас в коннице лосиные, им срок положен весьма долог, так что, их сберегая, солдат должен на свои деньги себе делать пару суконных. Убыток несносный, и требовать с него сию трату несправедливо. Притом, сударь, обмозгуйте-ка всю трудность надевания лосиных штанов! Зимой от сих лосин холодно, а летом прежарко. В старину употребляли железные латы, а так как лосина могла больше вытерпеть, нежели сукно, то ему и предпочиталась. Вот, — крикнул Филиппке Потемкин, — француз меня донял сутанами, а я его донимаю лосинами!

Слуга в парадной ливрее, чуть приоткрыв дверь, поманил Филиппку.

— Эй, что там еще? — крикнул Потемкин. — Входи сам, докладывай!

— Ваше превосходительство, гонец от государыни, — крикнул Филиппка.

Лакей раскрыл двери и впустил лейб-казака в парадной форме с пакетом в руках.

Потемкин, побагровев всем лицом от волнения, разорвал мигом конверт и прочел:

«О мой Барбар, скиф, бели медведь, драгоценни Гришифишенька! Злодей Пугачев есть пойман, предан. Поспешай во дворец».

— Парадный мундир, кавалерию! — приказал Потемкин.

И, не извиняясь перед маркизом, совершенно о нем позабыв, Потемкин сбросил с плеч свой персидский халат. Он стоял среди комнаты совершенно голый, смуглый, похожий на чугунный памятник. Камердинер накидывал ловко на огромное его тело батистовую сорочку, кружевом и золотом по всем швам расшитый кафтан. В орденах и бриллиантах, высоко вздернув голову в горделивом парике, Потемкин вынул из стакана свой фарфоровый глаз и ловко загнал его под опавшее веко.

— Карету, чорт побери!

— Но, ваше превосходительство... — вне себя от обиды простонал де Муши.

— А, вы все еще здесь? — И, подойдя к маркизу, Потемкин, не боясь смять регалии и кружева, его внезапно обнял с большой чувствительностью. — Отныне вы желанный гость мой, де Муши, и принимать вас прикажу без доклада. Учение вашего ордена об иерархии мне сейчас будет на руку!

Повернувшись к лакеям, Потемкин сказал:

— Везти тотчас француза куда ему надо, хоть к чортовой бабушке! Доставить лучшими лошадьми и со всеми онёрами. Итак, будем знакомы, маркиз.

Потемкин сделал ручкой де Муши и умчался.

Только не убранное в комнате свинство, развернутая на страницах Екклезиаста библия, разбросанные по ковру бутылки, огромное темное пятно кваса на шелковых обоях одни свидетельствовали о только что бывшей черной меланхолии временщика.

Меланхолия сменилась бурным триумфом.

Маркиз де Муши понял, что пришедший от царицы гонец принес весть о поимке Пугачева. И еще понял он, что сейчас настал час власти и блеска сего капризного русского вельможи.

Несмотря на любезный посул Потемкина и разрешение приходить без доклада, поздно ночью маркиз де Муши писал своему начальнику, кардиналу Анджолини, слезную мольбу отозвать его из варварской этой страны для каких угодно труднейших поручений в землях Европы. Де Муши жаловался, что характер русских ему совершенно непонятен, ибо он основан совсем не на логике, которой подчиняются не только тела земные, но и тела небесные, как правильно утверждал Аристотель.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Еще в октябре на заседании государственного совета слова манифеста, где Пугачев для вящего позора сравнен был с Гришкой-расстригой, были опущены.

Не стоящим раздутия, «скаредным явлением» показалось вдруг и совету и царице нарождение очередного самозванного казака.

Давно ли, допрежь него, на том же деле были пороты два беглых солдата? Их пороли в тех самых местах, где они себя объявили «Петрами», и навеки сослали в Сибирь.

Самый же манифест, предназначенный вразумить население, решено было отпечатать всего лишь в количестве двухсот публикаций. Для обольщенных злодеевой лестью, предполагалось, достаточно будет и сего «всематерного» увещания, чтобы войти в разум и покаяться.

Ясно было, что для прочей империи российской, помимо мест, зараженных «казацкими глупыми гисториями», никакого касательства это новое самозванство иметь не может.

Между тем Пугачев, выступивший всего месяц назад со своим воззванием «встать всем в защиту отечества», уже беспрепятственно занял ряд крепостей и в самой из них сильной — Татищевой — взял пятнадцать орудий и гарнизон в тысячу человек. Кроме этой последней крепости, все подносили хлеб-соль, во всех — ворота настежь, трезвон и присяга батюшке-государю Петру Третьему.

Оглянуться не успели, как Пугачев предерзостно осадил Оренбург. А войск скопил больше двух тысяч, орудий же около ста.

И вот возмущением охвачен уже Урал. Встают рабочие люди — мастеровые, приписные. Крестьяне оброчные, дворовые, беглые без числа. Несметны сибирские орды башкирцев...

И что зазорней всего, как то и дело доносили депеши: «Из войск, противоставленных бунтовщикам, целые отряды переходят к злодею».

Генерал Кар, опасавшийся, что Пугачев от него в страхе уйдет, не приняв даже боя, был сам Пугачевым разбит.

Однако даже поражение Кара пребывало для столицы все еще обстоятельством частным — посрамлением не слишком храброго генерала. Позорное «Карово дело» приказано было «замолчать». Сам же Кар ни допрошен, ни выслушан не был. И матушка, осердясь на непристойность сего события, повелела:

— Ежели в Москве от приезда Кара болтание умножится — обновить из сената указ старый *«О молчании»*.

Нужно было, чтобы полковник Чернышев захвачен был под Оренбургом со своими солдатами количеством более тысячи человек, да взят с легкостью самозванцем город Самара, да осажден Чикой-Зарубиным, злодейским «графом Чернышевым», город Уфа, чтобы заставить царицу дать второй манифест, где Пугачев уже был приравнен к Отрепьеву.

Наконец пробил час — не на шутку струхнули... Перестали жалеть для усмирения лучшие войска. Во главе их поставили полководцев, богатых воинской славой. Беду нельзя было уже замолчать. Беду принялись разъяснять.

На защиту своей опоры — дворян — и страха ради за собственный трон инструкция Бибикову дана была царицей без личин, без придворной утайки. Начистоту.

«Поручаем вам созвать дворянство. Изобразить живыми красками, что в пресечении опасного и поносного бунта заинтересованы их семьи и собственная их безопасность личная, безопасность их имений и самая цельность дворянского корпуса».

Личности, имению, дворянскому корпусу угрожал Пугачев. С кем же он шел? Кто были его приспешнички?

Доносит секретная комиссия, шлют гонцов генералы: помимо своих яицких, оренбургских, илецких казаков, прельщены злодеевой лестью дворовые и оброчные крепостные, заводские приписные и мастеровые. Прельщены все беглые, все кочевые народы — башкирцы, киргизы, калмыки...

Есть, кроме того, перебежчики из регулярного войска, есть поляки и сами дворяне, ума развращенного, как некий Шванвич, злодейский командир над полком пленных солдат.

Страшней всего, кроме казаков, из всей сволочи прочих людей — заводские мастеровые. Ни земли у них, как у приписных, ни домишка. Те, хоть и за триста верст у них дом, а к себе разбегутся. Мастеровых же взять нечем. Не работой ли от зари до зари, когда чуть что — в колодку, на цепь и под кнут?

Вот донскую казачью старшину чем можно купить — подкупили, а «худые» казаки столь запуганы только что бывшим у них усмирением, что сейчас и сами в бой не пойдут.

Если же дать им к тому же с турками спешное замирение — и сам чорт их из хаты от бабы не выдерет.

Голь заводскую и крестьянскую — этих чем взять? Велика и тяжка забота. Можно попробовать хоть ближним рабочим от смуты мыслишки отвлечь, хоть тульским заводам заказов дать года на четыре вперед. Можно прекратить постройку дворцов, починку дорог, дабы рабочий люд скопом не жил...

Однако сама знает матушка: худой плотиной реки не унять. А если из реки уж сейчас океан?

Если поднялись не только буйные «худые» казаки, а восстали рабы подъяремные — крепостные? Если заводские рабочие по своему почину против нее пушки льют из наилучшей стали? Если ее генералы доносят, что чернь вся заразою дышит, сбирается в изрядные скопища для истребления дворянства? Если поднялись кочевые народы? Если от Зауралья к самой Москве катят волны великого возмущения?

«Истреблять дворян надо, ребятушки! Истреблять компанейщиков, судей, мздоимцев! Быть крестьянам свободными от дворян. Отобрать у них все угодья!

Коль не отымете их силу, не вздохнуть вам вовек под работой, обидой и податью».

На барщине — шесть дней, себе — один день, воскресный. Дворяне как на земле, так и на фабрике — без милосердия. Суконные, полотняные, винокуренные заводы — все у них. И везде те же розги, кнут, неволя.

Барин девок позорит, барыня матерям велит щенят вместо суки грудями кормить. И вольны каждый миг запороть, искалечить, вовсе жизни решить. В Сибирь сослать могут, лоб забрить не в черед... а подать жалобу некому. По указу недавнему, кто на своих господ подаст жалобу, к ним же обратно будет отдан на суд, сиречь на смертный убой.

Помещик ныне на французский манер хочет одеться, по-французскому тоньше жить. Коль нехватит оброчных — он не чихнет, всю деревню продаст. Хорошо ежели семьями, а не то и всех вразброс, в одиночку. Рядом с продажным скотом и публикацию даст о людишках.

Был крепостному один свет в окошке — бежать. И бежали — в Сибирь, в Польшу, на Дон.

И вот ныне есть иное спасение голому люду — примкнуть к «Петру Федоровичу», справедливому «ампиратору», обещавшему крестьянам в своем манифесте: «землю, рыбные ловли, леса, борти, бобровые гоны и прочие угодья, также и вольность».

Всем итти с Петром Федоровичем супротив бояр — на самую Москву.

А вокруг голи народной, заводских, приписных, беглых тьмы тем степных воинов, с колчанами и пиками, с визгом и гиком на мелконогих, быстрых, как вихри, конях. Накалены биться за землю, за пастбища, за самую жизнь — все у них взято, им терять нечего.

Вся орда управляется из «дворца государева», что в Берде. У входа денно и нощно стоит почетный караул, на стене персона висит цесаревича, сына — Павла Петровича. К Надёже-государю не идут без любимца его Якима Данилина. Много трудов поднять должен Надёжа, а врагов у него сила. Во дворце у него не от гордости — от нужды караул. Раньше срока победного чтобы враг его не решил...

Идет батюшка Петр Федорович мстителем за горькое дело народное, за права сына родного. А полками командуют у него славные атаманы: Хлопуша—Рваные ноздри — заводским людом, рабочими, Чумаков — артиллерией, Иван Наумович Зарубин — «граф Чернышев», во всех делах рьяный, из первых признавший Надёжу величеством, Иван Творогов — казачьего полка Илецкого командир, Мусса Алиев татарами ведает, Кинсля Арсланов — башкирцами, царицын офицер Шванвич — солдатскими пленными, Белобородов с самим Надёжей направляет все движение.

Хороши атаманы, хороши и детушки, да беда — долгих сроков они не выдерживают.

Многоснежна зима, мало хлеба, и к своему какому ни на есть жилью тянет обратно крестьян... Да они ж и не воины! Им ли устоять против натиска регулярных, обученных, снабженных амуницией и конями царицыных войск? И не устояли.

Взял Муффель зимой Самару, а ранней весной взял Татищеву крепость Голицын. Сам батюшка ее укреплял, сам расставил орудия, а судьбы не было.

И пошли вместо побед поражения.

Через два денька разбил Михельсон Чику-Зарубина, под Уфой потерпел поражение на уральских заводах Белобородов. А за поражениями пошло повальное бегство из Берды, дезертирство в войсках.

Вероломно преданы были три главных соратника атамана изменившей старшинской верхушкой: Хлопушу выследил на кратком свиданье с женой каргалинский старшина и, связав его, свез в Оренбург; атаман Торнов доставлен был Михельсону башкир-

ским старшиной Кидрясом. И «граф Чернышев» — едва узнали про поражение войск Петра Федоровича — закован был в кандалы казачьим есаулом.

Совещание сорока старшин послало повинную Михельсону...

Пугачев не имел силы итти на Москву, где его одни ждали, другие боялись. Где, несмотря на пушки перед домом генерал-губернатора, усиленный дозор и разъезды стражи по городу, нет-нет, а пробежит вдруг, как мощное пламя, озорной крик: «Да здравствует Пугачев!»

Не имея иного выхода, Пугачев отступил к югу на Дон, на погибель. На краткий миг, — как пламя большого костра, перед тем как ему угаснуть совсем, — две удачи осветили его мятежный закат.

Неутомимый Белобородов поднял заводы. Башкирские манифесты Пугачева вдохновили башкирцев, кинули их орды на пехоту царицы, и «буйство сего народа было великое».

Расстроив все планы враждебных генералов, Пугачев опять победителем въехал в крепость Осу и взял Казань.

С Пугачевым были крестьяне, рабочий люд, простые жители городов. С царицей — дворянство.

Домашнее дело яицких казаков превратилось в борьбу за права всех народов необъятной страны, в борьбу против государственной власти, полагавшей смысл и значение самодержавия единственно в выгодах личности, имения, всего корпуса дворян, в борьбу против самодержицы, ставшей только казанской помещицей.

Пугачев был разбит в трех боях и начал свое знаменитое отступление на юг, которое походило скорей на триумфальное шествие завоевателя. Восставшие крестьяне кинулись к нему в такой силе, что дан был приказ принимать в войско одних конных. Так велика была эта крестьянская сила, что сам граф Панин о ней написал: «Не так важно истребить и поймать самого Пугачева, как укротить дух возмущения в народе».

Царицын был первый город на Волге, не пустивший пугачевцев. Капитан Цыплетев отбил первое нападение. Приготовились сделать ночью повторное, но, получив известие о большой подмоге правительственным войскам, Пугачев заторопился к Черному Яру. Как грозный поток, пронеслись пугачевцы по линиям оренбургской и уральской и, сметя все заслоны, ордами залили страну. Но регулярное войско, богатое оружием, амуницией, фуражом, не могло не стать победителем и пресечь бег народной волны.

Поражение порождает предателей. Предавать начнут дело народное не черносошные и оброчные, не рабочий люд, а верхушка старшинская и с ней те, кто, отъевшись сам, порвал с горем мирским, кому уж оно не болит.

Сел корабль на мель, крысы первые...

В Царицыне было управление всей царицынской линии, соединявшей Дон с Волгой и состоявшей из земляного вала, который тянется от Качалинской станицы. Вот на этом валу и произошел намедни великий конфуз. И не просто конфуз, а вроде всей судьбы Надёжиной поворот.

На валу там расставлены «маяки». Высокие шесты с наверченным пуком соломы. Зажженная солома давала знать об опасности. Содержание вала и разъездов было заботою донских казаков. Для этого дела при особом атамане в год ставило войско донское более тысячи человек.

Пугачевцы подошли вплотную к валам.

Потрясая под ветром косматой громадой, разгорелся огонь маяка. Вдруг под ним на валу во весь рост встал верзила и богатырским криком пустил вниз пугачевцам:

— Здорово, казак наш донской Емельян Иванович, здорово пожаловать!

Мало ль, бывало, кто лаял самозванцем, кровопийцем-злодеем, антихристом — на вороту брань не висла. А тут и не обидно сказано, да к месту, и вышел зарез без ножа.

Судьба, видно, пришла, и пошатнулась головушка. Когда донские казаки из тех, что передались только что Пугачеву, поближе рассмотреть его захотели, он, вспомнив тот нарочито дерзостный выкрик из-под маяка — «здорово, Емельян», — отворотил с досадой лицо.

Шепотки побежали по лагерю.

— Донской, бают, ихний казак, хорунжим в прусской кампании хаживал!

— От своих харю воротит, чтобы вдругорядь не обознали. Ему некий с валу уже выкрикнул.

Новые сподвижники еще пуще смутились, когда один по одному донцы принялись покидать лагерь, и в стане Пугачева не осталось вскорости ни одного. За донцами отставать пошли и другие. Оставшиеся собирались кучками то тут, то там и тайком почитывали занесенную в лагерь правительственную столичную публикацию:

«Ее императорского величества, государыни императрицы и самодержицы всероссийской, и генерала и кавалера графа Панина, определенного для пресечения мятежа».

В бумаге давалось точное обозначение «злодея, именующего себя здравствующим императором Петром Третьим»:

«...он есть бежавший со службы донской казак. Знают его все донские казаки, ибо он служил с ними в Польше в начале турецкой войны, ныне прекратившейся. Женат он на казачьей дочери».

Приказал Надёжа секретарю своему написать казакам войска донского грамоту позазывней да поуветливей. К их земле подходили...

Секретарь Пугачева Иван Трофимов, склонив набок голову, прищуря один глаз, выводил послание: «Вы уже довольно и обстоятельно знаете, что под скипетр и корону нашу почти уже вся Россия добропорядочным образом прежней своей присяги склонилась».

Секретарь поднял было руку взять росчерк, а Иван Творогов, близко к бумаге пригнувшись, глумливо сказал:

— Было дело, да сплыло!

И, ровно клещами зажав руку секретаря сильными пальцами, стал его высмехать:

— Ай, дурак... оскорбление величеству сотворяешь! Именные указы во всем мире подписывать полагается государю самолично, а не секретарю! Неси тотчас к Надёже!

— Держи карман шире, — ухмыльнулся и секретарь, — не дюже Надёжа горазд пером баловаться-то. Намедни всю бумажку исчиркал и с важностью мне при чужих подает: «Это я по-немецкому вспоминаю, на днях в Сарепту войдем».

Я одну немочку разыскал.

«По-какому, говорю, тут напутано? Можешь понимать, что по-твоему?»

И руками отмахнулась.

— Очень просто, что твоя немка по-немецки читать не обучена, — пряча в бороду лукавство, сказал Творогов. — А ты умей понимать, когда дело тебе говорят. Ужель все разжуй да в рот положи? Небось сейчас высочайший прием? Чай, немало из тех, что в него, как в бога... куй, пока горячо, пословицу знаешь? Как он есть царь Петр Федорович, то по-немецкому, равно и по-русскому пребегло должен писать. Так аль нет? Не каракулям, чай, царей обучают?

— Ну и чорт ты, Иван... — раздумчиво вымолвил секретарь. — Ведь только случился урон его званию, а мы с тобой еще поддадим? Он и то подозрителен стал. Своим яицким менее верит, к сброду пришлому более жмется.

— Коли дуб зашатался — валить его надо! Сам упадет, когда не ждешь, — зашибить может и насмерть...

Ничего больше не добавил Творогов, вышел вон, а секретарь в великом колебании, хоть знал бумагу свою наизусть, — чтоб перед самим собой протянуть время решения, быть ли ему с Твороговым заодно, либо против, — упер глаза в последние строки послания:

«...и будет вам награждение, древнего святых отец предания, крестом и молитвою, бородами и головами. А в случае непокорства за зверские ваши стремления — погибель».

— Гибнем сами, а гибелью грозим! Ин быть так, поддадим жару! — ответил, наконец, секретарь согласием на невысказанное предложение хитрого Творогова и, держа перед собой бумагу, пошел к узорной палатке Пугачева.

— Тайное государственное совещание, — остановил секретаря ординарец. — Ноне будет экстренный большой выход. После выхода и подашь.

«Что ж, — подумал секретарь, — больше народу — больше будет и конфуз».

Из палатки Пугачева все женщины были высланы. На ковре сидели вкруг, по-турецки поджав ноги и посасывая трубки, одни ближние товарищи — Чумаков Федор Федотович, яицкий богатый казак, и Арефий.

Чумаков командовал артиллерией и носил звание «граф Орлов». Присоединился к войску Пугачева после взятия Илецкого города и сейчас последними неудачами был весьма мрачен и о своем спасении озабочен.

— Ну что ж, — сказал он с хрипотцой, поглядывая на Арефия, по обычаю своему прикрывшего глаза веками, ровно в дреме, — все мы тут ровные, над всеми один занесен московский топор. Можно ль сказать без огляда, без утайки?

— Говори, Федотыч, послушаем, — лениво вымолвил Пугачев.

— Нехватает у тебя, что ли, форсу пред донцами? Исконфузил ты нас! — сказал со сдержанной злобой Чумаков. — Заместо того чтобы дело скорее замять, ты еще масла подлил в огонь... от своих, от донецких, глаза отвернул. Разговоры пошли...

— А мне, что ж, для них мономахову шапку одеть? — осердился Пугачев. — Сами, чай, знаете, на Москву за ней сходить надобно.

— Знать, оно, может, и знаем, — процедил Арефий, — но только пока ты с нами в величествах ходишь, мы тебя в чести видеть желаем. И кобыла своего жеребя бережет не за то, что пригож, а за то, что сама его родила. Не сдавать себя должно, вот что! Коль назвался грибом — сиди в кузове. Никакое слово не должно тебя ушибить. А ноне ты ровно девка...

— Устал я, — сказал нехотя Пугачев. — Перезимовать бы в Яицке да весной враз ударить. А то силы вышли неравные. Михельсон не прежним трусам чета, и всё новые войска шлют ему, и все тесней вокруг нас их кольцо. К весне бы свой сброд и мы подтянули, мастеровыми пополнили б.

— Про войска особый будет разговор, — обрезал Чумаков, — в момент требуется твое величество *поновить!* У нас какой ни на есть сейчас сброд, назавтра с ним новый город брать надо. Некий без роду-племени ими уважен не будет. Безотлагательно,

тебе говорю, поновить тебя следует. Устрой выход царский и досмотр всем к нам приставшим заметным людям.

— Что ж, это дело, — согласился Пугачев, — обряжайте меня.

В этот вечер Середович впервые увидал Пугачева. Давно понял он, еще дорогой на Волгу, что Арефий, выходит, один из тайных важных приспешников государя. И потому он нимало не удивился, когда тот сейчас вместе с ближайшими вышел из государевой узорной палатки.

— Ну, радуйся, старичок, — сказал Арефий, — завтра и на твоей улице будет праздник. Спрос на язык твой немецкий имеется. Мотри, не ударь лицом в грязь. Я Надёже про тебя доложил, — интересуется.

Середович испугался. От сарептских взаправдашних немцев Минкиным четверостишием уже не отбояриться. Окончательно душа ушла в пятки, когда его потребовали к государю.

Весь штаб Пугачева облекся в парадную форму. Яицкие казаки были нарядны: бешметы бирюзовые, малиновые и желтые, у кого из сукна, у кого из шелка. Кругом низких воротников и по борту шел золотой галун. У старшин пошире, у простых победней. На бешмете другой кафтан, до пояса расстегнут, с длинными рукавами, завязанными на спине. Кушаки в серебре, азиатские сабли через плечо. Шаровары широкие — в сапоги, и шапки лихо заломлены.

Пугачев вышел, поддерживаемый с двух сторон смазливыми, ладными девками. А по бокам у него два казака — один с топором, другой с булавой.

На Пугачеве была парчовая бекеша, сапоги красные. На голове шапка из покровов православно-церковных.

«Должно, раскольники поднесли», — подумал Середович.

Особо важным Надёжа ему не показался. Был он среднего роста, широковатый в плечах, узок в бедре, как татары. Лик имел худощавый, с чернявой бородкой. Глаза то тихие, то вдруг острые, с прожелтью, не иначе ястребиные. И по-птичьему зыркануп — туда, сюда.

«А царю негоже б так зыркать, — не одобрил про себя Середович, — царю надлежит не мельтешить глазами, а их упирать с твердостью и, сказать, не мигая вовсе. И не держи его девки — он, почитай, сам к тебе дробью подкатится. Степенности нет!»

— По какому делу? Откуда пристал?

И, не дослушав толком ответа, Пугачев уже кинулся к Середовичу, на коего, нечто пошепча, указал пальцем Арефий.

— Это ладно, что по-немецкому можешь. Значит — толмачом тебя жалуем при нашей персоне. А удача выйдет, в Сарепте губернатором сядешь.

— Да я, ваше императорское...

Куда там! И говорить не дал и рукой отмахнул:

— Свою прыть на деле покажешь! Екзамен нам делать некогда. Вполне доверяемся нашим министрам, — указал на Арефия. Сам на других глаза перевел.

А ведь Арефия нипочем не признать в полной парадной форме! Кафтан в галунах, барашков маленьких шапка высоченная, а сабля на боку кривая.

Только что по своему обычаю и тут хочет мысли свои утаить. Впереди всех стоит ровно, веками взоры прикрыл, сказать — дремлет стоя, как конь. Лукав человек!

За Надёжей знамена веяли: собственного устава белое с алым, полковые — тоже алые да желтые, и самое знатное — голштинское. Знамя, о коем столь много беспокоилась царица. Говорили, что с одним верным человеком то знамя прислал отцу сын родной — цесаревич.

Пугачев был сегодня взволнован и плохо собою владел. Выработанную плавную речь он то и дело сменял своей привычной скороговоркой. Впрочем, тотчас спохватывался, и лицо его, некрупное в чертах, худощавое, с поднятой кверху бородой, раздувалось и тяжелело от важности.

Прием был недолог, заметных людей не много прибавилось. Густой толпой стояли недавно примкнувшие крестьяне, почитавшие батюшку истинно Петром Третьим. Впереди стояли невеликой кучкой перешедшие из правительственных войск вместе с есаулом Крапивиным, преклонившим перед Надёжей хорунгу.

Эти слушали всех внимательней разговор из-за подписи на указе, посылаемом ныне к донцам.

Змея Творогов, выбрав минутку, подтолкнул-таки секретаря Ивана Трофимова, и тот вышел скромненько с походной чернильницей и пером прямо к Надёже. Под лист подписной секретарь собственный локоть в желтом бешмете, как кирпич, подложил.

И змея Творогов, поклонясь, вымолвил:

— К именному, батюшко, полагается завсегда твоя, государева, подпись.

Вспыхнул Пугачев, в упор взглядом сжег Творогова, — знаю, мол, твою цену продажную, — и ответствовал с гордостью:

— Пока не возьму Москвы, своей подписи ставить не буду. Некий самозванный может найтись — неровен час, ее подделает. А на взятье Москвы, ребятушки, — поднял голову Пугачев и широко оглянул всю толпу, — все надежды нам есть, что возьмем! И что именно подает нам надежды? А то именно, что распалился народ наш, что терпеть ему стало довольно. Сам враг про нас в донесениях своих вот как объявляет: нет им сопротивления, нет им препятствий! Намедни в городе Инсаре крестьянин некий назвал себя царским нашим именем — и что же? К нему тотчас

примкнули тысячи, а воевода бежал... И весь город сему самозванцу покорился. Нашего собственного величества от сего дела нимало не убыло, а пример мы на нем получили: сколь велико есть доверие у народа к одному имени нашему. Чует народ, что идем мы за дело его за справедливое.

Пугачев охвачен был вдохновением, его глаза с пламенем и восторгом в себя вбирали толпу. Он верил в то, что сам говорил. И его слушали в величайшей тишине. Уже не природной скороговоркой и не с наметанной, рассчитанной важностью — он сейчас говорил с искренней силой, созданной большим чувством. И как меткие стрелы, вонзались слова его в сердца окружавших.

— Мы, Петр Третий, отеческим нашим попечением наградим всех истязуемых в подданстве у помещиков, наградим свободой вечной и вольностью. Мы не потребуем рекрутских тяжких наборов, ни подушных, ни прочих каких отягощениев. Мы всем возжелаем спокойной в свете жизни. Всем, кроме дворян... С дворянами же поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили, ребятушки, с вами!

Пугачев шагнул, подняв обе руки, как дающий отпуст и благословение пастырь.

— И восчувствуем мы, ребятушки, тишину по истреблении всех народа обидчиков, супротивников. Спокой и радость пребудут с нами вовеки! Так идем же вперед!

— Идем, батюшко, за тобою, идем! — заревела толпа.

В это время, минуя устав, без доклада прорвались сквозь толпу мужики. Они стали перед Пугачевым на колени и сказали:

— С челобитной к тебе, батюшко, от трех деревенек. Примыкать желательно к твоей силе.

— Сколько же будет вас? — спросил Пугачев, сделав знак, чтобы подняли челобитчиков.

— Да тыщонка сыщется. А еще идут к твоей милости все суседские...

Пугачев подозвал Творогова и, торжествуя еще одну свою победу, ему приказал:

— Распорядись, Иван, принимать. Да запомни: сейчас нам с руки одни только лошадные.

— Вот, ребятушки, — указал на челобитчиков Пугачев, — новые тысячи к нам идут, да беда — по походному делу приходится брать одних конных.

И, кивнув на все стороны головой, Пугачев простился с войском и ушел в свой шатер.

Вступила на небо ночь, и развели костры в лагере. Полегли казаки вокруг костров. Разношерстно Надёжино войско: тут калмыки с колчанами и диковинными шестами, где, на приклад бунчуков, на конце словно начесаны гривы на конскую голову. Они в полосатых сине-белых халатах, в высоких шляпах войлочных,

изузоренных тесьмой. У самых знатных башкир на шапке кисть золотая, как куполом, покрывает шапку до круглых краев. Рабочий люд в домотканщине, подпоясаны кушаками.

Вооружены — кто чем: пистолеты, ружья, у мужиков — косы, а то штыки приделаны к рукояткам. Составили казаки вместе пики и, не снимая шапок с красным верхом, придвинулись близко к огню, чутко слушая за собой храп стреноженных лошадей.

У Пугачева еще немало было людей, когда залег он на этот ночлег пред Сарептой, городом немецких колонистов. Но дорожил он по-настоящему одними своими казаками, ядром боевым: яицкими, оренбургскими, илецкими да вот донскими, что быть — были, да все выбыли. Прочих, за исключением заводских мастеровых, не считал даже войском.

— Не ядро они — народ присыпной. Сегодня есть, назавтра по своим хатам рассыпались... пустых щей хлебать.

Затихло в лагере. Полная светит луна ровно, белым светом, как над мертвыми полями битвы. Прохладна августовская ночь. Укрутились воины во что ни попало: в конские попоны и в пустые мешки фуража. Слышней возятся кони, дергая из торб сено, громко жуют. Калмыки и башкирцы зубами скрипят или вдруг взвизгнут — им бой и во сне чудится.

То тут, то там взметнет снопом искры головешка костра — не иначе казак-великан пыхнет трубкою. И держит холодная черная степь боевой лагерь Надёжи на своей широкой груди столь равнодушно, как многородящая, утомленная мать, когда она уже не радуется своим детям, а лишь отбывает повинность кормления.

А над степью ночь темносиняя, и ее исколотый звездами купол с таким же равнодушием покрывает разномастное войско Пугачева, как и казенный лучший дом в городе Шацке.. Там граф Петр Панин сидит у письменного стола в сером атласном шлафроке, украсив свою лысеющую голову французским высоким колпаком с розовыми лентами. Далеко отводя от бумаги, по причине дальнозоркости старческих глаз, свое лицо, коротконосое и ставшее от розовых бантов и серых атласов совсем бабьим, доблестный вождь выводил свою реляцию о положении края, подпавшего лести злодейской:

«Уже за двумя реками, Медведицею и Хопром, коменданты трепещут в крепостях, от отнятия у них крестьянами оных. Губернаторы рассылают денно и нощно курьеров, чтобы генералы с пехотою поспевали через четыреста верст таких комендантов избавлять.

А так называемые полевые команды с осмью пушками отдают себя казакам и крестьянам в полон...

По моему же повелению виселицы, колеса и глаголи расставлены при селениях на казнь».

Письмо это докончив и надписав адрес родному брату своему Никите в город Санкт-Петербург, Петр Иванович перешел к начертанию ордера, где некие строки имели отношение к защитнику Царицына, Цыплетеву.

Сей капитан, как уже графа известили старатели, осмелился самоуправно послать извещение в Петербург об отбитии нападения на Царицын, минуя его, главнокомандующего.

И столь внедрен был военный артикул в почтенного графа, что, несмотря на волнение, охватившее целый край, несмотря на колеса, глаголи и виселицы, которыми он себя сам утруждал, дабы сие волнение пресечь, — он нашел время еще измыслить Цыплетеву в отместку за то, что он ему, графу, «манкировал», ядовитые строки:

«...как донесение ваше отправлено прямо в Петербург, то воздаяние и одобрение столь великих ваших заслуг надлежит вам ждать оттуда же».

Вот и подождет награды теперь Цыплетев. А ты в другой раз не манкируй, не посылай реляции без доклада и апробации прямого начальника!

Не спится Пугачеву. Он смотрит в степь в драное полотнище палатки; по шву оно разошлось. Жрут девки, спят, а зачинить не могут.

Сна нет, и встать неохота. Вот так: побыть без речей, глядеть в степь звездную, как, бывало, в многих странствованиях по степи этак-то глядывал до зари.

Вот он весь тут: среднего роста чернявый казак. Мало ль в станицах таких? Сам знает, что много. Больше того, знает: за то и цена ему, что свой он во всем, от волос, в кружок стриженных, от смольевой раскольничьей бороды... То-то вся сила казацкая, весь их гнев за отнятую вольность, вся их дерзость правду искать без единой препоны могут влиться в него!

И потому, что не одинок он, легко взял на себя имя царское. Не испугался ни бога, ни чорта, ни адских мук, иже «уготованы аггелам его»...

Около раскольников рос, сам, почитай, ихнего толку. А ведь они про земную-то власть разъясняют помудрее попов.

«Несть власти аще не от бога...» — а ее, царицына, власть от кого?

Немка пришлая, без всяких правов на престол российский. Царя Петра, законного, не моргнув, отпятила от престола, убила. Возрастного сына на помочах водит. Кабы вовсе со свету не сжила! То ли это от бога?

Коль бог справедливость имеет, любезней ему должен быть он, как бы там ни назывался, который, когда Москву возьмет,

народу все вольности даст и сына своего не оставит в черном теле...

Пугачев расчувствовался. Уже и про себя, один на один, он привык чувствовать, что и впрямь Павел — сын ему. А сам он всему народу отец. Ни рекрутчины, ни налогов, соль раздаст даром. За Павла ж ответ сама царица перед богом снимет — из двора добежали небось шопоты: боится Павел отравы матери.

Ответ остается ему пред людьми — пред какими, спросить?

Ежели пред своими, перед ровней, мужиками, служивыми, заводскими — так вот не угодно ль: еще на днях из Воронежа челобитчики приходили. От всего мира сельского челом, бумагою били — «хотим под твоей отцовой рукой быть!»

А ставропольские, оренбургские калмыки при занятии генералом Мансуровым Яицкого городка к кому перешли? Шестьсот кибиток с детьми и женами. Все к нему!

— Отеческое твое попечение сим людям, видать, более по душе, нежели царицына всематерняя милость, — сказал тогда Овчинников, делая в том указе экстренное сообщение.

Вздремнул малость Пугачев и тотчас сон увидел, будто все донские казаки ему присягнули, а он их кармазинными халатами с крупным золотым галуном жалует. Дрогнул, снова проснулся, последнее время чуток стал сон...

Принялся думать о любезных и лестных вещах: генерал Ступишин, губернатор нижегородский, шутка ли, из-за него ярмарку закрыть приказал. А Москве какого страху нагнал, будучи еще за тридевять земель от нее!

В Касимов из Воронежа два гусарских полка да два пикинерных двинули. Из Новгорода на подводах лейб-гвардии кирасирский полк привезли. Уставил пред своим домом всю площадь пушками сам генерал-губернатор Москвы князь Волконский. Приказал полиции зорко следить за каждым бродяжкой.

Вот как страшились, что двинется на Москву! И почему в самом деле не двинуться, почему?

Дробно застукало сердце, стало тяжко дышать — откинул входную полу палатки. Спали все в лагере — и войско и стража его.

Вот они — тысячи: сами к нему пришли, сами его хотят. Люд крестьянский, рабочий, солдатчина бессрочная — иногородцы. Да мало ли тут с ними слез, пота кровавого? И не все ль им равно, кто поведет, было б кому вести!

Эх, уж завоеван был целый край, уж арьергард обеспечен, на Москву только двинуться оставалось. Из рук взято дело. Теперь начинай все сначала. Пошатнулась головушка...

Нет, не донской это давеча был казак на земляном валу. Не он выкликнул его имя крещеное. Это сама судьба его одернула:

— Стой, Емельян! Ни шагу дале...

Неудачи ноне пойдут — это чуяла душенька с того самого дня, как он свою «Черную бороду» потерял — орден на лазоревой ленте, который возлагал на себя в наиважнейших оказиях. Сам его выдумал, сам так назвал. Сам же сказал себе: «Отныне это мой талисман. Поколь при мне будет, не оставит меня счастье в боях».

В бога то ли верил, то ли нет, а уж вот в приговор-заговор, в талисман как не верить? И тот орден счастливый был.

Как налагал он ту ленту голубую на свой алый кафтан, при нем одна баба была, очень ему нравная. Она же, та баба, дуро́м и воскликнула:

— Ой, батюшко, твоя смольевая бородушка что солнце на лазоревом поле!

А тут енералы:

— Как прикажешь твой новый орден назвать?

Был в веселом духе, сказал:

— Чай, нам не гербовники тормошить. «Черная борода» — вот мой орден.

Так с тех пор и пошло.

Потерялась эта «борода» вместе с шкатулкой, полной других регалий, аккурат после разгрома под Троицкой и бегства по линии. И в самый тот день, как столь лестную похвалу от самого Михельсона привелось получить.

Близ деревни Лягушиной Михельсон, выйдя из леса, увидал на поляне в пяти верстах тысячи две его войска. И что же? Ведь обознался — за регулярный Декалонгова генерала корпус принял. Разведчик перехваченный рассказал. То-то было потехи!

Со зла как буря Михельсон налетел. На него же киргизы ответно. Сразу было подмяли, однако не в добрый час молодцы к орудиям кинулись. Их тут сам Михельсон с изюмскими гусарами да на свежих лошадях и настиг.

Сытно воспользовался Михельсон. Оставили у него последнюю пушку, шестьсот убитыми да четыреста взятыми в плен. И вот тогда-то утратилась и «Черная борода».

«Мой был талисман; нонче, видать, суждено, чтобы еще чей иной! У казаков наших мало ли черных бород?»

Уже донцы поотстали, — на что он им, коли стал неудачлив? Ужель и яицкие свои не тверды? Обидно...

Вот Иван Творогов напирать вздумал, чтобы сам указ подписал, а тогда, при удаче, небось и пикнуть не смели. И грамотой не пеняли, пока его сила была.

Казак Иван Шундеев да Григорий Туманов от его имени какие приказы писали башкирским старшинам! О наборе людей, лошадей, о немедленном их представлении. И представляли. А подмахивал именные кто? Да все Иван Творогов. Сам только

печатью тискал с царской персоной на сургуче: дескать, «нашей короной укрепить соизволили».

«Оно, конечно, от своей судьбы не уйдешь. Однако, может, еще не судьба погибать-то? Может, еще выскочу? То ли бывало?»

Из Берды бежал с горсточкой и под Сакмарским городком, почитай, голый, а была судьба — и собрал в Башкирии новую силу.

Припоминать стал особо удачные дни на Авзяно-Петровских заводах и Белорецком. Вот если б там сейчас отдохнуть да со свежими силами... Бывали дела: всю святую неделю там просидел, чтобы Щербатова с Михельсоном со следов сбить, — и ведь сбил. Кроме того, впридачу Башкирию поднял!

Как снежный ком, что с горы катится и сам собой в гору растет, табун за табуном скопились наездники. Свои следы пожарищем намечали, чтобы врагам было нечем разжиться, мастеровых с собой брали, и становились они первыми воинами у Хлопуши.

В Магнитной пробыл два дня. Усилен был приходом Белобородова с новым скопом и Овчинникова со своими яицкими.

А команды царицыны нипочем настичь не могли. И невдомек им, почему у них кони с ног валятся, а мы все на рысях впереди. А разгадка-то вся в мужичках. В каждом селении нам свежие кони готовы, и не силком, от своей воли люди готовили — так-то! А царицыным ни за кнут, ни за плату нету коней! Под кем, значит, люди-то быть хотят? Под ее высокоматерней милостью, то ли под нашим справедливым, под отеческим попечением?

А верстах в двух от Троицкой ведь чуть было не погиб! От кого? От некоего поручика Петра Беницкого. Опять пришлось с пятеркой своих от Декалонгова генерала бежать. Поручик тот горячий — в погоню... уж вот он, шагах в десяти. И морда коня вороного вся в пене, храпит конь, а сам поручик — как на картинах рисуют — белый, ровно мел, рот открыл и визжит, очень ему живьем схватить хочется. Шалишь! В тот час судьбы еще не было, чтобы схватить.

А какие полководцы супротив меня воевали?

Князь Федор Щербатов — он крепости брал в Крыму: Керчь, Еникуль; князь Голицын, Фрейман-генерал, что донцов усмирял. Еще Декалонгов, сейчас вот Михельсон. А над Михельсоном — граф Петр Панин, и с фронта вызван сам Суворов.

Больше всех нравился Михельсон. И любил просматривать его стратегию.

— Учусь я у сего полководца, ребятушки, как царь Петр у шведов учился!

Нет, решительно не спалось в эту ночь. Звезды, что ли, мешали? Словно любопытные соглядатаи, гвоздили они сверху его

и с боков, где разъехались швы дорожной палатки. То ли беспокоило, что «язык», словленный вечером, сказывал, будто пуста Сарепта колония — все ее немцы выехали в Астрахань.

Для отдыха от зловредных мыслей стал прошлый путь Михельсонов просматривать. Все места ведь в памяти, как на ладони. А диспозиция больно занятная была такова:

На Симском заводе Салават, с ним три тысячи башкирцев. Неподалеку, на Салткинском заводе, атаман Белобородов, «безногий енерал», со своей тысячей и шестью орудиями. Михельсону, хоть убей, помешать надо их встрече. А чтоб помешать — кроме Уфы, перейти ему через реку Сим. А там полсотни мостов водой снесено. Ну, работы понтонерам! Да что фуражу с собой надо брать, словом — мешкотное дело! От худой дороги артиллерия поломалась. И главное — все мужички с работы бежали. Куда? К кому бежали?

А прямехонько в наши войска. К нам бежали.

Однако Михельсон взял-таки Симский завод. Вот какого воителя супротив выслали!

И ведь почти так же лестно было сейчас вспомнить, что побил тогда Михельсон, как если б своя была удача. Есть поражение к чести, есть к бесчестию.

Понатерли солдаты портянками ноги. Из-за кого? Из-за «злодея, донского казака»?

Нет, покруче замешана каша!

Не как стадо тупое, не вслепую поднялись люди. Сами знают, чего им добыть себе надо. А что сегодня один поведет, а назавтра другой — не в поводыре теперь сила.

Тихо в степи. Смотрят звезды в палатку — молчат. И пред необъятной степью необъятна и гордость в душе.

Что б дальше ни было, уже не забудут люди его. В целом мире знать будут. Царь Иван Грозный под Казанью семь лет простоял, а у него Казань в три часа пеплом покрылась! Какую силу поднял! Какая сила за ним пошла!

И в случае даже теперь будет конец? Так не делу ж народному. Что ж до имени, то имя взятое, как до него брали и после возьмут.

Но делу конца быть не может: сырые дрова вовек не раздуть, а в сухостой искру кинь — и готово. На пожар все готовы: рабочий люд и крестьянский. Про степных речи нет. Только гикни — пять, десять тысяч коней двинут в бой! У них и старшинам и голи — всем под царицей петля.

И вспомнив, как только что потрясли ребятушки лагерь дружным криком: «Веди нас!» — Пугачев почувствовал прилив силы необыкновенной.

— Повоюем еще!

А снесут голову, а уймут черную бороду — мало ль найдется новых черных бород!

Хоть и не спал, а ровно в реке искупался — успокоила степь. Необъятная и широкая, и над ней купол велик густой ночной синевы.

«Да что тут загадывать? Хоть день — да мой!»

Дрема смежать стала очи, и Пугачев зашептал не «вотчу», не «богородицу», а понравилось — еще мальчишкой был — дьячок в церкви непонятно некое читал. От тех слов океян вставал волнами. Катились мерно, одна за одной, тяжелые, ровные: «Многочастно... многообразно...»

А что именно, дальше Пугачев никогда и узнать не пытался. Заснул он крепко и снов не видал.

А тем временем в дальнем углу лагерей, за кибитками и палатками, в укромном месте, под огонек небольшого костра велось своим чередом заседание.

Один из перешедших в Алатыре солдат, с недавно остриженными, мукой напудренными пуклями, уже не бритый, но и не поспевший запустить казацкую бороду, держал в руках недавно выпущенное воззвание святейшего синода. Вокруг солдата сидели фигуры, сказать — набранные из театров. Кто в свитке и барских лаковых сапогах, кто в дворянской бекеше и лаптях, третьи, хоть одеты правильно, по-казацки, однако морды, как у читавшего солдата, в мелкой щетине, выдавали таких же недавних приверженцев регулярных царицыных войск. Озираясь по сторонам и снизив голос до шопота, солдат читал по-дьячковски нараспев:

«Православныя всероссийския церкви архимандритам, игумнам, пресвитерам, дьяконам, монашествующим и всему причту.

«Видите вы, что дьявол нападает на стадо Христово и нашел свое оружие — злодейственного разбойника, врага отечества и церкви, донского казака Емельку Пугачева, который попрал своими делами веру, закон и отечество, дерзнул присвоить священнейшее имя государя и приобщается последователям антихриста.

«...Мы с сожалением взираем на некоторых, что они, приобщась оного злодея клятвопреступлениям, навлекли на себя погибель вечную, уготованную сатане.

«Страшно есть впасть в руце бога живого. Страшно услышать голос: отыдите от меня, проклятии, в огонь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его. Не верьте ж ему!..»

— Ой, братцы, точно, не верьте ему!

Солдат воскликнул вдруг, вне себя, в полный голос. Но тотчас он, устрашась, пригнул голову и дошептал трепетно:

— Братцы, ниспровергнуть сего злодея надобно!

— Вот истинно, — сказал один, — как бы с ним и нам оными проклятыми не оказаться.

— И точно... в столицах нас не похвалят, — подхватил печальный некий в бекеше, — а Надёже здешнему да как бы не вышел скорый конец.

— Генералы царицыны его со всех сторон теснят, — зашептал тот солдат, что читал синодское воззвание. — Сам Суворов, слыхать, в свои руки дело берет. Кто, братцы, устоять может супротив Суворова? И опять рассудить: ужели все, как один, генералы и сам граф Панин на законного государя Петра Третьего подняться могут?

— Вся повадка царя здешнего, — загнусил вроде бабы некий обвязанный, не по своей воле приставший из торгового ряда, — вся, говорю, повадка обличает, что он миропомазанных родителей никак не имел. А предал свой живот ослушным яицким казакам. Он на них озирается, ихней воле супротивиться не может. Хочет сам на Москву, они тянут его на Яик! И главное дело — петляет он, ровно заяц, от царицыных генералов. А куда допетляет — неведомо. До конца дело его дойдет, небось не нас — себя одного спасать станет. Вот и надо б самим о себе схлопотать...

— Да вот, к примеру, у нас назавтра город Сарепта, — перемигнувшись с торговорядским, сказал солдат. — Она, слыхать, колония, и жители в ней немцы. Непьющие все, хозяева — первый сорт. Вот хоть бы к ним в батраки стать. Что у них садов, что бахчей! С горчицей на сотни десятин развернулись, самим уж не справиться — наймают. Из семени масло жмут, из жмыхов горчичных муку мелют. Которые семя обрушивают, у тех мука желтая, что песок. Горчицей славятся.

Середович был у костра. С ужасом осмыслил он наконец, куда и к кому попал с пьяных глаз и что в будущем его ожидает.

И порешил тут же твердо: от Пугачева отпятиться, остаться в Сарепте. Тем более что из-за Минны ему теперь все немцы стали родней.

Занятый своей мыслью, Середович уже в пол-уха слыхал, как один из сидящих, внезапный защитник Пугачева, вдруг вымолвил:

— А генерала Бибикова конец? — начал он нерешительно.— Это понимать, братцы, надо... Так сплеча не рубайте. Не царского, дескать, корня. Что чеснок с солью батюшка уважает более дворянских всех разносолов, так у него это обычай от плохой жизни остался! Мало ль претерпевал... от врагов скрывался? А чем он вам не царской повадки, когда в красном кафтане с енералами выйдет, на коня своего сядет, а не то артиллерию наводить примется?

— Чего раскудахтался? — прервал солдат. — Коль начал про Бибика-генерала, кончай, кака така смерть ему вышла.

— А такая, что как съехался с батюшкой он вплотную, как узрел точную персону цареву, так и познал, что он есть точное величество. Потому покойного императора этот Бибик еще живьем видал. Устрашился Бибиков, поднес к устам своим пуговицу с крепким зельем и тут же помер.

— Чего же это Михельсон не устрашится твоей царской персоны и как поближе подойдет, тотчас ее и побьет? — насмешливо спросил голос.

— А Михельсон — немец, ему православный царь — что антихристу, — упорствовал защитник в домотканном кафтане.

— Да ведь сам-то твой Петр Федорович немец был!

— Ну, уж за это тебе и по харе смазать не грех! — обиженно сказал кафтан. — Православными немцы вовек не бывают.

Шестого сентября переправился через Волгу Суворов, и, преследуемый, вернее — окруженный со всех сторон правительственными войсками, Пугачев попал в западню. Суворов, противоположно медленной пышности Панина, двигался стремительно, налегке, в походной простой одежде, и уже одна эта устремленность действовала как победа.

Суворов поставил семь гусарских эскадронов охранять переправу через Волгу, стянул к Красному Яру полевые команды. Дундукову с его калмыками приказ дан был разъездами охватить всю степь до Эльтонского озера.

Куда было бежать? Куда было податься?

«...Обнимайте бдением вашим, — писал Багратиону Суворов, — Кубань, Дон и калмыков, воображая себе побег Пугачева могущим быть и к Тамани».

Насколько власти недооценивали силу движения вначале, настолько сейчас, при конце его, проявили военный азарт. Отрезанные от передового отряда, войска Пугачева, как вода, пролитая в песок, всасывались обратно в гущу народную, предоставляя «пятого» или «десятого» — где как постановлено было начальством — виселице, глаголю, кнуту графа Панина.

И к Тамани Пугачев не бежал. Он отступал к Узеням. Голова его оценена была в пять тысяч рублей, доставка живьем — в двадцать пять.

Пугачева собственные приспешники-енералы, спасая свою шкуру, вот-вот возьмут голыми руками и передадут властям: только и будет труда генералам в поднявшейся сваре, что определить, кому принадлежит часть первая в низложении «злодея».

Пугачев горевал об утрате своего ближайшего войскового атамана Андрея Овчинникова.

Приближенные утешали его, как умели: ведь это мы тебя государем нашли, ведь это мы тебя возвели!

— А эдаких Овчинниковых и в глазах не было...

— Овчинников позднее явился. Когда его и чорт не знал, были мы.

Обижались казаки, что полюбил Надёжа Овчинникова и с собой за стол сразу вздумал сажать.

Жалел Пугачев и о том, что под Черным Яром весь утратил обоз и двух дочерей малолетних. Ехали они за ним следом в коляске, где в хитрых тайниках вся его казна и все драгоценности были заделаны.

На косогоре перевернулась коляска, так и осталась лежать, не до нее было. Всяк спасал свой живот.

Сейчас вот таскались по холодным, на зиму ставшим степям. Почитай без воды и без хлеба, и томились смертельно.

Ночью сделали совещание. Пугачев было встряхнулся. Как бывало, орлом предложил:

— А ну, детушки, в Запорожье? В Сибирь? К калмыкам? Не наберем, што ль, людей? Не впервой нам...

Казаки были хмуры... Сидели молча, уставя очи в брады. Как дикие кабаны, наготовя тайно клыки, протвердили одно:

— Нет нашей воли итти!

— Переменились, выходит, местами, — усмехнулся Пугачев, — поводыри ноне вы, а я — замиренный медведь. Ин ладно, куда поведете, туда и пойду.

Казаки упрямо сказали:

— Нам желательно только вверх, к Узеням.

Оглянул всех Пугачев:

— Мало ль вместе городов брали, пиров правили, знали дни красные и превратные?

Не смотрят казаки в глаза.

Бесконечная тянется степь. Снег повыпал.

Степной снег был без жалости и — под недобрым ветром — колюч. Снег обидно заплющивал очи и седоку и коню. И роптание слышал Пугачев среди спутников на несносное сие мучительство.

На ночлеге в Узенях, когда ушли многие поохотиться на сайгаков, впал он в какое-то отупение. Планов больше не строил, хотя нет на завтра ни боевой цели, ни коням фуражу, ни убежища воинам.

Перебирал в одной не изменявшей ему военной памяти, как именно произошло посрамление под Сальниковым заводом, где, сразу после разгрома Сарепты, его нагнал Михельсон.

Еще пьяный немецкими настойками, но отдохнувший и полный прежней удали, Пугачев прибег к способу нападения, ему не однажды приносившему победу над войском царицы.

Он открыл сразу орудийный огонь по всей линии и вдруг двинул пехоту.

Но изменники народному делу, донские казаки и чугуевцы, с самим Михельсоном ударили в контратаку столь стремительно и удачно, что растерялись пугачевские молодцы и, сколько он их лично ни улещал, все бежали.

Двадцать четыре орудия взял Михельсон и преследовал сорок верст. Пугачев потерял войско, двух дочерей и казну. И погиб друг, Андрей Овчинников. Сейчас у него всего-навсего двести человек вместе с яицкими. И горько ему, что из этих двухсот доверять он может только чужим, а не им, бывшим ближайшим, своим яицким казакам.

Если не мог точно знать, то чувствовал, что они, боевые товарищи, не только неверны — они умышляют против него.

И действительно: казаки Иван Творогов и Федор Чумаков уговаривали всех прочих Пугачева выдать властям. Чтобы раскалить себя, поминали его вины важные и пустые: не мог, дескать, подписать бегло указ, да взятый им сан уронил в глазах войска женитьбою на простой казачке Устинье Петровне, да и мало ли что...

Чтобы остаться им только в своем яицком кругу, заговорщики потребовали от всех прочих спутников Пугачева сдачи коней. Насильно спешенных ими людей они пустили итти на все четыре стороны. И осталась от могучей и страшной орды едва ли дюжина.

Наконец наступил последний день не то что власти — самой свободы Емельяна Пугачева, императора Петра Третьего.

Казаки, пошедшие на охоту, нашли неких старцев в землянках, а при них огород и бахчу спелых дынь. Пугачев пригласил товарищей ехать к тем старцам за пищей.

И как часто бывает как с палачом, так и с жертвой, когда уже оба знают — одному гибнуть надо, другому его погубить, — они в самый последний миг испытуют судьбу: авось пройдет еще мимо!

Пугачев, бывало, устраивал состязания башкирцев и калмыков на лучших отборных конях, чтобы в свою конюшню отобрать победителя, и хранил, как зеницу, коня-молнию на последний свой день, для последнего бега.

И вот почему сейчас он же сам, уже ведая про измену казаков, велел оседлать себе коня наихудшего?

Ведь знал, что идет не с подручными, а с врагами, идет в такое пустынное место, где им всего легче его будет взять.

А почему это Иван Творогов, решивший твердо недавнего друга, сейчас уж «злодея», выдать властям, дабы миновать для своей головы смертной плахи, — почему, вопреки своей выгоде, превежливо стал упрашивать Пугачева взять себе коня *лучшего?*

— Вы такую худую лошадь под себя берете? Неравно что случится, было бы на чем вам бежать!

И Пугачев Творогову:

— Берегу хорошую впредь!

А что хорошего ждало его впредь? Измена, арест, четвертованье в Москве на Болоте?

Подъехали к старцам: Творогов на отличном коне, Пугачев на плохом. Старцы свои души спасали. Они развели чудесные дыни и отказа в них ближнему дать не могли. Повели казаков брать на выбор. Осталось вокруг Пугачева меньше народу, чем в те начальные решающие дни, когда он впервые сказал, распахнув грудь и указывая на рубцы от ран: «Вот они, мои царские знаки!»

И спросил его Чумаков, в последний раз применив к нему царский титул:

— Что же, ваше величество, куда думаешь дальше?

Екнуло сердце вещее. Ведь только что порешили — куда, и снова чинится допрос. И зная, что не дело спрошено, а по умыслу, сказал с неохотой:

— Идем к Гурьеву городку. Перезимуем там — и айда за Каспийское море, подымем орду...

Перебили казаки:

— Хватит нам под тобой воевать! Безмолвные, что ли, мы?

Понял тут: совсем это конец. Отработала на мирской пай его черная борода...

Подошедший сзади казак схватил его вдруг крепко за руку выше локтя. Он не удивился, когда казаки крикнули:

— Отдай свое оружие Бурнову!

— Не дорос Бурнов, ему бесчестно мне отдавать, — сказал с гордостью Пугачев. — Я отдам своему полковнику Федульеву.

И Федульеву, сняв с себя сам, отдал шашку, пороховницу и большой нож.

Посадили казаки Пугачева на его худую лошадь и повели ее под уздцы. Творогов же поехал рядом на своем на лихом коне.

Зажглись глаза у Пугачева и, глядя в упор на былого друга, он сказал:

— Иван, отъедем-ка в сторону, сказать тебе слово хочу!

Отъехали.

— Что пользы тебе меня потерять и самому погибнуть?

Твердо знал былой друг — сам-то он, ежели предаст, не погибнет.

И, не моргнув, выговорил Надёже смертный его приговор:

— Как задумали против тебя, так тому быть.

Рванул коня Пугачев, ушел в степь...

Эх, если б того коня-молнию, что оставлен им про запас!

Ведь вот он... наступил бег последний. И плоха под ним лошадь.

Догнали. Связали.

И бранили его тут, сколько кому на память пришло...

Так показал в секретной комиссии Иван Александров, сын Творогов, любимец Пугачева, полковник и судья военной коллегии.

И спросить: где были верные, те, что не стали б предателями?

Казнены. Пали в боях. Пропали без вести.

Каждый из генералов, одновременно прибывших в Яицк для принятия преданного казаками Пугачева, хотел первым послать весть верховным властям.

Разогнали курьеров с депешами, и каждому было сказано:

— Коль хочешь успеть по службе, обгони всех других.

А за обладание самим Пугачевым поднялся превеликий спор.

Председатель секретной комиссии, двоюродный брат фаворита и однофамилец Павел Потемкин, хотел вырвать злодея из рук Суворова. А главнокомандующий граф Петр Панин, страдавший от лагерной жизни сугубыми подагрическими коликами, почитал за собой одним сие право. Пользуясь своей почти неограниченной властью, он приказал, неусыпно следя за пленным, доставить его в свою штаб-квартиру в Симбирск.

Был придуман надежный способ доставки — большая, отменно крепкая клетка. Так перевозят диких зверей, к которым был Пугачев приравнен.

Пугачева повезли ночью. Двигались медленно. Путь освещали смоляными факелами.

Предваряя картину своего предстоящего эшафота, вознесенного высоко над толпой, Пугачев, далече видный, ехал в своей огромной звериной клетке, сооруженной на телеге о четырех колесах.

В промежутке крепких жердей клетки сверкали под красным огнем факелов два черных с прожелтью глаза на исхудавшем нестрашном, обыкновенном казацком лице. И блестела застывшей смолью неподстриженная черная борода.

Пленника окружал конвой из двух рот пехоты, двух сотен казаков и двух орудий, вывезенных из Яицкого городка.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Граф Панин получил извещение о поимке Пугачева, еще будучи в Пензе. Он в тот же день отправил своего внука, князя Лобанова, радостным курьером к Екатерине.

Матушка возликовала. Лобанов был награжден переводом в лейб-гвардии Измайловский полк.

Панин гордился, что Пугачев пойман был во время его командования. Придворная знать и дворянство торжествовали, что, наконец, казнен будет тот, кто, по словам сумароковской оды:

Забыв и правду и себя
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни
И шел противу естества...

Желая скорее заглушить неприятный интерес к персоне злодея, царица запретила его везти через Казань, а повелела устроить там лишь торжество сожжения злодейской «хари», сиречь портрета, с него писанного живописцем.

На площадь выведены были в кандалах пугачевцы и вторая супруга Емельяна — царица Устинья Петровна, несмотря на горестный поворот ее диковинной судьбы все еще прекрасная лицом и станом.

На малом эшафоте стоял палач при живописном портрете, изображающем чернобородого казака, сметливого взором, стриженного в круг по обычаю.

Чиновник из суда прочел грамоту:

«Секретная комиссия, по силе и власти, вверенной от ее императорского величества, определила: сию мерзкую харю сжечь под виселицей на площади и объявить, что сам злодей примет казнь мучительную в царствующем городе — Москве».

По сожжении портрета под виселицей Устинья Петровна, бледная, краше в гроб кладут, громогласно, якобы без всякой понуки, возопила, что сожженная харя есть точное изображение ее мужа — второженца, изверга, самозванца.

Творогов и Федульев, казаки, предавшие Пугачева, каялись публично в содеянных беззакониях и объявили народу, что они есть те самые, кои во искупление своих злодейств выдали своего главаря-самозванца властям.

Им тут же обещана была от имени царицы замена смертной казни ссылкой в Сибирь.

А в царствующем городе Москве на смертную казнь на Болото повезли Надёжу на высоком помосте на санях. Рядом с ним сидел Афанасий Перфильев. Изо всех приспешников он один пошел вместе до плахи. Невеликий ростом, сутулый, от чего сдавался еще меньше, он был рябой и, как определили при снятии допроса, «свиреповиден».

Выше всех несметных голов, всей Москвы, собравшейся поглазеть на лютую казнь, был этот помост на санях. Пугачев на нем виден был в подробности.

Был он в нагольном тулупе овчинном, бородка смольевая не расчесана и волосы не приглажены.

Глазами, по своему обычаю, он стрекал на народ и ему кланялся низко. С возвышения видать ему было, сколь мно-

гие в народе о нем плакали. И хотя казенные чиновники грозились заплаканных к ответу привлечь, однако, не скрываясь, вслух сожалели людишки Емельяна Ивановича, полагая, что он муки идет принимать за мирское дело, за волю мужицкую.

А в руках у Надёжи были две восковые свечи воску желтого. Колебалось легонько пламя, освещая снизу его лицо, оплывал желтый воск ему на руки, — он не слышал.

Полицеймейстер Архаров, верхом на коне, распоряжался зрелищем. Смотрел, чтобы генерал-губернаторское постановление соблюдено было в точности.

Эшафот непроходным частоколом окружили войска. Одних чиновных бояр приказано было без препятствий пропускать. Дворянам законно увидеть поближе, как будет муку терпеть их заклятый враг и обидчик.

Ну, а подлый народ пропусти — неровен час, может глупостей накричать. Недаром по Москве вечерами неведомых смутьянов крик пробегал: «Да здравствует Емельян Иваныч!»

Черному люду было мало важности, что он имя царское на себя принимал. Не по принятому, по его крещеному имечку вызывали — Емельян.

Эшафот был построен высотой четыре аршина. Обшит он был тесом и заборчиком окружен, ровно в саду городском для музыки.

Вокруг главного места наставлено было со всех сторон плах и виселиц. С их перекладин спускались веревки с петлями. К ним приставлены лесенки, у каждой — ей предназначенный висельник и его палач.

Другие преступники, помельче, кои привезены были только для вразумительного посрамления, повержены были в оковах у подножия эшафота.

Вот подъехали сани с Перфильевым и Пугачевым. Палачи схватили Пугачева за рукава тулупа и поволокли по ступеням наверх. И стал он у своей плахи недвижим, затихший.

Кроме заготовленных висельников, вслед за Надёжей натащили еще немало народу из его близких единовольников. Их, как и его, приставили близехонько к ихним плахам, последнему земному достоянию. И за спиной у каждого, как ангел-хранитель, — палач.

Для казни Емельяна Ивановича, как на большие царские праздники, составлен был нарочитый церемониал.

Надлежало: отрубить ему правую руку, левую ногу; помедлить; отрубить левую руку и правую ногу; напоследок — голову. И в тот же самый миг, как почнут кончать Пугачева, предписано поднять стукотню и на прочих всех плахах.

Одновременность казни надумана в назидание: вместе злодействовали — вместе держите ответ!

Заморил сенатский секретарь чтением долгой сентенции. Верхом на лошади, полицеймейстер Архаров уж и посадку свою ястребиную утратил, сидел курицей, притомился работой за последние-то деньки! И тут и там опасайся, за все про все отвечай!

Знал он: подлый народ — что греха таить — сожалел Пугачева. Ни анафемы митрополичьи, ни царицыны, позорящие злодейское имя, публикации — не помогало ничто.

Кабы сейчас чего не вышло, когда стоит Емельян Иванович на своем эшафоте еще выше над всеми, чем когда ехал на санях, и ждет своей казни!

Чует ли он, как далеко за фронтовой цепью солдат грозятся в народной толпе пустить за него по дворцам и поместьям красного петуха? Чует ли, как ему шлют благословенья умильные, как шепчут губы замученных неволей людей: «За нас, батюшко, муку принимаешь!»

Донесли полицеймейстеру Архарову, что болтовня идет по народу: помилования ожидают злодею. Только сего и желают. Кабы не кинулись отбивать его!

Встряхнулся Архаров, колесом выпятил грудь. Сейчас кончать будут свое дело заплечные мастера, и никому жертвы у них не отбить. Приказ дан — приказ выполнят.

Глянул вкось на царя самозванного: где тут царь? Несметны тысячи таких, как он, на Дону. И чем только взял? Ни осанки, ни росту, ни зверообразного какого обличия! Совсем еще не старый, обычный чернявенький казачишко!

Пугачев один стоял на эшафоте с открытым лицом. Прочим, возведенным ему в компанию, понадевали на голову тюрики — мешки смертные.

Пугачев был покоен, окончив свой бурный жизненный бег.

Архаров подал знак последний, — шагнул старший палач и стал. Бросились подручные старшего палача, как стервятники, на свою жертву — на Емельяна. Сорвали с него белый бараний тулуп, схватили за рукав шелкового малинового полукафтанья.

Последним взором обвел Пугачев несметных людей, и горячо загорелись глаза. Тряхнул головой. Торжеством пронеслось:

«Всех не переказнишь, — будут черные бороды!..»

На старшем палаче один миг задержался глазами. Как своему, как мужик мужику, Пугачев ему глянул прямо в упор...

Встряхнулся полицеймейстер Архаров, — слава те господи! Последний момент. Приказ свыше дан — приказ выполнят.

Размахнулся палач. Сверкнул на морозном солнце наостренный топор и скосил вмиг Емельянову злодейскую голову.

Архаров в ярости дернул коня. Вспрянул конь на дыбы. Обрушил конь со звоном передние ноги на камни мостовой. Изругался в бешенстве полицеймейстер.

Приказ дан, да не выполнен.

К измывательской, к мучительной казни — четвертованию — приговорен был сенатским определением Пугачев, а палач ни минуточки ему не дал помучиться. Палач одним махом снес ему голову, а про четвертование словно забыл.

Нет, не потешил палач чувства мести дворянской. Казнь Пугачева была без издевки, в самый чуточный миг.

Как зверь, изругался Архаров. Словно кнутом, полоснул своей бранью чиновников. И вскричал старшему палачу судейский:

— Ах, сукин сын, что это ты сделал? Рубай скорей руки и ноги!

И старший палач отрубил их уже мертвому Пугачеву.

На железную спицу поверх двух столбов насадили голову Емельяна Ивановича.

И, не закрывая век, смотрел Пугачев на Москву, где, если б ему на нее только во-время двинуться, мог бы не на плахе лежать — на троне в Грановитой палате сидеть.

В миг казни Пугачева выбиты были со своих скамеек все висельники с тюриками на головах. Чуть качаясь, повисли они, как большие дворцовые люстры в белых, на лето надетых, чехлах.

И отметил в своей памяти для потомков очевидец: гул аханья и превеликие восклицания жалости пошли по всей площади.

А старшего палача, заменившего сенатское постановление о позорном четвертовании злодея Пугачева легким и мгновенным отсекновением его головы, Степан Иванович Шешковский, сам первейший в империи заплечных дел мастер, тихонько допрашивал о причинах его предерзкого ослушания.

По своему обычаю, Шешковский ласково окликнул приведенного к нему палача. Осведомился об его имени-отчестве. Засим, подойдя легко, шажочками, вдруг что сил поддал ему в нижнюю челюсть. Таково ловко умел поддавать, что свои зубы вместо ответа на пол сплевывал опрошенный. И кулачком-то хватил господским, не дюже великим, а видать, по какому-то заграничному способу был учен.

— Да как это только, голубчик мой, ты посмел? Ручки-ножки злодеевы пожалел? Раньше сроку головку оттяпал? По какому такому резону?

И, не трогаясь с места, отвечал палач:

— Ошибочка вышла.

— Хороша ошибочка — две руки, две ноги! А ну-тка поближе!

Судьба пощадила оставшиеся зубы старшего палача. Прибыл экстренный курьер с секретной эстафетой Потемкина: «Допроса палачу не чинить, зане акт милосердия свершен по воле самой императрицы. Сего разглашать не следует, но дело прекратить».

С неохотой Шешковский отпустил палача, и язвительный домысел о царице скривил его тонкие губы:

— Сама, чай, первая с домашним философом своим разгласит по Европе о своем милосердии. Ну и ловка же наша матушка, старшего палача — и того обобрала!

С казнью Пугачева, хоть и пришло донесение от секретной комиссии, что наступила в крае «вожделенная тишина», башкирцы не успокаивались. Напрасны были увещевания с посулами милостей и угроз. Салават и отец его Юлай продолжали волновать население. Наконец и вожди башкирские были пойманы, были биты кнутом и с рваными ноздрями сосланы навек в суровый Рогервик.

Потемкин, председатель секретной комиссии, послал царице подданнически и с усердием свое поздравление о спокойствии внутреннем:

«Настало нам время, в которое премудрость вашего величества, блаженство России, счастие подданных великой Екатерины взойдет на горнюю степень».

Премудрость ее величества и вправду решила шагнуть на впредь недосягаемую народным злодейским бунтом высоту. И надежней опоры, чем Гришифишенька, где ей сыскать? Может, и венчаться решила с ним, как тетка Елизавета с Разумовским, только велено настрого: знать про то, да никому не поминать, одним своим ближайшим да протоиерею от Самсония.

С Гришенькой вместе сейчас одна мысль, заветная: оплот такой надо создать, чтобы навек неповаден был подобный пугачевскому усмиренному бунт, и навек забыть страх бессонный, что любым злодеем отнята может быть царская власть, если народ власти захочет.

Потрясло ее пуще всего, что сей неугомонный «враг внутренний» с такой легкостью пошел против. А сорвался однажды с цепи, кто поручится — не сорвется ль еще? Заковать его, запереть на запоры, а дворянам — ключи. Другого выхода нет, как итти впредь рука об руку с новым дворянством, во главе коего он — бели медведь, Гришифишенька.

И не перелистывать уж отныне не токмо нелюбезного сердцу Руссо, даже приятельские Вольтеровы вольнодумства. И забыть все девичьи мечтанья о вольности...

На его, фаворитовой, родине, в Смоленской губернии, предположено впервые открыть новые учреждения. Ими преобразовано будет местное управление и до предела усилена власть помещиков.

Через новые сии учреждения от самого трона до последних глухих углов империи протянуты будут тончайшие щупальцы правительственных канцелярий.

Звено к звену будут подогнаны столь крепкие цепи надзорные, что не токмо самовольству не будет места, а никакой мысли, не любезной властям.

И Паниных честолюбивые замыслы и враждебность родовитых домов — все будет той цепью обмотано.

В долгие ночи с Гришифишенькой, между любовных забав, строится вот какое, государственной важности, охранение самодержавной империи.

«Князь тьмы» — именуют Гришеньку Панины и все иже с ними. Еще бы: провалился навек их прожект о воцарении Павла и себе власть прихватить.

Новые дворяне, новые полицейские чиновники защитят не за страх, за совесть. Защитят ради себя самих ее самодержавнейший трон.

Было время одно — из просветительной философии жали сок, ныне время иное, ныне одна поддержка трону — дворяне. С ними, значит, и счеты. Гришенька — скиф, он говорить любит одними простыми русскими словами: дворянам нужны деньги, нужны земли и рабочие руки, сиречь мужики.

Гришенька прям, как истый солдат: чтобы в казне были деньги, потребны новые войны! Ну и нечего церемониться ни с Польшей, ни с Турцией.

Словом, в долгих разговорах с cher époux,[1] — так его уже приучалась звать в письмах, — вырабатывалось совсем новое управление, где прежним просветительным забавам уже места не было.

Не умирать же ей, в самом деле, за титул: «философ на троне»! Довольно остроумия. Сам учитель Вольтер, как фиговым листком, прикрывает своим вольнодумством не бог весть какую мораль.

Доводы в защиту нового управления приводил Гришенька неглупо, прямехонько в точку: сколь ни велика в количестве сила мужичья, ей не устоять перед натиском войск регулярных. Ведь тотчас и усмирили бунт, едва толком взялись!

И все приходило к одному, как пелось в детской игре: «revenons à nos moutons»,[2] — побольше регулярных войск, побольше завоевательных войн, побольше денег и новых земель!

Новые земли заселит Гришенька беспокойными и беглыми. Солдат заставит кормить хорошо, амуницию им упростит, этим самолично займется, — а дворян поощрит, наградит.

Хитро говорит Гришенька: людишками управлять умеючи — людишки и не пикнут! Отныне у кормила государственного

[1] Дорогим супругом *(франц.)*.
[2] Вернемся к нашим баранам *(франц.)*.

корабля «два богатыря» — Екатерина и Потемкин. Они спасут корабль от бурь и подводной угрозы.

От слов пора перейти к делу.

Что же до гордецов, кои пожелают свободы превыше доходов, чинов и покоя, — нет-нет, а беспокоил вопрос:

— А в случае окажутся не похуже, чем Пугачев, им возможно рога обломать и резвость утишить — кому в крепости, а кому и в Сибири. Мало ль ссылочных мест? Империя обширна.

И мелькала у императрицы в острой памяти одна пустяковая, однако идущая к делу подробность:

«Продолжению «Деревни Разоренной» в новиковском журнале не быть!»

Государственный руль твердо повернут. Потемкиным власть взята, за ним и останется. И царствование Семирамиды Севера прославлено будет первейшим из пиитов.

Что власть останется за Потемкиным независимо от фавора, это скоро поняли все. Масонские круги, дабы сохранить свое достоинство, поспешили противопоставить «князю тьмы», нелюбимому за самовластье выскочке, свое обновленное учение, восходящее через «философа неизвестного» к самым истокам человеческого бытия.

Радищев не мог говорить с Новиковым о потрясших его глубоко событиях пугачевщины и ею вызванных мыслях. Новиков был всецело поглощен своими поисками «истинного масонства». Для этой цели ему неизбежно было вступить в ложу и стать братом внутреннего посвящения.

Случай к этому представился, когда Яков Федорович Дубянский, сотоварищ Радищева по Лейпцигу, подал наместному мастеру ложи «Урании», писателю Владимиру Лукину, письмо, подписанное им и другими членами, с просьбой «конституции» для учреждения новой ложи — «Астреи».

Конституция была получена, ложа торжественно открыта, и Новиков в нее вступил членом.

Пугачевщина потрясла и Новикова. Его глубокой религиозности всякие меры борьбы со злом в форме насильственной были невозможны. Но честность душевного склада, человеколюбие и строгость деятельной воли настойчиво побуждали найти исход, дабы оказано было противодействие безудержному произволу наступающего потемкинского правления.

В своих поисках «истинного масонства» он уже прослышал про Рейхеля, знакомого с только что появившейся в печати во Франции замечательной книгой «философа неизвестного». В сей книге давался разумный ответ на все запросы жизни, общества и души.

По тайным каналам в письмах доходили до русских масонов фрагменты из этой книги, приводившие ум в равновесие, давав-

шие примирение мучительным противоречиям сознания и воли. Книга была «философа неизвестного» — Клода де Сен-Мартена. Ей предназначено было, в дальнейшем сыграть столь важную роль в судьбе русских «мартинистов».

О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ИСТИНЕ, ИЛИ ВОЗЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА К НАЧАЛУ ЗНАНИЯ

«Сочинение, в котором открывается примечателям сомнительность изыскания и непристойные их погрешности и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о происхождении Добра и Зла. О человеке, натуре естественной: вещественной и невещественной. О натуре священной. Об основании политических правлений, о Власти Государей, о правосудии гражданском и уголовном. О науках, языках и художествах».

Идея новой разновидности «тайного учения» была для многих ко времени. Она снимала ответственность за отсутствие решительного противодействия власти там, где совесть и разум этого противодействия требовали, и вместе с тем давала своеобразную и стройную моральную систему.

Главное в этом учении было: человеку надлежит раньше всего стремиться к достижению совершенства личного. При совокупности совершенств персональных само собой, медленно, но верно произойдет отпадение всех зол, созданных богатством и прочим многообразным неравенством людей.

Всякое насильство и кровопролитие в защиту чего бы то ни было вызывают у противной стороны таковой же ответ. Желаемая человеку гармония золотого Астреина века может быть достигнута навсегда только бескровно...

Алексис Кутузов во фрагменте, дошедшем до него из книги «философа неизвестного», в параграфе о звании военном нашел для себя утешительную базу и оправдание перед требовательным другом Радищевым, укорявшим его покорством властям без рассуждений об их жестокой несправедливости...

«Звание военное — первое по порядку, понеже там должность каждого определена. И там не вменяется в стыд быть ниже прочих членов того же тела. Но единственно стыдно быть ниже своей ступени».

Кутузов доказывал другу, что общество военных предшествует всему устроению человечества в грядущем золотом веке.

Новиков же утверждал, что на долю одного лишь просвещения может выпасть славный удел хоть медленно, зато верно продвинуть все человечество в Астреин век справедливости...

К волнению, потрясшему всю страну, у Радищева прибавилось еще томительное беспокойство за свое счастье с Аннет. Ее мать настолько была против сей незначительной, по ее мнению, партии для своей дочери, что, несмотря на вырванное у нее согласие, то и дело измышляла новые проволочки нежеланному браку.

Радищеву удалось выбраться, наконец, из Петербурга ровно полугодом позднее, нежели он собирался. Он поехал в родовое имение Облязово, в Саратовскую губернию, к своим родителям, дабы получить и от них благословение на свой брак с Аннет Рубановской.

Охваченный душевной мукой, близкий к отчаянию, ехал Радищев разоренными землями крестьян, где нищенское их хозяйство, описанное им самим с такой правдой в новиковском «Живописце», выступало сейчас в еще большем убожестве и разорении.

На большой дороге то и дело встречались партии арестантов на канатах, сопровождаемые гарнизонными солдатами. Это последние остатки пугачевских бунтовщиков препровождались в места ссылочные.

То тут, то там указывал кнутовищем ямщик на уцелевшие от панинского усмирения виселицы и глаголи.

Ужасен был вид смертельно изможденных людей: женщин, почерневших от муки, и голодных детей, по милосердию царицы занятых рытьем огромных валов вокруг города и большого села. Заработок их был по приказу: «удобная казне хлебная плата». Дома же они ели, почитай, один желудь да лебеду.

Возможно ли, нося в своей памяти сии расширенные голодом детские глаза и стариковски сморщенные личики, заниматься, как масоны, только «приведением себя самого в приближение к совершенному виду»?

Мучительство выше меры одних и жирное благополучие и бездушность других смогут ли выбраться из своего уродства одним просвещением умов? Мало ль знаем в истории просвещенных злодеев и деспотов?

Нет, обезвредить законами злую волю, не дать ей заедать чужой век, всех сравнять перед судом и в свободном владении землей — вот выход.

Таковы были мысли Радищева, и бессилие помочь безмерности народного бедствия доводило его до душевной болезни. Сейчас он ехал, нечувствительный к прелестям столь любимых просторов ковыльных степей. Равнодушно смотрел, как сквозь желтизну прошлогоднего жнивья обстают дорогу веселые новые зеленя.

Он только горько противопоставлял бессмертное равнодушие природы неизбывному горю людей. И собственное личное

счастье — предстоящая свадьба с Аннет — показалось сейчас чуть ли не беззаконием...

Правда, его безмятежность и в юные годы была недолга. До того решающего часа, пока не потрясено было его сознание мыслью, которая, забрав в себя всю силу его мозга, довела ныне до мучительства...

Было дело во время жнивья: воздвигнуты уже были по всему полю скирды, в которых ему нравилось искать сходство с готической постройкой.

И вдруг молнией пронзила та мысль: крестьяне идут домой, отдав весь свой трудовой день не на свою — на чужую работу! Идут такие же люди, как он, вот поют песни, смеются, но это люди не свободные в своей жизни, счастье, работе, в своем достоинстве человека. Это люди *крепостные*. Их хозяин, собственник, барин — помещик. Он их может продать, засудить, убить, и ответа с него не спросят.

Среди тихого вечера, среди «белокурого океяна» спелых колосьев опалившая сердце молния — вот та единая мысль. Сейчас снова они, эти родные места, после лет учения, службы, после пугачевщины.

За обширным полем дорога пошла вверх по пригорку, крутым спуском прямо к реке. Текла река быстрая, чистая по мелким, сквозь воду видным камням.

Налево тянулся обширный яблоневый сад, огороженный плетнем. За садом белела стволами старая березовая роща.

В деревне было около полсотни изб. Все обитатели знакомы поименно: с кем мальчишкой бегал в ночное, с кем по ягоды. Что они сейчас — Маши, Феклуши, Дуни? Небось все уже матери!

Прямо против двора при самом въезде — три березы, «современники детства». Тут же опять речка в глубоких берегах. И конопляники за избами, крытыми соломой. От конопляников потянуло особым, жарким, им одним свойственным запахом, и Радищев понял всей душой, что приехал к себе на родину.

Встали в памяти как-то разом грибные березники, и любимые в детстве лужайки изумрудной травы с веселою земляникой, с ромашками, с гудящими пчелами, и пышный румяный закат.

На голых обрывах пригорков вскрывалось само тело земли, не прикрытое ни кустом, ни травою. Оно было то из желтой глины, то из черного жирного чернозема.

Наконец тоска отпустила Радищева. Он стал думать о простых и привычных вещах, вызванных родными местами: валяют ли шерсть овечью на домашней сукновальне в сукно черное, смурое и белое, годное на полосы для онуч? А то, ярко выкрасив шерсть в крушине, из нее ткут пояса?

— А кто сейчас первая ткачиха у вас на селе? — спросил Радищев у возницы.

— Была Матрешка Климова, — ответил кучер, — да она от слез, слышно, ослепла. — Ямщик повернул к Радищеву узкобородое лицо. — Двух сынов у нее в солдатах забили. Как у нас тут пугачевские молодцы хозяйствовали, они с ними дальше пошли против Михельсона, да в первом бою и полегли.

— А страшно было, Семен, при Пугачеве?

Кучер оглянулся, и, хоть никого вокруг не было, он понизил голос:

— Как знаем мы сызмальства твою добрую душу, Лександр Николаевич, тебе целиком можно правду сказать... А правда — она вот: никакого страху нам не было вовсе. Но сейчас ты о тех днях мужиков не дюже расспрашивай сразу-то. Ведь поотвыкли они от тебя, а тут, чуть кто забалакает, — в Саратов его! Оттуда дале, в секретную следственную комиссию. Там, брат, не скоро выпустят! В очевидцы определят — ну и докладай им: кто был из деревенцев с Пугачевым заодно. Скольких замучили, зато остатние, все как один, воды в рот набрали — молчат. — Семен, держа в руках вожжи, опять повернулся всем телом к Радищеву. — Так что злодейства ихнего мы, барин, вовсе и не видели! Соль выдали даром, на семена ржи отпустили... до нашего брата мужика милостивы были государевы отряды, то бишь злодеевы... — поправился тотчас Семен, ничуть, впрочем, не меняя выражения голоса. — Впрочем, батюшку твоего с семейством, это точно, искали, — склонившись к Радищеву, сказал Семен шопотом, как будто родителям его и сейчас угрожала та же беда и, говоря громко, можно было им повредить.

— Зачем искали батюшку?

— А чтобы повесить! У них таков был закон: всех помещиков вырезать, освободить от них нас, крестьян. И землицу всю миру... Но как мы стали доказывать, что не обижены, а премного довольны старым барином, а что матушка ваша всю деревню лучше лекаря лечит и всякому мать сердобольная, то сказала нам ихняя власть: ну и чорт с ними, коли вы дураки! Интересоваться повесить наших господ больше не стали. А мы, — неровен час, опять спьяну они хватятся да вздернут, как прочих, лихих, уже вздернули, — мы взяли да и попрятали родителей ваших и братцев малых. Им мордочки сажей помазали, чтобы сходственно было с деревенскими ребятами. Ну, слава господу, пронесло... все твои, барин, живы!

Радищев молчал, слезы душили его.

— Ни у нас усадебка сожжена, — указал кнутом возница на красневшую вдали за березами крышу дома, — ни разрухи не сделано, сам, чай, видишь!

«Чем отблагодарю их великодушную, их простосердечную доброту? — потрясенный до глубины души, собирал свои мысли Радищев. — Они «мазали мордочки» барчукам, тем самым, ко-

торые от рождения уже имеют жестокое право, когда наступят их годы наследственной власти, сделать безнаказанно все, что им взбредет в голову, с их родными, детьми и внуками. А крестьяне, спасая от неминуемой гибели всю семью помещика, даже и не подумали поставить ему условием этого спасения хотя бы освобождение собственное от подлой крепостной зависимости!»

У крыльца господского дома никто не стоял с хлебом-солью.

Только заслышав колокольчик и любопытствуя узнать, кто приезжий, двинулся к воротам цветник из узорчатых панев, какие здесь носят замужние, девки в длинных расшитых рубахах, парни в рубахах с красными наплечьями и ластовицами. День был праздничный.

Отец и мать, постаревшие от пережитых испытаний, не веря глазам своим, спешили из дальних покоев. Мать протянула сыну руки с высокого крыльца. Спасенные деревенцами братья прибежали из сада. Радищев разрыдался, обнимая родных.

Вечерний чай внес в просторную беседку, на серебряном большом подносе, важно его от себя отставляя, не кто иной, как старый дядька покойного Мишеньки — неистощимый бодростью Середович.

В белых нитяных перчатках и чулках, досиня выбритый, он торжественно водрузил свой огромный поднос, полный печений и варенья. Середович с достоинством поклонился Радищеву, без удивления встрече, словно вчера его только видал:

— С приездом, барин Александр Николаевич!

Радищев его радостно обнял:

— Ну, братец, тебе на роду, видно, написано возникать, словно волшебнику Мерлину, там, где тебя и не ждешь! Какими же судьбами ты у моих родителей?

Несколько сконфуженный, Середович пробормотал невнятное и поспешил, забрав посуду, скорей удалиться, а отец рассказал о нем Радищеву любопытное происшествие.

После отбытия пугачевцев из Облязова мужики один за другим стали тайком признаваться, что за дальним хутором в шалаше залег некий «царский вельможа». Обзывает-де себя «камерхер». И, ровно сказочный Змей Горыныч, обложил он вокруг данью деревни: кого яйцами, кого хлебом, не брезгует ни вареным, ни жареным. Особливо же падок камерхер на хмельное. А за неуваженье грозит полки царские, пугачевские вызвать обратно в Облязово на постой.

— Ну, изобретатель! — смеялся Радищев. — Как же вы этого камерхера словили?

— Настойка твоей матери с ног свалила. Больно хороша да крепка, перехватил камерхер. Бабы наши выследили, связали его сонного по рукам и ногам, да на водовозке и привезли. Заперли в баньке выспаться. Он же, когда очнулся, очень рад

оказался, что пребывает на земле Радищевых. «Я, — говорит, вообрази, Александр, — нарочно в пути своем на их вотчину курс держал, как мы с барчуком вместе в неметчине обучались!»

Очень полюбился моим дворовым, все, как один, просили за него: вовсе не вредный он, говорят, «камерхер», а коль выдать его властям — засудят.

И так он сам с твоей матушкой таково толково и связно болтал про тебя и про Алексиса Кутузова, что мы семейным советом и порешили укрыть его у себя. Наш отец Петр подверг его легкому церковному покаянию, мать твоя приказала ему раза три хорошенько попариться в бане, дабы скверну злодееву выбелить, и взял я его в дворецкие по вольному найму. Видал, сколь важен в должности?

Отец передал Радищеву камергерские знаки Середовича — петровский рубль с приделанным ушком на пестрой ленте на предмет ношения через плечо.

Радищев пробыл в доме родителей всего несколько дней. И по службе нельзя было ему опоздать на московские торжества, да и самому пребывать долее было тяжело.

Перевидал он своих сверстников, былых товарищей — ныне семейных мужиков. Заставляя их говорить, жадно слушал, какие новые мысли запали в их головы после пронесшейся на их глазах пугачевской грозы.

Барина мужики в нем не чувствовали, то и дело именовали, как в старые годы, Сашенькой. Отец и мать далеко окрест славились как добрейшие, милосердные люди. Девки за счастье почитали выйти замуж в Облязово. Получившие отпускную на волю уходить не хотели, доживали тут же, старея вместе с господами. Радищев при таких особых условиях в своем поместье мог надеяться услыхать действительно искреннее мнение деревенцев о пугачевщине и самом Пугачеве.

— Справедливый был батюшко, — определили все в голос, — он правильно шел противу лютых помещиков, и от рекрутчины вызволял, и оброчные снял, и все запреты лесные, рыбные, полевые разрешил. При нем это, точно, было, — вздохнули мужики.

Но мысли о том, что рабства вообще не надо бы, у крестьян и в помине не было. «Так испокон от бога положено: вы — наши отцы, мы — ваши дети! А коль скоро «отцы» залютели, Пугачев-батюшка их урезонит. Не он, так другой. А порядок неплох... порядок грех и менять. Не мы господ ставили, не нам и снимать! Бог над царем, царь над господами, они над нами. Слава богу, наши-то хороши!»

С родным отцом тоже напрасно пытался Радищев заводить разговор о недопустимости истинному христианину иметь себе равных рабами.

Отец отвечал с кротостью своеобразного, не показного благочестия, сердечно убежденного в том, что мужики вручены ему самим богом:

— Все мы рабы божии. А старшим из нас поручено пещись о младших, что по всей силе и совести мы с твоей матерью и делали всю нашу жизнь. За сии качества своими же людьми, жестокосердным помещикам не в пример, и были недавно взысканы.

Сочувствие своим взглядам и понимание существа дела Радищев пока встретил неожиданно у одного Середовича.

На закате, после обеда, любил Середович сидеть на большом пне при входе в рощу, где преудобно чистил мелом господское серебро.

Радищев его окликнул и сел рядом на траве.

— А у меня к вам просьбишка, Александр Николаевич, — сказал Середович. — Казачок барский Мишка мне сказывал, что мою медаль с лентой старый барин отдали вам именно. Так уж вы их в музей какой аль в комиссию не сдавайте! Вы их для меня на память вечную сохраните!

— На память о чем? — спросил тихо, с намерением невыразительно, Радищев, боясь оказанным интересом вспугнуть мысль собеседника.

— А на память хотя бы о том, как я человеком был! — с весом сказал Середович. — Нонче снова я грязь, а давеча, у Надёжи-то? Давеча был я князь! — пояснил он. — Там в его, Надёжином, штабу каждому по его талану цена. Будь ты хоть рваные ноздри, татарин, башкирец аль какой беглый, ка́том царицыным поротый-перепоротый, а коли есть в тебе сметка да удаль — на, пожалуйста: командуй хоть артиллерией!

— За что ты в камергеры пожалован был? — простым голосом продолжал Радищев.

— Значит, стоило, — уклончиво ответил Середович. — Только на деле доказать себя мне не пришлось, — проклятые немцы все в Астрахань утекли. Одни цветы еоргины оставили.

— Знал ли ты, Середович, что Пугачев — самозванец? Ведь не царь же он Петр в самом деле?

— Ну, а чего было мне узнавать? За ним народушко шел охотой. Тыщами шел. Солдат царицыных небось в зад штыком гнать надо, чтобы воевали, а к батюшке охотничков столь много валило, что мы одних лошадных примали. А публикации Надёжины все хозяйственные, деловые, мужику нужные. Нет того, чтобы там сатаной да огнем вечным пужать...

И сколько ни рассказывал Середович Радищеву о том, как «мы потеряли из-за окаянства донских казаков», как «старшина русская и башкирская первая предавать Надёжу стала», как Михельсоновы войска одним перевесом оружия взяли верх, —

голос его не спадал с уверенности в своей правоте, и ни малейшего раскаяния в пребывании своем у Пугачева старик не обнаруживал.

— Слушай, ты, — сказал в конце концов Радищев, — только ни с кем другим так не балакай, как ныне со мной. По теперешним временам, знаешь, куда угодить можешь?

— Я и с вашим батюшкой, сколь они сами ни милосердны, умных речей не веду, — сказал с важностью Середович, — как у старого барина, конечно, нету заграничного просвещения.

Радищев расхохотался и дал Середовичу слово выписать его к себе в Петербург на вечное жительство.

Радищеву после первых радостей встречи стало вскорости непереносимо в деревне.

Если самого Облязова не коснулся страшный голод того года, то вести о нем доходили со всех сторон. «Хлеб» голодающих был даже не тот нищенский, описанный Радищевым еще в «Деревне Разоренной», — там к трем частям мякины прибавлялась хоть одна-то часть несеяной муки. Сейчас хорошо, если мякина добавлялась к древесной коре и сушеному мху.

Настойчиво вставали в памяти картины только что свершенного пути через места разорения, мимо незасеянных полей!

Вставали перед Радищевым то угрюмые, на канатах влекомые «возмутители», то изможденные, с мукой смертной в глазах, матери и подростки, которые по «удобной казенной цене» рыли валы вокруг сел. Валились лопаты из обессиленных рук, люди падали замертво...

Про ужасный этот голод неоднократно писал и граф Панин, но это замалчивали в обеих столицах. Там шла подготовка к роскошным празднествам мира и успокоения страны от злодея.

Кроме того, расправы за участие в пугачевщине продолжались. У наезжавших соседей-помещиков только и речи было о том, у кого сколько изъято дворовых на виселицы и глаголи — длинные шесты с перекладиной в верхнем конце и петлей.

Все чаще уединялся Радищев в дальний лес, где, бродя до позднего часа, мучился своими, не отпускавшими совесть, мыслями:

«Все дары земли, начиная с хлеба и кончая свободой, отняты от крестьянина. Вечная воловья работа в ярме — вот жалкий жребий его. Он как заклепанный в узы...

«И вот, едва попытался ярмо свое сбросить, — ему смертная казнь, кнут, Сибирь. Каждую минуту он может быть продан, как скот, и все виды медленного отнятия жизни и сил применяют к нему даже лучшие из господ».

И перед бедными избами, крытыми соломой, перед возлюбленным «белокурым океяном» налитого, спеющего колоса, — как в ранней юности, вознесенный чувством рыцаря, повергающего

в единоборстве дракона-насильника, — Радищев давал себе самому горячую клятву, что он положит всю силу, всю волю, чтобы вместо несносного мучительства рождена была рабам *вольность*.

Простившись с родителями, Радищев поехал в Москву и прибыл как раз к знаменитому празднеству по случаю Кучук-Кайнарджийского мира.

Иные дворяне не без основания добавляли, что празднуется перво-наперво не победа над султаном, а победа над Емелькой — мужицким царем.

По обе стороны дороги, где надлежало проследовать главному виновнику торжества — графу Петру Александровичу Румянцеву, воздвигнуты были пирамиды, украшенные транспарантами, картинами его побед.

В последнем селении перед Москвой соорудили триумфальные въездные ворота. Туда еще с прошлого вечера нагнали народ, чтобы он прокричал при проезде громовое «ура» триумфатору. Но Румянцев, с разбегу, по-дорожному, пролетел, словно молния, мимо сих торжественных сооружений. Так-таки на глазах у всех он объехал ворота.

И тотчас пошла болтовня: как бы нам и победы его не вышли-то боком!

По Кучук-Кайнарджийскому миру Россия получала Азов, Кинбурн, южные степи, торговые выгоды и большую контрибуцию.

Накануне праздника Радищев шатался по Москве. Он смотрел, стоя на Ивановской площади, как подымали огромный колокол, несколько тысяч пудов весом. Колокол водружен был на высокий помост из крест-накрест положенных бревен.

— Таким-то манером на помостке и наш батюшко недавно стоял...

Радищев обернулся. Он понял, что разговор шел о Пугачеве. По обличью говорившие были горожане, каких много, либо мастеровые в праздничный день.

— Истинно, звонил он ровно колокол... да беда, язык вырвали.

Тот, что постарше, понизив голос, добавил:

— Дай срок, новый будет звон — чай, опять соберется народушко...

Утром в день празднества сигнально грохнули пушки, и лейб-гвардия и полевые полки стали, как врытые, по обе стороны улиц, по которым церемониал должен шествовать от собора через Никольские ворота по Неглинной и Большой Моховой улицам до дворца, что у Пречистенских ворот.

Дамские персоны имели быть в робах. Кавалеры — в уборах своих орденов. Вся прочая публика — в цветном платье.

Екатерина сошла с красного крыльца в полном императорском одеянье, в порфире и большой короне. От ударов только что привешенного колокола закачалась колокольня. Оглушительно изверг дьякон многолетье в соборе, и медным рыком ему ответили пушки.

Перед шествием бежала пурпурного сукна дорога, трубы играли золотом в синем небе, и был звук их — победа и торжество.

Поздравления Екатерина принимала в Грановитой палате от знати московской и приезжей.

Ходынский праздник аллегорически изображал тот клочок Крыма, который русские приобрели по заключенному только что миру.

Окружающая триумфальные постройки равнина знаменовала собой «Черное море», а дальше шли «степи Барабинские», предназначенные для забав одного лишь подлого люда. Здесь были круглые карусели, шесты для лазанья за призами, канаты для бухар-канатоходцев.

Для забав дворянских посреди «Крыма» воздвигнут был роскошный павильон — «крепость Керчь». Подале шел полукружием «торговый город Таганрог» с красными рядами. Пущен был слух, что раздача товара предстоит безденежная, и несметна была перед сим «Таганрогом» толпа.

Против главного павильона, сиречь Керчи, стоял в высокой зеленой траве, как в волнах Черного моря, трехмачтовый громадный корабль с галлереей для лицезрения въезда монархини и фейерверка.

Везде на часах, сияя серебром касок, белыми страусовыми перьями и перевязью на груди, — на подбор пригожие и статные унтер-офицеры из дворян. Граф Румянцев и Потемкин, тоже новоиспеченный граф, прибыли в карете цугом на Ходынку. Им отдали честь лейб-гренадеры и другие войска.

И не преминули пустить тотчас злословные остряки: кому почет за турку, а кому и за Амурку.

Особливой пышности был сегодняшний въезд матушки с цесаревичем Павлом. Едва сверкнула золотая карета, — ровно второе солнце, упавшее на землю, ее прокатили по полю белые кони, — грянули пушки, ударили литавры морской музыки на судах нарочно устроенного флота на обширных зеленых лугах.

Церемониймейстер двора поднес Екатерине роскошно разрисованные планы и куншты назначенных увеселений, и празднества начались.

Народу дарованы были для насыщения четыре целиком жареных быка с позлащенными рогами и огромное количество другой живности помельче. Фонтаны забили белым и красным вином.

На ступенчатых пирамидах, убранных узорчатой камкой, насыщались московские жители. Зрение их услаждено было пляской цыган и бухарцами, кои двигались, как по воздуху, по канатам.

Ужель между них сидят и те самые, кои столь в недавнее время кричали: «Да здравствует Емельян Пугачев!»?

Радищеву стало невесело смотреть на протянутые руки и жадные лица с одной мыслью получить кусок пожирней. Он двинулся к павильону — «крепость Керчь».

Охватывая взором не слишком великий клочок земли, отведенный под Крым, он не мог не подумать невольно, плодом каких народных бедствий и без счета пролитой крови присоединен сей клочок.

Перед таганрогскими красными рядами, не похуже, чем простой народ перед жареными быками, с той же жадностью во взорах все еще стояли, дожидаясь даровой раздачи, болтливые, как сороки, мелких и крупных чинов госпожи.

А в круглой азовской каланче, воздвигнутой к празднику, был накрыт обеденный стол на множество кувертов. Посреди восседала сама царица, окрест нее — ближние придворные и знатные лица.

Всем дворянам сюда был свободный проход.

Самодержица великой многоязычной империи, избрав близким сердцу отныне одно лишь сословие благородно рожденных, Екатерина здесь сама была только им равная, дворянка, казанская помещица.

Радищев, стоя у колонны, скрытый от любопытных розовым трельяжем, отлично все слышал и мог наблюдать.

Екатерина говорила о празднике, сияя великолепием наряда, упоенная торжеством водворения мира внешнего и внутреннего.

— Прошу моих гостей запомнить, что фантазия зеленый луг превратить в Крым принадлежит мне. Первоначальный поданный мне проект изобиловал глупыми аллегориями времен Юпитера, Вакха. Я призвала архитектора Баженова, я сказала ему: «Близ Москвы есть чудесный луг. Немного воображения, и вот уж он — Черное море. Одна зала для банкета — Азов, другая — Кинбурн. Вы создадите мне в завоеванных нами землях сказочные павильоны с напитками и фонтанами, а там, за Дунаем, мы дадим фейерверк, какого еще мир не видел!» Правду сказать, твердая земля не совсем похожа на море, — Екатерина улыбнулась самой чарующей из своих улыбок, — но надеюсь, что вы, дорогие гости, и даже взыскательная история за все удачи нашего оружия на действительном море извините мне сию маленькую погрешность на суше!

Гости говорили мадригалы, оркестры заглушали речи гостей, и всех звуков сладостней хлопали пробки французских шипучих вин.

Радищев ушел не окликнутый из азовской каланчи. Он никем и не хотел быть замечен, столь его скорбное настроение духа противоположно было сей парадной гульбе.

Он знал, конечно, что и сам не уйдет куда-либо в пустыню из жизни людей своего круга. Знал, что вот скоро женится на милой Аннет, должен будет заняться домом и службой и, быть может, утратить сие пронзающее ум состояние. Да в подобном и пребывать долго нельзя. Вот только бы довести до конца поглотившую силы мысль...

Конец всегда есть начало иного, нового. Радищев не заметил, как ноги сами собой с земель крымских перенесли его в «степь Барабинскую», где веселился один подлый люд.

Его веселье было тоже печально: все успели уже перепиться и, если не валялись в канавах, не дрались, то бессмысленно топтались на одном месте, облапив какую ни на есть проходившую деву.

«Чем и как помочь снять им с себя бремя, тяжесть коего они уже будто и не чуют? Если б они знали все то, что знаем мы! Если бы дать им наши права, наше знание, нашу смелость требовать своего места в жизни — от них именно, не отравленных от рождения, как мы, собственным произволом, могло бы родиться совсем новое племя, лишенное жажды угнетения себе подобных.

«Но отчего бьется мое сердце? Откуда сей восторг и восхищение ума?»

За последнее время на Радищева все чаще находило подобное состояние раскаленной воли, которая желает во что бы то ни стало иметь свою часть в освобождении угнетенных, хочет крикнуть свое гневное слово в их защиту.

Но где и кому кричать, ежели один только отрывок из «Деревни Разоренной» вызвал злые толки и оскорбленным оказался весь дворянский корпус? О, если б собрать в одну книгу всю злую муку угнетенных, все злодейство тиранов! Если б эту книгу взять в руку, как диск, и метнуть... и попасть!

И много раз переживаемое чувство при взгляде на стоявшую у Фонвизина большую статую дискобола расширило грудь его, словно крыльями одарило. Прицел. Взмах руки. Сила и меткость броска. Куда метнуть и что бросить, он уже знал.

Радищев не заметил, как ушел далеко в сторону от суматохи празднества. Кругом были кусты и пригорки, неподалеку большой лес. Необъятность небесного купола, притихшая пред закатом солнца земля далеко отодвинули крикливую суетность ходынской толпы.

Радищев опустился в густую траву. Его охватила та приятная слабость, которая бывает у человека, когда он долго плутал в неизвестном лесу и вот увидал огонек и, уже зная наверно, что выберется вон из чащи, присел отдохнуть.

Волнующие мысли теперь нахлынули уже с иной стороны: как быть одному против всех? Не безрассудство ли сие и одна ненужная пагуба?

Но тотчас, возмущенный мгновенным унынием, перебил себя сам: а Иоганн Гус на костре, а Галилей среди вероломных инквизиторов?

И что же, пусть одиночество! Не оно ли всегдашний удел того, кто бескорыстно служить хочет благу общему, благу всех? Одиночество и пагуба.

Пусть же явится в свет она, моя пагубная книга!

Вслед за огненными фонтанами, вслед за превеликим множеством солнц и швармеров, лусткугелей и щитов появился на небе огненный павлин.

Величаво и царственно сей павлин распростер на полнеба свой хвост. Из хвоста фонтан разноцветных звезд просыпался ливнем на землю.

— Да будет сей триумф, да будет сей узорочный фейерверк прообразом грядущих лет владычества нашей Екатерины! — возгласил Потемкин, подымая свой кубок за здравие Екатерины.

Указы, изданные Екатериной за это время, уже носили на себе печать нового отношения к своему правлению.

Так, предписано было состоящему во вновь установленном звании обер-полицеймейстера, чтобы он старался дерзостных людей, кои на улицах подавать станут прошения императрице, забирать и представлять в сенат, где поступлено будет с ними по законам.

До последней мелочи городского управления предусматривались нововведения, которые привести должны будут империю к совершенному послушанию и благообразию. Купцам и мещанам воспрещалось обзаводиться, по примеру знати и дворянства, экипажами вызолоченными. Извозчикам поставлено было в обязанность красить в желтый цвет свои фаэтоны, отчего и произошло наименование извозчика — «Ванька желтоглазый».

Учреждены были надзиратели за казенными зданиями, и столицам дан глава полицейской системы — обер-полицеймейстер. Для городского управления дан магистрат из двух бургомистров и четырех ратманов. Наконец, проведя в нескончаемых празднествах целый год, Екатерина возвратилась в Санкт-Петербург.

И здесь были свои, более скромные, чем в Москве, торжества. Они завершились присутствием императрицы на балете в ею любимом Смольном институте благородных девиц. Живописцу Левицкому дан был приказ увековечить своею кистью лучших танцовщиц.

Утром, едва проснувшись, Екатерина уже не хваталась за книжку того или другого философа, как то бывало в первые годы царствования. Тогда ей казалось любезным, как богине Победы впереди корабля, мчаться первой среди государей к просвещению своей великой страны.

Ныне страна стала ей вотчиной. И, помещица, держа строго порядок в хозяйстве, она теперь вместо мечтаний философов слушала первого обер-полицеймейстера города.

Ежедневно по утрам обер-полицеймейстер приходил с докладом «о происшествиях, о ценах на жизненные продукты и о молве народной».

Наконец как-то ночью матушка среди сердечных услад с Потемкиным сожгла последний вольный корабль. Она шепнула Гришифишеньке:

— Мой Наказ просто бредни перед твоим прожектом о губерниях, о мой бели медведь!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда к рождеству 1775 года, после казни Пугачева и торжеств Кучук-Кайнарджийского мира, Екатерина вернулась, наконец, из Москвы в Петербург, в ее свите был новый кабинет-секретарь, Петр Завадовский.

Румянцев в Москве представил матушке тридцатилетнего полковника и перечислил его отличные военные заслуги, а Екатерина сняла с собственной руки перстень и с поощрительным взором надела его Завадовскому на палец.

У этого красавца полковника была вельможная осанка, умное веселое лицо, голова, смело посаженная на широкие плечи.

Вскорости стало известно через приставленного одного человечка, что в первых числах января нового года Завадовский писал своему другу Семену Воронцову триумфальное письмо:

«Порадуйся, мой друг, что на меня проглянуло небо и что уже со вчерашнего дня генеральс-адъютантом ваш искренний друг и покорнейший слуга».

Потемкин насторожился. В лице Завадовского встала угроза не только заместителя альковного, а попытка найти нового друга-советника.

Ревниво охраняя свои права, Потемкин угадал истину.

Не однажды бессонную ночь, которую ничем не обнаруживало, однако, на утреннем приеме как обычно приветливое и свежее лицо Екатерины, она проводила в тревожных мыслях об угрожающей ей опасности потерять свою столь трудно завоеванную самодержавную власть.

Тайно, как Елизавета Петровна с Разумовским, и она ведь обвенчана со своим скифом. У Самсония поп венчал при малых,

но верных свидетелях. Огласки делать не желала — слишком памятовала ту ярость, которую вызвали одни только слухи, что собирается себе брать в мужья Григория Орлова.

Однако, хоть империи то неведомо, для самой-то себя наложены узы. Конечно, не позорят они ее гордость женскую, как позорили те, первые, хотя и законные, с ничтожным супругом Петром Федоровичем, но с собой наедине по этому поводу была Екатерина чем далее, тем тревожней. Нет-нет, а пойдут сверлить мысли: уж не предала ли она свою силушку?

Перед собой кривить нечего: недавняя пугачевщина, победа Емельянова в содружестве с «домашним врагом», повсеместно вставшими крепостными, превратили ее, императрицу, не только в «казанскую помещицу», — в насмерть перепуганную бабу.

И по вековой бабьей повадке забоялась пред кем-то ответа, потянулась к защитнику, к такому, чтобы всех зажал в свои лапы, что и сумел оный скиф, худородный смоленский дворянчик, ныне светлейший князь и супруг.

Но вот первый страх прошел — осмотрелась, поняла: надолго миновали пугачевские ужасы. Поработали заплечных дел мастера, насмотрелись люди на виселицы, на глаголи... усмиряли, чай, не жалеючи. Не скоро опять подымутся бунтовать. На ее, Екатеринин, славный век тишины теперь хватит. Покачался ее трон, да не упал. Может, и власть свою делить было незачем? Поторопилась...

И порешила Екатерина без лишней проволочки доказать ему, хоть и возлюбленному, хоть и супругу, что не господин он над ней.

И тем скорей надо было доказывать, что крепла любовь к нему, а вместе с нею испуг: ужель предать в чужие руки все хитроумье трудов, давших ей, нищей немецкой принцессе, трон императрицы российской? Предать власть над страной?

И пугал яркий в памяти облик покойной царственной тетки, Елизаветы Петровны, последних лет ее жизни.

Нечесаная, поглупевшая от любви, она забросила дела государственные ради улыбки своего света милого...

Тогда, еще в юности, стыдясь за императрицу-тетку, Екатерина дала себе клятву, что такому сраму с ней самой никогда не бывать.

Наружно Екатерина держала себя с великой осторожностью. Завадовский явился в открытой милости, только когда Потемкин нашел нужным отбыть в Новгород для осмотра войск. Все с нетерпением ждали падения ненавистного многим за презрительное самовластие «князя тьмы», — так прозвали его враждебные Потемкину масоны.

Полковник Завадовский успел получить четыре тысячи душ в Могилевской губернии и помещение во дворце. Панины пустили

в ход все свои силы, и вот уже сам цесаревич стал милостиво с ним разговаривать.

Потемкин, не думавший легко сдаваться, искусно поставил на вид Екатерине склонность цесаревича к новому фавориту. Непреклонная ненависть Павла к нему, знал он, была для императрицы лучшим доказательством того, что преданный скиф соблюдает в ущерб кому бы то ни было только ее интересы.

Ядовитая мысль, что Панины и цесаревич полагают на Завадовского свои особые надежды, была верной отравой для Екатерины, и Завадовскому очень скоро объявлено было, что он «отпущен» на Украину. И, как ему то ни было прискорбно, он принужден был «покинуть чертоги, в коих счастлив был толико». Покинул, правда, не с пустыми руками.

К первоначальному дару прибавлено было ему шесть тысяч десятин земли на Украине, две — в Польше, тысяча восемьсот — в русских губерниях, сто пятьдесят тысяч деньгами, тридцать — посудой и десять тысяч пожизненной пенсии за особые труды при императорской персоне.

В эти дни подвернулся под руку Потемкину некий серб, Зорич, искавший у него покровительства. Зорич имел все необходимые качества, чтобы Потемкину, не смещая себя с первого места, допустить его очередным альковным утешителем.

Амурный пыл — по опыту было известно светлейшему — дело, легко подверженное остуде и капризу воображения. Но если кто возомнит стать орудием его злейших врагов, кто к власти, данной только ему, протянет руку... того немедля сменить новым послушным ставленником.

И светлейший порешил взять в свои руки, кроме дел государственных, и капризы альковные, сиречь Зоричем выбить Завадовского.

Потемкин оставил серба у себя, сделал его адъютантом, произвел в полковники и представил ко двору как раз после того, как подозрениями против Завадовского поколеблен был его фавор.

Зорич был красив и наряден, как попугай. Не слишком умен и вполне в руках повелителя. Едва Завадовский отбыл в свои новожалованные поместья, Зорич заступил его место.

— Сей серб под удачной звездой похищен был турками с родины и от них выкуплен, дабы процвести ему на придворных паркетах, — таково было общее мнение, и немалый последовал сюрприз, когда оказался фавор сей весьма кратковременным. Серб поскользнулся. Соблазнился властью и, помимо альковных забав, пожелал «играть ролю в политике».

Потемкин незамедлительно, с неизменным тактом и легкой насмешкой, обратил внимание матушки на неудобную для правителя государства вопиющую необразованность Зорича.

Опять добился того, что Екатерина повела себя с Зоричем сухо, почему сей оскорбленный, решив, что охлаждение произведено интригой Потемкина, вызвал его на дуэль. Высмеяв Зорича пуще прежнего, Потемкин презрительно от дуэли отказался.

Зорич кинулся императрице в ноги, вопил, что ко всему равнодушен, не токмо к власти и роскоши, а к самой жизни, постылой без света ее личной склонности.

Военным напором и простосердечием искренности Зорич дня на два восстановил свой фавор.

Потемкин сыграл оскорбленного и уехал из Царского в Петербург. Екатерина, не выносившая трагедий, отправила Зорича звать светлейшего обратно на ужин. Сверкающим остроумием Потемкин, на этом ужине втроем, добил бедного Зорича в такой мере, что тут же тот получил отставку бесповоротную. А с матушкой заключен был отныне нерушимый союз государственный при полной свободе увлечений личных, легких, как мимолетные тучки, не закрывающие света солнечного. Этого света источник — он один, светлейший, по именованию же масонов — «князь тьмы».

Все партии просчитались на падении Потемкина. Указом от первого января его хозяйственному попечению вверены были губернии Новороссийская и Азовская вместе с укреплениями днепровской линии.

Потемкин ехал в свое наместничество ранней весной.

Он сидел, развалясь в дорожном рыдване, с ним рядом нарядный маркиз де Муши, теперь частый его собеседник, сейчас дорожный спутник. Де Муши ехал к папскому нунцию в Варшаву по тайным делам иезуитского ордена. Напротив Потемкина, на месте менее почетном, сидел молодой адъютант.

Офицер настороженно следил за начальником, который, минуя его своим зорким орлиным оком, угрюмо смотрел в просторы бесконечных полей.

«Попала вожжа под хвост...» — непочтительно обозвал про себя захлестнувшую Потемкина меланхолию молодой адъютант и старательно поджал свои длинные ноги, чтобы дать еще более простора грузной персоне светлейшего.

Де Муши, уже привыкший к повадкам капризного вельможи, продолжая непринужденным голосом свой доклад, был внутренно насторожен не менее адъютанта. По данному из Рима поручению ему надлежало привезти нунцию в Варшаве обнадеживающую весть, что Потемкин склонен подпасть под благодетельное влияние ордена Иисуса.

Потемкин не только не подпадал, но, напротив того, на многократно при случае возобновляемую хитрую речь де Муши, восхвалявшую преимущества единой католической церкви перед всеми прочими, им уличаемыми с язвящей тонкостью в схизме,

обычно сыпал в ответ обилие непотребных анекдотов из практики святейших пап и епископов.

Сейчас де Муши вел разговор околичностями. Поссорясь с уличившими его в интригах масонами, он, в свою очередь, хотел поссорить с ними Потемкина. Были действия против масонов директивой от ордена...

— Для распространения своих немудреных идеек масонам нужна печать, — иронически, слегка устало говорил де Муши. — Эту задачу за последнее время весьма успешно выполняет для них Новиков. Вам известно, ваша светлость, — им объявлен новый журнал — «Утренний свет»?

— Вчерашние новости, — проворчал Потемкин.

— Есть и посвежей... сегодняшние, — тонко улыбнулся де Муши. — Сей Новиков уже возглавляет ложу собственную...

— Именование? — оживился Потемкин.

— Ложа Латоны.

Потемкин повернулся своим затучневшим корпусом к де Муши.

— Для охраны от врага внешнего, а тем паче — внутреннего, важны не книжицы и журналы с назидательным чтением, а вооруженный корпус дворянства.

— Если этому корпусу гарантировать деньги, земли, доходы, — подсказал вкрадчиво де Муши.

Потемкину вдруг не захотелось говорить. Как обычно, от одного упоминания имени Новикова встал отчетливо и зло в памяти собственный формуляр.

С этим вот ныне знаменитым просветителем, с Николаем Ивановичем Новиковым, вместе был в Московском университете, и одновременно отмечены были в «Санкт-Петербургских ведомостях» за номером 60 выключенными «по лености». Дважды подержала жизнь на общей чаше весов их обе, столь разные в дальнейшем, судьбы.

Вторично, в тот памятный день восшествия на российский престол Екатерины, скрестились снова их жребии — поручика Измайловского полка Николая Новикова и его, вахмистра Григория Потемкина.

Новиков стоял в корпусе караула у моста, когда по нему, блистая красотой победительницы, в преображенском мундире, тогда еще молодая пленительная женщина, въезжала в казармы Екатерина.

А он, вахмистр Потемкин, вдруг заметив, что ей впопыхах забыли навесить на саблю темляк, находчиво осмелился поднести свой собственный. Как сейчас от нее знает, тогда же особо отмечен был в памяти.

В составленном списке лиц, имевших получить награды за участие в перевороте, ее собственной рукой записано было три-

дцать шесть персон. Первым помечен Григорий Орлов, предпоследним он, вахмистр Потемкин, тоже Григорий.

С Орловым — тезки. То-то остряки над ним теперь упражняются — «Григорий Второй»!

Когда в армии был, получил на свои пламенно-покорные письма ответ от нее. Неприметно вызван был в Петербург, и головокружительная фортуна вознесла его жребий.

Как девочка, впервые влюбленная, презентовала Екатерина ему свою «чистосердечную исповедь» о бывших до встречи с ним сердечных утехах. И хоть ненадолго, но крепкая и обоюдная у них вышла любовь.

Не без горечи усмехнулся: «Тогда, ничем не связанной, ей казались нужны предо мной оправдания, а ныне, хоть и повенчаны, без спросу... с кем хотим. Поостыли. А все-таки, раз обвенчаны, не своим ей умом выбирать. Пусть из моих рук смотрит... Пусть балуется с пустоцветами, а чуть кто руку к короне — хлоп того по рукам. Отведем от чертогов...»

Потемкин сидел, далеко отвалившись на спинку рыдвана. Нижняя губа его, от природы выступавшая несколько вперед, выпятилась сильнее; брезгливо сморщившись, он вытянул ноги, не желая замечать, что адъютант, против него сидевший, окончательно сжался в комок и, дабы не утерять равновесия, держался одною рукою за козлы.

«Коль жив человек, пусть заявится, — думал Потемкин про адъютанта, — а коль терпит — терпи».

Потемкин насмешливо скользнул взглядом по обиженному красному лицу офицера. Адъютант, тяжело дыша, замер в неудобной позе, готовый терпеть без конца.

«Вот все они так, — презрительно улыбнулся Потемкин, — ненавидят, а хоть ему в морду наплюй!..»

И неожиданно резко он сказал адъютанту:

— Ведь зело неудобно вам, сударь, из-за моих ног, что же вы мне о том не заявите? Этак, пожалуй, вам можно и ж... на голову сесть!

Вдруг подтянувшись, Потемкин убрал под себя ноги и, отвернувшись от своих спутников, стал зорко и гневно смотреть в степь, как будто это именно она перед ним провинилась.

Тяжелая, пыльная тоска шла от пустырей с полосатыми верстами. Она обволакивала мысли.

И понял... Жила до сих пор одна надежда в тайнике. Вроде желторотое мечтание, еще не выхлестанное ни казармами, ни интригами честолюбия, как у студента московского, что бегает на Воробьевы горы смотреть солнечный восход. Надежда относилась к ней, необыкновенной женщине, северной Семирамиде. Мечталось, что заполняющим томную пустоту его вечно голодного сердца будет их тайный брак.

И вот оказалось: она даже не философ на троне, как ее почитает Вольтер, а попросту счетовод. Везде и всюду рассчитывает, как ей повыгодней да как бы не оступиться, не потерять свою власть даже в их необычной, как счастье выпавшей им, любви. Между пальцев любовь его утекла... Сейчас он — правитель, она — соправительница. Вот их союз.

Потемкин перенес мысли на своих врагов, приближенных цесаревича, Панина с подручными. Все они ждали отказа Екатерины от трона в пользу совершеннолетнего сына, чтобы самим ринуться к власти.

Не далее как в марте перехватили письмецо Никиты Панина. Он писал Репнину: «А наши обстоятельства все в том же положении. Один самовластвует (Потемкин), все берет, а другой (надо понимать — Павел) остается под спудом. И, повидимому, долго так продолжится».

«А продолжится, пока я в земной сей юдоли пребуду», — ответил мысленно Потемкин и самодовольно улыбнулся.

Внимательно следивший за выражением его лица де Муши нашел благоприятным продолжать свою противомасонскую кампанию.

— Насколько мне известно, ваша светлость изволите полагать, что в масонском учении яд равенства — лишь поверхностная болтовня и вреда государственного от него не предвидится вовсе.

— В оном учении даже протеста против крепостного права не слышится, — то ли одобряя, то ли насмехаясь, обронил Потемкин. — Новиков, слыхать, собирается выступать против вольтерьянства. Обеззубел былой наш вольнодумец. Забыл, как с матушкой во «Всякой всячине» пререкался!

Де Муши пригнулся кошачьим движением близко к Потемкину и, понизив голос, сказал:

— Однако тяготеющая к цесаревичу партия объединена не чем иным, как масонским орденом. И само учение Сен-Мартена, которое у них на первейшем месте, на свой манер весьма не чуждо политике. Оно защищает не только монархию, но и знать родовую, отчего оно столь любезно для наших исконных бар и приемлется ими охотно.

— Бар, мечтающих о фундаментальных законах, — недобро сказал Потемкин, — а при посредстве оных — о прочном соучастии в управлении империей...

— Но зато ряд людей, одаренных исключительными талантами, не в пример тем, кои выдвинуты одним слепым случаем происхождения, с надеждой взирает как на великого преобразователя только на вас, ваша светлость! С вами вместе они удержат на высоте трон мудрейшей из императриц. Наконец, только с ними и только с вами хочет считаться общественное мнение Европы. — И, особо оттеняя важность своих слов, де Муши про-

изнес, словно одарил милостью: — И с вами одним, ваша светлость, считаться желает Рим.

Вспомнив о присутствии незнакомого молодого офицера, который от огорчения стал подремывать и казался окончательно неживой фигурой, де Муши счел дальнейший, более определенный разговор на свою тему неудобным. Он весело и с любезностью заговорил о том, как продвигаются в польских архивах розыски для составления родословной Потемкину, чем, знал он, тот был немало озабочен.

Интересы Потемкина и иезуитов переплетались. Черневич хлопотал через него у императрицы позволения на открытие новициата в Белоруссии, а Потемкину важно было, чтобы иезуиты в этом крае поддерживали и раздували верноподданнические чувства к Екатерине и произвели захваченную ею власть в пожалованную ей самим богом. В благодарность за их усердие ему как опекуну иностранных исповеданий легко было повернуть все иезуитские дела в нужную для них сторону. В свою очередь, тщеславные личные мысли Потемкина иезуиты мастерски угадывали на лету.

— По изысканиям брата Нерушевича, — елейно пел де Муши,— в смоленских архивах род вашей светлости происхождение имеет отнюдь не от простых рядовых шляхтичей, а от именитого, древнего, покрытого славой рода, имевшего обширные владения...

Потемкин небрежным жестом оборвал лукавое красноречие иезуита и чуть насмешливо, но милостиво вымолвил:

— Лучше вас геральдистов не сыскать... Стряпайте, как умеете. Скажите лучше, какой дар прислан с вами братом Каро? Он мне давеча посулил польского тройничку...

— Двенадцать бутылок со мной, ваша светлость... наикрепчайшего старого меду.

— Вот и сделаем привал, чтобы его отведать! — И, обращаясь дружелюбно к измотанному обидой и тряской адъютанту, Потемкин потрепал его по колену и отечески сказал:

— Сейчас разомнетесь, любезный, не будем ждать очередного яма... Прикажите кучеру кормить коней тут, среди поля.

В Петербурге Радищев зажил с молодой женой в доме своего тестя, что на Грязной улице, вблизи церкви Владимирской божьей матери и Невской перспективы. Дом выходил на улицу, каменный, двухэтажный, с двумя большими залами.

За домом, далеко вглубь, разросся сад с березовой аллеей и прудом. Посреди пруда на островке разбит был фокусный лабиринт. В нем любила, мечтая, бродить молодая Радищева, недавняя Аннет Рубановская. Сейчас она шла мимо фруктовых де-

рев, розовых кустов и клубничных роскошных гряд. В руке она держала корзинку, чтобы набрать ягод к обеду. Ждали дорогого гостя, Алексея Кутузова, приславшего эстафету о своем прибытии.

Алексис прожил с Радищевым неразлучно четырнадцать лет в одной комнате, расстался с ним только вследствие женитьбы Александра на Аннет, и она считала себя обязанной быть к этому единственному другу своего мужа особливо любезной, хотя сердце ее к нему совсем не лежало. Причиной были туманные, загадочные речи Алексиса и его неприятное увлечение алхимией, казавшейся ей какой-то особой немецкой чертовщиной.

Аннет прошла мимо соблазнительных красных ягод, решив, что нарвет их на обратном пути, прошла по мостику в лабиринт, что на островке, и села над прудом на свою скамейку, высеченную в искусственной скале.

Сегодня была годовщина смерти ее отца, старика Рубановского, который умер внезапно прошлым летом в Москве.

Как летит время! Давно ли был этот знаменательный вечер у Херасковых, когда она пела пред Александром и гостями «Овечек» мадам Дезульер, а потом произошло окончательное объяснение в любви, и Александр сделал ей предложение там, в углу, у трельяжа, обвитого плющом... Как дорогой, в карете, сердилась мать, как попрекала... Ей ведь мечталась для Аннет блестящая придворная партия. Разве не танцовала Аннет в Смольном в паре с Катиш Нелидовой, разве не получала из рук самой императрицы одобрение и презенты? И как, бывало, обидно напирала маменька, что ради них, дочерей на выданье, прихварывающий отец все еще должен тянуть лямку своей службы в придворной конторе. Ради дочерей поддерживает свое положение, чтобы не утратить возможности провести их посредством замужества в столь желанный для маменьки высший свет.

«И вот батюшка умер, — вздохнула Аннет, — и рухнули все расчеты маменьки; осталась она одна с маленькой пенсией. Какое счастье, что Александр не отступил перед препятствиями, что их брак заключен по любви, что навек они вместе!»

Аннет взбежала на высшую точку лабиринта, откуда виден был целиком весь разросшийся сад с его гротами, ручейками, овражками.

Аннет любила, дав волю своему воображению, вдруг подменить привычный мирный ландшафт тем романическим, что навсегда запомнился из пламенных романов Жан-Жака Руссо.

Аннет захотела почувствовать себя героиней-возлюбленной «Новой Элоизы» — несчастной Юлией. И вот знакомые с детства места внезапно превратились в пустынные, дышавшие той своеобразной дикой красотой, которая была столь любезна чувствительному перу Жан-Жака. Вместо веселого ручейка бурный

поток закружил и запенил волны, грозно сбивая каменья на своем пути. Вместо большого, знакомого в подробностях, двухэтажного дома, выходившего ее комнатой на зеленый дворик, Аннет увидала засверкавшие снегом Альпы. Темные ели росли на горах, из ущелья слышался рожок горного пастуха, созывавший разбредшееся стадо...

Когда Аннет, взволнованная мечтаньем, скользнула в беседку, поросшую жимолостью и вьюнками, горячий шопот молодого Сен-Пре монологом, который она знала с времен института, обжег ее ухо.

Она ведь была не Аннет, — она была возлюбленная Сен-Пре, она была Юлия, и она слушала:

«Неужели ваше сердце ничего не говорит вам здесь, и вы не чувствуете тайного волнения при виде этого приюта, где все полно вами? О Юлия, вечное очарование моей души! Вот они, эти места, где когда-то вздыхал по тебе самый верный из всех возлюбленных на свете!»

Аннет уже плакала слезами горькими и счастливыми одновременно, отдавая дань своей чувствительности овладевшему ее мыслью писателю и вместе с тем радостно торжествуя, что горесть разлуки с возлюбленным — только плод ее воображения.

В эту самую беседку, говорил ей Александр, приходил он мечтать о ней в те мучительные годы, когда мать ее, ожидавшая жениха починовнее, держала его в отдалении и томила своим несогласием на брак дочери с ним. Да, они были одно время разлучены гордостью родителей, совсем как благородные и безутешные Юлия и Сен-Пре.

Отсюда особо живое волнение от вызова в памяти бессмертной истории двух любящих и оскорбленных сердец.

Сейчас Аннет и Радищев счастливы любовью, горды появлением на свет своего первенца, Васеньки. Откуда же сия тяга к печали, сей трепет пред неверной судьбой?

Незаметно подкравшийся к беседке Радищев нашел свою молодую жену в слезах. Обеспокоился, расспрашивал, утешал, молил сказать ему, что случилось.

Аннет, порывисто обнимая мужа, с присущей ей милой естественностью говорила:

— Мне самой себя не понять, Александр... А плачу я только от счастья, что у нас с тобой не вышло такого рокового конца, как у бедной Юлии и Сен-Пре. Но вместе с тем я все безотчетно опасаюсь чего-то, Александр. Вспомни, когда мы с тобой ехали от венца, как внезапно понесли лошади. Это считается плохой приметой, сказала няня... Уж не сужден ли мне ранний конец?

Радищев посмеялся суеверию Аннет столь остроумно, что рассмешил и ее. Скоро он увлек ее мысль по самому приятному руслу, развивая пред ней увлекавшую обоих программу воспита-

ния Васеньки по заветам великого учителя жизни, давшего современникам идеал «нового человека».

Наперерыв они воображали, как, близко естественности и природы, поведут своего первенца, в какую сельскую идиллию претворят его золотое детство среди этого тенистого сада с кустами роз, с парниками, прудами.

Аннет, вполне утешенная и веселая, об руку с мужем направилась в березовую аллею. Радищев, уже обвыкший посвящать свою жену-друга во все прожекты литературной и служебной жизни, стал с увлечением делать экспозицию своей новой статьи, предназначенной в журнал «Беседующий гражданин». Сия статья была итогом только что бывшего разговора о воспитании и звалась: «Беседа о том, что́ есть сын отечества».

Радищев, склонясь к Аннет, говорил горячо, сопровождая выразительность своего голоса ярким блеском удивительно красивых глаз, и была особая интересность в изяществе его продолговатого лица.

— Друг мой Аннет, запомни, — три качества отличают истинного «сына отечества»: он должен быть благородно честолюбив, благонравен и смел. А истинное благородство, Аннет, — это отдача себя на службу всему роду человеческому. И преимущественно своим соотечественникам. Ибо, поскольку я рожден русским, обязан я в первую голову создавать благоденствие своей страны...

— Позволь, я прерву тебя, мой друг, — сказала, невольно торжествуя, Аннет. — Ты, значит, в этом столь важном вопросе сходен только со мной, а никак не с Алексисом! Насколько я поняла его, масоны считают похвальным не иметь отечества вовсе, не ощущать ближайшим сердцу собственный свой народ.

— Ошибочно так считают. Без опоры на свой народ, — сказал твердо Радищев, — нет человеку большого росту, нет распространения его мыслей для грядущего.

Радищев, волнуясь, встал со скамьи, на которую оба сели. Он, расхаживая пред Аннет взад и вперед, продолжал вслух заветные мысли, вызванные ее замечанием.

— Относительно Алексиса ты права... Он стоит на опасном пути со своим нежизненным, поглощающим все его силы увлечением. Когда мы жили вместе, мне порой удавалось стаскивать его с горних высот на землю, но сейчас я серьезно боюсь за него. Наверное и сегодня будет с ним крупный разговор.

— Я бы хотела присутствовать, — сказала застенчиво Аннет. — Я не помешаю?

— Вот разве что Алексис нахмурится... Он ведь меня все ревнует к тебе, — усмехнулся Александр.

Аннет вспыхнула:

— Что же, немудрено, я ведь расстроила вашу холостую жизнь.

— Сколько ни кайся — дело непоправимое, — рассмеялся Радищев, идя с женой под руку по аллее. — Однако не думай, Аннет, не только женитьба на тебе заставила меня обездолить друга. Худо ли, хорошо, мы с ним действительно прожили, как братья, четырнадцать лет, но в последнее время настолько наши пути разошлись, что все разговоры кончались лютыми спорами...

— Вот мы у клубники... — прервала Аннет, — нарву-ка я Алексису отборной.

Аннет скрылась и скоро вышла, неся корзину с верхом великолепных ягод, прикрывая их от Радищева зеленым листом лопуха.

Солнце падало сквозь ветки берез трепетными зайчиками на дорожку, розовые ленты Аннет, по моде приколотые у шеи, известные под названием «поймай меня», легко взметнулись над локонами, когда, лукаво оглянувшись на Александра, она, будто спасая от его аппетита корзинку, побежала домой.

Как запомнился Радищеву, как запечатлелся навсегда в памяти этот миг розовой юности, этого первого счастья с молодой женой! Он поймал Аннет за концы розовых лент и горячо обнял...

Идиллию прервал Середович. Он возник вдруг у березы в парадной ливрее камердинера, сшитой по его собственному настоянию. Середович доложил, что Алексей Михайлович Кутузов «изволили прибыть».

Алексис из отпуска ехал обратно в армию. Военный мундир дал выправку его длинной расслабленной фигуре, но сообщил ей вместе с тем какую-то деревянность. Он казался студентом, ради шутки надевшим военное платье.

Но голубые его глаза смотрели попрежнему восторженно, как бы не видя окружавших вещей.

Обнявшись с Алексисом по-приятельски, оглядев его быстрым глазом, Радищев с улыбкой сказал:

— Уж признайся, Алексис, за свою выправку ты из взысканий не выходишь?

Алексис начал с забавной многозначительностью:

— Учитель наш Сен-Мартен говорит, что корпус военных является наивернейшим отражением воинства небесного, ибо, по слову Трисмегиста, «что вверху — то внизу»...

— И какое же сия символика имеет отношение к тому, чтобы тебе поспособствовать не попасть под арест? — прервал, смеясь, Радищев, ведя под руку друга на балкон, где решили обедать.

— А вот верь — не верь, а благодаря экзерсисам я от взысканий избавился... правда, не особливо давно. — Алексис глянул

детскими бирюзовыми глазами и, смешно ежась, как, бывало, в школьные годы, в Лейпциге, под окриком свирепого дядьки Бокума, конфузливо добавил: — От взысканий, брат, я только еще надеюсь избавиться.

За обедом горячо обсуждали великое событие последних дней — объявление независимости Североамериканских колоний от их метрополии, Англии.

Алексис привез из дипломатических кругов различные толкования этого события. Мусин-Пушкин свое донесение начал словами:

«Положение американских дел дошло уже до зрелой кризисы...»

— А кризиса-то уже налицо, — хохотал Радищев, — куда еще дальше объявления независимости...

— Самое для нас в этом деле любезное, — излагал Алексис, — это что Англия потеряла возможность вмешательства супротив нашего интереса в дела восточные. На днях Порта потребовала посредничества английского короля на предмет смягчения наших Кучук-Кайнарджийских условий, а король принужден был из-за собственной заварухи отказаться. Больше того, Георг к нашей императрице разлетелся с просьбой: не направит ли русские войска для подавления мятежа в английских колониях?

Радищев насторожился:

— Мятежа?.. Так аттестовано дело?! Ну? Что же ответствовала императрица?

— А вот что: «Недостойно соединять свои силы двум монархам, чтобы утушить бунт, не подкрепляемый какой-либо иностранной державой». Сейчас при дворе усиленная внутренняя деятельность... вводятся новые губернские учреждения.

— А в общем, — сказал резко Радищев, — несмотря на лицемерные заверения Екатерины, везде и всюду грубейший произвол. С деспотизма сорван последний фиговый листок. И чего стесняться, коли глотают, не пикнув!

Аннет, очень мило вмешавшись в разговор, упросила обоих друзей на время прекратить разговор и отдаться оценке ее первых хозяйственных опытов.

— Необходимо вам перед боем подкрепиться, — улыбнулась она. — После обеда к вам в кабинет я со своими законами не войду. Но сейчас, дабы не простыла кулебяка, я требую повиновения.

— Повинуемся, Аннет, — ответил Радищев и, глянув на Кутузова, рассмеялся тому испугу, с каким его друг глядел на гордую своей хозяйской властью Аннет.

— Читаю твои мысли, Алексис, — сказал Радищев, — «конец свободе под брачным ярмом!» Ну, признавайся, — ты решил никогда не жениться?

— Никогда! — вырвалось столь искренно у Алексиса, что смеялись и Аннет, и Радищев, и сам отпустивший хозяевам комплимент.

Когда перешли в кабинет, Кутузов, запоздало сконфузившись, стал извиняться, что неловко сморозил.

— Пустое, брат... тем ты и мил, что чист, аки агнец. Только совет мой тебе, Алексис, совсем обратный твоему расположению мыслей. Пока не поздно, женись и ты. И после успеешь попасть в эмпиреи. На земле надлежит быть земному...

Радищев ходил по комнате, пока Алексис, отсутствующий, поглощенный одной своей думой, сидел, не двигаясь, в креслах. Он собирал указанным в ордене способом свои силы, дабы еще раз, как убежденный в найденной истине фанатик, попытаться привлечь к ордену Александра.

Радищев остановился перед своим другом, слегка потряс его за плечо и, в свою очередь желая сделать его соучастником мыслей своих, тихо, но твердо произнес:

— Прежде всего, Алексис, мы с тобой граждане нашего отечества. И нам должно открыть глаза на то, что с оным делают власть имеющие. Царица предает идеи просветителей, коим сама поклонялась в «Наказе». А Потемкину, чтобы удержать свое первое место, надлежит подкупать неустанно своих жадных новорожденных дворян. Отсюда, как из рога изобилия, раздача казны и земель. Отсюда новые войны. Ибо что скорей может обогатить негодяев? Помни мои слова, Алексис, Потемкин подымет царицу на новый захват.

— Недаром нарекли его у нас в ордене «князь тьмы», — сказал с печалью Алексис. — Масоны, Александр, суть духовные его супротивники. И если ты не сторонник сего «князя тьмы», то естественным образом должен быть с нами...

Кутузов встал и, взяв под руку друга, с бьющимся сердцем стал ходить, стараясь соразмерить свой шаг с шагом Радищева, но в ногу не попадал, и Радищев рассмеялся:

— Не трудись, Алексис, из разнобоя не выйдем!

— Выслушай меня, Александр, — собрался с силой Кутузов, — поверь, и мой дух трепещет при слове «вольность», но я знаю, что истинная свобода состоит токмо в повиновении законам, а не в нарушении оных. Я ненавижу возмутительных граждан. Из близкой мне среды бунтовщиков не будет. Но у нас объединились только что ложи елагинская с рейхелевой. Наша задача — бескровная, безнасильственная революция, сиречь возрождение свободное, по сознанию каждого. Ты усмехаешься, Александр, ты мысленно, знаю я, произносишь: «Срок подобному возрождению — бесконечность», но мы готовы запастись терпением, мы, тако верующие...

— Запастись терпением и равнодушно смотреть, как помещики, весьма далекие от всякого вкуса к возрождению, засекают насмерть мужиков?

Радищев выпустил руку Алексиса и один зашагал по комнате, раздраженный известным заранее возражением Алексиса о том, что общественное положение человека предуказано самим богом.

— Каждому определен известный градус; только двигаясь по сему градусу, сиречь исполняя предопределенные свыше свои общественные и прочие обязанности, можно подвинуться к центру — один он истина. Вот на каком основании в масонстве не слышится тобою желаемых протестов против крепостного права.

— Еще бы, — воскликнул Радищев, — если, как ты утверждаешь, оно охраняется самим богом. Ну и мерзавец же он в вашем представлении!

— Не кощунствуй, Александр! — с болью воскликнул Алексис.

Он вспыхнул, как девушка. Глаза его, молящие и чистые, как у не тронутого злом и ложью ребенка, были много умней и убедительней его слов.

— Мы вносим жизненную поправку, Александр. Эта поправка видоизменит неравное распределение благ земных. Имущий человек должен пользоваться своим имением только в интересах своих ближних...

— Стыдно тешиться, Алексис, подобной подделкой истинной добродетели! — прервал его с гневом Радищев. — До какого заблуждения можно докатиться, имея опорой мысли вашу лицемерную философию? Живым примером служит лучший из ваших братьев — Николай Новиков. Слыхать, в новом своем журнале он ставит одной из своих задач борьбу с вольтерьянством. А то ему невдомек, что мысли, им возбуждаемые в обществе, гораздо ближе, чем мечты о бесплотных эдемских наслаждениях, приближают нас к главной цели гражданина — к борьбе против разрушителя достоинства человека — крепостничества?! — Радищев волновался всем своим существом. Он возгорелся пламенем борьбы, едва выговорил несколько слов, обличавших его вечно заветную мысль. — Навсегда неизменно запомни, Алексис: моя душа болит не о ваших эдемских науках, а токмо о несчастных рабах, уподобленных нашим бесчеловечьем тягловому скоту, осужденных всю жизнь свою не видеть конца своему игу. Им отказано судьбой в малейшем человеческом пожелании. Им позволено только расти, чтобы потом умереть...

У Радищева нехватило слов. Он вплотную придвинулся к другу, взял его за плечо, повернул к себе лицом и, сверля его черными, горящими гневом глазами, вымолвил:

— Если ты имеешь что возразить — возражай!

— Ты будешь гневаться, Александр, — тихо, но твердо начал Алексис, — но ведь и я не могу утаить пред тобой свое задушевное.

— И не утаивай, — так же тихо ответил Радищев. — Может, нам более не свидеться.

— Стоит ли особенно хлопотать, Александр, — заговорил Кутузов каким-то не своим, заученным тоном, — стоит ли хлопотать особенно из-за этой быстро текущей нашей жизни? Ведь скоро-скоро спадет с нас сей бренный покров, и мы помчимся к высоким сферам, где свет озарит нас с предельной ясностью, где здешних горьких вопросов уже больше не будет. — Алексис закрыл глаза, закинул голову и сказал нараспев масонский стишок:

Там дух мой, чудом оживленный, гармонии миров вонмет.

— Смерть, Александр, — Кутузов широко и безумно открыл глаза, — единая смерть есть начало подлинной жизни. Недаром эллинский мудрец начертал: «Догадываюсь: то, что именуется жизнь, есть только смерть, и наоборот, смерть есть только начало истинно полной жизни».

Радищев сидел на подоконнике большого окна. Лампа не освещала комнаты, и в стекла гляделась светлая петербургская ночь. Черный силуэт Радищева с волнистыми, откинутыми назад прядями волос над благородным лбом был как вылитый из бронзы. Так, недвижно, сосредоточась в скорбной думе, он долго молча сидел, глядя в слабо освещенную улицу. Алексис тоже умолк и сел рядом с другом.

— Будь хоть попросту справедлив, Алексис, — сказал с глубоким чувством Радищев, — если ты сам волен заниматься тем, что на ум тебе ни взбредет, то почему не болеешь ты душой, что подобная же свобода не предоставлена наравне с тобой и бесправному твоему крестьянину? Почему?

— Потому что добро и свобода могут быть бесценной силой только в руках людей, возрожденных знанием каменщиков, в руках же профанских свобода всегда обернется злом. Прежде чем ратовать за вольность, надлежит подготовить к ней души людей, над чем наш орден и усердствует. — И опять закрыл глаза, закачался:

Неволи ты бежишь... бежишь ее страданий,
Но часто собственных невольник ты желаний.

И, не дав более ничего возразить Радищеву, охваченный собственным увлечением, Кутузов зачастил, размахивая длинными руками, целый период из только что прочитанного им «Утреннего света»:

— «Когда внешне человек терпит угнетение рабства, что же помешает ему быть свободным внутренно? Кто над собой царь?—

Тот, кто внутри себя ничьей не подвержен воле, как токмо силе собственного закона о благе и разуме. Масон не сопоставляет своего блага ни с чем, что погибает вместе с его телом. И посему, исходя из таковых взглядов, масон не может в первую очередь стремиться к преобразованиям внешней жизни. Все внешнее отодвинуто на второй план, во вторую очередь». Я тоже, поверь, Александр, — вдруг совершенно своим, доверчивым голосом сказал Кутузов, — я тоже истерзан зрелищем несправедливости в нашей стране. Управляют беззаконные начальники, исчезла безопасность личная, граждане зашатались. Место доблести и мужества уступлено робости, ползающему духу. Коварство, лукавство, комариная мелочь съедают всякую законность. Поверь, мое отечество — моя душевная мука. И вот причина, Александр, почему я с охотой иду на предложение братьев на много лет уединиться за границей в изучение орденской химии.

— Допустим, что вопль о беззаконности и произволе, о падении высоты духа у нас с тобой одинаков, Алексис, — с лаской в голосе говорил Радищев старому другу, закрывшему свое лицо в сумерках белевшей рукой. — Но выводы? Выводы о том, как дело это в нашей стране изменить, мы с тобой делаем настолько разные, что великая пропасть нас должна в будущем разделить...

Долго еще волновались в горячей беседе друзья, в этой последней встрече, пресекшей пути их столь непохожих судеб. Увлеченные, они не замечали, что Середович, то и дело приносивший им чай, который они, не глядя, глотали, никак не мог удосужиться вставить в их разговор свое давно обдуманное слово. Наконец, когда под ярко горевшими канделябрами Кутузов стал Радищеву чертить карандашом свой предполагаемый путь до Берлина, Середович не выдержал, свой поднос отставил на камин и, рухнув перед Кутузовым на колени, завопил:

— Батюшка барин, Алексей Михайлович, коль скоро поедете за границу, прихватите с собой и меня! Как покойника Мишеньку, буду вас пестовать. Ведь за границей народишко дошлый: и бельишко ваше раскрадут и как липку всего оберут!

Кутузов поднял Середовича, обнял.

— Сердечно рад, Середович, с тобой ехать... Только куда тебе и зачем? Наверное, твоя Минна, тебя не дождавшись, давно замуж вышла...

— Бог ей судья, клятвопреступнице. Не больно я плачу об ней... — И, шагнув к уху Кутузова, Середович конфиденциально прошептал: — Иную имею причину для поселения в заграничных сторонах.

— Вот старый чудак, что еще выдумал! — улыбнулся Радищев. — Плохо тебе разве у меня?

— Как можно, батюшка Александр Николаевич, и вас, и барыню, и Васеньку в поминаньице навечно вписал. Как сыр

в масле катаюсь у вас. Только каждой персоне свою честь сберечь надо. Моей же ни в столице, ни в провинции никакого разгону не предвидится.

— Ничего, братец, не понять... — смеялся Кутузов, — говори, старик, начисто, понятней.

Середович выпятил грудь, как на параде, подтянул живот, опустил руки по швам и не спеша, с достоинством вымолвил, обращаясь к Радищеву, коему ведом был загадочный смысл его речи:

— Как я имею орден, и жалованную грамоту, и чин, коими, проживая в империи российской, не имею апробации пользоваться, то желательно мне проследовать в качестве инкогниты за границу. Туда же едет, слыхать, и крепостной строгановский Андрей Никифорович Воронихин.

— Ладно, Середович, коли не передумаешь, заберу тебя инкогнитой вместе с собою!

Друзья распростились на рассвете. Радищев долго смотрел в окно на пылившую вдоль Грязной улицы коляску Кутузова. Невольные слезы текли по его щекам. Он прощался навсегда с Алексисом, другом юности. Если даже доведется еще встретиться, ведь окажутся совершенно чужими... В чистоте намерений Алексиса Радищев не сомневался, но после ночного этого разговора, после взаимно высказанных мечтаний о выборе средств для приближения благоденствия во всем человечестве, окончательно доказалась не только непереходимая разность, но и прямая враждебность их умонастроений.

До пробуждения домашних еще оставалось немало часов, и Радищев, радуясь не возмутимому никем одиночеству, запер дверь и достал из письменного стола верную хранительницу ночных дум и заветных восторгов — собственноручно переплетенную тетрадь.

Прежде чем раскрыть ее и записать новые, облеченные строфами мысли, Радищев вынул из книги Рейналя листок, привезенный Алексисом, где списана была декларация вольности.

Радищев поднес к глазам, затемненным слезами восторга, тот листок, что оставил ему Алексис, и бережно, наслаждаясь каждым словом, еще раз прочитал декларацию:

«Все люди созданы равными. У всех неотъемлемые, определенные права. Для обеспечения себя пользованием этими правами люди учредили правительства, справедливая власть которых исходит из согласия управляемых. Всякий раз, когда какая-нибудь новая форма правления становится гибельной для тех целей, ради которых она была установлена, народ имеет право изменить ее и даже уничтожить».

Народ имеет право изменить ее...

Радищев от волнения не мог дальше читать. Он опустился

в кресло и закрыл лицо руками. Солнце ярко глянуло в окно. Он не видел. Заблаговестили у Владимирской к поздней обедне — он не слышал. Он глубоко погружен был в тот совершенный покой творца, когда дошедшие до предела кипения чувства и мысли должны утихнуть на миг, как зерно, упавшее в темные недра земли, чтобы, отлившись в форму и слово, стать вкладом отдельного человека в сокровищницу познания для всех людей.

Долго ли, погруженный в свое безмолвие, сидел Радищев, он не знал. Наконец встал, прошелся, глянул в окно, уже залитое весенним радостным солнцем, и сел за письменный стол. Но писать ему пришлось недолго. В дверь, сначала тихо, потом все настойчивей, стучала Аннет, называя его по имени. Пришлось открыть...

Аннет была еще в утреннем кружевном капоте с маленьким чепчиком на голове. Озадаченная каким-то отсутствующим видом Радищева, она, покраснев, пробормотала:

— Прости, милый друг, я не думала, что ты еще занят... Давно самовар на столе.

— Аннет, друг моего сердца...

Радищев обнял жену, усадил ее на диван, стал перед ней на колени и, как, бывало, возлюбленной матушке в детстве, обуянный особо трогательным ладом души, стал говорить тихо, с проникновением, глубже, чем один, сам с собой, переживая свои слова:

— Аннет, друг сердца моего... в этот век бесправия общего только одно дело писательское может иметь значение защиты неотъемлемых свободных прав человека. Мужественный писатель, он встанет против губительства и всесилия! Он — как огромный пылающий факел, он сможет раздуть пламя в сердцах. Мой долг, Аннет... долг патриота, гражданина, человека — ударить в набат. И я ударю!

Радищев взял в руки свою заветную тетрадь и прочел срывающимся от волнения голосом:

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

У цесаревича Павла умерла от родов любимая жена Наталья Алексеевна. Пять суток продолжались неслыханные муки, вызванные неправильностью телосложения великой княгини, пока, наконец, врачи объявили, что смертельный исход неминуем, коль скоро не будет допущено вмешательство хирургическое.

Обезумевший от горя Павел разрешил сделать жене кесарево сечение, но все уже было поздно.

Плохо понимая испуганную речь вошедшего к нему в необычный час Никиты Ивановича, он догадался, взглянув на его руки — холеные, полные, в драгоценных перстнях, одним жестом выразившие безнадежность положения, — что все кончено и Натали погибла.

Жена была его опорой, его советником. Ей одной Павел всецело доверял. Ей и ближайшему другу сердца — Андрею Разумовскому, сыну гетмана и президенту наук.

С детских лет Павел был дружен с Разумовским, как с братом, поверял ему все горести, с ним одним делился ужасными мыслями о матушке императрице, не вынося подчас одинокого гнета страшных подозрений, что родная его мать причастна к убийству в Ропше его отца.

Хоть обрывками, а доходили слухи и шопоты... Из них росла и крепла в бессонные ночи догадка: нет, не с пьяных глаз, а по тайному уговору, по изволению свыше прикончил Алешка Орлов императора. Пусть официальное объявление гласило, что причиною смерти были некие «гемороидальные колики», и за границей оным не слишком-то веру дали. Ведь не что иное, как это темное обстоятельство дало повод Даламберу воскликнуть в ответ на приглашение августейшей матушки приехать в Петербург, что в нем гораздо боится морозов и «гемороидальных колик», которые уносят без разбору людей.

Да, только с ней, с умницей Натали, только с Андреем Разумовским отпускала обременяющая разум подозрительность. Этим двум верил слепо и, веря им, отдыхал от своих угнетающих волю дум, от себя самого.

В последнее время Павел гордился женой особливо потому, что стало заметно, и немало о том шептались при дворе, что императрица не на шутку опасается своей умной невестки. Известно было дословно, что написала она своему Гримму весьма осудительно про своеволие, настойчивость и честолюбие Натали, «которая в своих желаниях меры не знает».

Точно сама матушка знала меру, не пуская на трон своего лысеющего сына, единственного имевшего на этот трон право?

Умная Натали была действительно соперницей матушке. Она одна была бы в силах ускорить законное воцарение Павла, ибо действительно была честолюбива. Руки ее так и тянулись к короне.

По ночам, даже среди ласк, она не уставала твердить Павлу о его попранных правах, вливая в него больше сил и энергии, чем вместе с Паниным все масоны.

И Андрей Разумовский, вкрадчивый красавец, своим примером обучал Павла властвовать собой, восхищал образованием,

полученным за границей, помогал ковать уверенность, что в Европе будут приветствовать его, Павлово, воцарение.

Андрей окончил университет в Страсбурге, в совершенстве постиг музыку, сам чудесно пел и играл. Он дружил с Натали, как нежный брат.

Это постоянное пребывание с одаренными и притом самыми близкими людьми было для Павла желательней всех роскошных вечеров матушки с остроумием послов и придворных.

Сейчас, в постигшем его сокрушительном горе, Павлу легко было видеть одного лишь Андрея Разумовского. Неоднократно за ним посылали. Всегда был ответ: «Тяжко болен, в бреду и жару, врачи держат в постели».

Робко появился в дверях лакей в придворной ливрее и, страшась гневного окрика расстроенного цесаревича, доложил:

— Их императорское величество просят ваше высочество пожаловать к ним в апартаменты.

Екатерина сидела перед своим письменным столом, перед ней стояла эбеновая, выложенная инкрустацией из перламутра и золота шкатулка. Узорным ключом Екатерина открыла тяжелую крышку и вынула из шкатулки пачку тонких листов, исписанных по-французски размашистым мужским почерком. Слегка ими потряхивая, она сказала, полуобернувшись к незаметно вошедшему Храповицкому:

— Вот оно, радикальное средство для излечения горя цесаревича!

Осторожный Храповицкий на всякий случай поклонился с видом сочувствия, которое можно было отнести куда угодно: то ли это было соболезнование по адресу Павла, то ли почтительная дань материнской озабоченности императрицы, и без того обремененной обязанностями государственными.

Храповицкий был тот человек, который до конца дней Екатерины правил ее черновики и учил ее русскому языку, казавшемуся непреодолимым для ее немецкого произношения. Он помог ей создать этот несколько задорный, чрезмерно пресыщенный острословием екатерининский стиль, сам в то же время записывая про нее в дневнике тускло, бездарно.

Умный человек, он понял, что при таком близком домашнем приближении, когда являешься свидетелем характера, уже ничем не прикровенного в его несправедливости, гневе, коварстве, надлежит сковать собственный ум и зоркость глаза.

Екатерина привыкла к Храповицкому, как к своим левреткам. В его присутствии нередко выражала она свои самые тайные мысли. Сейчас, усмехнувшись, сказала:

— Нынешней ночью, слышала, Никита Иванович свою лень поборол — самолично дежурил у цесаревича?

— Опасаются, руки бы на себя не наложили с горя его высочество...

— Не наложит, — мимоходом, почти с насмешкой, проронила Екатерина и досказала главную свою мысль: — Срамил его Панин, что ведет себя малодушно, недостойно будущего самодержца, коему теряться от горя, как партикулярному человеку, весьма непристойно. Однако, сколь ни шепчут ему присные об его царских правах, сколь ни стараются, хлопоча в первую голову о себе, ни ума, ни величия сему грядущему императору они не прибавят.

И с раздражением Екатерина сказала Храповицкому:

— Распорядись, чтобы тотчас был вызван ко мне цесаревич.

Храповицкий направился к дверям, но Екатерина вдруг почему-то его остановила и сказала, понизив голос:

— А сами, сударь, пребудьте тут рядом, поблизости; цесаревич нервозен...

Храповицкий понимающе склонил голову и вышел.

В эбеновой шкатулке с перламутровыми инкрустациями находились неоспоримые доказательства того, что отношения покойной жены Павла к его другу первейшему Андрею Разумовскому были не чем иным, как пламенной любовной связью. И, что в глазах Екатерины было много важней и преступней, в бумагах великой княгини были найдены компрометирующие ее документы о займе, сделанном через того же Андрея Разумовского у французского двора.

Сейчас, когда Павел столь необузданно предавался скорби, она считала, что раскрытие жестокой правды должно будет его немедленно исцелить и насильственно втолкнуть в действительность.

Павел почти вбежал на своих негнущихся ногах в кабинет матери.

Он держался прямо, высоко задрав голову. Эта привычка у него сделалась самой природой. Своей подчеркнутой надменной манерой он думал увеличить низенький рост и создать хоть слабую тень той представительности, которой в высшей степени обладала его мать.

Голубые глаза, слишком большие для его маленького роста и старообразного лица карлика, возбужденно сверкали. Судорога сдерживаемых рыданий подергивала его большой маловыразительный рот. Он был в таком состоянии расстроенных чувств, что оказался не в силах присутствовать на погребении своей жены. Мать не могла этого не знать, чего же она сейчас может хотеть от него?

Павел безмолвно поклонился, поцеловал руку матери. Екатерина на минуту задержала его голову в своих маленьких руках, слегка стиснула лоб сына ладонями.

У Павла промелькнуло воспоминание о том, как, бывало, он в детстве мечтал о такой вот материнской ласке, чтобы хоть на один миг они в целом мире были двое — мать и сын. Как бы отдохнул он от своего грызущего, неотступающего беспокойства, которое уже помимо его воли разрешалось припадками ему самому непонятного гнева.

Сейчас ему было только неудобно стоять на коленях с откинутой головой, зажатой в полных сильных руках, пахнущих духами. А ласка матери до его чувств уже дойти не могла. Он давно своей матери не верил и ее не любил.

— Вы сейчас должны будете собрать все ваше мужество, сын мой, — сказала Екатерина по-французски и выпустила голову Павла из своих рук.

Павел выпрямился, вспыхнул и решил упрямо молчать, что бы ни сказала ему императрица.

Те же самые слова про необходимость мужества ему твердили все знаменитые, приближенные к «малому двору» старики, а он только хотел, чтобы его оставили в покое, одного со своим горем или с Андреем Разумовским, этим, как звал он его, «ami fidèle et sincère».[1] Он и покойная Натали одни были его опорой среди вихря корыстных партий и людей, для которых он был только средством их личных успехов. Сейчас вот и мать его хочет пытать, чтобы общественное мнение не корило ее за недостаток сочувствия к горю сына. Все у нее напоказ... Она покойную Натали совсем и не любила.

Из последних сил сдерживаясь, Павел очень вежливо сказал:

— Благодарю вас, матушка, за сочувствие; я полагаюсь на волю всевышнего бога, посетившего меня сим тяжким испытанием.

Екатерина почти блеснула на Павла глазами. и молвила с расстановкой:

— А если этого горя, мой сын, вовсе нет? Верней сказать, его не будет сейчас, как только я перед вами раскрою всю правду.

Павел вздрогнул, невольно, как бы защищаясь от удара, выдвинул вперед руку:

— Что вы этим хотите сказать, матушка?!

— Я хочу сказать, — торжественно прозвучал голос Екатерины, — что как только вы глянете в глаза истине, однако не как оскорбленный муж и мужчина, а как наследник престола...

— Матушка, не томите... — рыданьем вырвалось у Павла.

Екатерина жестом правой руки указала ему на козетку рядом с письменным столом. Он бессильно опустился.

---

[1] Другом верным и искренним *(франц.)*.

Протянув сыну правую руку, в которой чуть дрожали тонкие листки почтовой бумаги, исписанные размашистым мужским почерком, и другие листки, ответные, перевязанные розовой ленточкой, с знакомыми, чуть кривыми мелкими строчками недавно живой прелестной Натали, Екатерина веско сказала:

— Я полагаю, как добрый хирург, что наносить удар, необходимый для исцеления больного, надо сразу, не помышляя о причиняемой ему боли. И потому... Прочтите вот это сами.

Павел мучительно переводил глаза с любезно склонившейся к нему матери на пачку листков с милым почерком Натали, который он тотчас признал.

Как море в грозу, внезапно отяжелела голубизна его глаз. Они были темны и безумны.

Он раз, и два, и три пробегал пламенные строки любви, адресованные его любимой женой его первейшему другу. Сознание его медлило назвать словами причину боли, разрывающей его сердце.

Первая назвала она, его мать, императрица:

— Вы держите в руках черновики писем Натали к Андрею Разумовскому, мой сын, и подлинники его писем к ней, тщательно ею сохраняемые, как вещь, сердцу дорогую. — Екатерина указала на ленточку, которой была перевязана пачка. — Андрей Разумовский был возлюбленный Натали, и ребенок, который умер, не увидев света, был, несомненно, не ваш сын. Перестаньте же, мой друг, горевать.

Павел вскочил с козетки. Он вне себя бегал по комнате. Воспоминания, одно пронзительней и убедительней другого, подтверждая только что узнанную истину, вставали в его памяти. Все знали давно, все ему намекали. Один он не хотел понимать. Но что понимать? — Да только то, что первейший его друг Андрей Разумовский отнял у него жену, его Натали. А мать сейчас отняла их обоих...

Он остановился. Он не мог говорить. Закрыл глаза. Ему показалось, что он от боли ослеп. Он любил ее, свою умницу Натали.

И странно, даже сейчас, в эту страшную минуту, он ненавидел не ее, а свою мать, императрицу, которая, чувствовал он, торжествовала. Единственная ее соперница устранена, и самая память ее обесчещена.

А Екатерина говорила уже деловым, ровным голосом:

— Разумовского я пока отошлю в Ревель. И подумать только, с этим дрянным человеком находил особое удовольствие беседовать сам доблестный историк Шлецер...

Острая боль с новой силой потрясла Павла. Его больное сознание содрогнулось от невозможности уже ничем спасаться от

власти кошмаров своей мнительности. Чувство своей предрешенности, своей гибели ужаснуло его.

Рванувшись к Екатерине, сверкая безумными глазами, он выкрикнул:

— О, как жестоки вы, ваше величество, нанося мне эту рану!

— Вы забываетесь!

Екатерина приподнялась, поджала тонкие губы:

— Ваша мать хотела пролить на ваши раны бальзам.

— Бальзам!..

Павел, не помня себя, шагнул к матери. Екатерина испуганно потянулась к звонку.

— Не бойтесь. — Внезапная бледность сменила на лице Павла только что пылавший румянец. Он угрюмо и тихо сказал: — Хотя я ваш сын, я убийцей быть не могу.

Павел схватился за голову и выбежал из комнаты, отбросив всяческий этикет. На пороге будуара императрицы он споткнулся и без чувств упал на ковер.

Екатерина позвонила. Сбежались дежурные по дворцу, подхватили недвижное тело цесаревича. Все суетились, не зная, что делать.

Екатерина, не торопясь и вполне владея собой, приказала подоспевшему Храповицкому немедленно вызвать сюда Роджерсона, чтобы пустили кровь цесаревичу.

Радищев служил теперь в петербургской таможне, и так как не в характере его было работать спустя рукава, служба отнимала у него много времени. Утешительно было то, что старший начальник, Александр Романович Воронцов, в скором времени оказался близким по умонастроению другом. Он был сын известного канцлера, одного из немногих вельмож, оставшихся верными Петру Третьему после его низложения.

Александр Романович окончил в Париже военную школу, был поверенным в делах в Вене, затем послан в Голландию. Петр Третий пожаловал его в камергеры и перевел в Лондон.

К Екатерине Воронцов относился, по примеру отца, осудительно, и отношений его с новым двором не могла поправить даже сестра его, Екатерина Романовна Дашкова, в дни своего фавора.

Впрочем, и с Екатериной Романовной у царицы настоящей дружбы не вышло. Дашкова ретиво рвалась участвовать в перевороте, будучи еще только восемнадцатилетней женщиной, и роль свою бестактно преувеличивала. Она была только орудием в руках Екатерины, ошибочно почитая себя важным лицом в организации заговора.

Претендуя на первое место при Екатерине, Дашкова ревновала ее к Орловым и так в конце концов надоела императрице, что совсем лишилась ее расположения.

Екатерина не нашла в свое время нужным включить Дашкову в ту отважную цепь людей, которая ей доставила трон, и главные события июньского переворота прошли у нее за спиной. Она уподобилась пресловутой мухе из басни Лафонтена, которая, сидя на рогах у вола, хвасталась сделанной им работой.

Опираясь на эту басню, Вольтер добил престиж Дашковой при дворе, прозвав ее «la vaniteuse mouche du coche».[1] Название привилось; Дашкова не обладала обаянием, ее не любили.

По характеру, который видело в нем большинство людей, Александр Романович Воронцов был суховат, угрюм, неподатлив, но одарен талантом государственным и немалым, весьма разносторонним образованием. Независимый ум его, возмущаясь произволом самодержавства русских властей, склонялся к относительной законности Англии. Вслед за Вольтером он любил повторять, что английский король хороший пример самодержавным монархам уже потому, что у него руки связаны, чтобы творить зло.

При дворе Воронцова прозвали «медведь», и Екатерина платила ему взаимной неприязнью, обидчиво говоря: «Таланты его суть не для службы моей».

Придворные ей зло намекали, что Воронцов действует часто для своих «прибытков», как его знаменитый взяточник-отец, недаром прозванный «Роман — большой карман». Однако дела по таможенной службе, которые были у Воронцова с Радищевым, опровергали ходячее мнение.

Воронцов возбуждал зависть своей работоспособностью. Завадовский недаром говаривал про него: «Бумага — пища, его не насыщающая». Ползающим духом он не обладал и умел отстаивать свои мнения, если почитал их на пользу государственную.

Это качество, которым в высшей мере выдавался и Радищев, сблизило их. Вышла одна неприятная история, в которой Радищев смело пошел наперекор мнению старших своих сослуживцев, оказался прав и привлек к себе внимание начальника.

Обладая юридическим тактом, знанием закона и стремительной рыцарской честностью, Радищев отстоял невиновность некоего губернаторского чиновника, обвинявшегося в убийстве без достаточных улик. Своей же неподкупностью, строгим презре-

---

[1] Хвастливая муха на воле (*франц.*).

нием к участию в обычном, особливо для таможенных служащих, взяточничестве Радищев остался неимущим на весьма выгодном, в смысле доходов, месте. Он этим снискал большое к себе уважение как Воронцова, так и других сослуживцев.

Несмотря на растущие траты на семью, где было уже трое детей, Радищев, как и был, оставался нестяжателем, не искал обогащения.

Бескорыстие было редчайшим качеством для современников Радищева, и много толков шло в городе о том, как он проучил одного купца, ему настойчиво дававшего взятку.

Попался этот купец с контрабандой парчи и дорогих материй и наедине, в кабинете Радищева, стал просить его пропустить товар. Просьбу купец сопроводил протянутым Радищеву толстым пакетом с ассигнациями.

Радищев позвал слугу и велел купца вывести вон. Однако тот не унялся и продолжал действовать через свою жену. На другой день жена купца приехала навестить Аннет, которая еще лежала в постели после родов, и оставила в презент большой сверток драгоценных тканей. Радищев немедля велел сей сверток водворить обратно в экипаж купчихи.

Однако работой в таможне он был просто завален, едва попал в помощники к советнику казенной палаты, старику Далю. На этого Даля возложено было управление делами петербургской таможни с поручением составить новый тариф.

Даль был стар, болен, плохо знал русский язык, и помощнику его, Радищеву, в сущности пришлось вместо него и управлять таможней и единолично составлять новый тариф.

Эти годы семейного счастья с Аннет Радищев почитал для себя блаженнейшими, полагая лучшую долю в обладании прекрасной женой-другом. По временам огорчала его только чрезмерная нервозность Аннет и непонятная ее преданность суевериям народным. То, что лошади понесли их свадебную карету, едва они в нее вошли после венца, не шутя продолжало удручать ее, суля ей, как она была уверена, либо краткую, либо несчастную жизнь.

Еще немало страдал Радищев, что не приходилось ему отдавать сил прямому призванию его — литературе. Бывали минуты, когда потребность закрепить словами бушующие у него в груди чувства и мысли была так могуча, что до утра, запершись в кабинете, пренебрегая сном, он писал всю ночь напролет.

Так было на днях. После одинокой прогулки за Невский монастырь Радищев на обратном пути зашел на кладбище посетить памятник Ломоносова. Его воображение с такой силой вызвало образ великого русского поэта и гения науки, что, придя домой, он почувствовал необходимость излить на бумаге обуревавшие его мысли.

«Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу».

Вся пламенная статья, которую он пока начерно набросал в своем дневнике после этой вечерней прогулки, была о том, какие великие скрытые силы могут таиться в людях простого звания, «коих окружность мысленной области не далее их ремесла простирается».

Радищев писал о том, как неуклонно, настойчиво, вдохновенно развивался гений, какой пышный цвет дал он в русской науке, в русском слове. Говоря о Ломоносове, Радищев провидел в его силе, в его предвосхищающем примере дары миллионов, скрытые до времени.

В общем жизнь Радищева в эти годы протекала хоть в напряженной работе, но счастливо. Имея дома ангела тихого — жену, на службе старшего начальника — друга, Радищев углубился в себя, уединился от светского общества и в благотворном домоседстве как бы собирал и копил все свои силы для предстоящего дела его жизни — выпуска в свет давно задуманной книги.

Однажды, глубокой осенью, случился в доме большой переполох: Аннет ушла с утра за покупками и в обычный срок не вернулась. Между тем начали палить пушки, возвещая все растущее наводнение.

Нева кинулась из берегов, затопила все части города, кроме высоко лежащих Выборгской и Литейной.

Середович, видя, как Александр Николаевич беспокоится, пошел немедленно разыскивать Аннет, но тоже пропал. В отчаянии Радищев сам бросился на улицу, но счастливо встретил подъезжавшую на лодке, в свою очередь встревоженную за него жену.

Она, смеясь, рассказывала диковинные вещи, которых только что была свидетельницей: мимо Зимнего дворца через каменную мостовую переплыл купеческий корабль, а знакомые дамы, как птицы, сидели на деревьях, ожидая спасательных лодок.

Середович, вернувшийся в сумерках и восторженно встреченный сыном Радищева, которому был он любимым дядькой, рассказал про то, как другой корабль, из Любека, груженный яблоками, занесло на десять саженей от берега, в лес, на Васильевский остров. Теми яблоками угощали всех, кто случился, задаром. Середович в своем кармане принес Васеньке живое доказательство в виде двух отменно великих яблок.

Неустанно работали по случаю наводнения вновь учрежденные сигналы из подзорного дома для Коломны, а с Галерной гавани не переставая палили пушки для Васильевского острова. Барабанщики били в барабаны. И, как чудо красоты, выси-

лась над водой и сверкала только что вызолоченная решетка строителя Фельтена у Летнего сада, вызывая восхищение иностранцев.

Решетку ходили смотреть, когда вода спала, Аннет со своей сестрой Елизаветой Васильевной, окончившей Смольный вместе с Нелидовой и отмеченной не однажды вниманием и похвалой императрицы при исполнении французских комедий.

Елизавета не была так хороша, как Аннет, лицо ее к тому же было тронуто оспой, отчего она полагала, что сам бог ей поставил преграду к личному счастью. Но тем не менее природа ее была полна нежного материнства, которое обильно изливалось на племянников.

Сейчас, перед великолепным зрелищем золотого кружева решетки, Аннет растрогалась и, переживая заново едва не постигшее ее бедствие во время наводнения, с печальной улыбкой на устах сказала сестре:

— Обещай мне, Лиза, что ты заменишь мать моим сиротам, когда я умру!

Аннет в четвертый раз готовилась стать матерью, и злые предчувствия, скрываемые от мужа, ее не покидали.

Елизавета Васильевна хотела было рассмеяться и, как Радищев, нежно пожурить сестру за то, что она опять предается мрачным, ничем не вызванным опасениям, но, глянув в глубоко ушедшие прозрачные глаза Аннет, дрогнула внутренно от повторенной проникновенной просьбы и просто сказала:

— Будь покойна, дорогая Аннет, я детей твоих никогда не оставлю.

Как-то в поздний ночной час, незадолго перед родами, Аннет легко постучала к Радищеву в кабинет, хотя знала, что он сейчас что-то пишет в своей заветной тетради.

— Александр, я тебе не помешаю... Я на минуту, мне что-то не спится.

— Друг жизни моей, — восторженно обнял Радищев Аннет, — твое вещее сердце тебя привело. Я только что написал строфу, и сдается мне, как Юлий Цезарь, перешедший Рубикон, я уже знаю, что не остановлюсь, доколе не завоюю свою Галлию, доколе не выскажу современникам все до конца, чем бы мне это ни грозило...

— Прочти мне твою новую строфу, — сказала Аннет в сдержанном волнении, стоя рядом с Радищевым.

— Ты испугаешься, Аннет. Ты будешь меня отговаривать...

— Полно, Александр, не всегда ведь «враги человеку домашние его». Я знаю твою благородную скорбь, я понимаю, что тебе не удержаться в пределах благоразумия...

— Друг мой и жена, — сказал с гордостью Радищев, — есть ли кто в браке меня счастливей?

И он ей прочел свое пророческое видение:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

— Александр, — сказала после безмолвия в глубоком волнении Аннет, — прошу тебя об одном: когда ты свершишь дело твоей жизни, когда ты выпустишь свою книгу в свет, вспомни о наших детях!

При дворе о несчастье цесаревича говорить перестали. Екатерина всем и каждому утверждала, что Павел совершенно утешился с новой женой, принцессой вюртембергской, в крещении Марией Федоровной, особливо после недавнего появления у него первенца-сына — Александра Павловича.

Державин написал оду «На рождение порфироносного отрока», а «Санкт-Петербургские ведомости» поместили стишки:

Счастливых областей России
Чрез плод от Павла и Марии
С Олимпом вдруг сравнялся край!

После пугачевщины Екатерина, подкрепляемая и руководимая Потемкиным, все окончательнее и тверже строила единую опору трону — власть дворянско-помещичью.

«Сломав рога сему зверю, мысли во множестве вдруг приходят», — любила она теперь изрекать.

А этими хвалеными мыслями было не что иное, как учреждение губерний. Своим новым полицейским характером они нимало не походили на былые мечтания императрицы в весну ее увлечений ансиклопедистами и просветительного «Наказа», писанного «для блаженства всех и каждого».

«Наказ» был заимствован у Монтескье, «Положение о губерниях» — из наставлений об управлении землями остзейских баронов.

Все растущая самоуверенность Екатерины, питаемая лестью придворных, лишала ее всякого критического чувства. Императрица получила вкус, как смеялся француз де Линь, восхищаться собственным талантом к «лежисломании», сиречь составлению законов, и непогрешимостью своего здравого смысла.

Любовно писала она о себе в третьем лице барону Гримму:

«Императрица чрезвычайно уединяется, она не имеет ни минуты свободной. Двадцать четыре часа для нее слишком коротки...»

Екатерина постарела, отяжелела. Полюбила умиляться созерцанием своих дел, уверяла себя, что благосостояние народа растет не по дням, а по часам. Из необходимости самозащиты перед невысказанными укорами в резкой измене направления мыслей, которые она все-таки чувствовала вокруг себя, Екатерина стала бронироваться в пренебрежительное отношение к своим былым учителям, представителям просветительной мысли. Вольтера еще по привычке она продолжала расхваливать, но речь свою, обычно прежде уснащенную его цитатами, заменила неумело произносимыми русскими поговорками и прискаэками.

Когда в семьдесят восьмом году умер Вольтер, Екатерина немедленно написала Гримму:

«Дайте мне сто полных экземпляров сочинений моего учителя, чтобы я могла их разместить повсюду. Хочу, чтобы они служили образцом, хочу, чтобы их изучали, чтобы их выучивали наизусть, чтобы души питались ими. Это образует граждан, гениев и авторов. Это разовьет сто тысяч талантов, кои без того потеряются во мраке невежества...»

Казалось бы, какой возврат былой ученической восхищенности, какое пышное надгробное славословие! Но вот Екатерина внезапно прерывает свое красноречие, чтобы самой же на него полюбоваться, словами: «Какова тирада, какова тирада!»

Так именно заканчиваются ее красноречивые поминки Вольтера в письме к Гримму. Оказывается, говоря о философе, она любовалась только собой. Еще лучшим доказательством необыкновенной безответственности и остылости чувств императрицы служит письмо ее к тому же Гримму, уже в ответ на исполнение ее просьбы — присылку требуемых книг Вольтера.

Как бы в отместку фернейскому философу за долгие прежние годы хвалы и подчинения Екатерина сейчас восклицает почти с пренебрежительной усмешкой:

«Но послушайте, Гримм, кто же в силах прочесть все эти пятьдесят два тома сочинений господина де Вольтера?!»

Тот же семьдесят восьмой год — утрата Вольтера, а через несколько месяцев еще сильней поразившая чувство смерть Жан-Жака Руссо — был важным внутренним событием в жизни Радищева.

Не блестящее остроумие и едкая насмешка Вольтера, столь увлекшие Екатерину, не изумительная разносторонность его творчества делали память о нем дорогой, а главным образом то, что Вольтер был одним из первых защитников свободы совести человека.

В сокровищнице сердца, там, откуда пережитое, прочитанное становится побудителем уже на действие собственное, хранилась у Радищева память о выступлении Вольтера по делу Каласа, колесованного католиками. Он знал, конечно, что Вольтер, при всем яде своей тонкой улыбки, преследующей воображение всякого, увидевшего ныне присланную императрице его мраморную статую, был мечтатель и верил в сказки. Он, например, питал доверие к монархической власти, считал возможным, что, будучи просвещенной, она возьмет под свою защиту благо народное.

Но ведь рукой палача сожжена была его «Естественная религия» вместе с творением Гельвеция «О духе».

Еще гораздо ближе Вольтера к мыслящему существу Радищева был Жан-Жак Руссо.

Навеки врезаны в памяти и в сознании, навеки пленили своей правдой для всех и навсегда сказанные золотые строки «Общественного договора»:

«Надо найти такую общую форму соединения, которая защищала бы и охраняла своей общей силой личность и имущество каждого своего члена и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе, оставаясь столь же свободным, как и раньше».

Но какое между сими двумя мыслителями, столпами века, во всем противоположение?!

Вольтер — насмешка и рассудок, Жан-Жак — весь пламень и чувство. Он склонен к мечтательной грусти и столь близок сердцу в своем стремлении к утраченной на земле, или, вернее, еще на ней не бывшей, прекрасной естественной простоте — золотому веку человечества!

Какой угодно образованности противуставляет Руссо, уважая человека в его первобытных, исконных свойствах, его прирожденную мудрость, не затемненную пороками и суетой приобретательства.

«Он у меня вызвал желание стать на четвереньки!»

Любя сарказмом удерживать мысль от преувеличения и фантастики, так высмеял Вольтер мечтанья Руссо. Однако горячей страстностью своей проповеди, своей верой в нового, лучшего человека не кто иной, как Руссо, питает и будет питать сокровенные силы души.

Смерть обоих властителей дум его века — так чувствовал Радищев — создает могучее требование немедленного преемства их дела.

Ведь едва король умер, немедленно возглашается новый король: «Le roi est mort — vive le roi!»[1] Ведущие человечество

---

[1] Король умер — да здравствует король (*франц.*).

к свободе смелая мысль и воля — им ли оставаться без преемника?!

Слова Руссо и Вольтера надлежит перевести в дело. И пора об этом деле ударить в набат...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Потемкин приехал из Крыма в Полоцк, где поджидал Екатерину. Она затеяла эту поездку для встречи с императором Иосифом Вторым, который должен был приехать в Могилев под именем графа Фалькенштейна.

Потемкин остановился у маркиза де Муши, в большом доме на горе, окруженном старыми дубами, цветущим фруктовым садом и многочисленными службами. И камердинер и повар здесь были французы. День распределялся согласно парижским привычкам маркиза. Обед подавался торжественно вечером, при зажженных канделябрах, лакеями в белых перчатках.

После лихорадочной деятельности в Крыму на Потемкина внезапно нашла ему свойственная злая хандра.

Последние две недели он в совершенной распущенности, неумытый, обросший волосами, не вставая, лежал на кушетке. То измышлял новые варианты к «проекту греческому», то, отмахнувшись от всякой политики, тешился с какой подвернется девой, то просто гнал всех к чертям и самоубийственно тосковал.

Он задыхался от своей рассеянной воли, метался, как темный зверь, забивая тоску приливами бешеной деятельности. И все-таки он не умел собрать себя на чем-либо окончательно, чтобы поглощающе приложить свои силы.

Он воевал, населял пустынные земли, насильничал, чудил. Создавал для Екатерины новые города и на многие десятилетия вперед забивал страну крутой полицейской системой. Как в тиски, зажал этой системой империю, разделенную на губернии, при посредстве губернаторов, полицеймейстеров, несметных, как злая мошкара, чинов мелкой власти. Миллионы загнал он в железный строй, а с самим собой ничего не мог сделать. И съедала тоска.

С досадой ждал Екатерину, которая что-то все медлила. Ждал свою вторую племянницу, Катеньку, к ней сейчас была у него пассия.

Всех племянниц, дочерей родной его сестры, вышедшей замуж за Энгельгардта, было три. Александра, всех пригожее, сама к нему привязалась и была глубоко огорчена, когда его потеряла. Варвара с ним люто ссорилась, держала его как под хлыстом,

чем непрестанно волновала ленивые его чувства. Но Варваре светлейший дядя надоел, она его бросила для Голицына.

Оставалась третья племянница — Катенька. Ее Потемкин не то чтобы любил, но она его успокаивала, то-то и прозвал он ее «ангел во плоти». Без особого ума и образования, она уступила мимолетному капризу Потемкина, дабы его не огорчить, а удержала его привязанность навсегда.

Катенька пользовалась расположением императрицы и вместе с нею должна была ехать сейчас в Могилев.

Попав в европейски размеренный быт маркиза де Муши, Потемкин был даже рад подтянуться, как не в меру разленившийся школьник, уставший от своеволия.

У маркиза была древняя и новейшая библиотека, и Потемкин зарылся в книги. Перечитывать Жан-Жака Руссо толкала его недавняя кончина философа. Любопытно было ему пересмотреть и проверить силу воздействия на себя былого кумира юности.

— Делает честь вашей терпимости, маркиз, — сказал, улыбаясь, Потемкин вошедшему де Муши, указывая ему на кожаные, в золоте, обложки энсиклопедистов, — делает честь вам держать просветителей в своей библиотеке, если она у вас открыта для юношества вашего католического новициата. Ведь это все равно, что на пороховом погребе затеять выстроить дом. Полагаю, что в рассуждении юношества вам даже католическими доктринами подобных философов не перекрыть...

— Чтение Вольтера, Руссо и прочих вольнодумцев внесено в нашу учебную программу, — сказал скромно маркиз, — но будьте уверены, ваша светлость, мы с достаточной ловкостью опровергаем все их идеи, опасные для целостности веры и послушной нам мысли наших питомцев.

— Ой ли? — усмехнулся Потемкин. — Чай, среди дураков могут и умники подвернуться!

— А умников соблазнить всегда можно властью.

Посмеялись, как понимающие друг друга без слов. И де Муши без дальних околичностей стал убеждать Потемкина склонить Екатерину на утверждение в России главы иезуитского ордена.

— Наш генерал есть ведь не что иное, как персонификация принципа авторитетности и власти избранных людей, почитаемой и вами как единственно возможной. Генерал ордена иезуитов — это само наличие единовластия и порядка.

— Любопытствую, чтобы вы мне доказали, какое собственно мне может быть дело до вашего черного генерала.

— Есть дело, и большое, — не смутился де Муши. — В ту минуту, когда ваша светлость откажется ускорить победу и тор-

жество нашего ордена, вы этим самым положите свою силу на чашу весов врагов всякого порядка и умной власти немногих.

Сейчас противуполагаются в мире две силы: власть правителей законных, то есть миропомазанных, как еще веруют своим детским сознанием народы, и другая сила — власть его самого, еще не вышедшего из пеленок народа. Не будем беспечны, ваша светлость, — в голосе де Муши послышалась угроза, — сейчас из Франции, всему миру в пример и поучение, уже подымается эта слепая, темная сила. — Понизив из вежливости голос, де Муши коварно добавил: — Не правда ли, ваша светлость не так давно имели случай убедиться во всех ужасах крестьянского бунта и в стране собственной?

Язвительность де Муши не задела Потемкина. Отдаваясь собственным мыслям, он задумчиво и печально сказал:

— Да, ничего не поделаешь, в жизни только две формы существования: либо властвовать, либо подчиняться. И как только властитель поколеблется в своем праве на власть, его песенка спета.

Потемкин прошелся по библиотеке, заложив руки за спину, тяжелым шагом напирая на штучный мудреный паркет, выбирая, куда именно ставить ногу.

— Я предпочитаю, как и вы, де Муши, не подчиняться дуракам, а ими командовать. Но я делаю это не за всякую цену... а вы за всякую.

Теперь де Муши пропустил мимо ушей неприятный намек на отсутствие брезгливости в практике ордена и, возвращаясь к главной своей теме, сказал:

— Надо быть последовательным, ваша светлость. Если признать власть избранных над прочими, то надлежит этим избранным для собственного усиления соединиться. Если сегодня в вашей стране у нашего ордена появляются враги, поверьте, назавтра они уже не только наши, но и ваши враги.

— Короче, де Муши, — внимательно остановился Потемкин, — назовите этих врагов ваших и наших.

— Извольте. В первую голову московские масоны и впереди всех Николай Иванович Новиков.

Потемкин добродушно засмеялся:

— Эх, куда вы хватили! Новиков — святой жизни человек; уж таковым его матушка родила. С ним вместе в университете учились, и хотя оба только тогда и делали, что не отрывали носа от книг, за леность исключены были. Да и масоны, полагать можно, сплошные божьи коровки!

— Ошибаетесь, ваша светлость, — твердо и холодно сказал де Муши. — Конечная цель даже их самой отвлеченной ветви весьма дерзкая. Даровать народам «совершеннейшее правление» — вот основной пункт политической программы, который

таится под выставленной ими безобидной моралью «исправления нравов». Вопрос же о совершеннейшем правлении неизбежно связан с вопросом о личности не кого иного, как государя. Именно государь, — подчеркнул голосом де Муши, — должен, по их мнению, давать образец поведения своим подданным. — Де Муши подошел совсем близко к Потемкину и, как будто он обнаружил и поймал государственного преступника, торжествующе сказал: — В одном издании Новикова так и говорится: «Примером, более чем словом, должно правительствовать». А его издание «Жизнеописания Конфуция», ваша светлость, изволили с вниманием читать? — И де Муши процитировал наизусть тираду, как видно, давно приготовившись к сегодняшнему разговору: «...правительствующая особа, если будет сама справедлива и расположена ко всяким добродетелям, то тем самым подданных своих может без всяких увещаний добровольно ко всякой добродетели примером своим привлечь». Под сей особой, легко угадать, подразумевается не кто иной, как цесаревич Павел. Уверяю вас, ваша светлость, именно это имя подставляет всякий, читая приведенный мною абзац. Но послушайте, каковы намеки в последующих страницах, хотя речь и ведется хитро, якобы все о том же Конфуции: «...восхвалим государя, который отженет от себя ласкателей и удаляться станет от венерических забав».

— Болтовня, — бросил лениво Потемкин и стал перелистывать только что им прочитанный томик Руссо, заложенный драгоценной, шитой жемчугами закладкой.

Но де Муши не сдавал позиций:

— Если приведенные мною цитаты, по вашему мнению, болтовня, извольте услышать недавние факты: обожаемый глава ваших московских мартинистов, в честь коего они и приняли свое наименование, Клод де Сен-Мартен, отказался посетить Россию, пока в ней царствует... я принужден произнести точные его слова, не правда ли? — извиняющимся тоном давая понять всю дерзость Сен-Мартена, сказал де Муши и придворным полупоклоном склонился в сторону Потемкина.

— Требуются не только точные слова, но и заверка этих слов до-ку-мен-тально, — деловито ответил Потемкин.

— Документ будет вам представлен, а слова таковы: «...пока в России царствует превосходящая беззаконием Мессалину...»

— Довольно, — остановил вельможным жестом Потемкин, — не приедет ваш Сен-Мартен, мы и не чихнем!

Он опустил руку с зажатым в ней томиком Руссо и строго спросил:

— Вы уверены, маркиз де Муши, что упоминаемые вами инсинуации находятся именно в книжках Новикова?

— Завтра же оные книги доставлены будут вашей светлости... — обязательно поклонился маркиз.

Потемкин внимательно на него посмотрел:

— К чему, однако, сие хитроумное предисловие, попрошу вас изъясниться, наконец, прямо? Что имеете вы персонально против Новикова? Сомнения нет, что сей скорпион вас чем-то ужалил!

— Он пишет историю нашего ордена, книга почти вся готова.

Де Муши совсем близко подошел к Потемкину и настойчиво, со всей твердостью сказал:

— Ваша светлость, издание Новикова «История иезуитов» не должно увидеть света, не должно иметь распространения.

— У книги своя судьба, — уклончиво ответил Потемкин. И, пытливо взглянув на маркиза, добавил: — Что же, книга, по вашему мнению, клеветническая?

— Если иные, пусть исторически верные, факты подаются не рукою друга, они уже клевета! Нередко в истории нашего ордена жестокость, которая казалась профанам недопустимой, на самом деле бывала вынужденной самим временем и, скажу прямо, полезной.

Потемкин захохотал громко, от души. С восхищением вымолвил:

— Ну и ловкачи! Даже инквизицию норовят подать потомству с апробацией. Вот попробовал бы я вас, маркиз де Муши, поджарить слегка на костре — сомневаюсь, чтобы вы нашли в этом деле большой вкус.

Потемкин протянул де Муши томик Жан-Жака, развернув его на странице, заложенной жемчужной закладкой:

— Прочтите. Этот пример самого Руссо потрясает меня больше всех видов человеческой слабости и низости воли.

Потемкин опять широко шагал в другом конце библиотеки по французскому розовато-зеленому ковру из угла в угол, пока де Муши читал примечание к одной из страниц «Исповеди», где Руссо писал, что своих пятерых детей он отдал одного за другим в воспитательный дом, чтобы их никогда больше не видеть.

Потемкин остановился перед изящным, утопающим в валансьенах[1] де Муши.

— Человек этот, — он указал на портрет Жан-Жака, где художник благодаря странной большой шапке изобразил его похожим на пожилую женщину, — этот гений чувства сделал переворот на весь мир в деле воспитания всех людей, а вот своих собственных детей, от законной жены, без всяких смягчающих это дело обстоятельств, ни вследствие нищеты или принуждения, закинул, как щенят, в воспитательный дом, просто так, для личного удобства. Без детей, пишет он, ему свободней. И плакать жене

[1] Кружевах.

не позволял. Больше того: как тут можете прочитать ниже, графиня Х. вздумала ему удружить, разыскала нумерки, под коими сии обездоленные дети были сданы. Руссо пишет, что он был крайне недоволен непрошенной находкой. Старушенция-то порадовать думала: пора, дескать, Жан-Жак, ваших деток обратно, а он, как видите, погнал ее к чортовой бабушке.

Де Муши внимательно прочел, пожал плечами:

— Непонятно, ваша светлость, на что намекаете вы сим примером...

— А на то, — сердито сказал Потемкин, — что ежели так обстоят на белом свете дела, что у наилучшего из людей слово с делом расходится, то правителям, которые не суть моралисты, совсем нечего себе счет добродетели предъявлять. — Он остановился, помолчал. И вдруг, тряхнув кудрями парика, резко вымолвил: — Что же касается Новикова, распорядитесь, любезный де Муши, чтобы сюда доставили возможно скорей «Конфуциево учение» и прочие вами отмеченные книги...

— Все эти книги уже имеются здесь в библиотеке, в секретном ее отделении.

— В секретном, — улыбнулся Потемкин, — так что уж этих вашему новициату читать не даете?

— Выработаем опровержение и дадим, — ответно улыбнулся маркиз.

Екатерина ехала в Могилев по-семейному. При ней был новый фаворит Ланской, отличный от всех прочих особо деликатным сложением чувств, пристрастием к искусствам, главное же — настолько неподдельной, безрасчетной привязанностью к ее особе, что серьезно заболевал при всяком облачке, угрожавшем его отставкой от персоны матушки.

Кончилось тем, что сама Екатерина не заметила, как привязалась особой, материнской любовью к Ланскому.

Был сейчас при ней умнейший Безбородко, умевший так удобно оборачиваться, что из каждого положения выходил сух из воды.

До Екатерины дошли слухи, что Безбородко тратит огромные суммы на актрису Анну Навию, предается чрезмерным дебоширствам и кутежам. Екатерина приказала Анну Навию отправить восвояси, а Безбородку принялась было строжайше распекать, но сей хитрец украинским своим говором смиренно сказал:

— Не одним дебоширством я занимался. Я трохи вашего императорского величества славу подытоживал. О, что за пышная картина! Без малого полтысячи великих и добрых дел натворили.

И, скрывая под умеренной фамильярностью то ли тонкость насмешки, то ли действительную преданность, умный Безбородко поднес матушке на атласной негнущейся бумаге статистическую таблицу славных дел ее царствования:

За девятнадцать лет понастроено губерний по новому образцу	144
Конвенций и трактатов заключено	30
Побед одержано	78
Замечательных указов, законодательных и учредительных, издано	88
Указов для облегчения народа	123

Все эти разнообразнейшие деяния для рельефа славы императрицы Безбородко свалил в одну цифру простым сложением: итого — 463.

Как ни груба и неуклюжа была лесть, Екатерина имела слабость принимать ее с благоволением. Качество это хорошо понимали все дипломаты. Иосиф Австрийский уже на второй день свидания с императрицею в Могилеве писал своему премьеру Кауницу:

«Я понял, что имею дело с женщиной, которой дело только до себя самой, а до России ей столько же дела, как и мне. И прежде всего ей надо льстить».

Екатерина задумала союз с Иосифом, чтобы обеспечить себе со стороны Австрии помощь в захвате Крыма и в турецких делах. У Иосифа тоже был расчет: в случае победы над турками изрядно за их счет попользоваться. Екатерина была уверена, что союз с Австрией откроет ей ворота Константинополя, и ей стало казаться, что император Иосиф является обладателем «орлиного взора». Совсем недавно мать Иосифа, Мария-Тереза, которая своим правоверным католическим сердцем содрогалась перед вольтерьянством Екатерины и ее «домом распутия», сломила свое отвращение и написала ей смиренное письмо. Она просила ее быть посредницей в вопросе о так называемом «баварском наследстве». Иосиф после смерти электора[1] Максимилиана якобы в защиту германской конституции хотел захватить баварские земли. Пруссия протестовала.

Лед между Россией и Австрией был сломан. Путешествие Иосифа в Могилев под именем графа Фалькенштейна предпринято было для закрепления отношений.

В разгар весны среди цветущих фруктовых деревьев Екатерина въехала в Полоцк и тотчас же отправилась в православную церковь, верная своему положению русской императрицы, почи-

[1] Правителя.

тающей веру своего народа. Потемкин же отправился в униатский собор.

Иезуиты приветствовали императрицу в своих орденских одеждах, повсюду запрещенных папой и только Екатериной умно разрешенных в России.

— Эти славные плуты-иезуиты помогут мне приручить и держать в респекте моих подданных, — любила Екатерина говорить.

И иезуиты помогали.

Сейчас они стояли в два ряда, провожая императрицу до трона. Когда она села, Черневич произнес речь, приготовленную по-латыни:

— Августейшей императрице России, победительнице турок, умиротворительнице царств, распространительнице общественного счастья, всемилостивейшей охранительнице общества Иисусова!

Вечером была невиданная в городе иллюминация с пятью пирамидами, вышиной со здание коллегиума. Разноцветные шкалики составляли изречения, которые горожане читали с бесцеремонным хихиканьем:

«Славная добродетелями!»

Имена фаворитов облетали толпу, передаваясь из уст в уста.

За примером недалеко было ходить: тут же рядом, в Шклове, поражала воображение соседних губерний сказочная роскошь бывшего недолго в случае серба Зорича, к которому в сопровождении Потемкина и последнего сегодняшнего баловня фортуны Ланского на несколько дней собиралась в гости императрица со всей свитой.

Потемкин, озабоченный своими мыслями, ехал мимо славословящих Екатерину транспарантов, равнодушно читая: «Знаменитая победами», «Страх врагам», «Опора друзей», «Любовь подданных». Потемкин думал, будет ли ему на руку принять участие в интриге иезуитов, хлопотавших попрежнему настойчиво о разрешении им Екатериной учредить звание генерала ордена, упраздненное папой.

Против этого был нынешний глава иезуитов в Белоруссии Станислав Сестренцевич.

Этот человек был Потемкину неприятен, потому что он посещал Гатчину и был обласкан цесаревичем Павлом. Когда же ему сказали, что светлейший недоволен этой близостью, он пренадменно ответил: «Почитая себя человеком свободным, имею право по своему вкусу выбирать себе друзей и врагов».

Сестренцевич был дворянин, крещеный и выросший в кальвинизме, потом прусский гусар и капитан в литовском войске. В этом чине он бросил военную службу, принял католичество, прослушал богословские курсы в варшавском капитуле и принял сан. Присоединив Белоруссию, Екатерина поручила ему управление вновь основанной епархией.

Екатерина находила в Сестренцевиче «резонабельные сентименты»,[1] чего в русских попах не встречалось. Они были либо пьяны, либо ругатели, как неприятной памяти «враль» Арсений Мациевич.

Ловкач Сестренцевич даже как будто не прислуживался, он просто угадывал искусно, на лету, мысли Екатерины. Он прославлял в проповеди как «чудесное доказательство божьего промысла над угодным ему правителем» спасение от покушения на жизнь ничтожного короля Станислава Понятовского.

«Большую силу забирают эти иезуиты...» — сердито думал Потемкин, принимая к сведению все, что донес ему де Муши про Новикова. На проверке обвинения в инсинуациях на Екатерину сказались истиной, но ему было непонятно и бессознательно обидно, что пришлые, иноверные и неприятные люди подводят под удар русского человека.

Но вот пред его воображением встало тонкое длинное лицо Сестренцевича, умные глаза с хитринкой, его манеры и обхождение придворного человека, когда он сам ему лично, при встрече, подтвердил свои слова, боясь, что по всеобщей трусости перед Потемкиным они не будут переданы во всем своем значении:

— Ваша светлость, не правда ли, мы должны симпатизировать друг другу, имея одинаковый вкус обладать самостоятельностью суждений?

«Ну его к чорту!» — отмахнулся от ядовитого Сестренцевича Потемкин и тут же капризно решил влиять на Екатерину, чтобы она разрешила своим «плутам» иметь черного генерала.

А римский папа пусть выкусит...

К Радищеву как-то пришел с докладом Середович, который давно стал в доме членом семьи и любимым дядькой мальчиков.

— Человек к вам, Александр Николаевич, от архитектора Воронихина письмо принес.

Середович подал письмо и остался стоять, как бы имея еще что сказать.

Архитектор Воронихин предлагал Радищеву сегодня встретиться в мастерской Фальконета, где, знал он, Радищев часто в последнее время бывал, задавшись целью описать прекрасный памятник Петра.

«Есть поручение из Москвы, которое передать желательно персонально», — кончал записку Воронихин.

«Уж конечно, поручение от московских масонов, — решил Радищев. — Все еще успокоиться не могут, вербуют к себе».

---

[1] Разумные чувства.

— Скажи посланному, чтобы передал Андрею Никифоровичу, что я обязательно сегодня приду смотреть памятник. — И, видя, что Середович не уходит, Радищев спросил: — Тебе чего-то надобно от меня?

— Так точно, Александр Николаевич, — сказал Середович с любезностью, которую умел на себя напускать еще с заграничных времен, обученный приятному обхождению Минной. — Ежели вы до монумента итти собираетесь, то покорнейшая просьба прихватить меня с собой! Давно мне охота царя Петра на жеребце поглядеть. Весь город того жеребца хвалит. А еще охота мне, Александр Николаевич, — Середович подошел ближе и конфиденциально понизил голос, — самого архитектора Андрея Никифоровича Воронихина увидать. Наш ведь он, крепостной, а какую науку превзошел! И к тому же вот-вот за границу уедет. Чай, не гордый он какой, иностранному языку меня обучить сможет.

Радищев расхохотался:

— Ну, на это дело едва ли у Воронихина найдется досуг.

Середович распустил язык и рассказал Радищеву то, что слышал от строгановских людей про знаменитого уже архитектора. Будто первая вышивальщица графская, та, что к самому императору австрийскому с рукодельем была послана в Вену, из ревности к Воронихину, который на нее глядеть не хотел, имея любовь с самой молодой графинюшкой, его кузиной с левой стороны, эту молоденькую единственную дочку графа Строганова извела из ревности ядом.

— Чего люди не наболтают! — остановил Радищев, сам давно слышавший про эту историю. — Самое для тебя главное, Середович, если ты в самом деле с Алексисом за границу решил, это то, что Воронихин человек очень положительный, и если с вами обоими какая беда приключится, он всегда сможет выручить.

— Что и говорить, — согласился Середович, — чай, с барином Алексисом иной день и впроголодь насидимся! Сам-то он ровно малое дитё, то-то охотка мне его попестовать. Мишеньку покойного я, Александр Николаевич, ведь позабыть не могу.

Радищев всякий раз с новым волнением посещал мастерскую Фальконета, чувствуя себя, как русский, и оскорбленным и ответственным за незаслуженные обиды, которые этот большой французский художник перетерпел в России. Этьен-Морис Фальконет, изваявший памятник Петру Первому, приехал в Петербург по рекомендации Дидро. Он был уже не молод, ему было за пятьдесят. В прошлом за ним числились статуи несколько жеманного вкуса, сильно выделявшие его из среды прочих скульпторов изяществом и сдержанной силой.

Русский посланник в Париже князь Голицын, не слишком знавший толк в искусстве, поверил беспрекословно настояниям Дидро и пригласил Фальконета в Россию. Французские художники предсказывали, что обладавший смелым характером и предким умом Фальконет для придворной жизни окажется непригодным и восстановит против себя екатерининских вельмож, если не самое Екатерину.

Дидро как нельзя более заинтересовал императрицу перечислением противуречивых качеств вызванного ею ваятеля. Он ей писал:

«В нем бездна тонкого вкуса, ума, деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Добрый отец, а сын от него сбежал. До безумия любил любовницу — и свел ее своим нравом в могилу».

Екатерина приняла по началу Фальконета прекрасно. Она восхитилась прелестью его ума и затеяла было с ним переписку, как она это любила, в стиле изящной игры иронией и переброски мячом острословия. Так Екатерина в течение многих лет играла с бароном Гриммом и Вольтером. Но, приступив к работе, Фальконет весьма скоро утомил ее серьезностью своих требований и уважением к своему делу. Человек он был не придворный, и любезность игры ему просто наскучила.

Особенно недоволен ваятелем оказался вельможа Бецкий. Он сам было представил в сенат пресмешной проект собственного памятника Петру. Самое в нем примечательное был придуманный Бецким доселе неслыханный способ возвеличить самодержавие. Петр должен был одним своим глазом охватить адмиралтейство, двор, крепость, Россию, другим же глазом упереться в обе академии, Финляндию, Эстляндию. Подобное нечеловеческое косоглазие, по мнению Бецкого, должно было выразить наглядно прирост новых земель и всемогущество российской короны. И потому, когда в Петербурге стал известен проект Фальконета с его малоодетой фигурой Петра на вздыбленном коне, поползли по городу из дворца Бецкого пересуды:

— Голый царь на взбесившемся жеребце!

Поговаривали об «оскорблении величества», но Екатерина, еще обольщенная новизной и остротой Фальконетова облика, проект утвердила. По нраву пришлась ей и яркая по силе надпись на памятнике, краткая, как заповедь:

ПЕТРУ ПЕРВОМУ – ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

Далекий друг, философ Дидро, писал Фальконету: «Пожалуйста, друг мой, убей их! Пусть я увижу, как они опрокинуты, раздавлены под ногами у твоего коня. Помни, Фальконет, тебе надо издохнуть или создать великого коня!»

Фальконет до сих пор никогда коней не лепил. Конь под Петром был его первым. И он замыслил его необычайным, полным великой мысли и творческих сил. Конь был сплошной вихрь. Конь одним махом возносил своего седока на скалу. И сколь рискованно было показывать его зрителю, приученному к одним манерным коням на условных почтенных памятниках! Но Фальконет был великий ваятель и не испугался создать еще небывалое.

Он стал изучать арабских жеребцов на конюшне графа Орлова. Радищев не раз останавливался и в восторге наблюдал, каким способом художник измыслил изучить задуманное им движение коня. Несколько раз в день пред глазами ваятеля взлетал вскачь лучший царский берейтор на лучших придворных конях — Бриллианте и Ле Каприсье — на искусственную возвышенность, сооруженную наподобие подножия задуманного памятника.

В манеже, по особому расположению к Фальконету, тоже на небольшую скалу взвихрялся великолепный ездок, сам генерал Мелиссино, всем своим обликом напоминавший царя Петра.

В поисках пьедестала своему памятнику неугомонный Фальконет потребовал широких публикаций, чтобы вызвать доставку камня необыкновенных размеров. В Академии появился вдруг некий крестьянин и заявил, что в двенадцати верстах от города имеется громаднейший камень, именуемый «Гром», ибо есть в нем глубокая расселина от попавшей в него громовой стрелы. Расселина давно заполнилась черноземом, и на ней выросли березки изрядной вышины. Камень оброс мохом, но, как утверждали окрестные старожилы, он еще хранил на себе следы ботфортов царя Петра, который многократно всходил на него для обозревания окрестностей.

Это предание понравилось Фальконету, и он стал настаивать на предоставлении ему камня, на котором стаивал живой Петр.

Бецкий рассердился и послал сенату записку, именуя требование ваятеля: «фантазия непрактичная».

Но адъютант Бецкого, некий граф Корбюри, умненько шепнул своему вельможе, что подобная гранитная громада, по его, Бецкого, приказу доставленная из болот и лесов, весьма будет способна его прославить перед иностранцами.

Тщеславный вельможа тотчас заявил свой новый каприз: пусть везут целиком необъятную глыбу, отнюдь не обрезая кусков, прямо на место, как того хотел Фальконет.

«От перевозки всей величины более станет шуму в Европе. Расход же казны во славу отечества не убыточен».

Продвижение камня шло крайне медленно. Четыреста человек едва протаскивали двести саженей. Люди запряжены были в медные сани, катившиеся на медных же шарах. Дорогу в лесу

расчистили на большую ширину. Екатерина посетила камень «Гром», и в честь ее посещения была выбита медаль: грудное изображение императрицы на одной стороне, на другой надписание: «Дерзновению подобно!»

С великими трудами камень «Гром» спустили на воду, и в день коронации матушки провезли его торжественно по Неве мимо Зимнего дворца.

На другой день причалка к берегу и выгрузка камня на отведенное для памятника место — площадь Петрову — с торжеством производились в присутствии принца Генриха Прусского.

Уже на месте, сообразуясь с высокой соразмеренностью частей, Фальконет приказал отхватить от камня два фута, чем вельможа Бецкий был немало взбешен. В ответ на его строгий реприманд Фальконет ответствовал насмешливо:

— Не изваяние делается для подножия, а наоборот.

Отношения с вельможей вконец были испорчены.

Наконец в июле 1778 года Фальконет окончил гипсовую модель памятника Петра и открыл на две недели свою мастерскую для всенародного ее посещения.

Посетителей пришло множество. Равнодушно глазели, молча топали к выходу. А когда заговорили, стало еще горше.

Некий дворянин Яковлев особливо возвышал голос в защиту императора, находя, что «два усища ужасно к лицу прицеплены, и одежда на царе та самая национальная, противу которой он всю жизнь вел борьбу».

Фальконет напрасно доказывал, что туника Петрова взята им со статуи римского императора Марка Аврелия, — зрители поносили одежду, усищи, неблаголепие коня.

Фальконет с гордой едкостью написал Екатерине:

«У нас во Франции все придворные и городские неучи так вот точно выходили из себя, восставая против гениального Расина».

Екатерина, уже не скрывая раздражения, отмахивалась от жалоб докучного ваятеля. А сейчас он оказался просто неудобен. Он легкого, изящного придворного веселья в чертоги не принес. И далеко было от улыбательного жанра, одобряемого императрицей, его горделивое заявление своих прав художника на независимость.

В распрях между Фальконетом и Бецким Екатерина без особого усилия стала на сторону своего царедворца. Мастерскую ваятеля она не посетила. Когда же цесаревич Павел, желая исправить грубость матери, сам сделал визит Фальконету, ему вслед был немедленно послан гонец с запретом осматривать памятник.

Большие трудности вышли и с отливкой статуи. Опытных русских литейщиков не оказалось, а копенгагенский мастер запросил несусветно.

Фальконет решил отлить свой памятник сам и спешно начал учиться этому новому для себя мастерству. Много проб перепортил, наконец проба получилась совершенная, и мастер приступил к отливке.

В самую решительную минуту — новая беда. Дежурный при нагреве уснул, сплав перегрелся и, пробив форму, потек было в мастерскую, угрожая пожаром и гибелью всей многолетней работы.

Спасло присутствие духа Фальконета и одного из рабочих. Памятник был отлит.

Но благодарность Екатерины медлила. Бецкий улучил минуту и донес ей, что надменность ваятеля перешла все пределы, что он потерял голову и требует, чтобы сам сенат явился к нему с приглашением пред всенародным открытием памятника проследовать на эту церемонию.

Взбешенный сплетнями, интригами, неблагодарностью, проработав вместо восьми все двенадцать лет, отдав весь свой талант и здоровье, Этьен Фальконет уехал в Париж. Ни посещения императрицы, ни открытия памятника он не дождался.

О великой работе и бесславном отъезде Фальконета еще раз горько передумал Радищев, когда вечером с Середовичем подходил к его мастерской, что была на углу Большой Морской улицы, наискосок от дворца графов Строгановых.

Недаром сей скульптор походит внешностью на Сократа. Разница между ними лишь та, что философ спокойно ждал своей чаши яда, а неукротимый Фальконет себе ее стребовал сам, — так о нем острили в салонах столицы.

Думал Радищев и о замечательной судьбе добывшего себе славу Воронихина, завидя издали двух скульптурных лисиц герба Строгановых.

Воронихин был на десять лет моложе Радищева. Мать его, Марфа Чароева, крепостная большого барина графа Строганова, давшего образование Воронихину, была любима родственником его, бароном, носившим ту же фамилию. У них родился сын Андрей, названный по отцу приемному — Воронихин. Страсть Андрея к рисованию и необыкновенные к нему способности обращали на себя внимание. Когда ему минуло восемнадцать лет, его привезли с Урала в Москву, потому что его барин, большой меценат, граф Строганов приказал своему управляющему отбирать ему в столицу всех одаренных талантами крепостных людей.

Как две капли воды походил Андрей на отца, и кликали его дома в деревне «бароненок». От ранней выучки у иконописцев, от техники тщательного обрядового письма у Воронихина остались навсегда особая выдержка и строгость деталей. Внешность у него была сановная, гордая, сдержанная, манеры человека, который повсюду хозяин — и во дворце и на лесах своей постройки.

Ему было всего восемнадцать лет, когда он поступил в Московскую живописную школу. Здесь руководителем его был Баженов, человек и художник необыкновенный, с размахом гения. Он был блестящий ученик де ля Мотта и Растрелли и, кроме того, учился у королевского архитектора де Вальи в Париже. В 1762 году Баженов блестяще выдержал экзамен в Парижской академии, давший ему диплом архитектора. Он вернулся на родину в расцвете всех своих сил. Его ждали горькие разочарования и униженное положение художника, чью пламенную фантазию исправлять стали неучи и чиновники, чей гениальный проект забраковала сама императрица, плохо понимавшая искусство.

Она, не жалевшая миллиардов государственной казны на прихоти своих фаворитов, нашла слишком дорогой представленную Баженовым смету на постройку «главного ее величества дворца». Одаряя за краткосрочный «случай», как это было, например, с Зоричем, деньгами и «душами» бессчетно, здесь, с гениальным строителем, Екатерина нагоняла экономию, сколько ей ни толковали, что если бы дворец по проекту Баженова был построен, он превзошел бы грандиозностью и великолепием все до него в России бывшее.

Баженов сразу принял молодого Воронихина в число своих учеников. Не только об искусстве был между ними разговор: пламенный оскорбленный строитель всей душой был предан масонству.

Только в масонстве увидал он равенство и справедливость. А возможность грядущего царства свободы настолько увлекла Баженова, что он взял на себя очень рискованное и опасное дело: быть посредником между вольными каменщиками и «персоной», сиречь цесаревичем Павлом. Баженов ездил в Гатчину с книгами мистического содержания.

Для Андрея Воронихина масонство было прежде всего — свобода в буквальном смысле слова, то есть прекращение крепостной зависимости от графа Строганова, его барина.

Родной отец Воронихина, барон Строганов, тоже бывший масоном, открыл свою ложу в Перми, и вся надежда сына была теперь на него. Действительно, по просьбе его отца богатейший родственник-меценат согласился, наконец, отпустить мать Воронихина Марфу на волю. Ей уже было сорок четыре года. Но Андрей Никифорович все еще оставался его крепостным.

Увидав в мастерской, у подножия неистово вздыбленного коня, несколько надменную фигуру Воронихина, Середович смутился и попытался скрыться за скалой «Гром». Но Радищев его вытащил и представил Воронихину как зрителя, желавшего видеть монумент.

— Я попрошу вас сейчас же прочесть письмо Алексея Михайловича, ибо мне надлежит его вам дополнить словесно, — сказал вежливо Воронихин, протягивая Радищеву пакет с печатью Кутузова, а Середовича повел на малую лесенку, откуда вполголоса стал объяснять ему памятник.

Радищев знал, что Кутузов стоял со своим полком на зимних квартирах в Луганской слободе и на досуге переводил сочинения Юнга «Плач» и «Ночные мысли».

Кутузов писал, что судьба его близится к намеченной цели. Он бросает службу и свое поместье, чтобы жить пока при Новикове в Москве переводчиком и сотрудником «Дружеского общества», а когда пробьет час, отдаться делу своей жизни — «орденской химии».

Душою московского масонства, его двигателем, пламенным проповедником, писал Кутузов, сейчас является необыкновенный человек — Иван Егорович Шварц.

Московский профессор, он в то же время, что и Новиков, попал в Москву. Шварц оказался педагогом, увлеченным идеями просвещающего масонства и создания из своих учеников, наподобие древней пифагорейской школы, людей высшей добродетели.

Он бредил «идеальным царством» Платона, он обладал столь могучим красноречием в привлечении людей к своему делу, что из области мечтаний весьма скоро масоны смогли перейти к осуществлению своих целей.

Шварцу удалось так заинтересовать богача Татищева, что он дал огромные средства ордену.

«Этим летом, — писал Радищеву Алексис, — Шварц вместе с сыном Татищева едет за границу ознакомиться с постановкой просветительного дела в Германии. Сфера нашей деятельности расширяется, надобность в умах просвещенных и добродетельных усилилась. О, сколь было бы славно и твое, друг, участие!»

Еще сообщал Кутузов, что Николай Иванович Новиков хлопочет об основании особой «сиентифической» [1] ложи для научного исследования, а не токмо в погоне за обрядностью.

«Тайная сиентифическая ложа сможет заинтересовать и тебя, ибо оная лишена вовсе пустозвонства лож петербургских, тебе известных...»

В конце Кутузов добавлял самое важное — о том, что брат Андрей Воронихин, «доверенный канал», имеет поручение дополнить устно о последнем доводе, который должен заставить Радищева приложить, наконец, и свою волю к общественному служению в ордене.

Радищев кончил читать письмо и подошел к Воронихину, который с искренним оживлением, стараясь быть понятным Сере-

---

[1] Научной.

довичу, объяснял ему, что̀ именно хотел выразить в своем памятнике Фальконет.

— Что же имеете, Андрей Никифорович, вы мне сказать об упоминаемом в письме Алексиса самом последнем доводе, сиречь обстоятельстве большой важности, которому надлежит меня соблазнить на поступление в сиентифическую ложу?

— Речь идет о высокой персоне... — несколько замялся Воронихин и, предложив на рассмотрение Середовичу фолианты гравюр, он отошел с Радищевым к амбразуре большого окна, выходившего на Мойку.

— Речь идет о персоне, ныне путешествующей за границей под именем графа Северного, не так ли? — сказал Радищев.

Воронихин нагнул голову:

— Вы угадали.

Он глянул в упор в черные глаза Радищева своими твердыми внимательными глазами, как бы ограждая силой их взгляда те важные слова, которые сейчас должны быть им произнесены.

— Надежда и упование нашего ордена — цесаревич Павел. Он принял, наконец, посвящение в степень мастера. Вот она, первая весть, окрылившая все умы, расположенные к исканию истины и блага народного.

— А весть вторая? — вымолвил Радищев, невольно любуясь красивым лицом Воронихина и не изменявшими ему ровностью голоса и важностью осанки, хотя он говорил вещи, крайне для себя волнительные.

— Весть вторая — это что цесаревичу есть на кого опереться не только в России, но и за границей. Общественное мнение Европы за него, против...

Воронихин оглянулся и, хотя в комнате никого, кроме них, не было и Середович, единственный свидетель разговора, отведя в сторону фолианты, с видом знатока углубился в доскональный разбор всех статей вздыбленного коня, понизив голос до шопота, сказал:

— Когда цесаревич с супругою только что посетили Вену, им захотели показать «Гамлета» при участии знаменитого сейчас трагика. Но сей умный актер наотрез отказался от выступления, выставив мотивом отказа следующее соображение: «Могу ли я изобразить Гамлета Шекспирова пред Гамлетом живым, сидящим предо мною в ложе? Судьба принца Датского и несчастного цесаревича Павла слишком сходствуют, и мое лицедейство будет жестокой грубостью». Сей актер был щедро награжден, а «Гамлет» в Вене не представлен. Награда актеру за его столь дерзновенный намек — прямое осуждение действий императрицы, не допускающей царствовать законного наследника престола — цесаревича Павла.

— Я не улавливаю причины, — сказал Радищев, — почему братья нашли нужным меня, профана, посвящать в секретные свои дела? Я ведь не охотник до споров, что древнее — масонство или тамплиерство. Я часто заявлял Алексису, что ни загадки масонские, ни символы меня не интересуют нимало.

Воронихин слегка покраснел, чутко восприняв оттенок внутреннего пренебрежения в речи Радищева, и намеренно усилил свою сдержанность, за которой таился большой, сосредоточенный характер человека, отлично знающего, что́ именно ему надлежит делать в жизни.

— В устах людей глупых или суетных толкование символов наук герметических поистине глупость. Но для умеющих мыслить они имеют глубокое значение, как основанные на законах природы, а не на капризах произвола, придуманного в религиях государственных для людей, ленивых мыслями. Обряды тамплиерские мы еще признаем, поскольку их пышность полезна для привлечения знати и военных, дающих ордену связи и средства. Кроме того, за один из способов показывать людям, не имеющим собственных глаз, отношения вещей умозрительных посредством чувственных...

Радищев прервал Воронихина. Ему не понравился его поучающий и уверенный тон. Так говорит проповедь иной умный карьерист протопоп, много тоньше, чем сельские простоватые батюшки, но про которого никак не скажешь, верит ли он сам тому, о чем говорит, или нет.

С раздражением Радищев вымолвил:

— Еще однажды повторю вам: не усматриваю, чем ваше сообщение об участии в ордене известной персоны, весьма важное для его процветания, может касаться меня, в оном ордене не состоящего?

— Сообщение о высокой персоне, привлеченной масонами, не только не может... оно именно вас и касается, вернее сказать — должно вас касаться.

Воронихин был на десять лет моложе Радищева, а говорил с ним как старший. Он еще раз выразительно и с весом пояснил свою мысль:

— Я позволяю себе говорить столь категорически потому, что именно сейчас представляется провести и ваши мысли в дело. В масонстве различать следует два предмета — внешность и сущность. Первая, в обрядах, организации и прочем внешнем, меняется в зависимости от состава членов ордена и исторической эпохи. Сущность же хранится умнейшими и любящими свободу людьми от древнейших времен. Эти люди на себе одних несут всю тяжесть одинокого познания и ответственность. Это те, которые знают, когда молочную пищу пора заменить младшим братьям пищей иной, посущественней...

— Дорогой Воронихин, — прервал Радищев, — не трудитесь! Мы с вами никогда не столкуемся. Я держусь того убеждения, что младшие братья растут сами и не только меняют свою пищу, когда захотят, а вообще сбрасывают с себя тиранию всякого вида и рода.

Воронихин, умно и тонко улыбаясь, слегка наклонил к Радищеву свою красивую, щегольски причесанную голову, готовый ответить.

— Андрей Никифорович! — невольно вырвалось у Радищева. — Как можете вы, обладающий столь изощренным понятием о вещах, испытывая на самом себе все безобразие насилия человека над ближними его, как можете вы, если ваша родная матушка только что отпущена на волю, а вы сами еще числитесь крепостным, не употребить все ваши силы, волю, дыхание прежде всего на борьбу с этим отечественным насилием?!

Радищев осекся... Лицо Воронихина потемнело. Он выпрямился и, сжав губы со свойственным ему слегка насмешливым выражением, сказал:

— О моей участи беспокоиться не извольте. Я себе свободу добуду. А вот миллионы...

Воронихин не договорил и широким жестом, несколько театрально, обвел как бы над головами масс, много пониже его ростом.

— Со всем бескорыстием отдаться искусству не значит ли тоже — послужить по своим силам делу освобождения всего человечества? Каждому по своим дарам. Я буду для моего народа сооружать прекрасные здания, а хлопотать о прямом его выходе из рабского состояния, полагать надо, — будете вы. — И, пригнувшись к Радищеву с благодарным выражением сдержанного восхищения, Воронихин докончил: — Ведь отрывочек в «Живописце» о некоей деревне Разоренной не чьего иного... вашего, Александр Николаевич, вашего пера!

Нарочито, не ожидая от Радищева, быть может, неугодного ему разоблачения инициалов, коими был подписан упомянутый отрывок, Воронихин стал просить сейчас же с ним отпустить Середовича, дабы позировал он ему для этюда апостола. Середович налился важностью и вдруг поведал о своем заветном мечтании:

— Уж написал бы ты с меня, батюшка Андрей Никифорович, картину в орденах да с регалиями. Ведь из песни строки не выкинуть... было такое дело: ходил я в министрах!

Радищев рассказал Воронихину про то, как старику довелось побывать при дворе Емельяна Пугачева, и еще раз настрого наказал Середовичу держать язык за зубами, доколе он не выедет с Алексисом Кутузовым за границу. Дорогой Воронихин пожалел своего опечаленного спутника и ласково сказал ему:

— Дай срок, свидимся мы с тобой на чужбине, я тебя там министром обязательно напишу. Как поедешь с Алексеем Михайловичем, прихвати с собой все твои регалии.

Радищев сидел перед письменным столом в своем кабинете. Но писать сейчас он не мог, охваченный горькими мыслями. Архитектор Воронихин, талант, уже всеми признанный, все еще не освобожденный от гнусного рабства, терзал его чувства. Он перебирал невольно в памяти известные ему ужасные случаи, когда крепостного, получившего высокое художественное развитие, повергали в прежнее зависимое, вдвое унизительное сейчас для него, состояние.

Дух Радищева возмутился: ему почудилось, вдруг Воронихина постигнет участь несчастного рекрута Ванюши, о котором он уже записал полную гнева и боли страницу для той книги, обличающей, грозной, быть может для него пагубной, которую, сейчас знал он наверное, уже не может не написать.

Ванюша рос вместе с сыном барина, учился тому же, чему и барчук, в заграничном университете. Любивший Ванюшу, как сына, старый барин посулил ему вольную, но умер внезапно, не успев ее дать. И вот, хотя Ванюша был братски воспитан со своим барчуком, тот, по дрянной слабости характера, уступил настояниям своей злой жены и не только не выполнил волю отца относительно Ванюши, а допустил превратить его из «брата» в лакея. Ванюша был выпорот на конюшне за неподчинение желанию помещицы жениться на указанной ею невесте и, наконец, отдан в солдаты не в очередь. Ужас за Воронихина, который едет за границу, еще не получив своей вольной, лишил Радищева сна. Он прошагал до утра по кабинету, потом попробовал записать свои впечатления о великолепном памятнике. Мысли, вызванные горечью за бесправное положение Воронихина, мешали спокойствию работы. Уже забрезжило, когда Радищев сел за стол и пробежал написанное о памятнике Петра в форме письма к «другу, жительствующему в Тобольске». После похвальных слов о том, что великий преобразователь дал первый движение столь обширной громаде, как русское государство, Радищев вдруг гневно прибавил совсем новые строки. В этих строках говорилось о том, что Петр мог бы еще славнее быть, если бы он дал свободу отечеству, освободил его от позора рабства, «утверждая вольность частную». И такими словами он закончил свое знаменитое «письмо»:

«...нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле».

Впоследствии, когда пагубная книга увидела свет, именно эти строки прибавили особую тяжесть на чашу собранных против Радищева обвинений. Указывая на них, Екатерина произнесла тоном, предрешающим тяжкое обвинение в преступлении государственном: «Давно мысль его готовилась ко взятому пути!»

Памятник Петру Великому был открыт в начале осени восемьдесят второго года. Пятисаженные полотняные щиты с пестро нарисованными горами заменили деревянный забор, который до этого скрывал от взоров толпы великий труд Фальконета.

Седьмого августа с утра погода была дождливая. Но, как полагается по придворному календарю, к полудню само солнце решило участвовать в празднестве. Солнце выглянуло и обсушило несметные толпы народа, покрывшие площадь и вал, окружавший адмиралтейство.

К памятнику церемониальным маршем двинулись полки: Преображенский, Измайловский, Семеновский, бомбардирский и прочие...

В три часа дня фельдмаршал Голицын принял рапорт от полковых командиров и присоединился на берегу Невы к сенату, который ожидал прибытия императрицы. Выйдя из царской шлюпки в сопровождении кавалергардов, Екатерина прошествовала в здание правительствующего сената, где появилась в короне и порфире.

По сигналу мгновенно слетели щиты с полотняными расписными горами, из недр словно вихрем взлетел на вершину скалы неслыханный конь. На том коне — Петр, увенчанный лаврами. Он простирал над своим градом отеческую десницу. Торжественно грянули трубы. Преклонились перед Петром знамена. Ружейным салютом приветствовали своего основателя войско и флот.

Придворно изогнувшись, себя почитая виновником главным всего торжества, Иван Иванович Бецкий поднес Екатерине выбитую на сей случай золотую медаль. В свою очередь он получил из рук матушки ленту вновь утвержденного ордена св. Владимира.

Обласканы были столетние ветераны, собранные со всех концов империи, которые еще помнили живые черты лица Петрова.

Поспешливый стихотворец Рубан написал стихи в честь нового памятника, которые кончались четверостишием, особливо прославлявшим камень «Гром», пьедестал статуи:

Нерукотворная здесь росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град чрез Невские пучины
И пала под стопы великого Петра.

Однако ни придворные пииты, ни сама Екатерина, написавшая цесаревичу Павлу за границу: «Наконец-то мы открыли памятник, он великолепен», — никто ни единым словом не помянул создателя замечательного произведения искусства — Этьена-Мориса Фальконета.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Предчувствия Аннет своей скорой кончины, к великому горю Радищева, оправдались. Только восемь лет они и прожили вместе.

Было у них уже три сына — Вася, Николай и Павлуша, — когда, родив дочку Катю, еще не оправившись от родов, Аннет была сильно перепугана ночью трещоткою ночного сторожа, возвестившего таким способом ближний пожар.

Аннет сильно расстроилась, молоко ей бросилось в голову, и, недолго проболев, она скончалась.

Радищев был неутешен, даже оставшиеся сироты не могли его вывести из состояния глубокой подавленности своим горем. Ему казалось, что со смертью Аннет ему ничего не надо, что кончена личная жизнь. С того вечера встречи у Херасковых и до конца не было облачка между ними. Одна гармония чувств и мыслей, одно неразличимое существо был их брак. Да, она должна была умереть, ибо недопустим, казалось, на земле сердечный покой. Неудовлетворенность и несчастье должны подстегивать человека к неустанной работе над улучшением великих несовершенств людских отношений и законов природы!

Он похоронил Аннет на кладбище живописного Невского монастыря и на памятнике ей хотел награвировать самим сочиненную эпитафию:

О! если то не ложно,
Что мы по смерти будем жить;
Коль будем жить, то чувствовать нам должно;
Коль будем чувствовать, нельзя и не любить.
Надеждой сей себя питая
И дни в тоске препровождая,
Я смерти жду, как брачна дня;
Умру и горести забуду,
В объятиях твоих я паки счастлив буду...

Но власти, блюдя чистоту и строгость веры, не дозволили выгравировать стихи на кладбищенском памятнике, усмотрев великий соблазн для посещающих в том, что автором допущено сомнение насчет бессмертия души, особливо в последних строках:

Но если ж то мечта, что сердцу льстит, маня,
И ненавистный рок отъял тебя навеки,
Тогда отрады нет, да льются слезны реки.

Мавзолей в память Аннет с этими стихами Радищев вместо кладбища поставил среди того лабиринта в саду, среди жасминов и роз, где Аннет так любила мечтать, пророчески воображая себя отмеченной роком героиней Руссо.

Радищев остался один со своими детьми. Но дети окружены были материнской заботой сестры Елизаветы Васильевны, которую сама Аннет еще при жизни себе назначила преемницей.

Эта преданность сестры Аннет ее детям снимала с Радищева часть ответственности, которую он так остро чувствовал, что она временно как бы парализовала выполнение дела его жизни — издание той пагубной для него книги против насилия, в защиту обездоленных рабством, которая, знал он, не может не навлечь на него гнева и мести властей.

Еще при жизни Аннет начал он читать «Историю обеих Индий» аббата Рейналя, — служебные занятия, болезнь и смерть жены отвлекли, дочел книгу только сейчас.

Сильнейшее впечатление произвели примечания и авторские отступления, в тех местах особливо, где говорилось Рейналем о тиранстве в России и проводилось уподобление процветающего в ней крепостничества с самым позорным для человечества делом — торговлею невольниками, как скотом.

Чувство русского, пораженного язвами своей родины, рвалось в своем возмущении высказаться все с большей силой.

То, что должно войти в эту книгу, пылающую святым гневом, вынашивалось Радищевым с детских лет, когда еще ребенком он бессильно плакал, слыша рассказы о жестокостях соседа-помещика. Мысли, вскормленные детскими чувствами, гневом отрока, получили углубление и опору в зрелой мысли. И стоял он сейчас в полном вооружении, в могучей силе воспламененной совести один против врагов.

Радищев стал добывать деньги, чтобы завести свой типографский станок, потому что вышло вдруг разрешение открывать всем желающим собственные типографии. Радищев окончил свою оду «Вольность». Она могла быть напечатана только в собственной типографии. Ужасное время фаворитизма в «доме распутия» и связанное с ним бесправие горько вдохновили Радищева, и в его оде, сознав свое право, народ судил царя, который видит в нем лишь «подлую тварь».

Жалованная грамота дворянству окончательно разделила русских людей на «благородных» и «подлых». Первые были освобождены от податей, только на «подлых» они падали всей своей силой. Екатерина против своей предшественницы Елизаветы Петровны еще усилила права помещиков над крестьянами, позволив им людей своих отдавать в каторжные работы, запретив жалобы даже на самых лютых господ.

Следствием жестокого притеснения народа — Радищев вдохновенно предсказывал в своей оде — должно быть восстание и тираноубийство.

Народ в ярости упрекает царя за нарушение данной клятвы о справедливой и заботливой власти. На престоле тирана — «народ воссел». Народ — владыка, он судит, он приговаривает тирана к казни.

Еще Радищев писал о том, что настанет время, когда «лучи яркого света разгонят сгущенную тьму». Сам он этого желанного дня свободы не дождется и только завещает потомству, когда хладный прах его осенится

Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал».

В то время как Радищев, собрав воедино все силы своего ума и воли, готовился совершить дело своей жизни, Николай Иванович Новиков развивал в Москве необычайную просветительскую деятельность. Он завязал прямые сношения с заграничными книжными фирмами, так что работы «Дружеского общества» выиграли в содержании и расширились. Кроме педагогического семинария, возник еще и переводческий. Материальные средства росли не по дням, а по часам. Благоприятным было для процветания новиковского просветительного дела и то, что главнокомандующий московский граф Захар Чернышев был также масон, а митрополит Платон — весьма просвещенный человек. От них обоих Новикову нетрудно было добиться официального разрешения на существование «Дружеского общества».

Одна надвигалась беда: в далекое прошлое кануло время, когда Екатерина сама была «полна забот» о просвещении народном, которыми она столь кичилась в начале своего царствования.

Сейчас эти заботы вызывали у нее только насмешку. Так, про четыре тысячи даровых народных школ, учрежденных в Англии, она весьма холодно и неодобрительно отозвалась: «Они не сделают народа умнее!»

Больше того: сейчас она была просто нетерпима к начинаниям общественным, которые шли помимо нее. Даже в таком невинном случае, когда общество только опережало почин власти, Екатерина была недовольна и намекала, что в «учреждении о губерниях» уже создан особый «приказ общественного призрения», коему и надлежит заведовать делом просвещения империи. И когда дворянское собрание провело постановления об открытии

школ, императрица выразила губернаторам надменную укоризну «за преждевременное усердие».

Выходило, что заранее осуждались все те, кто, не дожидаясь приказа и распоряжения властей, попытался бы заявить себя ретивым гражданином хотя бы и на великую пользу отечественному просвещению.

Наконец все передовые люди поняли, что гроза вот-вот готова разразиться над прежде поощряемой вольной мыслью, в какой бы форме она сейчас ни выражалась.

К числу людей с «кривыми» взглядами Екатерина относила и масонов. Она не могла не обратить на них давно внимания. Среди ее ближайших придворных было их множество. Прежде она считала, что в орден идут люди для карьеры и светских связей, но после скандальных похождений испанского мага Калиостро, особенно когда сам великий столичный мастер ложи Елагин пошел к нему учиться делать золото, она решила, что в ордене верховодят мошенники. Калиостро увлек петербургских масонов ловкими алхимическими опытами и необычайными фокусами подчинил их, как малых ребят, своей магнетической силе до того, что многие поверили в его способность воскрешать мертвых. Однако скоро обнаружилось, что Калиостро не воскрешает, а только подменяет безнадежно больных, умирающих детей здоровыми, внушая несчастным родителям, что это те самые дети, которые были им взяты от них на излечение. К довершению разоблачений испанский посол заявил, что на службе его короля «полковник Калиостро», за которого себя выдавал проходимец, не числится вовсе. Екатерина дала распоряжение, чтобы «сего какомага» немедленно вывезли из Петербурга.

То, что серьезные масоны с самого начала относились к Калиостровым чудесам неодобрительно, а московские с нескрываемым возмущением, Екатерина к сведению принять не захотела. Она всех носящих это имя свалила в одну кучу, книг же масонских читать не желала, а если что и прочла, то самый язык, устремления, мечты масонов — все было ей неприемлемо, неприятно и непонятно. Но пока она прямой угрозы и опасности для своей власти в масонстве не видела, серьезным преследованиям ордена она ходу давать не хотела. Нашла только нужным свое насмешливое и неуважительное о масонстве мнение выразить в нескольких комедиях, которыми хвастала перед Гриммом.

Комедии с успехом ставились в ее присутствии в Эрмитажном театре; в Москве они проваливались.

В дальнейшем нужно было очень немного, чтобы Екатерина неприятных ей, особливо московских, масонов, именовавших себя «мартинистами», объявила людьми, полными кривотолков и вредоносными обществу,

Сейчас же ей, впрочем, было не до них, ибо все мысли ее устремились на борьбу с Турцией.

В июне 1784 года умер от «неумеренного употребления кантарид», сиречь шпанских мушек, для возбуждения амурного любострастия (так шептались при дворе) фаворит Екатерины — молодой Ланской. Полгода Екатерина была неутешна. Но с января нового года вошел в случай смельчак и умница Ермолов. Безличной фигурой, как многие оные, он в руках Потемкина быть не захотел и, напротив того, открыл против «князя тьмы» кампанию.

Желая свалить всем ненавистного вседержателя, он нашептывал Екатерине, что пора торопиться с поездкой на юг, дабы собственными глазами убедиться в плохом управлении доверенных Потемкину новых земель, в убыли населения, в готовности татар отложиться. Все обстоятельства сугубо важны при возможности близкой войны с турками.

Хотя фавор Ермолова длился недолго и уже в июле того же года он был из «чертогов» отпущен, но его ядовитые речи не остались без влияния на царицу.

Внезапно сенату было приказано дать указ Потемкину о поставке на каждую станцию потребного для громадной свиты числа лошадей, о поправке дворцов на пути предполагаемого шествия на юг.

Потемкин, презрительно усмехнувшись, сказал адъютанту:

— Сие шествие превращено будет не токмо в контроль над моим поведением, а в превеликое мое торжество... Но для сего принять надлежит меры.

И меры приняты были столь ретиво, что прежде всего ассигнованных Екатериною десяти миллионов оказалось недостаточно.

По нарочитым столичным рисункам светлейший задумал на пустопорожних местах возвести превеселые перспективы, по пути шествия закупил в городах до полусотни лучших квартир для размещения свиты, повырубил кое-где леса, чтобы возжечь с обеих сторон дороги на всем великом пробеге невиданные костры. Восхищая иностранных послов, кареты и сани понеслись из столицы на юг по аллее огней. Несчетные обозы с индюками, курами и прочей живностью предваряли приезд царицына поезда на отмеченный маршрутом привал.

Подгнившие от ветхости заборы, нищету черных изб приказано было снести, как мусор, или благообразно для взора прикрыть на время поезда триумфальными арками. На чахлые пустые поля надлежало согнать обильные стада овец и табуны лошадей. Пастухам и конюхам, облаченным в костюмы по французским картинкам, надо было временно вести кочевой образ жизни.

Представ восхищенным очам императрицыной свиты, им предстояло, едва поезд скроется с глаз, нестись, что духу, сокра-

щенным путем, чтобы изображать новую встречу, играть снова приветствие на свирелях и дудках.

Потемкин расположился в Киеве, в Печерском монастыре. После усилий повернуть «шествие на юг» себе во славу и в посрамление врагам он впал в черную меланхолию, коей был подвержен. Лежал сутками полуодетый на диване и гнал от себя монахов, с которыми еще недавно пил запеканки, исходя в яростных спорах о вере либо дразня их кощунством Вольтера.

Вчера казачку дан приказ не допускать никого, кроме одного киевского архитектора.

Сейчас, с ним запершись, князь лениво выслушивал разнообразные его пропозиции. От страха сидел архитектор, как аршин проглотил, на самом краю монастырского стула с высокой резной спинкой.

— В скорейший срок можно мыслить только усадьбу с колоннадой дорической... — Архитектор перебирал слова спешным тоненьким голоском. — У дорических базис отсутствует, капитель простая и все прочее...

— Колонны потребны коринфские, — молвил Потемкин и сделал кудрявый жест рукой. Думая о Екатерине, прибавил: — Она эту махровость любит.

— На коринфскую колонну затратить придется времени вдвое...

Архитектор с перепугу привстал и застыл, как гусь с длинной шеей, ожидая окрика.

Потемкин подумал, тяжко глянул в голубоватой воды глаза архитектора и отрубил:

— К чертям и дорическую и коринфскую! Набери подручных сколько влезет и малюйте мне на холсте село с церковью, с барским домом вдали. Да чтобы избы пустили вокруг веселей. Чтобы солнце в окошках играло. Краплаку и сурику не жалеть. Легкие вещи делайте как на театре. Свернуть чтобы на подводу — и марш! А разговоров твоих мне не надо... — оборвал Потемкин открывшего было рот архитектора. — Отвалим тебе по смете... но через три дня чтоб деревни с усадьбами были двинуты по маршруту.

«Потемкинские деревни» — так прозвала их молва — украсили скоро незаселенные местности южного края. Расставленные по живописным пригоркам, маскируемые деревьями, они давали в лучах нерезкого утреннего или вечернего солнца полную иллюзию действительности.

Расчет Потемкина оказался без просчета. Екатерина была большой ценительницей находчивости и остроумия. Она деликатно задерживалась в нужных местах для ночлега, давая возможность декорациям умчаться вперед себя на подводах, чтобы раскинуться на новых живописных холмах.

Эти театральные измышления приняла она не как грубый обман, а как любезное пророчество, предваряющее истину. Ведь на этих пустынных местах в самом скором времени действительно вырастут города. В этом Екатерина не сомневалась и понимающей улыбкой благодарила своего скифа за догадливость показать иностранцам товар лицом. И восторгу ее не было предела, когда внезапно возникший отряд всадников в блестящих мундирах оказался частью созданной в этих местах потемкинской конницы.

Знать, духовенство, дворяне приветствовали Екатерину во всех городах. Архиепископ Георгий Конисский на проповеди так захлебнулся от лести, что воскликнул:

— Пусть ученые мыслят, что земля вокруг солнца вращается. Наше солнце ходит само вокруг нас!

Потемкин в интимном кругу после того звал Конисского «астрономический враль».

Въезд Екатерины в Киев произошел под пушечный торжественный салют. Комендант поднес ей на бархатной подушечке ключи от крепости города. Купчихи и мещанки в украинской одежде бросали цветы пред каретой царицы. Она появилась на городом данном балу в русском платье, в драгоценно вышитых башмаках. Всех очаровала любезной улыбкой и щедрой игрой в карты, платя за проигрыш горстью чистых бриллиантов.

До Киева продвигались в каретах и целой сотне саней. Из Киева предполагалось плыть по Днепру на галерах римского образца, нарочито построенных, ослепительных позолотой и убранством и страдавших отменной неуклюжестью хода.

Потемкин безумствовал в тратах, — его не переставала гвоздить мысль, что, как ни крути, Екатерина ехала его проверять. Сколь ни мастер он был отводить ей глаза — за последнее время таких накопилось за ним делишек... шила в мешке не утаишь! По всей империи пошли слухи, что он со своими ближайшими расхитил целый рекрутский набор с женами, чтобы заселить свои новые поместья в этом самом крае, куда двигалось шествие. Один выход — угодить сейчас матушке выше меры встречей. И он угождал...

Строчились и рассылались по губерниям приказы «подробного встретения» монархини. Жителям потребно ожидать высочайшего проезда в наилучших одеждах. Девкам — в уборе на головах, с цветами. При лицезрении монаршей персоны всем купно делать любезный поклон и метать под карету цветы.

Дома, кои могут быть зримы с галер, чисто выбелить, обвесить гирляндами, из окон наружу вывесить портища суконные, стамедные или украинские плахты.

Езжалые добрые цуговые лошади должны быть представлены по первому спросу. При них держать четырех форейторов

в красных камзолах. Жилеты, равно как исподнее платье, — белые. Городским магистрам велено наблюдать, чтобы торговцы одеты были опрятно, фартуки не мараны и в шинках бы на время проезда народ не спаивали.

Великую кару сулил приказ всем, кто осмелится персонально тревожить императрицу, подав ей из собственных рук прошение.

Виновных подвергнуть взысканию: имеющих чины — отсылке на каторгу, всем прочим впридачу — публичное наказание.

Екатерина верила в любовь народную предпочтительно перед лицом иностранцев. В невеликом кругу своих просвещенных друзей она любила отдаться своему прирожденному юмору и насмешливости, воспитанной вольтерьянством.

Так, в Смоленске, когда ей угодливо донесли, что толпа обожающих ее жителей стоит под окнами и ждет ее выхода, она со смехом сказала: «Обожание тут ни при чем, и медведя смотреть ходят кучами».

Но сейчас, в окружении всевозможных посланников, представителей держав европейских, не только дружественных, но и враждебных, восторги народные она любила ставить на вид. Необходимость политическая требовала, чтобы южная Россия предстала страной, полной радости и обилия, страной не угнетенной, а, напротив того, обожающей свою монархиню за ею данное счастье.

И указывая на нарядные толпы поневоле согнанных крестьян, Екатерина с величием говорила посланникам:

— Будьте свидетели... вот оно, прославленное безлюдие сих мест!

Однако Киевом Екатерина осталась недовольна, и это вышло Потемкину тоже на руку. Киев был под управлением фельдмаршала Румянцева, его заклятого врага и очень нелюбимого императрицей.

Неприятен ей стал Румянцев со дня ее восшествия на престол, потому что он сего восшествия признать не хотел, и никакие триумфы его военного искусства, прославившие ее царствование, изгладить той первой обиды не могли. Кроме того, сейчас, исключая обычного бала, никаких особых стараний отметить «шествие солнца» по ему вверенному наместничеству Румянцевым приложено не было. Даже мелкие города ее избаловали своим особливым вниманием, и отсутствие его здесь, в Киеве, поразило, как дерзость.

Екатерина поручила фавориту Дмитриеву-Мамонову намекнуть Румянцеву, что «ей Киев манкирует».

Заслуженный воин понял намек, но в долгу не остался. Глядя с высоты своего большого роста на мелкого костью, субтильного сегодняшнего фаворита, он пролаял отрывисто:

— Передайте ее величеству, что я состою фельдмаршалом русского войска. Мое дело — города брать, а не строить. Тем менее украшать их пукетами из цветов.

Перед отплытием из Киева на галерах Потемкин кликнул клич, созывая по вольному найму искусников-поваров, кондитерских дел мастеров и опытных буфетчиков.

Середович, по поручению Радищева ездивший к его старикам в Облязово, об эту пору оказался в Киеве.

Когда он увидел на Днепре раззолоченные галеры, готовые к отплытию, когда потолкался среди толпы разнообразных народов — татар, калмыков и киргизов, напомнивших ему его наилучшую, после Лейпцига, пору жизни — удалую пугачевскую ставку, — его с такой силой потянуло поплыть вот на этих галерах неведомо куда и зачем, что он не вытерпел и предстал перед дворецким царицы, нанимавшим для нее обиходных людей.

«При том... при батюшке, мужицком царе я, как-никак, жалован был через плечо кавалерией и чином министра! Чем-то меня пожалует она, матушка, дворянская царица?»

Так мечтал Середович, когда, расчесав поредевшую бородку, смазав волосы, он стоял, благообразный, перед важным дворецким. Оглядев его, как коня, дворецкий крикнул парнишке-писцу:

— Отметь этого дядьку истопником на «Днепре».

Середович хотел было, обидевшись, отказаться, но узнал, что на «Днепре» плывет сама императрица и печи топить надо будет именно ей.

Середович избоченился и сказал дворецкому:

— Не место красит человека, а человек красит место!

Всего на галерах отправилось по Днепру три тысячи человек. Когда подъезжали к Кременчугу, в каюте императрицы, боясь сырости от воды, еще топили, а с берега уже веяла в полном разгоне весна. Из фруктовых садов благоухали яблони, черешни осыпали черноземный плодородный ковер несметными белыми лепестками. Дикий мак горел огнем в нежной зелени, и далеко вглубь, между холмами, голубели долины, серебрились стволы старых грабов или стройно высились тополя хуторов. Кричала, тяжко двигая пестрыми крыльями, птица удод: «Худо тут! Худо тут!», а придворный седой шалун Левушка Нарышкин так ловко того удода передразнивал, что их обоих путали и люди и птицы.

С кормы галер вельможи пытались закидывать удочки, и, ежели вместо рыбы ловили зеленую тину, тешились вдвое.

Над белыми хатами, на колесе, нарочито приделанном к крыше, чтобы на счастье завелся в доме аист, стоял он, высокий, на длинной ноге, другую высоко поджав под крыло. Стоял и лолокал, глядя в закат. Отсюда аисту имя на юге — лолока.

Над пловучей флотилией, игравшей на солнце своей позолотой, небо было то чистое, синее, то вдруг покрывалось весенними вихрастыми облаками.

После чахлой петербургской весны, после ее больных белых ночей эти яркие краски, это пение соловьев и буйное цветение природы пьянили, как вино. И томили сердце гребцы-украинцы своими любовными песнями.

Хотя Екатерина кокетливо объявила, что она едет всего-навсего изучать «свое маленькое хозяйство» и поведет образ жизни, любезный героиням Руссо, сиречь близкий к натуре, изъяв утомление от государственных дел, — на самом деле на галеру «Днепр» перенесен был весь распорядок придворного быта. Как обычно, с утра шла работа с Храповицким и Безбородкой и прием иностранных послов. Работа кончалась в пловучем зале. По сигналу все вместе шли на галеру «Десну» обедать.

Забавляясь искусством легкой игры ума, щеголяя остротами и буриме, монархиня дипломатически узнавала про желание нового короля Фридриха-Вильгельма вмешаться в интересы соседних держав и про печальное положение Франции, которая близится к перевороту.

Был поздний вечер, когда Екатерина уединилась в своей каюте. Сидя перед открытым окном, она только что кончила комедию для завтрашнего представления и, любуясь отражением ясного месяца в волнах Днепра, предалась волнению легкой лирики. Обвела взорами отлогий берег с песчаной, белевшей под месяцем отмелью, с другой стороны — высокий, поросший плакучей ракитою и шиповником, прислушалась к томному пенью гребцов и мечтательно написала в своей заветной зеленой тетради:

Я куда ни погляжу,
Там утехи нахожу,
Там поют соловьи,
Множа радости мои.

Середович, сзади императрицы, подойдя к камину с вязанкой мелких дровец, застыл, как статуй. Давно метился он поговорить с царицею по душе, да всё девки придворные мешали. Сейчас матушка сидит тут одна у окошка под месяцем в белой просторной кофте и белом чепце, вроде Минниной тетки из Лейпцига. Приятная, румяная, видать — простецкая баба.

Хитрый Середович уже раздумывал, чего просить для начала, пока Екатерина не положила перо. Он двинулся было поближе, а левретка из-под юбок царицы как взвизгнет, как вцепится ему в ногу... полешки из рук так и грохнулись врассыпную.

Екатерина вздрогнула, обернулась, увидела уже привычного глазу истопника, сказала без гнева:

— Карош погода!.. Топить камин больше не есть нужно.

Середовича окончательно обнадежил немецкий говор монархини. Так, бывало, и Минна ломала русский язык, когда он в Лейпциге ее обучал. И, расположась нелицемерно к матушке, Середович, нимало не смущаясь, сказал:

— Родимая ты моя, и как уж тебя кругом одуряют-то! Просто нет мочи смотреть. Ведь деревеньки-то, что на холмах, они не всамделишные! Они на тряпье намалеваны, вот с места не встать! Отбудешь ты — их свернут, ровно рогожу, и вскачь, знай, нахлестывают, и на других уж холмах, как простынки, развесят...

Екатерина испуганно встала, попятилась, схватила в руку звонок.

Середович двинул злющую собачонку так, что, смолкнув, она уползла снова под юбки хозяйки, и со всею душевностью напирал на царицу:

— Прошенья тебе, матушка, подавать не дозволено... а что горюшка у людей! Что слез сиротских!..

Середович в подробностях хотел рассказать про великий голод в стране, о котором шептались в людской, но Екатерина изо всех сил позвонила, и тотчас в каюту влетел перепуганный фаворит.

Екатерина гневно сказала ему по-французски:

— Убрать этого сумасшедшего... Хорош недосмотр!

Растерявшийся Мамонов для чего-то спросил Середовича:

— Кто таков будешь?

Середович, по-военному вытянувшись, приложил руку для рапорта и сказал:

— Я буду министр... Министр самого Емельяна Иваныча Пугачева.

Проезд Екатерины мимо польских границ был для короля Станислава важным событием. Он и его партия надеялись на большие для себя преимущества в случае разрыва России с Турцией. Король выехал из Варшавы заблаговременно и в Каневе поджидал Екатерину.

Король вел себя бестактно: Безбородку он спросил напрямик, скоро ли начнется война с турками. Безбородко поежился, пришепетывая, мягко ответил надвое:

— А кто ж его знает, — може, скоро, а може, и ни.

Екатерине совершенно не хотелось свидания с королем польским, а тем менее держать с ним старинный галантный тон, как с бывшим возлюбленным, амурам с которым вышла уж давность

чуть ли не в четверть века. Но Станислав, не считаясь с ее настроением, послал Екатерине кокетливую записку, озаглавленную «Пожелания короля».

Неизвестно, что было в ответном письме, но только польский король, при всей своей склонности к хвастовству, запиской императрицы щегольнуть воздержался.

В Киев Екатерина решила Станислава не допускать вовсе и вообще отделаться от него возможно скорей. Она опасалась, что он приехал с целью хлопотать об упрочении престола за своим племянником, чего она крайне не желала. И главное — теперешнее свидание с королем польским могло иметь вид заключения союза, что было уже совершенно невыгодно по отношению Турции.

С такой прохладою и расчетом распоряжалась Екатерина человеком, с которым в дни юности было столь много пережито: и пылкая любовь, и угроза гибели, и нежное материнство...

О безумии тех лет было немало записано в ее дневнике:

«Лев Нарышкин заболел горячкой и стал писать мне записки, но я хорошо знала, что они не все от него. Записки были очень весело и галантно написаны. Нарышкин уверял, что это его секретарь. Но я узнала, что это — граф Понятовский...»

С этого началось, а там пошли свиданья: Лев Нарышкин мяукал особым образом, и его впускали вместо кота. Екатерина после родов Павла спала одна, калмык-парикмахер приносил ей мужское одеянье, и она, пока великий князь Петр Федорович пьянствовал у себя на половине, садилась в карету с Нарышкиным и отправлялась к его сестре на свиданье с Понятовским.

Как на другой день бывало весело на придворном балу! Боялись глянуть друг на друга, чтобы не помереть со смеху при одном воспоминании о вчерашнем маскараде.

Так начался пятьдесят пятый год.

И Станислав вспоминал, как он ездил в Польшу, откуда вернулся обратно в Петербург уже министром польского короля.

Тогда и произошел этот и сейчас лестный для его самолюбия анекдот, озаглавленный остряком Нарышкиным «Болонка-обличительница». Понятовский посетил Екатерину в Ораниенбауме со шведским графом Горном. Когда пришли они к ней в кабинет, маленькая злющая болонка зашлась от ярости при виде Горна, но, узнав Понятовского, перешла к бурному собачьему восторгу.

Понятовский самодовольно улыбался при мысли, как Горн, чуть согнув высокий стан, лукаво вымолвил:

— Ничего нет опаснее этой породы. Женщине, чью верность мне надо было проверить, я всегда дарил болонку и при ее посредстве безошибочно узнавал своего соперника. Несомненно, что здешняя злая собачка, при встрече с вами обезумевшая от радости, обнаруживает крайне близкое с вами знакомство.

Дальше в памяти Понятовского шли воспоминания тревожные, угрожавшие не только карьере — быть может, свободе, самой жизни...

Русские победили пруссаков при Гроссегерсдорфе. Внезапное отступление Апраксина вызвало подозрения Елизаветы. Дело же было в том, что от дочери и Петра Шувалова Апраксин получил известия о предсмертном состоянии здоровья Елизаветы и о расположении Петра Третьего прервать немедля войну с пруссаками.

Апраксин отозван, канцлер Бестужев арестован.

А Екатерина беременна.

Петр, злой, что ему из-за болезни жены приходится одному появляться на скучных для него куртагах, кричал во всеуслышание:

— Бог знает, откуда моя жена беременеет; я не уверен, что должен признать этого ребенка своим.

О, как блестяще она вышла из этого положения! Она послала Льва Нарышкина с требованием взять от цесаревича клятву, что он с нею не спал, и заявить ему, что после подобного сообщения она сама отправится к начальнику тайной полиции Александру Шувалову.

Понятовский поморщился, так ясно возник в ушах крик Петра:

— Убирайтесь к чорту!.. Я больше не буду говорить об этом.

То есть это не Петр кричал перед ним — это, изумительно его имитируя, изображал Левушка Нарышкин.

Еще он вспомнил, как Екатерина показала ему одну решающую запись в своем дневнике:

«Я увидала, что̀ мне остается в будущем: разделить его судьбу, находиться от него в зависимости, ждать молча, когда он погубит меня, или... или...»

Он похолодел тогда от волнения и, сжимая ее маленькие ручки, повторил вопрошающе:

— Или?

Она тряхнула гордой головой с великолепными двумя косами, положенными короной, которую он шутя называл пророческой, и сказала:

— Или спасать самое себя, государство, своих детей.

В октябре король послал ему отзывные грамоты, но он не мог уехать, пока она не родила ему его ребенка. Он сказался больным. Он любовался из окна великолепным фейерверком, а она еще не вставала, больная в самом деле после рождения маленькой Анны, его дочери.

Все-таки это ведь не был сон. Дочь у него с ней была. Какой бы тон она сейчас ни приняла с ним, она вспомнит не короля, не графа, а отца своей дочери.

На каждом шагу из-за нее был риск, была опасность...

Однажды выскользнул от нее поздно в русском парике и шинели. Часовой сдуру чуть не схватил его. Окликнул: «Кто идет?» Нашелся сразу ответить: «Музыкант от великого князя...» А ну бы стал проверять?

И все это было не по расчету, по одной страстной любви. А много ль было таких, как он, среди ее, длинного теперь, списка фаворитов? Ведь она была ему не великая княгиня, а первая женщина, которую он познал. Сколько раз она, смеясь, ему твердила, что уж одно это делает память о нем для нее неизгладимой, потому что, она уверена, среди придворных русского двора не найдется и шестнадцатилетнего, не искушенного страстью.

Вспомнил и то роковое воскресенье, когда трепетной рукой ей писал: «...вчера вечером Бестужев лишен всех должностей и взят под стражу. С ним вместе взят ваш бриллиантщик Бернарди, взяты Елагин, Ададуров». Каждый из перечисленных в записке имел основание ее замешать в «дело измены» Бестужева, у которого к тому же хранился заготовленный на случай смерти Елизаветы манифест, где, минуя Петра Третьего, до совершеннолетия Павла правление империей предоставлялось ей.

Этот проект Бестужев поспел сжечь. Но в его бумагах нашли записку, бросавшую тень на него, Понятовского. Тогда русское министерство формально потребовало, чтобы король польский его отозвал.

Сколько воды с тех пор утекло... Нет голштинца Петра, он загадочно погиб в Ропше. Об этом сейчас, да и всегда, думать нехорошо... официально же было объявлено, что Петр умер от «геморроидальных колик».

Умерла и дочь их, маленькая Анна. И на любовь их легло столько новых сердечных утех и у него и у нее.

Когда русская флотилия остановилась против Канева, где сидел нежеланный гость, императрица послала все-таки Безбородку пригласить его на свиданье. Король подъехал в великолепной шлюпке. Едва вступив на галеру Екатерины, он, как оперный певец, повел плавно рукой и любезнейше сказал:

— Король Польши поручил мне рекомендовать вашим милостям графа Понятовского!

Этим появлением, этим именем, которое носил он при первой их встрече, Станислав думал воскресить в Екатерине то, что было между ними двадцать три года тому назад: безумие их юности, пылкую их любовь, когда он, не король польский, а юный парижский щеголь, покровителем своим, английским послом Вильямсом, представлен был ко двору Елизаветы; когда он был тот рыцарь, который утешил обиженную пьяницей-мужем великую княгиню, молодую прекрасную Екатерину. О, если б повернуть время назад!..

Мимоходом, по лесенке подымаясь на галеру, он глянул в зеркало. Увидал свое еще моложавое, круглое, сытое лицо. Сейчас, не оживленное остроумием ловко сказанного каламбура, на что он был особенный мастер, не возбужденное тщеславным азартом достичь своего, это было лицо самого заурядного польского шляхтича, даже без тонкости аристократа.

Понятовский увидал Екатерину. Она была в парадной робе, постаревшая более, нежели он ее себе представлял по портретам, тяжелая, в меру надменная. Она чуть поднялась ему навстречу, легко приложилась к его надушенной голове, пока он припадал не без волнения к ее маленькой, тоже надушенной, не изменившей своей формы руке.

С достоинством, несколько холодно и для него неприятно подчеркивая, что в лице его она принимает не бывшего близкого человека, а только короля Польши, Екатерина проговорила с ним о незначительных вещах с полчаса.

Да, он решительно приехал не во-время. Для сердца ее, только что получившего жестокую рану от утраты возлюбленного Саши Ланского, сейчас приятней всех был обходительный фаворит Дмитриев-Мамонов. А в смысле политическом, уж конечно, не король польский был ей желанен, а лишь император австрийский Иосиф Второй.

Племянника Станислава, как король было мечтал, Екатерина не согласилась признать наследником польского престола. И остался бедный король при вечно обидном своем чувстве, что получил свой высокий титул только в награду за бывшую когда-то амурную близость с царицей. Прочих своих фаворитов она одаряла из имуществ государственных крепостными, вотчинами, просто деньгами, его — короной.

Война с Турцией еще не начиналась, и нельзя же было говорить о договоре с Польшей. И не говорили.

Пили за обедом торжественно за-здоровье короля. Потом Потемкин повел его делать визиты генералам. Он настаивал на представлении его всем именем графа Понятовского. Это все-таки его молодило, но зато, даже несмотря на явную холодность Екатерины, выбивало из тона, который ему всячески подсказывали. Чтобы поменьше говорить с королем, Екатерина придумала позвать его в кумовья. Крестили вместе ребенка у графа Тарновского. Король от обиды и досады все больше терял под ногами почву. Он так настойчиво норовил задержаться на галере императрицы, что она при всех дала ему прямо понять, что ему уже время уйти. Он потерял шляпу, стал ее искать. Ему, по знаку императрицы, шляпу подали. Он с горечью, влагая в слова свои особый смысл, сказал:

— Однажды из рук вашего величества я получил шляпу получше этой. — Станислав намекал на польскую корону и на ожи-

дание новых милостей как ответа на предъявленные им «Пожелания короля».

Екатерина молча вышла. И напрямик сказал королю Потемкин, что оставаться ему больше в Каневе незачем.

На другой день, когда немного отъехали по Днепру, Екатерина сказала Храповицкому, а тот записал в своих дневниках:

— Рада, что избавилась от беспокойства. Почти осердил, прося остаться...

Прошлое имело над Екатериной очень мало силы.

Выбрав минутку наилучшего расположения духа Потемкина, когда он, осыпанный наградами Екатерины, торжествовал над своими врагами потому, что, сумев показать матушке южные новые земли, разрушил все взводимые на него поклепы, — старик повар, который рекомендовал на галеру к императрице Середовича в истопники, попросил милостивого разрешения изложить «суть одного дела».

— Излагай, старина, — разрешил светлейший.

— Я до вашей светлости не для себя... а на предмет того арестанта, коего везем в трюме в железах. Слабоумный он старичок и нимало не бунтовщик, как аттестован графом Мамоновым.

— С чего это он ляпнул государыне, будто в министрах ходил при самом Пугаче? — нахмурился Потемкин. — Смотри мне, сам не влипни, заступник!

— Кто такого дурака в министры возьмет, он и курицу резать боится! Просто, ваша светлость, бахвальный он старичок, невесть чем ему надо хвалиться, да вышло чтоб почудней. А нам по соседству с ним теснота, и воздух от него тяжелый. Когда же в том его укоряем, — «не способен, говорит, сейчас я к аккуратности, потому я в железах». Разрешите, ваша светлость, те железы старику снять! Убежать ему некуды, и воздух с него тогда можно будет стребовать.

— Приведи сюда старика. Проветри его там как-нибудь и веди.

Середович скоро вошел, гремя железами, с видом понурым, но отнюдь не изможденным. Старый повар его усердно подкармливал и обучал, как он выражался, прямому придворному обхождению.

Прежде всего он запугал Середовича Сибирью и пыткой, ежели тот упрется на том, что он действительно был кем-то при Пугачеве.

Повар рекомендовал Середовичу время от времени кричать петухом и всячески чудесить, дабы при допросе свидетели показали, что он вовсе дурной, а никак не бунтовщик.

Середович с перепугу, когда прошел первый азарт, во всем подчинился повару и не только кричал петухом, а клохтал курицей, мяукал и до того досадил прислуге и матросам, что те соби-

рались просить светлейшего, дабы он ссадил его поскорее на берег. Тогда повар, пробравшись в клетушку к Середовичу, наложил на него обет безмолвия, и Середович умолк.

Перед тем как повару итти к Потемкину, у него был с узником обстоятельный разговор. Уже зная досконально все похождения Середовича, старик ему посоветовал держаться так, будто заграничная жизнь ему повредила мозги, и все валить, не сумлеваясь, на Минну. Виноват, дескать, в том, что малость для храбрости перехватил, а как увидал само ее императорское величество, то, конечно, хмельному перед ней погордиться захотелось. Сбрехнул невесть что...

Потемкин сидел в роскошном татарском халате, веселый и победительный. Так он был Екатериной расхвален за дворцы, фонтаны и примерные войска, что не в ударе был гневаться и карать. Весело спросил введенного поваром Середовича:

— А ну, козлиная борода, как это ты ходил в министрах у самозванца? Докладывай.

Середович, гремя кандалами, повалился на колени:

— И в министрах, ваша светлость, я не бывал и того окаянного в глаза вовсе не видел. В голове слабость имею, сбрехнул я пред царицей.

— И брешут люди неспроста. Почему именно самозванца ты помянул?

— А потому, ваша светлость, — с отчаянной искренностью завопил Середович, — что я точно был высоким лицом, только опять-таки не у нас, а за границей, у немцев, в городе Лейпциге. И как перед богом, ваша светлость, не самим, значит, был я лицом, а токмо евонной тенью...

Потемкин, хохоча, выкрикнул:

— Все брешешь, собачий сын! Где ты там по заграницам таскался? Подбери свои железа, садись на скамью.

Середович сел на скамью и, как разумный, рассказал Потемкину про жизнь в Лейпциге с Мишенькой и Радищевым. Рассказал, что быть тенью бюргермейстера Романуса заставляли парикмахер Мориска да колдун немецкий Шрёпфер. И все это на тот предмет, чтобы барчуков оболванить, особливо Алексиса Кутузова. А Радищев, Александр Николаевич, поддельную бороду с тени сорвал и плутню обличил.

Показания Середовича сходились с тем, что знал сам Потемкин о посылке в Лейпциг двенадцати пажей. Обстоятельства лейпцигской учебной жизни студентов с грубым дядькой Бокумом, все совпадало с тем, что молол сейчас Середович, то и дело вставляя немецкие слова в подтверждение своего пребывания в Лейпциге и знакомства близкого с Минной.

— По милости сей неверной девки, ваша светлость, я головой и ослаб. Уж больно она за меня замуж хотела, да я ей не

дался... вот и напущено на меня, — концы и начала путаю. Хочу одно сказать, а язык сам воротит другое. Должно, Миша мне в язык беса пустила, оный бес мной и заведует. Посудите сами, ваша светлость, выходит, себе же на пагубу я царице-матушке набрехал?!. А верней всего, это, ваша светлость, Морискины штуки... ведь он сейчас у нас, в Петербурге, обретается, а я убегши от него.

Потемкин перестал смеяться, строго глядя на Середовича, сказал:

— Если наврешь — попадешь куда Макар телят не гонял, расскажешь всю правду — домой отпущу. Под чьим именем, в каком званье тот парикмахер Морис в Петербурге обретается?

— А я и брехать не умею, — сказал невинно Середович. — А званье тому Мориске считается маркиз чи граф, имя же вроде как русское, похоже Мухин, да только не Мухин. Ну, мне не выговорить. Нет, ваша светлость, мне нечего врать, насолил мне этот дьявол. Батюшки! Никак и он сам!

Середович вскрикнул вне себя от ужаса, указывая в окно на подходившего к подъезду Потемкина де Муши.

Уже без всякой игры и вранья побелевший как мел Середович повалился в ноги Потемкину и, цепляясь за пряжки его башмаков, плакал испуганными старческими слезами:

— Христа ради, батюшка, не выдавай ему! Колдун он, сам видишь — из антихристов. Вольный я ныне... А как глянет он на меня, то опять за собой потянет... колдун он!

Потемкин успокоил Середовича и тихонько, как добрый поп на исповеди, сказал:

— Ничего при мне не бойся. Припомни, в каком обличье этого человека ты еще видал, кроме как парикмахером и графом?

Середович оглянулся на окно, подошел близко к Потемкину, зашептал:

— А еще, ваша светлость, парикмахером он хаживал к барину Елагину да вскорости, должно, с дворней поругался, приказал мне выкинуть все свое куаферское снаряжение. И остался опять он в одной своей должности, чи графом, говорю, чи маркизом, и к вашей персоне ездил на белых конях! А никто его не признает, что он куафером был, потому он для этого дела парик надевал и, запершись, сам себе морду красил. Выйдет, бывало, я сам не узнаю. А зачем ему было у Елагина барина в парикмахерах быть, хоть убейте, ваше сиятельство, мне неведомо.

— Ведомо будет мне, — ухмыльнулся Потемкин. Он позвонил, вошел опять старик, что проводил Середовича. Потемкин ему приказал:

— Железа с «министра» снять, держи у себя в покое, пока я не прикажу его привести. Да приодень его, умой. — И, милостиво

отпустив, стал, нахмуря брови, слушать доклад вошедшего камердинера:

— Маркиз де Муши просит у вашей светлости аудиенции.

— Передай, что принять маркиза сейчас не могу, чего-то вдруг занедужил. Ныне вечером в маскараде обязательно буду и в круглой гостиной в девять часов предлагаю маркизу со мной повидаться.

В круглой гостиной кременчугского наскоро выстроенного к ее приезду дворца на большом угловом диване сидела императрица. Только что окончился балет, нарочито для сегодняшнего случая сочиненный, и должен был при первых звуках полонеза открыться роскошный маскарад, к которому сербы, молдаване, греки и прочие разнообразные обитатели губернии готовились еще с прошлого года.

Перед императрицей склонился де Муши.

Он был в драгоценном наряде вельможи времен Генриха Четвертого, который очень выгодно оттенял его изящество среди русских, большей частью неуклюжих, придворных, состоявших из свежеиспеченной екатерининской знати, у которой, как уверял нарядный «павлин» князь Куракин, приверженец Павла, от угодливости сами сползают лосины.

Сегодняшний фаворит Дмитриев-Мамонов, который нравился Екатерине своей образованностью и манерами, сейчас, перед маркизом де Муши, казался сущим провинциалом. Он это понял сам и с обиженной гримасой удалился, ожидая, что матушка сейчас же за ним пошлет и покажет кичливому де Муши свое место.

Но матушка возвращать фаворита не торопилась. Она, повидимому, восхищенно слушала тонкие комплименты маркиза, его парижские сплетни и весьма для нее интересные подробности о вторичном призыве к власти знаменитого Неккера.

Де Муши был хорошо осведомлен и о масонских делах за границей. За последнее время масоны заставили насторожиться Екатерину. Возникновение в ордене новой ветви — «иллюминатов», в которых подозревались страшные организованные враги всего существующего монархического строя и церкви, не могло не обеспокоить и ее. Философ Циммерман намекал в своих письмах, что имеется всемирный заговор против королей, который не может миновать ни одной страны, и надо думать, что и в Россию проникло зловредное сие умонастроение.

Сохраняя всю женственную доверчивость и ту особую, как бы отдающуюся откровенность, на которую ловился не один дипломат с репутацией хитрейшего в мире, Екатерина спросила де Муши:

— Не знаете ли вы случайно, маркиз, чем окончился тот скандал у Елагина, когда внезапно перед собранием в ложе Муз некий куафер-француз, служивший у него по найму, появился пред братьями и потребовал, чтобы его допустили в присутствие? Говорят, что он предъявил свои грамоты, правильные и достаточные, из коих следовало, что он рыцарь высокой степени.

Де Муши, не моргнув, презрительно ответил:

— Сей мастер париков и локонов был, несомненно, первой ласточкой иллюминатства, коего вы справедливо изволите опасаться, ваше величество. И справедливо обрезал его разумным репримандом почтенный мастер ложи Елагин.

— Что же сказал Елагин, любопытствую? — Екатерина не спускала глаз с де Муши.

Маркиз с готовностью отрапортовал:

— «Насаждать в нашем ордене равенство в том смысле, как это понимают ансиклопедисты, тем паче Руссо, — наша благонамеренная ложа, желающая быть опорой престола монархини, нимало не согласна».

— Итак, сей масонствующий куафер, как у нас говорят, сел на бобы, — сказала, картавя, Екатерина по-русски и протянула де Муши свою бриллиантовую табакерку.

Де Муши почтительно взял понюшку и на секунду прикрыл нос кружевным платком.

— Было бы полезней, — тонко улыбнулся он, — если бы сей куафер сел в крепкое место к преданному вашему величеству мосье Шешковскому. А сейчас, если разрешите, ваше величество, на страже охраны вашего спокойствия от иллюминатов станет покровительствуемый вами наш орден иезуитов.

— Даю вам на то все полномочия. — Екатерина встала, протягивая де Муши руку и тем показывая, что аудиенция окончена.

— Сейчас я надену маску, ваше величество, и пребуду для вас одних ведомо вашим верным рыцарем...

Он несколько дольше, чем позволял этикет, задержался губами на вторично ему протянутой маленькой руке Екатерины и легкой, подлетывающей поступью вышел из гостиной.

Из-за тяжелой драпировки появился скрывавшийся за ней Потемкин.

— Ну что же, матушка, — ухмыльнулся он, — уверилась ты сама, что сей де Муши есть ловитель в мутной воде, на манер выбывшего из нашей столицы Калиостро?

— Спросила его, как ты научил, Гришенька, но кто тебя утвердил в мнении, что куафером у Елагина был точно он?

— Де Муши опознан двумя из сопутствующей вам свиты. Очную ставку можно будет сделать на допросе у Степана Ивановича, к нему не без остроумия сей загадочный куафер-маркиз себя самого только что отправил. Для вас я приберег более

забавную встречу, если только соизволите укрыться в тот самый тайник, из коего я исхожу. Слышно изрядно, и чихать нет охоты, ибо к приезду вашему, матушка, все драпировки были нещадно от пыли колочены.

Екатерина засмеялась.

— Что же, к маскараду, тобой затеянному, весьма подходящи сии разоблачения на старинный манер! Но ужели иллюминатство столь коварно угнездилось у нас? И чему верить? Ведь этот самый де Муши, настаивая на изъятии книги Новикова об истории ордена иезуитов, прозрачно давал мне понять, что сей давний мой состязатель и пересмешник является со всеми присными тоже не чем иным, как клевретом иллюминатским! Самим тут концов не сыскать, придется прибавить работы Степану Ивановичу.

— Чем более прибавите, матушка, тем он будет счастливее, ибо он любитель великий кнутобойничать.

Потемкин удобно усадил Екатерину на козетке, скрытой тяжелой малиновой драпировкой, столь искусно повешенной, что она оказывалась необходимой для оттенения огромного, во весь рост, ее же портрета в виде Минервы, раздающей награды музам.

Потемкин хлопнул слегка в ладоши. Из-под земли вырос его казачок Филиппка.

— Стремглав беги к старшему повару, и чтоб тот привел сюда — кого, знает сам.

Филиппка исчез, а Потемкин, зайдя за драпировку, сказал, вынимая из кармана крохотные пасьянсные карты:

— Погадай пока, матушка, будет ли мне поворот сердечной фортуны. Прогнала меня снова Варвара...

— Ах, Гришенька, — усмехнулась Екатерина, — уж в пятом десятке, чай, ходишь... Когда на тебя угомон будет?

— Как на тебя, и на меня до смертного часу угомона не будет! — обнимая Екатерину, сказал Потемкин.— Мы два сапога — пара... То-то мы друг друга, на зависть самого Гименея, так хорошо разумеем, что взаимно глядеть по сторонам не возбраняем по сколько душеньке угодно, потому что одного мы с тобой корня, два равных дубка. При такой уверенности возможно ль нам друг друга к мечтанию минутному ревновать?

— Положим, мой друг, ты от ревности не свободен. Чуть кто новый к моим альковным дверям...

Потемкин, нахмурясь, перебил:

— Капризы альковных дверей есть легкомыслие нашего века, коего мы оба с вами родимые дети, и капризы сии мной уважены. Но коль скоро подъемлет кто руку к вашей короне, матушка, и тщится хотя крупицу вашего самодержавия умалить, тому я действительно даю по рукам!

— Гришенька!..

Они еще раз обнялись. Потемкин провел Екатерину за драпировку, и она погрузилась в пасьянс.

Слегка постучав и получив разрешение войти, появился старший повар с Середовичем. Одет Середович был в запасную поварскую пару, но как был станом поуже и ростом пониже, то кроме обвисающих складок, казалось, и тела на нем нет никакого.

Екатерина, глянув в узкий просвет, поразилась, узнав в отмытом и выбритом Середовиче недавно испугавшего ее сумасшедшего истопника. Она смешала выходивший было пасьянс и, опершись обеими руками на карты, чуть приподнялась, готовая скрыться в маленькую потайную дверцу в стене. Она успокоилась, когда Потемкин превесело обратился к повару:

— Нечего сказать, принарядил камергера! Штаны с него падают...

— Не танцовать ему в них, — объяснил старший повар.

— Ступай к себе, — махнул рукой Потемкин, — он один тут останется.

— Ваша светлость, — запинаясь после очередной выпивки, сказал Середович, — покажите мне его, окаянного, пока я в себе смелость имею...

— Налился? Чего же ты смотрел? — крикнул Потемкин уходящему старику повару.

— Больно хвалился он, ваша светлость, что во хмелю — ровно сокол. А не то, говорит, я его оробею.

— Ну, ладно, проваливай...

Часы пробили девять. Постучали. Потемкин сам открыл дверь де Муши.

Не снимая маски, он сделал несколько шагов и остановился, недоумевая. Потемкин, взяв за плечи Середовича, держал его перед собою, как щит. Он сказал по-французски с крайней любезностью:

— Прошу вас, любезный маркиз, снимите вашу маску. Мне удобней вести с вами разговор, видя выражение вашего изящного лица. Вы сами к тому же меня обучили, что игра лица, походка, жесты и прочие невольные выражения тайных мыслей были главным базисом для психологических заключений учителей древней пифагорейской школы.

Де Муши снял маску, присел на предложенное кресло и, смеясь, сказал:

— Надеюсь, что и в дальнейшем, ваша светлость, захотите быть последователем мудрейшего из учений, которое двух умных людей всегда делает союзниками.

Потемкин отпустил Середовича и молча его подтолкнул.

Середович выступил столь же важно, как некогда в Лейпциге, когда, наряженный в доспехи бюргермейстера Романуса, он должен был поразить воображение русских студентов.

— Знаешь ты этого человека? — указывая на маркиза, сказал Потемкин. — Где и когда ты его видал?

— Я видал их в немецком городе Лейпциге, — испуганно пробормотал Середович, — они были парикмахером и букли налаживали русским барчатам — Мишеньке Ушакову, Радищеву и прочим, что сданы были немцам в ученье.

Чувствуя себя под защитой светлейшего, Середович вдруг озлился, шагнул к де Муши и, выдыхая на него сивушные пары, выпалил:

— А ну-ка, припомни Базилия, Морис!

— Это сумасшедший, ваша светлость... И почему вы мне с ним делаете очную ставку? — обиженно вымолвил де Муши и залился краской гнева. — Прикажите его убрать.

Потемкин, не моргнув, продолжал допрос Середовича:

— Еще под каким именем и званием помнишь ты этого человека?

— А еще парикмахером хаживали они к барину Елагину. А меня, ровно пса, держал он на привязи и кликал, как суку, Базилью. И доносить мне ему было приказано, куда ни посылал с пакетами. Вина пить давал мне паскудного, а чтоб водки... ни-ни... В светлое воскресенье не дал! — с проснувшейся обидой закончил Середович.

— Я не знаю этого сумасшедшего, — сказал холодно де Муши. — Прошу вашу светлость избавить меня от него.

— Я не только смею себе позволить, я за священный долг почитаю, — поднял голос Потемкин, — рассеивать в глазах моей повелительницы и царицы всякий дурман, который темные людишки пытаются напустить. Вы, сударь, как недавний гишпанский якобы полковник Калиостро, являетесь для самодержавной власти подозрительны. А посему разговор будете вы иметь с вами же самими в подобных сумнительных случаях рекомендуемым кнутобойцей Шешковским.

— Вы не имеете права! — воскликнул де Муши. — Вы ответите перед Францией! Наконец, я требую аудиенции у императрицы!

— Едва ли с тем, чтобы убедить ее в чистоте ваших намерений, не правда ли? — сказала, выходя из-за портьеры, Екатерина. — Вы только что сделали мне инсинуацию на некоего куафера-масона из ложи Елагина. Выходит, тот куафер — вы сами. Зная про это, я только сделала вам проверку.

Середович повалился на колени, накрыв голову руками, и остался так лежать, как пораженный молнией. А де Муши, вполне владея собой, вымолвил:

— Если бы ваше величество когда-либо заинтересовались моими полномочиями по делам нашего ордена, я бы давно имел честь вам сделать подробный доклад о том, что именно заставляло меня, как калифа Гарун-аль-Рашида, подчас изменять мой внешний вид. Во всяком случае будьте уверены, ваше величество, мое поведение не содержит чего-либо враждебного государству вашему, которое нас, повсюду изгнанных, благосклонно приютило, а ваше величество осыпали милостями.

Екатерина сказала резко, не смягчаясь лестью маркиза:

— Как объясните вы только что бывший у нас с вами разговор, где вы самого себя определили иллюминатом и нашли полезным отправить для допроса к Шешковскому?

— Постараюсь, ваше величество, — улыбнулся де Муши и, с плавным жестом повернувшись в сторону Потемкина, иронически продолжал: — Его светлость с вами дольше знакомы и стоит к вам ближе, чем я. Быть может, он лучше меня объяснит эту нашу непостижимую жажду сохранить свою мужскую независимость, порою даже утайкою истины. На днях, если припомните, ваше величество, на ваш вопрос, хотел бы его светлость быть герцогом курляндским или новым господарем нового государства Дакийского, его светлость ответил, что он слишком для власти ленив. Между тем, смею вас уверить, всю ночь перед тем его светлость вместе со мной обсуждал, покуривая отличный турецкий кальян, как было бы ему к лицу стать ханом крымским! — Де Муши весело и дерзко глянул в гневное и смущенное лицо Потемкина. — Ваша светлость, неужели вы станете отрицать, что во всех подробностях прикидывали своеобразные взаимоотношения, которые должны будут у вас возникнуть с ее величеством и с империей, от которой вам в конце концов придется отложиться?

Екатерина молча смотрела на Потемкина. Ей слишком давно и усердно его враги нашептывали о том, что он метит забрать под себя южные земли и Крым, и она поняла, что маркиз сказал правду.

Потемкин с надменной улыбкой выдавил сквозь зубы:

— Был спьяну и такой разговор. Предлагаю вашему величеству делать выводы.

Екатерина коварно помедлила, карая светлейшего за нескромную болтовню, однако, решительно уничтожая предвкушаемый триумф де Муши, сказала с гордым достоинством:

— Выводы мною давно сделаны: светлейший князь Потемкин — бесспорный и лучший защитник империи. Он вне подозрений, он может позволить себе шутить, как ему будет угодно.

Повернувшись в сторону де Муши, Екатерина сказала:

— Король польский, с которым вы имели честь приехать, уже отбыл. К вашим услугам могут быть тоже предоставлены все способы передвижения.

Де Муши откланялся и вышел.

Середович во все время разговора продолжал стоять на коленях. Потемкин вдруг его заметил и крикнул:

— Не спать тебе тут!

— Как уснуть, ваша светлость, коли само солнце взошло! — сказал лукавый Середович, подымаясь с колен и вновь земно кланяясь Екатерине. — Прости меня, дурака, ваше величество!

— Простите его, матушка, — попросил и Потемкин, — да прикажите вернуться восвояси. Он в дядьках состоит при мальчиках дворянина Радищева. На побывку к себе на родину было съездил, да вот и наглупил.

— Как ты попал ко мне на галеру? И зачем? — спросила Екатерина.

— Вот те крест, матушка, только затем, чтобы светлые очи твои поглядеть, — кланялся Середович. — А как зашиб маленько, впал, значит, в кураж. Отличиться пред тобой захотелось, такое особливое вымолвить, чтобы ты запомнила.

— Молчи лучше! — прикрикнул Потемкин. — Дурак он совсем, ваше величество, уж отпустите его.

— Иди! Иди! — слегка взмахнула табакеркой Екатерина, и Середович, все кланяясь, попятился к двери. А там, давай бог ноги, к старшему повару. Схватил свой узелок — и прямехонько на почтовый двор, чтобы при каком ни на есть седоке скорей вон отсюда.

— Я думаю, — сказала Потемкину Екатерина, — все эти маркизовы маскарады — его персональные иезуитские дела. Опасности для империи от него я не вижу. А вам, Гришенька, мой совет: шутить шутки можно, только выбирать надлежит, с кем.

И Потемкин понял, что самолюбие матушки было весьма задето предательством де Муши и когда-нибудь эту неуместную болтовню она ему припомнит.

Екатерина так торопилась на свидание с Иосифом, что, не дождавшись его приезда, сама отправилась ему навстречу.

В степи никакого на парадный случай приготовленного жилища не было, даже Потемкин всех капризов императрицы предвидеть не смог. Очень сердитый, он придумал устроить остановку в обыкновенной казацкой хате, какая попалась ему на пути. Если не удалась торжественность, надо было сыграть на деревенской идиллии. Он затеял игру: принц Нассау-Зиген, граф Браницкий и сам он, светлейший, превратились добровольно в поваров и, приспособив себе фартуки, засучив рукава, изготовили из дорожных припасов обед на самих себя и двух августейших особ. Екатерина решила, что это должно почитаться весьма оригинальной и веселой забавой. Ей подыгрывали все придворные...

Однако злословный Иосиф написал домой, что только остроумие принца де Линя и любезность Сегюра сглаживают ему весь

ужас и все неудобства путешествия, которое поистине есть адово мученье. Когда императора привезли к галерам на Днепре, поднялась суматоха. По громоздкости галерам было трудно приставать к берегу. Нужно было массу народа и багажа отправить сухим путем. Кареты и повозки ломались, багаж лежал в степи, погода же, как нарочно, стояла холодная. В Кайданах, записали очевидцы, где ради шествия императрицы выстроен был новый роскошный дворец, провели вечер в зимней одежде перед затопленным камином.

Екатерина привезла, наконец, императора к тому месту, где была назначена закладка нового города, в ее честь окрещенного — Екатеринослав. На берегу Днепра соорудили походную церковь, отслужили молебен, приступили к закладке собора, насчет которого Потемкин отдал бахвальный приказ архитектору:

— Пусти-ка, братец, на аршинчик длиннее, чем собор Петра в Риме!

А император Иосиф, иронически ухмыльнувшись, шепнул своим приближенным:

— Я полагаю, что императрица положила первый камень сего грандиозного здания, а я камень второй и... последний.

Иосиф оказался пророком: хотя фундамент собора обошелся государству около миллиона, но постройка дальше этого первого великолепия закладки по случаю вспыхнувшей войны с турками не пошла.

Шествие Екатерины по наместничеству Потемкина протекало чем далее, тем блистательней.

В Херсоне, куда она въехала уже вместе с императором австрийским, народ отпряг коней ее экипажа и на себе повез ее в город, где на банкете Потемкин торжественно заверил, что сей юный Херсон, возмужав, превратится во второй Амстердам. Чтобы завязать торговые сношения с империей, приехал посланник неаполитанский, из Константинополя — интернунций императора и русский уполномоченный в Турции Булгаков.

Все было торжественно, все великолепно. Безбородко в своем имении вблизи города дал грандиозный бал.

Тем дерзновеннее показалось внезапное, как гром в безоблачном небе, появление в устье Днепра турецкой эскадры. Она возникла, как грозное предупреждение, безмолвная, упорная, преграждая дальнейший триумфальный путь. К великому конфузу Екатерины, пришлось отказаться от уже объявленного иностранным гостям путешествия в Кинбурн.

По дороге в Бахчисарай изобретательность Потемкина несколько рассеяла неприятность от нарушенного праздника шествия.

Тысяча вооруженных всадников на богато убранных конях стремительно окружила императорский кортеж. Это была

подобранная Потемкиным парадная стража из татар. Они были столь дико воинственны, что принц де Линь не преминул сострить:

— Сей татарский почет весьма страшен! Что сказала бы Европа, если бы вдруг эти вчерашние свободные, сейчас верноподданные насильно отвели в гавань императора и царицу и, увезя их в Константинополь, не моргнув, подарили бы султану?!

— И главное — таковой поступок даже нельзя было бы назвать преступлением, — подхватил другой, не менее ядовитый француз, — он был бы только отплатой за вероломство этих двух государей, которые похитили их страну.

Екатерина торжествовала, что Потемкин столь смело и наглядно устроил перед иностранцами сей маскарад, который высказывал расположение Крыма к его захватившей империи.

Но татарский парад проведен был с предварительным и строгим отбором. Посему самых именитых татар Екатерина пригласила обедать и одарила их вновь напечатанным изданием Алькорана. В кругу придворных она острила, смеясь:

— Сей Алькоран не для распространения магометанства, но токмо для приманки моих свежеприобретенных магометан на уду.

Храповицкий в своих записках очень осторожно отметил, что император австрийский, посланники Англии и Франции и сам фаворит Мамонов «сих упований на верность татарскую не разделяют».

Сменялись еще и еще города, щеголяли одно перед другим пиршества среди великолепия природы юга...

Наконец роскошно обедали на балконе, задрапированном громадной театральной завесой. Во время обеда завесу раздвинули, и севастопольская гавань предстала в своем великолепии, с военными кораблями, с множеством мелких судов. Палили из пушек. Екатерина подымала бокал за здоровье Иосифа. Австрийский император давал клятву, что севастопольский порт — наипрекраснейший в целом мире.

И не рассерди Потемкин иронического Иосифа, быть может он еще бы надолго утаил свои истинные впечатления от всего им увиденного.

Но светлейшему, как это с ним часто бывало, вдруг сумасбродно захотелось показать императору своих, как утверждал он, «нигде не виданных, сказочных коз». Потемкин для этого каприза соорудил чрезвычайную поездку высоко в горы по мерзейшим дорогам, и все только для того, чтобы вывести напоказ своим августейшим гостям грязных длинношерстых, давно всем известных ангорок.

Этот нелепый до дерзости, невыгодный для него поступок был Потемкину как глоток свежего воздуха в духоте. Его речь засверкала таким остроумием и любезностью, что Екатерина еще

раз простила сего капризного баловня и в отличном расположении духа уже поздней ночью водворилась на ночевку в Бахчисарай.

Но император Иосиф был чрезвычайно зол на Потемкина. Его растрясло до расстройства желудка, на него напала бессонница. Проклиная день и час, когда его понесло в эту варварскую страну с непроходимыми дорогами и сумасбродством фаворитов, он стал писать письма, не предназначенные для перлюстрации, своему министру Кауницу и фельдмаршалу Ласи.

Он писал о крупных промахах, сделанных Потемкиным в управлении краем:

«Он умеет лучше начинать, чем кончать. Во всем сделанном больше эффекта, чем внутренней цены. Впрочем, так как здесь никаким образом не щадят ни денег, ни людей, все может казаться нетрудным. Владелец рабов приказывает — рабы исполняют. За работу им вовсе не платят или платят мало. Их кормят плохо. Они не жалуются. И я знаю, что в продолжение этих трех лет в этих вновь приобретенных губерниях вследствие утомления и вредного климата болотистых мест умерло пятьдесят тысяч человек.

«В Екатеринославе мы видели город, который никогда не будет обитаем. Место выбрано для него безводное. Херсон окружен опасною болотистою атмосферою. Крым лишился двух третей своего населения... После отъезда императрицы все чудеса исчезнут. Настоящая администрация, требующая постоянства, не согласуется с характером Потемкина».

В конце концов Иосиф аттестовал все путешествие в южный край таким словом: «галлюцинация».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Сколько ни старались газеты разъяснить «путешествие ее величества в полуденные страны» как обычную материнскую рачительность о стране, никто дома, ни тем более за границей невинности сего длительного пикника не поверил.

Для всех было ясно, что Екатерина ездила для ревизии приготовлений светлейшего к войне. То-то целью путешествия был Херсон, который почитался важным военным портом, а также Севастополь, где строился флот.

И всем непонятна была дипломатия Потемкина: отлично понимая, что для окончательного укрепления новых гаваней и намеченного пополнения флота нужно по крайней мере года два мирной жизни, он, вместо того чтобы тонкостью обхождения усы-

пить обострившуюся подозрительность турок, сам их толкал на разрыв. Ни с чем не считаясь, Потемкин настаивал, что цель России — господство на Черном море, а турки с негодованием кричали: пока Крым в руках русских, Турцию можно сравнить с домом без дверей, в который каждую минуту войти могут воры!

Тщетно русские сановники с князем Щербатовым во главе настаивали на скромности русской политики, подчеркивая неподготовленность к войне. Булгаков, русский посол, вернувшись в Константинополь, обратился к Порте, по наущению Потемкина, с самыми резкими требованиями. В ответ на заносчивость русского посла вышедшие из терпения турки без всякой проволочки тут же, на заседании Дивана, объявили войну России, а самого Булгакова, осыпав упреками и руганью, засадили в Семибашенный замок. Турция потребовала возвращения Крыма.

Принц де Линь записал в своем дневнике, что императрица, утверждая свою уверенность в успехе русских войск и победе, на самом деле была сильно обеспокоена. В день подписания манифеста, двенадцатого сентября, Храповицкий, в свою очередь, записал выразительно и кратко:

«Плакали».

Потемкин внезапно упал духом. Неоднократно выражая словесно и в письмах императрице, что «весьма нужно протянуть два года, ибо война прервет построение флота», он сам эту войну вызвал. Растерянность и отчаяние повергли его в жестокую гипохондрию. Екатерина из Петербурга сама начала руководить кампанией, побуждая возможно скорей переходить к действиям наступательным.

Гарновский, доверенный человек Потемкина, писал ему, что все его враги подняли голову, и так как они почитают одного светлейшего виновником нежеланной войны, то, замыслив против него «маленькое шиканство», уже чинят препятствия к новому набору рекрутов.

Императрица приказала наладить отменно скорее сообщение между столицей и ставкой Потемкина. Для курьеров на каждой станции стояло по двенадцати лошадей. Но светлейший с донесением медлил и в полном расстройстве чувств умолял разрешить ему оставить пост главнокомандующего, приехать в Петербург, «удалиться в частную жизнь, скрыться...»

Екатерина вспыхнула, написала резкое письмо, которое начиналось словами:

«Я полагаю, что в военное время фельдмаршалу надлежит при армии находиться».

От посылки подобного письма удержал Екатерину Мамонов, фаворит, всем обязанный Потемкину. Он продолжал верить в его таланты и удачу, упадок духа считал временным, убеждал в том же и матушку.

Наконец Потемкин, решась на встречу с турками в море, приказал контр-адмиралу Войновичу собрать флот и «произвести дело». Он потребовал в своем ордере атаковать флот турецкий, где бы его ни завидели, и во что бы то ни стало, хотя бы всем пропасть, но «должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля».

Но фортуна решительно Потемкину изменила. Корабли застигнуты были страшной бурей, неистовствовавшей несколько дней, и детище его — флот севастопольский был разметан и поврежден.

Потемкин писал Екатерине:

«Матушка... корабли и большие фрегаты пропали, бог бьет, а не турки. Ей, я почти мертв, я все милости и имение, которое получил от щедрот ваших, повергаю к стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, не продолжится».

Екатерина отвечала в перепуге:

«Ради бога, не пущайся на сии мысли: когда кто сидит на коне, тот да не сойдет с оного, чтобы держаться за хвост».

В Петербурге шла борьба между сторонниками Потемкина и Румянцева. В совете говорили о том, что светлейший погорячился, дав флоту повеление выступать в море по такому времени, когда суда к выходу не способны. Слухи подхватывал город. Шептались все громче, что звезда «князя тьмы» закатилась, что императрица его вызывает из армии и все командование вручено будет Румянцеву, под которым сейчас числится одна украинская армия.

Слухи были неправильны. Екатерина, верная своему самолюбию, с упрямой гордостью говорила:

— Честь моя и собственная княжья требует, чтобы он не удалялся в нынешнем году от армии, не сделав какого-нибудь славного дела... Хотя бы Очаков взяли! Ведь должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась.

Но Потемкин собственной карьерой уже не дорожил. Он написал Румянцеву после разбития флота столь отчаянное письмо, что враги его, во главе с Завадовским, немало издевались, торжествуя его унижение. Опять Мамонов довел до сведения Попова, секретаря Потемкина, все злые интриги, умоляя князя чувствительность обличающие откровенные письма никому не писать, ибо здесь придворные таковы, что «великости духа» его цены не знают и только злодействуют его светлости. Любя князя, как отца, остерегал его Мамонов от переписки, служащей токмо забавой врагам его.

Потемкину особливым препятствием собрать в твердости свои силы было присутствие в войске Суворова. Еще в самом начале

войны с турками светлейшим было сделано распоряжение всему генералитету, кому в какой армии быть и какими частями командовать. Суворова он никуда не поместил. Все думали, что произошло сие потому, что Потемкин почитал Суворова, по причине его постоянного на людях юродства, кукареканья и ужимок, хитроватым, но незначительным полководцем.

На самом же деле Потемкин знал раньше других, что этот небольшого роста, худой, болезненный и необыкновенный человек есть гений военный.

Екатерина была недовольна обходом Суворова. Потемкин в его лице пренебрег генералом, который первый въехал в Берлин при Фридрихе и уже прославлен был в прошлой турецкой кампании. По сему случаю светлейший получил реприманд.

Но, предупрежденный своими искателями, Потемкин умело ответил Екатерине: он лишь потому Суворова пропустил, что, зная ему высокую оценку свыше, полагал предоставить ее величеству дать назначение сему храброму генерал-аншефу из собственных рук.

Составлены были по объявлении войны две армии: украинская, под командою фельдмаршала Румянцева, вторая — екатеринославская, под командою Потемкина. Ему надлежало с наступающей кампанией атаковать Очаков. Генерал же аншеф Суворов стал командовать в Кинбурне.

В Суворове все было противоположность Потемкину, все ему кололо глаза, все было живой упрек. Суворов уничтожал его.

Насколько Потемкин был грузен, тяжел, полон диких страстей и капризов, столь, обратно ему, был ничуть не наполнен самим собой Суворов.

Потемкин ходил тяжко, как монумент. Суворов подлетывал, легкий и маленький. Солдату был он вправду отец, готовый с ним разделить и ужин от котла и пасть рядом в бою.

Потемкин гордился тем, что облегчил войскам амуницию и заботился об их нуждах, но солдат перед ним пугливо тянулся, робел и, рискуя свернуть шею, «ел глазами».

Суворова солдаты любили, как ближайшего, а он верил всем сердцем в великие доблести каждого рядового, знал его лично и в походе был с армией неразделен.

Потемкин заботился о солдате, как умный барин о крепостном, чтобы тот на него же лучше работал. Суворов, едва появился, вселил в армию весь свой побеждающий, веселый, уверенный дух. Он не снизошел к солдату — он чудесным образом в нем растворился. Суворов был русский человек, не боявшийся смерти, не разъедаемый супротивными мыслями, сейчас знающий только одно: ему со своими солдатами надлежит победить турок, и он их победит.

Первой удачей этой войны, вызванной Потемкиным и сейчас его удручавшей до потери всех стратегических способностей, явилась победа Суворова под Кинбурном.

Положение русских войск было весьма опасно, потому что турки получали подкрепления от своего флота, и все же Суворов, верный собственной тактике, нежданно и стремительно на них напал. В сумерках он был ранен в плечо, потерял много крови, ослабел. Приказал казачьему старшине Кутейникову дотащить себя до моря, там промыть рану морской водой и перевязать шейным платком. Потом опять сел на коня, возвратился командовать и прогнал турок из-под Кинбурна.

Эта первая победа была важна не только потому, что подняла дух войска, обессиленного примером нескрываемой гипохондрии Потемкина и его бездельной нерешимостью. Победа под Кинбурном разбила все планы турецкого командования. Если бы туркам посчастливилось взять Кинбурн, им легко было бы напасть на Херсон и Крым и истребить русскую флотилию.

Армия ободрилась. Солдаты, утомленные бездействием, рвались в бой. Екатерина потребовала от Потемкина осады Очакова; он хмуро ей отвечал:

— Если б следовало мне только жертвовать собой, то будьте уверены, что я не замешкаюсь и минуты, но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает итти верным шагом...

Потемкин зло намекал на рискованную тактику Суворова, забывая о том, что она была неизменно победной. Эта тактика отнесена могла быть не к сумасбродству сего генерал-аншефа, а лишь к его гениальности.

Потемкин поехал в Херсон осматривать галерный флот и, будучи в лимане, намеренно, как бы в подтверждение своих слов о презрении опасности личной, по-мальчишески подошел близко к Очаковской крепости, так что шлюпка его оказалась под турецкими пулями.

Преувеличенными слухами, злыми сплетнями долетали мельчайшие события в Петербург, вызывая против светлейшего негодование лучших людей за его бездеятельность военачальника и капризы персональные.

Цесаревич Павел был зол на Потемкина, приписывая ему запрещение матери ехать в армию. Вяземский жаловался, что Потемкин перебрал уже уйму денег, а не видно, куда...

Александр Романович Воронцов открыто заявил, что на месте государыни он не только армию, самого Потемкина вручил бы распоряжению Румянцева, коль скоро светлейший собственную умную волю утратил: «С какой стати такому повиноваться, что, люди — чучелы, что ли?!»

Потемкин отправил для разведывания о неприятельском флоте капитана Сакена. В своей дубль-шлюпке сей капитан

замечен был четырьмя турецкими галерами и был ими преследуем. Видя, что дело плохо и что ему несдобровать, Сакен зашел в устье Буга, высадил свой экипаж на берег, а сам спустился в крюйт-камеру.

Едва турки, почитая шлюпку пустой, вошли на палубу, как Сакен произвел посредством зажженного фитиля взрыв.

Дубль-шлюпка взлетела на воздух и вместе с ней четыре турецких галеры со всем экипажем.

Русский флот заставил флот турецкий оставить Очаков. Теперь бы и двинуть осаду Очакова, но Потемкин попрежнему все оттягивал и бездействовал. Он горько и злобно завидовал великолепной и быстрой кончине славного Сакена, завидовал еще более победительной воле Суворова.

Однажды при вылазке Суворов на свой страх завязал большое дело. Батальон за батальоном он отправлял взять сады, прилежащие к крепости, так что весь левый фланг вступил вскоре в бой.

Еще весной Суворов предлагал Потемкину штурмовать Очаков и сам брался исполнить это дело. Потемкин отклонил, говоря, что сия попытка может только повредить.

Сейчас удачным движением Суворов решил либо насильно вовлечь Потемкина за собою на штурм, либо одному со своим корпусом прорваться в крепость.

Но Потемкин из тщеславия не желал следовать примеру Суворова, уже потому только, что если б взяли Очаков сейчас, это бы только послужило к возвышению Суворова за его счет.

— Он один себе хочет все заграбить! — гневно вырвалось у Потемкина, и немедленно он повернул дело так, что Суворов достоин кары за то, что вышел из субординации.

Суворов, раненный в руку, сидел на камне, санитар ему делал, из чего пришлось, первую перевязку. На коне подлетел дежурный генерал прямо от Потемкина и, еще полный отражением его начальнического гнева, задал грозный вопрос Суворову о том, как мог он без приказа свыше завязать с турками дело.

— Завязал дело? — ухмыльнулся Суворов. — Да, чай, крепость не погляденьем берут!

Генерал протянул Суворову записку Потемкина, полную упреков:

«...странно, что мои подчиненные распоряжаются движением войска, даже не уведомляя меня о том».

Суворов прочел с трудом записку светлейшего, от крайнего волнения написанную неразборчивым, судорожным почерком. Он глянул через плечо на дежурного генерала необыкновенно ясными, веселыми глазами и пропел тоненько свой ответ:

— Я на камушке сижу... да на Очаков все гляжу.

Суворов присвистнул столь выразительно, что улыбнулся сочувственно против воли дежурный генерал и вовсе прыснул делавший перевязку санитар, поняв намек на бездействие Потемкина.

Подобно Суворову, все командиры и рядовые отлично понимали, что оттяжка атаки Очакова поведет только к большему кровопролитию и потерям от болезней. Надвигалась зима.

Принц Нассау писал Сегюру из Варшавы, подтверждая как очевидец, что действительно Очаков легко можно было взять, как того и хотел Суворов, когда гарнизон в крепости не превышал четырех тысяч солдат. Между тем осадные работы начались только осенью. Турки возросли в количестве и столь многому обучились, что сам Потемкин про них говорил:

— Не те турки, не те... и чорт их научил!

Непостижимая апатия связала его способности военачальника.

Он непристойно сибаритствовал и либо занимался делами столь посторонними военным, как, например, перевод с французского истории церкви аббата Флери, либо, чтобы забыть свою тоску, предавался роскошным пирам, что давало повод принцу де Линю острить:

— Светлейшего от наступления задерживает превкусная здешняя рыба, до коей он великий охотник!

Адъютант Потемкина, высокого роста, пригожий собой, аккуратный, ограниченный человек, записывал за ним в своем дневнике:

«В один день спросил светлейший кофею; из бывших тут один вышел приказать. Вскоре спросил опять кофею, и еще один поспешил выйти приказать. Почти все по одному вышли по его нетерпеливому желанию. Но как скоро принесли кофей, то князь сказал: «Не надобно! Вот хотел я чего-нибудь ожидать, но и тут лишили меня сего удовольствия».

Еще была крайне недоумевающая запись в дневнике адъютанта об одном происшествии под осажденным Очаковом, в самом виду неприятеля:

«Вдруг светлейший вспомнил, что некто ему рассказал, будто капитан, живущий в Москве, в отставке, по фамилии Спечинский, знает наизусть все святцы. Тотчас он послал за ним. Тот, получивши от светлейшего князя приглашение, подумал, что как без Ахиллеса не могла быть взята Троя, так и без него не может быть взят Очаков. С восторгом принял он тот зов и при отъезде из Москвы обещал многим свою протекцию и разные милости. Когда он явился к его светлости, то князь спросил его: 13 января какого святого? Тот ему отвечал. Князь справился со святцами. А 10 февраля? Потом спросил по одному числу в каждом месяце.

«— Какая счастливая у вас память! Благодарю, что вы по-

трудились приехать, можете отправляться в Москву, когда вам будет угодно!»

Льстецы наперебой старались потакать всем причудам светлейшего, полагая усердием разогнать его гипохондрию, которую почитали, как у капризной бабы, без глубоких причин. Обо всем том записывал ровными строчками неугомонный адъютант:

«В один день князь сел за ужин, был весел, любезен, говорил и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и, наконец, сказал:

«— Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием...

«Вдруг светлейший ударил фарфоровой тарелкой об пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся».

Окружающим его поведение казалось лишенным причины и смысла сумасбродством. Но если смысла действительно было немного, причины его настроения были глубоки: грызущее недовольство собой и досада на фортуну, его избаловавшую до такой самоуверенности, что он ослеп, раздразнил не во-время турка, и вот сейчас по его милости надо зря резать войско. И нет у него права и силы Суворова вести людей в бой...

Иностранцы все разъехались, возмущенные медлительностью Потемкина и ужасными условиями холодной зимы. Армия теряла боевую силу, солдаты погибали от болезней, которые были смертоносны, ибо люди голодали. Год оказался неурожайным, и провианту вдоволь не добыли. Лазутчики доносили смехотворные вести: сам-де очаковский трехбунчужный паша дивуется, что его крепость не берут, когда гарнизон его, попавший в те же гибельные условия этой зимы, уже трижды бунтовал...

Потемкин делал вздорные операции, почему-то ждал, что очаковские турки нападут на армию из-за Буга, и только пятого декабря, когда дежурный генерал объявил, что топлива больше нет, когда обер-провиантмейстер представил реляцию, что хлеба для армии хватит только на сегодняшний день, Потемкин нехотя отдал приказ на штурм крепости. Он обещал солдатам все, что найдут в Очакове, даже пушки и казну.

Шестого декабря начался ужасный кровопролитный бой, продолжавшийся три дня. Потемкина видели сидящим на батарее, охватив голову руками. Он твердил в полном расстройстве чувств одно: «Господи помилуй... помилуй».

Наконец с огромными потерями русские взяли крепость и предались разрешенному свыше грабежу. Добыча была велика, на долю Потемкина достался изумруд величиною с яйцо, который он предназначил для Екатерины.

После взятия Очакова Потемкин несколько воспрянул духом, особливо после того, как получил письмо Булгакова, выпущенного из заключения в Семибашенном замке. В письме были строки:

«Взятие Очакова привело здесь не только турок вообще, но и известных наших врагов и завистников в крайнюю робость. Султан, совет, большие бороды — плачут: все желают мира».

Потемкин поехал в Херсон для распоряжений по части кораблестроения и затем двинулся в Петербург.

Екатерина, почитая честь светлейшего со своею сопряженной нераздельно, готовила ему, победителю Очакова, торжественную встречу. Приказано было в Царском Селе иллюминировать мраморные ворота и, украся военными и морскими атрибутами, написать на транспарантах стихи, кои выбрать сама изволила из оды «На Очаков» Петрова. Наверху было начертано в окружении лаврового венка: «Ты в плесках внидешь в храм Софии», и затем собственные императрицы якобы пророчествующие слова: «Он (то есть Потемкин) будет в нынешнем году в Царьграде: о том только не вдруг мне скажите».

Подметили придворные, что враг светлейшего, Завадовский, при цитации оных надписей в его присутствии «плечами ужимал, сумнительно главой покиваеше».

Потемкин ехал в столицу злой и расстроенный. Он останавливался в Харькове и в Могилеве весьма недолго. Современники закрепили его портрет в мемуарах.

В Харькове ожидали князя в собор на торжественную службу, он пришел под шапочный разбор, в самом конце: «Остановился не на приготовленном для него седалище под балдахином, а с правой стороны амвона, посреди церкви, взглянул вверх, во все четыре конца.

«— Церковь недурна, — сказал он вслух губернатору, вслед за тем одною рукою взял из кармана и нюхнул табаку, другою вынул что-то из другого кармана, бросил в рот и жевал; царские врата отворились, он вернулся в экипаж и уехал. Был он с ног до головы в таком виде: в бархатных широких сапогах, в венгерке, крытой малиновым бархатом, с собольей опушкой, в большой, сверх того, шубе из черного меха, крытой шелковой материей, с белой шалью около шеи, с лицом, повидимому, неумытым, белым и полным, но более бледным, чем свежим, с растрепанными волосами на голове; показался мне Голиафом».

Другой современник рассказывает о пребывании Потемкина в Могилеве:

«В день его приезда все власти собрались в дом губернатора и ожидали тут прибытия князя. Целый день звонили в колокола, и жители города вышли на шкловскую дорогу, по которой он должен был приехать, предшествуемый городскими знаменами...

Около семи часов перед губернаторским домом остановились его сани. Из них вышел высокого роста и чрезвычайно красивый человек с одним глазом. Он был в халате, и его длинные нерасчесанные волосы, висевшие в беспорядке по лицу и плечам, доказывали, что человек этот меньше всего заботится о своем туалете. Маленький беспорядок, происшедший в его одежде при выходе из саней, доказал всем присутствующим, что он забыл облачить ту часть одежды, которую считают необходимой принадлежностью костюма: он обходился без нее во время пребывания в Могилеве и даже при приеме дам.

«Будучи ростом в пять фут и десять дюймов, этот красавец брюнет имел лет около пятидесяти. Лицо его само по себе довольно кроткое, но когда, сидя за столом, он смотрит рассеянно на окружающих и, занятый в то же время какою-нибудь неприятною мыслью, склонит голову на руку, подперев ею нижнюю челюсть, и в этой позе не перестает смотреть своим единственным глазом на все окружающее, тогда сжатая нижняя часть его лица придает ему отвратительное, зверское выражение.

«Во время трехдневного пребывания в Могилеве он не покидал своего халата даже на данном в его честь балу.

«Длинные и короткие приветствия, речи, стихи, в честь его написанные, он принимал одним и тем же маловыразительным кивком головы.

«И в губернаторской зале не открывал рта для беседы, сидел, опустив голову на руку, подымая ее только для того, чтобы проглотить большой стакан особо приготовленного, им любимого кваса — кислые щи, которого выпивал он до пятнадцати бутылок в день».

В таком же странном настроении был Потемкин и в столице, куда прибыл четвертого февраля.

Весь город был у него на поздравлении с победой, а ему это казалось оскорблением. Он страдал бессонницей. Едва закрывал глаза, ему мерещился маленький Суворов, раненный под Кинбурном, которому казак Кутейников промывает рану у моря морской водой, перевязывает чем ни попало, и снова Суворов на коне, снова ранен, но уже за узду сам держит лошадь, вот вскочит, вот умчится брать Очаков. А ему, Потемкину, подмигнув, кричит «ку-ка-ре-ку!» Или мерещился капитан Сакен, о коем он столь много думал, столь завидовал его великолепной, удачной кончине. Все здешние похвалы, лесть, иллюминацию он просто презирал...

Потемкин получил от Екатерины щедрые награды: медаль в честь взятия Очакова, похвальную грамоту и сто тысяч деньгами на достройку дома.

Екатерина была очень счастлива очаковской победой, главное тем, что исключительное положение при ней Потемкина полу-

чило опять свое оправдание в его превосходных качествах государственного человека и военачальника. Так она упрямо хотела думать, так сейчас на каждом шагу подчеркивала.

— Ко мне снова вернулся былой курцгалоп... — любила она повторять в эти дни недолгого пребывания светлейшего в столице. Хотела хоть временно забыть все неудачи на юге и внезапную войну с Швецией, которая тоже оказалась не столь-то легкой, как она было думала. Хотелось отдыха и отрады, и в долгих беседах со светлейшим намечала, как привести в исполнение заветную мечту свою — греческий проект.

Надуман он был давно, еще когда у Павла родился второй сын, не без особого значения нареченный Константином, к нему нанята кормилица гречанка Елена, и на празднестве в честь него сам Потемкин читал греческие стихи, а медаль была выбита с изображением храма св. Софии и Черным морем, осененным звездой.

Славяне от новой войны с турками зашевелились на Балканах и вместе с греками стали помышлять о свободе от турок. Только сейчас, наедине с Потемкиным, разрешила себе Екатерина пережить все угрожающее положение империи, которое могло бы произойти, не вывези ее и на этот раз тот изумительный «счастливый случай», который, по мнению Вольтера, один и был разгадкой всех ее удач. Ведь она намеревалась послать, едва началась война с турками, все корабли с севера в Средиземное море. Большой запас оружия уже дан был славянам, огромные суммы ассигнованы грекам, бывшим на турецкой службе, для подкупа турок. По счастию, Англия задержала осуществление этой победы. К Англии же обратились потому, что нехватило судов транспорта.

Пока шли переговоры с англичанами, шведы открыли военные действия. По своим политическим соображениям они вдруг почли выгодным вспомнить, что когда-то у них с Турцией против России было сделано соглашение.

В который раз спасла Екатерину ее счастливая звезда; ведь если бы она успела флот услать в Средиземное море, шведы голыми руками взяли бы Петербург. Но готовые к отплытию корабли вместо рейса на юг пошли к северу, против шведов.

Густав Третий с начала турецкой войны сблизился с турками и благодаря французским субсидиям привел свое войско в отличное состояние. Он учел верно, что западные державы, которым не на руку победы России, его косвенно сейчас поддержат и дадут ему возможность победой укрепить свое сомнительное положение в Швеции. Власть его была не слишком тверда, ибо он восстановил против себя весь государственный совет.

Согласно шведской конституции, Густав не имел права самовольно начинать войну, и для Екатерины было немалым потрясе-

нием узнать, что он вышел в море и предполагает атаковать Карльскрону.

Она старалась перед лицом истории отнестись презрительно к «эскападе шведа», произнеся перед теми, кому надлежало услышать и услышанное распространить: «Я шведа не атакую, он же выйдет смешон...»

Но Храповицкий досмотрел истину и неукоснительно записал: «Не веселы».

До чего положение было опасное с неудачами на юге, с внезапной атакой шведа, могли во всей силе Екатерина и Потемкин позволить себе понять только сейчас. Любуясь огромным изумрудом, поднесенным ей светлейшим из очаковской сокровищницы, Екатерина, понизив голос, хотя была наедине со своим скифом, как в давние месяцы их любви, говорила ему о планах Густава, узнанных при помощи перлюстрации его писем в Варшаве.

Густав имел намерение захватить Эстляндию, Лифляндию и Курляндию и стремительно двинуться на Петербург, чтобы продиктовать ей, императрице, свои условия мира.

И она с гордостью раскрыла Потемкину, как она еще раз удержала на высоте свою коронованную судьбу при помощи все того же испытанного оружия — дипломатии.

— По моему слабому соображению, — кокетливо говорила Екатерина, вдруг помолодевшая, почти попрежнему прекрасная, в новом расшитом шелками халате, привезенном ей Потемкиным в дар из добычи турецкого гарема, — я приказала послу нашему в Швеции Разумовскому написать тотчас по объявлении войны во многих газетах заверение от имени России, что она со Швецией ничего не желает иметь, кроме мира. Таким образом весь ответ за нежелательную для народа войну, притом же начатую незаконно, без одобрения и разрешения государственных чинов, я переложила на одного короля Густава. Этот шут потерял последний смысл, — презрительно сморщилась императрица, — он завопил, что им «Рубикон перейден», что его имя станет известным в Азии и Африке, ибо он отомстит за турок. Я написала на него пьесу «Горе-богатырь». И завтра, мой скиф, ты над ней посмеешься. Отложила нарочно спектакль.

Потемкин пожелал прочесть комедию и, возвращая оную, веско заметил, что отнюдь не советует давать ее в публичном театре, ни тем менее печатать.

— И вообще, матушка, шведа раньше времени дразнить вам негоже, ибо война с ним еще не окончена.

— Правду сказать, — радостно и покорно улыбаясь, чувствуя великий временный отдых, сказала Екатерина, — Петр Великий несколько близко сделал столицу!

— Он ее основал прежде взятия Выборга, следовательно, надеялся на себя.

— Это единственное, что надлежит делать и нам с тобой, никогда не теряя присутствия духа!

И за прекрасный ответ Екатерина крепко обняла светлейшего. А подсматривавшая в щелку мелкая придворная челядь побежала сказать ее пославшей на досмотр челяди старшей, что светлейший у матушки не остуда, а как бы не вышел возвратный фавор.

Когда Потемкин в начале мая уехал обратно в свою ставку на юг, он был опять более чем когда-либо первым лицом империи. Румянцев же подал прошение об отставке за болезнью и преклонностью лет. Он удалился в небольшое местечко неподалеку от Ясс.

Потемкин получил объединенное командование обеими армиями, екатеринославской своей и бывшей под Румянцевым украинской.

И столь велика подлость людская, как записал современник, что немедленно после того, как славный Румянцев сложил с себя власть, к нему, покрытому доблестью и бессмертными заслугами пред отечеством, никто и глаз не казал. Только один Суворов продолжал попрежнему посылать старому Румянцеву рапорты обо всех происшедших и имеющих быть операциях.

В этом же восемьдесят девятом году, летом, Радищев получил типографский станок с литерами от Шнора на выплату. Он и денег еще всех заплатить не успел, как уже напечатал свою первую работу: «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», которое начал писать в тот памятный день, когда вместе с Воронихиным смотрел в мастерской Фальконета памятник Петру.

Ранней весной Радищев отправил детей со свояченицей Елизаветой Васильевной к себе на дачу на Петровский остров, а сам остался в одиночестве допечатывать свою книгу.

На этом острове он купил несколько лет тому назад небольшое поместье на имя свояченицы, куда летом вся его семья переселялась. Это было просторное место на берегу Малой Невки, против Крестовского острова.

Здесь выстроил Радищев для семьи небольшой двухэтажный дом с маленькими комнатами, галлерейкой по плану, о котором они мечтали, бывало, с Аннет, непременно желая что-нибудь построить на том острове, где столь памятны были им прогулки вдвоем.

Через лесочки и перекидные легкие мостики бегали теперь трое их ребят. В конце березовой аллеи возвышался неизменный, как в дни их юности, так и сейчас, дворец летнего пребывания

цесаревича Павла. Невдалеке расположен был лагерь греческого корпуса. Из этих молодых греков набирались товарищи для великого князя Константина, знавшего греческий наравне с русским с малолетства.

После смерти Аннет Радищев стал особенным домоседом. Светского общества он никогда не любил, а сейчас бывал только у больного старика Даля и у высшего своего начальника, с которым сдружился совсем особо, — у Александра Романовича Воронцова.

Граф полюбил его после одной истории, где Радищев, молодой служащий, заявил свое особое мнение, утверждая невинность людей, за обвинение которых подали свой голос все прочие его сослуживцы, старшие чином и служебным опытом.

Воронцов пришел сразу в сильный гнев на отдельное мнение Радищева, предполагая, что молодой человек подкуплен. Он вызвал его на объяснение, но Радищев столь убедительно и смело защитил невинно осужденных, что дело о них было прекращено, а большое уважение к новому подчиненному по службе в таможне навсегда Радищевым завоевано. В скором времени общность умственных и общественных интересов так сблизила обоих, начальника и подчиненного, что между ними возникла глубокая, истинная дружба.

Сегодня, мимоходом встретясь на службе, Воронцов шепнул Радищеву, что для него имеется письмо из Парижа, никак от Воронихина, полученное «тайным каналом», и звал зайти за ним попозднее.

Вечером нежданно явилась к Воронцову его взволнованная сестра, Екатерина Романовна Дашкова, бывшая некогда другом императрицы. Она давно впала в немилость из-за своего болтливого хвастовства и претензии считаться главным лицом, взведшим на трон Екатерину. Дашкова была мала ростом, очень некрасива. Необыкновенно быстра в движениях, лишенных грации, с приплюснутым носом, плохими зубами, громадным самомнением и несносным характером.

Несмотря на крупную ее одаренность и образование, ее сановные братья втайне предпочитали этой ученой сестре распустеху Романовну, возлюбленную Петра Третьего.

— Сестрица, — сказал сановитый спокойный Воронцов по-французски, — успокойтесь, сядьте поудобнее и расскажите мне, что вас так взволновало?

Дашкова присела на край дивана, как сердитая птица, готовая чуть что вспорхнуть, и ей присущей скороговоркой сказала:

— Императрица встретила меня, как давно не встречала. Она обняла меня и повела попросту в свой будуар, опять как свою закадычную подругу...

— И вы, конечно, не удержались и тут же ее начали попрекать, — понимающе сказал Воронцов.

Дашкова вспыхнула:

— Я не виновата, что имею чувствительное сердце, — я заплакала.

— Напрасно, — невозмутимо проронил брат, — императрица хотела, может быть, начать с вами совсем новую цепь отношений. В таких случаях менее всего дипломатично вызывать в памяти старые неудовольствия, ибо это означает, что вы ничего забыть не желаете, а потому...

Дашкова запальчиво прервала:

— Если императрице чего-нибудь надо, ее никакими слезами не спугнешь. Она внезапно и весьма настойчиво меня стала допытывать, знаю ли я про то, что во время пребывания наследника в Вене знаменитый актер отказался играть Гамлета, и почему именно отказался, и правда ли, что за это получена была награда, так что общественное мнение было, повидимому, на стороне актера. Императрица так пристально в меня впилась глазами, что я немедленно решила не признаваться, что не только я, весь город про эту историю знает.

— Что же вы ответили императрице? — заинтересовался Воронцов.

— «Я все больше проживаю у себя в имении, ваше величество, — сказала я, не моргнув, — занимаюсь воспитанием моих детей или делами академии и не имею досуга прислушиваться к слухам». — «Допустим, что это так, — не без дерзости улыбнулась императрица и тотчас переменила разговор: — Ну, а по линии вашей ученой части как обстоит дело? Ужели вы не сталкиваетесь, например, с отечественными вольнодумными философами?» Я молчала. Императрица нетерпеливо добавила: «Я имею в виду издателя книг Новикова и служащего под началом вашего брата Александра Радищева». Относительно Новикова я тотчас легко отделалась своим беглым личным впечатлением. На счастье, он сейчас переехал на жительство в Москву, так что к нему меня не приставит...

— Что вы сказали о Новикове, милая сестра?

— О, я только сказала, что он весьма схож с протестантским пастором в своем длинном сюртуке, с вечно постным лицом. Что же касается Радищева...

Воронцов двинулся, он, видимо, взволновался.

— Прошу вас, милая Катенька, совершенно точно передать мне ваши слова относительно Радищева, не позволяя свойственному вам талантливому воображению что-либо дополнить.

Смягчая смысл сказанного, Воронцов галантно, как у посторонней ему любезной дамы, поцеловал маленькую руку сестры.

Дашкова нервно затеребила носовой платочек. Она отлично помнила, что если словами и не сказала прямо ничего предосудительного про Радищева, то мимикой, тоном, невольным давним на него раздражением она подвела Радищева под категорию тех людей в мнении императрицы, которые сейчас ей были менее всего приятны.

— Прошу вас сказать дословно, что было говорено об Александре Николаевиче, — настойчиво и мягко просил Воронцов.

— По-моему, я говорила похвально, — неуверенно сказала Дашкова. — «Радищев, — сказала я, — имеет вид человека, поглощенного своей какой-то идеей до такой степени, что не видит, куда его несут ноги». — «Какие же могут быть идеи, поглотившие Радищева?» — вкрадчиво спросила Екатерина. Я отговорилась тоже неведением, присовокупив: «Во всяком случае это не могут быть идеи какой-либо корысти или мелкого тщеславия. Намедни я встретила Радищева в академии, спрашиваю: — Не выхлопотать ли тебе пособие? Слыхать, ты с семьей порою нуждаешься? — А он гордо вскинул голову, сверкнул своими глазами и ответствовал мне весьма нелюбезно: — Я ни в чем и ни у кого не нуждаюсь!»

— То-то и задел вас этот нелюбезный ответ, сестрица. — Воронцов невольно улыбнулся, столь похоже маленькая вертлявая Дашкова изобразила весь тон Радищева.

— Напрасно вы смеетесь, милый брат, как бы вам не пришлось из-за дружбы с сим карбонарием поплакать! Его отрывок «Деревня Разоренная», что был напечатан еще в «Живописце» Новиковым, разве мало вызвал толков о вредном его вольнодумстве? А ныне он за худшее принялся. Вот приносили мне оттиск его «Письма к другу». По видимости, будто воды не замутит — одно сплошное восхищение памятником Фальконета Петр Великий. А на самом-то деле...

— И на это вы обратили внимание императрицы?

— Я в канцелярии Шешковского не служу, — капризно отрезала Дашкова. — Сама императрица мне саркастическим голосом сказала: «А заключительный абзац, машер? Или вы эту вещь не дочли, или признаться в ее зловредности не желаете? В нем не что иное, как дыханье французской заразы». Предупредите вашего Радищева, милый брат, что ему несдобровать, ежели он думает продолжать в подобном задирательном духе.

Дашкова вскочила, несколько раз пробежалась по кабинету, остановилась перед Воронцовым, безмолвным в раздумье, и гневно сказала:

— Пусть помнит ваш Радищев: сейчас у нас на престоле не Минерва-просветительница, не философ, не диво Европы, а «князь тьмы» со своей послушной рабыней. О, могла ли я думать, когда ее возводила на царство...

«О, la vaniteuse mouche!» — пронеслось в уме Воронцова, хотя он был более взволнован рассказом сестры, чем хотел это ей показать.

— Напрасно вы думаете, милый Александр, что вас не касается то, что я нашла своим долгом вам сейчас рассказать. Если Радищев что-либо выкинет, поверьте, не только одна его безумная голова пострадает. На нас, Воронцовых, при дворе давно точат зубы.

Александр Романович медленно покраснел и со странной печалью сказал:

— Я уверен, ежели Радищев точно решился на какой-либо благородный, но безумный по смелости шаг, то никого он за собой не увлечет. Перед ним мы все — хладные мечтатели, Вольтеровой насмешкой выеденные сердца. Радищев единственный среди нас обладатель великого вдохновения Руссо, наследник пламени его гения, его сердца.

— Ну, знаете, милый брат, вместо пламени я предпочитаю постепенную рассудительность. Не один ваш Радищев на свете, надеюсь, и мы не лыком шиты! Кстати сказать, не имеете ли вы каких новых подробностей через тайные масонские каналы?

Воронцов поморщился от назойливости Дашковой. Выражение растроганных чувств, с каким он только что говорил про Радищева, сменилось привычной маской вельможной надменности, и он резковато сказал сестре:

— Если бы таковые известия я даже имел, то, как сами изволили отметить, не иначе как через каналы тайные... следовательно, огласки не имеющие.

— О, вы сегодня в кислом настроении. В таком случае, до свидания, — обиженно поджала губы Дашкова. Вежливо, но без любезности провожаемая братом, она исчезла.

Слова Дашковой о тайном канале пришлись прямо в точку. Только вчера вечером занесен был Воронцову особым послом из Москвы тайный пакет с условным знаком, что о содержании оного пакета, кроме адресата; никто знать не должен.

Когда Воронцов вскрыл пакет, выпало из него письмо второе, адресованное Радищеву из Парижа, о чем Воронцов сегодня утром ему и сказал, а теперь с минуты на минуту ожидал его прихода. По этой причине намеренно и рассердил свою сестру, опасаясь, что она заговорится и долго не уйдет. Лично Воронцову письмо было от Николая Ивановича Новикова, очень краткое, заключающее только предупреждение о необходимости укрыть в надежное место имеющуюся у кого бы то ни было из братий или знакомых масонскую книгу «Владыкам и владычицам мира». В сей книге изложены были формы правильного феократического правления, и ее, оказывается, князь Прозоровский почитал сей-

час весьма опасною для правительства, каковое мнение внушил также императрице. Книга зачислена в разряд «возмутительных».

Воронцов подошел к своей великолепной библиотеке, вынул из тесно набитого ряда вторую часть «Начертания новой теологии», где печаталась указанная работа еще до выхода ее отдельным изданием. Он нажал неприметную пружинку в стене и ловко вдвинул книгу в объемистый тайник, на подобный случай устроенный домашним столяром-искусником Сергеичем.

Письмо к Радищеву он вынул и положил в заготовленное для него, недавно выпущенное типографией Горного училища «Путешествие ее величества в полуденные страны».

Пойдя навстречу Радищеву, о котором доложил лакей, Воронцов ему подал книжку и письмо, адресованное из Парижа.

— Весьма вам признателен, граф. Сия книжка уже подсказала мне некое пародийное согласование в моей работе. В подробности вам будут понятны мои слова, когда я буду иметь честь вручить вам экземпляр. Теперь уже скоро...

Радищев с иронией перелистал тонкую книжицу.

— Императрица проехала здесь указанный маршрут по дорогам, обставленным деревеньками оперных декораций, ну а мне пришло в голову проделать тот же путь в компании с одной только правдивой действительностью. Ее величество указывала иностранным послам на русских крестьян как на благоденствующих пребольше всех в мире, а я их покажу, каковы они есть.

— Известный вы зритель без очков! — обнял Радищева граф и, озабоченно вглядываясь в его смуглое лицо с потемневшими от бессонницы веками, от чего большие черные глаза стали еще глубже, сказал: — Боюсь, дорогой друг, не затеяли вы чего тиснуть на собственной типографии? Смотрите, не посоветовавшись со мной, не выдавайте в свет, времена ныне не те, когда вам была милостиво спущена «Деревня Разоренная». Сейчас никакие инициалы вас не спасут. Шешковский автора дознается, и вам несдобровать. И что хуже всего, дорогой друг, ведь пламя ваше возгорится в ужасающей пустыне. Кого думаете пробудить? Одни ползущие духом вас окружают. Обличать в лицо ныне, повторяю, весьма опасно, а тешиться невинными иносказаниями, как это делают наши братья масоны, — конечно, детская игра. Вот я и молчу... — с печалью кончил Воронцов.

— А я заговорю, и во весь голос, — сказал Радищев. Лицо его вдруг стало много моложе, и глаза смотрели твердо, спокойно, с той силой, которую рождают решения бесповоротные. — Я своими именами назову и произвол и насилие. И пусть я буду один, как всякий, кто в рабские времена дерзал выступить супротив тирании...

— И потому, что за ним не было поддержки многих, этот смельчак-одиночка ничего не добивался, кроме костра, плахи или

ссылки, — докончил Воронцов и дружески взял Радищева под руку.

Они молча несколько раз прошлись по кабинету.

Отказываясь от дружеского приглашения остаться на весь вечер, Радищев заторопился домой.

В передней, куда Воронцов вышел сам проводить друга, Радищев крепко пожал его руку.

— Истинно правду сказали, Александр Романович, если многие не поддержат одиночку, поднявшего голос, ему только впору сложить свою голову. Ну и что же, сам погибнет, дело жизни своей двинет вперед. А важно ведь только это.

— Что вы задумали? — с тревогой вымолвил Воронцов, задерживая руку Радищева в своей. — Опомнитесь, пока не поздно, у вас дети...

Радищев внезапно обнял Воронцова и прошептал ему:

— Если бы что случилось, о моих детях позаботитесь вы.

Придя домой и прочтя письмо Кутузова, Радищев долго не мог успокоиться. Алексис писал, что, страшно нуждаясь в Берлине, по приглашению архитектора Воронихина он с Середовичем поехал в Париж на лето. Здесь Кутузов погрузился в дополнительные исследования по орденской алхимии, а старик попал во власть молодого Павла Строганова, побочной родни Воронихина, который заодно с революционером-воспитателем Жильбертом Роммом с головой ушел в дело воспитания французского народа. Он разъяснил Середовичу, что, идя сейчас вместе с восставшими парижанами, можно почитать себя борющимся против крепостного права на своей родине.

Роковым днем оказался для Середовича день взятия парижской тюрьмы Бастилии четырнадцатого июля. Он, в армяке, с орденами и лентой, стоял перед Воронихиным, который, как обещал еще при первой встрече в мастерской Фальконета, писал его портрет пугачевским министром во всех регалиях.

Между тем в городе было особое скопление королевских войск. Эти войска заставили вооружиться и население, взволнованное горячими речами и призывами к восстанию Камилла Демулена. В большое окно мастерской Воронихина было видно, как громадная толпа народа двинулась к ненавистной Бастилии.

Вбежал в мастерскую взволнованный юноша Павел Строганов. Он пламенно звал с собою Воронихина примкнуть к восставшим Парижа. Напрасно знаменитый зодчий пытался воззвать к благоразумию Павла...

Все было тщетно. Пылкий Строганов с возгласом: «Да здравствует свобода!» ринулся в море восставших, увлекая за собой Середовича.

Старик, как был, в армяке с орденами, готовый защищать русского юношу или погибнуть с ним вместе, прихватил топор и отправился брать Бастилию.

Комендант Лонэ отказался сдать крепость, и народ ринулся, разрушая чем попало цепи разводного моста, во второй двор.

По свидетельству очевидцев, некто русский, в армяке, с голубой лентой через плечо и многочисленными орденами на груди, в большой бороде и усах, волосатый как медведь, размахивая топором, первый подал совет поджечь огромные возы с соломой в целях защиты восставших от выстрелов королевского гарнизона. Этот русский был Середович.

«Вот где вспомнил тактику Пугачева», — невольно улыбнулся Радищев, продолжая читать письмо.

...Комендант Лонэ, уже не надеясь на помощь из Версаля, решил взорвать пороховой погреб Бастилии. Но в ту минуту, как он зажигал фитиль, его взяли. Собран был тут же военный совет, порешили Бастилию сдать. По опущенному подъемному мосту парижане хлынули в вековую проклятую твердыню. Тут подобран был труп русского участника осады, бородатого старого человека с орденами и странной лентой через плечо.

Середович...

Как живого, увидал Радищев своего бородатого старика. В русском синем армяке, с лентой и орденами всех степеней, им подобранными в лагере Пугачева, Середович на чужом деле погиб, как на своем. Что мог кричать этот бородатый русский мужик, когда шагал он в рядах восставших французов, певших с плясом и гиком неистовую карманьолу? Уж конечно, он извергал во всю глотку что-нибудь свое, непостижимо русское!..

Ведь разносил Середович не только Бастилию, вековую тюрьму народа французского, он хватил топором по позорным цепям рабов своей родины.

Слезы умиления набежали на глаза Радищева. С глубоким, вознесшим весь дух его чувством он взял листы последней корректуры своей книги, где и он в свою очередь отдал на защиту всех кровных Середовича силы своего ума, все чувства своего сердца.

В мечте Радищева воскрес и Алексис Кутузов, каким был он в годы юношеские — в Пажеском корпусе и в Лейпциге. Несуразный юноша, верзила-мечтатель с детски чистой душой, с голубыми глазами, не затемненными и малейшей ложью, весь охваченный одним пылом служения миру...

Про себя лично писал сейчас Кутузов, что он погружен в изучение алхимического состава Урим, благодаря коему малейшие движения сердец людских стать могут известными, а посему облегчена будет борьба со врагами всеобщего благоденствия и придвинется к человечеству столь им чаемый «златой век».

«Как видишь, ближайший друг мой, — заканчивал письмо Кутузов, — хоть отличными от твоего путями, но и я приближаюсь к целям твоим».

Бедный Алексис!.. Скорбь охватила Радищева, когда он представил себе Кутузова, со смертью Середовича окончательно беспомощного, заброшенного на чужбине. Видать, и «братья», его пославшие на изучение «орденской химии», начинают понемногу о нем забывать.

Образ чудесного безумца, рыцаря Ламанчского, встал перед ним. Пусть для здравого ума бессмысленны увлечения Алексиса химией, панацеей от всех болезней и вот этим Уримом, как бессмысленны битвы Дон Кихота с ветряными мельницами в защиту невинных, но, ежели справедливо судить человека за его намерения, найдутся ли чистейшие в мире?!

И на титульном листе своей книги Радищев начертал ее посвящение Алексею Кутузову.

«Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг».

Книга его в последней своей корректуре лежала перед ним. Осталось просмотреть корректуру в последний раз и отослать ее для подписания в цензуру. Полицеймейстер подпишет, книга будет пущена в свет. Быть может, оставить ее в сохранном месте до времени, пока не явятся на свет читатели — сочувственники его мыслям и чувствам? Недаром сам написал в оде «Вольность»:

Приидет вожделенно время...

Радищев хорошо знал, что слова Воронцова истинны: пламенный призыв к справедливости, возмущение рабством прозвучат в пустоте. Общественное сознание забито, а у кого своя мысль работает, тот тихонько стреляется у себя в кабинете, как дворянин Опочинин в своем ярославском имении, оставляя по себе записку горького содержания о невозможности более жить в стране, удушаемой самовластьем.

И все-таки Радищев решил сказать в своей книге все до конца, и сказать не только для грядущего — для своего сегодняшнего дня. Надо было завершить дело своей жизни, никого и ничего не страшась, не думая не только о судьбе своей — о судьбе возлюбленных детей... Немало есть чувствующих, как Воронцов, но не верящих в силу слова; он же верит, а посему и говорить надлежит ему во всю силу и для всех людей.

Радищев, оторвавшись на миг от листов корректуры, остановил взоры на бюстах великих мыслителей, им особенно любимых, уставленных вдоль полок его книжных шкафов. Задержался глазами на молодом задумчивом облике Джордано Бруно, на скорбном профиле Галилея, на самом близком ему пронзительном лице Жан-Жака Руссо. Все они его одобряли, все они

были с ним. Угасла боль одиночества — родная семья его ждет в веках.

Радищев отдал себе последний отчет, пробежав еще раз наизусть знакомые строки своей книги, что листы ее, еще пахнувшие свежей типографской краской, точно заключали в себе осудительный пересмотр всего строя империи. На совестный суд вызваны не только лица — самый дух жестоких нравов, обычаев, вопиющего неравенства положений, освященного веками.

Радищев в своей книге как бы прошелся по всем просторам и закоулкам отечества, пронзительно глянул сквозь Растреллиевы окна дворцов в закопченные оконца черной избы. Он, словно вооруженный тем мифическим Уримом, о коем писал Кутузов, получил дар проникать в души и мысли, в направление порочной воли распутных от самовластья вельмож.

Он увидел море слез, пролитых от обид и насилья. Он, горящий любовью, предстал за рабов своей родины, засеченных помещиком, забитых солдатчиной, засуженных бесправным судом.

В своем обличении он был непримирим. Он не допускал отсрочки в прекращении насилия и рабства, он не терпел постепенности, исправления нравов чрез любезное всем благонамеренным просвещение.

До просвещения ли? Ведь ежечасно запарывают на конюшнях, насилуют, издеваются, теряют сами и заставляют терять другого свой облик человеческий! Тут одно только дело: бить в набат, кричать караул.

И своей книгой «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев крикнул на всю Россию. Он кричал, как человек, который знает только одно, и такое, от чего померкли, отодвинулись во времена все прочие знания. Многообразные страницы его книги сводились все к одному: такой же человек, как ты, читатель, лишен всяких прав, первейших, без которых ему ни жить, ни дышать... лишен права свободного труда на самого себя и семью, лишен права на брак, права на самую жизнь. И даже ее, опостылевшую жизнь, не слишком ответив перед законом, любой помещик может отнять у любого крепостного. И все это потому, что крепостной этот, как и миллионы других крепостных, бесправный раб помещика.

Одна мысль в этой книге, ставшая пламенем, одна была воля — рабов сделать свободными!

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала!..»

Так начал он свою книгу, для судьбы его пагубную. Чувствительность его, на многие годы разбитая бессилием сострадания бездеятельного, еще недавно повергала его только в страшное

уныние. Конец несчастного Опочинина мелькал в душе как единственный выход. Он тогда все твердил стихи:

Quand on a tout perdu,
Quand il n'y a plus d'espoir,
La vie est un opprobre
Et la mort un devoir.

«Если все потеряно, если даже не брезжит надежда, — жизнь влачить бесславно, и долг твой — умереть».

Но умирать было рано, дело его жизни еще не было сделано.

Разбитый отчаянием, безмолвный, сколько часов провел он там, в лабиринте, где возвышался в конце березовой аллеи монумент, поставленный в память жены и друга Аннет. И там же, как бы посланное нежной ее любовью, пришло ему разрешение. Его охватила внезапным вдохновением одна новая, поглощающая мысль.

Кому ведом трепет мгновенного и острого постижения неразрешимой дотоле задачи, тот знает, как в исчезнувшем на мгновение ощущении времени, всех гнетущих забот и вопросов, подобно яркому солнцу, слепительно и точно вдруг предстают сознанию ответ и выход из состояния, дотоле неразрешимого.

Открытие Радищева, окрылившее его для написания необыкновенной его книги, заключалось в двух простых мыслях.

Все бедствия человека происходят от человека же, а следовательно, подлежат изменению.

И еще узнал он, знанием не простым, а непременно толкающим к действию, что «возможно всякому соучастником быть в благоденствии себе подобных».

По началу, если книгу взять в руки, вспоминалась та невинная книжка, которую подарил ему Воронцов, недавно отпечатанная в Горном училище под заглавием «Путешествие ее императорского величества в полуденные страны России».

Да, он ехал по тем же местам, с той только разницей, что императрица видела то, что ей хотели показать, а он, «зритель без очков», смотрел сам и видел все. Екатерине представлены вместо голых деревень нарядные оперные декорации. От нее скрыли тот страшный голод, который свирепствовал в дни ее путешествия по стране, и потому она без краски в лице могла указывать иностранным гостям одним жестом руки в драгоценных перстнях на завидное житье русского крестьянина. Шутя, с гордостью, добавляла, что сей крестьянин еще подумает, есть ли ему ту пресловутую курицу, о коей столь хлопотал французский король Генрих Четвертый, ибо курица ему зело приелась.

Мужиков обыкновенных, с подведенными от голода брюхами, убрали подальше, на одночасье подставили ей разукрашенных и сытых пейзан.

Радищев по тем же самым «местам благоденственным» поехал повторно и за собой властно заставил ехать и читателя...

Без фиговых листков, без нечистых человечьих расчетов представил он взору зрелище одной вопиющей правды. Он нарисовал голод, нищету, разорение русской земли. Он нарисовал настолько полный и потрясающий душу произвол одних людей над другими, что конец своим страданиям угнетенные истинно могли увидеть в одной только смерти.

Так он и писал: «конец их — единственное уготованное им блаженство».

Зверский обычай порабощать себе подобного человека есть обычай, диким народам приличный, однако он простерся на лице земли быстротечно, далеко и широко... А между тем первый в обществе властитель должен быть только один — закон! Порабощение же есть преступление. Но кто между нами носит оковы, кто ощущает тяготу неволи? И Радищев с ужасом отвечает на этот вопрос — землепашец! Насытитель нашего голода, тот, кто дает нам здоровье, не имеет права сам распоряжаться тем, что он обрабатывает и что производит. Европейцы, опустошив Америку, сменили убийства на новую корысть: истребив индейцев, они прехладнокровно занялись покупкою порабощенных негров, чтобы превратить их в своих невольников. Сейчас руками негров возделаны поля, которые дают американцам обильную жатву.

Несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала, переселенные из родных мест в неведомые им страны, под тяжкой плетью американцев возделывают их нивы. Неужто назовем счастливой и вызывающей уважение страну за то, что поля ее не поросли терниями, а нивы изобилуют произращениями? Ужели позавидуем стране, где сотня граждан утопает в роскоши, а тысячи не имеют пропитания и крова! Пусть лучше вновь опустеют эти земли и зарастут дикой травой...

Против сладкогласного утверждения монархини относительно счастья русских крестьян преимущественно перед всеми прочими странами сей новый Виргилий, водящий читателя по истинно адским кругам окружавшей его действительности, восклицал, пылая гневом:

«Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным?»

И сам делал дерзкий вывод:

«Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии».

С великим гневом, с болью и яростью против причины изображаемых страданий Радищев подкрепил неотразимыми примерами на протяжении всех страниц свои мысли:

Вот помещик отнял у крестьян всю их землю, за гроши купил скотину, целую неделю заставляет работать сплошь на себя... сечет кошками, батогами. Сыновья помещика насилуют невест, жен, сестер этих умученных работой людей. Вот некий дворянчик при помощи своих двух братьев пытался изнасиловать невесту крестьянина, за что во-время подоспевший жених хватил его колом в спину. Несчастный вытерпел, когда старый помещик велел его немилосердно сечь кошками. Вытерпел, когда секли отца его, но когда схватили тащить в хоромы невесту, он выхватил заборину и, как зверь, ринулся на них. За ним поднялась вся деревня, крестьяне окружили своих господ и жестоко их прикончили.

«Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после признался».

Радищеву мало было дать просто картину жестокой жизни. Силой своего слова он хотел заставить читателя быть заодно с крестьянами в их правом суде. Если у него не было права и власти карать извергов, то хотя бы расправу с ними он хотел узаконить. Он крикнул всем насильникам как предупреждение, как угрозу, как средство последней защиты из терпения выведенных рабов:

«Невинность сих убийц — математическая ясность».

Рассматривая это вопиющее дело, Радищев признается во всеуслышание, что он «не находил достаточно убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но убийство сие не было ли вынуждено? Смерть этого помещика хоть насильственная, но правая».

Радищев до самого утра правил последнюю корректуру своей книги. В главе «Тверь» измышленный герой путешествия встречается с самим автором «Вольности». Читается сама ода, и великое сочувствие к бедствиям народа переходит уже в потребность действовать ему в защиту.

А народ из страницы в страницу вырастает в великую силу, которая одна и способна переродить, воскресить Россию.

Путь к возрождению — одна революция, разбивающая узы рабства. И, конечно, не забитые смиренники, а совсем иного склада крестьяне, подобные встреченным автором в конце пути, являются грозными мстителями за свое поруганное достоинство человека:

«Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение!»

Впервые героиней русской прозы в главе «Едрово» появляется крепостная крестьянка Анюта. В ее лице Радищев показывает, какой высокий характер может вырастить крестьянская дружная семья, облагороженная трудом. Не менее Анюты пора-

жает мужественной красотой своего характера и рекрут Ванюша из «Городни». Такие крестьяне вызывают уже не жалость, а восхищенное уважение. В них залог всяческой победы русских людей. Все эти высокие качества соединяются воедино в лице великого русского гения Ломоносова.

Заключительные страницы «Путешествия» и посвящены краткому «Слову о Ломоносове». Для Радищева он является совершенным завершением русского человека. Ломоносов — великий муж, исторгнутый из среды народной, русский по рождению, по духу, по делам своим. «И сколь велик своей заслугой перед обществом!» Образ Ломоносова наводит на мысль о скрытых творческих силах русского человека, до поры дремлющих в каждом, во всей полноте вспыхнувших мощно в этом гении русском, многостороннем ученом и поэте.

Когда народ придет к зрелости, когда в его сознание внедрится необходимость возрождения страны революцией, он, вдохновясь благородным образом Ломоносова, можно надеяться, создаст своими руками и новый государственный строй.

Кончив править корректуру и не выпуская последних печатных листков из рук, Радищев стал ходить по комнате.

Пахнуло свежим духом только что опушенных листвой свежих майских берез. Заблаговестили в церкви к ранней обедне.

Радищев провел рукой по черным своим волосам. Что-то как бы упущенное вызвал в памяти и для проверки стал листать свою корректуру. Взором ярким и точным, несмотря на бессонную ночь, он быстро нашел в книге желанное место. Как бы не веря своим глазам, что напечатано и оно, прочел его раз и два. Сначала вполголоса, потом громче:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои!..»

Радищев на минуту закрыл глаза и ясно представил себе, как это место читает Екатерина, как читает его Потемкин, как читают многие прочие, как прочтет его известный кнутобойца, заплечных дел мастер Степан Иванович Шешковский, который одним ударом под нижнюю челюсть сбивает с ног допрашиваемого. Так вот на допросе собьет и его...

Радищев долго стоял перед открытым окном; он встречал бледную петербургскую весну, для него, может быть, последнюю.

Лицо его побледнело, но рука не дрогнула, когда, взяв колокольчик, он позвонил и, протянув вошедшему слуге последнюю корректуру своего «Путешествия из Петербурга в Москву», спокойно приказал, дабы старший наборщик сегодня же свез экземпляр в канцелярию полицеймейстера для разрешения пустить книгу в продажу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Екатерина очень долго не допускала, что события, происходящие во Франции, могут иметь какое-то всеобщее значение. Народные волнения, казалось ей, происходят единственно от слабохарактерности короля, от его неспособности во-время топнуть ногой. Вступивший на престол после презираемого ею Луи Пятнадцатого Луи Шестнадцатый был по началу весьма ею обласкан. Ей даже нравилось, что жена его, Мария-Антуанетт, дочь неприятной ханжи и всегда ей враждебной Марии-Терезы, по своему чрезмерному легкомыслию оказалась полной противоположностью своей матери.

С течением времени, когда финансы страны стремительно падали, а слабость короля и ветреность королевы помешали даже такому умеренному и одаренному человеку, каким был министр Тюрго, кое-как спасти страну от окончательного разорения, Екатерина стала к французскому двору неприязненна. Не было секретом, что Тюрго, выведенный из терпения слабодушием короля, который не в силах был защитить даже то, что сам в высшей мере одобрил, то есть его реформы, уходя в отставку, в последних строках своего письма к Людовику пророчески ему вымолвил:

«Никогда не забывайте, государь, что слабость привела Карла Первого английского на эшафот».

Это предупреждение уже касалось всех королей, его сейчас надлежало вспомнить по-новому в виду урагана, охватившего Францию. После краткой попытки реформы восторжествовала партия реакции, вознесшая Неккера, противника Тюрго. Однако и он был отставлен, едва, по мнению двора, совершил дерзкий поступок обнародования государственного бюджета, бывшего до сей поры тайным. Несметные суммы, поглощаемые французским двором, возбудили не только всеобщий народный ропот. Екатерина, сама грешившая раздачей фаворитам миллионов государственных денег, была возмущена.

Однако грозного смысла событий, надвигавшихся на Францию, она настолько еще не понимала, что за год до взятия Бастилии писала Гримму:

«Не разделяю мнения тех, которые думают, что мы будем свидетелями великой революции...»

Узнав во время своей поездки по Крыму о вторичном созыве нотаблей, она увидала в этом лишь только подражание созванной ею законодательной комиссии времен «Наказа». Когда же заговорили о Лафайете, Екатерина, жадная ко всякой знаменитости, не замедлила его пригласить приехать в Киев для знакомства с ней.

Как о забавной шутке над литературным скудоумием Луи Шестнадцатого, императрица рассказывала, что он не нашел

ничего важней записать в своем дневнике в тот день, когда народная толпа нахлынула к нему в версальский дворец, что «события помешали ему продолжить охоту».

Только день взятия Бастилии раскрыл Екатерине глаза и так испугал ее, что выразился резкой переменою поведения.

И когда Гримм, привыкший к легковесной оценке русской императрицей французских событий, попросил у Екатерины портрет ее для передачи мэру города Парижа Бальи, она без обычной любезности весьма ядовито ему написала, что мэру «демонархизатору», врагу самодержавной власти, не приличествует иметь портрет самой монархической в мире персоны, какой является она.

Главным образом ее выводила из себя на глазах растущая роль участия в политике самого французского народа. Она в ярости восклицает, а Храповицкий невозмутимо записывает:

«Как это сапожники могут вмешиваться в политику! Сапожники только и знают, что свои сапоги».

Наконец она додумалась, что одна из важных причин развития революции — это повсеместное гонение на иезуитов и закрытие их школ.

«Что ни говорите, — записал за императрицей Храповицкий, — а эти плуты внимательно следили за воспитанием, нравами, вкусами молодежи, и все, что во Франции было лучшего, вышло из их школ».

Екатерина оказалась самой возмущенной из монархов, когда Франция стала воплощать в жизнь как раз те самые революционные идеи, которыми она прикидывалась восхищенной в творениях просветителей в те далекие дни, когда поразила Европу своим «Наказом», и еще она любила повторять: «Душа моя — республиканка». Казалось бы, какая пережита ею трагедия: ненавистница деспотизма, волею судеб она сама попала в положение деспота.

Но трагедии не вышло: Екатерину спасло ее великое неуважение к людям, возникшее с детских лет вследствие зрелища бесконечных интриг, несправедливости и произвола русского двора. После перемены в ее судьбе лесть одних, притворство других и продажность всех укрепили ее окончательно в оправдании своего произвола, а Потемкин успокоил совесть: он доказал ей, что после пугачевщины новая полицейская система государства — единственное средство удержать чернь от бунта.

Еще более тонкую поддержку, настоящий выход из сложного положения, когда убеждение расходится с действием, оказал ей ее старый учитель — Вольтер.

Ненавистник «системы», он учил ее, что всякий догматизм принижает разум, и отсутствие ответа за слова и дела стало ее легким обычаем.

В конце концов она и сама не заметила, как все чаще мелькало в ее утомленном годами мозгу наместо затверженных прекраснейших истин из энциклопедии просветителей нечто весьма с ними не схожее:

«В конце концов все войско в руках Потемкина!»

Когда придворные, ею воспитанные по старой моде, еще вольнодумные, как люди, донашивающие прекрасно сшитую некогда одежду, с которой им все еще жаль расставаться, восхищались при ней ответом графа Мирабо, с гордостью отказавшегося выйти из залы «jeu de paume»[1] со словами, вошедшими в историю: «Только сила штыков нас может заставить выйти отсюда», Екатерина усмехнулась с иронией и сказала:

— Больше доблести — и пред штыком не моргнуть. Как видно, до конца в своих мыслях и бунтовщики не доходят.

Она достаточно доказала, что была слишком умна, чтобы не понимать передовых идей своего времени. Но если обстоятельства ее правления были таковы, что чем далее, тем становилось необходимее, просто ради того, чтобы уцелеть, удерживать свое самодержавие, то долой колебания и долой все, что может мешать ее власти.

Потемкин разленился. Его теперь все чаще захлестывает тоска, черная, ничем не оборимая. Это что-то до того совершенно чуждое ее немецкой натуре, размеренной, склонной к порядку. Непонятна, утомительна, вызывает брезгливость, как и безобразные его кутежи, эта гипохондрия светлейшего. Какая он с нею противоположность! Ведь даже в самые жаркие дни их сердечной страсти ничто не могло остановить ее от раз заведенного ею порядка сидеть в шесть часов утра у рабочего стола и с ясной, как всегда, головой выслушивать доклады.

А он? Коли захлестнет его, как давеча, при осаде Очакова, он, на срам всей надзирающей Европы, показать себя может, как только что показал, сущей расслабленной бабой. Как будто и светлейший уж не тот, на силу его ей попрежнему не опереться.

Все чаще теперь мысли Екатерины останавливались на иезуитах. Конечно, из всех тайных обществ, против которых столь предупреждал ее в последнее время верный советчик Циммерман, это единственное, с которым власть монархическая должна и может итти рука об руку. И пусть они себе царят над душами, ежели тела подданных умеют делать столь послушными власти царей.

Екатерина с удовольствием вспомнила, что не ошиблась, пустив иезуитов в Белоруссию; в такой спокойный, ее скипетру верный, они, ей в благодарность, превратили весь этот край.

---

[1] *Для игры в мяч (франц.).*

Иезуиты, несомненно, враги масонов, особливо того их течения, которое сейчас тщится опрокинуть все троны.

И потому сегодня, когда по особо важному делу Екатерине доложен был маркиз де Муши, она приказала объявить, что для всех прочих приема не будет. Маркизу де Муши Екатерина, по ходатайству ей угодных могилевских ксендзов, разрешила снова приехать в столицу. Время от времени она его совершенно келейно и тайно от Потемкина принимала.

Де Муши в последнее время намекал ей, что масоны желают возвести на престол Павла. Он представил изъятые из продажи книги, полученные московскими ложами, об «учреждении феократического правления», об «истинном царе». Хотя Екатерина и дала свое распоряжение эти книги изъять, но для начала каких-либо серьезных преследований, как на том настаивал де Муши, ей нужны были не утопические химеры, а доказательства действительной опасности масонских лож для ее власти.

Ее гнев на Новикова из затаенного ею еще с времен издания им «Живописца» и «Трутня» с годами делался явной враждебностью.

Еще несколько лет тому назад, когда она узнала об основанных Новиковым училищах в Петербурге, в судьбе которых даже духовенство принимало участие, она язвительно, подразумевая его, написала Гримму:

«Когда это переведутся между образованными людьми негодяи с ложным направлением и кривыми взглядами?!»

Гнев Екатерины на Новикова и масона Походяшина за то, что они в недавний голод, когда она каталась по Днепру, роздали, как ей показалось — с нарочитой целью ее унизить, целое состояние голодным крестьянам, был чрезмерен. Не есть ли их филантропия замаскированное продолжение «колобродных» мыслей в форме, умы возмущающей и пленяющей сердца малых сих?

Екатерина была отлично осведомлена о том, что в масонских кругах происходило необыкновенное оживление, центром которого являлась Москва, откуда отправлен был апостолом Шварц к герцогу Брауншвейгскому за поисками самой истинной мудрости. Вот эта «связь брауншвейгская» уже могла быть рассмотрена как государственное преступление, особенно когда обнаружилось, что в сию связь вовлечена была и некая персона, сиречь цесаревич Павел.

Под именем графа и графини Северных Павел ездил с женой за границу. Поездка эта вызвала большие дипломатические разговоры при дворе. Только что произошел в политике Екатерины резкий поворот в пользу Австрии, а с Пруссией разрыв, и потому императрица не хотела, чтобы наследник повидался с Фридрихом-Вильгельмом. Но сам Павел, поддерживаемый масоном Куракиным, этого хотел непременно.

В Вене Павел был посвящен, и по поводу его роли в масонском ордене Шварц обменялся письмами с герцогом Гессен-Кассельским. Когда и об этом событии в самое время донес Екатерине де Муши, она многозначительно сказала:

— Из сего заключить можно, что князь Куракин употреблен инструментом для приведения великого князя в братство.

Проследили за перепиской Куракина с сопровождавшим Павла флигель-адъютантом Бибиковым. Оказались дерзостные суждения о том, что отстранен от дел Панин, а «князь тьмы» самовластвует. Бибиков предан суду и сослан в Архангельск, а Куракин по возвращении направлен в свое пензенское имение с запрещением въезда в столицу.

Павел при своей подозрительности все-таки не знал степени наблюдения за ним, потому что Екатерина писала ему легкие, любезные письма. Она слегка посмеивалась над порочностью французского двора, но вместе с тем польщена была вниманием, которое оказала Павлу с супругой Мария-Антуанетт, заказавшая придворной фабрике замечательный по ценной работе сервиз с инициалами великой княгини.

Любезна была ей и особая популярность, коей во Франции стало пользоваться все русское. С легкой руки философов и щедро ею одаряемых, нужных для ее прославления людей весь быт ее двора, ее остроты, обычаи, словом — все, чем она стремилась быть на виду, стало модным. Она изобрела детский костюм для великого князя Александра, который сама нарисовала и послала Гримму, а он, всегда догадливый корреспондент, повез его по всем парижским салонам и заставил всех матерей пожелать сшить своим детям костюм à la russe. Знаменитый парижский портной на этом детском фасоне сделал целое состояние, чем немало потешил тщеславие императрицы.

Сегодня де Муши принес сведения о новых серьезных опасностях.

То, что Екатерина принимала маркиза-иезуита тайком от Потемкина, в то время как он все еще почитал де Муши выехавшим навсегда за границу, всякий раз наполняло ее сердце особым торжеством. С тех пор как де Муши стал ее тайным советником, она почувствовала себя опять на свободе, опять не мужней женой, что природе ее, привыкшей столь рано к одинокому самовластью, уже сделалось нестерпимо.

К Потемкину попрежнему сохранилась привязанность, не сравнимая ни с одним из ее увлечений альковных, но быть руководителем он ей больше не мог. Хотя даже враги признавали у Потемкина проблеск ума гениального и способности превыше обычных, но она знала теперь слишком хорошо, каким капризам характера и прихоти могли подчиняться его действия...

Сейчас, в интимном будуаре, куда дан приказ больше никого не пускать, сидел перед Екатериной значительно постаревший и переменивший до неузнаваемости весь свой облик маркиз де Муши, уже не нарядный кавалер, а весь в черном строгий дипломат или духовное лицо, оскорбленное изгнанием.

Екатерина слушала маркиза с волнением. Она то и дело подносила к носу флакончик английской соли, ей почти делалось дурно от сообщений, которые делал иезуит ровным голосом, чередуя соболезнующие ноты с угрожающей замедленностью тона. Последним был удар, поразивший ее в самое сердце: цесаревич Павел будто бы находится в постоянных переговорах с агентом прусского двора Гютлем.

По примеру Пруссии, где масоном оказался сам король, готовятся и московские ложи поставить над собою самого русского царя. Отсюда и вся империя будет управляться одним только их орденом. Звание великого мастера оставлено вакантным. Для кого? Для цесаревича Павла.

Де Муши закончил донесение ядовитым выводом:

— Итак, в то время как ваше величество порвали с Пруссией и для блага империи вошли в союз с Австрией, брауншвейгская рыцарская организация дошла до самой столицы. — Де Муши чуть всплеснул узкими розовыми руками. — Скажу точнее: она дошла до двора.

— Доказательства? — сказала, едва владея собой, Екатерина.

Де Муши поклонился:

— Не замедлю представить вашему величеству документ о том, как цесаревич, поведя свою политику, отличную от вашей, убеждал Румянцева, русского посла в Берлине, действовать в пользу Пруссии. Он обещал его наградить при своем вступлении на престол.

Де Муши встал, понимающе и покорно поклонился, собираясь уйти. Екатерина его остановила:

— Мне сказали, будто недавно цесаревич накричал на Баженова, когда тот от Новикова привез ему книги. Это противоречит вашим уверениям, что именно Баженов желанный гость в Гатчине и передатчик по масонскому братству. И книги, как мне известно, привезены им довольно невинные: некое «краткое извлечение», их масонская «избранная библиотека». Все это пренелепо, туманно, но к политике, чаятельно, никакого касательства не имеет.

— Смею заверить, что ваше величество ошибаетесь, — сказал, скрывая насмешку, де Муши. — Читая именно «краткое извлечение», при освещении соответственном, цесаревич отлично может понять, что именно на него возлагаются орденом все надежды. Это ему надлежит изготовить «царство лучшее», не-

жели «сие мрачное несовершенство». — Де Муши еще поклонился и для смягчения смысла слов в поклоне докончил: — Под последним инфернальным[1] обозначением подразумевается правление вашего величества и светлейшего князя Потемкина. Что же касается недовольства цесаревича и грозных его окриков на Баженова, посланного к нему от московских масонов Новиковым, то не объясняется ли это естественным образом: цесаревич боится неловкого усердия этого слишком пылкого мечтателя Баженова. Ведь для цесаревича сейчас все висит на волоске.

— Где тонко, там и рвется... — сумрачно сказала Екатерина и, протягивая маркизу руку в знак оконченного разговора, многозначительно напомнила, подразумевая представление доказательств его речей: — Буду ждать.

Екатерина проводила лето девяностого года в Царском Селе. Она изредка выезжала в Петергоф и в столицу, но чаще не выходила из любимого ею парка, пребывая в тягостном состоянии духа.

Де Муши обещание сдержал, обвинения его на цесаревича подтвердились.

Как-то вечером Екатерине захотелось почитать совершенно отвлекающие от дел и забот какие-либо путешествия. Плодились они сейчас во множестве в подражание модному Стерну.

Уже целый месяц прошел, как из его собственной типографии вышла в свет книга Радищева. Она делала в городе большой шум, а Екатерине еще никто про нее не сказал. Де Муши был в отъезде, а из придворных никому не хотелось явиться первому с вестью, которая, знали все, понравиться императрице не может. Еще шли большие толки о том, кто анонимный автор книги, терялись в догадках, но все мнения сходились на одном: «Книга возмутительная и предерзкая».

«Путешествие из Петербурга в Москву» лежало на большом столе в библиотеке Екатерины вместе с другими книгами, недавно присланными из-за границы. Екатерина, перебирая новые заглавия в поисках чтения на сегодня полегче, остановилась на «Путешествии». Прежде всего ее заинтересовало сходство в распределении глав между этой книгой и той, изданной не так давно в училище Горного института, озаглавленной «Путешествие ее величества в полуденный край России, предпринятое к назиданию государственных польз и к усовершенствованию благоденствия ее подданных».

«Может быть, это нечто вроде дополнения к тому изданию», — подумала было она. Однако весьма скоро, с первых же страниц, взволнованно насторожилась от догадки: уж не пародия ли это новое «Путешествие» на ее недавнее шествие на юг.

---

[1] Адским *(прим. ред.)*.

Каждой строкой этой книги безжалостно обнажались противоречия между показным благоденствием страны и жестокой действительностью. Оказывается, что уже в заглавии была заключена насмешка, и презлая. В самых простых, казалось бы, словах, обращенных к читателю, были гнев и презрение:

«Зимой ли я ехал или летом, для вас, я думаю, все равно...»

Даже это, показалось насторожившейся императрице, написано в противовес верноподданнической отметке камерфурьерских журналов каждого малейшего ее передвижения, трапезы, приема и поведения.

В этом, совсем ином путешествии по ее следам пишущему все равно, что на небе — дождь или вёдро. Одно ему важно: ежеминутно знать и пояснить, что во все времена года, и в дождь и в вёдро, в стране творятся насилие и позорный торг миллионами людей, которые именуются — крепостные.

Все чувства и мысли этой странной книги — пламенный гнев и жестокая скорбь. И все-таки в первую минуту, не оглядываясь еще, не раздумывая, Екатерина увлеклась чтением.

Она вдруг помолодела от этой книги. Похоже было — она еще принцессой Цербстской или несчастной великой княгиней, которой угрожает то ли монастырь, то ли казнь, мечтая о несбыточном, в глубоком одиночестве переживает гениальные мысли просветителей. Встали и те дни, когда клялась сама себе: если будет царствовать, то сделает свой народ свободным и счастливым.

Да, в самый первый раз Екатерина читала книгу Радищева не как самодержица-императрица, а просто как человек, которому были когда-то близки все лучшие просветительные мысли века, у которого были великодушные, благие намерения...

Так велика была сила книги, так стремительна ее безудержная, безрасчетная искренность, что нельзя было хоть на короткий миг ей не подчиниться, не разделить ее вдохновения, говорившего о том, что общее благо превыше блага личного, что должно почитать служение на общую пользу обязательным всякому, кто именует себя — «человек».

Екатерина сама это знала когда-то, и она не хотела рабов. Но ей хорошо объяснили, что при подобных намерениях потерять можно власть и корону, и она предпочла самодержавие.

Сейчас в этой книге она читала похожее на то, что, бывало, в дни писания «Наказа», по вдохновителю своему Монтескье, она тысячу раз твердила сама:

«Нельзя быть счастливым, когда кругом рабы. Когда те, на коих зиждется государство, терпят голод, холод, нужду, а владеющие ими утопают в роскоши и предаются разнузданным страстям». Эта книга карала крепостников, а стихи оды «Вольность» карали царей. Приговор тем и другим беспощаден...

Вот помещик-насильник убит своими крестьянами, вот Карл Первый сложил голову на плахе, а вот и победа тринадцати небольших штатов, сомкнувшихся дружно супротив силы английской державы. Соединившись, они победили.

Как губка напитавшись ядом сегодняшней французской заразы, сочинитель взял в руки перо и открыл свободный ход гневу собственному... Кто же он?

Екатерина прочла книгу не отрываясь, приходила долго в равновесие мыслей и чувств. Гуляла по парку с левретками, принимала очередные доклады. Только вечером, вместо обычной партии в бостон, она сказалась нездоровой и, запершись у себя, взялась читать книгу неизвестного сочинителя вторично. Сейчас читала строго, как надлежало читать только императрице. Уже после тридцати первых страниц Екатерина написала на полях, еле сдерживая подступавший гнев от неслыханной дерзости книги, быстро в ней сменивший невольную первую дань восхищения:

«Знания довольно и многих книг читал... Но яд французский, Руссо, аббэ Рейналя...»

В конце июня Безбородко получил от Екатерины записку:

«По городу слух, будто Радищев и Щелищев писали и печатали в доме типографии ту книгу, лутче исследовав, узнаем».

Вскорости установлено было, что автор книги один — Радищев.

Храповицкий занес в дневник:

«Говорено с императрицей о книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства, автор — мартинист».

Донесли Екатерине, что имевшиеся в книге поносные намеки на нее и светлейшего подхвачены городом, что велик спрос на известную книгу масонскую, издания Новикова, «Жизнеописание Конфуция», что иные читают с многосмысленным подмигом: «Восхвалим государя, который отженет от себя ласкателей и удаляться станет от венерических забав».

Кто сей восхваляемый государь, оплот и надежда мартиниста, императрице ведомо уж самой, без подсказки. Желанный государь — не кто иной, как все еще не допущенный до престола родной сын, цесаревич Павел. И, полагать надлежит, неспроста печатал в своих журналах дерзновенного бунтовщика, «злодея хуже Пугачева», сего Александра Радищева, не кто иной, как первейший мартинист — Николай Новиков.

Де Муши, во-время подоспевший, стал в свою очередь нашептывать, что книга-де выдана через частное лицо от всего ордена, связанного, как сейчас очевидно, со злокозненными иллюминатами. «Путешествие из Петербурга в Москву» умышляет опрокинуть свыше данный порядок — власть самодержавную.

Не мартинисты ли основывают учебные заведения колобродного направления? Не они ли тратят неведомо как добытые великие суммы для уничтожения законной власти, раздавая во время недорода безвозмездно зерно крестьянам? Сейчас они же пустились печатать возмутительные книги, даром что не хотят признаваться. Все они одна шайка.

Самое страшное доказательство злонамеренности автора «Путешествия» — это его пророчество о наступлении революции, подобной той, которую заговорщикам уже удалось вызвать во Франции. Что же иное, как не обещание новой пугачевщины, сей крамольный предупреждающий голос Радищева:

«Блюдитеся, да опять посечены не будете».

— Вот мы и выполним совет сего сочинителя, — недобро поджав губы, сказала Екатерина Безбородке, побледневшему от неприятности возложенного на него поручения узнать все дополнительно о Радищеве. — Выполним его совет... — еще злей повторила Екатерина, ужимая тонкие губы, — от него первого и поблюдемся!

В разгаре лета Безбородко написал Александру Романовичу Воронцову:

«Ее императорское величество, сведав о вышедшей недавно книге под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву», оную читать изволила и, нашед ее наполненною разными дерзостными изражениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройства, указала исследовать о сочинителе сей книги. Между тем достиг к ее величеству слух, что оная сочинена г. коллежским советником Радищевым; почему, прежде формального о том следствия, повелела мне сообщить вашему сиятельству, чтоб *вы призвали пред себя помянутого г. Радищева* и, сказав ему о дошедшем к ее величеству слухе насчет его, допросили его: он ли *сочинитель* или *участник* в составлении сея книги...»

В тот же день Безбородко еще раз написал Воронцову, добавив на адресе «нужное»:

«Спешу предуведомить ваше сиятельство, что ее величеству угодно, чтоб вы уже господина Радищева ни о чем не спрашивали для того, что дело пошло уже формальным следствием».

Послано было за полицеймейстером Рылеевым. Он сознал свою ошибку, бросился на колени перед императрицей с возгласом: «Виноват, матушка!» Рылеев покаялся, что подписал книгу, даже не читая, ибо попался на невинности заглавия: «Путешествие».

Никита Рылеев, полицеймейстер, был большой любитель балета и преглупый человек. Ему простили, ибо действительно он не мог рассматриваться как пособник столь дерзкому делу, и был тут же помилован императрицей.

Екатерина распорядилась, чтоб книга немедля, с курьером, была послана в ставку светлейшему, от которого приказано привезти скорый ответ с отзывом, как он нашел сочинение и сочинителя.

Главная квартира Потемкина летом была в Дубоссарах. Ставка его великолепием походила на визирскую. Сад вокруг нее был насажен в английском вкусе, известный капельмейстер Сарти с двумя хорами роговой музыки там ежедневно его забавлял. Казалось, светлейший располагает остаться здесь навсегда, столько понаехало к нему на прочное жительство народу.

Люди поражались разницей между главной квартирой светлейшего и бывшего перед ним отличного военной простотой и суровостью Румянцева.

Сейчас здесь без перерыва шли празднества, играли на театре, пели в концертах. Сарти положил на музыку гимн «Тебе бога хвалим». К оной музыке прилажена была батарея из десяти пушек с таким расчетом, чтобы в аккомпанемент славословию происходила из орудий стрельба.

Вместо Потемкина на полях битвы подвизался героически и с неизменной удачей Александр Васильевич Суворов.

В сентябре 1789 года он взял Рымник, откуда и повелено свыше присвоить ему к своей фамилии отныне Суворов-Рымникский. В победе при Фокшанах Потемкин тоже участия не принимал, но уж не мог обойти молчанием столь важные успехи Суворова. Он писал ему: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность, ты во мне возбуждаешь желание иметь тебя повсеместно».

Наконец город Бендеры взял Потемкин уже лично, но без кровопролития, единственно путем дипломатическим и хитростью подкупа. За покорение Бендер он получил золотой лавровый венок. Екатерина сама ему вышила туфли и обрубила платки. Еще заказала великолепный кавалергардский мундир из синего бархата и, наконец, ассигновала большие суммы для мира с турками.

Потемкин жил в Яссах, потом в Бендерах в неслыханной роскоши. О житье его в Бендерах записал адъютант:

«Его светлость большие угождения делал княгине Долгоруковой. Была сделана землянка противу Бендер за Днестром. Внутренность роскошна, колонны, бархат, все, что можно придумать. Великолепный подземный зал и будуар, куда только избранные могли попадать. Вокруг землянки кареем полки. Близ одного карея батарея из ста пушек. Барабанщики собраны к землянке. Однажды, осчастливленный своей дамой, князь вышел из землянки с кубком вина и приказал ударить тревогу, по которой из батарей полка произведен был батальный огонь».

Екатерина в каждом письме торопила Потемкина с мирными переговорами. Послала бриллиантовый перстень с пожеланием:

«Пусть лучи, исходящие из оного, ударяют по зрению врагов наших. Я уверена, что ты не пропустишь случай, полезный к заключению мира!»

Но он пропускал. Желание Екатерины не исполнялось, переговоры тянулись вяло. Он предоставил небольшому корпусу Суворова бороться одному с главными силами Порты, а сам терял опять время в занятии ничтожных, не нужных для дела пунктов. Бесплодно истощал материальные средства.

В неслыханную ярость привело его известие, что фаворит Мамонов женился на княжне Щербатовой. Он навлек на себя гнев императрицы главным образом за то, что долго скрывал свою страсть к этой фрейлине. По настоянию Екатерины Мамонов был обвенчан и с женой водворен в Москву. Мамонов был Потемкину свой, преданный человек, всем ему обязанный, почитавший его как отца. При его близости к императрице никакая злая сплетня не могла Потемкину повредить, Мамонов умел вовремя рассеять всякое неблагоприятное впечатление.

Совсем иное дело, когда место Мамонова заступил Платон Зубов. Мелкий, ничтожный, самовлюбленный человек, которому Потемкин был спица в глазу, который все силы направлял, чтобы сдвинуть его, самому стать всецело на первом месте в государстве.

Кроме этого расстройства, которое еще с прошлого лета грызло его, как червь неусыпный, произошла на днях немалая конфузия перед австрийским двором. Получилось известие, что шведский флот в составе двадцати шести кораблей и фрегатов атаковал ревельский, в котором имелось не более десяти кораблей под командою Чичагова. Потерпев поражение, король пошел против Кронштадта, и шведский флот с гребной флотилией загнан был русскими между островов. Две недели так стоял, пока сильный ветер пришел ему на помощь. Пустив против себя брандер, шведы вышли в море, и хотя брандер сжег при этом маневре собственный свой корабль, они спаслись от преследования. Но генерал Кречетников, услыша от кого-то, что шведский флот вовсе русским сдался, не проверяя, прислал с сим радостным известием к Потемкину курьера. Во всей армии стреляли викторию, и светлейший отправил к императору австрийскому тоже курьера. Через несколько же дней оный Кречетников прислал Потемкину извинение в сообщенном им опрометчиво неверном сведении. Курьер прибыл в ставку во время обеда. Узнав, в чем дело, Потемкин вне себя стал страшно ругать Кречетникова. Князь Долгорукий попытался было его защитить. Тогда светлейший, не помня себя, схватил Долгорукого в ярости за георгиевский крест и закричал:

— Как ты смеешь защищать его... ты, которому я из милости дал сей орден, когда ты струсил под очаковским штурмом?

Вскоре, опомнившись, Потемкин подошел к австрийским генералам и сказал им с любезностью:

— Прошу меня извинить, господа, я забылся...

В этот несчастливый день пришло письмо, написанное Безбородкой по приказу Екатерины. Письмо было адресовано не прямо Потемкину, а правой руке его, секретарю Попову. При письме приложена была книга Радищева.

Безбородко писал Попову, чтобы сей последний довел до сведения светлейшего следующее:

«Здесь по Уголовной палате производится ныне примечания достойный суд. Радищев, советник таможенный, несмотря, что у него было дела много, которое он, правду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрования: заразившись, как видно, Франциею, выдал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную защитою крестьян, зарезавших помещиков, проповедью равенства и почти бунта против помещиков, неуважения к начальникам, внес много язвительного и, наконец, неистовым образом впутал оду, где озлился на царей и хвалил Кромвеля. Всего смешнее, что шалун Никита Рылеев цензуровал сию книгу, не читав, а удовольствовавшись титулом, написал свое благословение. Книга сия начала входить в моду у многой швали, но, по счастью, скоро ее узнали. Сочинитель взят под стражу, признался, извиняясь, что намерение имел доказать публике, что и он автор. Теперь его судят, и, конечно, выправиться ему нечем. Со свободою типографии, да и с глупостью полиции и не усмотришь, как нашалят».

Потемкин сразу отлично понял, какое серьезное значение иметь должна эта книга. И был он ею глубоко уязвлен.

В главе «Спасская Полесть» основной темой «сновидения» автора — как же было не догадаться! — тщеславие его и матушкино. Все кололо не в бровь, а прямо в глаз. Только и всего, что заменен был он, временщик и фаворит, женой, потому что, по авторскому измышлению, сон приснился не царице, а царю.

Светлейший, откинув назад голову, читал книгу Радищева, лежа на турецкой тахте, вздыбив обе ноги на мутаки, в уровень с головой. Волосы его были нечесаны, шлафрок широко распахнут на груди, все ему теснило дыхание, нехватало воздуха. Однако читал он по виду спокойно. Вдруг внезапно, уязвленный укорами сочинителя в растрате государственной казны вельможами, схватил со стола счеты и вслух стал прикидывать, во что приблизительно он обходится государству.

«В семьдесят седьмом году получил сто пятьдесят тысяч, в семьдесят девятом жалованье за десять лет вперед, что дает сумму семьсот пятьдесят тысяч. В году восемьдесят третьем на постройку дворца — сто тысяч. Дворец этот был откуплен императрицей и подарен вновь. А куплен был не больше не меньше,

как за миллион. Во время этой турецкой войны отпущено пятьдесят пять миллионов рублей, из них издержано по отчетам сорок один. «А остальные четырнадцать миллионов куда? — спросил сам себя Потемкин и, ухмыльнувшись, ответил себе же: — А неизвестно куда!»

Настоящее его состояние, если оценить целиком, — миллионов пятьдесят набежит. Сии расчеты подлинные, а враги и врали присчитают вдвое. Однако сочинитель, видать, знал, кому бросил свой вызов этим вот «сновидением». Ну что же, вызов можно принять и на него ответить достойно.

Потемкин встал, запер с шумом дверь, повернул ключ. Никого не желал видеть. Стал шагать грузно по комнате. При поворотах длинный шлафрок бил его по голым ногам, турецкие туфли без задников отшлепывали каждый шаг. На лице было странное выражение глубокого удовлетворения. Глаз его, умный и зоркий, искрился насмешливым одобрением.

Он представил себе, с каким чувством читала матушка это вот место... и то и другое, где, как ни крути, прямехонько про нее! Знал, хорошо знал сочинитель, что делал. Ничего не побоялся — вот каков человек! Решился один во весь голос сказать, что бы там за это ни ждало его. А может, надеялся, что сойдет? Потемкин припомнил две-три странички, поморщился, сказал сам себе: «Ну, едва ли надеяться мог». Он метался, как зверь, по комнате, читал и перечитывал дерзновенную книгу, странно взволнованный. Привычной хандры как не бывало.

Призвал секретаря Попова. Долго смотрел на него, словно впервые увидел. Спросил сквозь зубы:

— Из каких источников черпаете суммы по моим письменным требованиям?

Попов несколько удивленно и поспешно ответил:

— Суммы, ваша светлость, имеются у нас экстраординарные и военные. Последние возят вам вслед серебром и золотом в количестве восьми миллионов. Еще третья сумма имеется — двенадцать миллионов в год, отпускаемая из провиантской канцелярии. Но если у вашей светлости счеты не сходятся, осмелюсь доложить, те червонцы, кои вы изволили полными шляпами черпать из сундука на предмет карточных проигрышей, вами возвращены еще не были.

— А ты считал, сколько мною взято? Записывал?

— Не подобает записывать толикие мелочи за тем, чьи славные дела уже записала сама история! — не без семинарского жара поднес Попов.

Потемкин поморщился:

— Скучновато льстишь, братец мой. Поторопи, чтобы мне сейчас снарядили курьера в Петербург.

Пока курьер приготовлялся, Потемкин не уставая ходил по комнате. Останавливался, стоя перечитывал одну страницу, другую. Совсем не ложился боле.

Книга осуждала весь крепостнический строй, все, что сейчас столь ревностно хотел он поддержать новыми государственными учреждениями о губерниях. Тиранию, им введенную, усовершенствованную, и его самого, тирана Потемкина, зачеркивали начисто гневные строки предерзостной книги.

Минутами ему хотелось во что бы то ни стало вызвать сюда к себе этого сочинителя, чтобы стоял он перед ним, как недавний дурень капитан, который наизусть выучил все святцы (нашел, куда мозги ухлопать!). С этим сочинителем, Радищевым, он бы по-настоящему говорил. Он бы разъяснил ему, что̀ именно его двинуло создать и поддерживать эту систему управления, которую сочинитель бичует. Пробовал он сам управлять? Пробовал? И про себя самого рассказал бы, почему стал таков...

Потемкин вдруг почувствовал обиду, доходящую до слабости. Сел на тахту, охватил большими руками свою нечесаную, лохматую голову. Противно заныла печень, и ему себя стало жалко.

Ему хотелось, чтобы Радищев понял его. Не подлец ведь он, Потемкин, по природе. Мало чем дорожит. Несметно богат, может плюнуть на богатство, все может послать к чорту, из-за чего люди ползают: чины, положенье, любовниц! Может власяницу надеть, уйти в глухие леса, — разве не хотел много раз? Может жизнь на подвиг положить, взорваться, как капитан Сакен, всех спасти, сам погибнуть... Только вопрос, за что погибать?!

Радищев счастливец — он знает за что. Он верует в золотой век... А если у него, Потемкина, нет веры уже ничему? Если к человеку стал холоден, потому что человек жулик и скот и вовек не устроит он себе золотой век. Человек человеку был, есть, будет — волк. И перевел по-латыни: homo homini lupus est.

Конечно, если бы таких, как этот Радищев, были тысячи, можно б отважиться руль повернуть. На сих дерзновенных обездоленных опереться, и уже не герцогом курляндским, не властителем дакийским... Новой династии основание положить. Но поскольку сей сочинитель одинок, он только вредоносен. Сочинитель подлежит истреблению.

Опять Потемкин заметался по комнате, не находя себе покоя. Он вызвал в памяти красивое лицо Радищева с крутым взлетом бровей и подумал про него: «Таков этот человек, что его ничем не купишь, ну что ж, значит, он в своем дерзком деянии уже получил награду свою. И сколько, матушка царица, его книжку ни изымай — останется она». И неожиданно для себя, с торжеством и гордостью за смелого человека, Потемкин еще повторил: «Сия книга останется!»

Когда доложили, что курьер к отправлению в Петербург готов, Потемкин передал ему письмо для Екатерины. В письме по поводу присланной книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» было написано весьма тонко. Потемкин знал, что пишет для поколения, знал, что ответ его будет закреплен в памяти его многочисленных врагов и в истории. Нужна была выдержка, и нужно было только между строк, взбудоражив самолюбие императрицы, натравить ее на решительное действие против автора книги.

«Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением стен очаковских отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп. Верно, и вы не понегодуете. Ваши деяния — вам щит».

Потемкин не сомневался в том, что теперь Екатерина «понегодует» и начнет дело. И действительно: 30 июня в девять часов вечера Радищев был взят и доставлен к петербургскому обер-коменданту и заключен в Петропавловскую крепость.

Екатерина сказала суду, что она презирает нанесенное ей оскорбление злонамеренной книгой, но тут же прибавила, что «Радищев поступил вопреки своей присяге и должности».

Судьи не могли презреть ни оскорбление величества, ни тем более подчеркнутое императрицей «нарушение присяги». Приговор был подсказан, и догадливый уголовный суд приговорил Радищева к смертной казни посредством отсечения головы.

Это было 24 июля 1790 года.

Главнокомандующий в столице был граф Яков Александрович Брюс, муж той самой Прасковьи Александровны, царицыной подруги, которой Радищев когда-то в одном из номеров «Живописца» посвятил восхищенные стихи. Этот Брюс был формалист и служака и прославился жестоким острословием по поводу несчастных каторжников, которым изобрел выжигать на лбу клеймо раскаленным железом. Когда его спросили, как же быть в случае ошибочного клеймения, он, не задумываясь, ответил:

— Если, примерно, человек клеймен «вор», а оказался невиновен, то на лбу прибавим ему отрицание «не». Только и всего...

Этот Брюс персонально ненавидел всех мартинистов, давно хлопотал начать против них преследование, и поскольку дело Радищева по желанию Екатерины велось как дело предполагаемого мартиниста, он был особо тороплив: решение суда рано утром на другой же день представил в сенат. От себя он решение нашел правильным, о чем и просил графа Безбородко донести императрице.

Палате уголовных дел, препровождая точную копию с высочайшего указа о предании Радищева суду, граф Брюс предписал прилагаемую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»

в уголовной палате заседающим господам прочесть, отнюдь не впуская во время чтения в присутствие канцелярских служителей.

Палата, в точности исполнив это предписание, сообщила: «Заседающие оную книгу читали, не впуская во время чтения канцелярских служителей».

Итак, учреждения, судившие книгу Радищева, были: уголовная палата, сенат, государственный совет. Там приговор заслушан был 19 августа, а сентября 4-го последовал именной указ Екатерины сенату: «Ввиду мира со Швецией заменить казнь Радищеву десятилетней ссылкой в Илимский острог».

9 сентября Радищев взят из-под стражи, у него отобран орден. Для чего-то, по чрезмерному усердию смотрителя, он был, как это делают с уголовными, скован в железы и под крепкой стражей отправлен в Новгород.

Когда Безбородко дал знать Воронцову, что во избежание крайних мер Радищев должен принести чистосердечное покаяние, Воронцов немедленно известил друга об опасности. Прибавил от себя, что следствие будет вести сам Шешковский, тот, которого Потемкин при встрече вопрошает: «Каково, Степан Иванович, кнутобойничаешь?»

Если не принести покаяния добровольно, все равно его Шешковский добьется пытками. Как бы не ослабеть, не назвать сообщников, единомыслящих! И про детей пора подумать. Дело жизни сделано. Книга есть. Сколько бы ее сейчас ни преследовали, ни уничтожали, кое-какие экземпляры уцелеют. Потомство узнает. Оно будет ценителем. Радищев это чувствовал, знал и предвидел, когда написал: «Потомство отомстит за меня!»

Мысль о приговоре к смертной казни мелькнула у Радищева, как только ему представлена была Шешковским его книга с заметками Екатерины, сделанными на полях. Радищев взял все на себя одного. Он нашел какие-то особо резкие выражения, чтобы себя осудить. Малоубедительные и ничтожные, не соответствующие его характеру для тех, кто его знал, но приятные для тщеславия императрицы. Радищев понял одно — пощады не будет. Надо только никого за собой не потянуть.

Он покаялся. Он обвинил себя в смешном, тщеславном желании «прослыть писателем». Это желание, доведенное до безумия, якобы породило дерзость книги.

Свояченица Елизавета Васильевна ежедневно посылала Шешковскому куль с дорогими гостинцами, которые принимались им милостиво, в ответ же приказано было передать всегда одно и то же: чтобы ни о чем не беспокоились, все слава богу.

«Все слава богу» были бессонные ночи с мукой за судьбу детей, с ожиданием сначала смертной казни, потом отправки в Сибирь. Наконец приговор стал известен. Радищев, обросший

бородой, изможденный заключением, был выведен из тюрьмы и посажен в кибитку.

Губернское правление, полагая, что Радищев сослан в «работу», то есть на каторгу, повело себя с ним как с каторжным разбойником. Его заковали в кандалы, надели на него нагольную шубу и отправили за тысячи верст.

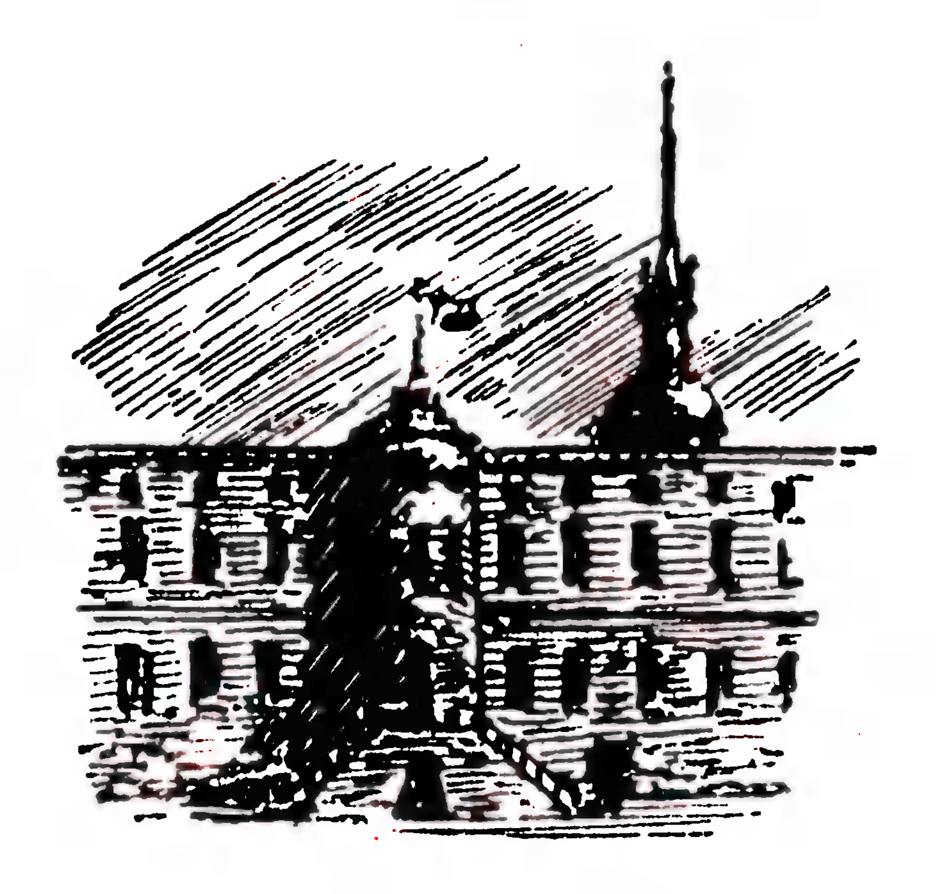
Радищев ехал в далекое холодное изгнание. На многочисленных остановках на него глазели, как на медведя, интересуясь узнать, почему преступник обличием барин, а между тем он в кандалах и, как оказывалось из расспросов, осужден не за грабеж и убийство. Наперерыв спрашивали: «За что же его?.. За что?»

Радищев слышал бесцеремонно-любопытные вопросы, и в уме его, помимо сознания, под мерную качку езды, сложились стихи, обращенные к его неведомому вопросителю:

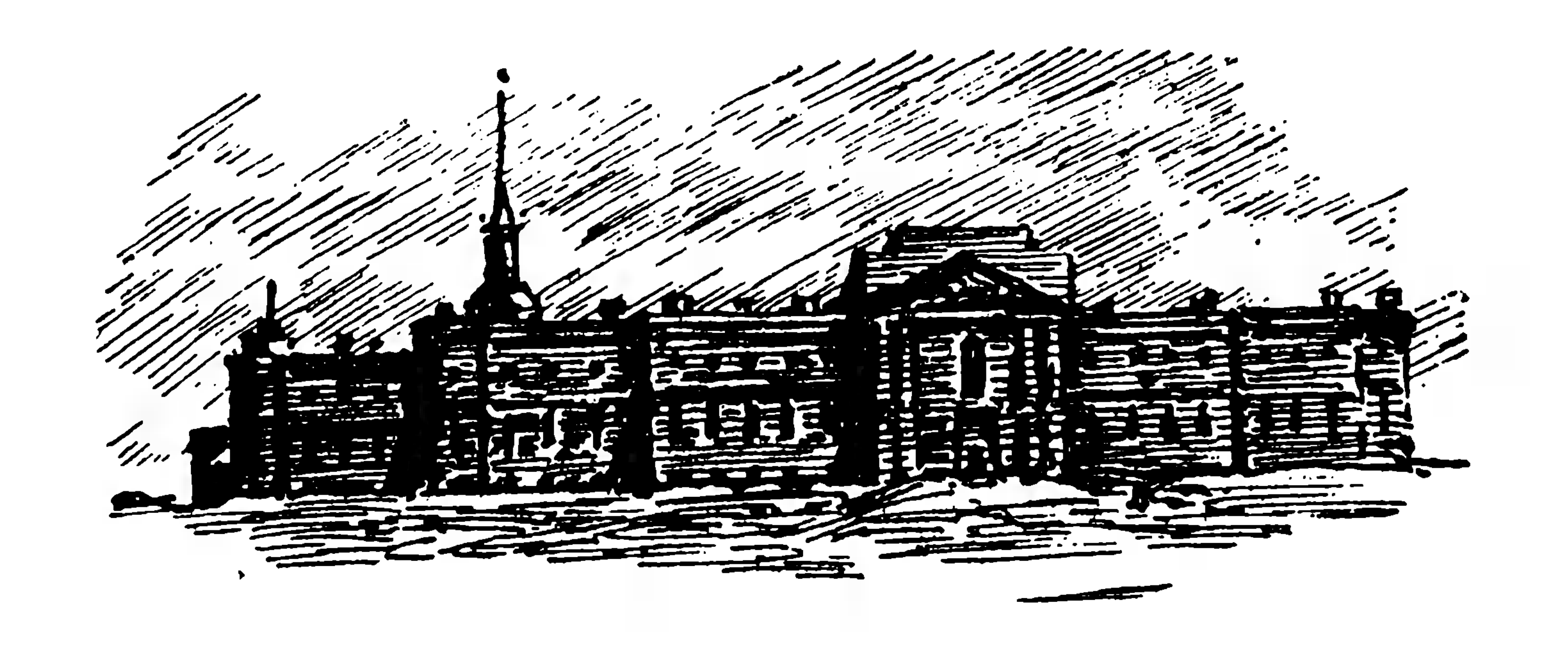
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду!



МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК



РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.

Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе

насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу».

Однако, кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.

Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров. Гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны — Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, мадам Гертруда Росси, отчим — не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.

Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошенные, блестевшие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душой преданный, — был бы жив — охранял и сейчас...

Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:

— Едва запылают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.

Как всегда, в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памятный день, когда царица-матушка подарила ему это сельцо — Павловское.

И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелестные места, стал осматривать извилистые берега веселой речки Славянки.

Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему эти земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сос-

новый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.

...Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше — подражание Пиранези — построена в виде полуразрушенной башни-руины...

А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.

Когда под именем князей Северных он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.

Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям за границу, забрасывала их подарками, они же ее — хвалой. Все для видимости... А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знаменитый Гонзаго для росписи дворца, а приехал — платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право.

Едва мать умерла шестого ноября, как уже двенадцатого император переименовал сельцо Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить...

Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью. Да, не тот теперь Павловск — подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол — на цепь посадили одного инвалида... Так ведь не помер же он с того!

И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот... не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.

Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетики, куда именно итти сегодня, — он же записывал.

Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду — семь верст. Самая длинная прогулка.

Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошушукаться — только и дела, что прошагать туда и обратно.

Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильней забилось сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы. На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.

Оттого что тогда сдержался и сына не обличил — тем тяжелее запомнил ему эту обиду.

Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и — тайно мнила — наследника.

Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал:

«Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что, минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»

Вот она — Александрова дача — воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевиче Хлоре», написанной для любимого внука.

Встали в памяти слова пиита:

И отрок с самого начала,
Когда рассудку мысль его внимала,
Научится быть осторожным здесь...

Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Недлинная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.

Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был бы он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?

«И отрок с самого начала... научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!

И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль — так огненная змейка, вновь возникшая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастает вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?

Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были... Вздор это! Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навеет бессмыслицу...

Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:

— Полкашка, сюда!

Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.

Ребячливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознанием исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.

Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:

— А ты, братец Полкан, — знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка...

И он стал читать собаке вслух то, что давеча досрочно списали из записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова:

«Забавы наши в Павловске однообразны и скучны».

— Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?

«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».

— Это же ты, Полкашка! — мазнул Павел собаку листом по морде. — И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.

«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстает от императора...»

— И не отставай, Полкан, охраняй меня!

«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один ее гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахт-парада. Государь рассердился и крикнул: «Уберите ее от меня!» Но она не далась никому на руки и просила прощенья, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом, — он простил ее».

— А ведь и точно, было дело, — смеялся Павел. — Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы римский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.

«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».

— Донос на тебя, — веселился Павел. — Ай да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу.

Павел спрятал бумажку в карман, решив еще посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне.

Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».

У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию — дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы. Внизу орел когтями разламывает рога луны.

Павел вспомнил, что граф Литта вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, от чего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу. Он вынул записную книжку, посмотрел в который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:

«Справиться у Винцента Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не дворянин, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие оного Росси на сожжении костров допустить нельзя».

Кроме Росси, записаны были и другие...

Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.

Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на императора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.

Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а намедни донесли, что в городе болтают — Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает...

Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.

Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:

— Ваше величество?..

— Хвалю, сударь, хвалю, — мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел, — у вас чистый взгляд, чистый!

Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.

— Дышать забываете, сударь, когда рисуете, — смеялся Павел, — не то что салютовать во-время своему императору. А ну, покажите.

— Эскизы украшений для завтрашнего празднества, — протянул Росси альбом.

Он был очень молод, прекрасной внешности. Соразмерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмеченным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.

— Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?

Павлу отрадно было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына... такому б я верил».

Полуобняв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел нахмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были

любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, не точно печатали шаг.

Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и неимоверным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:

— О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша — прима-балерина, вотчим — Лепик, ну-с, а собственно родной ваш батюшка кто будет?

Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:

— Я не знаю сам, ваше величество, кто мой родной отец.

Опять юноша стал приятен.

— Бы-ва-ет... — с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.

— Учителю вашему, Бренне, передайте, что прожекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце — добыть от матери и представить мне наутро.

Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.

Тройка отличных коней быстро домчала Карла до города. Он взял ялик и, перед тем как увидеться с матерью в театре, поехал кататься по Неве. Как спасательный круг утопающему, чтобы выбраться из захлестнувшей пучины, необходимо было Карлу в охватившей его лютой тоске убедиться, что все так же незыблем вознесенный над Невой монумент Фальконета, все так же великолепны творения Растрелли, усыпанные украшениями, залитые золотом, дремотно мерцающие под нежным, нежарким северным солнцем.

Карл мысленно вызвал в памяти своей и то, чего сейчас не было перед глазами: вот усилием воли, под мерный плеск весел, перенесся он в здание изящного Камерона, и тотчас знакомой утешающей лаской коснулось его разбитых чувств это ожившее в новой форме чудесное искусство древней Помпеи. От Камероновой галлереи перешел он мыслями к строгим, величественным колоннадам Кваренги, этой души воскрешенного Рима, и ему стало легче, отпустили горечь и боль.

Эти воображаемые, мгновенные, по желанию вызванные путешествия по творениям великих мастеров зодчества были ему привычны с детства, как его сверстникам слова молитв. В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшеб-

ству из тяжелой действительности и, как на ковре-самолете, вмиг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного.

Яличник налег на весла, и Карл погрузился в бездумный отдых, глядя на студеную и летом, сине-стальную воду Невы, на чаек, белых и легких, как большие хлопья снега.

Чайки, занесенные на многоводную красавицу реку с моря, казалось, приносили с собой и его освежающий морской запах.

С освобождающей душу отрадой смотрел Карл на гранит, одевший Неву, на Мраморный дворец Ринальди, на изумлявшую каждый раз заново своей воздушной красотой Фельтенову сквозную решетку Летнего сада...

Далеко отступило, выпало из памяти лживое придворное общество Павловска, и потухли обиды, нанесенные безумным царем и легкомыслием родной матери.

В углах средней башни адмиралтейства, рядом с флагами, вдруг зажглись фонари, — так повелела Екатерина после наводнения, — и Карл, боясь опоздать в театр к матери, приказал яличнику причалить к берегу.

Ему повезло. Сегодня дежурили служители, знавшие его с детства, они беспрепятственно пропустили в уборную матери. Она была одна.

— Мадама гримируется, — сказала горничная, — но вы пожалуйте...

— О сынок мой маленький, хотя уже большой, — с нежной лаской пропела Гертруда, не отрываясь от зеркала, перед которым она кончала накладывать грим. — Ты сейчас увидишь мать крылатой Психеей. Я буду сегодня чудесно танцовать. О, я уничтожу Настасью Берилеву, уничтожу!

Гертруда постучала заячьей лапкой по столу.

— Настасье сбавят столовые и квартирные и на башмаки и на чулки. Не ей равняться со мной!

Карл съежился, онемел. Как далека была от него эта мать, полная закулисных интриг. И даже свои ласковые слова говорила она ему без всякой мысли, как говорят любимой комнатной собачке.

Карл встал, подошел к Гертруде, сказал жестоко, не глядя:

— Я требую от вас правды, пора мне узнать... кто собственно мой отец?

— О, зачем так сердито! — простонала Гертруда. — Ты ранишь мое сердце этим голосом.

Она не сказала — словами...

— Император мне задал вопрос, и я должен узнать про отца. Понимаете: кто тот человек, от которого я рожден?

Гертруда жеманно хихикнула и, как в балете, погрозила игриво пальчиком:

— Неприлично говорить о таком со своей матерью!

— Мать должна открыть тайну моего появления на свет.

Росси подошел к выходной двери и загородил ее собою, чтобы Гертруда не упорхнула без ответа на сцену.

Мадам Гертруда, все еще прекрасная, неистребимо молодая, подбежала к сыну, высокому ростом. Поднявшись на носки, туго обтянутые розовыми туфельками, она пригнула голову Карла обнаженными душистыми руками к своей груди и с очаровательной грацией прошептала:

— Сын мой, дитя... ведь я не ведаю и сама, кто твой отец! Но я люблю тебя за двоих. И сейчас я буду танцовать для тебя... только для тебя.

В дверь постучали. «Иду!» — весело крикнула Гертруда и, еще раз прильнув к сыну, сказала с мольбой:

— Не надо нам ссориться, дорогой, не надо!

Прима-балерина была права. Едва сын увидел ее на сцене театра легкокрылой, поистине воздушной Психеей, он все ей простил. Точность рисунка ее танца, волшебный полет, совершенство движений восхитили его, освободили, унесли. Прославленный танец Гертруды Росси был совершенной силой искусства, снимавшей бремя вседневных тягостей. Недаром писали про нее, что она вызывает благодарные слезы восторга.

А когда, минуя жадные взоры гвардейцев-балетоманов, ловивших ее улыбку, ему одному, возлюбленному сыну, она послала воздушным шарфом приветствие и скрылась за кулисами, — Карл выбежал из театра.

Он боялся, что мать позовет его ужинать. Он уже не хотел утратить свое разнеженное дивным танцем благодарное к ней чувство. На сцене мать — совершенный художник, в жизни — неумная, тщеславная женщина. Какие с ней счеты!..

Была лунная ночь. В зеленоватом прозрачном свете стоял город. Росси, не отдавая себе отчета, не глядя по сторонам, почти без сознания мчался по непривычным ночным улицам к великому утешителю своему, бессмертному всаднику Фальконета. Перед ним замер.

Глядя на Петра, юноша испытывал великое удовлетворение. Его охватило настроение совершенного бескорыстия. Ничего он для себя не хотел и вместе с тем сейчас впервые узнал — он свершит в своей жизни великое, для всех нужное.

Он глядел неотрывно на освещенного лунным светом скакуна, который откуда-то, из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы.

Невиданный этот конь нес на себе всадника, увенчанного лаврами. Всадник простер над городом отеческую десницу. Он звал вперед.

И Карл ощутил всем своим существом, что несокрушимая, всепреодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней стала ему второй природой.

Согласно ритуалу мальтийских рыцарей, Карл Росси не был включен в число гостей, имеющих право присутствовать при сожжении девяти костров. Необходимых по статуту предков у него не оказалось.

— Как художнику, вам даже будет любопытнее охватить все зрелище сразу, с вершины ближайшего холма...

Так, с любезной улыбкой, желая смягчить удар его самолюбию, сказал Росси церемониймейстер Ордена.

Но Карлу было только дело до того, что скажет ему его Психея, Катрин Тугарина.

Воспитанная отцом-вольтерьянцем, веселая насмешница — кто лучше ее способен подметить неумное чванство придворных, их фальшь, ханжество? Как мило, наверное, она посмеется над тем, что у него нехватило предков, тогда как у нее их излишек.

Но сейчас искать встречи с Катрин невозможно, работы еще по горло. Придется отложить свидание до позднего вечера, уже после сожжения знаменитых костров. Любопытно, прочтет ли Катрин без ошибки его любовный мадригал на гирляндах? Подбором разнообразных оттенков живых цветов Карл собирался окончательно выразить Катрин свои чувства. Ему уже удалось послать ей предупреждающую записку:

«Возобновите в памяти «язык цветов», чтобы прочесть на гирляндах костров предназначенные вам слова».

Хотя император Павел строго преследовал все забавы, которые были в обычае при дворе его матери, у каждой девицы хранился в тайничке вместе с толкователем снов и «язык цветов».

Карл отправился в оранжерею, где он должен был дать последние указания помощникам. Дорогой он еще раз осмотрел воздушные зеленые беседки, затейливые павильоны, боскеты, сооруженные по его рисункам, и остался доволен. Хотя ему давно хотелось на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение, — эти легкие, веселые работы из живого материала самой природы восхищали его. Он был как первый создатель мира, располагая по собственному вкусу купы дерев и кустов, нагромождая скалы и камни в излучинах речки, вознося лиственные арки, низвергая каскады...

В оранжерее подручный Митя рассказал Карлу, что и наследник Александр по поводу запрета художникам, как не имеющим достаточного количества предков, присутствовать на празднестве вместе со двором, прищурясь, вымолвил: «И дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Иные из молодых уж слишком подбираются к государю...»

— Это он на вас намекал, Карл Иванович, — бережно сказал Митя, — все отметили, наследник вроде вам завидует, потому что государь особливо к вам ласков.

— Для ученика Лагарпова такие чувства едва ли подходящи, — улыбнулся Росси, — но меня Александр и вправду не слишком жалует.

Карл вспомнил, как он недавно принес в кабинет Марии Федоровны заказанные ею рисунки для чернильницы, а она, восхищаясь, протянула их наследнику и сказала:

— Хорошо, если бы вы так умели для меня рисовать.

— Но я ведь в художники не готовлюсь, — вспыхнул Александр.

— Очень помню, мой сын, — вы готовитесь царствовать, — уязвленная его тоном, подчеркнула мать.

И намедни как нехорошо на него глянул Александр, когда с обнявшим его императором он подошел к марширующим гатчинцам.

— Самолюбив очень, — неодобрительно сказал Митя, — и фрунтом задерган, и отцом запуган, и глухоту свою скрывает. А у вас так все выходит легко и свободно.

— Наследнику, конечно, живется невесело, но довольно о нем. Нам с тобой, Митя, сейчас дело кончать. И домой мне еще заглянуть, переодеться...

Карл быстро и точно сделал последние распоряжения; не в силах сдержать счастливую улыбку, перечислил Мите, какие оттенки цветов еще необходимо доставить из самой дальней оранжереи. Наконец он двинулся к проспекту Лепика — так, по приказу Павла, именем его отчима окрещена была близлежащая прямая улица, в конце которой возвышалась затейливая дача знаменитого танцовщика.

Митя догнал Карла и, шагая с ним в ногу, застенчиво сказал:

— Просить вас хочу об одном деле...

— Проси, Митя, только шаг не задерживай.

— Узнайте у господина Лепика про Машеньку. Она ведь всегда при вашей матушке в кордебалете танцует. Сильфидой ее прозвали... а сольной партии все не дают. Очень ей это обидно. Проведать бы у господина Лепика, есть ли скорая надежда?

— Спрошу, Митя, — улыбнулся Карл. — Машенька — твоя невеста?

— Выкупить мне ее надо раньше, — громко ответил Митя. — Я, Карл Иванович, на это жизнь свою положу. Сумма немалая, но благодаря вашей помощи и господина Бренны, я кое-что уже скопил. Годика через два-три авось...

— Будет ли Машенька так долго ждать? Соблазнителей много в балете.

— Она верная, — прервал, вспыхнув, Митя. — Она давеча мне сказала: «Лучше умру, а бесчестьем сольной партии не возьму».

— Хорошо, Митя, что ты веришь Машеньке. Вот и я верю...

Карл запнулся и покраснел. Митя сам деликатно закончил:

— Вашей избраннице, Карл Иванович, тоже вполне можно верить. Умница какая, красавица... Уж я вам для мадригала все как есть подберу. Куда мне доставить цветы?

— Всю охапку неси прямо к кострам, я туда скоро приду. А просьбу твою, будь покоен, исполню. Ну, беги.

Митя был племянник и крестник замечательного литейщика Хайлова, который спас при отливке монумент Фальконета от гибели. Он был сероглазый юноша, почти с белыми льняными волосами, младший ученик Бренны, который употреблялся больше для работ подготовительных, нежели живописных. Как мастера Возрождения, Бренна почитал приличным иметь штат подростков-помощников при выполнении больших заказов и работ, требуемых двором.

Росси сразу отличил Митю за недюжинные способности, прямодушный ум и, узнав про мечту его выкупить свою невесту, стал ему передавать доходную работу.

Митя нравился ему и сам по себе и тем, что был племянником человека, который вызывал особое уважение. Бецкий передал отливку памятника Петра самому Фальконету, а надзор за работой — русскому мастеру Хайлову. Меди заготовили триста пятьдесят пудов, и когда она, растопленная, была уже пущена в нижние части формы и заполнила их, произошел прорыв, и медь разлилась по полу.

Фальконет в отчаянии, что его труд рушится и честь погибает, выбежал вон из мастерской. Его примеру последовали все рабочие, кроме Митиного дяди. Один он, не потерявшись, заделал отверстие и стал, с опасностью для жизни, зачерпывать медь и вновь заполнять ею формы.

Отливка вышла на славу, только лишних два года пошло на шлифовку изъяна. За спасение памятника Хайлов получил денежную награду и первым долгом выкупил из крепостного состояния родную сестру с Митей, его крестником. Литейный мастер был крепкий, умный, вольный человек, и Митя, подрастая, наследовал его независимый нрав. Карла Росси он преданно любил, восхищался его талантом и мечтал в будущем, когда женится на свободной Машеньке, строить под его началом.

Карл Росси подходил к даче своего отчима, очень приметной благодаря большой террасе, затканной сверху донизу ярко-красным турецким бобом.

Павел не выносил танцующих мужчин, считая, что самим богом они предназначены быть только воинами. Но для Лепика

император сделал исключение: кроме того, что Лепик был европейски признанный танцовщик, он писал балеты на модные классические темы, среди которых попадались и военные — балет «Дезертир».

Феликс Лепик вместе с Гертрудой Росси и ее маленьким мальчиком Карлом — после триумфов в Париже и Лондоне — из Италии приехал в Россию.

Карл значился в бумагах — пасынок Лепиков; так он был записан и дальше на службу при дворе.

После особого успеха поставленных Лепиком балетов собственного сочинения — «Амур и Психея», «Прекрасная Арсена» — ему предоставлена была, к зависти всех прочих актеров, «безденежно» ложа третьего яруса и наивысший оклад.

Феликс Лепик дремал в большом кресле на собственной террасе, а несколько поодаль стоял мальчишка-казачок с длиннейшим чубуком в руках. Вся фигурка казачка выражала большое напряжение. По опыту он знал, что если промедлит минуту, чтобы поднести барину, едва он проснется, раскуренную трубку, — размашистый удар по спине этим самым, вырванным из рук, чубуком будет ему назиданием. Казачок не переставая дул на тлеющие угольки, Лепик мирно похрапывал, и черные усы его, отпущенные за лето, пока он не танцовал, а только писал балет, вздрагивали, как у таракана. Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные густой черной краской, полукружием обегали закрытые веками глаза. Одет Лепик был пестро, словно фазан: шелковый халат с разводами, на голове красная феска, узорные шитые туфли на босу ногу.

Сон отчима был чуток. Еще сладко храпел его римский нос, как внезапно приоткрылся карий глаз, с любопытством оглянул Карла, и Лепик прокричал тенорком:

— Пасынка бог послал! С чем поздравить?

Он вскочил с кресла, легко подбежал к Росси и скороговоркой насмешливо сказал:

— Веночки, беседки, гирлянды цветов — дамское занятие, дамское... Не вижу для вас в том много чести — не в садовники вас готовили.

Карл что-то хотел возразить, Лепик не дал, сам продолжал, махая руками:

— Говорят, ваш учитель Бренна, как на осле, на вас воду возит... Вашими руками жар загребает. Постоять за себя не умеете. Ну, с чем пришли? Есть до меня дело? Говорите скорей, я сейчас примусь за работу.

Лепик выхватил у подскочившего казачка свой чубук, кинулся обратно в кресло и скоро исчез в клубах дыма, как сказочный волшебник.

Воспользовавшись минутой, когда отчим, занятый делом, принужден был помолчать, Росси, памятуя просьбу Мити, сказал:

— С моей матерью танцует в вашей постановке некая Машенька, именуемая за грацию Сильфидой. Она в кордебалете...

— Знаю Сильфиду и первый ее одобряю, — сказал важно Лепик. — Ну и что же, ты влюблен?

— Она невеста моего приятеля Мити, одного из младших учеников наших. Он просил меня узнать, есть ли надежда получить ей вскорости сольное выступление?

Лепик вынул изо рта чубук и рассмеялся:

— Как раз вчера получила. Из-за ее упрямства твоя мать разбила два хороших стеклянных стакана, пока, наконец, убедила Сильфиду. Маша свое счастье поняла и сделала то единственное, чего не хотела делать: по приглашению нашего князя Игреева с ним поужинала наедине. А сегодня я получил предписание дать ей партию Амура. И если твой приятель не будет дурить, эта Маша от щедрот князя скорее добудет себе вольную сама, нежели ожидая до седых волос выкупа от жениха. Убеди этого Митю... Жизнь есть жизнь!

— Как можете вы так говорить? Вы ничего не понимаете в таких людях, как Митя...

Лепик заклектал опять птичьим смехом, потом выпучил страшно глаза и крикнул:

— Умная рыба ищет, где глубже, умный человек — где лучше. Здешняя русская пословица есть истина, а жизнь есть жизнь. Это надо понимать, а вы тоже не понимаете. Почему вы наотрез отказались учиться танцам? Вы отказались от своей фортуны. О, если бы вы танцовали!

Лепик ловко бросил подскочившему казачку свой потухший чубук.

— Если бы вы танцовали, вы могли бы стать наследником славы вашей матери и моей... да, моей славы.

Лепик хлопнул небольшой растопыренной рукой по шелковым разводам выпиравшей грудной клетки и поднял голос, как актер высокой трагедии:

— Если бы вы танцовали, я бы мог вас вполне назвать своим сыном. Но молодой человек, рисующий беседки, цветочки, веночки, вместо того чтобы посвятить себя благородному богу движения, — мне не может быть сыном.

— И желания особого к тому не имею, — сказал холодно Росси.

— Предерзкий негодяй! — вскричал гневно Лепик. Брови его, черные и толстые, как пиявки, вздернулись кверху, щеки побагровели, римский нос побелел.

Карл круто повернулся и пошел в свою комнату переодеваться.

— Осел!.. — крикнул ему вдогонку отчим, кидая на пол ноты, пепельницу, черешковый чубук, вырванный у перепуганного казачка, и с нарастающим гневом продолжал: — Пудель любит танцовать... Лошадь любит танцовать... Одного осла надо стегать, чтобы он танцовал. Но и осел танцует... Вы — хуже осла.

Не найдя больше достойных для утишения своего гнева предметов, Лепик дрыгнул ногой и послал далеко в коридор, через незакрытую дверь, свою туфлю с босой ноги.

Казачок, как собачка, стремглав кинулся к туфле и водворил ее снова на ногу барина.

Вдруг Лепик сразу охладился, взял в руки карандаш и, как ни в чем не бывало, стал им выстукивать такт и напевать что-то, черкая в нотах.

А Карл, нарядный, красивый, полный мечтаний о восхитительной Катрин, желая, чтобы его не увидел отчим, черным ходом направился к парадному месту.

Карл шел и думал о том, как он встретится с Катрин. Вероятно, она уже знает, что его не будет на парадном торжестве. Конечно, она не сочтет это для него унижением. Сколько раз сама ему говорила, что таланты выше всякого происхождения. Да, одной ей, восхитительной Психее, хотел Карл рассказать о том, что пережил недавно ночью у памятника Петра. Рассказать, как ему, великому всаднику, и самому себе дал обет — сделаться первым в мире зодчим.

И, взяв ее прекрасную руку, он ей скажет:

— Быть может, вы, Катрин, никому не отдадите вашу свободу, пока я этим зодчим не стану?

Или нет... зачем так долго ждать? Быть может, довольно ему только вернуться из двухлетней поездки в Италию, куда повезти его хочет Бренна. И когда он, как Баженов, привезет из Рима и Флоренции признание его высоких успехов, — с ее умом, свободой взглядов, ужели она сама не скажет смело отцу:

— Я люблю этого художника. У него большое будущее...

И отец-вольтерьянец благосклонно ответит:

— Как вы оба можете сомневаться в моем согласии?

Так юношески мечтая, наслаждаясь медовым запахом лип, Карл вдруг приметил в конце темной старой аллеи два белых платья. Как узнать, кто эти гуляющие так близко от дворца? Карл, чтобы остаться самому незримым, когда белые платья с ним сровняются, спрятался за скамью, укрытую кустами жасмина. В просвете ветвей вдруг мелькнули голубые ленты, как дымок завился белый газовый шарф, и обе женщины, смеясь, кинулись вперегонки к скамье. Это была Катрин со своей замужней подругой Аделью.

Насмеявшись, они продолжали прерванный разговор, и вдруг Катрин назвала его по имени. Она сказала:

— Какое же благополучное разрешение судьбы любезного Карла Росси вы придумали, дорогая Адель?

Адель, смеясь, вынула из ридикюля книжку в сафьяновом переплете:

— Это наш женский оракул. Здесь советы на все случаи жизни и на самые тайные наши желания. Откроем заветную главу...

— Я хочу прочесть сама. — Катрин потянула книжку.

— Только читайте вслух, ведь в вашем деле заинтересована и я, — лукаво сказала Адель. — Начинайте отсюда. Это подходящий для наших разговоров анекдот прошлого времени.

И Катрин прочла:

— «С некоей мадемуазель Дюшатель случилась беда, неприятная для девицы высокого положения в свете. Она влюбилась без ума в красивого гувернера своего младшего брата. Молодой человек отвечал ей пламенной взаимностью. Каролина — так звали девицу — таяла на глазах своих родителей и знакомых, молодой человек, на ее счастье, был робок».

— Ну, разве это не ваш случай, Катрин? — всплеснула руками Адель. — Но продолжайте, разрешение ваших мук через несколько строк.

— «Старшая сестра Каролины, опытная в сердечных делах баронесса Д., приласкав сестру, ей тихонько сказала: «Я вижу все, дорогая, но помочь вашему горю вы легко можете сами. Скорей примите предложение старого маркиза де Зет, вы станете несметно богаты и, так как сейчас у нас в моде книжки Жан-Жака Руссо, вы даже подниметесь во мнении света, если вашим любовником станет красавец-бедняк. У меня же для вас и для вашего милого всегда найдется уютный приют...»

— Но ведь это решение времени прошлого, — сказала Катрин, — и я думаю...

— Это решение бессмертно, — прервала Адель. — Время только вносит маленькие внешние изменения. Сейчас не только вам надо выйти замуж, но и Карлу жениться на какой-нибудь титулованной, чтобы быть принятым в нашем обществе по праву; руссоизм не в моде, и бедный зодчий списка ваших побед не украсит. Я, конечно, возьму свою долю, — тонко улыбнулась Адель, — но зато отлично сосватаю вашего Карла...

— Хорошо, если б на глупом уроде, — подсказала насмешливо Катрин. — Но как вы мыслите вашу долю?

— О, я не оригинальна, помирюсь как раз на том, чего хочет от своей младшей сестры предприимчивая баронесса Д. Прочитайте...

— «Чтобы все между нами было без облачка и претензии, — сказала старшая сестра, привлекая в объятия свои младшую, —

уговоримся сейчас: иногда вместо тебя встречать его буду в гнездышке — я».

Карл, сдерживая дыхание, смотрел на мелкие золотистые кудри Катрин, на ее детскую шею... Психея. Что ответит она?

Катрин сказала тем спокойным, чуть насмешливым тоном, который всегда — так казалось Росси — таил в себе и свободу ума и благородство поступков:

— Я принимаю все ваши условия, мудрая Адель.

Она тихо засмеялась, и ее голубая лента, взметнувшись далеко за куст жасмина, шаловливо чуть скользнула по щеке Карла.

Карл рванулся, толкнул нечаянно дерево, под которым сидели Катрин и Адель. На них посыпались листочки и сучья, они вскрикнули и, как лани, помчались далеко по аллее.

Карл, не прибавляя шагу, по внешности спокойно двинулся к месту сожжения костров, но, погруженный в странное оцепенение, вдруг спутал тропинки и, не зная как, очутился перед крепостью Бип.

Там шла какая-то возня. Он вздрогнул, сразу не понял, потом сообразил: после вечерней зори подымают игрушечный подъемный мост.

Несуразная средневековая подделка. Как сравнить эту безвкусную нелепицу с той совершенной Камероновой постройкой, которую Павел приказал здесь разрушить? Это грубое зачеркивание произведения большого мастера, эта возведенная на его месте тяжелая, как солдатский прусский сапог, крепость сейчас вдруг до слез оскорбила его.

Не так ли все в жизни? Не так ли она, Катрин, его Психея, растоптала его любовь? Она, конечно, выйдет замуж с расчетом и спокойно отдаст руку тому, с кем выгодно вступит в сделку ее вольтерьянствующий отец. А после, как все... заведет салон и займется игрой в любовь. Неужто эти умные глаза, этот рот, сладостно изогнутый, эти движения, полные грации, — одна оболочка, прикрывающая пустое и грубое сердце?

Карл стоял, недвижно прислонившись к большой березе. Ему казалось — оборвалась его жизнь. Час тому назад он в полноте радости и надежд погружался мечтами в воображаемый, полный чувств, разговор с Катрин, и вот через миг, как при землетрясении, пред ним вдруг разверзлась на месте цветущего сада бездонная пропасть. Страшные речи возлюбленной, которые он только что услыхал, обличая холод ее сердца и раннюю развращенность, убили его любовь. Карл плакал и не замечал, что плачет. Он пришел в себя, когда вблизи пробили башенные часы, и привычка к ответственности за работу заставила вспомнить, что нельзя терять времени.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Карл Росси, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, но подтянутый, точный, каким всегда был в работе, появился на парадном плацу у костров, сложенных в клетку, из чистых, стройных березок. Белоснежные, с черными отметинами, они издали казались мантией из горностая.

Рабочие подкатили целые тачки великолепных цветов: во множестве были здесь розы, орхидеи и стойкие декоративные циннии...

— А я уже боялся, что мы запоздали, — сказал Митя, — увлеклись с садовником. Вот принимайте, Карл Иваныч, тут все оранжерейные богатства на выбор для вашего мадригала. Затем... Но что с вами? Не случилось ли чего? — с беспокойством глянул Митя на вдруг побледневшего, как от сильной внезапной боли, Карла.

— Нездоровится что-то, — отрывисто сказал Росси. — Сейчас не до разговоров, Митя, как бы нам не опоздать.

И Росси стал распоряжаться окончательным украшением костров. Когда окончили, Митя отбежал, чтобы прочесть по цветам обещанный Катрин мадригал, но, хотя он отлично проштудировал «язык цветов», — ничего не получилось.

— Как же у вас тут построен стишок, Карл Иванович, — постичь не могу... Либо эти лилии не у места, либо шарлаховый тон тех бутонов... Уж нет ли ошибки?

— Читать здесь совершенно нечего, Митя, — спокойно ответил Росси, — мадригала нет и не будет.

И, поймав безмолвный вопрос в глазах друга, предупреждая его нескромное любопытство, поспешно добавил:

— Я навсегда желаю забыть имя той, кому были предназначены стихи.

Митя слушал и укоризненно молчал. Росси, вспыхнув, поспешно добавил:

— Поверь, Митя, основание есть... Не спрашивай, не поминай мне ее...

Карл вдруг смешался. Он вспомнил, какой ценой Маша-Сильфида, невеста Мити, получила, наконец, сольную партию. Неужто сказать ему?.. Нет, он не мог нанести другу сердечную рану, так схожую с той, которую только что в аллее старых лип нанесла ему Катрин. Не глядя на Митю, он смог только вымолвить:

— Твоя Маша, сказал отчим, сегодня танцует с моей матерью в здешнем театре. Кажется, роль Амура...

— Извещен уже ею... — блаженно улыбаясь, сказал Митя. — Умудрилась цидульку мне прислать — назначила свидание после танцев, у Аполлона... И просьба моя к вам, Карл Иваныч: при-

дите туда же, когда зажгут фейерверки. Нам оттуда все будет видно превосходно, а я хочу в вашем присутствии взять торжественное обещание с Маши, что она будет меня ждать непоколебимо среди всех соблазнов. Чай, теперь их у нее прибавится... Не подумайте плохого о Маше, Карл Иваныч, я попрежнему в ней уверен. Но именно ваше присутствие как свидетеля — это новый шаг, закрепляющий пока духовные наши узы. Мы оба вас ценим безмерно, вы мне — как старший брат.

Росси глянул в добрые восторженные глаза Мити, крепко пожал руку и горько подумал: еще немного часов — и конец его радости.

— Да, Митя, я непременно приду к Аполлону.

— Карл Иваныч, я оставшиеся белые розы отдам вечером Маше — ведь можно?

— Конечно, Митя, отдай...

Послышался звук трубы — сигнал для общего сбора на празднество. Росси и Митя быстрым шагом пошли к дворцу.

Эскадрон конной гвардии был уже размещен по пути следования на парадный плац. Кавалеры и командоры, приехавшие из Петербурга, в супервестах прошествовали по два в ряд.

Павел под звуки труб и литавр в большой тронной зале дворца занял вместе с женой места на троне. Великий сенекал Нарышкин, чья должность соответствовала гофмаршальской, поднес Павлу на золотом блюде факел. Пажи вручили факелы всем прочим, и процессия двинулась к кострам.

Росси хорошо видел издали всю церемонию сожжения костров. Процессию открывал церемониймейстер Ордена, тот самый, который его вычеркнул из списка. Сейчас его незначительное, мелкое лицо было важно, и сам он в нарядном облачении как будто стал выше ростом и дороднее.

За ним, по два в ряд, начиная с младших чинов, шли капелланы. Кто-то из толпы людей, стоявших сзади Росси, скрытый уже наступившей темнотой, отчетливо называл чины и достоинства, с особенным удовольствием выговаривая трудные, никому не понятные звания:

— Вот эти расшитые, с лентами — кавалеры Большого Креста, а те — конъюнктуальные капелланы... кавалеры по праву российского приорства — свои, русские, они от государя направо, а католики с левой стороны.

И заспорили, что почетней: правая рука, десница, старше левой, но зато левая ближе к сердцу.

Вся процессия, торжественная и нарядная, три раза обошла вокруг девяти костров. Росси знал, что для большинства придворных эта церемония была смехотворна, и даже вечный страх пред внезапностью гнева государя сейчас не мог сдержать то тут, то там насмешливых улыбок и перемигивания.

Но большинство пыталось истово исполнять ритуал, как службу, как новый вид фрунтовой повинности. И только один император, в роскошном облачении, в тяжелой короне на полысевшей голове, высоко подняв курносое лицо, с вдохновенной молитвой смотрел в небо. Он веровал в спасительную силу обряда мальтийских рыцарей.

Когда император остановился, великий сенекал взял из рук его факел, зажег его и вручил ему обратно. Камергеры подошли к членам совета, и когда огни вспыхнули у всех, Павел возжег первый костер.

Мария Федоровна, княжны, придворные девицы и дамы смотрели на торжество из роскошной палатки черных, белых и красных полос.

Вечер был прелестной нежности, без ветерка, и с веселым треском горели костры. Купы дерев, искусно расположенных Камероном, живописно освещались живыми языками пламени. Вдруг взвились разноцветные ракеты и, добежав до середины потемневшего, но еще прозрачного неба, как бы завидя оттуда покинутую отчизну, стремглав упали в веселые воды Славянки. Император, отстояв, сколько полагалось по ритуалу, перед пламеневшими кострами, пошел садиться в золотую карету. Сквозь стекла ее, в которых дрожали багровые отсветы, Росси видел все то же лицо, застывшее в экстазе, и золотую корону в бриллиантах.

Росси в раздумье тихо шел по тропинке к храму Аполлона и невольно остановился, когда ему путь пересекла Катрин. Она была одна и, видимо его давно заприметив, с намерением здесь поджидала.

— Ваши цветы на гирляндах ни по какой азбуке мне ничего не сказали. Отчего же вы не держите обещания? — сказала Катрин кокетливо, но с заметной досадой.

Карл ответил ей холодным, отстраняющим голосом, сам себе дивясь, куда вдруг ушло недавнее чувство:

— По вашей вине у меня пропала охота сказать вам что-либо не только на языке цветов, а простыми словами...

— Какая немилость, — насмешливо сморщила губы Катрин. — Что же, в вашем сердце другая?

— Во всяком случае — единственной в моем сердце больше никогда не будет. Вы меня излечили навсегда. Как у всех, у меня отныне будут многие... но не одна.

— Что за дерзости... чем они вызваны?

— Извольте, скажу — и на этом мы кончим. Несколько часов тому назад я в старой липовой аллее собственными ушами слышал, как вы с вашей подругой торговали моей персоной. Вы с ней условились поочередно играть со мною в любовь, предварительно женив меня на титулованном уроде...

— Так это вы обрушили на нас целый водопад листьев и сору? — Катрин несколько смущенно засмеялась, все ещё не веря серьезности Карла. — Месть дикаря. Ваш вкус надо развить... Хотите, я этим займусь?

Карл церемонно поклонился:

— Я предпочитаю руководствоваться вкусом собственным.

— Но, Карл, вы не так меня поняли...

Катрин впервые и очень нежно назвала его по имени, но Росси, поклонившись ей еще раз, не оглядываясь направился к колоннаде Аполлона.

Статуя Аполлона стояла в двойном круге благородных дорических колонн. Мягкое журчание каскада, большие камни, поросшие мохом, — все вместе, овевая поэзией, переносило в древние века оживленной богами природы.

Карл Росси шел и думал, что как у него, так вот сейчас рушится и первая любовь его друга — Мити. Успел ли он отдать белые розы невесте?

Развалины Аполлонова храма освещены были луной, и не мог Карл не подумать, насколько этот серебряный вкрадчивый свет благородней разноцветных огней только что отгоревшего фейерверка.

Чуть голубели, светились фосфорным светом колонны старого дорического ордена, и среди них на высоком цоколе стоял юный бог, совершенство соразмерности и гармонии. От лунного света бронза, из которой Аполлон отлит был Гордеевым, не утратив точности контуров, как бы окуталась легчайшей дымкой и утратила свой вес и плотность. Дополнить чудесную картину могли только звуки какой-нибудь воздушной золотой арфы. И Карл болезненно вздрогнул, услыхав чье-то отчаянное, полное большого горя рыдание...

Митя лежал на скамье, зажав в ладони лицо, и плакал, как ребенок. У ног его на каменных плитах, особенно ярко освещенные луной, белели не поднесенные невесте розы.

Карл приподнял со скамьи и безмолвно обнял друга.

— Все кончено между нами, — сказал Митя. — Она получила свободу из рук князя, меня слишком долго ей ждать... О проклятая наша жизнь!..

— Не кляни ее, Митя, — сказал твердо Росси, — наша жизнь только что начинается... И, может быть, хорошо, что начинается с такой горькой личной утраты. Искусство ревниво... отдадимся ему без оглядки. У нас с тобой одна судьба...

Митя горячо прервал Карла:

— Нет, Карл Иванович, у нас не одна... У нас с вами разные судьбы. Вы — великий талант, им вы ответите миру. А я — человек обыкновенный. Я в художники пошел ради невесты, со-

блазнился скорей ее выкупить. Настоящего призвания у меня нет. Мне суждено другое...

Митя совсем оправился. Теперь он шагал взад и вперед, освещенный луной. От ее света он сам становился серебряным, а попадая в тень, внезапно потухал. Митя остановился перед другом:

— Карл Иванович, пока людей возможно продавать, как скотов, пока можно отнять невесту, потому что нет денег для ее выкупа на волю, я душу мою положу, чтобы с этим бороться. Не знаю, как, не знаю, где, но я путь найду.

Карл обнял Митю, и долго молча стояли два друга перед цоколем бесстрастного бога гармонии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Двадцать девятого июня, на Петра и Павла, как обычно, была блестящая иллюминация в Павловске — день ангела императора.

Укрытые цветущими кустами придворные певцы и певицы распевали стихи Нелединского-Мелецкого:

Сторона, как мать родная,
О возлюбленно Павловско...

И еще другой стишок, полный детской преданной любви, исторгавший из очей чувствительной Марии Федоровны слезы и умилявший самого государя:

Наш надёжа государь,
Нас скрывает в свою пазушку:
Отирайте, мои детушки,
Вы с очей горячи слезушки,
Подбивайтесь, мои милушки,
Под мои ли теплы крылушки.

Защитительные костры Ивановой ночи все еще оказывали на Павла свое благодетельное влияние. Непоколебимой пребывала в нем уверенность в особой охране и личной безопасности. Патер Грубер, ежедневно вручая искусно им приготовленный «иезуитский шоколад», проникновенно напоминал, сопровождая слова ласковым внушающим взором, что отныне вокруг гроссмейстера Мальтийского ордена, главы рыцарей всего мира, незримо присутствует небесная стража.

Павел, получив долгожданный покой, отогнал от себя подозрительность. С благожелательным вниманием слушал он доклады своих вельмож — то ли на террасе в саду, то ли в Камероновом изящном павильоне Трех граций.

Однако в начале августа злая судьба словно позаботилась замутить его недолгие светлые дни.

Распустил некто слух, что будет тревога, солдатам она вдруг почудилась, и с примкнутыми штыками они ринулись вверх по горе со стороны трельяжа. Здесь их остановил сам Павел, катавшийся неподалеку верхом. Слегка побледневший, но вполне владея собой, он похвалил за порядок семеновцев и отечески пожурил преображенцев за то, что бежали вразброд.

Мария Федоровна плакала. Ее губы, еще сохранившие свежесть, дрожали, и жалобным, тонким голосом, который в первые годы брака заставлял Павла исполнять немедля желанья супруги, а сейчас раздражал, словно писк комара, Мария Федоровна просила:

— Запретите, мой друг, собираться толпе. Когда эти люди мчатся вперед, как бизоны, я их ужасно страшусь. Сигнал к тревоге исходить должен только от вас. От монарха...

Государь любезно согласился с женой. Благодарил за усердие окружившие дворец столь поспешно войска и в причину тревоги углубляться не стал. Но удалившись в свою опочивальню, внезапно охвачен был приступом оставившей было его подозрительности.

Можно ли было верить Марии Федоровне, жене, которая могла в свое время скрыть от него, супруга, что Екатерина принуждала ее дать свое согласие на лишение его насильственно престола?

После смерти матери сам он нашел этот документ. Когда Мария Федоровна после родов младшего сына, Николая, еще оставалась одна в Царском Селе, матушка потребовала у нее подписи на заготовленном акте его предполагаемого отречения. Правда, самой подписи жены не стояло, было только обозначенное, заготовленное для нее место, — и Мария Федоровна уверяла, что Екатерина сильно разгневалась по поводу ее отказа, а она сама все это дело скрыла от него, Павла, из великой к нему любви, оберегая его чувства к матери.

Отказалась... Павел горько усмехнулся. Свои расчеты у нее: участвовать в лишении престола отца ради сына не захотела, но, при ее тщеславии, о престоле для себя самой мечтает. Пример не за горами — ведь тридцать четыре года царствовала незаконно, после смерти Петра Третьего, его матушка. Россия слишком привыкла к правлению женщин... И Павел не выполнил просьбы Марии Федоровны, не запретил сбираться по неизвестно кем данной тревоге, указал только место для сбора.

Загадочное происшествие вскоре опять повторилось; царская семья, вся бывшая на прогулке, поражена была криками, суматохой, вразброд устремившимися к замку гусарами и казаками. Павел кинулся к назначенному пункту, произвел дознание —

оказались сущие пустяки: рожок почтаря ошибочно приняли за сигнал, барабанщики ударили в барабан, полки двинулись.

Но окружавшие его солдаты с неподдельным простодушием такое выразили о нем беспокойство, что Павел до слез был растроган. Вот солдатам он верил, а жене, едва глянул в ее глаза, изображавшие верность до гроба, — не поверил. И как делал раньше, не желая слушать придуманных ею домыслов, убежал скорее вглубь парка.

Нет, сколь ни борется он с собой, нет больше здоровья душе! Видать, неизлечимым осталось то глубочайшее потрясение, которому был подвергнут родной матерью почти в день смерти его первой, так беззаветно, так молодо любимой жены Натальи Алексеевны.

Видать, навеки разбил его сердце и помрачил разум тот страшный миг, когда матушка сочла нужным сообщить ему с неотвратимыми доказательствами об измене ближайших ему людей — любимой жены и друга ближайшего Андрея Разумовского...

Быть может, этой внезапностью потрясения она хотела свести с ума нелюбимого сына, вечного наследника, как звала его, рассердясь, Мария Федоровна, и уже на основании законном объявить его лишенным престола...

Вот она — незаживающая рана. Порой сдается, что затянулась, что все в прошлом, все позади. Но вот малейший повод — и все горше прежнего. Ведь если Мария Федоровна еще так недавно, хоть сгоряча, но могла ему сказать: «пожилой вечный наследник», — сколько чувствует она как женщина к нему в своем сердце презрения! И поставить себя на его место, захватить трон, как сделала его мать с его отцом, — ужели не приходит ей в голову?

Если первая, любимейшая жена, первейший друг могла так предать, а родная мать — нанести смертельный сердцу удар, что ждать от этой весьма тщеславной спутницы жизни?

А ведь основой чувства его было с юности — великодушие, щедрость, любовь. Да еще недавно... разве не эти качества толкнули его обласкать своего врага лютого — Платона Зубова? Тронулся рыданием его над телом покойной царицы, поднял его, с неистовым чувством при всех вскрикнул:

— Кто старое помянет — тому глаз вон!

Дворец подарил Зубову. Из кабинета двора приказал заплатить тайному советнику Мятлеву за тот дом сто тысяч. За обедом здравицу врагу лютому возгласил:

— Сколько капель в сем бокале, столько лет тебе здравствовать!

— Ни в чем меры не знаю... — горько прошептал Павел и погромче сказал:

— Нет, не прошла обида на Зубова. Внутрь загнал ее, а она вдвое лютей.

Вот они, старые охотничьи домики. Сюда спасался в тот страшный день, когда Зубов за обедом у матушки оскорбил, а она не вступилась.

Забавно рассказал что-то за обедом Зубов, и Павел, позабыв свои злые с ним счеты, весело засмеялся, а тот, приняв несносный свой чопорный вид, дерзко вымолвил: «Сморозил я глупость, что наследник изволит веселиться?» Не оборвала мать фаворита, напротив, своим молчанием подтвердила мнение, что сын — дурачок и до сознания его доходить могут одни глупости.

Воскрешенная памятью обида — что снежный ком: двинулся невелик, а докатился до подножия горы — сам горой стал.

Плетей достоин тот Зубов, а он, император, Дон-Кихот наших дней, дворец ему жалует, придворную ливрею, чтобы покрепче запомнили: через матушкину спальню Зубовы с ним породнились, одного корня стали.

И вот не удержался, гневный приказ вырвался сам собой: генерал-фельдцехмейстера графа Платона Зубова — вон из службы. Вон из России, за границу, в свои литовские именья пусть убирается.

Чорт его веревочкой с этим фаворитом матушкиным связал. Несет проклятье его судьбе этот человек. Вот сейчас кабы новой беды не накликал.

Самый выезд Зубова за границу вплел зловещее звено. На его путь императорский бросил черную предостерегающую тень: вызвал бешеный гнев на барона фон дер Палена. Роковой этот гнев, ибо он вызван в самый день закладки Михайловского замка, последней твердыни, оплота от предателей.

Через Ригу должен был въехать польский король Станислав-Август, ему готовилось торжество, встречи, парадный обед. Но король чего-то замешкался, вместо него объявился в Риге Зубов. И вот ему как русскому важному генералу рижские бюргеры воздали королевскую честь, — не пропадать же закупленным на парадный обед яствам и винам.

Павлу обо всем последовал донос, а от него немедля приказ: выключить со службы барона фон дер Палена.

Но по тайному учению масонскому, ему известному, если при закладке нового здания омрачен дух закладчика гневом, нет и не будет делу успеха. Ничто, предпринятое в гневе, на пользу не пойдет. Еще хорошо, что не кто иной — свой, верный человек под его гнев подвернулся.

Фон дер Пален сейчас — граф и военный губернатор города и человек ближайший, доверенный. Этот не предаст.

Сейчас Мария Федоровна на очереди, она всех больше мучает. Но когда же собственно с ней началось?

Оглянувшись, увидал вблизи скамью Оленьего мостика: вот на этом месте еще в прошлом году впервые сам себя испугался, потому что назвал свою болезнь. Имя ей — безумие. До тех пор носил в себе, и не называл, и не ведал, что это болезнь.

Павел не сопротивлялся воспоминаниям, и они влекли его неумолимой своей постепенностью...

Прошлой осенью были большие маневры в Гатчине — любимые угрюмые места, верные гатчинцы. Все вышло удачно, всем остался доволен. Отдохнул душой и приехал обратно веселый к своей семье в Павловск. Радовался всех увидать, и даже наследника Александра.

Первенец, любящий сын, кто смеет на него клеветать?

И почему ему не быть любящим сыном? Разве претерпел он от отца то, что самому Павлу пришлось претерпеть от матери, великой императрицы? Нелюбовь ее, оскорбительную скупость, в то время как на очередного фаворита миллионы бросала. Кто был он при матери? Незаконно лишаемый трона, преследуемый призраком убитого отца. Прочь, прочь недоверие к Александру!

После успешных гатчинских маневров поехал в Павловск. Было отменно приятно, спокойно на душе, но вдруг странно поразило, что никто из домашних при въезде его не встречает. Однако не рассердился, а, озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все.

А произошло то, что супруга Мария Федоровна, в своей немецкой сентиментальности припомнив, как любили у нее в родном Этюпе всякие нежные сюрпризы, придумала устроить ему встречу в костюмах и гримах. Некий, словом, затейливый домашний машкерад.

Когда, уже не на шутку встревоженный, он далеко впереди свиты почти побежал ко дворцу, вблизи Крика раздалось пенье, чудеснейший хор. И тотчас некий авантажный мужчина, вроде хозяина дома, стал, низко кланяясь, приглашать почтить его посещением.

— Верно, Нарышкина затеи... посмотрим, чего начудил, — сказал свите император, развеселясь и входя сам в игру.

Тут окружен был он хористами и завлечен ими в хорошенький сельский домик под пение:

Где же лучше, как не в недрах собственной семьи...

И на пороге дома кто-то в сладостных слезах радостной встречи пал ему в объятья.

Батюшки, супруга Мария Федоровна! Отяжелела, сударыня, однако ловко ее подхватил и любезно оглянулся, слушая концерт нарядных маркиз и маркизов. И вдруг всех узнал: скрипач — Александр, певица — его супруга Елизавета Алексеевна, а дочери — кто за арфой, кто за органом.

— Ловко средь бела дня сумели меня одурачить, — то ли в похвалу, то ли с осуждением вымолвил.

Сразу и не разобрал, кто кем наряжен. Обошли, слов нет, обошли. А в шуточном сумели, сумеют и в главном. В том, чего тайно хотят и сын и жена. Престола хотят...

Схватило удушье, предвестник великого гнева. Того, с которым не справиться. Поражая всех, вдруг вырвался из объятий, выбежал, хриплым голосом крикнул: «Не сметь за мной!»

Сам себя испугался. Убежал, чтобы не отдать приказа Кутайсову: «В крепость тех двух — мать и сына. В Шлиссельбург!»

Вот тут, на этой самой скамье, опомнился. И то, что медлил понять и назвать — свою несказанную муку, назвал: *безумие.*

Сейчас тихие над ним мерцали звезды. Всюду в парке был великий покой. Только речка журчала.

Нет, ни патер Грубер, ни костры Мальтийского ордена — ничто ему не в силах помочь. А без конца терпеть безумие на троне кто станет?

Недаром, когда рыли фундамент для возведения Михайловского замка, нашли монету чеканки считанных дней злополучного императора Иоанна Антоновича — плохое предзнаменование. Ужели бывают предначертанные, роковые судьбы? Но помирать, как одураченный, усыпленный всякими там машкерадами, — слуга покорный! Лучше сам я всех обдурю. Буду защищаться — я император, помазанник. Архистратиг Михаил — мой страж.

Павел поспешно вернулся во дворец, призвал архитектора Бренну и, не слушая больше никаких возражений о сырости, вредной здоровью, гневно приказал без проволочек заканчивать Михайловский замок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бренна дал Карлу Росси доверенность на вывоз всех чертежей, планов и рисунков заканчиваемой постройки Михайловского замка. Их надлежало передать на выставку в Академию художеств.

Душевное состояние Карла было отчаянное. Им владело одно желание — хоть на короткий срок бежать от этих мест, где его первое восхищение женщиной, первая юношеская любовь были так грубо поруганы. И казалось ему, это навеки лишило его надежд на счастье. И не отпускало ощущение, что рухнула защищавшая от пропасти цветущая ограда, и вот — под ногами бездна. Такое безудержное горе его охватывало порой, что кружилась голова и дело валилось из рук.

Присутствие Мити сейчас ему было желаннее всего. Оба без слов понимали друг друга. Митя окаменел в своем отчаянии, и Карл, чувствуя себя старшим, находил для него слова бодрости, которые вдруг стали помогать и ему самому. Он стал опять верить, что искусство выведет его из охватившей тьмы душевной...

Выйдя на Охте из экипажа, Карл и Митя сели в ялик и поплыли к Фонтанке, к Михайловскому замку. Яличник налег на весла, Митя взял другую пару. Карл сел за руль, ялик полетел, как чайка.

Высоко над горестями людей, прекрасные в своем бессмертии, стояли творения гениальных зодчих, и Росси невольно подумал, что, быть может, нужны человеку великие личные утраты как исходная точка для создания чего-нибудь большего, чем он сам. Митя снял шапку, и стриженные под скобку волосы, уже выгоревшие на солнце, как густой парик обрамляли загоревшее безбровое грустное лицо.

— Игла адмиралтейская, — слабо улыбнувшись, указал он веслом, — сколь стремительно пронзает она голубую высь!..

— Она — как сверкающий на солнце обнаженный меч, самим Петром подъятый на защиту города, так бы воспеть ее поэту, — подхватил Росси и привычным вниманием скользнул по коробовскому адмиралтейству.

— Живая история города и самого основателя навеки связана с адмиралтейством; сколько великих побед его вспомнит тут всякий, когда они прославлены будут барельефами, — и захват северных морей, и шведы... развитие торговли и промышленности.

Карл широко указал рукой на оба берега Невы:

— Чудеса наших зодчих. Да, если сам хочешь стать мастером, надо принять в себя, выносить в себе, как мать — ребенка, тоже не меньшее, чем они. Найти новое, подымающее этот чудесный город, пойти еще дальше в соразмерности частей, в гармонии — ведь здание строится навсегда и для всех людей. Непогрешима, как математика, должна быть работа зодчего.

— Куда же дальше этого? — указал Митя на Мраморный дворец Ринальди.

— Не могу тебе сказать, Митя, сам еще не знаю. Только повторять никого не стану, я найду свое слово в зодчестве, как ты давеча сказал мне, что найдешь в жизни свой путь.

— И послужу им родному городу, — тряхнув кудрями, повеселев, сказал Митя. — Как в сказке, по щучьему веленью воздвиг его здесь великий Петр. Что людей на работе легло! Дядя Хайлов сказывал, дед наш тут в основание тоже залег. На родных мне костях город наш... Дядя Хайлов монумент Петров с опасностью для собственной жизни, как вам известно, спас, ну, а мне уж не украшать город придется, а исправлять в нем великое зло бесправия.

И снова, как раньше, смелый, сильный, вдруг загоревшись румянцем, Митя спросил:

— Про Павла Аргунова ничего не слыхали, Карл Иваныч? Ведь он сюда приехал из Останкина.

— Очень хочу его повидать, — обрадовался Карл. — Большой талант этот Аргунов, с каким вкусом дворец в Останкине построил, а отделка комнат по его указанию восторг вызвала даже за границей. Недавно польский король Останкино посетил, говорят, сказал, что его дворцы много хуже.

— И у нас прославлен этот Аргунов, а сейчас, знаете, он кто? — Митино лицо дрожало от негодования, он отрывисто и гневно сказал: — Сейчас он поставлен своим барином здесь, в Фонтанном доме, надзирать за тем, чтобы гуляющие в саду не обрывали кустов малины и крыжовника. Да вот лучше сами его расспросите, он у Брызгалова сегодня будет, а нам ведь там ключи получать. Да вы меня не слушаете, все свое думаете...

— Запомни, Митя, — сказал Росси с некоторым волнением, — не одно здание, которое строишь, в центре твоего внимания: все пространство надлежит организовать вокруг. Весь окрестный пейзаж, все, что может глаз охватить. Здание — центр. Все, все связано с этим центром. Если весь город перестроить в новой, дивной гармонии, — я уверен, и люди, в нем живущие, найдут в душе своей великий покой. Найдут и порядок и силу самим что-либо сотворить. Ведь все, среди чего мы растем и живем, что видит наш глаз, слышит ухо, — нечувствительно образовывает наши чувства, ум и вкус. А творцом, Митя, каждый человек быть обязан. В чем, как, кем — его дело. Но обязан вырасти из себя самого и создать что-либо.

Карл оборвал речь, задумался. Яличник свернул на Фонтанку. Издали предстала громада яркокрасных, под заходящим солнцем как бы раскаленных, камней Михайловского замка. Митя с озорством воскликнул:

— А все-таки насколько слабее великих зодчих наш с вами учитель, Карл Иванович! Только что государю сумел угодить.

— Ты слишком строго... — прервал Росси. — Можно найти точку, с которой и в постройках Бренны открывается живописная перспектива.

— Вы же сами учили, Карл Иванович, что архитектура удачна, если в ней со всех точек здание хорошо. А уж чего-чего в этом замке не налеплено?

— И все-таки замок — уже необходимая принадлежность города нашего, значит, что-то угадано верно. Правда, трофеев многовато и единой композиции нет.

Винценто Бренна приехал из Варшавы, где занимался росписью плафонов арабесками. По началу он работал живописцем в Павловске, выполняя задачи Камерона. Он оказался незаме-

нимым в украшении придворного быта во вкусе Павла. Рукой мастера сочетал военные трофеи — орлов, венки, колчаны, полные стрел, гирлянды, оружие, — хотя рисовальщик был слабый.

Карл помнил свое старшинство и не хотел соединяться с Митей в осуждении учителя. Однако и ему давно наскучила назойливая напыщенность Бренны: бархатные его занавесы, марсиальные уборы, рыцарские доспехи. Но вслух он выразил только последнюю, обобщающую мысль:

— Русское зодчество сейчас словно в раздумье — вернуться ему к своему прошлому или искать новых форм. Но каких?

Яличник причалил вблизи законченного средневекового замка во вкусе императора Павла.

Росси пошел по узкой аллее между зданиями манежа и сразу наткнулся на расклеенные на столбах афиши сегодняшних спектаклей. Во французском театре шло «Дианино дерево» — перевод с итальянского придворного капельмейстера Мартини. В театре Гритри пела красавица Шевалье. Сводная сестра Карла была замужем за ее братом, и от сестры он знал, что одновременно пользовались успехом у красавицы певицы император и его камердинер Кутайсов. Мать Карла Гертруда Росси сегодня не танцовала, и он решил зайти к ней, чтобы вместе ехать в Павловск.

Карл и Митя вошли в портал на восьми дорических колоннах красноватого мрамора. Трое решетчатых ворот между гранитными столбами, вензель Павла в кресте Иоанна Иерусалимского, орлы, венки, гирлянды из вызолоченной бронзы, — на это Бренна мастер, — так и пестрят в глаза. Средние, главные ворота распахиваются только для семьи императора, — вошли слева в аллею из лип и берез, посаженных еще при императрице Анне Иоанновне. Налево экзерциргауз, направо конюшни. Аллея упирается в два павильона, где живут чины двора.

— Что, мы сразу зайдем к Брызгалову, — спросил Митя, указывая на окно комнаты кастеляна Михайловского дворца, — или обежим постройку?

— Обязательно обежим, давно я тут не был, — задумчиво огляделся Росси.

Прошли через ров укрепления на площадь Коннетабля.

Привычным общим взглядом охватил Росси возвышавшийся перед ним правильный квадрат, со всех сторон окруженный рвами в гранитных одеждах. Пять подъемных мостов переброшено было через рвы.

— Не алый, не пурпуровый, а какой-то сказочный, драконовой крови этот цвет. Точно ли говорят, — спросил Митя, — что это наш император навеки закрепил свою рыцарскую любезность по отношению Анны Гагариной? Будто явилась она на бал в такого цвета перчатках, а он тотчас одну из них послал как обра-

зец составителю краски для Михайловского замка, для наружных дворцовых стен.

— Похоже на правду, — усмехнулся Росси, — но лучше бы этот цвет остался только на перчатках Гагариной, — там он много уместнее, чем здесь. Однако вообрази, Митя, сейчас я уже полюбил эту багровую груду камней. Полюбовался как-то этим пламенем среди темнозеленых кущ при закате солнца, полюбовался приглушенными, неожиданно мягкими, теплыми тонами среди серебристого петербургского тумана — и понравилось. И уже неотъемлема от лица нашего города мне вся эта громада.

Росси указал на торчавшие при самом входе в замок два обелиска из серого мрамора. Они вырастали до самой крыши. Но по бокам в маленьких нишах стояли несоразмерные с общим мизерные статуи Аполлона и Дианы. Повыше шел фронтон паросского мрамора работы братьев Стаджи, изображавший Историю в виде Молвы. Еще выше две богини Славы держали герб императора Павла. И опять обилие вензелей, какое-то страстное утверждение своего имени.

— Не по душе мне, Карл Иванович, поверх всего этого железная крыша, выкрашенная притом зеленью, — ворчал Митя.

— Да и ряд плохих статуй с коронами и щитами не украшает, а только тяжелит, — запрокинув голову, отметил Росси. И медленно прочел на порфировых плитах фриза:

«Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней».

— Карл Иванович, — совсем уже шопотом сказал Митя, склонившись к его уху, — знаете, что про эту надпись в народе пущено? Богомолка сказывала... будто юродивая со Смоленского кладбища прорекла: сколько букв сей надписи — такова долгота лет и императора. А ну-ка посчитайте, сколько букв.

— Ерунда, Митя! — воскликнул Карл.

Однако буквы сосчитали оба, проверили — сорок семь.

— Тоже выдумал — богомолок слушать, — досадливо сказал Росси и, обойдя замок со стороны Летнего сада, остановился перед круглой лестницей из сердобольского гранита, которая вела в обширные сени с мраморным белым полом и дорическими красноватыми, тоже мраморными, колоннами.

На площадке лестницы по обе стороны стояли великолепные статуи Геракла и Флоры, вылитые из бронзы в Академии художеств.

На гранитных консолях две бронзовые вазы, аттик с шестью кариатидами, обширный балкон над колоннадой и барельеф работы Лебо из белого мрамора. Все это было прекрасно, взятое отдельно, но не давало того общего стиля, единого вздоха, который восхищает в архитектурном совершенстве.

И, пытаясь разъяснить Мите, почему получилось столь путаное нагромождение, Росси извиняющим тоном сказал:

— Бренна не вполне виновен. Он уверяет, что так именно расположить статуи и обелиски ему приказал сам император.

От долгого неудобного положения задранной вверх головы Карл вдруг ощутил, как она у него болит, как вообще он разбит, как устал пред людьми и самим собой делать вид, будто ему совсем легко от погибшей любви, от обидного легкомыслия своей матери.

В мозгу настойчиво, как жужжанье злого веретена, застучали слова: Карло-Джакомо Росси... сын итальянки, отец неизвестен. По-русски без отчества нельзя, и ему из второго личного имени Джакомо сделали Иванович. Никакой отец по имени Иван ему неведом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Чертежи и планы, которые надлежало отвезти на выставку в Академию художеств, были сданы на хранение кастеляну Михайловского замка Ивану Семеновичу Брызгалову, человеку примечательному, известному всему городу.

Сын крестьянина Тверской губернии, он поступил в истопники Гатчинского дворца, когда Павел еще был наследником, и привлек его внимание тем, что с неописуемым восторгом, раскрыв рот, следил, как печатали свой шаг гатчинцы. Созвучие родственной души было у него с Аракчеевым, и столь же, как тот, оказался и Брызгалов «без лести предан». Вскорости он был сделан камер-лакеем, а затем и гоф-фурьером. В дни воцарения Павла Брызгалов в своем звании явился в Петербург, где пожалован был уже в обер-фурьеры Михайловского замка.

Как только замок достроился, Брызгалова, как лицо доверенное и проверенное, назначили кастеляном внутренних дворов с обязанностью наблюдать за своевременным поднятием и спуском мостов над каналами, которыми замок был окружен.

Брызгалов женился на дочери одного из придворных служителей Зимнего дворца и немедленно превратил свою жену в боязливую рабыню, неустанно попрекая ее, что цвет красный, присвоенный ливреям Зимнего дворца, где был ее отчий дом, ниже краской, беднее, чем цвет малиновый, который император утвердил за одеянием дворцовой службы Михайловского замка.

Брызгалов, мелкая пылинка, попавшая в орбиту самодержавного солнца, был, как и царственный хозяин его, охвачен болезненной манией величия и, по мере своих возможностей, воплощал ее в свой быт.

Одевался с иголочки по форме, в руках носил саженной вышины трость для представительства. Двое мальчишек, рожден-

ных от жены-молчальницы, обращены были в рабов и слушались мановенья его бровей.

Когда Росси и Митя постучали в дверь, им открыла молодая, но преждевременно увядшая женщина с грудным ребенком на руках. На вопрос, дома ли Иван Семенович, потупясь, ответила:

— Во дворце они, на приеме. Их двое уже ожидают. Присядьте и вы.

Она провела в комнату, которая окнами выходила на площадь Коннетабля, а сама скрылась в детской.

В приемной действительно сидели двое. Один из них — европейского вида, хорошо одетый человек лет тридцати, с умным и тонким лицом художника.

Завидя Росси, он стремительно двинулся ему навстречу.

— Павел Иванович, дорогой, — ответил Росси дружеским объятием, — до чего рад тебя видеть!

— Да я уж два дня как приехал. Справлялся о тебе у твоего отчима, а он в ответ только рукой машет, словно ты какой стал беспутный. Я грешным делом подумал, не пустился ли ты зашибать от огорчения какого или по слабости? Да нет, ясен ликом, как некий греческий бог.

— Какие бы огорчения на меня ни сваливались, я никогда не запью, — сказал с твердостью Росси. — Не сдаваться жизни хочу, а ее побеждать.

— Легко тебе гордо чувствовать — ты рожден свободным, — горько усмехнулся Аргунов и указал на сидящего на скамье человека довольно странного вида. — А вот нам с Артамонычем без шкалика хоть в воду!

Сидевший на скамье вскочил и стал весело кланяться. Он был острижен празднично, «под горшок», волосы смочены квасом. Поддевка, хоть из дешевеньких, — новая.

— Вот, рекомендую, — сказал Павел Иванович, — изобретатель. Шутка сказать — самокат выдумал. Из своей Сибири по нашим-то дорогам на нем прикатил.

— Дороги, что говорить, родовспомогательные, — кивнул Артамоныч.

— Полагаю, не везде пехтурой, где и подвозили тебя вдвоем с самокатом? — подмигнул Павел Иванович. И, повернувшись к Росси, отрекомендовал: — Зовется он — Иван Петров Артамонов.

— А ей-богу, не подвозили, — веселой скороговоркой зачастил Артамонов. — Деньги нужны в мошне, чтобы подвозили, а у меня в кармане — вошь на аркане да блоха на цепи. Сейчас в разобранном виде моя машинка, а как соберу ее, просим милости поглядеть. Авось в грязь не ударим!

— Кому-кому, а тебе надо ладиться уж только на победу: сам знаешь, либо пан, либо пропал — перед государем нельзя тебе сплоховать.

Росси с интересом оглядел изобретателя. Был он сухой, среднего роста, с лицом остреньким, как у лисички. Глаза умные, с быстрым, легким взглядом. Глянут — сразу все высмотрят.

— Это, значит, про вас мне на днях говорил Воронихин? — осведомился Росси. — Не у него ли вы и остановились?

— А как же не у него, когда мы с ним во всем городе только и есть земляки. У них и стоим, у господина Воронихина, пока его величество перед свои очи не потребует.

— Император заинтересован его выдумкой, — пояснил Аргунов, — прослышал от кого-то, приказал выписать. Все сейчас ему предоставлено, чтобы он мог свою машину в совершенном виде представить. В случае успеха посулили дать вольную не только ему — всей семье.

— А сорвется дело, — с привычной усмешкой сказал изобретатель, — ежели мы, к примеру, опростоволосимся, — плетьми угостят, не хвались!

Митя взволновался.

— За самокат дадут вольную? И всей семье посулили? Иван Петрович, да неужто?

— Царское слово — закон, — важно сказал самокатчик.

— Такие милости у нас всегда по капризу даются... — Аргунов, видимо волнуясь, подошел к Росси. — Иной талант, за границей прославленный, с отменным образованием, как мой отец и мой дед — знаменитости, да я сам только что королем польским за работу прославлен, — как были рабы, рабами умрем.

— Вы, Павел Иванович, блистательно закончили Останкинский дворец, — деликатно желая перевести разговор в другое русло, сказал Росси. — Я от самого императора слышал: феерия — не дворец. И какие великолепные празднества завершили окончание.

— А кончил я дворец строить, меня граф откомандировал сюда сопровождать обоз мебели. Дни свои проводить стану подручным у Кваренги по перестройке Фонтанного дома. Ну, это еще терпимо: понижение в работе. Но торговаться с вашим отчимом насчет продажи его павловской дачи графу — много хуже. Горячий и, простите меня, грубоватый человек ваш отчим, Ленинк. Вам, конечно, о продаже дачи известно?

Карл вспыхнул, но тотчас утвердительно кивнул головой. Ему о продаже дачи мать и отчим еще ничего не сказали. «Ну что же, — подумал он, — отличный случай окончательно отделиться от родных и начать вполне самостоятельную жизнь. Давно нет родного дома...»

Росси овладел собой и, отстраняя досадные мысли, с искренним восхищением стал хвалить убранство Останкинского дворца:

— Все свидетельствует о совершенстве вашего вкуса, Павел Иванович, о вашем великом таланте декоратора...

— А вот ихний граф, знать, невысоко ценит талант, — неожиданно тонким голосом сказал самокатчик, — простую баньку им по-черному для людей заказал выстроить, это после расчудесного их дворца! Да это же так, словно б цветистую бабочку запрячь воду возить!

Он захохотал, но тут же застыдился, умолк, из угла стал глядеть волком.

— Должность крепостного архитектора таит в себе большие опасности, — мрачно проговорил Аргунов, — и чем он даровитей, тем горше его судьба. Пройдет у барина каприз строить, и он вчерашнего творца, которым восхищалась хотя бы и Европа, повернет, не моргнув, в лакеи, в свинопасы.

Аргунов прошелся по комнате и стал перед Росси.

— Вот бегаю я сейчас, как мальчишка, достаю для дачи образцы обоев, чиню мебель, которую любой столяр лучше меня чинить может. А как подрядчик ремонт затянул, мало считаясь с моими только что признанными заслугами, через канцелярию прислал граф мне лично позорный выговор с наложением смехотворного наказания, заставившего меня вспомнить детство, когда за шалости мать без сладкого оставляла.

— А ну-ну, какое такое наказание? — с веселым любопытством спросил Артамонов.

— Граф приказал снять меня со «скатертного стола», то есть с улучшенного довольствия, и перевести на харчи, общие с прислугой. Самое же обидное, что ничего я не строю с той самой минуты, как зарекомендовался первоклассным строителем.

Аргунов сел на место рядом с Росси и, невесело ухмыляясь, сказал:

— До нелепости сужен сейчас круг моей деятельности. Приставлен я, кроме всего прочего, к наблюдению за гуляющими в Фонтанном саду, дабы они фруктов, вишен, малины не рвали...

— Вот тут и запьешь горе водочкой, — щелкнул изобретатель себя по горлу, доканчивая речь Аргунова.

— Но ведь граф Шереметев не невежда, — возмутился Росси, — он учился в Лейденском университете, в искусстве, несомненно, понимает. Как же так грубо третировать художника?

— Понимание искусства не препятствует собственных крепостных художников считать своей вещью и распоряжаться ими как мебелью. Брат мой Николай, прославленный своими портретами фельдмаршала Шереметева и прочими, который на правах друга жил с барином за границей, — разве отпущен им на волю? Да о чем говорить, если сам Андрей Никифорович Воронихин вовсе недавно получил вольную.

Все минуту молчали, изобретатель убежденно сказал:

— Самокатами надо свободу себе добывать. Позабавишь барина, повеселишь, — он и размякнет. Господ потешать надоть,

чтоб от них резону добиться, аль как наши сольвычегодские...

Самокатчик вскинул волосами, плотно сжал губы и страшновато подмигнул.

— А как же сольвычегодские? — насторожился Митя.

Самокатчик быстро оглянулся, пригнулся к Мите и шепнул:

— Митрополита Иакинфа тюкнули... Еще при покойной царице дело вышло. Несуразную барщину налагал монастырь. Терпели мужички, сколько хватило терпения, впоследок времени — тюкнули.

В дверях выглянуло испуганное лицо жены Брызгалова, и, словно на пожар, она крикнула:

— Паша, Саша, тятеньку встречать!

К изумлению присутствовавших, из-под ног, как собачонки, выкатились мальчишки-погодки. Они под скамейками играли в карты. У обоих были громадные головы в кудрях, круто завитых наподобие парика, желтые канифасовые панталончики, заправленные в желтые сапожки с кисточками на кривых, обручем, ногах. Нацепив на голову один — игрушечную казацкую шапку, другой — кивер, они, как были, в одних пунцовых шпензерах, кинулись на двор.

— Хозяйка, дети ваши простудятся, — крикнул женщине Митя.

— Они привычные, — равнодушно отозвалась хозяйка.

Через некоторое время мальчики вновь появились в сопровождении папаши Брызгалова. Паша нес его огромную бамбуковую трость с темляком на золотом шнуре, другой — Саша — нес треуголку с широким галуном.

У Брызгалова было сухое, морщинистое бурокрасное лицо, с крючковатым, узким как клюв, синеватым носом. Из-под напудренных широких бровей блестели черные быстрые глаза, костлявый подбородок начисто выбрит. Он походил на какую-то беспокойную нарядную птицу. Брызгалов важно поклонился и сел в кресло, а сыновья стали по сторонам. Отец отпустил сыновей мановеньем руки и осведомился у Росси, зачем пожаловал. Услышав, что за чертежами, встал, прошествовал в комнату. Долго там возился, так что мальчишки, шмыгнувшие опять под скамейку, успели, к забаве всех присутствующих, подраться, помириться и снова начать игру.

Брызгалов, переодетый в домашнее платье попроще, вынес чертежи и подал их Карлу.

— Все в сохранности, как было мне препоручено господином Бренной. Почтенный он зодчий по возрасту, и не к лицу б ему спешка. По пословице: поспешишь — людей насмешишь. А то и похуже, как у него с надписью над главным входом вышло. Читали вы?

— А что особенного в этой надписи?.. — уклончиво ответил Росси, желая послушать, что скажет сам Брызгалов.

— А то, что юродивая со Смоленского не сдуру о ней изрекла, вот что.

— И по-моему в надписи ничего необыкновенного нет, — нарочно подзадоривал Брызгалова Митя.

— В обыкновенном исчислении букв — вся необыкновенность, — тоном открывающего великую тайну, понизив голос, сказал Брызгалов. — Ваш учитель приобвык за эти годы тащить на стройку замка что ни попало. Ухватил, не разобрав, изречение, заготовленное для собора святого Исаакия, и водрузил в замке над главным входом. Число букв надписи — сорок семь, столько же и годков нашему государю. — Вернее — сёмый еще не ударил. Идет сёмый... в феврале ему стукнет.

Брызгалов обернулся на одни двери, на другие и, сильно труся, но и горя желанием поразить воображение слушателей, произнес значительно:

— Хорошо, коль благополучно сойдет ему этот годик. Плохие предзнаменования насчет этого дворца пророкла юродивая!

— Иван Семенович, уважаемый, поведайте нам... кто же мудрее вас в таких тонких делах разберется? — подольстился Аргунов.

— Только, чур, язык держать за зубами! — погрозил пальцем польщенный лестью Брызгалов и торжественно продолжал:

— Из предзнаменований перво-наперво виденье солдатово. Известно, что стоявшему на карауле в Летнем дворце явился в сиянии некий юноша и сказал: «Иди к императору, передай мою волю, дабы на сем месте заместо старого Летнего дворца храм был воздвигнут во имя архистратига Михаила». Донес солдат по начальству, довели до императора. Он солдата расспросил и сказал: «Мне уже самому известна воля архистратига, она будет исполнена». А кто есть оный архистратиг? — обвел всех строгим вопрошающим оком Брызгалов и сам себе важно ответил:

— Сей архистратиг изгнал из рая первых грехопавших людей, и самого дьявола поразил он мечом. Ему положено являться с той поры в местах, где готовится особливо злое дело... Ох, недаром великий предок, царь Петр Алексеевич, о своем правнуке тревожится. Всем известно виденье, которое было императору. Князь Куракин свидетелем. За границей сам государь про это рассказал — публично. Не раз, дважды сказал великий царь: «Бедный, бедный Павел!»

— А и впрямь — бедный, — сказал вдруг пришедший в волнение самокатчик. — Не ведает, что творит, сам себе яму роет — врагов с друзьями путает. Аракчееву, слыхать, потакает, когда он над покойной матушкой-царицей насмешки строит... Шутка ль, победные знамена екатерининского славного полка назвал во

всеуслышание — царицыны юбки? В Херсоне-городе сокрушен памятник Потемкину. В Новороссийскую губернию пришло, говорят, секретное предписание — до нашей Сибири молва донесла — тело светлейшего князя из склепа вынуть и псам кинуть...

— Уж это едва ли правда, — сказал Аргунов, — а что царствование он начал с великого кощунства над прахом матери и отца — это уж всенародно было...

— Даром не пройдет, говорят в народе, что вырыл прах отца, короновал и силком с матерью соединил, — подтвердил самокатчик.

— Расскажите, как вышло дело, Иван Семенович, — попросил Аргунов, — меня в городе не было, а из очевидцев кто ж лучше вашего изобразит?

— Для потомства запомнят молодые.

— Очень просим, — вежливо поклонился Росси.

Брызгалов не стал ждать, чтобы его упрашивали. Он любил рассказывать, когда хорошо слушали. Превыше всего почитал ритуал, фрунт, правило — за что взыскан Павлом, а к странному поступку императора у него было совершенно особое уважение. И в то время как все Павла осуждали за то, что он, вырыв прах Петра Третьего, облек его мантией, водрузил на голый череп корону и, в издевку над родной матерью, похоронил его заново с нею рядом, — Брызгалова поступок этот восхищал необычайно.

— Уж ежели рассказывать, так все по порядку, — сказал он, — и чтобы не было мне от вас никакой перебивки. Мать! — крикнул он по направлению комнаты, где находилась жена с маленьким, и стукнул своей длинной палкой в дверь. — Убери сейчас ребят!

— Пашенька, Сашенька, — молила женщина, но отроки забились глубоко и не обнаруживали признаков жизни.

Брызгалов пошарил своей тростью под скамьей, должно быть задел хорошо мальчиков, потому что оба, взвизгнув истошными голосами, тотчас прожелтели нанковыми панталонами и на четвереньках убрались к матери.

Засунув в нос понюшку табаку и основательно прочихавшись, Брызгалов начал:

— Всем вам известно, что императору Петру Третьему смертный час приключился в Ропше, как свыше объявлено было, «по причине геморроидальных колик». В народе же сильно болтали, будто Алексей Орлов ему саморучно жизнь прекратил и прочее тому подобное. Словом, тело его привезли в Лавру в бедном гробу, четыре свечи возжены были по сторонам гроба. На императоре всего облачения — поношенный голштинский мундирчик. Ручки в белых перчатках больших, на которых, многие тогда приметили, тут и там кровь запеклась — следы, сказывают, неаккуратного вскрытия тела. Предан земле был без пышности,

с одной лишь малой церковной обрядностью. Матушка-императрица не почтила своим присутствием погребения супруга. Да-с, так некоего разжалованного, лишенного короны и державы российской, хоронили горемычного Петра Федоровича...

И сколь похвальна сыновняя справедливая ревность об отце императора Павла! Ревность к восстановлению, хотя бы посмертному, прав отчих.

Тридцать карет, обитых черным сукном, запряженных цугом, каждая в шесть лошадей, выступали чинно одна за другой. Лошади с головы по самый хвост в черном сукне, при каждой свой лакей с факелом, опять-таки в черной епанче с длинным воротником, в шляпе с широченными полями, с крепом. И лакеи, с обеих сторон кареты, в таком же наряде, и кучера...

И в сих черных каретах сидели черные кавалеры двора и на бархатных подушках держали на своих коленях регалии.

Семь часов вечера в этом месяце — это мрак ночной. И смертный страх обуял, когда двинулась эта могильная чернота из Зимнего дворца в Невскую Лавру за два дня до вырытия из могилы Петра Третьего.

Не забыть этой страшной картины. Багрово горящие дымные факелы, зеленоватые от их света перепуганные люди.

Наконец тело императора Петра Третьего вырыто из могилы и купно с его старым гробом положено в богато обитый золотым глазетом новый гроб. И выставлено посреди церкви.

Брызгалов задумался, как бы заново созерцая все, о чем вспоминал...

— А дальше, Семеныч, — вымолвил просительно Аргунов, — ужели сегодня не докончите?

— А дальше, согласно церемониалу, вот что последовало: в пять часов дня император прибыл в храм в сопровождении великих князей, придворных, жены. Вошел в царские врата. С престола взял приготовленную корону и возложил на себя. Подошел затем к останкам родителя, снял корону с себя и возложил на него. Пусть осуждают, кто посмеет, я же полагаю, сим поступком сын восстановил упущенное пред отцом. Из останков же уцелели следующие предметы, — обстоятельно перебрал их Брызгалов: — кости, шляпа, перчатки, ботфорты.

— Какой ужас! — поеживаясь, заговорил Аргунов. — Коронованный скелет с его оскалом зубов, пустотой глазниц, в перчатках и ботфортах. Какой сюжет для картины!

Брызгалов, увлеченный последовательностью воспоминаний, не отвечая, продолжал:

— В карауле по обеим сторонам гроба стояли шесть кавалеров в парадном уборе. В головах два капитана гвардии, в ногах четыре пажа. И пребывало тело Петра Третьего в этой роскоши с девятнадцатого ноября по второе декабря. Дежурили непре-

рывно особы первых четырех классов. Все это было сделано в посрамление первоначальному нищему и безлюдному погребению.

Император Павел самолично был пять раз на панихиде. И всякий раз, открывая гроб, он прикладывался к руке покойного. Особо же торжественный церемониал был при перенесении праха.

Брызгалов встал и широко отставил руку с бамбуковой тростью:

— Все полки, все как есть полки армии и гвардии, которые находились в столице! — сказал торжественно, с такой важностью, как будто сейчас ему предстояло этими полками командовать. — Войска стояли шпалерами от Лавры до дворца. Произведен был троекратный беглый огонь. Пушечная пальба, колокольный звон по всем как есть церквам. Алексею Орлову, убийце, повелено свыше нести в собственных руках императорскую корону. Тут прилично случаю вспомнить... — Брызгалов таинственно понизил голос: — Ведь именно он, сей Орлов, и лишил Петра Третьего этой короны. Ищут его везде, дабы принял свою искупительную пытку, — нигде не находится. Исчез, растаял, словно сквозь землю от позора и стыда провалился. Вообразите, обнаружила его убогая старушка-нищая. Коленопреклоненный и рыдающий, укрылся он в тёмном углу за колоннами церкви. Вывели, принудили принять в руки корону. Плакал, шатался, а шел. Принял казнь.

Мороз был страшенный, один рыцарь печальный в латах, в кольчуге и забрале насмерть замерз. Но гроб Петра Третьего отвезли в Зимний дворец и поставили рядом с гробом Екатерины. Наконец оба гроба проплыли по нарочито наведенному мосту — от Мраморного дворца прямо в крепость.

Да, уважительный государь и не гордый! Давеча ко мне с каким делом прибег. Очень мучается он, что графа Палена в самый день закладки замка изругал, ногами на него топал, мучается, что в гневе закладку сделал. Хоть сейчас и возвеличен им Пален, но как государь во всякие приметы верит, то опасается, кабы вред от того гнева его не произошел ему в новом замке. Вот намедни призвал он меня и говорит: «К обедне сходи, Брызгалов, да вынь за него, за фон дер Палена, за раба божия Петра, просфорку, чтобы мне от него какой беды не вышло». — «Помолиться, говорю, завсегда рад, ваше величество, а только просфору вынимать неподобающе, как граф фон дер Пален, говорю, вроде нехристь — лютеран он, и нашей просфоры евонная душа не признает». Расхохотался, однако милостиво сказал: «Ну как хочешь, дурак».

А разве я неправильно разъяснил? Нехристь — может, слово излишнее, а все же, если он лютеран, значит, не по-нашему приказу числится на небе.

— Затейник наш царь-батюшка, слов нет, затейник, — то ли одобрительно, то ли с укором сказал самокатчик, когда Брызгалов по знаку выглянувшей в двери жены для чего-то ушел в соседнюю комнату. — Над покойником покуражиться легко, когда помер, а вот, слыхал я, в городе говорят, рабочих-строителей замка отблагодарить знатно приказано — всех сюда вселить, и с семьями. Пущай своими боками сырость обсушат!

— Медики всячески удерживают императора от переезда в Михайловский замок и вселения туда кого бы то ни было — сырость его смертоносна, — сказал Росси.

Брызгалов, входя, услышал эти слова и рассудительно добавил, обводя всех совиным взором из-под напудренных широких бровей:

— И я государю императору осмелился доложить, что рабочих потому вселять нежелательно, что у них произойти могут от лютой здешней сырости повальные болезни, почему заместо осушения стен дыхание их расточать будет одну лишь заразу. Но его величество уперлись в своей мысли о скорейшем въезде: хочу, сказали, помереть на том месте, где родился. И точно, когда стоял здесь Летний императрицын дворец, там и народились они двадцатого сентября тысяча семьсот пятьдесят четвертого году.

— И что же торопятся сорок сёмый именно тут проводить, ежели юродивая остереженье дала?.. — подмигивая Брызгалову, сказал самокатчик. — Довести надо до государя слова юродивой.

— Вот ты и доведи, когда с твоим самокатом пойдешь, — буркнул Брызгалов, — все одно тебе путь — обратно в Сибирь. А мне, браток, туда ехать неохота...

Все засмеялись. Росси сказал Мите, чтобы тот, забрав чертежи, ждал его в Академии внизу, у Ватиканского торса, он же на минутку зайдет по дороге к матери.

— Поговорить мне с тобой желательно, Иван Петрович, — сказал Митя, выходя с самокатчиком от Брызгалова, — зайти удобно ль к тебе?

— А ты заходи, не сумлевайся, чайку выпьем. Андрей Никифорович хоть и большой барин, а с земляком свой, не чванливый.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Росси пошел к матери, чтобы узнать подробности про Лепикову дачу и объявить о своем намерении жить совершенно отдельно. Как обычно, едва он вошел в затемненную тяжелыми драпировками прихожую, его охватил слегка удушливый, пропитавший, казалось, самые стены, запах французских духов, неразлучных с его матерью.

— Мадамы нет дома, но у них в гостиной господин Воронихин рисуют госпожу Сильфидину, — глупо превращая в фамилию прозвание Маши, сказала краснощекая, так называемая непарадная, горничная матери.

— Где-матушка?

— Уехали в Павловск — дачу продавать.

Росси передернуло: и девка, черная горничная, знала про дачу, а он, родной сын, даже уведомлен не был. Пожалуй, и вещи его — рисунки, чертежи, картоны — засунут куда ни попало, а то и в печке спалят, — надо самому озаботиться об их сохранности. Мать, как и отчим, кроме танца, иных искусств ценными не почитала. С досадой Росси шагнул в гостиную, но, увидя Воронихина, которого очень почитал, любезно ему поклонился:

— А, Шарло, приветствую тебя, очень рад видеть!

Воронихин положил на стол палитру с кистями и, повернувшись к позировавшей ему женщине, сказал:

— На сегодня, Машенька, довольно. Спасибо тебе — танцуешь как Сильфида, а сидишь как мраморная богиня.

Маша привстала, спокойно поклонилась Росси и пересела в глубокое кресло. Взяв книжку со стола, она, казалось, погрузилась в чтение.

Росси внутренне рассердился: Маша отлично знала о дружбе его с Митей, и естественно было бы ей смутиться, вспыхнуть, смешаться при встрече с человеком, которому, наверное, уже известно ее гнусное коварство. И не удостаивая Машу вниманием, Росси отошел с Воронихиным к окну.

Архитектор был, как обычно, одет щегольски, с красиво причесанной головой и белоснежным батистовым жабо, от которого холеное его лицо казалось еще значительнее. Но вместо свойственной ему тонкой иронической усмешки и несколько скованной сдержанности, все существо его выражало какое-то нежданно радостное удовлетворение.

— Счастлив увидать вас в столь добром здоровье, Андрей Никифорович, вы словно именинник сегодня, — восхитился им Росси. — Счастлив за вас, если у вас радость.

— Именинник и есть, — засмеялся Воронихин. — Веря твоим искренним ко мне чувствам, Шарло, — Воронихин посмотрел ему в глаза своим внимательным, твердым взглядом, — тебе одному из первых рад я сказать, что мне фортуна весьма улыбнулась. Сегодня граф Строганов приказал мне готовиться к конкурсу на составление проекта большого Казанского собора.

— Как! Разве эта постройка уже не поручена императором Камерону?

— Камеронов проект, как и следовало ожидать, императору не понравился. На минуту удалось ему заглушить в себе нелю-

бовь к великому зодчему екатерининского времени, но вот новая внезапная вспышка гнева против всех любимцев его матери, — и проект уже не принят, осужден. Требуется нечто весьма грандиозное, не совсем в духе гения Камеронова. Дан пока негласный приказ о конкурсе — я включен.

— И выйдете победителем! — восторженно сказал Росси. — От души вам желаю...

— И сам я себе желаю того же, — чарующе улыбнулся Воронихин, словно осуждая нескромность своего пожелания. — Но почему ты, Шарло, не спрашиваешь у меня разрешения взглянуть на портрет Сильфиды?

— Разрешите, Андрей Никифорович? — и Росси покраснел, как мальчик, чья злая мысль вдруг обнаружена.

Воронихин вывел на свет мольберт с большим поясным портретом. Несколько суховато, но как-то глубоко, изнутри выразительно подчеркнут данный в теплых вечерних тонах характер Маши. Не в балетном, в простом домашнем платье. Строго, как у молодой монахини, только что принявшей постриг, смотрели ее большие невеселые серые глаза. Очень молодое лицо носило печать душевной зрелости, которая дается только способностью глубоких постижений. Рот пленительной формы, с чуть поднятыми в неразрешенной улыбке губами, выражал характер незаурядной непреклонности.

Замечательное лицо Маши, рассказанное большим искусством Воронихина, вдруг глубоко взволновало и тронуло Карла, между тем как к живой женщине, оригиналу портрета, к Маше, разбившей жизнь его друга, он продолжал относиться враждебно. И потому, когда Воронихин спросил: «Каково впечатление, Шарло?» — Росси горячей, чем было пристойно, ответил:

— Вы чрезмерно опоэтизировали натуру.

— Ну, это, братец, ересь чистейшая! — улыбнулся Воронихин. — Машу опоэтизировать нельзя, ибо она есть сама поэзия. Не смущайся, Машенька!

Маша встала, подошла — легкая, тонкая, прямая Сильфида — и голосом, дрогнувшим от сдерживаемого волнения, сказала:

— Как благодарить вас, Андрей Никифорович? Век не забуду вашего внимания.

— Не тебе, мне благодарить тебя, Машенька.

И Воронихин поцеловал Маше руку так почтительно и бережно, что Росси глазам не поверил и злобно подумал: «Протекции для чего-то ищет у новой княжеской содержанки», но тотчас устыдился таких мыслей. Воронихин, показалось, их прочел и опять, пристально глядя ему в глаза, веско сказал:

— Я не только ценю Машу как дивную балерину, но уважаю ее как прекрасного человека. А тебя, Шарло, прошу зайти

ко мне после посещения Академии, у меня сегодня проведет вечер столь почитаемый тобой Василий Иванович Баженов. Он передает сегодня Академии свой проект об издании многотомной «Архитектуры Российской», а потом — ко мне.

— Счастлив видеть и слышать Баженова! — воскликнул Росси. — Не разрешите ли прийти вместе с другом моим, Митей Сверловым? — сказал он громко и вызывающе глянул на Машу — покраснеет ли?

Но Маша не покраснела, а подошла близко и сказала ему вежливо, но с твердостью, не допускающей отказа:

— Попрошу вас, Карл Иванович, уделить мне немного времени, у меня дело есть к вам.

— А я исчезаю, — сказал Воронихин. — Итак, Шарло, мы встретимся с тобой в Академии.

Воронихин ушел. Маша, как хозяйка, предложила Карлу сесть. И вдруг он почувствовал, что смущается сам и, чтобы оттянуть время волнующего разговора, сказал:

— Я и не знал, что вы так хорошо знакомы с Андреем Никифоровичем.

— Знаком он мне давно, а особенно близок стал сейчас... ближе всех на свете. Ведь у нас с ним одно горе. У него, как у меня, отнята была любовь всей жизни оттого, что мы рождены крепостными...

— Позвольте, — вспыхнул Росси, — частная жизнь Воронихина мне неизвестна, но у вас... Кто же у вас отнимал Митю? Сами вы от него отказались, найдя для себя нечто более подходящее.

Маша и тут не смутилась, не разгневалась, она с горьким достоинством сказала:

— Обстоятельства, которых не побороть, жестокость жизни — вот кто отнял у меня Митю. Думайте обо мне что хотите, я ведь вижу ваше отношение ко мне, но как друга Мити прошу вас, выслушайте меня. Когда-нибудь передадите ему.

Маша села на диван и, как дама равного ему круга, указала Карлу жестом маленькой руки сесть рядом. Он покорно опустился на кресло и приготовился с любопытством слушать Машу. Его мысли путались. Он так был уверен, что когда встретит ее, то, полный презрения и гнева, отчитает за измену Мите, за корыстолюбие, низость души, продажность и предательство... И вдруг эта спокойная, печальная женщина оказалась совсем не легкомысленной, тщеславной и пустой девчонкой, как его коварная Психея.

Перед ним сидела умная, зрелая характером, ни на кого не похожая своей благородной простотой, почти светская женщина.

— Я прошу вас, Карл Иванович, запомнить для Мити то, что я сейчас вам скажу. — Маша заговорила ровным голосом, без

жестов, крепко сжав руки, словно боясь выраженным чувством затемнить смысл своей речи. — Человек, который называется моим барином, призвал меня на днях и сказал: «Тебя хочет выкупить на волю князь Игреев, мой большой приятель. Ведь вот какое большое счастье тебе улыбнулось! Кроме него, говорит, никому никогда я тебя не продам, твердо запомни. И если о ком мечтаешь, оставь свою надежду навсегда. Но князю — что поделать! — уступлю. Иди, до завтрашнего вечера обдумай — либо вольной у князя, либо навечно моей крепостной. Впрочем, думать-то не о чем: если, по дурости, князя отвергнешь, все равно попадешь к нему же, моим изволением. Говорю тебе обо всем этом потому, что блажит князь Игреев — хочет твоей непринужденной любви... и я ее ему обещал».

Сутки я думала — хотела было умереть. Не смогла. Убежать с Митей некуда. Да и счастья не выйдет ни мне, ни ему. Все как в пропасть низринулось. Одна осталась мечта — воля. Князь Игреев мне ее обещал. Я думаю, остальное понятно. Мите я прошу эту историю передать для того, чтобы не осталось у него из-за меня злобы и презрения ко всем женщинам. Ведь не от низости души я так поступила, не сольная партия, предложенная князем, не особняк и богатство его меня соблазнили — одна воля. Конечно, честнее было бы мне умереть... Но я не смогла умереть...

Маша так трогательно, с такой прелестной виноватой улыбкой посмотрела в глаза Карлу, что он в порыве нежного сострадания взял ее за руку и с раскаянием вымолвил:

— Простите меня, я о вас несправедливо подумал плохо.

Маша слабо улыбнулась:

— Имеете все основания. Я, как видите, — не героиня. Героиня в таком случае погибает. Но я не могу... я не хочу сдаться перед жестокостью жизни.

Маша встала с пылающим лицом. Оно было вдохновенно, прекрасно той особой внутренней красотой, когда человек идет на сжигающий его подвиг.

— Скажите Мите, я выбрала вместо смерти волю не для того, чтобы наслаждаться богатством, которое мне предлагается, но лишь для того, чтобы все свои силы отдать искусству. И в нем я достигну совершенства! Вот что дает мне силу вынести... невыносимое.

Маша закрыла глаза рукой, чтобы скрыть слезы.

Росси глубоко понял ее состояние и с великим сочувствием в голосе сказал:

— Я верю вам, Маша. Когда Митя в состоянии будет справедливо оценить ваш поступок, я ему передам ваши слова.

— Берегите Митю, любите его, Карл Иванович, — прошептала Маша, и крупные, уж не сдерживаемые слезы закапали из глубоко печальных глаз. — Если Митя точно по-настоящему лю-

бит меня, он должен понять, что не я низка душой, а выхода, поймите, выхода иного мне не было! Не дала жизнь выхода, загнала меня в тупик. — Маша вытерла платочком глаза, они горели как в лихорадке. Она заговорила горячо, отрывисто, торопясь все скорей высказать. — Ну, допустим, что скопил бы Митя денег на выкуп, — да ведь барин согласен продать меня только под нажимом сильнейшего, чем он. У князя Игреева он в долгу как в шелку... Ох, сколько бессонных ночей я провела! Сколько думала все о том же, и так и этак примеряла — один конец! А князь все настойчивей. И невесть что сулит. Я же одно лишь ставлю условием своего бесчестья и горя — отпускную вольную. И вот, намедни, принес он мне эту вольную, издали показал, говорит: «Перейдешь ко мне в особняк — получай ее из рук в руки! Пройдет мой любовный каприз — иди с этой вольной на все на четыре, и твоя балетная карьера при тебе. Но если о женихе своем мечтаешь, — слыхал я, жених у тебя есть, — мечтания брось. Кроме меня, никому твой барин тебя не продаст. И главное, — как своей судьбы, ты меня не минуешь. Все равно ко мне попадешь. Но если не по доброй воле, уже не посетуй, на ином окажешься у меня положении. Сейчас я твой раб. Ну а там — ты моя раба. И твою вольную я сам на глазах твоих разорву, и останешься крепостной ты навек». Еще раз скажу — умереть надо бы мне. — Маша чуть улыбнулась опять трогательно и виновато. — Пусть меня Митя вот только за это и простит.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Баженов был только что назначен Павлом вице-президентом Академии художеств. С присущим ему огненным вдохновением принялся он исправлять ложную педагогическую систему недалекого и упрямого Бецкого.

Приказано было набирать сирот от трех- до пятилетнего возраста, сдавать их классным дамам-француженкам и в принудительном порядке обучать рисованию.

— Насильно Аполлону мил не будешь, — говорил Баженов, превращая классы малолетних, умученных дрессировкой, в веселое общежитие маленьких художников.

Кроме реформы воспитательной, было еще одно дело, и надо было с ним торопиться, потому что здоровье ему изменяло... Надлежало ему настоять на издании многотомного труда под общим заглавием «Архитектура Российская», куда должны были войти как построенные здания, так и здания, оставшиеся только в «прожектах».

Большинство работ Василия Ивановича Баженова, ценителями искусств всего образованного мира признанных гениальными, осуществлено не было.

Уже несколько раз за последнее время Баженов назначал день для передачи Академии папок со своими творениями, но, от волнения чувствуя себя худо, сам создавал своему делу отсрочку.

Наконец, вечером, в середине марта, он сказал жене:

— Грушенька, я завтра решил передать Академии мои папки. Уж извини, милый друг, шагать буду ночью. Чаю крепкого наготовь...

— Наготовлю, Васенька, — отозвалась Аграфена Лукинична, и в простые эти слова ею было вложено столько понимания и чувства, что Баженов, обняв ее, вымолвил:

— Ну и спасибо ж тебе!

У них теперь редко бывали длинные разговоры — объяснять было нечего. За долгую жизнь любви и согласия они как бы стали одним существом. Слова могли быть случайные, как сказанные сейчас, и невольному свидетелю их разговора было бы невдомек, за что Баженов мог вдруг наполниться такой благодарностью к жене.

Но Груша знала, что если Баженов вынул из тайника свою папку с надписью «Большой Кремлевский дворец», его ночь будет без сна, и в свои обыденные слова лишний раз вложила неустанную готовность делить с мужем до гроба всю горечь его необыкновенной судьбы.

Василий Иванович шагал по комнате далеко за полночь, погруженный в свои думы, когда Аграфена Лукинична внесла ему на подносе крепкий чай и графинчик водки. Скользнув по нему взглядом, Баженов улыбнулся:

— Поторопилась, Груша, навстречу событиям, — ан графинчика-то мне и не надо.

Груша много страдала, когда Баженов после приказа Екатерины прекратить постройку Большого дворца горько запил и потом сделал своим обычаем при всякой несправедливости прибегать к этому исконному утешению оскорбленных талантов.

Все понимающая жена, без укоров и осуждения, одной неистребимой любовью, перешедшей уже в материнскую, делала то, чего не достигла бы упреками: Баженов запивал все реже. И сейчас, когда ему надлежало пересмотреть, как чужую, работу всей своей жизни и отобрать то, что достойно стать вечным памятником русской архитектуры, — никакого подкрепления сил, кроме напряжения собственной воли, ему уже не было нужно.

Как давно, больше полвека назад, уехал он мальчиком из родного села Калужской губернии, чтобы попасть в «архитектур-

ную команду» в Москву... Около Охотного ряда была та команда, и заведовал ею князь-архитектор Ухтомский. Он же своего «гезелия» Баженова за особые успехи записал в только что учрежденный университет, где на парте с ним оказались Потемкин, Фонвизин и Новиков Николай Иванович... С последним большие события связаны в его жизни... но это потом. А тогда, в юности, по капризу судьбы, Новиков и Потемкин как-неспособные исключены были из университета.

Ему же в те годы словно бабушка ворожила: удача за удачей. Вот уж он в Академии художеств, где превознесен за таланты и отличен командировкой в Париж. И дальше... такая щедрая ему выпала юность, такое беспрепятственное погружение в искусство ему предложила судьба. Жили с живописцем Лосенкой где-то в мансарде, не слишком сытно, — Академия была скуповата, — но какая свобода, какие сокровища живописи и зодчества навсегда сделались составной частью его души! Учитель его, придворный архитектор де Вальи, привил ему тонкий вкус к обилию остроумных деталей без лишнего нагромождения, чему великим примером был чудесный Лувр. В Париже научился он давать простор своей безграничной фантазии, организуя ее неослабным расчетом математика.

— Вы овладели той тайной, благодаря которой архитектор себе может позволить необычайное, — говорил ему с восхищением де Вальи, когда Баженову присудили первую награду за проект Дома инвалидов.

В Риме как ученик Академии св. Луки он был также отличен перед всеми за свою «лестницу Капитолия», а вернувшись домой, на родину, поразил воображение современников своей моделью Большого Кремлевского дворца.

Если бы дворец этот был выполнен, ему пророчили место среди чудес мирового зодчества — виллы Адриана, форума Траяна...

Когда модель была готова, Екатерина показала ее иностранным дипломатам и своей цели достигла. Была война с Турцией, и надлежало показать Европе, что Россия нимало не затруднена в финансах, о чем уже шла досадная молва. Хотя Баженов представил смету в двадцать пять миллионов, разнесли по всей Европе, что Екатерина отпускает все пятьдесят.

«Легко было ей накидывать лишнее, — горько подумал Баженов, — когда она строить и вовсе-то не собиралась. Только меня, дурака-мечтателя, морочила, чтобы из кожи лез, старался... И разве не берег я работу свою больше жизни: пять лет все мысли о ней... Когда же налетела чума и разъяренный народ пошел все сносить, в Модельный дом кинулся, чтобы защитить либо вместе с моделью погибнуть».

Уцелела модель, а дворец не построен.

Баженов прошелся к окну, отворил его. Густая мартовская сырость вошла в комнату и стала в ней, как туман. Еще тяжелей стало дышать. Закрыл окно, опять стал шагать.

Как торжественна была закладка дворца! Какой фейерверк, музыка, славословие! Молодой поэт Державин сложил в честь его стихи, а сам он с великим волнением произнес свою лучшую речь. На месте закладки храма зарыта медная доска с надписью; вот она, точная копия. Баженов подошел к высокой конторке, выдвинул ящик, вынул погнувшийся золотообрезанный лист, прочел, хотя надпись знал наизусть:

«Сему зданию прожект сделал и практику начал Российский архитектор, москвитянин Василий Иванович Баженов, Болонской и Флорентийской Академии и Петербургской Императорской Академии Художеств академик. Главный артиллерии архитектор и капитан...»

Это все его титулы. Пониже в углу стояло: «От роду ему 35 лет».

— А сегодня уже шестьдесят один, — прошептал Баженов, — двадцать шесть лет со дня закладки прошло. — Если бы не выгравированная эта доска, не модель, чья память удержала бы для потомства его могучий замысел? Необходимо, пока еще жив, закрепить все работы в чертежах и планах, скорее издавать том первый.

Опять заметался по комнате. Движение давало порядок толпившимся в памяти мыслям, или, верней, образам.

Вот окно того дома на набережной Москва-реки, перед которым, счастливые, молодые, стояли с Грушенькой и веселились, глядя, как ползут гуськом подводы с лесом, песком, кирпичами к высокому месту постройки дворца. Порой видели из этого же окна, как в бессильном гневе за разрушение священной старины, произведенное по необходимости для возведения неохватного глазом фундамента нового Большого дворца, местные старики-старожилы грозили кулаками и проклинали строителя за «бальзамный» дух, который он выпустил на волю из вековых подвалов взятых на слом приказов.

Василию Ивановичу с Грушей тогда, по молодости лет и прекрасной удаче, все было смех и забава, а между тем этот гнев старожилов был одной из причин, повлиявших на императрицу дать приказ о прекращении постройки.

Скоро деньги для дела стали задерживать, разрослась бесконечная бумажная неразбериха, отписываться приходилось больше, чем строить. Баженов не выдержал и надерзил государыне в отчетном письме: «Опасаюсь, кабы сия переписка не сделалась моей единственной работой».

Шли месяцы, а постройка не подвигалась. Мечтатель зодчий медлил понять, что Екатерине дворец больше не нужен. Война

с Турцией была выиграна, и дальнейшее разорение на «чудо искусства» ей было ни к чему. И вот пробил страшный час.

Генерал Измайлов, заведующий постройкой, призвал зодчего и возвестил ему голосом чиновным, не допускавшим возражений, что ее величество, опасаясь, как бы близость основания нового дворца к Архангельскому собору не повредила священных могил русских царей, а бальзамный дух разоренных подвалов не отравил болезнями воздух, — повелевает строительство нового Большого Кремлевского дворца прекратить.

Баженов, обессиленный, склонил голову на руки: пять лет весь ум и чувства отдавал вдохновенной работе, ею только и жил...

С первоначальной силой воскресла ни с чем не сравнимая боль творца, имеющего талант и силу довести свой труд до конца и грубо лишенного любимой работы.

От сердечной внезапной слабости Баженов задремал. Побледневшее его лицо понемногу озарялось глубоким торжеством: на высоком Кремлевском холме он во сне увидал свой заветный дворец законченным.

Увидал обращенный к Москва-реке величественный главный корпус в четыре этажа и за ним чуть золотевший купол Ивана Великого. Колонны пронзали нижних два этажа. На них легко и гордо лежали два верхних; большой выступ, выбегающий далеко вперед из центра, лишал холода симметрию и создавал то присущее ему свободное величие, так отличавшее от других зодчих его мастерство.

Ярко освещенные солнцем шестиколонные портики, большие ионические колонны поддерживали антаблемент с плоским аттиком... А вот и они, столь нарядно задуманные, новые выступы на краях корпуса с двойными колоннами, богато украшенные кариатидами, которые как бы подымают карнизы окон. Восхищенным глазом победителя созерцал он свой грандиозный дворец, удостоверяя сам перед собой, что главное дело его жизни ему удалось. Он глубоко изучил памятники мирового зодчества, могуче переработал все своим русским сознанием и своей работой дал свидетельство торжества гения отечественного.

Баженов с удовлетворением проверил, сколь правильно был им задуман и весь гигантский треугольник, куда свободно включалось все лучшее, что было в старом Кремле... А Иван Великий замкнулся мощной стеной с колоннадой, где живописно шли между колонн ложи, а по цоколю — трибуны для зрителей.

Да, он по праву засмотрелся на собственный гениальный размах — величавый полуциркуль с целым полчищем вознесенных над Москвою колонн...

Какой вечный памятник воздвиг он родине и себе!

От бури нахлынувшего чувства горячо встрепенулось сердце, дрогнул лес колонн и стал плавно, как под музыку, наступать на него. Окружили его летящие виктории с венками. Он видел, как они вдруг вспорхнули с пустого пространства над тремя великолепными арками, которые он довел до второго этажа.

Как близко от него зазмеились широкие пересекающиеся лестницы! В своем сложном переплетении они двигались от переднего входа в театр, и ему нужно было внезапно отодвинуться, чтобы пропустить мимо себя беседку из двенадцати колонн розового мрамора.

— Вестибюль дворца... — узнал он и, резко двинувшись, проснулся.

Свой осуществленный грандиозный проект — новый Кремлевский дворец на высоком холме Кремля — Баженов увидел во сне. На самом же деле у него только то окно в его московском, уже проданном доме, откуда смотрел он с женой, как воздвигали и как разрушали фундаменты его бессмертного замысла.

Вошла обеспокоенная Грушенька, смущенная непотушенной лампой в комнате мужа. Она и сама не ложилась.

— Тебе худо, Васенька, что-то очень ты бледен?

— Это было во сне, Грушенька... — сказал тихо Баженов, — я во сне увидел мой дворец построенным. Нет, не жалей меня, — поспешил он сказать в ответ на проступившие в глазах жены слезы, — я счастлив. Я уверен, что проекты мои будут когда-нибудь изучать. Сейчас я пересмотрел их, и не как свои, а словно чужие, — и я их одобрил. И еще я уверен, что грядущее русское зодчество не обойдется без того, чтобы при всех великих работах вызывать в памяти работы мои... Да открой, Груша, настежь окно — видишь, солнышко...

Раннее, не греющее, но уже ласковое солнце осветило лицо Баженова и всю его легкую, нестарую фигуру. Несмотря на болезнь и без сна проведенную ночь, большая сила жизни была в его удивительных глазах, больших, светящихся, как бы одаряющих своим творческим богатством. Он взял жену за руку и, словно подводя итоги самым затаенным мыслям, сказал:

— Как часто в горькие минуты крушения моих замыслов вставала передо мной высокая оценка моего дарования академиями Флоренции и Рима и особо любезного мне Парижа, где предложено было мне оставаться высоко ценимым придворным архитектором, но, поверь, никогда, даже в день, когда наша русская Академия оскорбила меня отказом дать мне звание профессора, уже дважды данное мне за границей, — не пожалел я, что вернулся домой. И сейчас, когда у меня впереди сама смерть, а позади — вместо великих осуществленных зданий одни их

проекты, я повторяю перед этим взошедшим солнцем слова, сказанные мною в день закладки Большого Кремлевского дворца: ум мой, сердце мое, знание не пощадят моего покоя, здравия, самой жизни моей ради тебя, моя родина!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда Росси, по уговору с Митей, подошел к Ватиканскому торсу, который стоял в нижнем этаже скульптурного отдела, оказалось, что Митя давно его тут поджидал.

— Я уже все картоны сдал в канцелярию, — сказал он, — завтра их будут развешивать в конференц-зале.

— Надо бы сперва показать Воронихину, — с досадой вымолвил Росси, — и главное, я его только что видел, а про чертежи и позабыл.

— Воронихин сейчас обязательно будет, такой он почитатель Баженова, — успокаивал Митя, — ужель упустит случай его поздравить. Проект издания принят, весь вопрос в сроках и объеме его...

— Да, конечно, он придет, — отозвался Росси и задумался о намеке, который по адресу Воронихина сделала Маша, говоря о несчастной любви в крепостном звании.

— Ты не слыхивал, Митя, какая была у Андрея Никифоровича в юности история с Натали Строгановой, которая так рано умерла?

— Как не знать. Все, что касается горемычной доли крепостных, мне особенно теперь близко к сердцу, сами, чай, знаете, почему... История эта такая: строгановская знаменитая на весь мир золотошвейка Настя из любви к Андрею Никифоровичу на убийство этой молодой графини пошла, отчего знаменитый наш зодчий остался навек обездоленным.

— Сейчас пошел слух, что он задумал жениться на англичанке? — осторожно спросил Росси.

— И я слышал. Ну, это, полагать надо, из гордости, чтоб людям и себе доказать, будто ни от какой личной сердечной причины он надолго пасть духом не может. Гордый очень.

— Невесту нынешнюю его я знаю, — сказал Росси, — это чертежница Мэри Лонг. Она и в архитектуре сведуща; словом, брак рассудительный, что и говорить.

— А тогда, в юности, — перебил Митя, — он любил, как один раз в жизни можно любить! Сам я лично ничего не знаю, но строгановские люди подробно рассказали. Лет десять тому назад была у Воронихина связь с этой первейшей золотошвейкой Настей. Она не только золотом вышивала, лучшие французские

гобелены копировала — от подлинника не отличить. Воронихин с молодым графом Строгановым в Париж собирался — он уже в силу входил. Натали приходилась ему дальней родственницей с левой стороны; ведь двоюродный брат графа, барон Строганов, всем известно, родной его отец. Недаром Андрея Никифоровича, когда он рос, в деревне «бароненок» прозывали, самокатчик Артамонов давеча рассказал. Так вот какие вышли дела: хоть за талант ему славу пророчили, а все же Строгановых он — вчерашний крепостной. И Натали его на свое горе полюбила. А тут еще эта золотошвейка Настасья... Сперва она с собой порешить хотела, утопилась, ее вытащили, откачали. Оправилась... Но опять сердца не сдержала — отравила на этот раз Натали. Крепостные все это ведали, но до господ смутные слухи дошли, и правду узнать не больно допытывались, сраму боялись. А славный наш зодчий надолго уехал в Париж и вернулся уж не тот: на все пуговицы застегнут — важный, только к простому люду особливо добр.

— А какова судьба Настасьи? — заинтересовался Росси.

— А тут повернулось дело как в сказке: она вышила такой замечательный гобелен, что граф порешил послать его в дар австрийскому императору, а ей вольную дали, да еще в обучение за границу отправили...

— Замолчи, Митя, к нам идет сам Воронихин, — сказал Росси, — да не один — чудак с ним какой-то.

— Да это знакомец наш недавний, — улыбнулся Митя, — самокатчик Артамонов; в новую суконную поддевку вырядился и цепочку серебряную выпустил.

Воронихин приветливо поздоровался:

— Вот разъясняю своему земляку искусство древних... Он давно тут плутает один, я его и взял в обучение.

— Да тут и заблудиться не мудрено, — сказал Артамонов, — среди этих калечных: все безрукие да безногие, а то и вовсе без головы, небитых совсем мало.

— И часто это не самые лучшие, отметьте себе, — улыбнулся Росси, указывая на Ватиканский торс, мягко освещенный рассеянным светом. — Вот, например, непревзойденная, величайшая скульптура, а между тем у этой статуи нет ни головы, ни рук, ни ног.

Артамонов нахмурился, кольнул быстрым взглядом говорившего, словно справился, не потешаются ли над ним. Воронихин угадал его недоумение и серьезно сказал:

— Карл Иванович говорит правду. В главном городе Италии, в Риме, в великолепнейшем дворце эта самая статуя помещена в особой комнате. Свет на нее падает сверху, и люди, входя в залу, как в храм, изумляются этому произведению неизвестного гения. Правда, сразу понять его мудрено...

— Чего ж не понять, коли людям понятно, — сметливо ухмыльнулся Артамонов, — глаз тут вострый требуется, а не ученость... Вот, примерно, песню — у кого ухо есть, и безграмотный схватит, а нет уха — наукой ему не вобьешь. У меня родной племяш пастухом, так он из костра уголек вытянет, овечку на камешке, как живую, начиркает. А кто обучал? Босой да сопливый...

— Скажи-ка нам, Артамонов, на совесть, — указал Воронихин на Ватиканский торс, — видится тебе что в этом безголовом?

Артамонов окинул всех умными, острыми глазами и проговорил, не смущаясь:

— А вижу я на этом обломе, что спина у мужика согнувши, а живот легко втянут, с боков, как у живого, мускулы явственны, и ребра под ними чуешь и кожу на них. Все без обмана, весело сработано! В столь точном виде, что, прямо сказать, — дальше некуда. И еще скажу, сдается мне, что ничего к этому обломку добавлять нет надобности, чтобы цельный человек увиделся... Ну, этого в точности я рассказать, Андрей Никифорович, не сумею, вот разве иной раз заглядишься, как в тихой воде солнышко отражается, и радость тебя возьмет: не велика, кажись, лужица, а солнце в ней как есть целиком.

— Да ведь это в переводе на образованный наш язык звучит так, что важно показать хоть малую, дробную часть совершенства, чтобы получить ощущение совершенного целого. Но как это постиг самокатчик? — изумился Росси.

Артамонов вдруг низко поклонился Воронихину:

— Спасибо, Андрей Никифорович, уму-разуму учишь, я сюда еще много раз заверну, а сейчас отпусти — по базарам охота пройтись, подручного из оброчных выискать, одному всей работы мне не поднять.

— Ну и ловкач, — засмеялся Воронихин, — видать, надоели тебе антики! Да ты знаешь ли, где стоянки оброчных? Могу их тебе перечислить, мы там натурщиков выбираем.

— Не утруждайтесь, Андрей Никифорович, — сказал Митя, — я сам пойду с Артамоновым.

И оба скрылись в гулких коридорах Академии.

— Вот что, Шарло, — сказал Воронихин, кладя руку на плечо Росси, — нам необходимо провести вечер вместе с Баженовым. Я — старый ученик и друг его, ты — новое поколение, подающее великие надежды. Не дадим ему почувствовать горькое одиночество гения среди чиновников и врагов хотя бы сегодня, в этот важный для его жизни день.

— Я счастлив, что вы обо мне вспомнили, — ответил взволнованно Росси, — а сейчас разрешите передать вам чертежи и планы Михайловского замка, они уже в канцелярии.

— Я рассмотрю их один, тебя же прошу посторожить Василия Ивановича у колонн вестибюля; скажешь ему, что я здесь.

Воронихин своим размеренным шагом, с выправкой почти военной, удалился в канцелярию Академии, а Росси занял выжидательный пост у колонн вестибюля. Карл волновался при мысли, что он увидит Баженова и тот может спросить его о привезенных планах и чертежах Михайловского замка. Все они были подписаны одним именем — Бренна, а между тем в городе не смолкали толки о том, что самый первый замысел и проект принадлежали ему, Василию Ивановичу Баженову. Но придворным архитектором и любимцем Павла стал теперь Бренна, угадавший его тайное желание и согласно ему закончивший замок.

Мысли Карла с Баженова перескочили на самого Павла. Конечно, не произведение искусства было ему важно, а прежде всего — крепость, твердыня, где можно укрыться от пули и штыка. Нынешний государь — не Петр Великий, а несчастный человек, которому все сильней мерещится, что он окружен врагами и заговорщиками. Он жадно хватается за каждую новую выдумку, где ему мнится спасение от опасности. Так было с кострами Мальтийского ордена, так сейчас с этим замком. Как торопил Бренну с постройкой! Разобран для нее чудесный дворец в Пэлле работы Старова, захвачены заготовки для собора Исаакия. И все для того, чтобы укрыться ему поскорей в этом, словно кровью окрашенном, замке, вокруг которого рвы полны воды, подъемные мосты легко вздымаются и летят вниз, где на каждом шагу караулы и тайные лестницы...

Да, велика разница вдохновения зодчего, когда он воздвигает светлый Олимпейон для радостей народных или для одинокого деспота мрачную крепость.

Воображение Карла так было занято этими мыслями, что раздавшийся откуда-то сверху голос Баженова заставил его вздрогнуть. Голос единственный, различимый из тысячи, приподнятый, слегка в интонациях повизгивающий. Голос этот всегда невообразимо трогал Карла.

На ступеньках парадной лестницы столпились вицмундиры академического начальства. Все слушали Баженова, стоявшего несколько повыше на площадке и задержавшего общее движение вниз своей речью. Свет был у него за спиной, и на фоне белой стены рисовался только стройный его силуэт.

В тоне Баженова слышалось с трудом сдерживаемое волнение... Вдруг он сверху увидел подходившего к Карлу Росси Воронихина и, прервав свою речь, стремительно зашагал по ступенькам.

Он несся, словно подлетывал, легкий, изящный человек с лицом, овеянным гением. И вместе с тем это было лицо русского

деревенского парня, с многообразным тончайшим налетом европейской культуры.

Несмотря на шестьдесят лет, была юношеская сила, стремительность в фигуре, брови разлетные, приподнятые с особым изумлением, словно это был человек, увидавший какую-то красоту мира, незримую другим. В юности из-за этого восхищенного выражения его прекрасного лица говорили о нем, смеясь, товарищи: «лик архангельский».

Баженов дошел до Воронихина и, обнимая его, быстро сказал:

— Как хочется мне провести с тобой, дорогой Андре, сегодняшний вечер.

— Я сам о том же мечтал, — улыбнулся Воронихин, — вот свидетель, Карл Росси, или, как я его называю, Шарло!

Баженов, сияя чарующей улыбкой, протянул Росси руку.

— Знаю, знаю, подающий большие надежды наш юный преемник и продолжатель, конечно тоже мой дорогой гость.

Росси, закрасневшись от радости, поклонился.

Форменные вицмундиры спустились вниз с лестницы и опять окружили Баженова. Он выступил вперед и заговорил так, словно начатый вверху разговор не прерывался им вовсе:

— Поймите же, предложенный мной проект необходимо привести в исполнение как можно скорее. Он должен войти в преподавание, в живую жизнь для назидания молодым. На этих образцах нашим зодчим надлежит развивать свое дарование...

Баженов остановился, ему нехватало воздуха. С недавних пор, когда приходил в волнение, отказывало вдруг сердце... Однако в минуту преодолел слабость, ярко оглядел всех своими вдохновенными глазами и широко очертил рукой воздух, будто собрал воедино этих грядущих зодчих, и повторил весело:

— Именно в поученье молодым будет это издание работ всех мастеров русских...

Он было умолк, но через миг опять вспыхнул, словно встретил какое-то обидное опровержение. Чиновники молчали, но своей повышенной чуткостью Баженов уловил их внутреннее несогласие и, повысив голос, резко сказал:

— И в первую голову надлежит издать те проекты, кои по превосходным своим замыслам и вкусу достойны были быть выполненными, но...

Снова голос пресекся. Волнение было крайнее. Тяжко было закончить речь признанием неудачи собственной судьбы художника. Однако еще сделал усилие и окончил:

— ...кои остались всего лишь в замысле.

Баженов поднял голову, краска прилила к побледневшим щекам; с гордостью, тихо, но твердо он вымолвил:

— Ежели здания предполагаемые почему-либо построены не были, но по важности своей, по высоте архитектурного знания стоят превыше многих построенных, потомство обязано сохранить их в своей памяти — ради себя самих, ради искусства, ради истории отечественной.

За несколько витиеватыми словами Баженова не только молодой Росси, все одеревенелые в службе академические чиновники и адъюнкты застарелой живописи почувствовали и на миг разделили обиду изломанного жизнью гениального строителя.

Вдруг Росси, подойдя близко к Баженову, сказал, краснея, со слезами на глазах:

— Василий Иванович, поверьте, мы высоко чтим вас, великого зодчего и учителя нашего.

Приветливо встретила гостей жена Баженова, Аграфена Лукинична. Взял ее Василий Иванович, сироту, из дому своего близкого друга — Федора Каржавина, хорошего переводчика и неугомонного путешественника. Грушенька была воспитанница его родителей.

В необыкновенно светлой столовой с обилием благоуханных цветов было радостно. Дикий виноград из трельяжа выбрался высоко над окнами и, путешествуя по стене, заткал ее живым зеленым ковром.

— Прямо зимний сад, — сказал Баженов, обводя жестом стены, — таков вкус моей хозяйки, ее вкусу я радуюсь.

— Еще бы вам не радоваться, — смеясь, сказал Воронихин, — ежели благодаря этому вкусу она выбрала в супруги именно вас.

— Претонкий вы комплиментщик, Андрей Никифорович, — чуть покраснела Грушенька, — недаром вы в высшем свете пребываете... А вот я вам по-домашнему напрямик скажу: пересядьте-ка все от стола к камину. И помягче там на диване, и хозяйке дадите простор.

Грушенька вышла из комнаты готовить чай, а Баженов с Воронихиным уселись перед огнем на диване.

Росси сел поодаль, чтобы видеть их обоих и навеки запечатлеть в своей памяти их столь разные, но каждое по-своему прекрасные лица.

От безыскусственной доброты Аграфены Лукиничны ему стало так ласково, как будто он попал, наконец, в настоящий родной дом. Тем более что замечательные два человека, которые сидели перед ним так близко, были для него самыми дорогими на свете. Баженов тихо, с видимым облегчением, сказал:

— Ну вот, если мое последнее желание исполнится и затеянное издание «Архитектуры Российской» выйдет, как мною задумано, я буду доволен. Я умру спокойно, потому что, хотя бы в проектах, моя большая работа останется для потомков. — Он

сел ближе к Воронихину и обнял его: — Бессонная ночь была у меня нынче, Андре. Вспомнил я все свои огорчения на родине и великую хвалу и признание в Европе... Шутка ли, — весело усмехнулся он, как бы не доверяя своим словам, — ведь я член четырех академий, и король французский предлагал мне остаться у него придворным архитектором. Но нет, не мог я жить вдали от дорогой моей родины, хоть бы и в королевском почете. Только здесь, для своих хотел строить... Нечего сказать — много настроил... Воздвигал — разрушали. Истинно злой колдуньей из сказок была царица в моей судьбе. Утешает меня, Андре, пример великого Витрувия — мы с Каржавиным неплохо перевели его, помнишь, ты одобрял?

Воронихин утвердительно кивнул.

— Вот и думаю. Может, мне его жребий выпадет, ежели уж собственный не удался. Жил он до нашей эры в первом веке, а, гляди, до нынешних дней его книги не утратили своей цены. Был он невзрачен видом, без придворной хватки, льстивые борзописцы обскакали его при всяких августах-императорах. Но прошли дни. Наступила нелицеприятная для всех история, и кому на пользу соперники Витрувия? Один прах... А сам он еще надолго будет питать поколения.

Грушенька, внеся самовар, озабоченно взглянула на мужа — он слишком был оживлен. Блестели удивительные его глаза, и румянец не сходил с тонкой кожи его лица.

— Тебе, Васенька, от Казакова из Москвы посылка — тридцать пять чертежей и эстампов твоего Царицынского дворца.

— Очень рад, давно ожидал. Мы потом их рассмотрим, Андре, не так ли?

— Счастливы будем, дорогой Василий Иванович! Вот Шарло давно в Москву рвался, чтобы их раздобыть, — ан они и сами приехали.

— Я столь восхищен этим дворцом, — сказал Росси, — очень хотел съездить зарисовать его...

— Не много от дворца осталось, — оборвал резко Баженов, — Казаков прислал наилучшее.

И опять, полуобняв Воронихина, ласково обратился к нему, видимо желая стряхнуть подступившую тяжесть.

— Ну как же я рад, дорогой Андре, что ты сейчас у меня, и вы, юный Шарло, — он крепко пожал руку Росси. — Я ведь полюбил тебя, Андре, едва принял тебя в число моих учеников тогда, в московской школе. Сколько тебе тогда стукнуло годков?

— Да не больше семнадцати, — улыбнулся Воронихин, — и ведь я еще не знал, кем буду, — очень увлекался живописью Возрождения...

Камин разгорелся и картинно осветил сидящих на диване. Между ними было двадцать лет разницы, но они не казались

представителями двух разных поколений, а как-то неожиданно дополняли друг друга. Непринужденная грация движений Баженова, нервная стремительность его худощавой фигуры как бы опирались, брали себе пьедесталом твердость рисунка, точную отчетливость Воронихина. Большая сила была в его красивых глазах. Чисто народная смекалка в соединении с надменностью, выработанной обстоятельствами жизни, усвоенной как наилучшая защита самолюбивого характера. Сразу чувствовалось, что этот щегольски одетый человек с вельможными манерами каждую минуту знает твердо, чего он хочет, и желание свое имеет силу осуществить.

— Мне дорого узнать, Василий Иванович, — сказал Воронихин, — каково ваше мнение относительно предложения, сделанного мне Строгановым. Президент нашей Академии привлекает меня, пока негласно, к соучастию в конкурсе на Казанский собор.

— Как я счастлив, Андре, — душевно воскликнул Баженов, — что жребий пал именно на тебя! Как другу и ученику скажу тебе: вот-вот уходя из этого мира, я хотел бы еще пожить в твоей работе.

Баженов улыбнулся и взял за руку Воронихина:

— И вот просьба: возьми за исходную точку твоего собора мой юный французский проект Дома инвалидов. Там неплохо найдено разрешение легкого купола и колоннады... Едва ли не из-за этой удачи, весьма оцененной французами, наш Чернышев мне выдал паспорт на два года в Италию.

— Глубоко чту эту вашу работу, — склонив голову, сказал Воронихин.

— Да поможет она тебе, как мне в свое время помогли работы учителей Суфло, де Вальи и Пейера. В искусстве, как в науке, пламенный факел вдохновения передается преемственно.

— Именно надлежит пересмотреть образцы...

Баженов живо подхватил мысль Воронихина:

— Не только пересмотреть, Андре, пережить их заново. Все вобрать, пропустить сквозь сознание и чувства — и отдать их России. Все истинно великие художники так делали. Даже не будучи по крови русскими, но полюбив новую родину, как свою, они слились с нашим особливым постижением видимого — и что же: итальянец Кваренги создает русскую классику, итальянец Растрелли — русское барокко такого высокого совершенства, что все дальнейшие попытки в этом стиле уже окажутся премного ниже его работ. Царская пышность, изобилие скульптуры, всегда поставленной, где ей надлежит, его вкус, праздник, нарядность — их уже не превзойти. Надо искать чего-то нового.

— Как рано вы это поняли, вот что меня удивляет, — сказал с уважением Воронихин. — Ведь как были молоды, когда

Растрелли, обер-архитектор, приглашал вас принять участие в постройке Николы Морского, а вы отказались.

— Я сын московского дьячка, — улыбнулся Баженов, — быть может, торжественность великолепной нашей литургии прозвучала мне более родственно в возвышенной мощи классицизма, нежели в изысканной декоративности барокко. Кроме того, громадное значение имели раскопки Помпеи. От строгой красоты греко-римского зодчества повеяло вдруг таким здоровьем, такой свежей силой, возродившейся из древней колыбели, что не соблазниться было нельзя.

— Тем более что барокко на Западе вырождалось в болезненное рококо, — согласился Воронихин.

— Вот рококо и способствовало больше всего укреплению нового. Простота и мощь, выраженные строгостью линий архитектуры античной, немедленно и заслуженно убили пустую, хрупкую красоту этих ломаных, капризных, скоро утомляющих декораций. — Вы, молодые, — обернулся Баженов к Росси, — должны серьезно задуматься над раскопками в Помпее.

— Я их пристально изучаю, — поспешил ответить Карл, упивавшийся речью учителя.

— Но для нас первой школой был все-таки Париж, с непревзойденными луврскими колоннадами, с версальской роскошью, — сказал мечтательно Воронихин.

— Только с той разницей, — продолжал Баженов, — что для меня это еще был королевский Париж Луи Пятнадцатого, а для тебя — Париж Национального собрания, «Прав человека» и клуба якобинцев. О, сколь твое время было завиднее моего!

— Оно — счастливейшее в моей жизни.

Сквозь обычную сдержанность Воронихина прорвалось такое глубокое чувство, — будто сквозь плотный покров взметнулось из глубины пламя, — что Карл дрогнул и вдруг по-новому увидал своего наставника.

Воронихин встал, прошелся, стал далеко от камина. Волнение его теперь выражал только голос, необычно размягченный.

— Меня с кузеном моим Полем Строгановым и воспитателем его, замечательным человеком, Жильбертом Роммом, послали в восемьдесят девятом году в Париж. Не встречал я богаче и благороднее характера, нежели этот Ромм. Образованнейший человек, талантливый скульптор, помощник Фальконета, он вместе с тем был пламенным якобинцем. Едва мы приехали, он основал клуб Друзей закона, где библиотекарем сделался Поль, а заведовала архивом красавица Теруань де Мерикур... Потом вступил в клуб якобинцев, и у него на пальце появилось кольцо с девизом: «Жить свободным или умереть».

Росси слушал Воронихина, затаив дыхание, глубоко спрятавшись в тень за выступом камина, — боялся своим присутствием помешать такому важному для него разговору.

— Поль принимал участие и во взятии Бастилии? — тихо спросил Баженов.

— Он был в первых рядах. Поль Очер, так звался он в Париже. Как сейчас вижу его молодое вдохновенное лицо и слышу слова, которых ни он, ни я не забудем...

Воронихин прошелся по комнате и, подойдя к Баженову, слегка нагнулся и протянул к нему обе руки, словно хотел передать какое-то сохраненное им сокровище:

— Поль сказал после взятия Бастилии: «Лучшим днем моей жизни будет день, когда я увижу Россию обновленной такой же революцией. И, быть может, мне там выпадет та же роль, которую здесь играет гениальный Мирабо».

— Твоему Полю скоро представится прекрасный случай доказать на деле свой девиз и провести в жизнь свои замечательные слова, — сказал, подымая голову, с загоревшимся взглядом Баженов, — он ведь близкий друг Александра, и как только тот станет царем... обширное поле ему для опытов.

— Васенька, — просительно сказала Груша, давно вошедшая и слушавшая разговор, — не надо об этом, опять зря разволнуешься.

Но Баженов отстранил жену, положившую ему на плечо руку, встал, подошел к Воронихину, с горечью сказал:

— Ведь с мечтой о Павле и я соединял в молодости мечту о счастье моей родины. Я пожертвовал этой мечте наибольшим, чем обладал, — моим даром зодчего. Но что за безумие питать надежду о преобразовании деспотизма в разумную власть рукой самого деспота!

— Признаюсь, и у меня такой надежды больше нет, — отозвался потухшим голосом Воронихин. — Я слишком близко и рано узнал, как невозможно людям, стоящим вверху лестницы, где фортуна сыплет дары, добровольно отказаться от своих преимуществ. Прекраснейший человек граф Строганов, я премного ему обязан, однако как трудно было из его рук получить свободу даже мне, его, так сказать, родственнику... Этот барон Строганов, мой отец, когда открыл масонскую ложу в Перми, желая и меня провести в масоны, настоял, чтобы граф дал моей матери, его крепостной, вольную. Ведь по масонскому уставу только сын свободной матери имеет право стать членом ложи. И масонство для меня прежде всего оказалось свободой — прекращением бытия рабского. Входя в ложу, я действительно был равный с равными.

— Пожалуйте к столу, — сказала весело Грушенька, хлопоча у кипящего старозаветного самовара, еще полученного в приданое, — а потом и Казакова посылку рассмотрим. Любимый это

ведь мой дворец в Царицыно, как сказка он из тысячи одной ночи.

— И какой грандиозный у вас получился тут размах, — сказал Воронихин, — какая мощность воображения! Этот переход от кремлевского классицизма к такой необыкновенной пышности...

— Царицына причуда, — пожал плечами Баженов, — ничего она в искусстве не смыслила, а как раньше заладила по-модному — у меня все самое римское, так вдруг — вынь да положь — мавританское. Однако мне эта мысль понравилась: вышло неожиданно в гармонии с пейзажем и в какой-то фантастической связи с древним русским зодчеством... Вот, гляньте, главный фасад, — Баженов раскрыл на свободном краю стола большую папку и вынул прекрасный рисунок тушью.

Два больших квадрата с восьмигранными башнями. Стены красные, изукрашены ажурным из белого камня орнаментом, стрельчатые окна, белые колонны.

— В густой зелени парка это белое на красном было как кружево, — сказала восхищенно Грушенька, — особенно хороша вот эта галлерея в два яруса с белыми башенками, островерхими пирамидками, арками. Я входила туда как в чудный сон, — мечтательно добавила она, и Росси на миг загляделся на ее вдруг помолодевшее, прелестное в своей непритязательной женственности лицо.

Но когда из рук Воронихина до него дошли рисунки и чертежи, присланные Казаковым, он погрузился в них и забыл, где находится. Главное, что поразило его уже требовательный глаз, это было полное отсутствие громоздкости, тяжести при большой и сложной монументальности замысла.

Галлерея соединяла большой дворец с особливым корпусом в два этажа для кухонь, приспешень и погребов, и это было так умно рассчитано, что только облегчало массивность центрального здания и хлебного двора, подхваченного двойными колоннами.

— Вот здесь, от дворца к оперному дому, пробегала моя самая любимая «утренняя дорожка», — указала на рисунок Грушенька. — Ах, что за чудесные липы благоухали по обеим ее сторонам! Даже пчелки там только жужжали, а не жалили...

— В какой несравненной пропорции линий взяты арки, зубчатые башни, стрельчатые окна, — восхитился Воронихин. — Русская псевдоготика — явление столь самобытное! Ничего подобного нигде не найти, а у нас стоит под самой Москвой...

— Не стоит, а стояло, — поправил его насмешливо Баженов.

— Но почему, по какой причине это сказочное строение, которому по оригинальности замысла нету равного, подверглось столь жестокому отвержению? — невольно вырвалось у Росси.

— Почему? — с горькой иронией повторил Баженов. — А вот послушайте: Екатерина возвращалась в Москву из знаменитого

своего путешествия по Крыму, когда великий льстец, светлейший князь Тавриды, сумел ей показать, подобно хитрому актеру, товар лицом. Одни знаменитые «потемкинские деревни» чего стоили! Словом, императрица возвращалась в окончательно окрепшей уверенности относительно счастья и благоденствия своего царствования. В Москве ее встретили с восторженной пышностью. И вдруг — потрясающая весть — заговор. Посягательство на ее трон, быть может — на жизнь... Так донес ей о неосторожной деятельности масонов московский главнокомандующий граф Брюс. Самая вольнодумная и опасная для монархии часть масонов, иллюминаты, вступила в сношение с заграницей. Императрице представили точные сведения об особом расположении масонов к персоне наследника Павла, связь же с ним установлена через меня, сиречь архитектора Баженова. И вот тут-то назначается день для осмотра Царицына дворца. Все последующее понятно, — закончил, как бы утомившись, Баженов.

— А какой веселый пришел Васенька домой, — воскликнула Груша, — он позвал меня, приказал понаряднее одеться для дня осмотра: «Ведь ты должна быть представлена императрице — так сказал мне генерал Измайлов, надзиратель за работами...»

— Ну, раз ты начала об этом, — сказал Баженов, хмуро обернувшись к жене, уже испуганной своей непосредственностью, — я не могу не кончить: назавтра, друзья мои, вместо торжества — позор! Страшный, безобразный сон. В парадной карете появление императрицы, ее знакомое надменное лицо, не смягчаемое, как на портретах, искусной приветливой улыбкой, а лицо злое, с угрожающе стиснутым, властным тонкогубым ртом.

«Это острог, а не дворец, — сломать оный до основания!» — И жест маленькой руки, не терпящий возражения, генералу Измайлову. Повернулась, поплыла к своей карете.

— Васенька, дорогой! — воскликнула Грушенька в каком-то странном восторге, беря Баженова за руку. — И все-таки этот день для меня наисчастливейший: он возвеличил меня твоей любовью. Перед всеми ты не побоялся, ее засвидетельствовал, чем гордиться я буду до смерти... Только послушайте, Андрей Никифорович, и вы, Шарло, что он сделал: едва отвернулась разгневанная императрица, Василий Иванович побледнел, как стена, — и за ней следом, чуть ли не дернул за шелковый шлейф: «Ваше величество, — говорит, задыхаясь от волнения, — минуту внимания». Она обернулась, испуганная, подскочили придворные. «Ваше величество, — говорит Василий Иванович и меня тянет за руку, — моей жене сказали явиться, дабы вам быть представленной. Если я имел несчастье не угодить вам своей работой, моя жена тут ни при чем, она не строила...» Императрица такими

белыми от гнева глазами глянула на Васеньку, но, должно быть, вспомнила о своем милосердии, прославленном льстецами, и подала мне руку, потом все так же безмолвно прошла к карете. Но Вася-то не испугался гнева царского, не дал перед всеми в обиду свою жену. Даже супруга архитектора Казакова мне завидовала: «Это, говорит, почетнее, чем пара перчаток, присланная от нее мне в подарок».

Баженов благодарно обнял жену:

— Уж ты, Груша, известная позолотчица — и в черной ночи луч солнца найдешь. Дело было в том, что императрица свой гнев лично на мне сорвала, на моей работе. Ей уж были представлены бумаги, взятые у масонов, и могла быть найдена моя записка о разговорах с наследником в Гатчине. Я был в ее руках, но предать суду меня было нельзя, не бросив всенародно тень на самого Павла. К делу Новикова меня не привлекли, но моя карьера русского зодчего была загублена.

Баженов вдруг побледнел и покачнулся.

Воронихин сильной рукой подхватил его. Вместе с встревоженной Аграфеной Лукиничной отвели его в спальню. Через несколько минут Воронихин вышел и сказал обеспокоенному Росси:

— Ничего опасного, ему только необходим покой. Я тут на ночь останусь, в случае чего доктор в двух шагах, а ты, Шарло, иди домой.

Карл вышел. Предрассветная тьма поглотила его. Он прошел прямо к Неве. Хотя она еще была скована льдом, но уже не было в нем зимней прочности. Особая, предвесенняя мягкая сырость шла от реки.

Карл глубоко задумался, не замечая бегущих часов. Перед ним только что раскрылась жизнь человека замечательного, и он ярко понял, что каждый рожден как бы начерно, условно названный «человек», но по-настоящему большое это имя каждому надо еще заслужить. По праву назовется им не за то только, что растет, множится, умирает, а лишь когда найдет дело своей жизни и вольет в это дело всего себя, всю свою энергию, отдаст ему свое неповторимое, неотъемлемое лицо...

И еще думал он, что, может быть, необходимо судьбе разбить человеку все, что зовется «личное счастье», чтобы он опирался на эти развалины, как на трамплин, для необходимого прыжка в нечто большее своей эгоистически личной природы.

Из великих личных страданий выросли в великих художников Данте, Микель-Анджело, Леонардо.

И как бы мог справиться со своей горестной судьбой гениального зодчего Баженов, чьи замыслы остались лишь в чертежах и обломках, если бы он не перевел уже свою лучшую силу творца в область совершенного бескорыстия, не превратил ее в источник вдохновения грядущих за ним...

Но тут же Карл ощутил величайший протест против этой горестной судьбы Баженова. И со всей страстью нерастраченных юных сил и сознанного дарования он поклялся себе, что добьется своего, оставит после себя не только проекты, но все задуманное выполнит.

В эту лунную мягкую ночь, полную ожиданий весны, Карл до рассвета бродил по великому городу, глубоко принимал его в душу с его великолепными зданиями, уже вознесенными над Невой, и с дворцами и домами новыми, которым, он уже знал наверное, даст когда-нибудь жизнь и воплощение не чья иная — его творческая сила.

Карл не заметил, как дошел до старого деревянного театра Казасси. Придворное ведомство его купило и переименовало в Малый. Карл остановился. В прояснившем небе далеко взором обвел пространство. Мечты охватили его: этот старый театр снести, возвести новый, великолепный в своей гармонии. Перед парадным фасадом с колоннадой развернуть до проспекта партерный цветник, а сзади театра — полукруглую площадь, как в парижском Пале-Рояль, окружить ее сводчатой галлереей.

Долго в воображении Карл раздвигал пространство, создавал великолепному зданию своей мечты достойное его окружение.

Совсем посветлело небо, ожил ранний занятой люд. Открылся на Неве последний неопасный переход. Сероголубое тающее небо над адмиралтейской золотой иглой, бледножелтый с белым орнаментом чудесный фасад — как дивно открыта гармония сочетания красок. Эти тона, эта роскошная простота должны быть неотъемлемы от петербургского зодчества.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Имя Маши, которую, как это теперь было в моде, князь Игреев одарил новой, звучной фамилией — Яхонтова, появлялось все чаще в афишах, все хвалебней были о ней отзывы ценителей, и даже проскользнуло в газетах, что Психея, которую она как-то танцовала, заменяя больную мадам Гертруду Росси, в ее исполнении получила новую прелесть и свежесть.

Гертруда рассердилась и в присутствии Карла безобразно кричала, что Маша никак не сильфида, а всего лишь хитрая змея, которая хочет завладеть ее лаврами, и отказалась давать ей уроки. Бедная Маша была в отчаянии. Она в Карле искала поддержку, робко надеясь, что он ей устроит свидание с Митей. Но Карл и сам давно не видал друга и чувствовал, что тот намеренно его избегает. Так оно и было.

Митя, никогда раньше не задумывавшийся о том, что он был рожден крепостным и если бы не доброта дяди-литейщика, то,

вероятно, навеки остался б рабом, сейчас болезненно переживал это обстоятельство. Никем не оскорбляемый, здоровый, красивый юноша, он до горестного события, связанного с утратой любимой невесты, был бессознательно эгоистичен, счастлив и полон надежд на будущее благодаря сразу признанным способностям и легкой удаче в живописи.

Все, что пришлось ему испытать из-за Маши, довело в несколько месяцев ум его и чувства до внутренней зрелости.

Тысячи мыслей, одна рождаемая другой, мучили его теперь, не находя себе разрешения и ответа.

Страстное возмущение рабством, которым была полна неистовая книга Радищева, хранившаяся у него как святыня, стало постоянным его состоянием. Легче всего Мите было теперь в доме Воронихина. У него к Андрею Никифоровичу появилось чувство, похожее на обожание, за то, что он был тоже рожден крепостным, немало претерпел унижений на своем пути, но все победил и стал таким могучим человеком. Благодарен был ему и за отношение к его горю как к своему собственному, чего не мог он ожидать от Карла Росси, при всей его дружбе.

Родным стал Мите и смышленый мужичок-самокатчик, который с необыкновенным спокойствием и уверенностью в успехе мастерил свое мудреное орудие освобождения — удивлявший всех самокат. Чем ближе узнавал его Митя, тем сильней поражался его необыкновенно умными, насмешливыми суждениями прирожденного наблюдателя.

Сегодня Артамонов и Митя опять должны были обойти, как говорил Воронихин, «невольничьи рынки» в поисках подручного, хорошего слесаря, которого они все еще не нашли. Прежде всего оба двинулись к Синему мосту на Мойке, где перед великолепным дворцом Чернышева кишел народ. На скате у самой реки было пестро от людей, закусывавших и отдыхавших в ожидании подходящего наемника.

Кое-кто после хмельной выпивки крепко спал просто на камнях. Эта площадь была главным местом купли-продажи, найма и обмена.

И кого только тут не было! Олонецкие пильщики с отливавшими синью, на совесть разведенными пилами чинно стояли целой артелью, как войско с особым видом оружия. Ярославские маляры, тороватые говорливые мужики в фартуках, сидели при своих ведрах с целым набором больших кистей; кисти малого размера они аккуратно засунули за свои голенища. Ямские кучера в синих суконных армяках, подпоясанные красными кушаками сразу подмышками, казавшиеся от того великанами, степенно гуторили, выхваляя друг перед другом отличные стати жеребцов, прошедших через их руки, и богатых господ, которыми сейчас гордились, забыв, как те их драли на конюшне. Ямские эти как

бы держались без помощи ног — на одних лишь туго простеганных ватных армяках, доходящих до земли. И так велика была их важность от привычки надменно покрикивать на пешеходов с высоких козел, что и сейчас ни один не удостаивал разговора сновавшую вокруг мелкоту вроде садовника с лейкой и мальчишек-парикмахеров, взаимно завивших друг другу головы бараном, чтобы нанимателю стало наглядным их высокое искусство.

Только появление дородной кормилицы в расшитом кокошнике, богатых бусах и лентах привлекло внимание извозчиков. Все они на нее обернулись, а один даже выкрикнул одобрительную оценку ее дородству:

— Король-баба!

Но кормилица, сопровождаемая строгой женщиной в темном, которая оказалась свекровью, только тихо плакала и просила старуху:

— Уж вы, матушка, бога ради, моему Ванютке молочко-то водой не разводите! Вы ему целенькое...

— Сыт будет, не твой первый на рожке выпоен, — ворчала старуха, — а ты смотри, не больно-то реви. Хорошие господа уважают мамок приятных, да чтобы к родному своему дитю не тянулась...

Лакей, прогнанный за беспробудное пьянство, прихорашиваясь в карманное зеркальце, сказал:

— Хорошие господа завсегда имеют в себе бесчувственность. Они этого не потерпят — чтобы убиваться. Им которая из ваших сестер поумней — обязательно соврет, что ребенок ее помер, хотя б он и жил.

— Ванюшка чтоб помер! — завопила мамка и, грозно наступая на лакея, ко всеобщей радости осыпала его отборнейшей бранью.

Под общий веселый хохот лакей поспешил скрыться в толпе.

— Вот она — взаправдашняя-то жизнь, — глянул самокатчик на Митю, — в хоромах сидеть — вовек правды не узнать.

К ним подошел, поздоровался Павел Иванович Аргунов. Он сюда пришел в поисках штукатуров для Фонтанного дома. Рассказали ему про мамку...

— Этим еще не так плохо, — знающим тоном сказал Аргунов, — они уже обломались в городе, и ночлег верный есть. Вот пришлым плохо, тому, кто впервые сюда залетел оброк барину собирать. Все-то ему чужаки, все звери, всякого-то он боится. Ну и ловят их, сердешных, за грош! Чиновники на это дело особые мастаки. Наймет девчонку одной прислугой, да и навалит весь дом ей на плечи.

— А нужда-то мужичка из избы гонит, — сказал самокатчик. — Хлеба до весны редко где хватит, весной иди в кусочки, побирайся.

Внезапно поднялась в толпе брань, перешедшая в крики, а вот уже стали стеной, засучили рукава одни на других — и пошли в кулачки.

— Это подрядчики со старостами, выбранными обществом, никак в драку вступают, — пояснил Артамонов. — Наниматели больно ценой их прижали, а у старост еще и к рукам с этой платы прилипнуть должно. Даром все норовят мужицкий труд взять. А ну-ка, пойти разузнать...

Самокатчик и Аргунов пошли к гудящей, как улей, толпе. Митя же оцепенел на месте, наблюдая, как подошедший к пожилой женщине чиновник, словно лошадь, осматривал ее сына, подростка-паренька; он отворачивал ему губу, считал зубы, пока мать его безмолвно плакала.

— Не от нужды наши господа продают — от излишка, — скороговоркой расхваливал паренька доверенный от хозяев. — Больно много этих недомерков у нас в вотчине наплодилось, девать их некуда! А он парнишка тихий, еще вовсе не поротый, — тараторил приказчик, — и в комнатах хорошо обучен и при гардеробе, он на все руки вам будет. Впридачу, ваша милость, и матку его берите — тоже кухарка за повара.

Чиновник, оглядев женщину тем же глазом барышника, угрюмо сказал:

— Была, да вся вышла, ты б еще мальчишкину бабку мне сватал. — Чиновник стал не торопясь платить за мальчика.

Митя, конечно, знал, что такие сцены происходят ежедневно на вот этой самой площади, да и в книге Радищева довольно было примеров жестокой продажи людей. И все же, когда чиновник вместе с приказчиком стал из объятий матери вырывать парнишку, Митя не выдержал и, подбежав, крикнул:

— Звери вы — не люди! Хоть попрощаться дайте да адрес ваш скажите, чтобы мать сына могла навестить.

— А нам материнских визитов не потребуется, неизвестный молодой человек, — язвительно сказал чиновник. — Себя же вы успокойте, беззаконных дел здесь не производится. А коли вы законами государя императора недовольны, уж это будет иной разговор, и на вас мы найдем управу.

Митя, вне себя, заладил одно:

— Обязаны дать ваш адрес, обязаны!

Подоспевший Аргунов отвел его за руку и шепнул:

— Молчи, они сейчас будочника позовут и такое обвинение на тебя состряпают, что не обрадуешься. И чего ты своим криком добьешься? Ведь они в своем праве. Лучше пусть Артамонов пойдет тихонько за чиновником и своими глазами увидит, где тот проживает. Парнишкину мать, наверное, в отъезд продадут, и необходимо, чтобы она не потеряла своего сына из виду.

Самокатчик тем временем шушукался с матерью мальчика и, узнав, где она живет, обнадежил ее насчет сына, подмигнул Мите и, как ни в чем не бывало, потихоньку пошел следом за чиновником, уводившим паренька, да так хитро, что тому было невдомек. Митя упорно остался ждать возвращения Артамонова, отдав плачущей кухарке все, что при нем было. На эту историю в толпе и внимания не обратили.

Как улей, все взбудоражены были победой плотницкой артели, которая не пошла в кабалу к нанимателю, устояла и нагнала себе цену.

Оброчные со всех концов России прибывали сюда всё новыми партиями. Были тут землекопы из Белоруссии, ярославские штукатуры, печники, галицкие плотники...

— Эй, чухлома! — кричали кожевникам, неразлучным с особым кислым дубильным запахом. — Пойдем на кулачки, погреемся, пока покупатель не клюет, — подступали веселые саечники-хлебопеки к мрачным мужикам.

— Пошехонье, — пренебрежительно отвечали кожемяки, — да рази такой это час, чтобы в кулачки иттить? Эх, неправильный вы народ!

Ростовец-огородник, указывая на победителей, позавидовал:

— У энтих всегда прибыточные дела будут, потому — ловкачи-москвичи!

— Павел Иванович, — сказал Аргунову Митя, — ужели этот народ, который, как скот, набирают на работу и содержат еще хуже скота, неужели он никогда не взбунтуется?

— А Пугачев? — вопросом ответил тихо Аргунов. — Сообрази он тогда свернуть вместо степей на Москву — может быть, о крепостном рабстве только понаслышке б и знали. Да и помимо Пугачева бывали дела... Недалече ходить — при матушке-царице, в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году, богатый подрядчик, купец Долгов, руководил работами по облицовке гранитом набережных Фонтанки и учинял ужасные притеснения находившимся при строении. И вот, помнится, осенью выборные четыреста человек от четырех тысяч двинулись к Зимнему дворцу с челобитной. Они кланялись до земли каждой фрейлине, высунувшейся из окна, по невинности принимая ее за царицу, — много над этим смеялись в свете, слыхал от Шереметевых. Ну что же, сколько-то челобитчиков схватили под караул за «учинение скопа и заговора», только про них и слыхали. Видом они были от горя и нищеты — краше в гроб кладут, тоже заговорщики!.. Да, Митенька, — закончил печально Аргунов, — дорого плачено за гранитные набережные, за красоту города Санкт-Петербурга. Кровью да потом народными.

Особый интерес был у Мити к судьбе продававшихся крепостных женщин, потому что невольно гвоздила мысль: вот

такова была б участь Маши, не пойди она на посулы князя Игреева. Аргунов и о крепостных женщинах мог в подробности рассказать. Кроме продажи по газетным объявлениям рядом с борзыми и дорогой сбруей, были невольничьи женские рынки и в центре города и в преуютных прицерковных двориках. Искусницы разного рода рукоделий ценились подороже, черная рабочая девка шла вовсе дешево.

Рассказал Аргунов и про более затейливые способы сбыта девушек с рук. Так, одна шереметевская знакомая, именитая барыня, отобрав самых пригожих девочек, обучила их танцам и музыке и продала за большой куш предпринимателю «веселого заведения».

— За одной такой — Анетой звали ее — я долго следил, — невесело сказал Аргунов, — дважды ее в карты проигрывали, переходила из рук в руки, пока особо злому издевателю не попала. Заколола его, а потом и себя... Гордая была.

У Мити злобно промелькнуло в голове: а Маша не закололась, в балете сильфидой порхает!

И желая услышать от Аргунова какое-либо косвенное осуждение поступка Маши, в надежде хоть немного разрешить свою сердечную боль, Митя с раздражением спросил:

— Заколоть оскорбителя с пьяных глаз сумела, а заработать на выкуп честно — пороху нехватило? Если она танцы и музыку знала, могла бы в оброк отпроситься.

— Так ее и отпустят! Еще мужчину туда-сюда, да и то пока у барина каприз не прошел. А не то, хоть европейским портретистом считается, домой отзовут, и, бывает, в лакейскую. А непокорливый нрав — на конюшню. Нет, брат, крепостному с талантом впору петлю на шею либо водку глушить. А девка коль хороша, один путь — в канареечки. Хоть золотой клеткой потешится. А в оброк — не слыхал, чтоб пускали... Наши Шереметевы — наилучшие из господ. Уж эти и разбогатевшему оброчному вовек не скажут: сам ты весь мой, значит, и деньги твои — мои. Эти чужого не отберут, напротив того: пользуйся своим миллионом на здоровье, — сказал наш граф одному богатею, принесшему его за себя в выкуп, — а вольной тебе не дам. Своих денег у меня довольно, а владеть тобой, богачом, мне только лестно.

— А как же Шелушин, шереметевский крепостной, получил вольную? — поспешил спросить Митя.

— А за что? За анекдот веселый. Тысячу раз прав наш сибиряк-самокатчик: хохотком да прибауткой, а не честью надо господ брать, всего они объевшись, их только на пряное тянет. А с Шелушиным вышло так: неоднократно просил он отпускную, уже известный богач. Уперся наш — на что тебе воля? Что я, богатеть тебе мешаю? Да на здоровье! И вот какая оказия вышла: привез как-то Шелушин в подарок графу устриц бочонок и тут

нежданно-негаданно свою фортуну прямо за косы и схватил. Как раз в этот день у графа в Фонтанном доме парадный ужин предполагался, а в устрицах нехватка. Во всем городе, как назло, нет и нет. Шумит граф, у метрдотеля требует — вынь да положь. А тут и принесло к нему оброчника-богатея. Граф ему: вот просил ты у меня не раз вольную; слово мое — отпущу, добудь только нынче к ужину устриц. А у богатея в прихожей — готовенькие. Выкатил он молча бочонок — получайте, ваше сиятельство! Граф тут ему в обмен — свой подарочек. На том самом бочонке и вольную написал.

— То-то я не дурак, что свой самокат затеял, — усмехаясь, сказал недавно подоспевший Артамонов, — не я буду, если мой самокат не обернется тем бочонком с устрицами...

— В добрый час сказано, — потряс ему Аргунов руку, — я уж и сам тебя к слову помянул. Ну, узнал адресок?

— До самой калиточки довел, теперь только маменьку-кухарку порадовать. Она тоже помещена к некоей старушке, видать не окончательно лютой, и по пути к сыну живет. Проведаю ужо обоих.

— А сейчас пройдемте на Неву, душно мне здесь, — сказал Митя.

День был чудесный. Зима опять перебила начавшуюся было оттепель, но морозец стоял небольшой, сухой при яркосинем небе.

Остановясь на мосту, залюбовались городом и его дальними перспективами.

— Весело тут летом, — тряхнул Митя светловолосой головой, как бы отгоняя тяжелые впечатления дня, — часами, бывало, стою тут и любуюсь на гребные команды, особливо юсуповские. Те, что на длинных веслах, идут по Неве, а коротковесельные — по каналам. Гребцы разукрашены, как в сказке: великолепно по краскам — вишневые куртки, шитые серебром, на шелковой белизне рубах, шляпы с перьями, ну просто Венеция. А в лодках музыканты, роговая музыка чистейшего звука, какая-то уносящая от земли...

Аргунов зло рассмеялся:

— А каково музыканту, создающему это неземное впечатление, хоть раз пришло тебе в голову? Участник рогового оркестра должен каждый навеки свистать одну и ту же свою известную ноту. Утратив всякое человеческое достоинство, иные из них, слыхивал я, не без гордости величают себя уже не своим именем, а исполняемой нотой: я нарышкинское до́...

— А сколько палок на таком обломали, пока обмозговал он свою ноту! — сказал самокатчик.

— Да ты сам много ль бит? — хлопнул его по плечу Аргунов.

— Маху дали, — ухмыльнулся сибиряк, — я сызмальства увертливый. Хоть и сказано: душа божия, голова царская, спина барская, — свою спину сумел оберечь. Бывало, возьмут мальчонкой в форейтора. Свалиться — беда: если лошадь не потопчет, на конюшне запорют. Так я старших просить надоумился, чтобы меня ремнями привязывали к седлу. Сомлеешь, бывало, а свалиться — не свалишься. Болтается голова, как кочан на ветру, случалось, водой отливали, зато розгой нет, не трогали. Ну, однакож мне пора и честь знать, за разговорами свое дело забыл. Пойти засветло подручных себе подыскать. Ведь из-за того парнишки я утренних всех упустил.

— Сейчас иди искать только на Вшивую биржу, на угол Владимирского, — сказал Аргунов, — там обжорный ряд торговлю раскинул, и все полдничать кинулись. На пирогах их настигнешь; кто лихо ест, тот, известно, лих и в работе.

Самокатчик пошел было, что-то вспомнил, вернулся, подошел к Мите, внушительно сказал:

— Нынче вечером к Андрею Никифоровичу приди, Митенька, он мне строго наказывал. Чтоб обязательно...

— Да уж приду, — отозвался Митя.

Его опять захлестнула тоска, и еще горшая, чем поутру. И странная детская злоба на Аргунова — зачем не дал и минуты отдыха, опять повернул мысли на оборотную, мрачную сторону восхищающей чувство красоты. Он раздраженно сказал:

— Дивлюсь на вас, Павел Иванович, так вы беспощадно крепостное зло видите, а хоть бы одного барина уложили?

— Совсем было раз собрался, да во-время одумался, — неожиданно поведал Аргунов.

— Сибири устрашились?

— Не столько Сибири, сколько бессмыслицы такого занятия: одного барина убьешь, другой на его место станет.

— Расскажите, Павел Иванович, как было дело, — устыдившись себя, серьезно попросил Митя.

— Невеселый рассказ, хотя живописный в смысле картины наших помещичьих нравов. Взял меня как-то граф к своему соседу-приятелю — вместо заболевшего художника ему для спектакля домашнего занавес написать. Занавес написал, а декорации не поспели, и лес пришлось изображать, так сказать, домашними средствами. На подмостках тесно уставили мальчиков с кудрявыми березками в руках — чудесный издали молодняк. В этом лесочке, по тексту пьесы, появились охотники и медведь. Актер-медведь, завернувшись в мохнатую полость саней, взревел и, согласно замыслу автора, пошел на охотников. А барин-хозяин тихонечко своему датскому догу как шепнет: ату его! — и спустил с цепочки. Дог — на медведя, впился клычищами, тот ревет благим матом, березовый лес вмиг попадал, ребята врассыпную.

Крик, слезы, у медведя кровь ручьем... А я рядом с барином с большим молотком стоял, уйти не успел — последние гвозди в декорации заколачивал. Вот как все заревут, а барин — ну хохотать, у меня сама собой рука с молотком поднялась. Из последних сил удержался, чтобы его по голому черепу не хватить. Эх, — вздохнул Аргунов, — что за толк в бунтах и убийствах? Запорют — и вся недолга. Раньше срока не повернешь это дело.

— А срок этот будет когда? — спросил гневно Митя.

— Обязательно будет, — строго и веско ответил Аргунов, — только увидим ли мы с тобой — не скажу. Но времечко стукнет.

Воронихин, не говоря о причине приглашения, звал Митю для того, чтобы показать ему законченный им портрет Маши. Он близко принимал к сердцу ее печальную историю и то, как тяжко и бесповоротно осудил ее Митя. Он решил с ним об этом поговорить.

Когда Митя вечером вошел в просторный кабинет Воронихина, он с отеческой лаской усадил его рядом с собой на широкий диван и умело заставил рассказать не только про зрелище «невольничьих рынков», но и про всю ту бурю негодующих чувств и гневных мыслей об ужасе крепостничества, которые оно вызвало.

— Вот теперь по всей справедливости и суди бедную Машу, — сказал Воронихин, беря Митю за руку, — посмотри-ка ее портрет.

Воронихин подошел к мольберту и поставил на него большой подрамок, который стоял перевернутым к стене.

Митя опешил: если б можно, он убежал бы, не взглянув на портрет, но Воронихин подвел его ближе, спросил:

— Ну, как ты находишь, похож?

Воронихин поднял зажженный канделябр, и боковой свет мягко упал на вдохновленное большим талантом и вместе с тем бесконечно печальное лицо Маши.

Нервное напряжение всего этого дня было велико, и сейчас Митя не выдержал: он повалился на диван и зарыдал.

Воронихин бережно, как все понимающий старший брат, обнял Митю и, крепко сжимая его руку, сказал:

— Если попрежнему любишь Машу, все будет хорошо. И горе ваше пройдет, едва она получит свободу.

Митя мигом пришел в себя и спросил с изумлением:

— Но разве не куплена ее свобода ценой нашего счастья? Разве не совершилось непоправимое? Ведь Маша — фаворитка Игреева.

— Нет, — сказал Воронихин, — и, я надеюсь, ею не будет. Князь Игреев, всем пресыщенный, в этом своем новом сердечном капризе желает, чтобы угодить государю, предстать рыцарем. Всем, кроме того, вскружило голову известие, что Шереметев

женится на бывшей своей крепостной. И сейчас, согласно модному капризу нашей знати, князь объявил Маше, что будет ждать от нее любви свободной, по склонности сердца.

— Но вольная?

— Вольная действительно имеется, но не у Маши в руках. Игреев взял меня и мать Карла Росси в свидетели, что им совершена формальная отпускная, и он нам ее издали с дьявольской улыбочкой показал. Но при этом прибавил, что испытанию его сердца положен целый год: если Маша в течение этого времени не «снизойдет» к его нежности, то ее вольную он разрывает, а она из балерин может быть разжалована хоть в скотницы. Но дела, кажется, могут повернуться к лучшему. Пока ты, Митя, в тоске всех нас избегал и никому не верил, мы оказались неплохими кузнецами твоего счастья, — любезно улыбнулся Воронихин.

Митя страшно побледнел:

— Этот сиятельный негодяй при вас выговорил свои чудовищные условия, и вы его не убили? Не дали ему пощечины? Ну, так это сделаю я. Я убью его как собаку...

Митя вне себя рванулся куда-то бежать. Воронихин почти насильно усадил его рядом с собой на диван.

— Если бы я убил Игреева, — сказал он, — меня бы сослали в Сибирь, а Маше навеки быть крепостной. Если сейчас убьешь ты его, будет то же самое. Но вот пока ты с незаслуженным гневом отвернулся от несчастной невесты, об освобождении ее взялись хлопотать другие... Ты же должен одно — повидаться с Машей, вдохнуть в нее новые силы, надежду. Она чахнет, здоровье ей заметно изменяет. Она просто на глазах сгорает. Искусство — единственное, что дает ей забвенье той большой муки, которую терпит она ради тебя. И может случиться то, чего уж, конечно, ты не желаешь. Через год, когда, надеюсь, свободы мы для нее добьемся, ей она уже не будет нужна.

Митя, впервые забыв свою боль и желая понять только состояние Маши, с беспокойством спросил:

— Больна она? Как ей помочь?

— Об этом позаботятся разные люди с разными личными побуждениями, но, к твоему счастью, направленными к одной цели — вырвать возможно скорее из рук Игреева Машину отпускную. Люди эти: твой друг Карл Росси, его мать, знаменитая балерина, и некая высокопоставленная девица Тугарина.

— Катрин, — воскликнул изумленный Митя, — она-то как здесь?

— Имей терпение дослушать, — учительно, как обычно, остановил Воронихин, — Росси движим чувствами благороднейшей дружбы и бескорыстным восхищением перед Машей; его мать Гертруда полна бешеной актерской зависти к своей ученице, которая нежданно выросла в ее соперницу. Сын уверил свою

тщеславную мать, что едва Маша получит на руки вольную, она бросит сцену и уйдет с тобой куда глаза глядят, подальше от Игреева. Ну, а третье заинтересованное в этом лицо, Катрин Тугарина, недавно усмотрела в князе Игрееве самую для себя блестящую партию и, выходя за него замуж, очищает свой будущий дом от соперниц.

— Вы уверены, Андрей Никифорович, — сдерживая дыхание, спросил Митя, — что, как сказал своей матери Карл, действительно Маша готова совсем бросить сцену и уехать со мной? — С надеждой и страхом смотрел Митя в умное, сильное лицо Воронихина, привыкшее сдерживать свои чувства и скрывать мысли. — Умоляю вас, одну чистую правду.

— Я скажу тебе эту правду, Митя, — твердо ответил Воронихин. — Если бы Маша в порыве долго таимого чувства и бросила ради тебя свое искусство и сцену, она бы вскорости стала так же заметно хиреть, как мы видим сейчас, когда она живет одним лишь искусством, лишенная твоей любви. И то и другое необходимо сочетать. Но как — пока я не вижу возможности. Как только Маша лишится протекции князя, она в театре окажется у разбитого корыта. Завистницы ее заклюют, и карьера ее как балерины окончена. Все они там держатся связями или имеют очень прочное положение, а она новенькая.

— Значит, остается мне самому завоевывать себе положение, чтобы не лишить Машу возможности делать любимое дело, не заглушить своего дара. Но как? Где? Ума не приложу.

— Мне кое-что пришло в голову, Митя, — осторожно сказал Воронихин. — Сейчас ко мне придет один, по-моему, очень тебе нужный человек; ты послушай-ка, что он расскажет, а потом и поговорим.

— Загадками говорите, Андрей Никифорович, ума не приложу, кто может быть этот человек.

— Если я скажу тебе, что зовут его Иван Петрович Дронин, что он военный и состоит при Суворове, это ничего тебе нового не прибавит, не правда ли?

— Суворова я высоко почитаю, но к военному делу у меня влечения нет, все-таки путь мой в Академию. Только на днях решил я итти не на архитектурное отделение, а на живописное: думаю, у меня способностей к этому больше.

— И я так думаю, — одобрил Воронихин, — и это обстоятельство как нельзя более кстати для того, что я для тебя придумал. Однако немного терпения.

Воронихин указал на часы:

— Иван Петрович человек военный, как сказал — не опоздает.

И действительно, вошедший слуга доложил о приходе майора Дронина.

— Проси прямо в кабинет.

И Воронихин оживленно пошел гостю навстречу. Дронин был человек, по возрасту годившийся Мите в отцы. В жизни у него случилась тяжелая драма: жена, которой он слепо верил, обманывала его с ближайшим другом. Дронин, вызвав оскорбителя на дуэль, убил его, а жена через некоторое время повесилась. Отсидев за дуэль в крепости, он отправился к Суворову в армию с надеждой в первом же деле с турками найти свою гибель. При взятии Измаила он отличился необыкновенной храбростью и умением вести за собой людей, был тяжело ранен и высоко награжден. Суворов его особенно отметил, посещал во время болезни, узнал всю его печальную историю и сумел так на него повлиять, что встал он с больничной койки новым человеком, думающим о победах русского оружия, а не о смерти. С тех пор Дронин сопровождал обожаемого полководца во всех боях, не оставил его и в ссылке.

Сейчас он временно приехал в Петербург хлопотать о своей отставке, чтобы иметь возможность уехать в Кончанское и быть полезным тому, кого в душе своей звал — благодетель навеки и отец.

Однако окончательные шаги для выхода в отставку внезапно приостановило известие, облетевшее все военные круги, о том, что государь весьма милостивым письмом вызвал Суворова из Кончанского.

Сегодня он узнал радостное дополнение к слухам: что государь получил от австрийского императора предложение отпустить Суворова принять командование над союзной армией в предполагаемом итальянском походе против Наполеона.

Дронин не сомневался, что Суворов примет предложение, отмахнув в сторону все нанесенные ему Павлом обиды. Давно он с волнением следил за успехами Бонапартовой армии и горько сетовал, что он не у дел, а бездарные полководцы не могут дать острастки «далеко шагнувшему молодому человеку», как именовал он первого консула. Дронин, конечно, решил следовать за своим полководцем и, переживая вторую молодость, как после измаильского дела, стал, в нетерпеливом ожидании приезда Суворова, готовиться к походу в Италию. С Воронихиным его связывало то, что он был ему земляком, происходя из мелкопоместных дворян Пермской губернии. Посетив как-то знаменитого зодчего по просьбе родных его по матери, оставшихся жить в деревне, соседней с именьицем Дрониных, майор пленился всей душой своим замечательным земляком и уже при каждом своем приезде в Петербург его навещал. Ушедший с головой в свое военное дело, Дронин в общении с Воронихиным находил большое обогащение для ума и всех чувств. Взаимным обменом впечатлений был доволен и любознательный Воронихин. Кроме того,

с тех пор как он принял близко к сердцу несчастье Мити, у него возник некий план в связи с энергичной личностью майора.

— Вот познакомьтесь, Иван Петрович, с моим юным другом Митей Сверловым, рекомендую — способный художник.

Майор ласково потряс несколько растерянному Мите руку, шумно и весело стал говорить Воронихину о том, сколь он счастлив сбираться в итальянский поход и не сегодня-завтра встречать дорогого фельдмаршала.

Митя подумывал, как бы ему приличным образом улизнуть: он особенно дичился военных, почитая их за светских людей, которые преимущественно обращают внимание на костюм и манеры, но, прислушавшись к тому, что говорил майор, скоро перестал помышлять об уходе.

Воронихин спросил, точно ли верны слухи о вызове Суворова из ссылки, и майор с восторгом приводил собранные им подтверждения, что от императора австрийского прислано письмо с предложением фельдмаршалу командовать союзной армией.

— Однако для Суворова будет тут плохо, — сказал Воронихин, — придется ему из австрийских рук смотреть.

— Посмотрит он, чорта с два, — вспыхнул обидой майор, — да разве ему не привычно без австрийцев дело решать? Он баталию на один собственный страх любит вести. Было дело в восемьдесят девятом, разгромил он турецкий фланг и решил фронт переменить. Нам сказал, австрийцам же ни гу-гу, вот обиделись! Зато баталия без проволочек — победная. И посмеяться над ними умеет. Под тем же Рымником набрали мы турецких пушек. Австрийцы вцепились — к себе, а наши, натурально, — к себе. Как обычно, наш старик в самую гущу ввинтился, кричит: «Нашли о чем спорить! Дари, ребята, все пушки союзнику, где ему, бедному, еще взять? А мы себе получше добудем». Хохочут ребята: давись, Австрия, турецкими пушками.

Майор хохотом, словно громом, наполнил чопорный кабинет Воронихина, всем стало весело.

— Суворов ни в чем общему порядку не следует, так осудительно говорят про него при дворе, — заметил Воронихин, — то-то загнали его в Кончанское. Без своего дела давно сидит...

— Да не усидел, — подхватил майор, — ему вот семьдесят стукнет, а помоложе-то никого, чтобы русское войско прославить, когда час пробил. Сам государь в карман гонор спрятал, на все суворовские причуды сквозь пальцы глянул — вызывает ведь.

— По всему, что я слыхал про Суворова, — вступил, наконец, и Митя в разговор, — он, помимо гения воинского, и крепостью характера невиданный человек. Откуда только свою силу берет! Невелик, слаб здоровьем...

— А духом-то? — прибавил Дронин и всем существом своим выразил восхищение. — Наш Суворов духом гигант. Во славу

России воюет, и весь народ, как земля, его держит. Сам-то, конечно, здоровья хилого, худ, невелик — воробышек некий, однако ни жара, ни мороз его не берут. Насмотрелись мы в походах — всем пример. Закалил он себя, не жалеючи, — вот и сила его. И в солдатской любви. Не шпицрутеном, своим сердцем он солдатское взял, то-то в его руках тысяча штыков десятка тысяч стоит. А почему? Из дерева высечь искру умеет и получает огонь и пламень. У других же полководцев, особливо на прусский манер, живой солдат в дерево обращен. Еще в давности, когда он под Кунерсдорфом воевал, хорошая, говорит наш фельдмаршал, вышла школа на чужих ошибках. «Насмотрелся я там Фридриховых правил, с которыми он чуть Пруссию не упустил. И создал понемногу свои правила, навыворот прусским». И что же, спрошу вас, воспоследовало?

Майор — небольшой, крепкий — круто, как ядрышко, вертелся в кабинете, перебегая от Воронихина к Мите, дополняя жестом пламенность чувства.

— А воспоследовало от применения суворовских правил следующее: военная служба у всех — пугало, а у Суворова служить — превеликое счастье. Он — отец-командир, и семья при нем выходит одна, военная. Каждому она — родной дом. У пруссаков не семья — точный механизм часовой. Заведен — идут часы, но человек из солдат вовсе выхолощен. Истинно тупозрячие. А у Суворова каждый станет героем, потому сам он истинно герой и до себя всех подымает...

Майор подошел к Воронихину, с трогательным доверием сказал:

— Ну, кто я был, когда к нему попал после вам известной моей несчастной истории? Как узнал, что жена моя себя порешила, ведь поехал я на турецкий фронт одной только смерти искать. А нашел-то благодаря ему не смерть, а воскресение из мертвых. Кисель я был, недоросль балованный, от первой в жизни беды распустил слюни. Суворов — отец он мне оказался — от себя самого спас. Мои растрепанные силы к новой, благородной и мне доселе неведомой цели собрал. Мозги мне своим примером прочистил, до сознания довел, что нельзя весь смысл в своем курятнике полагать, когда родина твоей доблести ждет...

— И вы под Измаилом дрались? — с загоревшимися глазами спросил Митя.

— А как же, я уж тогда несколько другим человеком стал. Разжег нас Суворов неприступную крепость эту забрать. А Измаил-то рвом широченнейшим окружен — в глубину не мал, водой все полнехонько. А над рвом этим вал, сажени в три. Ну-кась, перемахни. Гарнизон турецкий стянут с окрестных всех крепостей, и приказ дан с угрозой — долой башку, коль сдадут. Над гарнизоном наилучший ихний паша — Айдос-Мехмет. А как на нас в

Европе смотрели: не взять нам Измаила, не быть России великой державой. Решающая баталия. А у нас ни осадной артиллерии, ни войск. Большинство — казаки — не тем сильны, чтобы крепости брать. Но раз невозможное дело совершить надлежит, кого выбирают? — Суворова. Потемкин что-что, а приказать умел: атаковать Измаил, взять! Осмотрел неприступную крепость наш старик вдоль и поперек, отвечает Потемкину: обещать нельзя. Однако сам, между прочим, не медля ни минуты, к штурму готовится. Ну, в подробности вдаваться не стану, до завтра мне не кончить, как начну. А в краткости скажу, вспомня главное: созвал Суворов совет, объявляет: хоть Измаил неприступен и гарнизон нас сильней, однако я решил его взять, либо сложить свою голову под его стеной. И на рассвете предложил штурм... И ведь до чего бедовый старик, — любовно рассмеялся майор, — сераскиру еще послание закатил: «Прибыл Суворов брать Измаил. Двадцать четыре часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть». Затем преспокойно объехал полки, со всеми вел свой короткий суворовский разговор, после которого ему все как богу поверили и в победу полную уверенность возымели. То есть сомнения ни малейшего, чародей он, ей-богу. Спокойно колоннами войска ко рвам подошли, и фашины свои во рвы побросали, и лестницы как надо подставили, и на вал взобрались. И в ответ на бешеную защиту турок с «фурией необычайной», как любил он выражаться, накинулись на врага. Как про это дело вспомню, так в ушах и стоят: «Ал-ла!.. Ур-р-ра!..»

Майор закричал во всю богатырскую глотку, забыв в своем увлечении, где находился. Двое слуг испуганно вбежали в кабинет. Воронихин только махнул им с улыбкой рукой, и, поняв, что господа забавляются, представляя войну, они чинно удалились. Майор, ничего не видя, продолжал свой рассказ:

— Со всех сторон к вечеру прорвались в Измаил колонны наши и зажали турецкий гарнизон. Комендант-паша убит, из конюшен вырвались бесноватые тысячи жеребцов, буря, адский огонь, безошибочный суворовский бой... Измаил наш. Свершилось дело, по аттестации самой императрицы «едва ли в истории где находящееся». Кем совершено? Суворовым.

— Однако Екатерина даже фельдмаршала ему за него не дала... — начал было Воронихин.

Но майор, вытирая вспотевший лоб белым платком, взмахнул им, как флагом, прокричал:

— Интриги... зависть. Такова участь величайших благодетелей человечества — одарять его бескорыстнейше. А в смысле мелком, житейском, причина такова — большие обиды светлейший князь от Суворова терпел. В языке наш несдержан. Не однажды высмеивал Потемкина за леность, пиры и роскошество. Особливо утомил тот его вялостью, как расселся перед Очаковым и ни с ме-

ста. Суворов и пустил известное всем словцо: «Одним поглядением крепостей не берут». Донесли. Еще и стишок он пустил: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» — донесли. А после Измаила, своего неслыханного геройства, Суворов окончательно Потемкина оборвал. Тот ему сверху вниз, как со всеми привык говорить: «Чем могу я вас наградить?» А наш-то в ответ с изумлением: «Вы меня? Да ничем. От одного господа бога себе жду награды...» Дождался. Вместо фельдмаршальского жезла и почета его в Финляндию почти на штатскую службу государыня упекла. Однако все же Суворову было легче в Екатеринино царствование, чем сейчас. Царица его хоть не любила, да ценила, а Потемкин кое в чем одного с ним мнения насчет солдата был, что для Суворова важнее персонального к нему фавора. Потемкин облегчение солдату в амуниции сделал — «солдатский туалет таков, что встал да готов». А ныне-то: шагистика, фрунт, коса, шпицрутен, Сибирь... За непризнание таковой науки и посажен в Кончанское. Ну и отрубил он, как на камне вырезал, свой приговор подобным свыше распоряжениям: «Строгость от прихоти есть тиранство».

— Что старое поминать, дорогой Иван Петрович, — примирительно сказал Воронихин, — сами говорили, сейчас Суворов опять вознесен будет. Опять понадобится России.

— И как бы мог не понадобиться, ежели он первейший полководец и первейший по качеству человек? — с гордостью и чувством закончил Дронин и, вдруг глянув на стенные часы, смешался. — Ах, батюшки, у меня ж свидание важное по поручению фельдмаршала. А я столь задержался...

— Из-за него же и задержались, — улыбнулся Воронихин. — Это простительно; будь я помоложе, после вашей блистательной ему аттестации непременно просился б к нему волонтером.

— На своем месте и вы, Андрей Никифорович, первейший хозяин, что ни построите — гляди, на мраморной доске надлежит написать золотыми буквами, потомкам на память.

Крепкий, подвижной как ртуть Дронин попрощался с Митей и Воронихиным рукопожатием сильной руки, словно передавая свое здоровье и свежесть чувств. Он позвал их обоих зайти к нему как-нибудь на днях посмотреть какой-то необычайной масти жеребца, интересного для живописной картины, и ушел быстрым военным шагом.

— Понравился тебе, Митя, мой земляк?

— Очень понравился, — улыбнулся Митя, — хандру он снимает. Повеселело, словно с ним вместе лесной воздух ворвался.

— А ты обратил внимание, Митя, на главную часть его рассказа, что таковым он совсем раньше не был, напротив того, аттестовал он себя погибавшим от разбития личной судьбы. Ведь это не кто иной, как Суворов его воскресил...

— Не пойму, куда вы клоните, Андрей Никифорович, — насторожился Митя, — ведь не в волонтеры же мне проситься к Суворову?

— Почему бы и нет, — сказал Воронихин своим приятным, слегка наставительным голосом, — если пребывание в его войсках превращает недоросля, разбитого жизнью, в отлично свинченного, нужного человека, каким оказался Иван Петрович Дронин. Еще сходим к нему, присмотрись. А то порекомендую тебя как подходящего художника, им в походах весьма будешь кстати. А случится опасное дело — от него не откажешься, ты ведь, знаю, не трус. За время же твоего отсутствия, надеюсь, Маше добудем свободу, ко всеобщей радости. Ты можешь вернуться прославленным, с новым совсем положением. Чем судьба не шутит? — Воронихин взял Митю за руку. — Подумай-ка.

— А ежели буду убит, либо хуже того — изуродован?

— Я с судьбой не привык торговаться, — суховато отозвался Воронихин, — по мне всего лучше тут пословица: «либо пан, либо пропал».

— Андрей Никифорович, простите, ежели дерзок покажется мой вопрос: я слышал, задача масонского ордена — создание высшей породы людей, лучших, чем обычные люди... Но как, в таком случае, члены подобного ордена терпеть могут рабство? Прошу вас, скажите, многие ли отпустили на волю своих крепостных?

Воронихин нахмурился. Митя попал в больное его место.

— Один Гамалея отпустил, — сказал он угрюмо, — один из всех нас он роздал свое имущество отпущенным на волю всем крепостным и остался гол как сокол. Последователей не нашлось.

— Но сейчас, Андрей Никифорович, во что сейчас вы верите?

— Только в лучшие будущие времена, — ответил со всей серьезностью Воронихин. — Не скоро, но таковые настанут. А сейчас вашему поколению надлежит самих себя создавать, людьми делаться такими, которые достойны будут принять новую, лучшую жизнь. И еще раз, Митя, совет: с твоей разбитостью, оставшись здесь, ты никуда не выберешься. Судьба предлагает тебе нежданную помощь — великий и доблестный пример человека, у которого слова не расходятся с делом. Воспользуйся не колеблясь.

Митя благодарно взглянул на Воронихина:

— Вы — как отец мне, Андрей Никифорович.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Денщик Прохор, вдруг отрезвевший после обеденной выпивки при виде лихой фельдъегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату и испуганно прошептал:

— Фельдъегерь жалует...

Суворов сильно побледнел, забилось сердце, и в голове пронеслось: дождался.

— Открыть ворота! — приказал он.

И, не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фрунт, прислонясь спиной к расписным изразцам.

Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении итти ему в монастырь. Он был истомлен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско. «Каждый солдат мне дороже себя, — говорил, не скрываясь, Суворов, — а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом».

И воздвиг — самого императора.

— Покажет он мне тихую обитель в сибирской тайге, — шептал Суворов, ожидая фельдъегеря.

Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:

— Обознался я. К нам генерал Толбухин приехали!

— Проси, проси... — И Суворов сам кинулся в прихожую.

Толбухин был одним из немногих приятных ему генералов, присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.

В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь уже опьяневшему от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, сановитый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:

— С великой вас честью!

Войдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью.

— Его императорского величества собственноручное вам письмо!

Суворов сломал печать и прочел послание Павла:

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

— Пригодился Суворов! — усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством. — В монахи-то, пожалуй, мне отложить?

— Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии, — сказал Толбухин, — а министр австрийский Тугут, слыхать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.

— Тугут! — воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы, мысли и воли. — Сия сова или сошла с ума, или его никогда у ней не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французишки бьют их. И не зря они меня боятся: я ихнего венского кабинета слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня — я им не каштанный кот из огня каштаны таскать!

— Наши войска, согласно союзному договору, двинуты против Франции... — осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:

— А коли двинуты — о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского! А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как ныне обучены все Тугутовы да и наши — по-прусски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так: московиты суть дикие орды. Зато после Кунерсдорфа редакцию изменил: этих русских, сказал он, можно всех до единого перебить, но не победить. А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: «Ужели для меня не найдется пули?»

И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:

— Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?

Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.

— Проша, — сказал, словно робея, Суворов, — ты бы у старосты в долг раздобыл. Путь-дорога нам дальняя, а у фельдмаршала денег-то...

— В кармане вошь на аркане — известное дело, — докончил Проша и пошел к Фомке, старосте.

Достал двести рублей.

Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражений, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою... Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его прусским затеям.

В свою очередь и Павел немало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете делать? Сейчас, в виду внимания к нему всей коалиции, не ссылать же его, в самом деле, в Сибирь?

Со все растущей обидой вспомнил Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмаршала вступить вновь на службу; как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уважения к нему солдат пустили «в штыки», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазорный предлог: «Помилуй бог, схватило брюхо!» Припоминал Павел, шагая взад и вперед по опостылевшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удалось переехать в Михайловский замок, и все уже ставшие поговоркой народной издевательские словечки Суворова над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты: все будто путался в ней со своей шпагой нового образца под приглушенный хохот придворных.

«И какой только силой этот старик побеждает, воюя противу всех воинских правил?» — с досадой спросил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завистливого царедворца, услышанный им намедни: у Суворова не искусство военное, а чистый натурализм, сиречь — случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм немалую нам снискал победу при матушке — под Рымником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже с восемью нашими вражеских сорок.

Павел подошел к высокому готическому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии» и прочел знакомые страницы, которые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и значение.

Выходило, что монарх — орудие самого бога, и на нем, после помазания на царство, как на лице духовном, почиет благодать.

«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матушка, — гордо думал Павел, — я самим рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обязан настаивать, хоть бы с применением силы, на исполнении воли моей».

А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, будучи наследником, он подавал Екатерине, о необходимости ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.

Тем более сейчас больная душа его находила недостающую ей опору в механичности порядка, доведенного до того предела, где и лишний вздох становится проступком.

А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышанье объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом — будешь жив, человек!»

Усилием воли Павел отогнал от себя распалявшие гнев воспоминания о Суворове. Сейчас все-таки самое главное — чтобы он приехал.

Наконец бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдъегерскую тройку, привез известие, что фельдмаршал вот-вот прибудет в Петербург.

У Павла отлегло от сердца — не посмел ослушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:

— За легкими лаврами старик поспешил, думает, за горами мне его не достать. А ну, как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр...

И Павел велел призвать к себе генерала Германа.

Недаровитый, старательный служака, этот генерал, всем подтянутым видом отвечавший требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готовность слушать и исполнять.

Павел сказал:

— Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы будете все время его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете.

— Ваше величество, — оторопев от испуга, сказал Герман, — но фельдмаршал ведь всемирно прославлен победами, и ему шестьдесят девять лет...

— Нет ему возраста, — оборвал Павел, — а его своеволию нет предела. Исполнять, что приказано!

Доложили Суворова. Павел, сильно волнуясь, сделал несколько шагов на середину покоя. Суворов вошел.

Обычная легкость его существа от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.

От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать.

Суворов поклонился согласно этикету, но заговорил первый:

— Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата — воля ваша — не стану! За тысячу верст невозможно баталией руководить. Одна минута решает исход. Один час — успех кампании.

Один день — судьбу империи. Коли я полководец — сам действую, сам решаю, сам отвечаю.

Павел сделал еще шаг к Суворову и внезапно для себя самого вдруг сказал:

— Воюй, как умеешь...

Очень скоро Суворов уже несся в дорожной кибитке в Вену с неизменным своим спутником, денщиком Прошкой.

После прощальных возлияний с приятелями Прохор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на кожаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег коней, то, взобравшись высоко, говорил сам себе:

— «Воюй, как умеешь» — вот это дело! Ну и повоюем же мы...

Прохор проснулся и ворчливо сказал:

— И мягко, кажись, вам и тепло. Чего еще требуется? А человеку из-за вас не вздремнуть.

— Торжествуй, Проша, — Суворов хлопнул денщика по колену, — первая наша победа одержана. Как в поход тронемся, окаянную косу всем прочь!

— И дело, — согласился Прохор, зевая, — давно б ее крысам сожрать.

Митя уехал с Дрониным вслед Суворову.

Он виделся с Машей перед своим отъездом на плацу Коннетабля после развода. Случилось так, что Павел как-то, внезапно обернувшись, увидал смотревшую на развод Настеньку Берилеву, лично известную ему балерину. Вместе с подругой она прибежала сюда к своему воздыхателю на свидание, но государь пришел раньше обычного и, подбежав к балерине, грозно спросил: «Вам что здесь надо, сударыня?»

— Ваше величество, мы пришли любоваться, влекомые красотой сего военного зрелища, — окунаясь в придворном реверансе, сказали обе подруги.

Павел улыбнулся, и назавтра императорский балет получил приказ ежедневно присылать наряд балерин присутствовать при разводе, если он столь сильно их восхищает. Немало досталось от подруг Настеньке Берилевой. Однако воля государя священна, и несчастные балерины, проклиная разводы и парады, принуждены были вставать еще раньше, дабы не явиться после государя. Пока Гертруда была заступницей Маши, ее не назначали на это досадное дежурство, но едва стало известно, что положение ее заколебалось, тотчас ее зачислили в список «разводных» балерин. Митя узнал, что Маша должна быть в «наряде», и поторопился увидеть ее по дороге домой.

Маша была предупреждена Митиной запиской о том, что ему необходимо ее повидать. Сильно волнуясь, она незаметно

отстала от подруг, обещавших скрыть от надзирательницы ее недолгое отсутствие, и села на скамью под одну из древних елизаветинских лип, только что скинувшую зимний снег и особо отчетливо на бледноголубом небе выделявшую сложный рисунок черных ветвей.

Воронихин рассказал ей, что Митя счастлив, узнав про ее действительные отношения с князем Игреевым. Но Машу это не обрадовало, как можно было бы ожидать. Ее гордость была задета, и сейчас, ожидая Митю, она, несмотря на счастье опять увидеть его, говорить с ним, горько думала о том, сколько примеси самолюбия в мужской любви.

— Ты меня простила... пришла? — сказал незаметно подошедший Митя, опускаясь рядом с ней на скамью и беря ее за руку. — Отчего же я должен был узнать от других, а не от тебя самой, что ты не состоишь в фаворитках Игреева? — с нежным упреком вымолвил Митя, вглядываясь жадно в похудевшее, но ставшее еще прекраснее лицо Маши.

Маша, слегка покраснев, сказала:

— Судьба моя и сейчас на волоске; как и раньше, я завишу от прихоти князя. На мое счастье, он стал увлекаться Тугариной, а у нее расчет — за него выйти замуж. Но все может опять измениться. Словом, счастья со мной я тебе не могу обещать, — сказала она со своей особой грациозной улыбкой, — но фавориткой княжеской я не стану, в этом теперь можешь быть уверен, — жизнь для меня уже потеряла заманчивость.

— А искусство? Оно ведь ревниво, ему надо всем жертвовать, — горячо спросил Митя, пытливо смотря в ее умные, усталые глаза.

— Если нельзя будет мне проявить это искусство, не замаравшись в грязи, — я и без сцены могу обойтись.

— Безмерно люблю тебя, Маша. Прости меня, прости, — и Митя, охваченный горьким раскаянием, целовал Машину руку, — разреши мне, как раньше, считать тебя моей нареченной невестой. И когда я вернусь, мы женимся, Маша.

Маша быстро повернулась, спросила в волненье:

— Ты уедешь? Куда и зачем?

Митя рассказал ей о знакомстве с майором Дрониным, о совете Воронихина, о все растущей своей уверенности, что ради грядущей их судьбы ему необходимо сейчас уехать в армию.

— Я боюсь за себя, если останусь здесь, — сказал, побледнев, Митя, — я дольше не могу вынести этого ужасного ожидания, я убью Игреева или себя. Если бы мое присутствие могло помочь тебе, Маша...

— Нет, — поспешно прервала Маша, — мне будет легче, когда ты уедешь, Митя! Пока я не свободна, нам видеться только мука.

Еще раз Митя встретился со своей невестой у Воронихина, куда пришел и Дронин, очень полюбивший Митю. Он поведал Маше, что считает ее жениха своим младшим братом и в случае какой с ним беды немедленно ее известит.

Митя и Дронин догнали Суворова в Митаве, где он на некоторое время остановился. В этом городе поселен был сейчас Павлом бежавший из Франции брат казненного короля, претендент на французский престол — Людовик Восемнадцатый. Представляться Суворову явились все придворные чины и в ожидании его появления занялись пересудами на его счет. Опасались, не явится ли старость помехою для снискания ему новых лавров, а России — победы. Некто, недалекого ума, позволил себе через переводчика допрашивать Прошку, какие именно медикаменты употребляет его барин, чтобы от дряхлости не дремать на коне?

— Пусть у него самого спрашивают, — велел переводчику ответить Прохор, — он им покажет кузькину мать! — И, найдя маловразумительным свой ответ, добавил еще несколько русских слов.

Последние, как и «кузькину мать», переводчик перевести не сумел. Прохор не настаивал и отправился к фельдмаршалу с докладом:

— Ответь, батюшка, им по-свойски.

— Сейчас, Прошенька, я отвечу, — согласился Суворов, и не успел тот ахнуть, как фельдмаршал, широко распахнув обе двери приемной и представ перед парадными мундирами в одном нижнем белье, громогласно возгласил:

— Суворов сейчас начнет свой прием!

Дамы в обморок: он в одном нижнем! Мужчины возмущены: выжил из ума, он погубит армию...

Прохор сел на пол и гоготал:

— Ерой наш фельдмаршал, чистый ерой. Такого не было и не будет. Он врага в штык возьмет, он портками дуракам рот заткнет.

Митя был глубоко растроган, когда в Вильно, где стоял любимый суворовский Фанагорийский полк, к Суворову от имени всех солдат обратился гренадер Кабанов и просил его взять с собою весь полк в Италию.

Суворов, который особенно любил своих фанагорийцев, тоже расчувствовался, но принужден был им отказать, потому что только один государь мог дать просимое назначение.

Митя чувствовал себя как бы вновь рожденным в чьем-то здоровом, молодом, налитом бодростью теле. Порой сердце ныло при воспоминании о Маше — не затаила ль обиду? Не груб ли он для ее гордого нрава со своей ревностью? Не нужно ли было еще

раз повидаться? «Нет, — прерывал он себя, — каждая встреча — новое страдание. Суждено быть вместе — мы будем. А нет — отрубить лучше сразу...»

И Митя, кроме необходимых зарисовок, указываемых ему Дрониным, сначала — чтобы забыться от непосильной тяжести, но вскоре увлекшись самим делом, упражнялся так усердно заодно с молодыми солдатами, что Суворов, узнавший от Дронина его историю, как-то сказал ему:

— А ты, братец, как будто не столь Аполлону, как нашему Марсу привержен? Что же, в атаку возьмем.

— В обозе не спрячусь, — ответил весело Митя.

Дронин все сильнее привязывался к Мите, найдя в нем себе нежданное обогащающее дополнение. При всей бурности темперамента Дронин души был простой и бесхитростной, а жажда Мити найти разрешение вопросов, которые ему и в голову не приходили, и занимала его и вызывала в нем уважение к молодому другу.

Митя жадно выспрашивал Дронина о предстоящей кампании, об отношении австрийцев к Суворову и скоро составил себе ясное понятие о новом, военном мире, куда попал нежданно-негаданно, как во сне.

Митя проникался все большей любовью к изумительному человеку и полководцу, которого теперь мог наблюдать своими глазами. Он знал от Дронина, как догадливо определил претендент на французский престол чудачества Суворова: «Это расчет ума тонкого и дальновидного», — и сам, присмотревшись, решил, что определение это правильно; оно было ключом к непостижимому для австрийцев поведению Суворова в Вене.

Кто для гофкригсрата был русский полководец? Чудак, дикарь, не умеющий вести войну по правилам, но которому непостижимо сопутствовала многократно проверенная удача.

Хотя высшая австрийская военная инстанция назначила Суворова главнокомандующим соединенной армии только благодаря настояниям Питта, однако в Вене создали не только внешний почет, но и оказали уважение общеизвестным причудам фельдмаршала.

Во дворце, где он был помещен, занавесили зеркала, для постели ему на узорный паркет, натертый до блеска, принесли охапку душистого сена. Не уставали лицемерно и преувеличенно восхищаться суровым распределением рабочего дня фельдмаршала. Вставал Суворов, как всегда дома, в четыре часа, обливался ледяной водой и в восемь уже обедал весьма скромными яствами. Он не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, опасаясь нарваться на отказ, Суворова к себе и не пригласил.

Особенно торжествовал Митя, когда слушал рассказ Дронина о том, как явились к Суворову члены гофкригсрата, о котором он говорил обычно, расчленяя насмешливо длиннейшее слово на три составные и сопровождая каждое либо припрыжкой, либо преувеличенно уважительной гримасой:

— Придворный военный совет. Сиречь: гоф-кригс-рат!

Этот вот кригсрат предложил Суворову изложить подробно весь план своей кампании. Фельдмаршал увернулся, объявив, что планы у него появляются только на месте баталии, соответственно создавшимся обстоятельствам. Тогда австрийцы принесли план собственный, где конечной целью кампании намечено было оттеснение французов к реке Адде.

Дронин по секрету поведал Мите:

— А старик наш такой быстрый — хвать карандаш да по австрийскому плану крест-накрест. Закрестил его, как нечистую силу, отошел и, гордо подняв свой хохолок, говорит: «А я только и воевать начну с этой вашей Адды, а уж кончу где бог повелит!» У самого же, ей-богу, давно готов план, только горе-генералам австрийским, которые все битвы пока что проиграли, его поведать не хочет. «Вороны, говорит, они все, хоть и ученые. Поведай я им, а назавтра мой план французы от них же узнают».

Однако при прощании первый министр все-таки ухитрился вручить Суворову несносную инструкцию императора Франца — приказ сообщать в Вену не только действия, но и военные предположения...

— Это сова сумасшедшая, Тугут, натугутил! — фыркнул Суворов. — Они бы еще с луны затеяли руководство боями.

Из Вены Суворов и все русские двинулись в действующую армию. Во власти Суворова были австрийцы под командою старого генерала, «папаши Меласа». Французы двигались с талантливым Макдональдом и нелюбимым солдатами старым генералом Шерером.

Тихоходная австрийская армия под нажимом Суворова сразу преобразилась. Он вдвое увеличил дневной переход, и что русским было привычно, для австрийцев превратилось в пытку. Обувь скоро развалилась, шли босые, неустанно жалуясь на жестокие требования главнокомандующего. Русские же солдаты, освобожденные от ненавистных кос, заметно повеселели и рвались вперед. Пока без боев подошли к Вероне. Французы раздражили своими грабежами население, и потому Суворов встречен был как освободитель: веронцы выпрягли из коляски его лошадей и на себе ввезли в город.

В Вероне Суворов принял командование союзной армией. Дронин усадил Митю с его альбомом так, чтобы он не проронил ни одного выражения необыкновенного лица Суворова, которое во время церемонии приема то и дело менялось. Старый воин

генерал Розенберг по очереди представлял ему главных австрийских начальников и всех русских. У Суворова уже о каждом было свое мнение, каждому сделан учет заслуг и дарований, но он сделал вид, будто видит представляющихся ему впервые. Суворов вытянулся нарочно церемонно, словно стоял во фронту, и закрыл глаза. Прозрачные старческие его веки чуть дрожали, порой выглядывал из уголка насмешливый, острый зрачок.

Розенберг называл фамилии людей, не обладавших особыми дарованиями, тусклых, в лучшем случае усвоивших знание механизированной военной науки, тупозрячих австрийцев, либо гатчинских молодцов, за отличием и чинами поспешивших на войну да попутно чтобы выследить и доложить государю все промахи фельдмаршала против предписанных мелочных правил введенного Павлом устава. Самовольник-фельдмаршал — твердо знали они — как был, так и остался неугоден императору и только в силу необходимости вызван из ссылки на высокий пост: по настоянию Англии, в угоду вспыхнувшему тщеславию самого императора, объявившего придворным, что «русские всегда пригождаются». Пока фамилии называемых Розенбергом людей не вызывали уважения Суворова, он, как бы тихо изумившись, однако явственно, во всеуслышание восклицал:

— Помилуй бог, никогда не слыхал... познакомимся.

Проглотив горькую пилюлю, однако хорохорясь и пряча до подходящей расплаты свою обиду, начальники, поклонившись, шли мимо, а Дронин шептал Мите, увлеченному своими набросками:

— Еще один враг готов... Эх, свалят они его, как злые осы медведя!

Зато едва попадался воин, любящий свое дело, глаза старика загорались горячим приветом. При появлении же молодого Багратиона сам фельдмаршал вмиг помолодел и кинулся к нему с объятиями.

После приема все ждали от главнокомандующего парадной и пышной речи, в которой, как обычно в таких случаях, для поощрения участников возлагаются на них словесно те и другие преувеличенные надежды с перечислением предполагаемых достоинств.

Митя, не однажды слыхавший из уст Суворова, что слова потребны лишь для крайней необходимости, а память должна удерживать лишь то, что говорит рассудок, все же прочее — болтовня, лишний хлам, — оставив свой альбом, вытянувшись за спинами генералов, с любопытством ждал, как сейчас обнаружится Суворов.

А он, пренебрегая важной неподвижностью, которая, по представлению австрийцев, была выражением собственного достоинства, быстрый, легкий, заметался вдруг по комнате, словно

наглядно сбрасывая с себя все те лишние, не решающие дела слова, которых, знал он, все от него ждали. И вдруг остановившись, произнес то единственное, что почитал нужным. Говорить лишнее было ему столь нестерпимо, что он просто повторил всему генералитету те руководящие слова, которые уже были им найдены и закреплены в его «Словесном поучении солдатам». Их он и просыпал частым градом на почтительно склоненные головы начальников.

— Субординация, экзерциция, чистота, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа. И — каждый воин должен понимать свой маневр.

Австрийцы, почитая, что они давно превзошли гораздо сложнейшую военную науку, обиделись и послали в Вену не один донос на самодура-фельдмаршала.

Митя досаждал Дронину своим возмущением австрийцами и восхищением фельдмаршалом, который, невзирая на общее недовольство, приналег на обучение союзников и вдохновенно вдалбливал свою боевую суворовскую азбуку «тупозрячим».

Все реже брал теперь Митя карандаш в руки, все серьезнее упражнялся со штыком. То, что не было первой необходимостью в ожидании предстоящих боев, отодвинулось, стало казаться неважным. Он словно вышел из тяжелой болезни и вновь приобрел утраченную простоту детских лет, когда нет еще груза сомнений, когда поступки предначертаны и ясны.

Около половины марта великий князь Константин выехал в армию Суворова. Он давно порывался на войну, но Павел ему сказал:

— Голицын ведет вспомогательный корпус, состоящий на жалованье у Англии, а корпус Розенберга на таковом же положении у Австрии; я бы не хотел, чтобы русский великий князь стал участником такого похода.

Но вот образовалась суворовская армия, которую льстиво именовали «спасительницей Европы». Она снаряжалась на свои, русские средства, и Павел с особым удовольствием отпустил туда сына.

Константин выехал волонтером с небольшой свитой, главным приставленником к нему был один из лучших екатерининских генералов, Дерфельден. Этот же Дерфельден назначен был Павлом в случае смерти Суворова ему преемником.

Константину было всего двадцать лет. Он рос под торжественной сенью оды Державина, еще до рождения приветствовавшего его как «носителя шлема». Поэт шел навстречу мечтам императрицы Екатерины — воспитать второго внука императором греческим, почему и ожидало его преемственное имя Константин, уже украсившее двух доблестных императоров. В десять лет, однако, «носитель шлема» еще не умел бегло читать, а когда

ему минуло пятнадцать, многотерпеливый великокняжеский наставник Лагарп, указывая Екатерине на всю бесполезность занятий со своим младшим питомцем, просил его уволить от этого дела. И до наук ли было, если шестнадцати лет этот великий князь уже женился. Однако тот же справедливый Лагарп отмечал, что в характере Константина заложены зачатки добродетелей и талантов, превышающие обычный уровень, но недостатки его неодолимо препятствуют развитию сих добрых качеств...

Но если к наукам у Константина было решительное отвращение, скоро он сделался усердным служакою, крайне требовательным и подчас даже жестоким к солдатам своей роты. Унаследованная от отца неуравновешенность и бешеная вспыльчивость доводили его до такого самовластия, что имеющие с ним дело военные высших чинов должны были припугивать его военным судом и собственным родителем, которого он трепетал. Однако, подтягивая самолично ослабевшие ремни ранцев у молодых солдат, не мог воздержаться, чтобы не дать им походя зуботычины...

Этого сына, с одной стороны — отличного выученика ненавистной Суворову гатчинской школы, с другой — обладавшего ничем не укротимым своеволием, Павел, не без тайного злорадства, послал к Суворову, отлично зная, как его присутствие может стеснить главнокомандующего.

Суворов ждал Константина с великим неудовольствием. Помимо невыгодного личного впечатления, он помнил отрывки из записок сего «носителя шлема», где выступала вся его убогая военная философия, совершенно противная основным положениям суворовского «Словесного поучения солдатам».

Константин полагал, что «причуда» начальника должна сделать своего подчиненного слугой, который может быть «употреблен на все».

Великий князь, как и недавно приехавший Суворов, остановился в Митаве, где его угощал парадным обедом брат казненного короля и где с французским остроумием ему рассказаны были пресмешные вещи про Суворова, которого он тайно боялся.

Выход Суворова в одном нижнем белье, с молниеносной сменой его же и появлением в полной парадной форме, для наглядного опровержения старческой дряхлости, — пленил Константина, и показалось ему в глупой заносчивости, что его собственное самодовольство чем-то сродни причудам главнокомандующего. И если Суворову лестно было доказать перед нарядной приемной, что он не мокрая курица, а орел, он оценит и ту безоглядную храбрость, которую он, царский сын, собирается проявить.

На последней станции перед Веной великого князя встретил его родной дядя, герцог Вюртембергский, губернатор Вены. Он с ужасом рассказал племяннику про все капризы фельдмаршала, напугавшие австрийский двор: как он во дворце сделал себе сеновал и как повел образ жизни, более приличный настоятелю монастыря, нежели полководцу, имеющему общение с коронованными особами.

Константин хохотал:

— Это он нарочно, чтобы показать, что ему на всех вас наплевать...

Однако ему было лестно, что сам он ежедневно обедает с императором во дворце, что русский посол Андрей Разумовский в его честь устраивает в своем великолепном доме на Пратере рауты, концерты, что когда он появился в театре, то был встречен вставанием и единодушными рукоплесканиями.

И мало-помалу потерявшему голову от почестей Константину стало казаться, что главнокомандующий армией не только один Суворов, но и он сам как-то не менее важен.

Он было собрался пожить в веселой Вене, но Дерфельден заторопил его, пугая, что Суворов так скоро порешит, по своему обыкновению, с врагами, что на долю великого князя и побед не оставит. Взбалмошная голова Константина полна была одним желанием отличиться, и, оставив Вену, он явился в корпус генерала Розенберга, который находился вблизи Валенцы.

Узнав, что около Валенцы большое скопление французских войск, а сам город сейчас для общего плана войны брать неважно, Суворов предписал Розенбергу срочное отступление. Только что появившийся Константин, считая, что подходящий случай ему прославиться наступил, стал требовать атаки Валенцы. На Розенберга он подействовал насмешкой:

— Вы привыкли служить в Крыму, там были спокойны и неприятеля в глаза не видали!

И старый генерал, как тщеславный мальчик, ослушался главнокомандующего и пошел на французов.

Константин рвался вперед без оглядки и чуть было не погиб в реке. Благодаря его запальчивости и малодушию генерала бой при деревне Бассиньяно был проигран. Русские совершенно зря потеряли около полутора тысяч человек и два орудия.

Суворов был в ярости. Он послал вторичный приказ отступить с собственной отметкой Розенбергу: «Сие немедля исполните или подлежите военному суду».

Розенберг, гонимый превосходными силами французов, отступил в беспорядке, и Суворов принужден был сам поспешить ему на помощь.

Все ожидали, как встретит Суворов великого князя, который должен был после проигранного боя явиться к нему.

Суворов встретил Константина, строго соблюдая предписываемый в сем случае этикет. Он вышел к нему навстречу, склоняясь, быть может несколько подчеркнуто, ниже, чем следовало.

Константин, выглядевший гораздо старше своих лет, коренастый, словно налитый тяжестью, раскаяния и страха не проявлял. Он только против обыкновения не сутулился, а напряженно выставил голову, будто собрался бодаться своими дремучими, кустистыми бровями цвета спелой соломы.

Суворов впустил великого князя и собственноручно запер за ним дверь. Быстро оглядел, не задержался ли где Прошка подслушивать, и близко подошел к Константину.

— Легкую захотели себе, сударь, победу? — гневно начал он и на попытку великого князя что-то ответить с такой силой не то что крикнул, а, напротив того, прошептал: — Молчать! — что Константин оробел. — Легкую победу, да нелегкой ценой! Уложил зря полторы тысячи человек. Солдат дорог! — крикнул Суворов. — Забота о чести русского оружия, забота о людях, кои вам вверены, — вот долг. А вам? Что вам, сударь, доступно?

Суворов отошел и вдруг подбежал так близко, что вытянувшийся по швам Константин заморгал часто-часто рыжими ресницами и его большие голубые глаза непроизвольно налились слезами.

Суворов, как бы бросая круглые камни в тихую воду, сказал, отчеканивая каждое слово:

— До сей поры вам свойственна была лишь строгость по прихоти, что есть — тиранство. Вместо истинной военной науки вам известны: бахвальство, шагистика, фрунт... А что солдата губить — негодяйство, вы об этом когда-либо думали? На всю жизнь за солдата ответ. Нельзя, сударь, жить негодяем, ежели именуетесь — человек!

Не страх, лишавший всех чувств, как это бывало при гневе родного отца — императора, не то позорное чувство собаки, которую убить может хозяин, — нет, нечто расширяющее душу, нечто вдруг вызывающее ее лучшие качества ощутил Константин перед этим невысоким, словно бы тщедушным человеком, который, не боясь ответа, немилости, Сибири, говорил с ним, царским сыном, как власть имеющий.

— Да будет вам стыдно от упреков собственной совести, — приказал Суворов, и Константину стало стыдно, хоть провалиться.

Впервые, потрясенный, ощутил он, что, кроме грубой физической силы, которую он так ценил в других и которой гордился в самом себе, была еще и сила превосходнейшая, источником которой были ум, сердце, благородство воли.

— Простите... — прошептал Константин и заплакал. Голова его низко склонилась. В размягченной душе пронеслось: «Вот если бы батюшка был таков, и я б стал иной».

Суворов поспешно опять подошел, чуть коснулся жестких крутых рыжеватых волос Константина и совершенно другим, большой доброты отеческим голосом вымолвил:

— Запомни же... навсегда.

Суворов открыл дверь и, как при встрече, изгибаясь в придворных поклонах, оказывая Константину как великому князю подобающую честь, провел молодого человека с заплаканным лицом несколько шагов вперед. Затем, повернувшись к свите великого князя, стоявшей в испуганном изумлении, с тихой яростью отчетливо вымолвил:

— А вы? Да ежели в другой раз не удержите, на расправу вас всех к государю! Что, ежели б великого князя взяли в плен? Невыгодный заключать мир с французами? А если бы, помилуй бог, убили? Мне ли его переживать? А кто кампанию выиграет? То-то! Мальчишки...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Новая большая работа, как всегда, вызвала величайшее напряжение сил Баженова, но здоровье уже было плохо, и угнетала мысль, что и этой последней большой работе предстоит та же участь, которая постигла его великие неосуществленные проекты.

Головокружения с потерей сознания наступали все чаще, тоска глушила последние надежды. Все чувствовали, что близок конец его многострадальной и доблестной жизни.

Но сколь ни были готовы к этой мысли, когда 2 августа 1799 года паралич сердца вызвал внезапную смерть Василия Ивановича, горе преданной Грушеньки было безгранично. У Воронихина, кроме скорби от утраты великого друга, открытой раной осталась обида против злого рока, как бы положившего заклятие на все завершения гениальных начинаний Баженова.

— С его смертью в Академии, конечно, все будет по-старому, — сказал с горечью Воронихин, входя вместе с Карлом в свой кабинет.

Они только что вернулись с похорон. Без особого приглашения Карл безмолвно пошел за Андреем Никифоровичем, — так само собой вышло, что сейчас им невозможно было разлучиться.

— Осиротели мы, — вырвалось у Карла.

— Когда большой человек умирает, сила и воля его как бы прилагаются сознанию тех, кто их способен принять. В них продолжится его творческая жизнь. Вот оно — бессмертие.

Воронихин сказал эти слова строго и властно, и Карл невольно склонил голову.

— И самое главное, запомни, Шарло, — положил Воронихин свою руку на плечо Карла Росси, — запомни золотые слова Баженова при закладке Кремлевского дворца: «Думают некоторые, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика, математика не подвержены моде, так и архитектура...» Цивилизации возникают и рушатся, верования, которые питали веками человечество, заменяются новыми или исчезают совсем. Роковыми в жизни каждого человека являются разочарования, утраты, непосильное утомление бессмысленной пестротой жизни. На что устремить взоры? Где незыблемость, а с ней необходимый покой? Я разумею, Шарло, — продолжал Воронихин, по своему обычаю при волнении начав ходить вдоль комнаты, — не тот сонливый, бездельный покой, в который легко впадают старики и ленивцы, а божественный покой творца, необходимый для новых зачатий. Зачинать и рождать — от форм простейших до тех, несущих благодеяние всему человечеству, вносящих в мир новое, — есть первейший из законов земли. А обладать творческим покоем — первое условие для выполнения этого закона. И вот, Шарло, что хотел Баженов выразить, передать потомству как помощь, как опору в личной судьбе и в работе, когда он сказал: «Архитектура, как логика, физика, математика...»

— И есть та незыблемость, которая утешает, дает питание не только уму, но и сердцу! — восторженно докончил Росси. — Я это сам знаю с детства, Андрей Никифорович, только не сумел бы так выразить, как вы сейчас. В больших огорчениях я, бывало, раскрывал геометрию, — доверчиво признался он, — и, как от созерцания Акрополя или картины да Винчи, великий покой исцелял мое горе.

— И всех людей, дорогой Шарло, надлежит нам этому научить. Получить от искусства не только радость для глаз, но вот эту опору в жизни, эту отраду мысли в незыблемом. Тем более что выбранное нами с тобой искусство — архитектура — есть искусство всенародное. Послужим ему достойно, по примеру великого Баженова.

— Вот и справили мы ему поминки, — сказал растроганный Росси.

— А теперь, Шарло... — Воронихин замялся. Твердые глаза его затуманились. — После этих поминок, которые должны вызвать в нас все лучшее и сильнейшее, я хочу сказать тебе одному печальную весть.

— О Мите? — воскликнул Карл. — Неужто убит?

— Митя не убит, но тяжело ранен в сраженье под Нови. Вот его последние рисунки, присланные Дрониным для тебя и Маши. Прочти письмо майора, посмотри весь пакет. Оставлю тебя одного...

Несколько больших рисунков акварелью и тушью были вложены в тетрадь, исписанную крупным почерком майора Дронина. Это были его пояснения к рисункам Мити, с подробностями передающие темы зарисовок. Начиналась тетрадь письмом к Воронихину:

«Андрей Никифорович, друг и благодетель, слов моих нет, чтобы выразить мое горе: Митеньке, названому брату моему, преславному художнику нашему, в сраженье под Нови оторвало ядром правую руку. Укрытый почтенным русским тамошним жителем, Митя в конце концов был доставлен в наш госпиталь. Сии рисунки его, последние в жизни, просит он передать известной вам Маше и другу своему Карлу Росси. Жизнь Мити вне опасности, но руки нет и нет, чем весьма удручен, но чаятельно мне — он справится. Ибо по богатству души своей не только склонность к искусству имеет, но и великую заботу о людях крепостного сословия: не перст ли это судьбы, вымолвил он намедни, чтобы не быть мне художником, а лишь борцом за обиженных?

«Курьер, который передаст вам сей пакет, воротится скоро обратно с рескриптом государя нашему Суворову. Тяжело раненные, среди коих обретается Митя, будут вскорости переведены в доступный посещению городок Богемии. Если Маша захочет, ей возможно туда приехать с упомянутым курьером. Многие жены, переодетые в мужское, уже пребывают здесь при мужьях, хитро укрываясь от ока гнева начальствующих. А сейчас ей и сего укрытия не понадобится... Хотя я Машеньку видел однажды, но столь необыкновенная сила характера заключена в ее привлекательной внешности, что разрешил я себе, старый мечтатель, допустить предположение: благородная Машенька не замедлит пролить бальзам на отчаянное заявление художника, будто для безрукого взаимная любовь — предерзкое самообольщение. Во всяком случае приказал он мне написать, что освобождает невесту Машеньку от данного ему слова. С упованием, что оной свободы она не восхочет,

известный вам майор *Дронин*».

Толстая тетрадка, исписанная крупным почерком майора, адресована была Карлу, и на первой странице ее, вместо вступления, говорилось:

«Юный Митенькин друг и, смею надеяться, в той же мере и мой, обращаюсь к вам с просьбой прочесть лично Машеньке вслух прилагаемые пояснения рисунков Мити. Сами увидите, что выразительность их говорит за себя, но, желая перенести ваше воображение в испытанные нами бои и события, я для верности заношу здесь условия, их предваряющие и последующие, дабы запечатленный Митиным карандашом момент не являлся для вас некоей случайностью. Длинноты рассказа, свойственные немолодому воину на отдыхе (каким я ныне являюсь вследствие обмороженных ног при последнем переходе), скучные для юного слуха, прошу сократить, а грубые выражения, возможно проскочившие без моего ведома в мою речь, усердно прошу заменить выражениями деликатными.

«Приступаю к картине первой, где великий наш Суворов, без шляпы, засучив рукава, лезет в воду заодно с понтонерами. Начинаю повествование со средины апреля... Объявлено общее наступление, и главнокомандующий погнал нас вперед, что на зайца борзых. Ну, всплакались тотчас австрийцы — сия гоньба превышает-де наше достоинство. Сделав принудительный переход некоей речки под проливным дождем, обиделся сам старый п..... Мелас, австрийский главнокомандующий (Машеньке прочтите: «папаша Мелас», выйдет пристойней, чем многоточие солдатской нашей клички). Доведено было сие роптание до Суворова, и он задирательно отвечал: «Ежели ваша пехота боится ножки мочить, пусть остается в тылу с сухими портянками». Австрияки снаушничали в Вену, фельдмаршал получил замечание и уже без сомненья сказал:

«— Видать, мне придется вести тут войну на два фронта.

«Однако на реку Адду, не посмотрев на дожди, опять двинул нас круче прежнего. Понтонеры размокли, болеют, чуть тянут мосты. Тут Суворов ка-ак вскочит сам в воду. А Митя — за карандаш и закрепил дело. И ведь не для видимости дал Суворов саперам пример — он лучше их, оказалось, науку ихнюю знает и сметкой всех превзошел. И веселый какой! Известие принесли, что неудачника, старого генерала, сменил блестящий Моро, что, понятно, усилит врага, а Суворову только любо:

«— Ту старую перечницу, — говорит, — нам разбивать мало славы, у Моро же лавры позеленей.

«И, конечно, Моро сразу стал исправлять глупость той старой перечницы — стягивать фронт, который тот зря растянул. Однако шалишь, на это Суворов времени не дал. И сколь ни храбры были с новым генералом французы, мы перешли Рубикон... то бишь реку Адду.

«А вот момент второй Митиной работы: генералу Серюрье наш главнокомандующий отдает его шпагу и отпускает на чест-

ное слово домой (с обещанием, что воевать против нас не будет). Генерал этот был взят с целой дивизией. Обратите внимание, сколь любезно и с тем вместе кусательно говорит ему, протягивая отнятое оружие, Суворов:

«— Не могу лишить шпаги того, кто столь славно ею владеет.

«Зацепило генерала, ну он петушится:

«— Атака ваша была построена на недопустимом в военной науке риске. Это простой случай, что вы победили.

«Вот гляньте на следующий рисунок, как у Суворова от скрытого смеха дрожит все лицо, насмешкой искрятся глаза, а говорит он нарочито казанской такой сиротой:

«— Что поделаешь, так уж мы, русские, воюем: коль не штыком, так кулаком. Я еще из лучших.

«А вот вам, Карл Иванович дражайший, презабавный случай при въезде в Милан. На главной площади перед великолепием собора, этого белоснежного чуда, завершенного тончайше высеченными из мрамора кружевами, — австрийский старец, папаша Мелас, зарыл редьку (это старое кавалерийское выражение, мнится мне, и при девице возможное). Желая облобызать нашего главнокомандующего за доблестные успехи от лица союзной армии, он, дряхленький, не удержался в седле и, будучи верхом, к своему конфузу перехлестнулся через седло. Это перед своими-то и нашими войсками.

«— Помолодел папаша от наших побед, юные годы на память пришли, — смеялись суворовцы, — не унесла бы его обратно кобыла в конюшню.

«Это падение «папаши» Митя смехотворно зарисовал, и при всеобщем веселии оно обошло армию. А наш фельдмаршал запустил-таки гофкригсрату в бочку меду свою суворовскую ложку дегтю: «Ваши австрийцы, — написал он, — почти так же хорошо дрались, как наши русские. Ничего, обучатся...»

«Если Машеньку «папаша Мелас» насмешит, просит Митя ей поднести от него на память эту картинку, а уже следующий номер специально вам, Карл Иванович. Извольте выслушать предисловие:

«Недолог наш отдых. Опять стремительный разгон по солнцепеку, по совершенно безводной местности. Изнемогаем, изнемогли. А Суворов тут-то и велик. Сам, конечно, вперед, да с шуткой, с прибауткой, с новой затеей; и во сне не увидеть, чем он порой дух взбодрит. Такое придумал, что отстающие так и ринулись к головным. Этот момент Митенька карандашом своим быстрым очень сходственно ухватил. Извольте хорошенько рассмотреть: под лютым зноем, босоногие, загорелые, драные, черти какие-то неистовые, но во все горло орут якобы по-французски:

«— Пардон. Жете-ле-зарм. Ба-ле-зарм...

«Случается, на французском запнутся, тогда таким, знаете, русским горохом просыпят и, словно наши лешие, в итальянских ущельях хохочут. А цель достигнута — веселье дух подбодрило. Это Суворов так придумал, чтобы ребята двенадцать французских слов назубок знали для объяснения с врагом.

«Рисунок, относящийся к знаменитой победе под Треббией, про которую уже общеизвестно как про верх военного искусства нашего Суворова, Митя просит вас, Машенька, под стеклом окантовать и в своем кабинетике повесить, считая, что он наиболее ему удался. За эту победу славному нашему герою государь прислал свой портрет, усыпанный бриллиантами, и рескрипт не без свойственного ему острословия:

«— Бейте французов, и мы вам будем бить в ладоши.

«Австрийский же Франц прислал тоже рескрипт, где между хвалебных строк так и кололо осиное жало — всегдашний тупоумный намек, что Суворов воюет не по правилу, а ежели побеждает, «тому причина всегдашнее счастье ваше».

«Призвал Суворов кое-кого, и я с Митей при этом были, и говорит:

«— Австрийский-то император бессмысленным счастьем нашу военную выучку аттестует, как и прочие ослиные головы... Ох, беда без фортуны, как и беда без таланта.

«Тут Митя тихо скажи:

«— Великое ваше дарование и есть ваша фортуна.

«А Суворов весело так подхватил:

«— К фортуне ж мозги. А к мозгам — труды. Трудись, рук не покладая, — обязательно фортуну поймаешь. А ловить надобно ее спереди, за хохол. Сзади-то она лысая... Впрочем, я лично горжусь лишь тем, что я россиянин, и превыше всего тщусь поднять славу русского солдата.

«Вот и доказал он сие великой победой своей при Треббии. Неравенство сил было столь велико, что заколебался сам неустрашимый Багратион. Прискакал было с рапортом о необходимости «оттянуться».

«— Никак... — сказал тихо Суворов.

«И что же изобрел для примера? Пробежал сколько-то, будто вместе с бегущими в панике, и когда слился с ними в единую душу, ка-ак скомандует: стой! Повернул круто назад, и такие всем слова: атака, руби, ур-р-ра!

«Французы сочли этих, было отступивших, за новые, свежие войска и дрогнули. Где ни покажись Суворов — победа. Ну, словно живой какой талисман. Трехдневный неравный бой — нами разбит Макдональд. Вот Митя и обессмертил Суворова в этом его вдохновении, в могучем приказе бегущим: *стой!*

«Дальнейшие подвиги нашего великого Суворова карандашом Мити не могли уже быть зарисованы, ибо сам он умираю-

щий унесен с поля битвы и лишь чудом чужой добродетели остался ныне в живых. Но я пребывал верным свидетелем некоего, прерывающего силы человеческие, подвига духа нашего знаменитого полководца. И если рассказанное мною Мите способно оказалось в минуту отчаянного малодушия придать ему, как он утверждает, новые силы, то да поможет приводимый мною ниже героический пример и вам, любезная Машенька, с обновленным сердцем перенести трудный ваш час. Митя еще просит сообщить вам по своему внутреннему опыту сделанный вывод: «Как смоляные некие факелы, и сердца людей зажигаться могут доблестью одно от другого».

«Приступаю к посильному изложению вышеупомянутой битвы под Нови.

«Первое наше наступление было отбито. Барон Край стал требовать выступления Багратиона. У Суворова были свои расчеты, и он этих Краевых послов никак не принимал, делая вид, что спит, завернувшись в свой плащ. Когда же, по его определению, наступил час, он сам вскочил на коня и скомандовал: «Атака!» Жара была нестерпима. Но люди нападали на отменную позицию французов с яростью, превосходящей все бывшие бои, и все же мы ничего не могли поделать — откатывались обратно. Суворов был в самом сильном огне, провожал, вдохновлял, отдавал всю душу. Впервые под его командой угрожало его богатырям поражение. В последней горести разорвал он ворот рубахи и пал на землю. Ужас нас охватил — если великий духом повергся, значит, гибель, конец. Но это было лишь один только миг... Как древний Антей, коснувшись земли-матери, могучий духом встал полководец. Подъехавших с худыми вестями, не дослушав их, отмахнул, произнес тихо, раздельно, с беспредельной силой и властью:

«— Атаковать! Победить!

«Так, воображается мне, сказать бы мог один бог, вызывая из совершенного мрака свет.

«Я счастлив, что был свидетелем, как чудесный гений освобожденной от всякого своекорыстия воли сделал чудо в честь своей родины. Окрыленные суворовской силой, помчались галопом гонцы по частям. Его огневым приказом подняли всех упавших. Рванулись резервы, подоспели к ним запоздавшие генералы. Перед бурей единством сомкнутого войска, слитого с гением своего полководца, побежали французы. И не под силу было врагам сохранить свой порядок. Отступали, бросая оружие, скрываясь в оврагах, в лесах. Большая армия уменьшилась вдвое.

«Так вот, мои дорогие, что может сделать с ослабевшими воля одного человека, и сколь беспредельны, сколь еще не познаны нами наши собственные силы. А когда наш Суворов, в незримом лавровом венке, коего был вполне достоин, как лю-

бимый им Юлий Цезарь, прибыл на отдых к себе и встретил биографа своего Фукса (и скажу между нами: доносителя, по примеру прежде бывших при нем Николаева и Германа), то, внезапно развеселясь, сказал придуманный им стишок:

Конец и слава бою —
Ты будь моей трубою».

Тут прерывались записки майора...

Когда Воронихин вернулся в свой кабинет, Карл сидел на диване с рисунками Мити в руках. Его красивые глаза полны были слез. Протягивая рисунки, он вымолвил:

— Какой оказался он тонкий художник. И потерять руку, едва найдя свое настоящее призвание!

— Митя как-то и мне говорил, что у него тяга к живописи сильнее, чем к архитектуре.

Воронихин еще раз пересмотрел рисунки, отобрал те, которые надлежало передать Маше, и сказал:

— А все-таки истинным призванием Мити, к счастью, является не искусство. Трагедия неравенства людей, вызванная самым их рождением, слишком его потрясла. Если бы вместо России он был во Франции в те незабвенные годы провозглашения прав человека, я уверен, он там оказался бы не последним.

— Быть может, Андрей Никифорович, — застенчиво сказал Карл, — в грядущем царствовании, когда ваш родственник Строганов, или, лучше, Поль Очер, будет нашим Мирабо, Мите найдется дело и на родине?

— У меня с Митей уже был перед отъездом разговор на эту тему, — чуть нахмурился Воронихин. — Скажу и тебе то же самое, Шарло. Загадывать будущее — бесцельная трата времени. Всегда есть и в настоящем работа. Я думаю, что Митя, встретя величайший пример нашего времени, человека, у которого слова никогда не расходятся с делом, — Суворова, героя-полководца и вместе с тем героя-человека, получил самое для себя необходимое. Потеря руки, конечно, тяжелое событие, но не оно может разбить его жизнь.

— Гораздо хуже, если Маша к нему не приедет...

— Маша приедет, как только в руках ее будет вольная, — сказал горячо Воронихин. — Для этого дела и от тебя, Шарло, нужна будет помощь. Повлияй на свою мать, чтобы она упросила Катрин Тугарину добыть Маше немедленно вольную, пока не уехал курьер. Эта Катрин, между прочим, на днях ко мне заходила с какой-то теткой посмотреть портрет Маши...

— Мне неинтересно, как живет и что делает эта особа, — прервал непривычно резко Карл, — если у меня было к ней чувство, оно давно прошло.

— Но без нее не добыть Маше вольной, — подчеркнул Воронихин. — Только она может выпросить ее у Игреева в качестве свадебного подарка. Он сейчас не на шутку увлекся пикантным кокетством этой девицы, и, пока длится его каприз, она все может с ним сделать. Но нельзя забывать, что, осыпав Машу благодеяниями, он все еще ничего от нее не добился. Пресыщенный своим угодливым гаремом, он весьма задет ее гордой неприступностью и, конечно, опять к ней вернется. Девица Тугарина отлично все это учла и приехала смотреть Машин портрет, чтобы лучше понять, как с нею бороться. «На сцене под гримом они все хороши», — сказала она насмешливо. «Но эта в натуре несравненно лучше», — ответил я, ставя пред нею портрет. Если бы ты видел, с каким сдержанным бешенством она впилась в милое лицо нашей печальной Сильфиды.

«Что вы за него хотите, я покупаю», — сказала она. «Но он не продается, — улыбнулся я. — Портрет я писал для себя. Художнику такое наслаждение воспроизвести на полотне редкую простоту, благородство линий, свежесть чувства...»

— Чем же Тугарина может быть полезна Маше при неприязненном к ней отношении? — сказал Карл.

— Вот именно потому. Надо только на одном замысле соединить этих двух женщин — твою мать и Катрин — и дело в шляпе. Помимо прирожденного почти у всех женщин вкуса к интриге и порочной игре, у обеих, как я уже говорил, в удалении Маши из столицы замешаны самые насущные интересы. Прежде всего посети скорей свою мать, заинтересуй ее свершением доброго дела, им можно прикрыть, выражаясь витиевато, червь тщеславия, который ее гложет с тех пор, как ее ученицу, к невыгоде учительницы, похвалили в газетах. Только скорее, не теряй времени. А я отнесу Маше рисунки и сообщу ей печальную весть.

Карл только через несколько дней мог быть у своей матери. Маша была тоже там. При первом взгляде на ее осунувшееся лицо Карл понял, что ей уже все про Митю известно, и с особым чувством пожал ей руку.

Мадам Гертруда полна была, как всегда, театральными сплетнями и новостями. Громко смеясь, она удерживала у дверей свою приятельницу, чтобы досказать ей по-французски последний анекдот про директора театров, известного остроумца Нарышкина, сменившего Юсупова.

— Да, моя дорогая, это достоверно, сам государь сказал ему, если хотите, назову свидетелей: «Почему ты не ставишь балет, как при Юсупове, со множеством всадников?» А он-то в ответ: «Мне это не с руки, ваше величество, мой предместник лошадей этих кушал, а я конины не ем». Ха-ха!..

И долго еще из передней слышался смех Гертруды, пока гостья, наконец, не ушла.

Гертруда была в преотличном настроении духа. Подойдя к Карлу, потеребила его матерински за волосы и, указывая на Машу, сказала без особого яда:

— А ведь ей отдана пальма первенства в Психее...

— Как вам не стыдно, — порывисто сказал Карл, — Маша — сама скромность и отлично знает, что лучше вас танцовать невозможно.

Маша съежилась, покраснела, а Гертруда, по свойственной ей игре настроения, пришла тут же в восторг:

— Каков мой сынок комплиментщик!

Гертруда мимолетом поцеловала Карла и порхнула к дверям:

— Я пойду приготовить необходимое для урока одной важной девицы, она со мной проходит уже роль. Эта девушка — невеста князя Игреева... Да, да, Машенька, ваша звездочка закатывается, — щебетала Гертруда, — пока вы капризничали, вашу фортуну поймала другая...

Карл быстро подошел к матери:

— Мне необходимо поговорить с вами. Есть одно дело...

— Прекрасно, сынок. Посиди тут минутку с нашей Сильфидой, я скоро. О мечтатели! — погрозила она тонким пальчиком, как грозила на сцене Амуру, и исчезла.

— Воронихин сказал, что вы хотите помочь мне, — начала Маша, но слезы пресекли ее речь. — Бедный Митя... — Она вытерла глаза, вся собралась и, взяв Карла за руку, сказала так твердо, что он ее словам сразу поверил:

— Если меня не отпустят, если из ваших стараний не выйдет ничего, я все равно убегу, я доберусь до Мити.

— Я уверен, что вы уедете с курьером, который привез нам Митины рисунки, — сказал Росси. — Сейчас я буду говорить с моей матерью, она поможет повлиять на Катрин. Но, Маша, подумайте в последний раз, прежде чем отказаться от вашего блестящего положения, от возможности служить любимому вами искусству. Если порвете с Игреевым, вам придется сейчас же покинуть и сцену...

— Все решено безвозвратно. Все проверено. Горе угнетает меня; как и Митя, я не создана дышать только искусством. У нас, видно, Карл, нет вашего поглощающего дарования.

— Настоящее призвание, конечно, забирает все силы только себе, — сказал тихо Карл.

— Вот то-то. А наши силы устремлены на другое. Если бы вы знали, какое письмо написал мне Митя. Он нашел душевный покой, только когда пришлось ему делить смертельную опасность бок о бок с товарищами. Ему отныне руководство — Суворов.

Митя нашел себя самого. Найдем и мы оба, что нам делать. Я не оставлю моего искусства, но ведь служить ему можно разными способами. В какой угодно глуши я найду учеников, могу открыть свою школу, не знаю сейчас, что и как... но думаю, что пробуждать в людях потребность красоты, научить их видеть и слышать больше и лучше, чем они могут это делать сами, — дело не меньшее, чем пожинать столичные лавры для одной своей персоны. — Маша печально улыбнулась. — Они даются мне такой унизительной ценой.

— Но что, если, несмотря на все наши ухищрения, князь не захочет вас выпустить из своих рук? — осторожно спросил Росси.

— Безмерно избалованному, непостоянному сейчас я наскучила моей невеселой особой. И я даже думаю, он будет рад такому с его стороны великодушному окончанию наших отношений. При его самолюбии и страхе насмешек он в роли отвергнутого воздыхателя навсегда пребывать не согласится, а как неглупый человек — уже понял, что насилие надо мной кончится плохо. Трагедий он не любит. Я счастливо попала в удачную полосу. После романа графа Шереметева с крепостной сейчас стало модно разводить сентиментально-высокие чувства. К тому же, как ураган, налетела на князя неотразимая Катрин; пока он под ее чарами, она всего может добиться. Сейчас придет ваша матушка. Найдите слова, дорогой Карл, мне же отсюда надо уйти...

Маша протянула Карлу обе руки, он поцеловал их безмолвно. Маша исчезла, и Росси остался один в комнате матери. Он огляделся. Это было словно капище с изображением в разнообразнейших позах одной и той же богини — Гертруды. То она Психеей стояла на твердом носке, вытянув одну руку, как на древней греческой вазе, в руке держала светильник, освещая спящего возлюбленного Амура, то она же, неистовая и прекрасная амазонка, мчалась в бой. Этот культ своей особы был бы жалок и смешон, если бы каждая поза не давала совершенного произведения искусства. И Карл, через минуту забыв промелькнувшее было осуждение тщеславия матери, как художник любовался точной законченностью ее прекрасного дарования. Здесь он радостно себя чувствовал ее сыном и ласково улыбнулся подошедшей Гертруде.

— Улыбка делает вас еще прекрасней, мой сын, — сказала по-французски Гертруда, копируя приехавшую на гастроли знаменитость, и прибавила на родном итальянском:

— Если бы ты был всегда такой со мной добрый!

— Я буду еще добрей, только присядьте, послушайте, что я вам расскажу.

— У меня скоро урок; она капризная, эта Катрин, ждать не станет, говори скорее. Верно, неприятное? — всплеснула Гер-

труда руками. — О даче? Или жалоба на Пика? О, я сама очень им недовольна: старый дурак ухаживает за молодыми. Кому он соблазнителен? Кому он кавалер? Воображает, что хорош со своим толстым брюхом, а девчонкам от него нужна только протекция.

— Мой разговор не о даче, не о Пике. Я хочу очень серьезно говорить о Маше, именуемой Сильфидой.

— Она неблагодарная, — закричала Гертруда и только что собралась своим рассерженным птичьим щебетом излить на Машину голову целый водопад обвинений, как, взяв ее нежно за руку, Карл поспешно сказал:

— Она хочет навсегда уйти из театра.

— Хитрости, — воскликнула Гертруда, — ну кто такому поверит? Добровольно уйти из театра?

— Поверите вы, маменька, сами, если призовете на помощь терпение и до конца выслушаете мой рассказ.

Карл обнял мать и трогательно, как было надо, чтобы подействовать на нее, рассказал о любви Мити и Маши. О том, как друг его с горя уехал в армию и как храбро он бился и сейчас лежит в далеком госпитале без руки, не смея надеяться на любовь. А Маша хочет бросить успехи в столице и ехать ухаживать за женихом.

— Какая чудесная история, — всплакнула Гертруда, — я бы сама, конечно, ни за что не уехала от той новой роли, которую ей, наверно, дадут, но я любуюсь, когда другие могут так пылко любить. Ну, конечно, я ей помогу, разве я злая, мой сын?

— Вы не только Психея, вы — ангел, — расцеловал Росси мать.

— Но ведь у Маши еще нету вольной? — обеспокоилась Гертруда, вмиг увлеченная новыми чувствами. — Она без конца капризничает с князем, а он с ней играет в настоящую любовь, он ждет, чтобы она сама, изнемогая от страсти, ему прошептала: люблю вас... Я как-то даже ей показала, передавая последний подарок князя, чтó в таком случае надо сказать и как произвести такой чувствительный жест руками, будто сейчас упадешь к его ногам, однако совсем не падать, только сделать изгиб, один изгиб...

Гертруда, вдруг вскочив, умоляюще вытянула руки и всем станом изобразила призыв любви.

— Что на это вам ответила Маша? — невольно заинтересованный, спросил Карл.

— О, дерзкая девчонка с такой силой бросила на пол протянутый мною браслет, что моя парадная горничная уверяет, будто из него выпал самый крупный бриллиант и закатился невесть куда; я же подозреваю, она сама его и стащила. Однако

это другой разговор, — спохватилась Гертруда. — Чем именно я могу помочь твоей протеже?

— Вам необходимо упросить, чтобы новая ваша ученица Тугарина выпросила себе в подарок Машину отпускную. Князь на Машу в досаде, но намекните, как одна вы умеете, — тонко улыбнулся Карл, польстив матери, — намекните, что к неудовлетворенному пылу всегда возвращаются.

Гертруда залилась смехом мало натуральным, но звонким, как серебряный колокольчик:

— О, как ты сведущ в нежной науке сердца, мой сын. Но ты вполне прав, как и в том, что, по русской пословице, надо что-то ковать, пока оно горячо. Но что ковать? Я забыла.

— Железо, маменька, — улыбнулся Карл, опять усаживая вспорхнувшую мать с собой рядом. — Еще минутку, ведь я знаю, что у вас по природе прекрасное сердце, как у самой доброй птички; обещайте же мне соединить друга Митю с его невестой Машей. Вы французские пословицы тоже, вероятно, не забыли, выучив русские: ce que femme veut, Dieu le veut. [1]

Гертруда стала серьезной, помолчала и с милой наивностью интимно спросила:

— Если она выйдет замуж, если она его любит, она, может быть, захочет иметь сыночка, такого амура, как ты, мой Шарло, — это нам, балеринам, запрещено.

Карл засмеялся:

— Вы, маменька, уж слишком идете навстречу событиям. Будет ли у них непременно сын, я вам не могу ручаться, но то, что Маша не останется на петербургской сцене, — вот вам моя рука.

— Где же она будет танцовать? При иностранном дворе? — почти с испугом воскликнула Гертруда.

— Она больше не хочет сама танцовать, она будет служить искусству посредством своих учеников.

— Пе-да-гог! — протянула Гертруда. — О, это ей подходит. В ней что-то как у классной дамы. Шарло, я все для нее сделаю.

Гертруда встала и, подняв правую руку, торжественно сказала:

— Клянусь соединить два любящих сердца.

Росси обнял мать.

— Известите меня поскорее о вашей удаче.

— Будь покоен, Шарло. Я ведь недавно читала в таком роде роман, и я плакала, плакала. И по свежей памяти тем более сейчас помогу.

Вошедшая горничная, та, что подозревалась в краже бриллианта, возвестила о приезде Тугариной.

---

[1] Что захочет женщина, то угодно богу (*франц.*).

А через несколько дней в квартире Гертруды Росси происходило устроенное по желанию Катрин ее свидание с Машей.

Катрин сидела на диване одна, когда вошла бледная Маша. Она была измучена тоской о Мите и ужасом, что с каждым днем слабеющие силы сделают для нее невозможным побег, на который она твердо решилась, не ожидая себе никакой помощи от Катрин, несмотря на все посулы и объятия ставшей особенно нежной Гертруды.

На глубокий Машин поклон Катрин едва ей кивнула, зорко ее оглядела и спросила недобрым голосом:

— Правда ли, что ваш жених ранен тяжело?

— Через господина Воронихина мне было прислано известие от него самого. Он в госпитале... без руки.

— Безрукий художник, — сказала жестко Катрин. — Ну что же, придется ему переменить профессию. Надеюсь, не правая рука?

— Правая... — чуть слышно сказала Маша.

— Присядьте, — предложила несколько мягче Катрин, указывая рядом с собой на диван.

Маша села.

— Вы бы себя проверили, прежде чем пожелать ехать так далеко и так бесповоротно решать свою судьбу, — сказала Катрин. — Чем один молодой человек особенно лучше другого? И разве можно поверить в прочность чувств, своих ли, чужих ли? Сейчас в вас говорит жалость к молодой искалеченной жизни, но разве можно строить свою жизнь на жалости?

Маша побледнела и, строго поглядев в насмешливое лицо Катрин, в свою очередь спросила:

— На́ чем же, по вашему мнению, стоит строить жизнь?

— Исключительно на себялюбии, — не моргнув ответила Катрин. — От себя никуда не уйдешь, себя никогда не разлюбишь, как бы собой ни был недоволен. И вся свобода ваша всегда при вас.

— Я крепостная, — вспыхнула Маша, — мне моей свободы еще нужно добиваться.

— Да, я знаю вашу историю, — поспешила Катрин. — Но вот вопрос, стоит ли вам давать эту свободу, если вы сейчас же хотите сами ее лишиться? Ваша отпускная в моих руках, — сказала Катрин с нескрываемым торжеством. — Князь Игреев по моей просьбе мне ее вчера подарил. Так что в сущности вы сейчас принадлежите уже мне. И вот что я вам предлагаю, слушайте хорошо и не торопитесь решением вашим.

Катрин встала, прошлась по комнате. Хотя она хотела это скрыть, она волновалась не менее, чем Маша, которая, стиснув руки, сидела как неживая. Катрин остановилась перед ней:

— Я вас отлично устрою балериной в Москве или же дам вам возможность открыть свою собственную балетную школу, где вам будет угодно. Свое слово я, поверьте, сдержу, — гордо подчеркнула Катрин. — Но и я ставлю одно условие, чтобы вам отдать навсегда вашу отпускную.

— Какое? — прошептала Маша.

— Чтобы вы не ехали к вашему Мите и вообще отказались от этого брака.

— Вы его не знаете... зачем это вам?

— Затем, — сказала холодно Катрин, — что в любовь, доведенную до таких жертв, на какие вы хотите итти сейчас, я не верю вовсе, такой любви не сочувствую и не хочу способствовать тому, чтобы наш балет, наше искусство потеряло такую прекрасную артистку, как вы.

Маша вскочила. Яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках.

— Это невероятно... Сам дьявол вам нашептал.

— Ни в бога, ни в дьявола я тоже не верю, — улыбнулась Катрин, — я воспитанница моего отца и господина Вольтера. Но прихотей у меня много, и я не вижу, почему бы мне их не удовлетворить, если я к тому имею возможность. Впрочем... для вас есть и другой выход.

Катрин взяла Машу за руку и, пытливо глядя ей в глаза, как бы боясь пропустить малейшее выражение ее лица, сказала, понизив голос:

— Хотите вы, оставаясь моей крепостной, поехать к вашему жениху? Я тоже создам для этого все условия. Вы его увидите, но останетесь навек моей крепостной, — подчеркнула она. — Выбирайте.

— Мне нечего выбирать, — сказала просто Маша, — если есть какая-либо возможность мне поехать к Мите, я, конечно, поеду. Оставьте при себе мою отпускную, но молю вас, отправьте меня скорее к нему. Он ведь очень плох, я могу его не застать.

Но Катрин надо было что-то досмотреть до конца.

— Останется ли он жить или умрет — поймите отчетливо, вы-то сами навек крепостная. И это свое слово я тоже сдержу.

— Если Митя умрет, я, быть может, тоже не стану жить; если ж он останется жить, я доверюсь вашему великодушию. — Голос Маши на минуту пресекся. — Ведь вы разрешите мне с ним остаться? О, наложите какой угодно оброк, я выполню. Ведь кроме танцев я знаю столько разных рукоделий, на которые тоже есть спрос.

— Хорошо, — сказала Катрин, отпуская руку Маши, — завтра же начну хлопотать, чтобы вы ехали с тем курьером, кото-

рый должен вернуться в армию. Но помните, вы едете как моя собственность...

— Только б увидеть его! — вырвалось у Маши с нежным чувством такой глубины и чистоты, что Катрин вспыхнула и, бросив взятую на себя роль, горячо сказала:

— За кого же вы меня, Машенька, принимаете, если так сразу поверили моим словам? Да неужто я похожа на мучительницу Салтычиху?

— Вы так воспитаны... Ваше право владеть живыми людьми.

Катрин заносчиво прервала:

— Я воспитана книгами писателей, научивших меня мыслить, и живых людей собственностью иметь не желаю. Недаром у меня на полке запрещенный Радищев. Сама я, может быть, жертва не меньше вашего... Мой ум иссушил мое сердце, и я не верю в любовь. Ваш случай был слишком для меня соблазнителен, чтобы я смогла удержаться от маленького над вами опыта. Простите мою жестокость — вот ваша вольная.

Катрин подала Маше гербовую бумагу, дававшую ей свободу. Маша опустилась на ковер, охватила ее колени и, лишаясь от волнения сил, прошептала:

— Благодарю...

Катрин подняла ее и со слезами на глазах вымолвила:

— Это я должна благодарить вас. Первый раз в жизни я поверила в силу чистого, бескорыстного чувства. Вы обогатили мое бедное сердце. — И обе женщины крепко обнялись, как сестры, не узнавшие сразу друг друга, но сейчас убежденные в своем родстве.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Митя лежал в походном госпитале в живописном местечке южной Богемии. Был конец августа. Плечо его плохо заживало, но уже не было той непрестанной оскорбительной боли, заглушавшей все мысли и чувства. Однако еще не трогал чудесный пейзаж, видный ему из большого окна: горы, убегающие в осеннее хрустальное небо, лиловые от обильно покрывшего их цветущего вереска. Горы эти нужны ему были только затем, чтобы, уставив глаза в ту или другую точку, глубже собрать свои мысли.

И они собирались, твердые, окончательные, проверенные, словно нарочито выбранные для основания здания кирпичи.

Отчаяние от потери руки охватило ненадолго. Силой воли заставил он себя примириться с ощущением непривычной

пустоты справа и даже с тем, что рисовать больше нельзя. Конечно, он знал, бывали случаи, когда все знание и опыт правой руки пострадавшему удавалось перевести на счет левой, но это был такой поглощающий, большой труд, что стоило бы им заняться, если б живопись точно была его призванием. Но сейчас он твердо узнал, что ему надо строить совсем иное: все колебания в выборе жизненного пути сняты этой тяжелой утратой. Но где искать путей? Как, к чему применить эту свою готовность? Воронихин дал замечательный совет: в ожидании, пока наступит желанное время, ковать из себя достойного этого времени человека.

Какое счастье, что на своем пути он встретил Суворова, который стал ему маяком путеводным. Величайшим горем было для Мити, что сейчас он не мог быть там, где Суворов свершает свой неслыханный подвиг-поход. Известие о том, что с двадцатитысячной армией предпринят переход через Сен-Готард, было последней вестью, проникшей сюда, в госпиталь. Надо было со дня на день ожидать новых раненых, они расскажут все в подробности.

В сознании Мити лежал еще один вопрос, который он силился считать решенным и скинутым с пути своей жизни, но о котором чувство его не забывало ни на минуту: мысль о Маше.

Он сразу отсек все надежды на личное счастье, освободил Машу от данного слова, но сердце его не слушалось, ему то и дело снилась она, и тайные горькие слезы вызывало пробуждение.

Под Новый год с великими трудами доставили в госпиталь новых раненых, среди них был майор Дронин. Митя пережил ужасные дни тревоги, когда друг был между жизнью и смертью. Однако его могучее здоровье победило, и наступил, наконец, день великой радости встречи названых братьев. У Дронина были обморожены ноги, левая к тому же прострелена. Ему предстояло долго лежать недвижно, и одна радость и развлечение было ему — переживать снова изумительный, похожий на чудесное измышление, семнадцатидневный швейцарский поход.

— Подумай только, Митенька,— говорил похудевший майор, вознаграждая себя усиленной жестикуляцией за неподвижность тела. — Ведь шли-то мы в какой стуже? Одежонка плохонькая, сапоги русские без этих необходимых шипов, как у французов. Те за льдины сами цепляются, а мы то тут, то там в бездонную пропасть сползаем, да с вьюками, с мулами. Патронов у врага вдвое. Проклятый Тугут на каждом шагу «тугутит», как наш Суворов сказал. В городок Таверну пришли — где провиант? Где свежие мулы? Свисти их. А переть нам через самый Сен-Готард на соединение с Корсаковым да поправее — с австрийцами. А Массена-то залег против нас с несметными тысячами. И тут

обманули австрийцы, меньше цифру указали. Кругом подлость и предательство. А мы горной войне не обучены, местоположение нам неизвестное. Уверили клятвенно, что из Альтдорфа, последнего пункта, пешеходная тропинка идет вдоль Люцернского озера. Сигай в него, кому жизнь не мила, — и главное, совершенно зря, ибо вся флотилия французов стоит на озере. И оказался весь план, сверхчеловеческой суворовской силой выполненный, — пустая ребячья затея.

Дронин так взволновался, воскресив в памяти предательское отношение союзников-австрийцев, что Митя поспешил, охраняя его здоровье, перевести речь на главное, что его интересовало, — на Суворова.

— Вот-то бушевал, когда не оказалось обещанных мулов! «Нет лошаков — одни горы да пропасти, да я-то не живописец, а главнокомандующий. Помощи — нигде, Тугутишко — везде. Брехали, видно, недаром французы, что нам провалиться в их снегах. Уж кому-то платит в Вене Директория...» Перешерстил он австрийцев. Однако ретирады Суворов не знает. Заместо лошаков под вьюки пустили казацких лошадок. Хоть над пропастями им и было необычно, они вполне русскими оказались — невозможное повернули в возможное, как мы под Измаилом.

Тут майор начал бредить, путая только что им перенесенное с бывшим в давно прошедшую турецкую кампанию. Сестра потребовала, чтобы он прекратил свои рассказы.

Два дня майор промолчал, на третий его прорвало.

— Вы поймите, сестрица, — кричал он в ответ на воспрещение говорить при лихорадке, — разгрузить нужно мне мою память, не то она голову мне разорвет. А Митя художник, он, что скажу, все увидит глазами, ему это тоже на пользу.

И действительно, Митя с жадностью забирал груз майоровой памяти и сейчас своими глазами видел, как двумя колоннами наши войска подымаются в вечных снегах. Те, что с Суворовым, напрямик, без обходов.

— На каурой казачьей кобылке сам-то он ехал, — любовно повествует майор, — от леденящего ветра только и прикрыт, что своим знаменитым родительским плащом, шляпенка с полями вот-вот улетит. И не отстает от него некий старик, итальянец. «Переночевал я у него в долине и вроде как его заволшебил, вот за мной потянулся», — смеется фельдмаршал. И в добрый час, отличным проводником оказался. Без этого старика в пропасть нам загреметь. Потом обтерпелись, а спервоначала круто пришлось. Вообрази, Митя: дождь ливмя, ветрище с места сдувает, речонки итальянские вздуло в реки. То ли их вброд, то ли вплавь? Зуб на зуб не попадает. Подметки вмиг прохудились, за плечами груз. И все же пробрели мы в три дня семьдесят верст. Считай их за сотню. С ног валимся, а Суворову ль отдыхать?

«Ошарашим врага наступлением. Штурм Сен-Готарда!» И повел нас. — Ур-р-ра!..

Сестра испугалась, что снова Дронин забредил, но он, счастливый, ее успокаивал:

— Не в бреду — наяву я, сестрица, пусть русское сердце ликует. Взят Сен-Готард!

И со всех коек ожившие раненые стали просить:

— Не препятствуй, сестрица, пусть глотку дерет, ему здорово, и нам полегче.

— В один-единственный день взят Сен-Готард, — с тихим восторгом продолжал Дронин. — Две атаки уже отбиты с большими потерями. Ночь спускается. Ужель ночевать под ногами врага? «Он ест, пьет, бахвалится, мы ж, как щенята, в сугробах. Впе-ред!» Взбодрил нас Суворов, и опять мы за камни, и лезем, и падаем. И что бы вы думали? Над французами, на самой вершине — вдруг наши, вторая колонна. Обошел Багратион.

— А Чортов мост когда был? — спросил бледный прапорщик.

— Наши скоры, а вам еще скорей подавай, — проворчал майор. — Чортов мост — это надо вообразить явственно, иначе одна только кличка в твоей памяти, как заноза, застрянет. И прежде всего все окрестное тому мосту надо увидеть. К деревушке Урзнер, скажем, — дорога, а поперек развалился утес. Сквозь него пробита дыра, по-ихнему — Урзнер-лох. Это коридор длины порядочной, а ширины — двум человекам едва разойтись. Выбежав на свет из этой дыры, дорога вдруг обрывается над самой бурной рекой. Как бешеная, так ворочает она камни и пену, что воды не видать, гул над ней — сущий ад. И вот над такой-то рекой — легонький мост. Поистине — чорт его перекинул. Ходуном ходит, вот-вот сорвет его речка. Ледяные брызги его, как туманом, укрыли. А у самого выхода из дыры французы пушку установили да за Чортовым мостом два батальона, которых и вовсе нам неприметно. Вообразили картину? А ну-ка, не угодно ли через Урзнер-дыру, через Чортов мост?

— Ужель перешли? — восклицали со всех сторон.

Насладившись минуту произведенным впечатлением, майор торжественно произнес:

— Первые с доблестью пали. Тогда Суворов отрядил сотни три по гладким скалам, где орлам гнезд не свить, чтобы ударили по скрытым французским батальонам, защищавшим выход из дыры. И ударили. А наши — мах по туннелю... Сомкнулись со своими — и на французов, как лавина; те дрогнули, отступили. Однако напакостили напоследок — Чортов мост разорили. Да разве нас остановишь в атаке? Дерев на провал навалили, долой с себя шарфы, связали — бегом! А пока такая каша заварилась вверху, наши отряды внизу, по бешеной воде — вброд. Течение

сбивает народ, а на смену упавшим новые. Перешли. Тут уж много легче нам стало, — освобождающе вздохнул Дронин, вновь переживая испытанное великое напряжение всех сил.

— Скоро помельчали и вовсе отодвинулись горы, и до чего просторная долина раскинулась перед нами. Словно с улыбкой побежали леса, запестрели цветами луга, и вот уж рукой подать — цель наша, зеленый город Альтдорф. И хотелось же нам отдохнуть! Нет, не дал, — а Корсаков, осажденный Массеной? С помощью медлить нельзя. Вестей же о нем никаких. Опять путь ближайший через новый хребет. Темь вверху, темь внизу. В облаках движемся, каждый вдвое стал тяжелей — отсырели. Едва дотащились, как обухом по голове страшная весть, что Корсаков и австрийцы разбиты, отступили невесть куда, а мы окружены несметной армией Массены.

Всему виной проклятый гофкригсрат: предательски не дали мулов, и мы потеряли необходимые дни... Теперь опять вообразите хорошо нашу позицию, чтобы поверить могли, что действительно единой силой духа Суворова были мы спасены. Австрийская помощь обманула кругом: вокруг озера Люцерна ходу нет, никого из союзных войск поблизости, ни провианта, ни патронов. Сухари размокли и сгнили, копаем коренья, кожу режем, ее на шомпол навернем, шерсть опалим и едим. А вокруг нас почти стотысячный враг. Уже генерал Массена прихвастнул, что денька через два нашего Суворова к себе ужинать привезет, и среди нашего офицерства пробежал шопот о сдаче. Вот-с какова ситуация.

— А что он? Что Суворов?

— Не дрогнул. Собрал военный совет. Вышел в фельдмаршальском мундире со всеми регалиями и речь сказал, одними простыми словами — суворовскими. Как перед смертью, пересмотрел всю кампанию, предательство австрияков, еще раз перешерстил их по заслугам и пришел к выводам: окружены, а сокрушать врага нечем. Назад — постыдно. Помощи ниоткуда, край гибели. А надежда? — спросил сам себя. — На что у нас есть надежда? Промолчал военный совет. Суворов ответил сам: «Одна лишь надежда на мужество наших солдат. Русские мы...» — и заплакал.

Плакал Митя, плакали молодые на койках, и, не стыдясь своих слез, закончил майор:

— И от имени войска старый генерал Дерфельден ответил: «Веди, куда знаешь, всюду мы с тобой!»

— Да, вот опять какое вышло положение, — продолжал о своем швейцарском походе майор Дронин, — позади нас тьма французов, от которых нам по одной лишь долине Муттенской вперед.

Разделил Суворов войска: главный отряд двинул сам, а тому, что поменьше, задерживать приказал французов, чтобы дать нам уйти. Вот уж тут, ребята, настоящие пошли чудеса, их каждому надо запомнить, дабы поверить, что непреодолимого на свете нет ничего.

Истощенные, больные, голодные, отогнали наши свежих французов, их превосходивших намного в числе. Задержали их хитростью. Послали швицкому магистрату будто заказ на продовольствие всему нашему войску, чем сбили с толку генерала Массену. «Вот дураки, — сказал он, — сами к нам лезут в полон! Пусть войдут, тут их и возьмем, нам это много удобнее, чем за ними охотиться!»

А наши тем временем ночью тихонько вслед за своей главной колонной. Когда французы смекнули про обман — ан время упущено. Наши соединились с Суворовым. Догоняй! Устремились все по Муттенской долине к Гларису: там встреча с австрийцами. Подходим — никаких австрийцев. Генерала Линкена след простыл, и французы забрали Гларис. Нам одно: либо их побеждать, либо тут помирать. Дальнейшего хода нет. Во тьме кромешной пошли мы в штыки. Шесть раз из рук в руки переходила победа. Однако в конце концов — Гларис наш. И впервые горячего мы тут хлебнули. Ну-с, что прикажете дальше? Опять военный совет. Драться окончательно нечем, и спасать нам сейчас не австрийцев, которые преспокойно сами спаслись, а одну лишь свою многострадальную армию, попавшую в западню.

— Последний ваш переход двадцать шестого сентября? — спросил подпрапорщик и тише добавил: — У меня брат там погиб.

— Многие там погибли. Вышли мы к Сен-Готарду двадцать одной тысячью, а как перемахнули через последний хребет по имени Паникс, нас осталось пятнадцать. Ох, этот последний хребет! Всю-то кампанию лихая погода, а тут просто взбесились силы небесные: такой снегопад, что тропинки вмиг занесло. Плакали, а побросали в пропасть последние двадцать орудий. Как людей, было их жаль. И вьюки с продовольствием туда же, только б солдат сохранить. Дело к зиме, обледенелые горы, мы в густейшем тумане гуськом...

— А как же Суворов, — воскликнул Митя, — старый, больной?

— Впереди на кобылке под казачьим седлом. Все долой с лошади рвется, хочет пеший итти, для примера. Самого лихорадка треплет. А два казачка его силком держат в седле. Как взбунтуется он, знай кричат, не пускают: сиди уж, сиди!

Проводники разбежались, и полезли мы как на душу бог положил. А там уж в долину на собственных средствах. Сказать прямо — скатились на задницах. И вовек не забыть голос Суворова: «Русак — не трусак. Дойдем!» Дошли. Оглядел он своих

оборванных, обмерзших, поистине чудо-богатырей и сказал: «Орлы русские облетели орлов римских!»

Однако эти его последние слова мне уже передали в лазарете, где я долго в бесчувствии и в бреду находился. Это у Боденского озера, где, наконец, и дан был отдых войскам. Потом перевезли нас сюда, и вот с тобой, Митя, встретились.

Рассказ майора о доблести русского войска, превысившей все человеческие возможности, потряс Митю. Последнее малодушие отошло, сменилось уже неизменным ровным и твердым состоянием духа. Он теперь был уверен, что найдет свое заветное дело. Вспоминал рассказы друга Карла Росси о том, как в минуты душевных крушений помогает ему мысль о непреложности и постоянстве навеки найденных законов математики. Ему такой отрадной опорой явился, в великом испытании его сил, образ Суворова, этого лучшего из встреченных им людей. В Петербург ему сейчас возвращаться не хотелось, и когда майор предложил устроить ему место помощника управляющего большим имением своих родственников Давыдовых — Каменки, находящимся в Киевской губернии, — Митя охотно согласился. Так хотелось в деревенской глуши, среди прекрасной природы, собраться с мыслями и присмотреться поближе к жизни крестьян. Он знал — теперь уже навсегда они стали его главной заботой.

Внезапное появление Маши, которую он сейчас ждал меньше всего, чуть было не ввергло его в великое горе, разбившее вмиг так трудно добытый покой. Он, уверивший себя, что навеки от нее отказался, увидав ее любящей, свободной и прекраснее, чем когда-либо, понял, что его отречение — самообман и никаким рассудком не истребима любовь. Но жертвы из жалости он принимать не хотел. Понадобилось много терпения, умной сердечности его верной невесты, чтобы Митя, наконец, поверил, что Маша приехала не из чувства жалости и долга, а по настоящей, крепкой любви. И в Каменку она обрадовалась ехать, не желая и слышать о столице, где было столько страданий и предстояло немало нежелательных встреч. Дронин к тому же обнадежил, что возможно устроиться в театрах киевском или полтавском или создать свою школу, что сулило несомненный успех.

И, наконец, последняя тяжесть сомнения и горечи спала с сердца Мити после того, как однажды на рассвете появилась в сером сумраке палаты, где он лежал, небольшая, еще похудевшая за тяжкий, только что перенесенный поход, такая бесконечно знакомая и дорогая фигура Суворова. Махнув рукой сопровождающим, чтобы не делали шума, он тихо подходил к раненым и больным, в немой скорби бессонницы застывшим людям. Отечески клал им на горячий лоб тонкую, худую руку, нагнувшись, что-то шептал — и вмиг яснели их взоры, и восторженно улыбались страдальцы от ласки великого Суворова.

Подошел он и к Мите. От Дронина он уже знал все про Машу и про сомнения Мити. Он нагнулся так близко, что можно было рассмотреть, сколько новых мельчайших морщин избороздило его тонкое лицо. Глаза его, голубые, сейчас полные только большой доброты, едва глянули — все увидели. Как отец, он сказал самое главное:

— Ничего, Митя, жить можно и с левой. Еще лучше будешь жить. И с Машенькой благословляю тебя на работу и счастье. Верю — будет оно. Оба-то вы молоды. Не болтуны-пустобрехи, а люди. Так-то.

И руку на голову положил — благословил.

11 октября 1799 года Павел послал австрийскому императору Францу сухое, негодующее письмо, где виною несчастного поражения Корсакова ставил несвоевременный отход из Швейцарии союзных войск под начальством эрцгерцога Карла. Павел разрывал союз с Австрией. А в конце декабря собственноручно написал Суворову:

«Обстоятельства требуют возврата армии, ибо виды венские те же. А во Франции — перемена. Идите немедля домой».

Недоразумения между русскими и австрийскими верхами были столь сильны, так много накопилось у русских обид за обман и предательство, что на балу у сына Суворова, Аркадия, великий князь Константин выгнал вон группу австрийских офицеров.

А когда Суворову император Франц прислал умоляющий рескрипт повременить с уходом в Россию, предлагая неограниченную всяческую поддержку в случае возобновления войны, Суворов сказал его послу генералу Эстергази:

— Над таким старым солдатом, как я, можно посмеяться только один раз. Но был бы я слишком глуп, если бы позволил это сделать с собой и в другой. Я пришел к месту назначенного соединения и увидел себя оставленным. Я вашей армии не нашел.

Павла изменническое отношение Австрии и ее желание загребать жар руками русских привели, наконец, в гнев, который пересилил его желание стать спасителем Европы.

Кроме того, в европейской политике произошли крупные перемены. Когда начался швейцарский поход, Павел еще был полон решимости разгромить французскую революцию и предписывал Суворову: «Старайтесь произвести инзурекций во Франции», а сейчас, под влиянием иезуитов, он нашел формулировку для изумившей всех перемены его политики и сам первый в нее верил:

— Я всегда склонялся тогда в пользу справедливости и долгое время был уверен, что она у противников Франции, ибо ее правительство угрожало всем державам. Ныне же, когда в этой стране скоро водворится король, если не по имени, то по существу, и наступит порядок, это меняет совершенно существо дел.

Сейчас справедливость не может быть на стороне Англии, и в коалиции с ней неправильно долее пребывать, ибо Англия захватила остров Мальту и отказывается вернуть его Ордену. Все это было для Павла не только оскорблением личным, но и прекрасно им понятой угрозой государственной. И для того чтобы успешнее восстать против врага, теперь общего с Францией, Павел в декабре послал Суворову требование возвращаться домой.

Суворов очень тревожился: какова-то будет оценка его похода, неслыханного по трудностям и солдатской доблести и вместе с тем совершенного как бы впустую, для выгоды одних лишь австрийцев, забравших северную Италию в свои руки. Но опасения оказались напрасными. Весь мир понимал, что причиною всех неудач были только австрийцы, а необычайная доблесть солдат и их полководца покрыла Суворова еще большей славой.

Павел дал ему титул генералиссимуса всех сил российских и посылал очень сердечные, восхищенные письма: «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля нимало приедете ко мне на совет и любовь».

Или так: «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, потому что были с вами, а других победили, оттого что они с вами не были».

Европейские державы одна перед другой изъявляли восторги: кресты, награды, всеобщее признание несравненным гением тактики. Адмирал Нельсон писал: «В Европе нет человека, который любил бы вас так, как я».

А ему хотелось одной глубокой последней простоты. Посетив могилу любимого и очень чтимого им полководца Лаудона, прочтя длиннейшую витиеватую латинскую надпись на его гробовой доске, он произнес:

— К чему все это? Мне пусть напишут просто: здесь лежит Суворов.

В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу, сам поехал вперед. Он уже чувствовал себя очень больным. Упало нечеловеческое напряжение, и здоровья не оказалось вовсе.

Прощаясь с солдатами, не мог вымолвить слова от рыданий, солдаты плакали, понимая, что уже больше его не увидят. Ему было лестно знать, что сложена про него песня:

С предводителем таким
Воевать всегда хотим...

Суворов, слабея с каждым днем, медленно двигался в Петербург. Ему было известно, что для его встречи выработан особо торжественный церемониал. В Нарву будут высланы придворные кареты. При его въезде в столицу — колокольный звон, пальба из пушек. И в Зимнем дворце для него апартаменты. Все это как-то тешило старика, ласкал душу наконец полученный заслуженный почет. Здоровье же становилось все хуже. Пришлось задержаться в Кобрине. Император отправил к нему лейб-медика. Старые раны его открылись, страдания были очень тяжелые. И вот тут-то настиг его последний, жесточайший удар, нанесенный императором. 20 марта Павел отдал повеление:

«Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел в корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

Тяжко больному Суворову прислан был с курьером грозный запрос о том же дежурном генерале с приказанием немедленно уведомить, что побудило его сделать подобное нарушение воинских правил.

Суворов был потрясен. Вынув недавние письма, полные восхищения и любви, он сличал их с последним письмом и недоумевал. Ему известно было также, что Ростопчину при свидетелях Павел сказал: «Я произвел его в генералиссимусы, это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом».

Что же случилось? Поводы были пустяковые, а причина глубокая и очень давняя. Быть может, Павел думал, что Суворов не доедет до Петербурга, умрет в пути и созданные для Европы слухи о триумфальной встрече не надо будет осуществлять. Но когда еще раз богатырский дух Суворова восторжествовал над смертельной болезнью и он, полуживой, но владеющий всем своим разумом и волей, придвинулся к столице, воздать ему действительно все обещанные почести с колокольным звоном, с пушечной пальбой стало для Павла немыслимым. Это значило признать свою возлюбленную прусскую систему побежденной, это значило зачеркнуть себя самого.

Как нарочно, произошла тяжелая история с цесаревичем — так велел именовать Павел второго сына за доблести, проявленные в итальянских походах и самим Суворовым засвидетельствованные.

Цесаревич был встречен восторженно. В его честь даны были особые празднества, на Эрмитажном театре сыграли «Возвращение Полиоклета», а отец отличал его перед Александром.

Как-то Павел, в веселом настроении духа, разговорился с сыном об удобстве предписанной им одежды солдат и спросил:

— А что вам всего боле оказалось в итальянском походе на пользу?

Константин, еще полный суворовской выучки и к тому же введенный в заблуждение веселостью отца, ответил простодушно:

— А пользу нам сослужили одни лишь унтер-офицерские алебарды, поскольку они были деревянные и длиной более сажени, — ну и дрова! Погрелись мы в ледниках этими алебардами.

Павел смеяться перестал, однако без гнева приказал сыну представить ему рядового, одетого, как он находит удобней.

Константин представил. Оказалось, что форма напоминала последнюю екатерининскую, упрощенную Потемкиным, которую одобрял и Суворов.

— Вон с глаз моих! — прокричал Павел сыну и тотчас загнал его вместе с женою в холодный дворец в Царском Селе, где сидели в комнатах в теплой верхней одежде.

Константин злобно сказал:

— Суворову завидует отец. Ныне будет преследовать всех, кто с ним отличился в походах.

— Дурак и мальчишка, — отозвался Павел, узнав про эти слова. — У цесаревича трактирные рассуждения. Душе моей зависть чужда. А того он не смыслит, что вся боль моя от посрамления великой системы? Она одна может удержать в повиновении русский народ...

После столкновения с сыном Павлу не остановить было мыслей о том, что Суворов втоптал его гатчинскую систему в грязь: ославил на весь мир! И вот едет он, победитель, пример всем военным. Да ведь он разложит все войско. Недаром столь лукаво выставляет против Фридриха самого Петра Великого, будто сказано у него в уставе воинском: «Офицерам потребно рассуждать, а не держаться яко слепая стена».

Втайне Павел никогда не переставал питать к Суворову вражду, доходившую до мелочей. Так, дав ему по необходимости княжеский титул, не разрешил именовать его светлостью, как Безбородко и Лопухина. И сейчас с каждым часом вражда эта росла. Если Суворов останется жить, окруженный всеевропейской славой, он, конечно, станет еще дерзновенней по своим взглядам на войско, он — генералиссимус, начальник всех военных сил! Одним своим почетным пребыванием в столице он расстроит военную систему, созданную с таким трудом. Ей отдана с юности, с гатчинского изгнания, вся жизнь. Недопустимо.

И в таком случае, если он не умер во-время, пусть приедет не в славе и почести, а как опальный, как ослушник императорских уставов. Пусть осуждает вся Европа — все лучше, чем суворовское торжество. В священном споре о том, как управлять самодержцу вверенной богом страной, решающее слово должно принадлежать не генералиссимусу, каким-то диким волшебством

одержавшему противу всех воинских правил победы, а тому до мелочей доведенному порядку, который угоден не только ему, Павлу, — самому богу. А тут кругом еще шопоты о поражении приверженцев гатчинской системы — разбитого Корсакова и взятого позорно в плен со своим войском Германа, того, кто приставлен был следить за Суворовым. Оба разбиты наголову. Суворову же въезд с колоколами и пушками? Нет, не бывать тому.

И вот новый приказ:

«Его величество с неудовольствием замечает по возвратившимся полкам, сколь мало приложено старания к сохранению службы в том порядке, как бы его императорскому величеству было угодно, и, следственно, видит, сколь мало они усердствовали в исполнении его воли и службы».

— Это моим-то великомученикам? — усмехнулся Суворов. — Ему, видно, косы дороже голов.

А через несколько дней еще прибавка к выговору:

«Во всех частях сделано упущение: даже обыкновенный шаг нимало не сходен с предписанным уставом».

— Так, — ухмыльнулся Суворов. — А все же история нам запишет и нас немало почтит за то, что не каким шагом, а на собственной заднице мы в Швейцарии с гор в бездну съехали и тем честь русского войска спасли.

Донесли. И еще те слова, что, покачав седой головой, с великой горечью произнес:

— Слов нет — важен руль. А куда важнее рука, что рулем управляет.

20 апреля Суворов тихим ходом въехал в Санкт-Петербург. Встречи не было никакой. Надо было сразу подчеркнуть, что прибыл не покрытый всемирной славой полководец, а не угодивший государю строптивый подданный, которому надлежит строгий ответ держать за свое дерзновение.

И не успела карета с умирающим приехать на Крюков канал в дом его родственника графа Хвостова, как доложили курьера от государя. Словно сам пугаясь своего мелочного и низкого гнева, торопился Павел добить врага. Прислал глупое запрещение:

«Генералиссимусу князю Суворову императорский дворец посещать возбраняется».

Умно, почти весело улыбнулся Суворов и сказал, слабой рукой указывая на свое безжизненное, умирающее тело:

— Куда мне во дворец? И для малой нужды уж не встать.

И, словно отмахнувшись от злой суеты мира, соединив свой возвышенный дух с одним любимым делом и войском, Суворов стал медленно умирать.

Он часто терял сознание, когда же приходил в себя, опять был жив духом, устремлен к одной своей цели: победе оружию русскому. Исправлял ошибки прошедшей кампании. Рвался все в Геную, куда не пустил его в свое время гофкригсрат и что могло бы изменить весь характер похода. Просматривая со стороны, со всей строгостью, собственный жизненный путь, осудительно сказал:

— Гонялся за славою — все мечта.

Долго молчал, закрыв глаза, почти не дыша, — не легко брала его смерть. Наконец словно подвел окончательно итоги своих трудов, упований, всего богатого наследства, оставляемого потомству, и, как бы передавая себя в историю, произнес:

— Как раб умираю за отечество.

Суворов умер в полдень 6 мая 1800 года.

Вокруг дома тотчас выросла толпа народа — все плакали, все нелицемерно любили его.

Державин отозвался взволнованной лирой:

Всторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твердой с ним душою
И презирал угрозы страх.

Армию охватила глубокая, безнадежная скорбь. Солдаты знали, что потеряли отца и полководца. В «Петербургских ведомостях» же не было напечатано ни слова ни о смерти, ни о похоронах Суворова.

Воинские почести велено было воздавать рангом ниже, не как генералиссимусу, а как фельдмаршалу. В погребальной церемонии участвовали только армейские части. Гвардия назначена не была — будто бы вследствие усталости после недавнего парада.

Мите казалось — он похоронил родного отца. Скорбь его и Маши была беспредельна. Так еще живы были в памяти веселые дни в Богемии по пути на родину, дни отдыха после нечеловеческого похода, после ранения, после отчаянных часов отказа от личной жизни и любви. То Митя видел Суворова как живого, впереди всех, на старой любимой его кобылке, в родительском плаще, готового ринуться в снежную бездну или укреплявшего соленой шуткой, вызывавшей грохот смеха, подобный обвалу, своих ослабевших от изнурения чудо-богатырей. Видел его перед взятием Нови, когда вдохновенная воля его источала энергию почти зримую, как стрелы молнии, и ею зажгла все войско — и свое и союзное. Вспоминал и иное: как он вошел в чуть освещен-

ный рассветом лазарет, в его палату, и склонилось над его койкой необыкновенное лицо с глазами, блистающими голубизной и добротой. Митя чувствовал, что навеки связана его жизнь — как в беде, так и в большом счастье союза с Машей — с этим необычайным полководцем-отцом. И оправдать надо его аттестацию: «Вы с Машей не пустобрехи-болтуны, а люди».

«Клянусь... оправдаем».

Так мысленно обещал Митя Суворову, не стыдясь слез своих и детской сыновней любви.

У Воронихина собрались провожать Митю с женой, уезжавших в Каменку, немного близких друзей. И было так странно, когда в этом тесном кругу появилась вдруг Катрин Тугарина.

— Мне так захотелось, — сказала она застенчиво и непривычно просто, — мне захотелось, Машенька, еще раз увидеть вас и познакомиться с вашим мужем.

Катрин протянула руку Мите и, повернувшись к Карлу Росси, спросила:

— Ведь это тот самый Митя, друг ваш?

— И ваш, если позволите, — низко кланяясь и целуя ей руку, сказал Росси.

— О, мы вас никогда не забудем, — воскликнул Митя, — ведь нашим счастьем обязаны мы только вам.

— Нет, нет, — прервала, зардевшись, Катрин, — прежде всего самим себе, своей благородной любви, которая дала такой всем нам урок. — Она смешалась, виновато глянула на Карла.

Карл близко подошел и спросил, понизив голос:

— А ваша собственная свадьба когда?

Он старался сказать как можно бесстрастней, но легкая краска и опущенные дрогнувшие веки его выдали.

Катрин все так же просто, без прежней игры, ответила:

— Я отказала Игрееву. Я с отцом моим на днях еду в Италию, должно быть надолго.

— Как рад я... — против воли вырвалось у Карла.

Катрин протянула ему руку, крепко пожала и, глядя ему прямо в глаза, без кокетства сказала:

— Благодарю вас за эти слова.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Смерть Суворова, постигнутого внезапной опалой Павла, особенно взволновала всех близких ко двору. Этот капризный переход Павла от величайших похвал к мелочной придирчивости, оскорбительной для великого полководца, возмутил его почита-

телей и даже равнодушных. Неуверенность в завтрашнем дне еще увеличилась, истерзала всех страхом и ускорила враждебное Павлу объединение. Никто не желал разбираться в смягчающих обстоятельствах, превративших этот характер в «чудище деспотизма», как о нем писали иностранцы.

Ненависть к Павлу особенно усилилась после того, как устранено было коварными наговорами бескорыстное влияние Нелидовой. Это произошло в дни московской поездки и встречи с новой фавориткой — Анной Гагариной.

— Почему меня в Москве так любят, а в Петербурге словно боятся? — наивно спрашивал Павел, принимая восторги москвичей, еще не запуганных, как петербуржцы, каждодневным стеснением узаконенных свыше инструкций, дабы и частная жизнь обитателей шла по-фридриховски, по-нашему — по-гатчински...

Ловкий, кем следовало наученный, Кутайсов отвечал, что в Петербурге все злое приписывается государю, а все доброе «эти дамы», государыня и Нелидова, считают делом своих рук.

К слову сказанными намеками Кутайсов все время внушал Павлу, что он является игрушкой в руках Нелидовой и жены. Павел пришел в неистовство и твердо решил принять меры, пресекающие всякие разговоры о порабощении его воли.

По своем возвращении Павел дал при первом же случае очень резко понять Нелидовой, что он «на помочах» водить себя больше ей не позволит. И скоро огорченный вчерашний «ангел-хранитель» вместе с отставленным петербургским губернатором Буксгевденом уехали в замок Лоде. Отдален был также со всею семьей очень преданный Павлу друг его детства Куракин — все теми же происками новой партии, вступающей в силу.

Во главе ее стояли два человека немалой энергии и дарований: Никита Петрович Панин и ганноверец по происхождению Пален. Вице-канцлер Панин, человек европейской складки и основательного образования, утратив все надежды на возможность руководить болезненным непостоянством мыслей и поступков Павла, грозящих, по его мнению, гибелью России, решил всеми силами способствовать его устранению от власти.

За несходство взглядов на внешнюю политику, а также за противопоставленную капризным прихотям государя большую последовательность и силу характера Панин был сослан. К тому же дерзновенное остроумие Панина, на которое, казалось, ему давало право совместное воспитание в детстве с государем, было нестерпимо для Павла. Рассказывали, что не так давно Павел, остановившись перед портретом Генриха IV, с горечью воскликнул:

— Счастливый государь, он имел друга в таком великом министре, как Сюлли. У меня ж его нет.

Уязвленный Панин тотчас нашелся сказать:

— Будь только ты Генрихом Четвертым, найдутся и Сюлли.

Первый свой заговор Панин составил вместе с адмиралом де Рибасом, но тот внезапно умер, Панин же принужден был отправиться в ссылку. Но и в отдалении от столицы Панин замыслов своих не оставил. Он оказывал сильное влияние на единомышленника своего графа Палена, которому настойчиво советовал возможно скорей подобрать надежных и крепких помощников.

Пален взялся умело за хлопоты о возвращении из ссылки братьев Зубовых и генерала Беннигсена, известного ему большим хладнокровием и мужеством.

Зубовых удалось вернуть благодаря тому, что заинтересовали в этом деле Кутайсова, неизменного Павлова любимца. Ему Платон Зубов прислал письмо, где сватался к его дочери, и бывший брадобрей, которому было лестно породниться с князьями, упросил об их вызове Павла.

Павел встретил Платона Зубова великодушным восклицанием: «Вторично забудем прошлое!» — и при всей своей подозрительности вдруг оказался непонятно благосклонным к старым врагам, словно поверил в наружно выраженную преданность, и дал всем трем братьям высокие назначения.

Немедленно завелся у Зубовых свой кружок, где и разрабатывался в подробностях заговор, задуманный Паниным, но скоро принявший, под властью Палена, более грубую и насильственную форму. Подбирались нужные люди, обиженные Павлом и своих обид ему не простившие. Был между ними полковник конногвардейской артиллерии Владимир Яшвиль, которого Павел в гневе прибил, был влиятельный командир Преображенского полка Талызин, за которым стоял весь полк, были и другие...

Но самой сильной опорой заговора, главой его, являлся сам граф Пален, человек умный и сильный, для которого в смысле государственном и в отношении личном Павел был ненавистен. Он умел расположить своим видом откровенного военного человека, умело играющего прямотой, прикрывая ею коварство необыкновенное и умную дальновидность. Как отличный исполнитель приказов императора, умеющий распоряжаться и править людьми, граф Пален стал скоро необходимейшим лицом. Ему Павел доверил высший надзор за почтой, полицию явную и тайную, сделал его петербургским военным губернатором.

Однако, несмотря на свое высокое положение, или, вернее, благодаря именно ему, Пален больше, чем кто-либо, мог опасаться внезапной перемены своей судьбы, ссылки в Сибирь или, в случае открытия заговора, еще чего-нибудь худшего. Он уже испытал на себе превратность фортуны при непостоянном императоре. Давно ли совсем был в опале из-за встречи Зубова в Риге, с отданием в приказе оскорбительного для него определения той простой

вежливости, которую он оказал Зубову, как «враждебной подлости».

Еще чувствительней был задет Пален оскорблением, нанесенным его жене. Пален не сделал доклада об одном известии, полученном им из Вены, относительно дуэли некоего молодого человека, туда в гневе отосланного Павлом, дабы удалить его от двора, а Обольянинов, генерал-прокурор, ища погубить Палена, донес об этом сокрытии государю, сказав:

— Если о таких вещах вашему величеству не докладывают, могут умолчать и о важнейших.

Павел измыслил тонкую месть: когда жена Палена, первая статс-дама, приехала, как ей полагалось по званию, в торжественный день ко двору, ей нарочито публично было объявлено, чтобы она возвращалась домой и больше во дворец не являлась.

Пален, вступив в должность военного губернатора Петербурга, стал вооружать против Павла войско и жителей. Усиливал недовольство гвардии, которая и так уже была настроена против Павла за то, что он сравнял офицеров лучших семей, избалованных екатерининскими милостями, со своими грубыми гатчинцами, людьми темного происхождения и плохих манер.

Политика Палена была противоположностью поведения Нелидовой: не желание исправить совершенные ошибки, смягчить жестокость, а, напротив того, довести ее до высшего предела, дабы заронить в сознание окружающих необходимость устранения самой причины этой жестокости.

Суеверный Павел, по чьему-то пророчеству уверившись, что после четырех лет ничто власти его не угрожает, вдруг решил вернуть обратно всех им сосланных.

Тысячи двинулись в Петербург со всех концов. Первые были приняты с распростертыми объятиями и получили отличные места, вторые мест не получили, а третьи просто-напросто надоели Павлу, и, подзуживаемый Паленом, он никого принимать не велел. Люди без средств, растеряв все знакомства и протекцию, просто гибли с голоду, проклиная произвол деспота.

Как военный губернатор, Пален имел в своем распоряжении все заставы, тайную и явную полицию, заведовал внешними сношениями и почтой. Все повеления Павла шли через его руки. Не дав ему одуматься, Пален грубо и немедленно приводил их в исполнение, чем создавал все новых врагов. Именем Павла граф Пален правил таким образом, что как в России, так и за границей окрепло представление, что русский император сошел с ума.

Важнейшие события произошли во внешней политике Павла. Как недавно он соединен был с первой коалицией, возглавляемой Питтом, с целью низвергнуть власть, «узурпированную» Бонапартом, и передать ее обратно законным Бурбонам, так сейчас, под влиянием умного воздействия клевретов первого консула — иезуи-

тов, вчерашнюю ненависть заменил восторженным обожанием этого нового государя французов, «если не по имени, то по существу». Право на власть и помазание незримой благодатью, по уверению Губера, перенесены были высшей волей на того, кто, наконец вняв голосу всевышнего, предлагал священный остров Мальту ее гроссмейстеру в ту минуту, как попавшая в сети «темных сил» Англия этим островом завладела и не имела намерения его уступить. Разрыв с Англией наносил великий вред заграничной торговле, ибо за сырые произведения русской почвы Англия снабжала мануфактурой и колониальными товарами. Эта торговля обеспечивала дворянство в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, сало, корабельные леса, мачты, лен и пеньку.

Разрыв с Англией окончательно возбудил дворянство против Павла. Мысль извести его стала желанной для знати обеих столиц.

Наполеон между тем, получив неожиданную поддержку недавнего врага, русского императора, решил привести в исполнение свой великий план обессиления Англии. Под начальством блестящего Массены он задумал поход на Индию, для чего французы в назначенном месте должны были соединиться с русскими.

Этим походом воображение Павла было захвачено чрезвычайно. Он сразу захотел наибольшего — обеспечить России преобладание в Индии. Без согласия Наполеона он двинул войска на Хиву и Бухару, о чем последовал приказ Орлову, атаману Войска Донского: «Я готов атаковать англичан там, где меньше ожидают. Заведения их в Индии самое лучшее для сего».

Павел вознамерился выполнить этот поход при помощи одних казаков, отчего пошли тотчас разговоры, что государь хочет казачество извести, ибо ненавидит его за древнюю неистребимую независимость. В строжайшем секрете держалось передвижение войска, отправленного, как все полагали, на явную гибель.

Последние выходки Павла привели в волнение все население Петербурга, заговорили уже громко, что дольше терпеть нельзя. Панин настаивал, чтобы скорее было вырвано у Александра согласие предложить больному отцу подписать акт об отречении от престола.

Вначале предполагалось, что Александр назначен будет соправителем.

Уже некоторое время тому назад Панин сделал попытку приготовить Александра к этому шагу. Он первый заговорил с ним о сокращении власти отца. Граф Пален, в качестве военного губернатора свободно встречавшийся с наследником, устроил Панину встречу с ним в ванной комнате, дабы избежать подозрений Павла.

Панин красноречиво изобразил Александру, какие беды испытывает Россия и что ее ждет еще впереди, если сейчас не пресечь самодурство несомненно больного государя... Александр, имевший в характере много робкой уклончивости, пока только краснел и отмалчивался.

Торжественное освящение Михайловского замка произошло в день Михаила архистратига, 8 ноября. Было парадное шествие из Зимнего дворца мимо войск, поставленных шпалерами, и при громе пушек. При обеде, назначенном в час дня без гостей, присутствовал и граф Пален. Он, словно хозяин, ввел Павла в этот мрачный дворец, из которого замыслил выпустить его лишенным сана либо вовсе не выпустить живым.

В гоф-фурьерском было записано: «Кубков на случай сего торжества приуготовано не было, а пили вино из обыкновенно употреблявшихся граненых рюмок».

Страшная сырость принудила Павла отложить переезд еще на месяц. За это время срочно сделали в спальнях деревянную обшивку, и, наконец, желанный день наступил.

Приказано было при осмотре дворца присутствовать строителю Бренне с учеником. Выбран был Карл Росси.

Когда Карл вошел вслед за учителем, император уже стоял в передней овальной комнате у бюста короля Густава-Адольфа.

Павел был в хорошем расположении духа, он, смеясь, говорил стоявшему рядом высокому, дородному Палену о большом полотне художника Смуглевича — архистратиг Михаил свергает демонов в бездну.

— Его стыдливость горше открытой непристойности. Придумать такую почти дамскую хитрость! У Смуглевича каждый свергаемый с неба демон как бы случайно прикрывает причинное место другого демона рукой, ногой или волосами растрепанной головы. Получилось такое смешное неприличие, что духовные особы запротестовали. — И, обращаясь к Бренне, Павел добавил: — Прикажите Смуглевичу прибегнуть лучше к освященному веками целомудренному фиговому листу.

Не улыбаясь, придворный архитектор склонился перед Павлом:

— Не замедлю исполнить, ваше величество.

Все еще смеясь, Павел быстрым шагом стал пробегать комнаты. Он видел их много раз, но так любил этот свой новый замок, где никто до него не жил, о котором были ему торжественные видения и предсказания долголетия. Чувство защиты внушали ему эти толстые непросохшие стены. Никакое пушечное ядро их не возьмет.

Следующая комната была тронный зал, ее стены покрыты зеленым бархатом и затканы золотом. Огромная печь богато отделана бронзой, а трон обит красным бархатом, заткан и вышит золотом. Над троном герб России, окруженный гербами царств Казанского, Астраханского и Сибирского.

— Предок мой Грозный покорил эти царства, — Павел широким движением обвел гербы, — а я прибавил маленький остров Мальту и белый восьмиконечный этот крестик. Но по значению своему мое приобретение окажется больше всех земель, завоеванных до меня!

Он надулся, как бы желая стать выше ростом, но все еще на целую голову был ниже грузного Палена, которого гордо спросил:

— Сомневаетесь, граф?

— Ваше величество, из вифлеемских яслей засиял некогда свет для всего мира, то же повторится и с указанным вами островом, — почтительно склоняясь, тоном старшего, забавляющего ребенка, сказал Пален. — Отныне белый мальтийский крест с вашим именем в истории неразлучен.

— Самое большое зеркало! — не дослушав, вскричал Павел и захлопал в ладоши, подбегая к простенку между двумя кариатидами. — И оно вылито на моем стекольном заводе.

Прошли галлерею, в подражание знаменитой лоджии Рафаэля расписанную по стенам арабесками Пьетро Скотти и великолепными фигурами Виги. Дальше через широкие и высокие двери из зеркальных стекол вошли в галлерею Лаокоона. На минуту Павел задержался перед запрокинутой головой страдальца и, тихо вздохнув, вымолвил:

— Какова, однако, сила искусства? Изображено страдание величайшее, а нам на него смотреть — не скорбь, а блаженство. Когда б кто так в живой жизни устроил!

Бренна придворно вытянулся и доложил:

— Осмелюсь указать, что сей Лаокоон скопирован в Риме с антика, высечен из единой глыбы мрамора, без пятен и жилок...

— Я совсем не о том, — прервал его Павел и, захохотав неприятным отрывистым смехом, пробежал дальше, вдруг остановился и сказал тоном приказа Бренне:

— Еще раз осмотреть все места, неблагополучные по сырости, и представить на рассмотрение мне. Только прошу не повторять заодно с лекарями, — он сердито обвел глазами Александра и Палена, словно они только и делали, что повторяли неприятные ему вещи, — не повторять, что в этом здании большой вред для здоровья. Здесь я родился — в Летнем дворце, здесь я хочу умереть — в Михайловском замке. Однако не сейчас еще...

Павел опять неприятно засмеялся и, обращаясь к Александру, сказал:

— Заинтересован посмотреть: какую это любопытную статую себе выписал из Рима ваш брат Константин?

Александр, сразу съежившись, тихо ответил:

— Я ее не видал еще, ваше величество.

Бренна сделал знак Росси следовать за государем, а сам пошел навстречу появившемуся в глубине апартаментов кастеляну Брызгалову и о чем-то стал с ним говорить.

Павел в комнате цесаревича долго рассматривал прекрасную мраморную копию гермафродита. Он все сильнее краснел, потом сердито зафыркал и закричал:

— Непристойность. Убрать. Разбить молотками...

— Ваше величество, — сказал Росси, — это высокое произведение искусства, а не непристойность, и мысль его философски возвышенна.

Павел подбежал к Росси, бешено глянул в его красивое лицо, но, встретив ясность взгляда, вдруг остыл и спросил больше с любопытством, чем с гневом:

— Крайне заинтригован, сударь, узнать сию возвышенную идею муже-женского кумира.

— Это произведение вдохновлено известным мифом Платона о том, что первоначально человек был и мужчина и женщина в одном образе и едином теле. Будучи рассечены надвое, став раздельными, одинокими, мужское и женское начала жадно ищут утраченное ими восполнение. Чаще всего при встрече они ошибаются, отчего и проистекают все горести и неудачи любви. Но если произойдет великая удачная встреча, она принесет и великое счастье. Эта скульптура — копия из виллы Боргезе. В изящных формах, взятых от обоих полов, она есть попытка восстановления первоначального, в себе самом законченного, человека.

— Чудесно! — воскликнул восхищенный Павел. — Гермафродит нашел себе прекрасного адвоката, а мне преподан прекрасный урок. Но почему, сударь мой, некие прочие, — он насмешливо поглядел в сторону Александра, — или молчат, или спешат соглашаться с моим часто неправильным суждением?

И Павел, всем поклонившись, прошел было в свою спальню, но быстро обернулся, как это у него теперь вошло в привычку, и, заметив, что Пален что-то говорил Александру, резко приказал:

— Граф Пален, за мной. Наследнику успеете передать ваши новости.

Пален почтительно склонил голову, чтобы скрыть невольную бледность. У него в кармане, на листке толстой несгибающейся бумаги, были написаны имена заговорщиков. И он только что сказал Александру, что пробил час поставить ему там свое имя — первым.

Росси нашел в глубине тронного зала Бренну с Брызгаловым.

Учитель по-французски продиктовал ему для записи все, что требовало немедленной поправки.

— Уже назначен бал, — сказал Бренна, — необходимо хоть для одного этого вечера создать здесь видимость сухих стен.

Карл указал на полосы льда в аршин шириной, которые тянулись сверху донизу по всем углам.

— Горячим утюгом, что ли, стенки прогладить, — проворчал Брызгалов и, ткнув своей палкой в лед, покачал головой. — Просуши-ка поди, когда лед в перст толщиной.

— Передайте ему, милый друг, он мою русскую речь плохо разумеет, — своим обычным высоким штилем приказал Бренна, — необходимо так расположить освещение, чтобы в углах сгустились тени и укрыли от глаз публики сырость.

Росси перевел, Брызгалов, поняв в чем дело, подмигнул и залихватски сказал:

— Вотрем очки! Бумажками так накурю, что твой туман в лесу будет.

Несмотря на постоянный огонь в двух огромных каминах, плесень, разрушающая живопись, уже прозмеилась повсюду, искажая и уродуя картины. Прошли дальше, в покои императрицы, которая сейчас отсутствовала, а ее дежурные фрейлины пожаловались, что не могут согреться, несмотря на отличные березовые дрова в камине.

В комнатах Марии Федоровны стены были обшиты деревом, и сырость, скрытая обивкой, не успела еще испортить чудесных ковров бледноголубого фона с видами Павловска. В нише стены белела мраморная копия с Бернини — Аполлон и Дафна. Роскошные двери вели в кабинет, чрезмерно украшенный и тяжелый. Зато парадная спальня, которая за ним следовала, при всей роскоши была воздушна и словно расположена прямо под вечно голубым небесным сводом. Эту иллюзию делал бархатный балдахин с богатой позолоченной резьбой, высоко поднятый над кроватью. Дополняла впечатление легкости стройность коринфских колонн, разделенных диванами, тоже голубыми. Все это богатство много раз было отражено зеркалами.

Тронный зал императрицы был меньше, чем у Павла, с богатым камином, украшенным барельефами девяти муз. А к трону вела всего одна ступень. Рядом с тронным залом была расположена галлерея Рафаэля с чудесными коврами — копиями знаменитых ватиканских картин. Средняя плафонная картина изображала храм Минервы. На ступенях храма восседали свободные искусства, и лицо грека, изображавшего зодчество, было списано с архитектора Бренны, чем последний очень гордился. Его прославили в городе как человека, очень нажившегося на постройке замка, который и построен-то им по чужому, баженовскому, плану. И это свое изображение во дворце на плафоне покоев

самой императрицы Бренна воспринимал как высокую аттестацию его добродетели, закрывающую рот всякому злословию.

— Мне все кажется, милый друг, — сказал он Карлу, — я здесь, на плафоне, несколько польщен, в натуре я много старее. Не так ли?

— О нет, — едва удержавшись от смеха, возразил Карл и, снисходя к слабости учителя молодиться, любезно прибавил: — Сходство изрядное, и художник вам ничуть не польстил.

Галлерея Рафаэля вела в залу с прекрасной античной статуей Вакха и Дианы Гудона.

Здесь кончались парадные императрицыны покои. Последняя зала соприкасалась с караульной комнатой, где всегда на часах стоял взвод. С плафона кисти бездарного Смуглевича — того самого, который написал неприличных демонов, — наподобие брошенного мешка, без выражения доблестной жертвенности, свергался в пропасть Курций.

— Милый друг, — сказал, прощаясь с Карлом, Бренна, когда они уже вышли из дворца и собирались итти в разные стороны, — перед балом посмотрите еще за Брызгаловым. Я думаю, лучше распределить вам самим похитрей освещение. Дело будет надежней, нежели допустить кастеляна накурить до тошноты этой церковной душистой бумажкой, как она называется? — и, плохо выговаривая по-русски, он вспомнил сам: — Мо-ниш-ка?

— Монашка, — улыбнулся Карл и перевел Бренне это слово по-французски и по-итальянски.

Пален вслед за государем прошел через Рафаэлеву галлерею в его апартаменты. Прихожая расписана была отличными картинами Ван-Лоо, темой которым послужили легенды из жизни св. Григория. Во второй метнулся в глаза потолок, плафон работы Тьеполо, где Антоний и Клеопатра восседали в смешных, им не современных костюмах. Третья комната — библиотека Павла. Здесь были шесть шкафов красного дерева, на которых стояли красивые вазы из порфира. В этой комнате всегда дежурили лейб- и камер-гусары. Отсюда боковая дверь вела в кухню, и кухарка-немка готовила исключительно для государева стола. Павел сильнее всего опасался отравы.

Другая дверь вела в маленькую комнату, предназначавшуюся для постоянной стражи и соприкасавшуюся с витой лестницей. Она шла во двор, где стоял один часовой. По ней же Павел мог приходить никем не замеченный в апартаменты Гагариной, которые располагались прямо под его кабинетом.

В спальне императора стены тоже были обложены деревом и выкрашены в белый цвет. Посредине стояла его малая походная кровать, без занавесок, с простыми ширмами. Над кроватью ангел-хранитель Гвидо Рени. В углу портрет рыцаря-знаменосца

кисти Жана Ледюка. Рыцарем этим очень дорожил Павел: он считал его своим особым защитником.

Письменный стол императора был замечателен: он стоял на ионических колонках из слоновой кости с бронзовыми цоколями и капителями. Решетка, тоже из слоновой кости, самой тонкой работы, украшенная маленькими вазами, была выточена Марией Федоровной.

Великолепный ковер покрывал пол. В комнате были две двери, скрытые занавесью: одна дверь была в уборную, другою запирался шкаф, в который прятались шпаги арестованных офицеров. Двойные же двери, которые комнату императора отделяли от комнаты императрицы, были закрыты задвижкой и заперты ключом по приказу Павла, вдруг ставшего опасаться жены под влиянием злых наговоров графа Палена. Стена была очень толста — императрица не могла бы услышать ни шума, ни криков из комнаты императора.

Павел показал графу Палену все свои картины, особенно остановился на рыцаре-знаменосце Ледюка.

— Этот рыцарь, — сказал он, — мой хранитель, больше скажу вам, дорогой Пален, — он мой советник. Сам крестоносец, он вдохновил меня на великую идею негласного крестового похода на восставшие темные силы.

Лицо Павла было смешно и вдохновенно. Он поднял голову, высоко поставленные надбровные дуги поднялись еще выше, крошечный носик опрокинулся вместе с ними, показав две открытые трепетные ноздри и очень большие голубые сияющие глаза. Они одни были живыми и человечески полными чувства на этом странном лице, похожем на маску.

— Осмелюсь спросить, — осторожным, ласковым дядькою, привыкшим руководить озорным питомцем, сказал тихо Пален, — о каком негласном крестовом походе ваша речь?

— О походе на Индию! — воскликнул Павел, подходя к рыцарю. — Не правда ли, мой покровитель? — Он быстро обернулся к Палену. Тот стоял, высокий, доброжелательный, с такой добродушно-откровенной улыбкой на большом, отчетливо вылепленном лице, что Павел, как всегда у него бывало, когда он оставался наедине с этим крупным человеком, источавшим здоровье, поверил ему, успокоился и доверчиво рассказал:

— Я, как помазанник божий, обязан охранить мой народ. То, что кажется профанам сумасбродством и моей капризной прихотью, — есть веление свыше. Пока я знал, что божий перст почиет на Англии, ибо она была против мятежной Франции, я, как вам известно, отправил войска свои в итальянский поход. Но сейчас высшей силе добра служит Франция, и я готов поразить в Индии англичан.

Пален призвал на помощь всю свою придворную выдержку и еще тише, спокойнее и добрее сказал:

— Смею спросить, ваше величество, — что же является руководящим, так сказать, указующим вам сию истину перстом?

— Остров Мальта! — воскликнул Павел. — Сейчас его захватили, как разбойники, англичане и, как разбойники, не хотят возвращать его мне — гроссмейстеру! — с невыразимым величием и уважением к этому титулу поднял он к рыцарю правую руку, как бы его беря в свидетели. — А первый консул... — он прошептал Палену, как великую тайну: — на самом деле это великий монарх, это душа великого монарха в нарочитой оболочке, дабы не узнали профаны. Первый консул мне предлагает вернуть святой остров обратно. И против силы тьмы мы сейчас с ним едины.

Пален, удерживая с усилием прежнее выражение на лице, еще нагнул голову, как бы благоговейно принимая доверие, оказанное ему императором, а сам зло и жестко подумал: кончать с ним немедля... обработали иезуиты.

— Но это высказанное вам обоснование моих действий между нами, не правда ли, Пален? Подчиненные не имеют права, как в святилище, проникать в душу монарха. Им слово помазанника — закон. Так, Пален?

— Ваше величество... — низко склонился всей грузной фигурой Пален.

— Ах, как мне здесь хорошо, как весело! — Внезапно Павел легко, по-мальчишески пробежался вдоль стены и стал близко к Палену. — Я здесь, наконец, себя чувствую дома. Я охранен. Я принадлежу сам себе. Здесь я с удвоенной ревностью хочу заняться благосостоянием моего народа. Что нового принесли вы сегодня мне, Пален?

И вдруг ловко и быстро, как обезьяна, Павел, чуть приподнявшись на носки, запустил свою руку в карман Палена.

Пален страшно побледнел, в один миг своей рукой отодвинул небольшую ладонь императора и, прикрыв несгибавшийся листок бумаги, захохотал так заразительно искренно, что, еще не поняв в чем дело, не вынимая руки из кармана Палена, государь ответил ему отраженным смехом.

— Махорка! — все еще захлебываясь смехом, наконец выговорил Пален.

Смеясь, он таким взглядом смотрел в голубые глаза государя, как будто через их голубизну вторгался в несчастную его голову, и, по своей воле переместив его мысли, восклицал еще и еще:

— Махорка в этом кармане, махорка! Ведь я нюхаю, а вы этого запаха не выносите, ваше величество... ха-ха...

Павел вытащил руку, отряхнул ее, вытер платком, смеясь, поплевал, говоря:

— Что за свинство... махорка!

И, как всякий человек, после веселого беспричинного смеха испытывая облегчение душевного груза, благодарно сказал:

— Ну и насмешили меня. А теперь идите к Александру, его тоже полезно посмешить. Что-то не по возрасту мрачны мои сыновья.

Апартаменты Александра были просты, исключая приемных: большой зал, разделенный надвое аркой на ионических колоннах белого мрамора, был украшен великолепными картинами, из коих одна — кисти Рубенса. Зал вел в тронную великого князя. Здесь стены, обтянутые пурпурным бархатом, были затканы серебром, на ковре, не приподнятом ступеньками от прочего пола, стоял трон. Часто, стоя под балдахином, Александр давал аудиенции.

Сейчас Александр сидел на диване в своем кабинете и упорно смотрел в камин. Дрова пылали, а ему было холодно. Вот-вот придет Пален, потребует от имени государства возглавлять заговорщиков...

Как заблудившийся ребенок о любящей матери, он со слезами подумал о Лагарпе, добром и умном учителе юности. Был бы здесь, вот кто б помог.

А что недавно сделал батюшка на смех всей Европе с этим Лагарпом? «За неистовое и разнузданное поведение отнять орден Владимира» — глупейший приказ, и такое же поручение Корсакову — схватить Лагарпа с фельдъегерем и привезти в Петербург для отправки в Сибирь. За что, спрашивается? За то, что во время суворовского похода Лагарп находился во главе швейцарского правительства, по мнению батюшки — мятежного. А то позабыл отец, что навеки должен быть благодарен сему Лагарпу. Он был единственным человеком, который пытался возвысить отца во мнении сыновей. И честный Лагарп отказался от участия в замыслах бабушки лишить отца трона. Вот благодарность его...

Александр взволновался, вышел из кабинета, стал ходить по мягкому ковру тронного зала. Это его несколько успокоило, показалось — гуляет по скошенному сену на цветочном лугу. Даже захотел позабавиться, на минуту стал под балдахин, огляделся вокруг, вообразил себя вдруг весьма далеко, на лоне каких-то светлых вод, и улыбнулся желанной свободе.

Доложили о Палене, Александр помертвел, велел провести в кабинет, куда прошел снова сам.

— Необходимо, чтобы ваше высочество прочли вот это, — сказал Пален, подав перлюстрированное письмо Семена Романовича Воронцова к Новосильцеву. — Я бы должен по долгу службы передать его государю, но... передаю вам.

Александр взял молча письмо, стал читать, скоро пальцы его задрожали — письмо было некоей прозрачной аллегорией.

«У меня нет надежд в настоящем, — писал приятелю Воронцов, — я уповаю на утешение в будущем. Наша жизнь то же самое, как ежели бы мы с вами очутились на корабле, капитан и весь экипаж которого принадлежали бы к народу, языка которого мы не понимаем. Поднялась страшная буря, и вдруг капитан сошел с ума и по капризу своему бросает за борт одного за другим матросов. Скоро все мы будем погублены этим сумасшедшим, который вместе с нами погубит и весь драгоценный груз корабля. Одна надежда на спасение, если молодой помощник капитана, к которому весь экипаж преисполнен доверия, возьмется за руль. Его нам о том надлежит заклинать».

Александр понял, залился краской, все затрепетало внутри, а Пален, как бы пригвождая к месту своими круглыми властными глазами, сказал:

— Каких же еще доказательств вам надо, чтобы поверить, сколь для всех тягостно государством несомое бремя?

Александр попытался робко спастись возражением:

— Придворных кучка в сравнении с народом. А народ...

— Народ, — прервал Пален, — но разве вашему высочеству не известно, что двенадцатого января отдан приказ о выступлении в Индию донским казакам? Двадцати двум тысячам человек приказано делать тридцать — сорок верст в день. Что они терпят, вы задумались? Морозы, метели, страшные лишения... крайне плохое состояние дорог. А надо протащить с собой единороги и пушки... Экспедиция задумана, как все у нас, — вдруг, без того, чтобы собрать необходимые сведения о средствах тех стран, через кои будут следовать казаки. Без заготовки продовольствия, обоза, лазаретов, даже, как я узнал от самого императора, — без маршрутов. Наконец, вашему высочеству уже известно, что беспримерное мужество нашего итальянского похода оказалось на руку только австрийцам, — он тоже по капризу был начат и оборван... и только благодаря гению Суворова мы спасены от позора. А что ожидает донских казаков за Оренбургом? Ведь они двинуты с женами и детьми... на верную смерть.

Пален прошелся и, став против Александра, твердо сказал:

— Секретная экспедиция в Индию, быть может, нужна, но предпринята безумно, без апробации Наполеона. Объявить себе войну, как это решил вскорости сделать император, Англия едва ли дозволит. Сотрудников явных и тайных у нее при русском дворе много, а врагов смертельных у нашего государя столько же. Предлагаю вам сделать выводы. Если вы не поспешите сами спасти вашего родителя, а нашего государя... — Голос Палена дрогнул. Он волновался и волнения своего здесь не скрывал. — Ваше высочество, поспешите согласием. Ведь не о каком-либо ущербе или о лишении августейшей жизни идет речь — совсем наоборот. Речь идет о том, чтобы заболевшему некоторым рас-

стройством мысли императору дать возможность восстановить свои силы. А пока он болен — отречься от полноты власти, сделать вас соправителем. Вот о чем молит вас вся страна — пресеките возможность заболевшему государю совершать великое зло собственной стране.

Прирожденная уклончивость характера Александра, еще усиленная воспитанием, делала для него невозможным сказать решающее слово. И Александр повел себя так, как будто весь акт отречения уже позади, а перед ним одна лишь задача: как можно удобнее устроить сейчас жизнь отца.

— Я предоставлю государю им любимый Михайловский замок, — с той вынужденной скромной улыбкой, которая почему-то считалась пленительной, сказал Александр. — Верховые прогулки батюшке всего лучше будет продолжать в так называемом Третьем летнем саду, не правда ли?..

Он глянул на Палена и оборвал сконфуженно речь. Пален глядел на него холодно, с затаенным презрением:

— Если ваше высочество мечтает о пребывании августейшего отца вашего в замке уже после подписанного им отречения, то на выполнение сего необходимого акта, полагать надо, ваша подпись мною будет получена.

Пален вынул из кармана тот самый листок крепкой, негнущейся бумаги, который чуть было не вытащил у него Павел, и протянул Александру.

Как от ядовитой змеи, Александр отбежал скорым шагом к камину... Вернулся опять, хотел что-то сказать и не мог.

Пален чуть склонился, держа в руках свой листок, — строгий, сжав губы, ждал.

Александр, дрожащий, теряющий остатки самообладания, вымолвил шопотом:

— Умоляю вас, завтра. Я завтра отвечу.

— Последний срок, ваше высочество, — сурово уронил Пален, отправляя листок в карман. — Хуже будет и государю и вам со всем вашим семейством, если нас предварят более решительные заговорщики.

Он холодно поклонился и вышел.

Александр, зарыдав как ребенок, упал на диван.

Как Павлом было назначено, второго февраля был дан в Михайловском замке бал для дворянства и купечества. Два унтер-офицера пропускали в овальную гостиную. Свод этой гостиной покоился на кариатидах, промежутки занимали аллегорические барельефы. Мебель здесь была огненного бархата, отделана серебром. Плафон работы чудесного Виги изображал такое великолепие Олимпа с собранием всех богов, что казался лучезарным

источником света по сравнению с погребальным освещением замка.

Тысячи восковых свечей, зажженных в канделябрах и люстрах, не могли рассеять туман, который клубился вдоль оттаявших стен и создавал полумрак, делавший однообразной всю роскошь нарядов.

Несмотря на бравурно гремевшую музыку, этот все растущий туман и погребальные свечи производили на безмолвно толпившиеся маски удручающее впечатление.

Лихо плясали только молодые чиновницы, счастливые уже тем, что попали в роскошный замок.

Павел, мрачный, свирепо оглядев маскированных большими глазами, удалился, сильно топая, в свои защищенные комнаты очень рано.

Пален разыскал Александра в галлерее Лаокоона. Прошли несколько шагов рядом. Для присутствующих ничего удивительного не было в том, что военный губернатор граф фон дер Пален беседует с наследником. Возможно, он передает ему что-либо от государя.

Не дрогнув своим придворным, вельможным лицом, не понижая голоса и без особого выражения, Пален сказал:

— Сегодня, в сильном гневе, его величеством было произнесено следующее: «Скоро многие мне некогда близкие головы должны будут пасть».

Чуть повернувшись более к Александру и равняясь шагом по его внезапно замедленному шагу, Пален спросил:

— Могу ли возглавить нас вашим именем?

Боясь себя самого, Александр вымолвил:

— Можете.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Павел сидел в своем кабинете и читал историю великого прадеда.

Все эти дни его особенно волновали отношения Петра к Алексею. Больше того, Павлу казалось, что по прямой линии, как правнуку от прадеда, к нему прямо в сердце идет от Петра сила, которая двинет в урочный час и его руку написать сыновьям заслуженный ими приговор. Вот только Пален представит обещанные неоспоримые доказательства...

Павел был уверен, что после распущенного правления матушки и следствия его — великого всероссийского казнокрадства, глубокой развращенности нравов — дальнейшее процветание России возможно лишь при неуклонном выполнении введенного им строжайшего гатчинского порядка. И горестно было сознать, что

достойного преемника ему не было. Хуже того, наследник по праву и крови злоумышлял на отца.

Лживый Александр, расслабленный, изнеженный бабкой, глубоко заражен вольнодумием своего бывшего воспитателя Лагарпа. И сколь он ни скрытен, когда был им узнан приказ генералу Корсакову сего женевского возмутителя с фельдъегерем привезти в Россию, дабы водворить навечно в Сибирь, — он весьма опечалился. Заодно с Константином был против отца, на стороне Лагарпа. И донесли — оба сына поносили ядовито и с издевкой его праведный суд.

Павел вскочил, пробежал из спальни в библиотеку. Рука сама собой вытащила заветную книгу о Фридрихе. Как девица идет за советом к оракулу и «толкователю снов», так и он прибегал во всех случаях жизни к своему кумиру и властителю дум. И хотя знал отлично то место в биографии Фридриха, которое сейчас ему было нужно, он для поддержки перечел его еще раз.

Это было известное событие в жизни Фридриха, еще наследного принца, которое чуть не привело его по приговору отца на плаху. И только заступничество австрийского и прочих дворов и, главное, торжественно обнаженные груди высоких военных, взамен принца предложивших пронзить их сердца, смягчили уже произнесенный, но не обнародованный приговор. Отец Фридриха удовлетворился, однако, тем, что вместо сына приказал казнить его ближайшего друга, юношу фон Катте, который согласился с ним вместе убежать в Англию от ига короля-отца. Катте был обезглавлен под окнами Фридриха, которого принудили смотреть на казнь близкого друга, пока он не лишился чувств.

— Пусть лучше будет принесена эта кровавая жертва, нежели хоть один закон нашей страны потерпит поругание, — так сказал король-отец, подписывая смертный приговор молодому фон Катте, и слова его великий Фридрих впоследствии одобрил.

— Да подкрепят мой дух мужественные примеры доблестных людей, — воскликнул Павел, ставя на прежнее место книгу.

Он вернулся к себе в кабинет, но заниматься делами не мог. Надо было сейчас, сию минуту что-то предпринять относительно Александра... Но он вдруг забыл, что именно. Отметил горестно, что все чаще проваливается вдруг его память на полумысли, на полуслове.

— Ничего, — ободрил он сам себя, — здесь все силы ко мне вернутся, только никуда из Михайловского замка, ни шагу. Разве что верхом в Третий летний сад. Теперь и к Аннушке Гагариной тут же, по витой лестнице, под собственный кабинет, этажом ниже. Перехитрил заговорщиков — переехал, сколь ни чинили препятствий. Недостроено, сыро, — а на что камины? Пылают денно и нощно. А ежели у великой княгини, Александровой супруги, от сырости мигрень? Ну что же — потерпите, мадам...

Павел сделал насмешливый поклон в пустое пространство и вдруг вспомнил то, что только что позабыл. Усиленно забилось сердце. Проверять надо наследника Александра — вот что он позабыл. Лицемерию выучился у бабки, под внешней покорностью скрывать свои планы. Удалось бы ей в свое время незаконно взойти на престол, если бы она не была величайшим мастером лицемерия? Проверять Александра надо внезапно, когда он того не ожидает, как птицу хватать на лету...

И Павел, торопливо спустясь вниз по лесенке, пробежал анфиладу комнат и без доклада вошел к Александру в кабинет. Стремительно подбежал к нему, испытующе глянул в глаза:

— Чем, сударь, заняты?

Александр ужасно смутился. Ну так, словно отец поймал его на месте преступления. Он ничем не занимался. Он часами теперь сидел так и смотрел в одну точку, когда его не видел никто. Граф Пален словно взял его, как маленького, за руку, насильно перевел через шаткий мосток над бурной рекой. И мост рухнул, и назад уж нельзя. А под ногами разверзлась пропасть, двинешься — упадешь. И всего лучше было ему ни о чем не думать, а недвижно сидеть; чуть дышать, почти умереть.

— Чем сейчас были заняты? — повторил грозно Павел и обежал глазами комнату.

— Я, батюшка, так сидел, — проговорил угасшим голосом Александр.

— Подходящее занятие для наследника престола, — рванул резко Павел и вдруг приметил на письменном столе отодвинутую вглубь раскрытую книгу. Перед ней, как бы заслоняя ее, стоял глобус.

— Наскоро поставили, заслонить? — ехидно спросил Павел. — А ну-ка посмотрим, что вы изволили, сударь, читать?

Павел схватил раскрытую книгу, пробежал быстро глазами, покраснел, запыхтел. Александр, вытянувшийся как на смотру, побледнел при этих ему известных угрожающих признаках гнева отца.

— Вы, сударь, отодвинули и заставили глобусом книгу, дабы я не приметил, *что именно* вам было угодно читать.

— Я ничего не читал... — пробормотал Александр.

— Ложь! — крикнул Павел. — Вот он, восхваляющий убийство Цезаря стих Вольтера, ваша книга была раскрыта как раз на нем. Вы, сударь, поглощали Брута.

И Павел продекламировал по правилам французской трагедии, с подчеркнуто ироническим оттенком голоса:

Rome est libre. Il suffit.
Rendons grâces aux dieux! [1]

---

[1] Рим свободен. Довольно. Возблагодарим богов *(франц.)*.

— Да за одно это чтение вы достойны... — Павел махнул рукой, побежал к двери, остановился, бросил на пол оставшуюся в его руках книгу, от ярости понизив голос, сказал: — Но прежде всего вы с вашим братом будете вторично приведены к присяге верности вашему императору генерал-прокурором Обольяниновым.

Павел ушел. Александр, медленно подняв книгу, положил ее снова на стол и, сев на прежнее место, застыл без мысли, без чувства.

Очень скоро доложили ему приход одного из государевых адъютантов, того самого, который послан был к Суворову возвестить ему запрет приезжать в Михайловский замок.

Ничтожный придворный человек, с незапоминаемым мелким лицом, сказал фальшивым голосом царедворца, которому лестно нанести безнаказанно царскому сыну удар:

— Его величество присылает вашему высочеству для справки жизнеописание Петра Великого, с нарочитым назиданием прочесть страницы, посвященные последним его приказам относительно судьбы его наследника.

Александр машинально взял из рук адъютанта большую книгу, кивком головы отпустил его и прочел выразительные строки о присуждении к смертной казни царевича Алексея.

Слезы брызнули из его глаз. На красивом лице проступила обиженная растерянность. Не вытирая слез, измученный, он прошептал:

— И некуда мне убежать.

Вечером в Михайловском замке был французский концерт. Все ощущали большую тревогу: зачем это пение, зачем бриллианты мадам Шевалье, когда вот-вот грянут события...

Уже пошли в городе шопоты о предрешенном аресте обоих великих князей. Вызывали в памяти кровавый конец отца Павлова, и во главе заговорщиков называли сыновей тех, кто убил Петра Третьего. Неужели опять повторение?

Император сидел на концерте сумрачный и не обращал внимания на пение своей любимицы Шевалье, о которой еще недавно поговаривали — она-де заступить должна место Гагариной.

Перед выходом к вечернему столу император надумал какое-то сценическое появление, особое воздействие своей персоной, как во французских криминальных драмах, дабы уличить нежданно преступников. Распахнулись обе половинки дверей, и он, уже некоторое время ожидаемый, подошел к императрице, скрестив на груди руки. Посмотрел, помолчал, многозначительно улыбнулся. То же проделал, подойдя по очереди к обоим сыновьям. Было смешно и грозно, словно плохой актер, не разрешившийся словами, одной мимикой выразил угрожающий приговор.

Павел спешно протопал первый в столовую и сел за стол. На ужине, как на панихиде, царило гробовое молчание, а когда Мария Федоровна с великими князьями подошла, как обычно, его благодарить, Павел отскочил от них, замахал рукой, ушел, не поклонившись, к себе. Императрица заплакала.

Граф фон дер Пален неослабно следил за настроением Павла и решил, что сейчас ни на минуту нельзя выпускать его из рук, пока не свершится задуманное немногими, ожидаемое всеми пресечение его безумной власти. По должности главного почтдиректора Палену было уже известно, что Павлом выписан из своей деревни Аракчеев. Времени для полной и бесконтрольной власти оставалось немного, завтрашний день грозил ссылкой, Сибирью, быть может казнью. О заговоре открыто говорил уже город. И вот начался поединок между царем и царедворцем.

Пален, высокий, сильный, дышащий здоровьем, полный неизменной доброжелательности, несколько грубоватой, но тем более внушающей доверие, одним своим физическим видом умел, как лекарством, усыпить больные нервы Павла. Не веря Палену, боясь его, он все-таки с ним отдыхал.

План военного петербургского губернатора графа Палена был таков: утомлять государя непрерывно делами так, чтобы ничье живое влияние не прослоило того исключительного волевого обхвата всей психики Павла, который ему удалось создать. Так продержать Павла надо до вечера, до конца. Да, вечером — конец. Дольше откладывать нельзя и минуты.

Совсем на днях Павел, получивший еще один донос с перечислением заговорщиков, хвастливо почитая себя на высоте прокурорского гения, внезапно спросил Палена, пришедшего с очередным докладом:

— Вам известно, что против меня существует заговор?

И Пален ответил со своей улыбкой, убаюкивающей все сомнения:

— Почти во всех подробностях, ваше величество, потому что я сам этот заговор возглавляю. Наилучший способ держать в своих руках все нити...

Пален сказал правду, но так она была ошеломительна, что усыпила настороженность и оживила обычное самомнение Павла. Он небрежно приказал:

— Дознавайтесь скорей и докладывайте.

Сам же хитро подумал: «А как про всех доложит, его первого под арест. Разберу дело не с ним, с Аракчеевым».

Опять в памяти Павла случился провал: вызов, посланный Аракчееву, мог достичь своей цели, если б у Палена власть была отнята. Но Павел отнять эту власть позабыл, и человек, которому подчинена была вся полиция, тайная и явная, на одной из застав приказал задержать поспешившего на спасение царя Аракчеева.

Кто еще может быть опасен заговорщикам? Разрешено иезуита Губера впускать во все часы дня и ночи. Иезуит — клеврет первого консула. Кто знает, какие у него могут явиться проекты для охранения силы, сейчас готовой служить замыслам его хозяина против Англии?

И Пален патера Губера очень хитро не пустил. Любезнейше попросил его повременить, пока не будут государем подписаны дела первой важности. Большого хитреца перехитрил наибольший. Губер доверился приветливо-почтительному Палену и с терпением ждал.

Когда Павел, не выносивший долго усидчивой работы, спросил Палена, который с расчетом на это качество государя завалил его подписью бесконечных бумаг: «Ну, еще что... еще что?» — Пален с сокрушенным сочувствием вымолвил:

— А еще патер Губер ждет с толстой тетрадью собственных мыслей о необходимости соединения церквей.

Расчет Палена, как всегда, попал в точку. Утомленный Павел воскликнул:

— Послать патера к чорту с церквами и тетрадями.

Павел ездил кататься верхом в Третьем летнем саду, потом долго разговаривал с Коцебу, недавно возвращенным из ссылки. Это входило в план — занятия невинные, развлекательные, не таящие в себе угрозы возникновения опасных заговорщикам мыслей. Павел поручил Коцебу описание любимого своего замка и очень интересовался, как подвигается работа. Развеселился, проходя мимо статуи Клеопатры. Высказал предположение, что египетская очаровательница потерпела неудачу у Августа единственно оттого, что красота ее несколько перезрела. Между тем, обольсти она Августа, не понадобились бы ей общеизвестные нильские змейки, чтобы самовольно пресечь свои дни.

К своему письменному столу Павел подошел радостно возбужденный. Глянул на картину Ледюка, изображавшую рыцаря, которого почитал своим охранителем, как обычно кивнул ему головой, словно живому, и с лукавой усмешкой вытащил из ящика копию своего послания всем правителям европейских государств о вызове их на рыцарский турнир. Внезапно нахмурился и сел писать приказ на имя барона Криденера, посланника в Пруссии, с требованием объявить прусскому королю предписание занять Ганновер.

Краска выступила на бледных щеках Павла. Промелькнуло в голове, что прусский король может его ослушаться. И он гневно приписал в конце приказа Криденеру: «Если король не займет Ганновер, вы обязаны в 24 часа оставить его двор». От того, что он написал, гнев его еще возрос. Перед его воображением встал уже чей-то сговор, сопротивление. Он не доверял своему прусскому послу. Он схватил другую бумагу и написал Колычеву

в Париж с повелением самому Наполеону передать его предложение вступить в курфюршество ганноверское ввиду нерешительности берлинского двора.

Велел позвать Палена. Все сильнее не веря ему, боясь его, Павел тем не менее через него отправил обе только что написанные бумаги.

В послании к Криденеру Пален осмелился приписать от себя: «Государь очень болен... скоро это будет иметь свои последствия».

Пален шел на крайний риск: или сегодня ночью, или никогда.

Дальнейшие события развернулись так, что оставили в истории еще одно доказательство победы сильной воли, знающей свою цель, над характером, подчиненным мимолетным капризам и чувствам, характером, не умеющим не только защитить свою жизнь, но, словно в угоду твердо начерченному плану врага, как бы усерднее всех исполнявшим его предначертания. Павел грозно объявил сыновьям домашний арест, чем снял с Александра невыносимые укоры его легко раздражимой совести, так что генералу Уварову, приставленному Паленом к наследнику, дабы тот не предпринял каких-либо опасных для заговорщиков шагов в порыве раскаяния в данном им слове, не пришлось прибегать к защитительным мерам. Уваров только вторил Александру в его розовых грезах относительно той удобной, безответственной жизни, которую надо будет теперь устроить больному, отошедшему добровольно от власти императору.

Уваров охотно и многократно повторял Александру клятву, данную ему Паленом, что, конечно, жизнь Павла для всех священна и никакого урона его здоровью нанесено быть не может. Александр охотно верил и быстро успокаивался, избегая смотреть в точные, исполнительные глаза Уварова, словно боясь в них прочесть насмешку и осуждение.

И Александр в глаза Уварова не смотрел и ненужных вопросов ему не предлагал. Он хотел, как всегда, не истины, а только покоя.

Оставалось еще последнее препятствие, которого Пален имел основания, как он сам впоследствии говорил, опасаться более всех: полковник Саблуков, командир эскадрона, должен был выставить караул в ночь на двенадцатое марта в Михайловский замок. Этот несокрушимый человек был верен присяге и Павлу.

Пален поручил генералу Уварову устранить и его. И точный, спокойный Уваров этого добился легко. Он только шепнул Павлу, что молва идет об эскадроне Саблукова, будто все они — якобинцы. И за три часа до своей гибели Павел своей волей удалил последнюю свою защиту — беззаветно преданного Саблукова.

Впрочем, воли своей у Павла уже не было, он лишь отдавал распоряжения, повинуясь воле чужой. Сознание Павла было как

прозрачная среда, через которую, не задерживаясь, проходил луч твердого, определенного руководства.

И вместе с тем чувствительность его была обострена до предела, переходила порой в ясновидение. В последний вечер своей жизни он был как-то причудливо весел, о чем, вспоминая горький опыт пережитого, вдруг сам сказал:

— Сей род веселости у меня всегда бывает перед особо большой печалью.

Он любезно шутил со всеми, кто был за ужином; наследнику, хотя тот и был под домашним арестом, вдруг многозначительно сказал слова, как того вовсе не требовало вызвавшее их маловажное событие. Наследник чихнул, а Павел привстал, изысканно ему поклонился и произнес с подчеркиванием:

— Исполнение всех ваших желаний.

Уходя же к себе после ужина, сделал две вещи, которые, будучи очевидцами рассказаны своим знакомым, облетели город, занесены были в дневники современников и вошли в историю.

Павел подошел к зеркалу, рассмеявшись своим хриплым, отрывистым смехом, сказал:

— Как странно, я вижу себя со свернутой шеей!

И затем, уже уходя к себе в спальню, остановился у дверей, ни к кому не обращаясь, произнес, как фаталист-мусульманин:

— Чему быть — того не миновать.

Около одиннадцати часов вечера заговорщики собрались в квартире Талызина, командира Преображенского полка. Много было выпито, все готовились к важному делу, но в чем именно оно будет состоять, знали очень немногие. В половине двенадцатого появился Пален. Еще потребовалось шампанское. Подняв бокал, Пален скромным, но твердым голосом сказал свои решающие слова:

— Поздравляю с новым государем.

Еще ничего с Павлом не было окончательно решено. Он еще царствовал. Все мосты подъемные были подняты. Все караулы на месте. А хитроумный Пален заставил присутствующих выпить с ним вместе за здоровье государя нового, чем как бы перевел по ту сторону дела, уже свершившегося. Коварный знаток слабых сердец, он сделал и с собранными офицерами то, что ему уже удалось сделать с Александром. Он в их мыслях переставил в уже прошедшее то, что им еще только свершить надлежало. Он освободил слабых от выбора, этого тяжкого бремени сильных людей, и крикнул, как на подчиненных:

— Стройтесь в две колонны! Разделяйтесь — кто пойдет со мной, кто с князем Платоном Зубовым!

Никто не трогался с места. И тут не хотели брать на себя ответственность. К тому же все были нетрезвы.

— По-ни-маю, — протянул несколько презрительно Пален. И до конца принял решение на себя одного. Он брал офицеров,

как детей, за руку и отводил одного вправо, другого влево. Сказал Платону Зубову:

— Вот эти с вами. Прочие со мной. В Михайловский замок, господа!

Войдя во дворец, Пален передал, тоже ганноверцу, генералу Беннигсену, крепкому, хладнокровному человеку, главенство над своей половиной и направился в покои императрицы. Вошел к дежурной статс-даме и стал ей рассказывать обстоятельно, что сейчас происходит на половине государя.

В качестве плац-адъютанта заговорщик Аргамаков знал отлично все ходы, и выходы, и потайные коридоры, по которым должны были дойти до спальни Павла.

Поднялись по лесенке в маленькую кухню, смежную с прихожей, перед спальней государя. Здесь спал охранитель, камергусар, прислонившись головой к печке. Один из офицеров рубанул его саблей, гусар закричал во всю мочь:

— Убивают государя, спасите!

Граф Кутайсов, живший этажом ниже, проснулся от шума и кинулся было на помощь, но, устрашившись, стал спасать только себя. Как заяц, стрельнул он из замка, по дороге теряя свои ночные туфли.

Павел в испуге вскочил. Забыл или побоялся спуститься к Гагариной потайной лестницей. Спрятался в камин и заслонился экраном.

Едва заговорщики гурьбой вошли с шумом в спальню, как на лестнице раздались шаги и бряцание оружия. Все решили, что их сейчас арестуют, и шарахнулись бежать. Генерал Беннигсен, высокий, худой, бледный как призрак, один не был пьян. Он мгновенно представил себе все последствия неудачи и проявил твердую решимость, не зависящую ни от каких неожиданных впечатлений. Пален знал, кому доверить выполнение дела. Беннигсен, обнажив саблю, стал у дверей и кратко сказал:

— Назад уже поздно. Зарублю. Кончайте.

Луна осветила босые ноги Павла. Беннигсен отодвинул от камина экран и, указывая на небольшую фигуру в белом полотняном камзоле и ночном колпаке, произнес по-французски:

— Le voilà! [1]

Беннигсен, не оборачиваясь, вышел в кабинет Павла и сделал вид, что спокойно рассматривает картины, висевшие на стенах. Когда он вернулся, все было кончено. Павел мертвый лежал на полу.

— Благопристойно уложите его на кровать, — приказал Беннигсен и пошел навстречу входившему Палену.

Когда к Александру кто-то из приближенных обратился

[1] Вот он *(франц.)*.

со словами: ваше величество, — он понял, что отец его умер, и забился в истерике.

— Вам ведь было известно, — желая сказать мягко, но с плохо скрытой усмешкой сказал Пален, — вам было известно, что исход заговора означал для вас либо престол, либо заточение, если не гибель. Что же так вас теперь убивает?

— Вы мне клялись, что отец будет жив!

— Меня в это время не было в спальне императора, я охранял вашу матушку, — не дрогнув, сказал Пален и с прорвавшейся вдруг властностью приказал:

— Довольно ребячиться. Ступайте царствовать. Покажитесь народу.

Карл Росси, выйдя поздно вечером из дома Тугариных, от захвативших его мыслей и чувств не мог сразу вернуться домой. Он пошел бродить вдоль Невы по любимому городу. Душа его была переполнена, и встревоженные чувства мешали ясности мыслей. Как вдруг все перевернулось в его судьбе! Капризная и надменная Катрин, которая нанесла такую рану его первой наивной любви, сама полюбила его, и самые несбыточные грезы, от которых он давно отказался, сейчас могли стать действительностью. Катрин расположила к нему отца, и тот, собрав о нем сведения от своих придворных знакомых, художников, ловко выспросил и Бренну и получил впечатление, что юноша Росси, сын знаменитой балерины, если разовьет свои гениальные способности, превзойдет славу матери. Такого многообещающего художника, прекрасного собой и с отменными манерами, можно и приласкать. Катрин же пошла еще далее. В очень задушевной беседе она призналась, что пережитое ею недавно, основанное на расчете, отношение к князю Игрееву вызвало навсегда отвращение ко всякой лжи и нечестности в области чувств. Пример же прекрасной любви Сильфиды и Мити открыл новый для нее мир свежей радости и красоты, перед которыми бессильны все колкие насмешки господина Вольтера, чьей жертвой она так легковерно была. Словом, Катрин как будто заново родилась и просила простить ее за прошлое, не оставлять своей дружбой в будущем. Отец надавал Карлу кучу очень интересных заказов, он оказался истинным ценителем искусства, и часы, проведенные с отцом и дочерью, были теперь полны новой, неиспытанной прелести. Тугарин просил Карла бывать у них каждый день...

«Если бы все это случилось раньше, — с горечью думал Карл, — как могли мы быть счастливы! Сейчас же за каждой ее улыбкой я вижу только новый каприз, завистливое желание самой испытать те чувства, которые приоткрыла ей настоящая любовь других. Но мне ль стать игралищем ее опытных упражнений? А если во мне говорит самолюбие? Если чувства этой девушки,

почему-то запоздавшие сравнительно с развитием ее разума, сейчас расцветают тем нежным цветом, как это было несколько месяцев тому назад со мной самим? И я из чувства мести заставлю ее пережить все те страдания, которые пережил сам?»

Так, переходя от невольного увлечения новой прелестью Катрин и тут же уничтожая зародыш воскресающего чувства иронией, неизбежным следствием сердечной обиды, Карл, не находя себе места, забрел уже на рассвете в Летний сад и на миг забылся, восхищенный его красотой.

Неожиданное в марте ясное, теплое солнце поднималось над Фонтанкой и уже позолотило высокий шпиль Михайловского замка. А деревья вокруг, очень черные, будто свеженарисованные китайской тушью, с особой отчетливостью наложили сложный переплет своих ветвей на бледноголубое небо.

Выйдя на мост перед замком, Карл с изумлением остановился. У ворот, которые ведут во дворец и где обыкновенно стояли двое часовых, он заметил целую роту под ружьем. Вокруг замка происходил какой-то неуловимый беспорядок, и в разных направлениях шли различные части войск. Но самой поразительной была возникшая наверху лестницы парадная фигура кастеляна Брызгалова. Он, как обычно, в своем яркомалиновом сюртуке с золотыми позументами, держал в руке саженную палку, но был без шляпы, и седые волосы его колебал ветер. Кастелян замка показался Карлу либо пьяным, либо вдруг сошедшим с ума. Ясно было одно — что-то необыкновенное произошло за эту ночь в замке.

Росси быстро направился к дому учителя Бренны, жившего неподалеку, он должен был знать все в подробности.

Данилыч, старый лакей Бренны, сказал, что барин срочно вызван «графом Палиным» во дворец еще ночью, и всхлипнул:

— Сходствие требуется императору навести! Уж так он, государь-батюшка, изуродован. Глаз ему вырвали...

Старик дрожащими от волнения руками открыл Карлу дверь в кабинет.

— Ты в бреду, Данилыч, иль с похмелья? — изумился Росси.

— Какое похмелье, — махнул Данилыч рукой, — этой ночью объявлено графом Палиным, будто скончался наш государь внезапно, ударом апоплексическим. Ан всем уж ведомо, что удар тот разбойничий, зубовский. Табакеркой в висок его Зубов хватил. Прямо насмерть...

Росси вспомнил нелепо нарядного Брызгалова без шляпы на лестнице замка и понял, что слова Данилыча — чистая правда.

А старик лакей, обычно подтянутый перед господами, вдруг обессилел и, не спросив разрешения, опустился в кожаное кресло.

— Все это у Палина давно было подстроено, а на государя им словно наваждение напущено. Своими руками стал гибель свою торопить. Поручик один ночью к барину приходил, подслу-

шал я, как рассказывал. Полковника-то Саблукова, преданного государю, с внутреннего караула просто волшебством убрали. Слыхал поручик, Палин кому-то сказал: всех опаснее нам тот Саблуков мог оказаться. А собачка белая государева ведь так и ластилась, словно последнюю защиту хозяину чуяла. Сейчас как сквозь землю эта собачка пропала.

— Когда именно поручик за твоим барином приходил?

— Не так давно. А прикончили государя задолго до рассвета. Истоптали всего, а тут народу его надо показывать — устрашились. Выручай их! И из караула некий, — тут у нас в доме кума живет, — еще рассказывал, что нового государя Александра родная матушка силком к отцову телу подвела да как закричит: «Смотри... на всю жизнь смотри да помни». А покойнику лицо воском уже обмазали, подкрасили, да все, видно, не так. Шляпу, слышь, низенько ему нахлобучили, чтоб и глаз не видать. Так и народу покажут. Мыслимое ли это дело, императорское, миропомазанное, в бозе почившее лицо — и вдруг в шляпе?

Из передней слышно было, что кто-то вошел, впущенный швейцаром. Данилыч кинулся открывать дверь.

Бренна появился бледный, с таким застывшим выражением ужаса на лице, что Карл только молча пожал ему руку.

— Хорошо, что вы здесь, друг мой, — сказал устало учитель, — вы совершенно сейчас необходимы. Я больше не в силах там присутствовать. Я любил его... — И Бренна заплакал, повторяя, сам не зная того, ту самую фразу, которую по-французски твердил Павел кинувшимся на него заговорщикам: — Что... что он им сделал?

Бренна, погруженный в свои большие хлопоты по сооружению Михайловского замка, при постоянных докладах Павлу о текущей работе видел его неизменно любезным, щедро доброжелательным. Увлечение замком было светлой минутой Павла, его лучшим отдыхом. Далекий от непонятного ему русского быта, не испытавший на себе всеобщего гнета, итальянский мастер, как многие иностранцы, воспринимал Павла обаятельно любезным, рыцарственным человеком.

— Я вас попрошу, дорогой Карл, посмотреть, чтобы не испортили тон кожи, составленный мной. При наложении на лоб и виски придется добавить охры; впрочем, вы увидите сами. О, как ужасно он изуродован! Римляне не смогли бы столь безобразно убить. Но идите, идите скорей. Окоченение уже прошло, работать можно. Вас внизу ждут мои сани...

Карл вышел и сел в маленькие санки, которые только что привезли Бренну. Хотя до Михайловского замка было недалеко, он с трудом пробрался сквозь густую толпу разного люда. И толпа все росла, несмотря на войска, шеренгой стоявшие на улице. И страшно было понять, что толпа эта была не только бурно

радостна, она просто ликовала, как в самый большой праздник, как в день одержанной победы.

Дальше в санях двигаться было нельзя. Карл вышел. Он пешком прошел через площадь Коннетабля. Невольно задержался его взор на нарядной статуе Петра, которую Павел извлек из мрака и воздвиг среди площади. И надписал: «Прадеду — правнук».

Карл вспомнил о всем известном видении Павла, как однажды по набережной ему сопутствовал его великий предок и, горестно пожалев его, сказал: «Бедный император, бедный Павел».

Эти слова неотступно звучали сейчас в ушах Карла, когда он шел мимо караула, задавая себе вопрос — где ж были они, преображенцы, семеновцы, одни, кому покойный слепо доверял? Почему пропустили убийц?

Карл дошел до великолепных дверей, богато изукрашенных щитами, оружием, медузиными головами. Змеи покрывали их вместо волос и казались зловеще ожившими...

Сквозь знакомую анфиладу комнат Карл прошел в парадные покои Павла, овальную переднюю залу, отделанную под желтый мрамор. Здесь художники торопились создать какое-либо сходство изуродованного лица лежащего перед ними трупа со всем знакомыми чертами покойного императора. На стенах этой комнаты было шесть больших исторических картин. Покорение Казани в великолепной группировке Угрюмова, его же венчание на царство Михаила и Полтавский бой — отличная картина Шебуева. Огнемечущий, горя глазами, великий Петр стоял рядом с благородным Шереметевым. Петр был полон гнева, словно за то, что под его ногами, на простом большом столе, распростерто было изуродованное тело его правнука.

Лицо Павла было страшно. Без парика, бледножелтое, с глубоко пробитым виском, с правым глазом, выпавшим из орбиты. Глаз лежал на щеке и не по-человечески внимательно смотрел в одну точку. Карлу почудилось — на него.

Чтобы собраться с силами и приступить к работе, Карл большим усилием воли, словно в океан света, погрузился в воздушную перспективу прекрасной картины Причетникова «Плавание по Босфору».

Внизу кипела страшная работа: живописцы, руководимые врачом-анатомом, наращивали недостающие кости, сорванную кожу, красили черные пятна, кровоподтеки.

Подойдя к ним и глянув на то, что вчера еще звалось императором Павлом, Росси невольно воскликнул:

— Как же привели его в такой вид?

— А вот сумели, — сказал молодой врач с укором, как будто и Росси был участником дела. — Ногами топтали, пока один не догадался снять с себя шарф и прикончить.

Подошел знакомый художник, тоже бледный от волнения, но, видимо, не разделявший осуждения врача:

— Злодеев тут не было! Сами обстоятельства принудили его убить. Пока шел разговор об отречении, послышался на лестнице шум. И Павел так кричал, что нельзя было его оставить, и вот... — художник показал на висок, залепленный воском. — А если бы этого не сделали, наутро вместо одного безумца сотни и тысячи умных отправились бы в тюрьмы.

Все принялись за работу: время летело, и откладывать доступ к телу было опасно. В толпе росли слухи, будто Павла придворные отвезли в Шлиссельбург. Люди требовали доказательств его смерти, чтобы присягать Александру.

Наконец облаченное в императорскую мантию тело вознесено было на парадное ложе, близ которого на небольшом столе, покрытом малиновым бархатом, засверкала золотая корона.

Когда все было перенесено флигель-адъютантами в малую тронную залу, народ был допущен для прощания, но без обычного коленопреклонения и молитвенной остановки у тела.

Но хотя проходившие увидали одни лишь подошвы ботфорт и поля широкополой шляпы, надвинутой до бровей, как предупреждал Данилыч, весь город поверил, что государь умер, и шептали друг другу — не своей смертью.

Чрезмерная белизна лица делала Павла похожим на иссеченного из мрамора, а глубокий пролом виска не удалось скрыть и под шляпой.

Удивило Карла, что ни возмущения, ни гнева против убийц в городе не было. Их имена произносили с каким-то почетом. Они были у всех на виду, на них показывали с благодарностью, как на неких римлян, освободителей отечества. Так и сказал один из придворных Зубову.

Радость внезапного освобождения от четырехлетнего гнета и неуверенности в завтрашнем дне охватила город. Очевидцы события уж заносили в свои дневники, что «на улице даже незнакомые обнимались, как в христов день, и поздравляли друг друга с новой, свободной жизнью».

Отмечали суеверно, что сама природа дала благословение новому государю. До двенадцатого марта было пасмурно, непрестанно дождило, а с воцарением Александра вдруг ранняя развернулась весна, и солнышко, редкий гость петербургского серого неба, засияло, как на юге.

Хотя на то не отдавалось приказа, сами жители в честь Александра иллюминировали свой город. И тоже немедленно, без снятия запрета, наложенного Павлом, украсились головы круглыми шляпами, и появились на свет прочие принадлежности модного туалета, недавно еще аттестованные «якобинской отравой».

По городу во все стороны понеслись запрещенные Павлом

упряжки с форейторами, с кучерами в русской одежде, с неистовым криком: па-а-ди!

Люди спешили увериться, что опять могут жить, опять, наконец, веселиться, как того просит душа.

Поэт Державин, выражая общее ликование, написал оду: На всерадостное восшествие на престол императора Александра в знак Овна, на путь весны вступило и началось новое столетие 1801 года.

Эта ода заключала в себе очень прозрачные намеки на только что приключившееся событие в Михайловском замке, хотя Державин утверждал, что сие не что иное, как риторическая фигура, знаменующая наступление весны:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный зрак...

Генерал-прокурор запретил печатать оду, отлично поняв, как и все, к кому именно относилась риторическая фигура, чей закрылся «грозный зрак» и чей вдруг умолк столь памятный, перед вспышкой опасного гнева словно осипший голос.

Потрясенный смертью Павла и своим участием в создании ему маски отдаленного сходства, Карл проводил бессонные ночи. К его встревоженным чувствам присоединилась и личная мучительная борьба с самим собою: он то посещал ежедневно Тугариных, то пропадал на целые недели.

Ночи заметно посветлели, и под утро небо делалось такое нежнозеленое, уносящее вдаль, что усидеть дома было трудно.

Нева вскрылась рано. Льдинки то двигались плавно, чуть касаясь друг друга, то вдруг могучей волной вздымался задний их ряд и набегал на передний; недолго так держались, взгромоздившись горой, и внезапно, как войско в атаку, льдины с грозным шуршанием соскальзывали в воду, на миг раздвигая черную полынью. Уже сильно запахло весной, и в сыром воздухе стали мягкими все очертания.

Карл пошел снова в излюбленный Летний сад. Сел на скамью под ветвистую липу так, что хорошо видна была вся темная громада замка. Долго сидел здесь, как бы прощаясь со своей ранней юностью, тесно связанной с этим Михайловским замком. На древке уже не плескался царский штандарт. Александр и все члены императорской фамилии переехали в Зимний дворец, подальше от тяжких воспоминаний. Но Карл, помимо воли глядя на замок, стал силой воображения воскрешать страшную ночь, двигая время назад от того мгновения, когда поутру появился на этих вот гранитных ступенях в придворной ливрее кастелян Брызгалов.

Как ни тихо шли заговорщики, они, говорят, спугнули бесчисленных ворон. В ту же ночь, как нарочно, всполошилось все это черное пернатое царство, и поднялось карканье и хлопанье

крыльями. Пален подумал, не сорвалось ли все его дело и, как, по преданью, в минуту последней опасности загоготавшие гуси спасли Рим, эти зловещие птицы своим карканьем подымут сейчас государя. И что же тогда? — Арест, Сибирь или казнь. Но вот вороны внезапно умолкли. Их карканье не спугнуло сон императора. В своем охраняемом замке, при поднятых мостах, проверенных караулах, он не боялся измены, расквартировав последний подозрительный эскадрон Саблукова в далекой деревне. Между тем самый доверенный его человек, плац-адъютант Аргамаков, уже давал самолично приказ опустить малый подъемный мост, чтобы впустить заговорщиков.

Карл так долго смотрел на два окна бельэтажа, выходящего на Садовую, где была спальня Павла, что ему уже стало казаться — вот-вот откроется осторожно окно и выглянет знакомая курносая голова в ночном колпаке и полотняном камзоле, в каком обычно спал Павел...

Росси очень тосковал, что в такие для него тяжкие дни нет в городе Воронихина. Пошел наведаться, когда можно его ждать, и вдруг оказался приход его как нельзя кстати: Воронихин только что приехал. Карл рассказал ему все, что знал из городских толков про последние дни государя и про его смерть. Воронихин долго ходил по ковру своего кабинета.

— Главная ошибка Павла, — сказал он, — его убеждение, что мир размежеван на участки и Россия, как поместье, вручена ему самим богом в полную власть. Себя он действительно считал проводником высшей воли. Отсюда всем видимый деспотический произвол превращался в его больной голове в особую миссию, вроде крестового похода, который ему неуклонно надлежит предпринять. Так было с отправкой армии в Италию в угоду Австрии против Франции, а через несколько месяцев последовал поход обратный, уже в союзе с Францией против Англии на Индию.

— А что тут и там погублены тысячи, что донские казаки посланы на верную смерть? Да неужто за них он не чувствовал ответственности? — воскликнул Карл.

— Едва ли он мог давать себе ясный отчет о последствиях этих, как он полагал, подсказанных ему свыше решений.

— Вот чего не могу я понять, что мучит меня, когда о нем думаю, — сказал живо Росси, — ведь я видел его близко и не могу ошибаться в том вдохновении благожелательного чувства, каким в светлые минуты просто сияло его лицо. Я был свидетелем его благородства, доброты и сочувствия. Почему так могло случиться, что именно этот человек, с большими задатками добра, наделал столько зла, что город всеобщим ликованием встретил его смерть?

— То же самое и в Москве, — подтвердил Воронихин, — с необычайным страхом ждали увидеть Павла на больших манев-

рах, к которым готовились в окрестностях. Слухи об его безобразной ярости при малейшей оплошности привели в оцепенение все умы, его ждали, как неотвратимую чуму, и я сам был свидетелем бурной радости, когда судьба навеки пресекла угрозу его появления. А тебе, Шарло, — сказал Воронихин тем своим особенным, интимным голосом, который у него появлялся, когда он хотел передать ученикам свои большие знания или глубокий внутренний опыт, — тебе из несчастной судьбы Павла, которую пришлось так близко наблюдать, для твоего собственного развития важнее всего запомнить один нерушимый закон...

— Я слушаю, Андрей Никифорович, — насторожился Карл.

— Тебя поражает величайшая дисгармония? Человек хотел блага, а совершал злое? Но дело в том, что одних благих намерений мало; как известно, ими вымощен ад. Чувство, мысль, идея получают свою реальную жизнь, только когда они закреплены отчетливой, для всякого зримой, защищенной разумом формой. Но если человек — в данном случае Павел — возникающий в нем огонь чувства, пускай даже порой превышающий то, что доступно среднему человеку, — отдает одним бесплотным мечтам, ему жизнь не прощает. Павел не имел характера и ума осуществлять необходимые для всеобщего блага замыслы, подобно своему предку Петру. Он не двигал жизнь, он не делал никому ее условия легче и прекраснее; напротив того, не понимая законов развития и движения своей страны, засорял ее всяким вздором. И законно, что, вместо восторгов и благодарности потомков, какие вызывают дела Петровы, произвол и капризы Павла, не превращенные в нужное дело, вызвали только проклятия. Запомни, Шарло, это нужно для каждой работы: восторг зарождения — только искра. Эту искру еще надлежит раздуть в пламя.

— Я чувствую истину ваших слов, — сказал Карл, — но как это сделать? Как раздуть искру в пламя?

— Твердой волей, — сказал Воронихин, — столь углубленной в свое дело, что, как зажженный во тьме маяк, она приведет тебя к цели среди жизненных бурь. Едва ты возьмешься за большую работу, как на деле проверишь мои слова. Только полюбить свое дело надо больше себя...

И, внезапно смутившись, как целомудренный юноша, решивший раскрыть другу тайну сердца, Воронихин вымолвил:

— Приходи-ка, Шарло, взглянуть на мой Казанский собор. Покажу тебе акварели и план. Я закончу на днях.

Состояние Александра было ужасно. Его подавленность, глубокую грусть и раскаяние граф Пален почитал только робкой слабохарактерностью и все назойливее обращался с ним как с мальчишкой, которого он только что посадил на трон и должен научить царствовать.

Александр свободные от парадов часы проводил в уединен-

ной скорби. Удрученный безжалостной памятью, он снова и снова переживал страшную ночь. Ежедневно узнавал он все новые имена исполнителей, новые подробности смерти отца.

Однако не только казнить убийц Павла, как того требовала мать-императрица, но даже предать их суду Александр не находил в себе смелости.

Начни суд — что получится? Одни имена потянут за собой другие, и, как средство защиты, всеми будет помянуто о согласии, которое было вырвано у него, наследника, на предъявление акта отречения императора. Заговорщики сейчас давали слишком беззастенчиво понять, что они необходимы для безопасности молодого государя. Зубовы даже нарочно постарались, чтобы слова, которые они почитали дружеским ему советом, доведены были до него: «Из чувства благодарности и благоразумия Александру следует окружить себя теми людьми, которые возвели его преждевременно на престол, как это сделала его бабка Екатерина».

Сегодня Александру было особенно тяжело видеть Палена. Он пришел с резкой жалобой на мать-императрицу: по ее заказу выполнен образ и поставлен в одной из новых церквей, — для возбуждения против лиц, только что оказавших ей немалую услугу...

— Ваше величество, — сказал многозначительно Пален, — на упомянутом образе славянской вязью, на ленте, исходящей из уст святителей, начертан приказ не оставлять безнаказанными цареубийц. Пусть сие относится к эпизоду ветхозаветному, но прилив в эту церковь народа и вызванные образом толки получились весьма современного характера...

— Доставьте образ ко мне, я расследую, — сказал утомленный Александр и, вдруг вспыхнув, горько добавил: — Сдержали б вы ваше слово о неприкосновенности августейшей жизни, ничего б этого быть не могло.

Пален пристально посмотрел на царя. В глубине глаз дрожала насмешка, прикрытая внимательным дружелюбием, но смущения не было.

— Да неужто ваше величество могли допустить даже мысль, что покойный император, столь ревниво убежденный в святости самодержавия, мог от него без борьбы отказаться? В борьбе же, на каковую ваше величество разумно изволили дать свое разрешение, конец не мог никем быть предвиден.

— Но ваше слово?

— Мной оно сдержано, — качнулся с достоинством Пален. — Я неприкосновенен к злому делу обезумевших офицеров. Я находился в покоях императрицы: быть может, надлежало ее уберечь от ареста. Как вам известно, предписание уже было.

Александр в отчаянии махнул рукой, указав на выход.

Пален, пожав плечами, пошел к двери, остановился, сказал вдруг совсем веселым, жизнерадостным голосом:

— Приятнейшее обстоятельство, ваше величество, прошу прощенья, чуть не забыл. Вам сейчас предстоит завершить одно доброе дело, задуманное его величеством покойным императором. Поистине, благодеяние целому семейству одним мановением вашей царской руки...

— Какое еще дело? — испуганно повернулся Александр, опасаясь, что разговор пойдет о той беременной женщине, которая объявила, что взыскана Павлом, и просила о пенсии. — Я этих женских дел знать не хочу. Решайте сами.

— Помилуйте, ваше величество, дело самое мужское: некий государственный крестьянин, сибиряк Артамонов, изобрел самокат. Модель в свое время, если припомните, представлена была его величеству, вашему родителю, и Артамонову была обещана в случае успешного выполнения модели — вольная со всем семейством.

— Как же, вспоминаю, — несколько оживился Александр, — такое большое железное колесо и сиденье, как седлышко, наверху... Мы тогда посмеялись немало с братом. И что же, он выполнил?

— Извольте потрудиться, ваше величество, глянуть из окна на площадь: Артамонову приказано ждать тут с самого утра, пока не соблаговолите проверить его машину.

— Зачем же утром еще не сказали? — воскликнул Александр. — Я очень охотно взгляну, ведь мне особенно приятно, когда могу выполнить волю батюшки.

Александр быстрым шагом, так что Пален едва за ним поспевал, вышел на балкон Зимнего дворца и с любопытством оглядел площадь.

Перед балконом возник Артамонов, низко кланяясь, ведя рядом с собой, как лошадь, большое колесо. Он был в своем синем армяке и в новых, до зеркального блеска начищенных сапогах.

Он вдруг мгновенно вскочил на седло и, хлопая полами длинного армяка, много раз странной птицей пронесся большими кругами по площади, ловко спрыгнул на ходу пред балконом, где, глядя на него, улыбался восхищенный Александр.

Артамонов лихо соскочил на ходу, сорвал с головы шапку, упал на колени пред балконом и протянул к Александру обе руки.

— Самокатчик нижайше благодарит ваше величество, — сказал Пален, — за дарованную по обещанию императора Павла вольную.

— В свою очередь благодарю самокатчика за то, что выполнил обещание, данное отцу.

У Александра выступили слезы на глазах.

— Кроме вольной всему семейству, как сказано батюшкой, — приказал он Палену, — распорядитесь из сумм кабинета выдать награду и на путевые расходы. Самокат приобщить к изобретениям самоучки Кулибина, собранным бабушкой.

Вечером у Воронихина, когда весело праздновали удачу с самокатом, Артамонов был печален.

— Уж выхлопатывайте поскорей, Андрей Никифорович, мне бумаги, — то и дело просил он Воронихина. — Забрать их да скорей наутек! Неровен час, опять сместят императора, а для второй пробы у моего самоката прыти не станет, к тому ж приказано его в кучу лома свалить.

— Да что ты, Артамонов, — успокаивал Воронихин, — твой самокат приказано в том же месте держать, где изобретения великого нашего самоучки Кулибина.

— То-то, что вправду велик. А где к нему внимание, где почет всему, что выдумал? Как и я, одной пользы хотел он отечеству, а его модели сперва на игрушки пустили, а как сломались, и не стали чинить.

— Но для своего самоката чего б ты хотел? — спросил серьезно Воронихин, поняв печаль Артамонова.

— А чтоб знающим механикам его испытать да улучшить — цены ему нет для военного дела. Ведь шибче лошади он бежит, — сказал не без гордости Артамонов и прибавил, потускнев: — А сейчас хотя бы только с вольной не передумали!

Вечером явилась к Александру мать-императрица. Еще красивая, хотя сильно располневшая, в глубоком трауре, она даже не захотела у сына присесть. Величественно стоя, изрекла свой ультиматум:

— Или я, сейчас уехав в Павловск, никогда больше сюда не приеду, или же пусть граф Пален навсегда удалится отсюда. Мне известно, что он приказал снять подаренный мной образ и произнес слова: «Я расправился с супругом, расправлюсь и с супругою».

Мария Федоровна удалилась, предоставив Александра охватившему его с новой силой отчаянию.

Опять почувствовал, что тюремной стеной окружил его этот грузный, тяжелый человек, неизменно к чему-то принуждающий. А за ним стоит и другой, Никита Петрович Панин, с изощренно-дипломатической речью, с холодным педантизмом на английский манер. Оба свергли отца, оба хотят теперь править сыном.

От ненависти к поработителям своей воли Александр вскочил и стал быстро ходить по кабинету.

Пусть лучше навек Шлиссельбург, пусть даже казнь — все лучше несказанной муки, охватившей сейчас. Панин первый заронил в сознание эту мысль, которая никогда б не родилась сама, — пойти против отца и помазанника. Но Палена он ненавидел еще сильней. Пален уверен, что он не только знал, он отцеубийства хотел. Освободиться б от Палена!

Доложили нового генерал-прокурора Беклешева.

Сменивший бывшего гатчинца, Павлова любимца Обольяни-

нова, этот русский простой человек был приятен Александру. Беклешев далек был от придворных интриг, прославлен своей справедливостью и был в отсутствии во время заговора.

И вдруг Александр рассказал Беклешеву, как младший внушившему доверие старшему, про непосильную тяжесть отношений с ненавистным Паленом, про непреклонное требование императрицы-матери его удалить.

Беклешев сочувственно поморгал своими умными глазами на молодого царя и сказал простодушно, как бы разрешая совсем маловажное затруднение:

— Когда мне досаждают мухи, ежели жужжат под носом, — я их прогоняю.

И как следствие этого разговора предложил тотчас представить для подписания соответствующую бумагу.

— Заготовьте и представьте, — легко вымолвил Александр, успокоенный простым и быстрым решением столь мучительного дела.

Назавтра только и речи было о том, как граф Пален явился на парад в своем экипаже, запряженном шестеркою цугом. Едва собрался он выходить, как подошедший флигель-адъютант государя протянул бумагу, где по высочайшему повелению предлагалось ему выехать навсегда в свои курляндские поместья.

Карл Росси подходил смущенный к Академии художеств, приглашенный в первый раз на новую квартиру Воронихина. Андрей Никифорович женился, как давно ему прочили, на англичанке, чертежнице Мэри Лонг, и занял просторную преподавательскую квартиру по своей новой должности руководителя архитектурного класса.

Браку Воронихина в среде товарищей завидовали и не без яда превозносили его хитроумие и расчетливость — одним махом убил нескольких зайцев: приобрел чудесную жену, неутомимую помощницу в работе, красивую натурщицу и хозяйку, умевшую на европейскую ногу поставить свой дом. Воронихин представил своей жене Карла как юного друга и многообещающего архитектора. Мэри скоро так очаровала Карла умной сердечностью, что заставила его поверить доброму отношениюк друзьям своего мужа.

Когда Мэри вышла из комнаты, Карл, смеясь, признался, как он боялся, что после женитьбы Андрея Никифоровича в доме будет совсем не так, как было раньше, и вдруг оказалось, что стало еще лучше и еще больше станет сюда тянуть.

— Спасибо, Шарло, за верную оценку моего брака, — усмехнулся Воронихин. — Если друзьям становится в доме проще и веселей — это верный знак, что в союзе не вышло ошибки.

— Но какая же редкость такая удача, — сказал грустно Карл, думая о сложности своих отношений с Катрин.

Воронихин словно угадал его мысли:

— Можно спотыкаться, Шарло, пока не видна, не ясна окончательно главная цель жизни. Но избранное дело уже само поведет. Запомни, жену надо искать только такую, которая этому избранному тобой делу и захочет и сможет помочь.

— Андрей Никифорович, я запомню ваши слова, — серьезно сказал Карл, — если бы знали вы, как они сказаны кстати. Я только что получил из Италии письмо от Катрин. Она зовет меня к себе, прямо в Рим, а я должен ехать с Бренной во Флоренцию, где смогу тотчас начать занятия в Академии. Катрин пишет, что дольше месяца она меня ждать не станет и вернётся обратно в Россию. Вы понимаете — это решение ее судьбы, так же как и моей.

— И ты ей ответил?

Карл помолчал. Потом, не глядя на Воронихина, тихо сказал:

— Ваши слова мне помогут ей ответить, что я еду в Италию только учиться и путь мой — во Флоренцию.

Воронихин пожал Карлу руку:

— Ты решил верно, Шарло. Искусство ревниво. А сейчас, на прощанье, пройдем в мастерскую. Я покажу тебе акварели собора и план.

Указывая на развешанные по стенам подготовительные работы к Казанскому собору, Воронихин стал говорить как бы сам с собой, впервые, может быть, выражая словами то, что давно родилось и зрело без слов:

— Мне прежде всего хотелось, при всей монументальной грандиозности здания, дать его легким, полным света. Поэтому видишь, Шарло, как велики здесь окна, как утончены подпоры купола. Император Павел очень стеснил полет моей фантазии, предрешив общее впечатление собора. Он ведь настаивал на сходстве с римским собором святого Петра. Сколько я промучился, пока не нашел выхода вот в этих колоннадах. Двумя могучими потоками они вливаются со стороны Невского проспекта, — указал Воронихин на план. — Обрати внимание, Шарло, они вливаются в многоколонный же портик, сильно выдвинутый из их линии, что создает впечатление входов и выходов. Ты понимаешь мой замысел?

— Понимаю, — отозвался восхищенный Карл, — колоннады благодаря этому не являются простой декорацией площади, как в Риме. Какое счастливое разрешение вас посетило. Вместо внушающего трепет величия торжественного круга — какая стройная, какая легкая у вас получилась дуга.

— Ты угадал. Мотив легкости мною положен в основу всей громадной постройки, но для этого неизбежно соорудить такую же колоннаду и со стороны противоположной. А здесь вот, на западе,

соединить в одно грандиозные дуги. Представь себе, Шарло, в пасхальную ночь много сотен людей с зажженными свечами во всех колоннадах собора. Какое море огня, какое море света!

— Андрей Никифорович, — воскликнул Росси, — вы достигли своей цели. Вы внесете в наш сумрачный день и прозрачность, и воздух, и радость...

— Когда б удалось, — сказал тронутый Воронихин. — Я много думал о воздействии архитектуры на сознание. Как уничтожает, расплющивает человека готика, как, словно устрашив его, уводит насильственно ввысь от земли. Порой утомляет глаза и торжественность победительного Рима. Нагромождение барокко пресыщает чувство, неуловимо подменяет его чувственностью и рассеивает своей пышностью, дробит на мелочи потребность простого и прекрасного. Моя задача скромна. Я не хочу поражать, восхищать или пробуждать дремоту ленивой совести удручающим взлетом сводов, тяжестью купола, угрожающей тенью неосвещенных углов. Я только хочу, чтобы в моем создании преодолена была тяжесть. Обилие внешних и внутренних колоннад своей гармоничной соединенностью должно снимать всякое бремя. Войдя в мой собор, пусть каждый свободно вздохнет, пусть, сбросив с плеч груз мертвящих волю горестей и забот, во всю мощь наберет себе свежих сил.

Я верю, Шарло, в благородство природных сил человека. Пусть моя работа создаст условия, которые хоть немного помогут их развитию...

— Судя по великолепию вашего плана, я уверен, что вы эти условия создадите, — сказал Росси, крепко пожимая Воронихину руку.



СОДЕРЖАНИЕ

ОДЕТЫ КАМНЕМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАДИЩЕВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Редактор Р. С. Софронова
Переплет и титульные листы Т. С. Цинберг
Художественный редактор А. М. Гайденков
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректор Ф. Г. Лебедева

Сдано в набор 13/I 1955 г. Подписано к печати 24/II 1955 г. М-19509. Бумага 60×92[1]/16 = 42 печ. л. = 42 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 45,9 + 1 вкл. = 46 л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1795. Цена 15 р. 35 к.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности.
2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.


1-44
ГОСЛИТИЗДАТ
1955